Татьяна Фрейденссон

ДЕТИ Третьего Рейха

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Герои этой книги – потомки нацистских преступников. За три года журналист Татьяна Фрейденссон исколесила почти полмира – Германия, Швейцария, Дания, США, Южная Америка. Их надо было не только найти, их надо было уговорить рассказать о своих печально известных предках, собственной жизни и тяжком грузе наследия – грузе, с которым, многие из них не могут примириться и по сей день. В этой книге – не просто удивительные откровения родственников Геринга, Гиммлера, Шпеера, Хёсса, Роммеля и других – в домашних интерьерах и без цензуры. За исповедями этих людей – вечные темы добра и зла, любви и ненависти, прощения и проклятия.

- Татьяна Фрейденссон
  - Глава нулевая
  - Элизабет Геринг
  - Беттина Геринг
  - Никлас Франк
  - Рихард фон Ширах
  - Райнер Хёсс
  - Небо по имени Гиммлер
  - Роммель и Штауффенберг
  - Заур и Шпеер
  - Эпилог
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17

- ○ 18
- ○ 19
- ○ 20
- ○ 21
- ○ 22
- ○ 23
- ○ 24
- ○ 25
- ○ 26
- ○ 27
- ○ 28
- ○ 29
- ○ 30
- ○ 31
- ○ 32
- ○ 33
- ○ 34
- ○ 35
- ○ 36
- ○ 37
- ○ 38
- ○ 39
- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61

- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83
- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105

- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127
- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143
- ○ 144
- ○ 145
- ○ 146
- ○ 147
- ○ 148
- ○ 149

- ○ 150
- ○ 151
- ○ 152
- ○ 153
- ○ 154
- ○ 155
- ○ 156
- ○ 157
- ○ 158
- ○ 159
- ○ 160
- ○ 161
- ○ 162

Татьяна Фрейденссон
Дети Третьего рейха

Глава нулевая
Кино и немцы. Начало

Идея сделать документальный проект о потомках главных нацистов Третьего рейха пришла мне в голову лет в пятнадцать-шестнадцать. Стало интересно: а как жили люди по ту сторону нашей Великой Победы? Как вообще можно жить, зная, что твой отец, к примеру, уничтожил несколько миллионов человек? С каким ощущением ты просыпаешься утром в новой стране, сменившей Третий рейх, – стране, в которой твой некогда всемогущий папочка объявлен преступником, а ты сам отныне – нацистский выродок? Как тебя встречают в школе? Где теперь твои мамки-няньки, где твой замок, где, в конце концов, могила твоего отца? Ах да! Могилы-то нет. Отца повесили, пепел развеяли, а тебя, маленького арийского ангелочка, отдали в приют.

«Все темы в мире уже придуманы и отработаны. Найди нужный ракурс» – учат редакторы новичков-авторов. Мне казалось странным, что, включая 9 мая в 10 утра трансляцию парада на Красной площади или глядя в небо с разрывающимися фейерверками вечером того же числа, никто из окружающих не задумывался о том, а что происходило в эти весенние дни 1945 года в стране, переставшей быть Третьим рейхом. Вряд ли наши отцы, деды и прадеды задавались этим вопросом. Но мы, далекие от всей этой крови, грязи и разрухи? Неужели просто не любопытно? Или, может, человечество мыслит главами? Нюрнбергский процесс жирной точкой ознаменовал финал жуткой военной истории. Но ведь для кого-то это стало началом.

Шестнадцатого октября 1946 года десять нацистских преступников, приговоренных трибуналом к повешению (рейхсляйтер Роберт Лей, глава Германского трудового фронта, покончил с собой до начала Нюрнбергского процесса, рейхсмаршал Герман Геринг – после процесса, за несколько часов до казни, а рейхсляйтера Мартина Бормана, которого так и не нашли, приговорили заочно), были казнены в спортзале нюрнбергской тюрьмы. Альберт Шпеер, министр военной промышленности Третьего рейха, приговоренный к двадцати годам заключения, сделал в дневнике такую запись через день после казни товарищей: «Всё здание [тюрьмы] поглотила тишина. Но атмосфера странным образом изменилась. Кажется, напряжение ослабло, как будто целью обеих сторон было пережить этот день, 16 октября, и после долгих месяцев

напряженного труда они, наконец, стали спокойнее. Даже охранники стали спокойнее»[1].

Мир окончательно закрыл для себя войну. А дети и родственники высокопоставленных нацистов открыли для себя много нового: теперь они потомки самых страшных преступников двадцатого века – по их венам течет кровь монстров, из зеркал на них смотрят самодовольные лица отцов, и рано или поздно «дурные» гены могут дать о себе знать.

Поработав некоторое время производителем документальных фильмов для Первого канала, я, наконец, рискнула «толкнуть» свою заявку туда. Казалось, что, сделав десяток достаточно успешных документалок как автор, режиссер и продюсер, я, наконец, могу претендовать на особый проект, который станет, как любят выражаться телевизионщики, моей визитной карточкой.

Итак, я ждала ответа от Первого, очень надеясь и ни на что не надеясь одновременно.

Прекрасно помню этот день – 21 мая 2010 года. Звонок сотового. По экрану телефона поползла фамилия сотрудника Первого канала, которому я отдала заявку на съемку фильма.

– Тань, я по поводу «Детей нацистов»… – неуверенно начала трубка и притихла.

– И?

– Забудь. Кина не будет.

– Почему?

Трубка шумно выдохнула:

– Потому. Как ты вообще это себе представляешь? Компания у тебя крошечная. Два-три фильма в год производишь, а замахиваешься на такую тему. Все герои живут за границей. Да и кто, по-твоему, вообще захочет рассказывать о том, что его папа или дед – близкий товарищ Адольфа Гитлера?!

– Вы точно показывали мою заявку вышестоящему начальству? – Эпитафия моей идеи, которую только что с чувством произнес звонящий, не оставляла сомнений: последний шанс реализовать ее растворился.

– Проверяешь меня? – с готовностью обиделась трубка, уходя от ответа. – Я и сам кое-что смыслю. Так что сказал: забудь. А лучше – придумай новую тему! Знаешь, Константину Львовичу Эрнсту очень понравился фильм про Магду Геббельс, который сделали у нас. Вот посмотри его и замути что-нибудь эдакое про нацизм. Если уж очень хочется. Ты же продюсер.

Я призвала на помощь всю свою кротость.

– Но в вашем фильме про Магду Геббельс всё же не было

никого из ее потомков: только хроника и закадровый текст!

– Ха! – У собеседника резко улучшилось настроение. – И ты еще хочешь кино про детей нацистов снимать?! Даже не знаешь, что Магда Геббельс убила всех своих детей!

– Не всех. – Продолжать разговор казалось бессмысленным, но я добавила: – Четыре внучки Магды Геббельс – наследницы бизнес-империй Третьего рейха с оборотами в миллиарды евро…

Моя многострадальная заявка на фильм «Дети Третьего рейха» была одобрена полгода спустя после упомянутого выше разговора.

Три серии по 52 минуты. Я должна была обеспечить более двух с половиной часов уникального материала, состоящего преимущественно из интервью с людьми, которые вообще не желают иметь дела с прессой. А тут телевизионщики из России! Но ведь я сама этого хотела.

Когда слухи об утвержденном новом проекте разнесутся по всем документальным дирекциям, я часто буду слышать: «Классная идея! Снять детей и родственников известных нацистов! И почему никто раньше не додумался?! Ведь на поверхности же!» Сказать прямо, меня это тоже волнует: почему?

Волнует оттого, что, когда разыскиваешь человека и натыкаешься на его фамилию в кладбищенских списках где-нибудь в Баден-Вюртемберге или Гамбурге, становится обидно, потому что ты не успел. Не успел к «детям», которые уже умерли. Я не успела к сыну Кальтенбруннера, шефа РСХА, не успела к Борману-младшему – сыну рейхсляйтера Мартина Бормана, священнику, единственному представителю большой семьи, готовому сниматься, но к моменту запуска проекта уже страдающему от тяжелой болезни. Не успела к сыну Рудольфа Гесса, таинственного рейсхляйтера, – Вольф-Рюдигер умер в 2004 году. Долгие годы он пытался доказать, что его девяностотрехлетнего отца убили в тюрьме Шпандау, где он отбывал пожизненное заключение по приговору Международного военного трибунала в Нюрнберге, и версия о самоубийстве самого загадочного человека Третьего рейха шита белыми нитками…

В 70— 80-е годы кое-кого из детей нацистских бонз (и даже некоторых родителей!) снимали немецкие телевизионщики. Их документалистика – особенно та, что касается Второй мировой войны, – разительно отличается от российской. Дело не только и не столько в менталитете, сколько в напряженной атмосфере умолчания, которая царит на съемочной площадке в паузах между вопросами, в сухом, сугубо биографическом подходе ведущих, в тщательной формулировке ответов собеседника. И как

следствие – всё выглядит, на мой взгляд, по-театральному постановочно. Погрудный план, темный задник, правильное освещение. Ценнее мне кажутся другие съемки: в домашних интерьерах, рядом с семьей, и, конечно, никаких общих вопросов, влекущих за собой такие же обтекаемые ответы в духе «нацизм – это зло».

Меня всегда учили, что в своем герое нужно видеть человека. Простая мысль, невероятно сложная в реализации. Немецкие же журналисты, по крайней мере в фильмах, касающихся военной тематики и военных преступников, напротив, тщательно «припудривают» этого самого человека, сидящего перед ними. Теперь-то я понимаю почему: они всегда намеренно избегают присутствия всего человеческого в этой теме. Потому что человеческое несет в себе элемент оправдания. И мне, не желающей идти по пути немецкой сухой документалистики, в ходе работы пришлось столкнуться с этой проблемой. Ведь нет никакого откровения в том, что белое лучше видно на черном, равно как и наоборот. И каждая положительная черточка человека на фоне ужасов, им же сотворенных, смотрится опасной гиперболой.

Бытует мнение, что дети и родственники главных нацистов Третьего рейха уж наверняка должны держаться вместе: неважно, к одной они фамилии принадлежат или к разным. Жизнь неоднократно доказывала мне обратное. Потомки не общаются, большинство никогда не пересекались, даже если живут недалеко друг от друга. Впрочем, их отцы и деды, многие из которых находились на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса, тоже не могут служить примером сплоченности. Поначалу, сразу после ареста, они все держались единым фронтом. Но чем больше процесс набирал обороты, тем больше расколов и междоусобиц, не видимых постороннему глазу, случалось на скамье подсудимых, в столовой, в тюремных коридорах и дворике для прогулок. Исторические фигуры постепенно становились обычными людьми: кто-то плохо спал по ночам, выторговывая себе лишнюю таблетку снотворного, кто-то пытался обелить себя за счет соседей по скамье подсудимых, кто-то молился и плакал, отводя душу в тюремной часовне во время общения с капелланом…

…В течение двух лет после утверждения заявки я буду бродить по разным городам Германии, США и Перу в компании тех, чьи родственники вошли в историю как «люди Гитлера». Я побываю в одной из известных мюнхенских пивнушек в компании Рихарда фон Шираха, чей дед был не просто личным фотографом фюрера, но и его ближайшим другом, отец – главой

гитлерюгенда, а мать – воспитанницей «дяди Адольфа». Встречусь с родными рейхсмаршала Германа Геринга – в Америке, Северной и Южной. Выпью чаю «за мир во всём мире» с внуком коменданта концлагеря Освенцим, буду спорить по телефону с сыном Иоахима фон Риббентропа… И так далее… Всех не перечислить!

Ну а теперь – к благодарностям.

Я из тех, кто никогда не читает благодарности, и уж точно не думала, что придет день, когда сама буду их писать. Между тем это для меня не просто имена и фамилии. За ними стоят люди, которые мне помогли:

Светлана Колосова, директор Дирекции документального кино Первого канала. Редкий случай, когда ты обнаруживаешь в большом профессионале еще и товарища, готового поддерживать тебя в начинаниях. Оказав мне большую поддержку в создании «Детей Третьего рейха», она вдруг, когда фильмы были готовы, предложила: «А не написать ли тебе книгу?» (Я как раз страдала из-за того, что в фильмы вошла лишь жесткая эссенция того, что было снято, – большая часть материала просто осталась за кадром.) Я ответила, что нет, вряд ли стоит, не смогу, не сумею и вообще я читатель, а не писатель… В итоге я сделала фильмы и написала книгу. Спасибо ей.

Олег Вольнов, который всё же рискнул поверить в телепроект «Дети Третьего рейха».

Елена Афанасьева, возникшая феей в моей судьбе. Проект не без ее участия оборачивается печатными строчками этой книги.

Александр и Ирина Гагаевы, блистательные кардиохирурги, которые спасли больше, чем просто одну важную мне жизнь. Спасибо тут мало. Но они и сами всё знают. И Ирочка Корнилова, самый лучший и строгий кардиолог в мире. Я говорю о них не случайно – они такие борцы, что все мои отчаяния по пустякам кажутся глупостью по сравнению с тем, что делают эти люди каждый день в рамках своей профессии.

На страницах этой книги вы встретите Сергея Бравермана, замечательного режиссера-документалиста, профессионала и очень близкого мне человека, благодаря которому моя наивная идея, полстранички заявки, превратилась в книгу и фильм. Всегда важно, когда рядом с тобой человек, который верит в тебя и помогает, – у меня такой есть, и это счастье. То, что заявку «Дети Третьего рейха» увидели, прочитали, отнеслись к ней серьезно, поверив его слову, – это лишь крохотная часть того, за что я благодарю его.

Разумеется, моя семья, она же – мой фундамент. Мама Вера Алексеевна, папа Аким Семенович и сестра Ольга, которые верят

меня всегда и порой даже чересчур, и я, как могу, оправдываю возложенные на меня надежды, хотя не постоянно, ведь слишком усердствовать тоже вредно, вы же знаете.

Спасибо всем моим подругам, друзьям, приятелям, которые были рядом, выслушивали меня, мои соображения, мнения, мысли, чаяния, чего только вам не пришлось вытерпеть со мной, но, надеюсь, вы не жалеете, что невольно стали специалистами по Третьему рейху, – да, знаю, вам просто надо было как-то мне возражать или поддерживать беседу. Но если вы это пережили, то дальше терпеть меня будет легче. Наверное. Не уверена всё-таки. Обещать не могу.

И отдельное мое спасибо издательству, Ирине Богат, всей ее команде, которая превратила сотни строчек на листах А4 в книгу, не только чисто технически, но и по мысли, которая при первом моем опыте написания порой рвалась нитью, завязывалась узелками или путалась так, что им пришлось повозиться.

Спасибо всем коллегам, кто прожил со мной эти непростые рабочие месяцы.

И конечно же – героям этой книги.

Элизабет Геринг
Третий рейх в третьем мире

Задолго до того, как приступить к съемкам фильма (еще не зная о том, состоится ли он вообще), я попыталась разузнать как можно больше про родственников Германа Геринга, второго человека Третьего рейха.

Больше всего меня интересовала Эдда Геринг, единственная дочь рейхсмаршала, 1938 года рождения. Ходили упорные слухи, что Эдда боготворит отца, ведет затворнический образ жизни и не может забыть о том, что была первым ребенком Третьего рейха – появлялась с папой на обложках журналов и открытках, получала невообразимые подарки, спала на самых мягких перинках и забавлялась с многочисленной прислугой в Каринхалле, приставленной любящим папочкой к «своей маленькой принцессе». Про нее и анекдоты сочиняли:

– В Германии перекрыли центральный автобан.

– Почему? Что случилось?

– Малышка Эдда учится ходить.

Но это – прошлое. Ныне об Эдде никто ничего толком не знает. Известно доподлинно одно: «маленькая принцесса» стала зловредной старухой, которая ненавидит журналистов и категорически отказывается иметь дело с любыми СМИ.

Приступив к работе над фильмом, я, чувствуя полное моральное право позвонить дочери Геринга, решилась набрать ее мюнхенский номер. В конце концов, это просто попытка…

Эдда, перебив меня сразу после приветствия, потребовала представиться. Я представилась, как могла, по-немецки. И тут же самым нежным тоном, на который была способна, попросила у нее разрешения перейти на английский. Эдда откровенно проигнорировала мою просьбу. «Может, она по-английски просто не говорит?» – подумала я и тут же отбросила эту мысль: по-английски в Германии говорят все. Ну не хочет – как хочет.

– Откуда вы звоните? – взволнованно спросила Геринг, не догадываясь о цели моего звонка: судя по всему, фрау и к телефону-то подошла лишь потому, что ее удивил номер с кодом неизвестной страны на определителе, ибо дозвонилась я с третьей попытки: в первые две мне было предложено пообщаться с автоответчиком, а это, поверьте, в данной ситуации – гиблое дело.

– Аус Руссланд, – сообщила я голосом советского пленного и

тут же попыталась продолжить свой взволнованный монолог, имея целью как можно деликатнее донести до Эдды причину звонка.

– Оставьте меня в покое! – взвизгнула она, очевидно, испугавшись слова Руссланд. Надо отдать должное пожилой фрау: чтобы прийти в себя, ей понадобилось секунды две. – Оставьте меня в покое, – повторила она уже более спокойным приказным тоном, словно транслируя через меня послание всем журналистам мира. В ее голосе я уже не слышала ни испуга, ни интереса, ни волнения, ни чего-то еще, что почему-то хотелось расслышать. – Оставьте меня в покое!

У старушки явно заело граммофон. Было очевидно: она пыталась заткнуть меня, перебить, чтобы не услышать, не узнать никаких подробностей. Паузы между фразой, которую она повторяла с секундной передышкой, я пыталась набить как можно большим количеством информации, состоящей из уговоров согласиться на съемки: утрамбовывала слова в драгоценные секунды, словно гору вещей в маленький чемодан. Не получалось. Никогда я не умела паковать чемоданы.

Понимая, что фрау тот еще фрукт и сейчас в трубке раздадутся частые гудки, пришлось сменить тактику:

– О'кей, в покое так в покое, – сказала я, пытаясь капитулирен с гордо поднятой головой.

Но красиво капитулирен не удалось.

– Оу-ке-е-ей, оу-ке-е-ей, в по-ко-е, – передразнила она меня не без злобы, протянув слова нараспев, но, к моему удивлению, не оборвав наш дикий диалог.

– Тогда позвольте, я хотя бы отправлю вам электронное письмо (пожилые немцы владеют Интернетом), подскажите, пожалуйста, адрес, – перебила я Эдду милейшим щебетанием, призванным скрыть пульсирующее в висках раздражение, и цепляясь за тающий шанс заполучить фрау Геринг в фильм.

– Вы вообще понимаете, что я говорю?!

– Пока вы говорили только одно: «Оставьте меня в покое», – заметила я холодно, призывая все силы, чтобы не швырнуть трубку: пусть уж она сама кидает, если хочет. Я – не буду.

Спокойствие в моем голосе, как ни странно, пожилую фрау взбесило еще больше, чем упорство:

– Идите к черту! И никогда – слышите? – никогда больше сюда не звоните. Я требую. Я настаиваю. Не звоните. И другие пусть не звонят. Передайте им всем! Никто! Никогда! Оставьте меня в покое! Как я всех вас ненавижу!

В трубке, наконец, раздались гудки.

Дочь рейхсмаршала исчезла за их частоколом.

Пожалуй, после такого мои отношения с семьей Геринг вряд ли сложатся удачно. Строго говоря, первым «моим» Герингом был немного сумасшедший Маттиас, пятидесятипятилетний физиотерапевт из Берна, принявший иудаизм; сниматься он отказался. Второй была Эдда, которая жестко отшила меня по телефону. Неужели больше никого? И я решила разыскать других представителей древнего германского рода, одно-единственное упоминание о которых встретила в статье какого-то американского издания. Эти люди, чьи имена, к моей глубокой печали, не назывались, были потомками по линии родного брата Германа Геринга, Альберта, и жили то ли в Уругвае, то ли в Парагвае, то ли в Аргентине. Исчерпывающая информация для поисков, нечего сказать. Более того, я понятия не имела, сколько детей было у Альберта Геринга, о котором и слышала-то впервые. Ну и вдобавок ко всему поездка в Южную Америку никак не вписывалась в бюджет.

«Дорогой друг, – написала я одному австралийскому писателю, – ты много времени убил на поиск исторических документов, касающихся семьи Геринг, не знаешь, жив ли кто из потомков Альберта Геринга? Сколько у него детей? Это просто мое любопытство. Напиши, если есть что сказать».

«Да, я знаю про Альберта. Думаю, тебе нужна Элизабет, его единственная дочь, – пришел ответ, – разыщи ее. Искренне надеюсь, что она жива, когда-то она жила в Лиме».

«Мухэр. Трабахо. Корасон» – вот и всё, что я знаю по-испански. Но в тот момент, когда я получила письмо из Австралии, я вдруг ощутила себя спецагентом МОССАДа, разыскивающим Менгеле и Эйхмана. Только, в отличие от агента, у меня не было ни доступа к базам данных, ни боевых соратников, ни жажды мести, которая, как известно, лучший катализатор для затеи вроде моей. Но зато имелся охотничий азарт. Никогда не думала, что охота за такой «дичью» может вызывать ощущение эйфории в момент, когда ты находишь нужный телефонный номер. Да, я всё-таки отыскала телефонный номер дочери Альберта, перетряхнув все возможные справочники Лимы. Старые, очень старые, новые. Элизабет Геринг!

После долгих гудков в трубке щелкнуло. Я вздохнула. И уже на выдохе услышала задорное испанское приветствие. И это… был мужской голос. Скорее по привычке, я разочарованно завела свою шарманку и грустно запела про то, что ищу Элизабет Геринг, что она мне нужна… Вежливо выслушав меня до конца, трубка, наконец, виновато крякнула:

– Ноу инглиш.

– Совсем ноу? – Я, признаться, ошалела.

– Ноу инглиш! – Мой собеседник совершенно точно вложил в эти два английских слова все свои познания и душу.

– Эли-за-бет Геринг, Геринг Эли-за-бет… – отчаянно произнесла я по слогам.

– Си! – почему-то согласилась трубка. Дальше собеседник попытался мне что-то втолковать на испанском. Безрезультатно. Тут я бессильна. И вдруг – ба-бах! – он произносит заветное слово «маньяна»! Боже, спасибо тебе за то, что в детстве я смотрела мексиканские сериалы! «Маньяна» это же «завтра»!

– Геринг? Маньяна? – переспросила я.

– Си! Маньяна! – радостно возопила трубка и добавила: – Геринг.

– Я тебя обожаю, – сообщила я на прощание собеседнику на чистом русском.

Мой звонок пришелся на воскресенье: конечно, я думала, что заполучила в свое распоряжение домашний телефон племянницы рейхсмаршала Геринга, но раз Элизабет по ту сторону провода нет, а есть добродушный перуанец, который знает ее, то он, разумеется, кто-то из обслуживающего персонала в офисе, где она работает под руководством или в партнерстве с неким де ла Кадена (в справочнике рядом с фамилией Элизабет стояла и эта).

И всё же, какой классный уборщик у нее в офисе, подумала я. Воображение нарисовало темнокожего, средней прожарки перуанца, усатого, пузатого и душевного мужчину лет сорока с озорно посверкивающей лысинкой, который очень любит начос, толстуху-жену Хуаниту и своих троих детей: Педро, Хулио и Кончиту.

Ночью следующего дня (а это была ночь дня, потому что у меня уже два часа как начался новый день, а в Лиме в разгаре был день предыдущий) по этому телефону мне ответила женщина: приятный голос, прекрасное знание английского и благожелательность в каждом слове – не чета Эдде. Это и была Элизабет Геринг.

Выслушав меня, она ответила: «Да, мой отец действительно Альберт Геринг. И всю свою жизнь, с шести лет, я живу в Лиме – так уж получилось. Кстати, знаете, Перу – замечательная страна… А еще я никогда не видела никого из России!» Через несколько минут милой болтовни она вдруг спохватилась: «Боже мой, заболталась, а мне пора бежать! Напишите мне на e-mail!» Элизабет продиктовала адрес своей электронной почты по буквам, и мы простились.

Я сразу же села за письмо; и без того ненавистное занятие превращается в сущую каторгу, когда вы пишете человеку,

который вам очень нужен. Эпистолярный жанр – штука коварная. С каждым новым абзацем я ощущала, что мой азарт понемногу тает: после того как ты обнаружил «дичь», важно понять, сможешь ли ты ее заполучить. И если сможешь, то на каких условиях.

Через пару дней ожидания я, наконец, получила развернутый ответ от племянницы Германа Геринга.

> *«Дорогая Татьяна! Иногда мне звонят люди из разных точек земного шара, чтобы просто поговорить о моем отце, порасспросить, что да как. Но уж совсем неожиданным был Ваш звонок из России: Вы, оказывается, столько всего знаете, поэтому я готова помочь Вам в создании документального фильма, однако есть ряд условий, которые я хочу четко обозначить с самого начала…* (Вот это мое самое "любимое". Чем нежнее начинается письмо, тем жестче обещают быть условия. – Т.Ф.)
>
> *Я хочу быть искренней. И сразу задаю вопрос: готовы ли Вы предложить мне какую-то финансовую поддержку за сотрудничество? Вы же неспроста обращаетесь ко мне, понимая, что я владею очень интересной информацией. Я, в свою очередь, сделаю всё, что в моих силах, чтобы уникальная история моей семьи стала известна Вашим зрителям. Так что я надеюсь, что Вы сможете мне что-нибудь предложить и озвучите свое решение…»*

Мое решение. За время работы в Германии я усвоила, что немцы приучены брать деньги за съемки. С одной стороны, а почему нет? Если человек – любой, будь то ученый или фермер, – тратит на съемки для вашего фильма свое драгоценное время, то что же, он не имеет права поднимать вопрос о деньгах? Вот он, капитализм. При социализме, как я слышала, всё было иначе. В СССР съемочным группам центрального телевидения разве что ковровую дорожку не стелили, а в некоторых случаях доходило и до ковровой дорожки! Показаться в телевизоре – это же высокая честь! Оказать достойный прием команде журналистов – само собой разумеется! Что касается современной России, то я периодически сталкивалась с просьбами «оплатить труд». Хотя западная мода у нас, к счастью, не так распространена.

Но на вопросе о «финансовой поддержке» письмо Элизабет не заканчивалось:

> *«Дорогая Татьяна, коротко расскажу Вам о себе, как Вы просили. Я родилась в Австрии. Моя мама была родом из Праги. Воспитывала меня в основном моя бабушка,*

Мария Клазар, так что дома мы с ней говорили по-чешски. В Перу мы втроем переехали в 1951 году, и здесь уже я выучила испанский, английский и даже немного итальянский. Мне, конечно, хотелось бы рассказать людям о моем отце – ведь он заслуживает того, чтобы о нем рассказали. Да, брат Германа Геринга был хорошим человеком. Звучит невероятно, правда?

Видите, я уже питаю иллюзию, что мы с Вами затеем документальный фильм».

Мастерски сажает на крючок, дразнит, как ребенка конфеткой. Во сколько же обойдется эта конфетка, если один билет в Лиму и обратно стоит диких денег?

«*Как я уже говорила Вам по телефону, я в прошлом успешный переводчик и переговорщик в швейцарских и немецких концернах, но сейчас я работаю на своего сына Ренцо, одаренного тенора (фактически я его менеджер): все в нашем городе желают заполучить его к себе на концерт, вечеринку или свадьбу…*

Как Вы поняли, я отвечаю за юридические формальности – заключаю договора, а также привлекаю клиентов для сына. Однажды Ренцо пел в церкви Святого Петра, что в центре Лимы, в составе хора из 50 человек (он иногда поет в хоре). Внезапно в собор вошла большая группа "светлоголовых туристов", и я услышала родную речь – да, это были немцы, туристы, которые что-то искали, периодически заглядывая в карту. Я спросила, могу ли им помочь: оказалось, да. В общем, я объяснила им, как выйти на нужную улицу, и они поинтересовались, разумеется, как меня зовут и местная ли я. Я сказала: "Геринг, Элизабет Геринг". И тут же заметила, как сильно напряглись эти туристы: а один из них осторожно спросил: в курсе ли я, что был такой рейхсмаршал Герман Геринг? "Ну да, он мой дядя – старший брат отца", – ответила я. И, знаете, они ничего не сказали – так, словно не слышали моего ответа. Сразу простились и тихо продолжили свое путешествие в указанном мною направлении. Нет, не подумайте, я не кичусь своим родством с дядей. Просто иногда мне очень хочется произнести это вслух и поглядеть на реакцию, – надеюсь, Вы понимаете, о чем я. И, конечно, так я поступаю далеко не всегда. Но тут вдруг мне захотелось сказать вслух – «он мой дядя». В конце концов, это ведь правда. И, кстати, двое туристов, отбившись от той, ушедшей группы, всё-

таки вернулись и сфотографировались со мной – я дала им программки, потому что через час-полтора должен был начаться концерт хора, в котором пел мой сын. Они попросили еще и подписать им эти программки и сказали, что вернутся сюда на концерт, намекнув, что некоторые другие туристы из их группы тоже будут не против послушать пение родственника Германа Геринга.

Не думайте, эти люди не нацисты! Им было интересно столкнуться с родственницей такой крупной исторической фигуры, как мой дядя».

Элизабет, мне это стало очевидно, умеет торговать собой, знает, чего хочет, может хорошо рассказывать о себе и семье – не общими словами, а выдавая конкретные истории, прибавьте к этому факт, что её сын поет (что само по себе замечательно для картинки документального фильма). В общем, племянница Геринга мне не просто подходит. Она нужна. Проблема в том, что дама торгуется не хуже, чем пишет письма: выставить счет в 3000 евро за три дня съемок – это неслабо, а сниматься меньше трех дней Элизабет не хочет, честно мотивируя свое решение тем, что нужно заработать денег. Но 3000 евро по меркам Лимы… Да что она там, фазенду за мой счет купить решила?!

Понимая, что встреча с Элизабет влетит мне в копейку, я, однако, не спешила обрывать переписку. Более того, сама Элизабет уже любезно обозначила сроки, в которые готова меня принять. Очертания Лимы становились всё четче на моем горизонте – приближалось и время, когда я должна была дать племяннице рейхсмаршала окончательный ответ.

Риск был высок. Дело в том, что когда ты работаешь по заказу канала, но вне его, то все риски ложатся на тебя и никто ничего не может гарантировать. Даже того, окажется ли эта Элизабет настоящей Геринг или нет. Не передумает ли она сниматься, как только ты сойдешь с трапа самолета. Не отключит ли все телефоны. Не заболеет ли. Не взорвут ли там чего… К тому же знакомых в Лиме у меня нет, а после того как накрыли Медильинский наркокартель в Колумбии, Перу заняло почетное первое место в мире по производству наркотиков, и потому непонятно, кого я повстречаю на своем долгом пути к Элизабет Геринг.

Перед глазами всплыла картина, как я окровавленными кулаками долблю в ворота российского посольства с воплями «спасите!», и мне, разумеется, не открывают. А дальше – в лучшем случае я становлюсь наложницей сто двадцать пятого помощника главы наркомафии, который по совместительству подрабатывает

уборщиком у Элизабет, ее сына и некоего де ла Кадена. По воскресеньям мы с уборщиком вместе надраиваем пол для госпожи Геринг и на испанском отвечаем на звонки любопытных девушек из России, которые хотят снять документальный фильм о детях и родственниках высокопоставленных нацистов Третьего рейха…

В письме, адресованном Элизабет Геринг, я написала одну лишь фразу: «Я согласна». И сразу шлепнула по кнопке «отправить». Чтобы не оставить себе шанса передумать.

> *«Я Вам предлагаю вот что, – гласило очередное письмо Геринг, – прилетайте в Лиму так, чтобы мы могли отработать со вторника по четверг, а в пятницу я Вас отправлю на Мачу-Пикчу! Вы просто должны побывать там (я еще не упоминала о том, как часто родственники Геринга употребляют глаголы долженствования?). Не спорьте и не упирайтесь – это обойдется не слишком дорого: раз уж Вы летите ко мне, на другой край земли, будьте любезны приложить некоторые усилия и не упустить то, чего никогда в жизни больше не увидите! Что касается графика моей жизни, то Вам также не следует волноваться: в восемь утра я уже на ногах, так что съемки можем начинать рано утром и заканчивать хоть к ночи! А с утра я гуляю по парку и кормлю белок, а иногда закупаю рыбу и еду на пляж кормить птичек. Путь к сердцу всего живого лежит через желудок – и только!»*

Слова, достойные племянницы толстяка Геринга. Интересно, как она выглядит? Воображение рисовало худосочную расчетливую даму, которая, ко всему прочему, будет мною руководить и помыкать. Мне нравится заранее сочинять героев – тем интереснее становится, когда ты знакомишься с ними вживую. Иногда придуманный тобою образ разительно отличается от того человека, которого встречаешь после писем и звонков. И очень расстраивает, если внутреннее наполнение человека, который заочно казался тебе чрезвычайно интересным, оказывается всего лишь трухой: у него не блестят глаза, он говорит медленно и занудно, норовит обидеться на оператора, у которого заела техника во время интервью, – в общем, оказывается тем, с кем тебе не просто скучно, а скучно невыносимо, и зритель/читатель это неминуемо ощутит.

– Я лечу в Лиму, – сообщила я Сергею Браверману после месяца раздумий.

– Да? – Он ненадолго задумался. – И как тебя ждать?

– В смысле когда?

– Нет, в смысле – в каком виде? По кусочкам? Или ты вообще не планируешь возвращаться?

– С чего ты взял? – В моем голосе отчетливо прозвенела неуверенность, а я-то думала, что ее удастся скрыть. Разумеется, сомнения мои никуда не исчезли.

– Ладно, – согласно закивал Браверман, – допустим, ты прилетела в Лиму. Тебя схватят на улице, накачают наркотой и попросят выкуп у страны…

– Страна не заплатит…

– Разумеется. А зачем платить за дураков и самоубийц?.. Так какие у тебя планы? Есть ли оператор?

– Я закинула удочки: ищу в Интернете англоговорящего перуанца. Уже два кандидата ответили на запрос. Один – швед, который там живет (заламывает страшенные деньги за съемочный день). Другой – индеец по имени Альваро. Тоже немало хочет, но….

– Я за индейца, – радостно сообщил Браверман, не дослушав до конца. – Интересно, как они вообще снимают, как видят этот мир через объектив? Это же абсолютно иное мировосприятие, чем у нас!

Я разозлилась:

– Дороговато выйдет, если его «иное мировосприятие» окажется настолько отличным от нашего, что он не будет знать, как нажать кнопку REC на видеокамере.

– Если он индеец, то не обязательно – идиот, – заметил Браверман.

Но если бы все трудности заканчивались на индейце!

Придумав, что соврать родителям («умотала в Европу»), я всё же не была на сто процентов уверена, что мой грядущий рывок в Лиму не окажется последним свершением в жизни. В этом душевном смятении меня застал звонок Элизабет: она беспокоилась, почему я так и не ответила ей на письмо, – там же важнейшие инструкции по выживанию!

– Значит, так, – тараторила она в трубку, пересказывая то, что я пока не успела прочесть, – когда прилетите в Лиму, сразу не пугайтесь. У нас просто очаровательный народ, но ворует. Сумку не оставлять ни на секунду – не давать носильщикам, помощникам, вообще никому. Такси берите только официальное – они повезут по «правильной трассе», но за ними тоже нужен глаз да глаз! Бывали случаи, когда увозили людей черт-те куда и грабили. Раза два за последний год трупы туристов находили где-то на окраинах… Да, забыла сказать: после того, как я провожу

вас на Мачу-Пикчу, будьте готовы к высоте 3700–3800 метров. Знаете, некоторые прямо там умирали от разрыва сердца – высота-то какая! Но вы справитесь. Правда, нужен кислородный баллон и листья коки, – а они, кстати, у вас в стране наркотиком считаются, да?

Весь этот поток информации никак не укладывался в голове. Какие «правильные трассы» и «таксисты-убийцы», какая высота и разрыв сердца? Я еду работать. Тихим ужом прошмыгну по аэропорту, приеду к Элизабет и после трех дней работы, умирая от страха, недосыпа и разницы часовых поясов, поеду обратно в аэропорт, так что и Лимы-то не увижу, уговаривала я себя, до тех пор пока Элизабет не проявила высшую степень заботы: самостоятельно подобрала мне отель («Он новый и без излишеств, но, думаю, жить можно – в любом случае, там дешево и есть душ»). Дешево. Не то слово. Восемнадцать долларов за номер в сутки – это в моем случае самоубийственно дешево в прямом смысле слова! У меня с собой техника. Но главное: при мне будут деньги для оплаты Элизабет и оператора. И текущих расходов. И еще у меня – паспорт, билеты, кое-какие вещи и жажда жизни в придачу!

– Ты берешь два билета в Лиму и обратно, – сообщил Браверман после долгих раздумий во время одной из традиционных прогулок в Останкинском парке.

– Нет, черт возьми, никогда и ни за что! Я помню, врачи сказали, что после обширного инфаркта миокарда с осложнениями ты выкарабкаешься, лишь только если очень повезет! Зачем рисковать?

– Я с некоторых пор мечтаю побывать на Мачу-Пикчу, – мечтательно улыбнулся Сергей и посмотрел на меня так же снисходительно, как тигр смотрит на тигренка, который, забавляясь, грызет его хвост.

– Двадцать девять часов перелета в неизвестность, чтобы увидеть Элизабет Геринг и побывать на Мачу-Пикчу?

– Ага. – Браверман потрепал меня по голове. – Я хочу работать. И хочу на Мачу-Пикчу. И мы проведем съемки, уверяю тебя.

После консультации с замечательными Гагаевыми, семейной парой кардиохирургов, спасших жизнь Сергею, и кардиологом Ирочкой, выходившей его после, я окончательно утвердилась в том, что Браверман поедет в Лиму со мной, и никак иначе.

Я еще активнее продолжила интернет-переписку с индейцем Альваро (продюсером, режиссером и оператором в одном флаконе), который пообещал, что с ним будет «многоопытный

второй оператор, старина Пабло», водитель и машина. И я почти поверила, что всё пройдет гладко.

От местной гостиницы, той, что за восемнадцать долларов, я всё-таки отказалась и зарезервировала по Интернету отель с более понятной ценой и безусловными удобствами в номере, включая wi-fi. Что до расположения гостиницы – выбора, надо признать, особо не было. Для туристов – читай «белых» – годятся только два района Лимы: собственно Мирафлорес, который дословно переводится как «Взгляни на цветы», и Сан-Исидро.

Я выбрала «цветы».

В столицу Перу мы прибыли ранним зимним августовским утром – это не опечатка: август здесь – самый холодный месяц в году, средняя температура +15° С.

Еще не проснувшаяся Лима – парафраз немоты и глухоты. И это не поэтический образ, а прямой смысл. Захотят прирезать прямо в центре – прирежут. Ори не ори.

На фоне тронутого серым невнятным рассветом неба корявыми, судорогой сведенными пальцами чернеют кроны пальм. Редкие фонари яркими вспышками желтых точек образуют светящееся многоточие, словно бы намекая, что сейчас никто за твое будущее не ручается.

Я перевела часы: местное время бесстрастно сообщало мне, что через три с половиной часа мы должны встретиться с индейцем Альваро, а через четыре с половиной – оказаться дома у Элизабет Геринг.

Сейчас я скажу несколько слов про Альваро. Не потому, что мне хочется вас заболтать и оттянуть знакомство с Элизабет, а потому что индеец, с которым я встретилась в лобби своего отеля и который должен был стать нашим напарником на несколько съемочных дней в столице Перу, – типичный представитель своей культуры и страны. Страны, гражданкой которой уже много десятилетий является племянница второго человека после Гитлера – Элизабет Геринг. Нет, Геринг, конечно, не гоняет на лодках по Амазонке, но каждый день сталкивается с такими, как мой новоявленный компаньон Альваро Сармьенто. А для общения с подобными персонажами, как выясняется, нужно просто адово терпение!

Увидев его впервые, я, наконец, поняла, почему мама ругала меня в детстве: «Закрывай рот – ты глупо выглядишь». Мамуля, ты была права. Если Альваро закрывал рот на пару минут, то его губы тут же непроизвольно формировали эдакое подобие пофигистической улыбки – «Don’t worry, be happy!». Альваро

около тридцати лет, хотя как тут разберешь? Может, и все сорок. Но что вы определите по его внешности сразу и безошибочно, так это то, что он действительно потомок индейцев. Альваро, о чём я узнаю от него сразу, исповедует шаманизм. Его народ без зазрения совести потребляет в пищу морских свинок, обитающих в деревьях сельвы, а живет этот народ на лодках на Амазонке…

– Альваро, на сегодня, как договаривались, у нас есть: машина, две камеры, флешки для видеокамер, второй оператор…

Альваро улыбается невинной улыбкой (глаза такие добрые, словно хочет угостить сладкой личинкой червя), продолжая разглядывать меня. Судя по всему, мои светлые волосы и глаза привели его в тихий индейский восторг, однако спустя полминуты он всё же приходит в себя:

– Второго оператора мы захватим по дороге на точку съемки, камеры есть, флешки тоже. Вот с машиной фигня…

Так и знала! Клянусь!

– К-к-какая фигня?

– Я взял напрокат таксиста с машиной, – спокойно сообщает индеец.

– На кой хрен?! – Я правда напугана. Я еще не в курсе, что такси тут стоит очень дешево, ибо кроме автобусов и консервных банок, отдаленно напоминающих маршрутки, по Лиме другой транспорт не курсирует. Да-да, при населении семь-восемь миллионов человек у них нет метро.

Альваро разъясняет мне это, медленно и снисходительно, четко артикулируя по-английски:

– Мы все в машину не поместимся. Слишком много места занимает техника, и, кроме водителя, в машину влезут лишь два человека: я и оператор Пабло, которого мы подберем по дороге.

– А мы что? Пешком? – Если индеец задался целью довести меня, то он на верном пути. – Ты же мне сообщил, что всё в порядке? Я же сто двадцать раз по телефону уточнила. И в письмах. Так как нам теперь быть?!

Альваро в ответ мне продолжает улыбаться, чем сильно раздражает. Но если он не улыбается, то сидит с открытым ртом, – выбор не богат.

– Я просто не рассчитал, – спокойно сообщает он.

– Но смету-то рассчитать успел! – замечаю ядовито. Он задумывается, роняя по привычке нижнюю челюсть, и, тупо глядя перед собой, отвечает:

– Смету успел. Да.

Элизабет живет в Сурко – вполне приличный район, отметила я про себя не без облегчения. Зеленый ухоженный сквер с

выложенными дорожками, окруженный со всех сторон таунхаусами, а посреди сквера – статуя Девы Марии, неестественно белой на фоне «зимней» зелени вокруг.

Таунхаусы, на первый взгляд, похожи друг на друга, словно их размножили на копире. Правда, если приглядеться повнимательнее, то и здесь среди равенства равных заметны те жильцы, что посостоятельнее, – они соревнуются между собой балконами и эркерами: у кого застекленные, у кого с коваными изгородями, у кого выложенные разноцветной плиткой. Но в этом, пожалуй, и все отличие.

В застекленном эркере на втором этаже одного из таунхаусов мелькнула светлая голова, а в моей светлой голове тут же мелькнула догадка, что это и есть Элизабет Геринг.

Сергей давит на кнопку звонка – не один раз. Через минуту за дверью слышится возня. Я глубоко вдыхаю, пытаясь подавить волнение. Дверь открывается и… перед нами перуанка в грязном фартуке, которая тут же молчаливой тенью шныряет куда-то в арку, растворяясь в глубине апартаментов. Сама хозяйка где-то в недрах квартиры – и явно не спешит появляться.

Мы остаемся в просторной гостиной. Стены обклеены обоями с отличной друг от друга текстурой – темно-красными и светло-бежевыми. Посреди гостиной – большой кожаный диван уголком цвета слоновой кости, такое же кресло, журнальный столик, большой телеэкран черным квадратом висит на стене напротив дивана. Много полочек, заставленных какими-то национальными штучками и фигурками, горшки с цветами, а у застекленного эркера (против которого огромное зеркало, визуально увеличивающее комнату до внушительных размеров) – две огромные клетки, обитателей которых я никак не могу разглядеть, – хомяков она, что ли, разводит?

Всё очень точно подобрано – и без излишеств. Перуанские детали декора тут не определяющие, но подобраны идеально: я вижу перед собой по-европейски организованное жилое пространство и про себя отмечаю, что у нашей героини есть вкус.

Пока мы располагаемся, снимаем куртки и осматриваемся, я замечаю, как по толстому проводу, протянутому за стеклом, лихо перебирает лапками белка. Внимательно слежу за тем, не навернется ли она, но, судя по всему, для белки это привычный маршрут.

– Их тут как грязи, – добавляет Альваро (а чего ждать от человека, который ест морских свинок?) и озирается: видно, что он несколько обескуражен. Кажется, в таких домах он бывает нечасто и сейчас впечатлен настолько, что не спешит готовить камеру к съемке. Да, дом Элизабет – это тебе не лодка на

Амазонке: здесь – маленькая Европа.

– Здравствуйте! Как я рада видеть вас здесь! Добро пожаловать в мой дом! Добро пожаловать в Перу! – В комнату, переваливаясь с ноги на ногу и раскинув руки с короткими пальчиками, спешащим пингвином входит Геринг. Я намеренно не пишу «Элизабет Геринг», потому что входит именно «Геринг». И в этот момент я внутренне ликую: передо мной – рейхсмаршал. Нет, не буквально Герман Геринг. Но если вы имели дело с хроникой Третьего рейха, то меня поймете: есть жесты, мимика, что-то неуловимое, что в секунду делает человека генетическим эхом другого человека, оставшегося лишь запечатлённым образом на старых черно-белых кадрах.

Внешне Элизабет совсем не такая, как я ее представляла, – вообразить себе не могла, что она настолько похожа на дядю. Плотненькая, среднего роста, хозяйка дома улыбается, и глаза за линзами ее очков становятся китайскими щелочками, из-под век которых лучится мягкий зеленовато-серый свет сдержанного любопытства. На Геринг (которую я осматриваю с любопытством, пока она осматривает меня) надета шелковая рубашка с бежево-красными узорами, черные брюки, скрадывающие плотные, несколько рыхловатые бедра, и длинная черная безрукавка из тонкой кожи и шерсти.

У Элизабет светлые прямые волосы чуть ниже плеч, острый, несколько хищный нос, правильные черты лица – и никакого броского макияжа: лишь прозрачно-розовый блеск на губах. Украшений тоже нет. Когда она поджимает губы, то ли освежая блеск, то ли сдерживая улыбку, я вижу, что в уголках губ, куда тут же сбегаются морщинки, таится жесткость. Но это лишь мгновение. Элизабет, хихикая, целует Сергея и жмет руки операторам. И уже через мгновение бросается вдруг целовать меня: «Как же вы мне нравитесь!» А еще через секунду уже несется к незакрытой двери и с силой захлопывает ее: «Ой, холодно! Дует!» Мгновение – и она уже плюхается радом со мной на диван. А потом снова резко вскакивает и бежит включать свет, поясняя: «Тут темновато».

Мы с ней говорим по-английски. У нее очень правильный и понятный английский, – так, четко артикулируя слова, на этом языке говорят те, у кого родной язык немецкий.

– Какая вы красивая, – охает Элизабет. – Знаете, у меня была очень красивая мама, я покажу фотографии. Она просто королева красоты, представьте себе!

Прожигая операторов гневными взглядами, я стараюсь намекнуть им, что мне кажется важным начать фиксацию всего происходящего на камеру.

А Элизабет тем временем успевает заметить интерес Сергея к фигуркам, стоящим на полках, – и тут же срывается с места, чтобы помочь ему, показать всё, похвастаться. Тот совсем не против, хотя, по глазам вижу, несколько ошалел от сходства нашей героини с рейхсмаршалом.

Геринг перебирает фигурки, протягивая каждую Браверману, – так ребенок делится конфетами.

– Это всё – местного производства, перуанская керамика. Вот та статуэтка тоже перуанская (она крутит в руке какого-то маленького идола, выточенного из слоновой кости), но я не знаю, к какой племенной культуре принадлежит. Знаю, что она очень старая, доколумбовых времен – оттого и дорогостоящая. Она постарше всех нас вместе взятых.

– Где она ее купила? – интересуется Браверман. – Очень красиво!

Перевожу вопрос. Геринг приятно, что она произвела впечатление своей коллекцией:

– Это всё досталось мне от дяди, не того, о котором ты подумала, а от инженера, к которому мы сюда приехали в Перу. Он не родной дядя – просто хороший человек, друг семьи, сочувствующий. После войны он помогал многим людям.

Короткая, но емкая пауза. Что она хотела сказать: нацистам? их родственникам?

Элизабет продолжает:

– Этот наш друг помогал людям после войны покинуть Европу, потому что там в нищете и разрухе, да еще с моей фамилией, ловить было нечего. Он помог нам с мамой и бабушкой перебраться в Перу: мне было шесть лет. Воспоминания об этом путешествии в Перу у меня такие. Из Австрии мы выехали в Италию, добрались до Генуи. Оттуда собираемся отплыть в Лиму. Гигантский корабль. С флагами. На причале – что-то вроде прощальной вечеринки: кто-то смеется, кто-то рыдает в голос… Корабль назывался «Америго Веспуччи». Я помню, как мама и какие-то взрослые вечерами обсуждали, что Гитлер – имя, которое я слышала с детства, – тоже куда-то уплыл, точно так же, на корабле: наверное, они говорили про Аргентину. Сейчас, когда мамы нет, я уже ничего не могу узнать наверняка, – были ли это домыслы, или за этими разговорами скрывались какие-то факты, о которых остальной мир не знал… Я так глупа, что не удосужилась нормально поговорить об этом с собственной матерью. Хотя кого тут винить… Нам пришлось много и тяжело работать. Но сейчас про корабль.

Это было очень красочное, я бы сказала, путешествие. До сих пор помню, какие были страшные штормы. Один раз чуть не

столкнулись с другим кораблем, который прошел ночью в нескольких метрах от нашего. На меня очень сильное впечатление произвел священник, который плыл с нами на корабле, – человек с седыми усами и добрыми глазами. Вспоминаю, как он служил мессу. Все слушали его и плакали. А я была просто потрясена, потому что мне казалось, что окружающие плачут из-за того, что мы вот-вот погибнем. К счастью, я ошиблась. Корабль беспрепятственно вошел в порт Лимы, и мы ступили на берег нашей новой родины. Это было в 1951 году, если совсем точно, то 12 мая 1951 года на причале нас уже встречал «дядя».

Не без его помощи, в том числе и финансовой, мы поселились в районе Мирафлорес – в том самом, где сейчас живете вы. Это прекрасный район. Там же я начала ходить в школу Песталоцци – замечательная швейцарская школа. Всё осложняло то, что мы все, конечно же, не знали испанского языка, культуры, местных традиций. Мир вокруг был другой, непривычный и немного пугающий. Приходилось адаптироваться и привыкать.

Школьные учителя, узнав мою фамилию, часто спрашивали, не родственница ли я Германа Геринга? А я даже и не знала толком, кем он был и что делал. И говорила правду: да, он мой дядя. У нас преподавал один швейцарский профессор, который меня за это невзлюбил. А я долгое время понять не могла, в чем причина.

Президентом в Лиме был в то время генерал Мануэль Одриа. Тут была стабильная ситуация. И всё бы замечательно, если бы в 1954 году не умер «дядя». После его смерти началась совершенно новая жизнь. Когда мы приехали сюда, во главе Перу стояли люди особого класса. У бедных вообще не было прав (а женщинам предоставили избирательное право только в 1955 году). И мы остались тут одни и без ничего, без поддержки. А мама до этого никогда в жизни не работала – и ей пришлось осваиваться тут. Она, конечно, не была к такому готова. Ее, как комнатное растение, вдруг пересадили на другую почву, в другую страну, и ей пришлось взвалить на себя всю ответственность не только за собственную жизнь, но и за жизнь моей бабушки – ее матери и, конечно же, за мою.

– А как матери жилось с такой фамилией, она была же Геринг?

– Нет, она вернула себе фамилию Клазар. История такая. Здесь, в Лиме, была чешская община: мама обратилась туда, чтобы ей помогли найти работу, – просто некуда было больше идти. Та работа, что ей досталась, была далеко не лучшей:

пришлось стать горничной или уборщицей – толком не помню. Но видели бы вы эти отели в Лиме в середине пятидесятых! Понятно, что я не говорю об отелях класса люкс, – речь об этих жутких вонючих бараках с насекомыми и прочей дрянью. Конечно, мама была в ужасе: она укрепилась в мысли, что нужно срочно искать другую работу. И ей повезло. Она нашла швейцарскую компанию, куда ее приняли, правда, с условием, что она вернет себе девичью фамилию и из Милы Геринг снова станет Милой Клазар. Это не было проблемой: мама же всё равно была уже в разводе.

В общем, в этом крупном швейцарском концерне она проработала двадцать пять лет. А потом и меня подтянула к себе – разумеется, не сразу. Сначала, подрабатывая во время учебы, я тоже всякого хлебнула на разных работах, но когда закончила институт, уже сама могла выбирать, где хочу работать.

«Но где был ваш отец, брат рейхсмаршала, Альберт Геринг? И как он допустил всё это, как позволил жене и дочери отправиться в Перу?!» – хочется спросить, но я пока молчу: важно сначала «прощупать друг друга», поговорить о чем-нибудь малозначительном, привыкнуть. И хотя моя визави демонстрирует живость и готовность взять быка за рога, я не спешу. Еще придет время. И тогда она будет со мной намного честнее.

Элизабет тем временем продолжает сетовать на то, что добрый друг семьи скончался, унеся с собой в могилу их спокойный, такой беззаботный поначалу быт в Перу, из чего я делаю вывод, что все три года этот загадочный «дядя» целиком и полностью содержал семью Элизабет. И, думается мне, кое-что он им всё-таки завещал, помимо коллекции замечательных старинных фигурок. Всё-таки маме и бабушке Элизабет, не имевшим в Перу ничего, даже права голоса, было бы логичнее перебраться в другое место, чтобы попытать счастья там. Геринг словно читает мои мысли:

– Мы, конечно, не планировали обосновываться здесь, в Перу, навсегда, – продолжает она. – У бабушки была двоюродная сестра, которая жила в США, еще до войны вышла замуж за американца и предположительно осела в Чикаго. Но так уж сложилось, что добраться туда нам было не суждено, хотя мы постоянно планировали накопить денег и уехать.

– Но если после смерти этого… «дяди» вам пришлось начинать с нуля, то не логичнее было бы в таком случае перебраться в Америку? – замечаю вскользь, но она словно не слышит. Есть что-то, чего, наверное, сказать не может – не поэтому ли отказывается называть мне имя таинственного «дяди», резко меняя тему:

– Вот так Перу стало моим домом. И спустя много лет я ощущаю себя перуанкой. Горжусь своим почти что домом. Да почему «почти что»? Это и есть мой настоящий дом. Мне тут очень хорошо. Если бы вы знали, какие замечательные тут люди!

Пытаюсь заметить, что именно от этих людей она велела мне беречь багаж, деньги и документы в аэропорту, но Элизабет тут же задает вопрос:

– А как вам Перу?

– Пока толком не успела осмотреться, – честно признаюсь я, бросая гневные взгляды на операторов, которые преспокойно сидят и слушают Элизабет, вместо того чтобы давно включить камеры и вовсю работать. Насчет Перу не знаю, но местные жители уже вызывают во мне бурю эмоций!

– Хотите, я принесу пару семейных фотографий? – И, не дождавшись ответа, Элизабет ныряет в арку, растворяясь в темноте затихшего дома.

Она вваливается в комнату с огромным фотоальбомом в красном кожаном переплете.

– Потом я покажу вам фото моих родителей, – улыбается она, – а для начала… Вот… Узнаете?

Она кидает на круглый журнальный стол две старые фотокарточки, и они, скользя по отполированной его глади, словно карты, розданные крупье, оказываются у меня в руках. С одной фотографии на меня устремлены две пары глаз – женщина и девочка лет двух-трех глядят прямо в объектив, а полный мужчина в белом парадном мундире с крестами на груди нежно смотрит на жену и дочь: традиционное семейное фото.

– Тетя Эмми, ее дочь и моя кузина Эдда и дядя Герман, – сообщает Элизабет, словно представляет нас друг другу, хотя я и без нее узнаю всех троих. Другое дело, что мне удивительно слышать, когда кто-то называет Геринга «дядя Герман». – А вот дядя в парадном костюме, – кивает Элизабет в сторону следующей фотографии. На ней Геринг больше похож на себя – точнее на того, каким его знаем мы по фотографиям и кинохронике. И смотрит сквозь время на меня. Я невольно перевожу взгляд с него на Элизабет. И отмечаю: сходство между дядей и племянницей не абсолютное, и если растащить это сходство на черты лица, изгибы, заломы кожи, то, по итогу сравнения, общего у Элизабет и рейхсмаршала окажется крайне немного. Но в то же время, если смотреть в целом, как на витраж из тысячи разноцветных стекол, сложившихся в общую картину, кажется, что они очень похожи, просто невероятно!

Племянница рейхсмаршала догадывается, о чем я думаю, и опережает меня:

– Вы же не хотите сказать, что мы с ним… похожи?

– Хочу. Похожи, – отвечаю я не без провокации.

– Неправда, – замечает она ровным голосом так, словно сообщает мне очевидный факт. – Мы совсем разные люди.

– Но внешне похожи, – настаиваю я.

– Если только чуточку, – улыбается Элизабет и протягивает мне какую-то тонкую красную книжечку. – Знаешь, кто это?

Я догадываюсь: разворачиваю корочку и обнаруживаю внутри три скрепленные крупные фотографии, сделанные, судя по всему, с разницей в несколько минут. С каждой карточки через тончайшую сетку коричневой ретуши на меня обращено одно и то же красивое, гладкое лицо мужчины средних лет, с умными, мягкими карими глазами, улыбающегося в усы. На нем белая рубашка, галстук, серый пиджак. И у него очень тонкие кисти рук – почему-то я всегда обращаю внимание на кисти рук у людей: у мужчины на фото они по-женски изящные.

На первой фотографии, сверкая глазами сквозь десятилетия, он смотрит на меня и, лукаво улыбаясь, держит в руках длинный мундштук, который венчает недокуренная сигарета. На другой – уже прикусывает мундштук, словно собирается вот-вот затянуться сигаретой. На третьей фотографии он уже не смотрит в объектив, а двумя руками со скучающим видом скручивает новую сигарету.

– Знакомьтесь, это Альберт, – сдержанно улыбается Элизабет, – младший брат дяди и мой отец. Он родился в 1895 году и был на два года младше Германа. Сравните фотографии – какие они разные! Мне кажется, я не похожа на отца ни капельки.

По странной ее интонации мне трудно понять, печалит ее сей факт или радует, но я предпочитаю пока что не уточнять.

Думаю о том, насколько Герман и Альберт отличаются внешне, – так и не скажешь, что братья.

– Чешска. – Элизабет тычет пальцем себе в грудь. – Чешска! – повторяет она и, чтобы окончательно уверить меня в этом, легко произносит несколько фраз на чешском – что-то про кошек, мамку и бабку.

Потом она, наконец, усаживается на диван напротив меня и, устроившись поудобнее, продолжает:

– Моя мама была родом из Праги. Из Чехословакии. Чешской республики. Когда мой папа познакомился с моей мамой, то она была Клазар-Нойман. Нойман, как вы понимаете, еврейская фамилия. Отец повстречал маму в Чехословакии, куда приехал, чтобы (по указанию брата Германа) возглавить концерн «Шкода» в 1939 году.

Так. Пытаюсь разобраться. Выходит, что… жена родного брата Германа Геринга, второго человека Третьего рейха, –

чешская еврейка? Из чего следует, что и племянница рейхсмаршала, сидящая передо мной, тоже еврейка по происхождению? Разумеется, сразу вопрос: как такое возможно? Ведь одним из самых тяжких «грехов» в Третьем рейхе считалось преступление против чистоты арийской расы. Или нет правил без исключений?!

Элизабет продолжает:

– Мой отец ненавидел войну и отказался служить в армии, потому что за его плечами была Первая мировая, и больше сражаться он не хотел. Дядя Герман назначил его одним из управляющих заводами концерна «Шкода». «Шкода» – компания, которая производила тогда оружие, машины. Герман давал отцу разные поручения, которые тот исполнял, – кажется, Альберт был ответственным за подготовку оружия к войне. Мне трудно судить, почему Герман отослал Альберта из Германии в Чехию, думаю, причиной было желание скрыть брата от Мюллера, шефа гестапо, и прочих неприятных личностей, ведь мой отец занимался спасением людей, пытаясь препятствовать политике, проводимой Гитлером и Германом Герингом, его родным братом. А Альберт, представляете, приехал в Чехословакию и… женился на моей маме. Вот такой вот сюрприз для дяди.

– Сразу всё усвоить трудно, давайте начнем с того, при каких обстоятельствах Альберт познакомился с Милой?

– Это была вечеринка в честь приезда отца в Чехию, проходила она в каком-то очень крутом, роскошном отеле. И моя мама была – уж не знаю почему – приглашена туда со своими друзьями. Там они с отцом и познакомились. Я думаю, что это было настоящее чувство. Мама была младше Альберта на целых двадцать лет, но влюбилась безумно. По крайней мере сначала всё было, как в сказке, а вот закончилась их история большим разочарованием – мама просто не могла поверить, что эта любовь может обернуться чем-то таким… А отец был бонвиваном, грубо говоря, бабником.

– А как Герман Геринг в принципе позволил своему брату Альберту жениться на чешской еврейке?

– Узнав о свадьбе Альберта и Милы, Герман… выкупил для молодой невесты брата роскошный «мерседес» цвета красного вина. Так что вот. Вопреки всему, мама дяде Герману очень нравилась. У меня даже где-то была их совместная фотография. Не только дядя – вся семья Герингов любила ее. Дядя часто приглашал маму с отцом в свои замки, а их медовый месяц прошел в замке Маутерндорф, в Австрии. Они периодически собирались всей большой семьей: Альберт с Милой, Герман с Эмми и сестры Ольга и Паула. Правда, у Германа с каждым годом

всё реже получалось выбираться на эти встречи. Сейчас кое-что покажу…

Элизабет перетряхивает толстый альбом в красном переплете и вынимает старую телеграмму, зажатую между тяжелыми картонными листами, пожелтевшую от времени.

– Смотри: это поздравительная телеграмма моим родителям от Германа и Эмми, его жены. Я родилась 6 декабря 1944 года. Телеграмма датирована десятым декабря – с небольшим опозданием.

> Deutsche Reichspost
> 33 S BERLIN STABSAMT GOERING OW 1145
> 10 DECEMBER 1944
> = FRAU MILA GOERING
> KRANKENHAUS BAD ISCHL
> WIR SENDEN EUCH HERZLICHE GLUECKWUENSCHE ALLES GUTE FUER MUTTER UND KIND = HERMANN UND EMMY[2]

Элизабет тяжело вздыхает:

– Представляете, всего через каких-то несколько месяцев после этой телеграммы Третий рейх рухнет, Германа Геринга захватят в плен американцы, ну а дальше ты и сама отлично знаешь: начнется Нюрнбергский процесс, где дядя будет объявлен преступником номер один. А дальше – новый виток семейной драмы, который мог бы лечь в основу художественного фильма!

Мой отец во время войны, с молчаливого согласия Германа Геринга, спасал людей от нацистского режима. Скажу больше – это началось с подачи моего дяди. Он был первым, кто обратился к младшему брату Альберту с просьбой помочь подруге своей жены. Моя тетя Эмми Зонеманн была актрисой, и ее подруга вышла замуж за еврея, а в нацистской Германии эта история не могла иметь хорошего продолжения и тем более счастливого конца. Тетя Эмми, добрая женщина, очень хотела помочь подруге и ее мужу-еврею покинуть Германию и буквально взяла мужа измором, заставив пообещать, что он им поможет. Ну а тот сразу обратился к Альберту…

Двадцать первого мая 1946 года тюремный психиатр Леон Голденсон, американский еврей, с которым Герман поладил лучше, чем с остальными, во время Нюрнбергского процесса, задал рейхсмаршалу вопрос, формулировка которого лично меня когда-то сильно удивила: «Я заметил [Герингу], что говорили, будто он помогал конкретным евреям и предотвратил преследование некоторых людей. Может он рассказать об этом

побольше? “Когда ко мне обращались за помощью евреи, я всегда помогал. Конечно, это были люди, которых я знал раньше, а также их друзья и родственники… Я, кстати, внес предложение, чтобы на евреев, получивших Железный крест в Первую мировую войну, не распространялось действие антисемитских законов”»[3].

Элизабет книгу Голденсона не читала, но знает много семейных тайн. Она продолжает:

– Думаю, дядя правда не был антисемитом, как бы странно это сейчас ни прозвучало. Во-первых, он знал, что моя мама не принадлежит к арийской расе, мягко говоря. Во-вторых, он всё-таки был героем Первой мировой и хлопотал за многих своих сослуживцев-летчиков еврейского происхождения. Вот откуда неудавшаяся попытка законодательно пощадить в тридцатые годы тех, кто заработал на войне Железный крест. И еще: вы, наверное, слышали, что во время «Пивного путча» дядю Германа сильно ранили в бедро. Так вот, первую помощь ему, истекавшему кровью, оказал еврей, владелец банка, располагавшегося поблизости. Дядя выжил благодаря этому человеку, и его, спасителя Германа Геринга, миновали все репрессии, что, конечно, невообразимо! Дядя умел помнить добро. Но всё-таки лично помогать евреям Герман не мог. Просто представьте, что было бы, если бы об этом узнал Гитлер? Но Герман обещал помочь друзьями своей жены, рассказал всё Альберту и подписал ему бумаги, открыв тайный «зеленый коридор», – уж не знаю, как у них всё это точно называлось, но по этому коридору прошли сотни человек. И мой отец этим людям активно помогал. А потом Альберт просто обнаглел – стал подписываться именем могущественного брата, понимая, что, в случае чего, тот его прикроет. И у дяди не было выбора – он прикрывал брата. Когда в мае 1945 года Германа Геринга арестовали, Альберт пошел и добровольно сдался в плен американцам.

> Центр допросов Седьмой армии США
> Отчет о предварительном допросе
> 28 июня 1945 года
> Допрашиваемый: Геринг, Альберт. Инженер. Брат Германа Геринга.
> Личные данные: Альберт Геринг родился в марте 1895 года в Берлине. В 1914 году окончил среднюю школу. Воевал на Первой мировой войне и дослужился до 1-го лейтенанта. С 1919-го по 1924 год получал высшее инженерное образование. Позже занимал различные должности, работая по профессии. Его

последним местом работы был концерн «Шкода», он работал там с 1938 года. Геринг настаивает на том, что всегда противостоял нацистскому режиму и из-за своих личных убеждений даже считался «белой вороной» в собственной семье. Он также уверяет, что его едва не арестовало гестапо, но брат спас его в последнюю минуту.

Административные данные: Геринг добровольно явился в CIC в Зальцбурге 10 мая, был арестован 13 мая и доставлен в SAIC в тот же день, на попечение G-2 Седьмой армии.

Документы при себе: австрийский и германский паспорта. Комментарии и рекомендации: источник очень общителен и готов сотрудничать[4].

Элизабет:

– Он действительно пришел к американцам сам. Наверное, отец думал, что информация, которую он знал о спасении евреев, поляков, чехов, сможет помочь старшему брату на суде, в частности смягчить наказание. Но тогда, до начала Нюрнбергского процесса, люди ещё не знали всей правды о жутких концлагерях и массовых уничтожениях.

Альберт хотел доказать всем, что Герман, объявленный главным военным трофеем Второй мировой войны, отнюдь не был кровожадным монстром, – по крайней мере не был тем чудовищем, каким его представляли газеты и радио после мая сорок пятого. Точно я знаю одно: у отца не было иных причин, чтобы прийти и сдаться в плен: в войне он не участвовал, выступал против нацизма, помогал людям. Так что его-то точно не должны были сажать в тюрьму. Но ведь посадили, как только узнали (от него самого), что он брат Германа Геринга. И даже когда, спустя месяцы, вся правда про Альберта открылась, его не хотели отпускать из-под ареста – до тех пор, пока не появились свидетели, люди, которых отец спас (не без помощи брата, между прочим).

В общем, папа, отправившись спасать Германа и явившись в ставку к американцам по доброй воле, вряд ли осознавал, что скоро его самого тоже нужно будет спасать…

Конфиденциально

Отчет от 19 сентября 1945 года

Результаты допроса

Результаты допроса Альберта ГЕРИНГА, брата РЕЙХСМАРШАЛА Германа, состоят из такой продуманной попытки обелить себя, какую SAIC вряд ли

когда-либо видела. Альберт Геринг. Отсутствие тонкости в его поведении равносильно количеству жира в его тучном брате.

Его карьера почти полностью приходится на период подъема Нацистской партии. Будучи скромным инженером по термодинамике в 1930 году, он вдруг резко поднялся по карьерной лестнице…

Альберт Геринг утверждает, что его жизнь была не чем иным, как нескончаемым противостоянием с гестапо. Кажется, что и рейхсмаршал больше ничем и не занимался, кроме как вырывал своего брата из тисков, в которые тот попадал, то защищая старую еврейку, которая отказалась салютовать «Хайль Гитлер», то вежливо-пренебрежительно отзываясь о партии. В 1938 году он был поражён, когда увидел, как два человека из СА принуждают шестидесятилетнюю еврейку драить улицы соляной кислотой.

Источник настаивает: «У меня не было отношений с братом как с государственным чиновником. Мои отношения с ним как главы заводов “Шкода” можно обозначить как “понимание”. А мои отношения с ним как с братом были прекрасными». Он настаивает, что Герман Геринг часто спасал ему жизнь и никогда не пытался препятствовать его самаритянской деятельности [по спасению людей от режима], а только предостерегал. Когда бы они с братом ни встречались, всегда старались избегать разговоров о политике.

Альберт утверждает, что в последние полтора года ни для кого не являлось тайной, что влияние БОРМАНА, ГИММЛЕРА и ГЕББЕЛЬСА на ГИТЛЕРА было значительно сильнее, чем у его брата даже в самые лучшие времена. Герману ГЕРИНГУ было известно о влиянии ГЕББЕЛЬСА, но он никогда не верил, что ГИММЛЕР тоже испытывает враждебность по отношению к нему.

В заключение. Источник настаивает: он твердо убежден в том, что война закончилась бы намного раньше, отрекись Гитлер от власти или умри, – в этом случае его брат Герман ГЕРИНГ стал бы ФЮРЕРОМ, как это и было задумано.

Элизабет, которой я выборочно зачитываю текст документа, своей подвижной мимикой красноречивее любых слов комментирует каждую фразу. В конце концов просто не выдерживает, – и я понимаю, что мысль о дяде, который мог бы

возглавить Германию, приходит ей достаточно часто:

– Я лично считаю, что Герман Геринг мог взять на себя бразды правления. И, возможно, это было бы настоящим спасением для несчастной, обескровленной войной Германии, потому что дядя был прирожденным политиком и был по-настоящему умен. Он смог бы вытащить всех из глубокой ямы, в которую Германия провалилась из-за Гитлера.

Я должна пояснить: Гитлер обещал Герингу, что если с ним что-то случится, то дядя унаследует командование. Но Гитлер не отказался от власти до последнего, он не сказал: «Я проиграл, всё кончено, так что, может, кто-то другой должен занять мое место».

В общем, Геринг ждал долго и, наконец, решился. Когда Гитлер узнал о дядиных посягательствах на власть на жалких руинах, что когда-то были Германией, то незамедлительно объявил Германа предателем. И если бы вы, русские, не пришли, то дядю просто-напросто расстреляли бы, потому что он уже содержался под арестом. Гитлер, сумасшедший придурок, не осознавал, что это была отчаянная попытка Геринга изменить то, что они оба сотворили. Фюрер посчитал, что его соратник просто захотел власти, – ну не на пепелище же! Очевидно, что дядя Герман просто хотел исправить ситуацию и спасти то, что можно было спасти! По крайней мере именно эту версию я слышала от своей семьи.

В голосе Элизабет я слышу искреннее сожаление. Она абсолютно уверена: стань дядя во главе рейха, всё было бы замечательно. Но пока она не утянула меня за собой в рассуждения о внешней и внутренней политике рейха, спрашиваю: так что же сталось с Альбертом, ее отцом? Неужели он действительно спасал людей? В такое, согласитесь, поверить трудно. Элизабет вдруг подпрыгивает и хлопает в ладоши, как ребенок, – она, кажется, уже знает, что ответить на мой вопрос (в эту секунду она очень похожа на Германа – с такой же подвижной мимикой и неуемной энергией, с таким же блеском в глазах и абсолютной увлеченностью предметом нашей беседы):

– А вы знаете, какой у меня знаменитый крестный? Ох, надо мне было с этого начать! Я ведь очень-очень горжусь своим крёстным отцом! Он – мировая знаменитость! Он великий композитор – Франц Легар. (Элизабет вдруг начинает громко насвистывать какую-то знакомую мелодию – ну точно, это же оперетта «Веселая вдова»!) Мой отец во время войны спас жену Легара Софи, еврейку. И в 1944 году великий композитор стал моим крестным, представьте себе. Я как человек, выросший в музыкальной семье (мой отец Альберт Геринг играл аж на нескольких музыкальных инструментах, а мама в юности пела в

опере в Праге), невероятно счастлива иметь такого крестного!

С этим связана еще одна любопытная история. Когда отца арестовали в 1945-м и допрашивали, ему никто не верил: над ним потешались, издевались, дразнили. Поначалу просто не было свидетелей, способных подтвердить, что он действительно спасал людей от нацистского режима. И вдруг – это просто невероятно – каким-то чудом племянник Софи Легар, офицер Виктор Паркер, тоже еврей, эмигрировавший в свое время в США и служивший там в армии, оказался в Германии, в Нюрнберге, рядом с местом, где допрашивали отца. Наверное, кто-то сказал ему: «Знаешь, есть некто Альберт Геринг, который утверждает, что спасал людей. В их числе – и жена композитора Франца Легара». На что Паркер ответил: «Так и было! Софи – моя тетка!» И он дал первые показания в пользу моего отца.

– Итак, после ареста Германа Геринга доставили в Нюрнберг для проведения процесса. Более того, в Нюрнберге оказался и ваш отец, крепко «завязнув» в отчаянных попытках спасти главного нацистского преступника, своего брата…

Элизабет кивает: да, они оба были в Нюрнберге во время самого крупного военного трибунала в истории.

– Госпожа Геринг, вы когда-нибудь думали о том, как могла произойти встреча братьев в тюрьме? Представляли себе?

– Не знаю, – напрягается Элизабет, пуская рябь морщин по лицу и поджимая уголки губ, – наверное… наверное, они обнялись. Бросились бы друг к другу в объятия, если бы не было охраны и кучи прочих условностей… Потому что, я знаю от мамы, они очень любили друг друга. И Герман всегда оставался для Альберта дорогим старшим братом. А у дяди привычка спасать Альберта вообще срабатывала как рефлекс – с детства.

– Госпожа Геринг, кое-что не сходится, – начинаю я, извлекая заготовку (листок бумаги с напечатанным загодя текстом). – В книге тюремного психиатра Леона Голденсона, который встречался с главными обвиняемыми во время Нюрнбергского процесса, есть записи бесед с вашим дядей. Вот что сам Геринг говорил о своем брате Альберте Геринге в марте 1946 года, за несколько месяцев до своей смерти: «Он никогда не был членом партии… жил в Австрии и был противником партии до 1938 года. Потом я назначил его иностранным директором заводов “Шкода” в Праге. Это было до оккупации Чехословакии… он всегда был моим антиподом. Его не интересовала политика или война, а меня – как раз наоборот. Он был тихий, а я любил толпу и компанию. Он был меланхоликом и пессимистом, а я оптимист. Он неплохой человек – Альберт… Этот мой брат, Альберт, счастливо женат. Он всегда выглядел на десять лет старше меня.

Возможно, потому, что всё воспринимает слишком серьезно».

Я зачитываю эти строки Элизабет. Она слушает, но временами пытается меня перебить. Несколько раз кивает и даже делает печальную гримаску на фразе «счастливо женат», в очередной раз перебивая меня репликой:

– О да, я потом расскажу об этом отдельно – о том, чем закончился счастливый брак моих родителей. Так что у тебя там еще?

– А еще, – добавляю я, – Геринг говорит психиатру: «Я думаю о своем брате Альберте. Вы просили рассказать меня о моем родном брате, а я едва ли могу что-то о нем рассказать. Это странно, но так типично. Мне сейчас подумалось: почему мы были чужими?» – Поглядываю на Элизабет – она улыбается. – И тут автор, Голденсон, добавляет от себя: «Казалось, что Геринг, перечисляя различия между собой и младшим братом, оправдывается».

– Не оправдывается! – Элизабет, на устах которой торжествующая улыбка всезнайки-отличницы, во время последних фраз просто распирает от желания перебить меня. – Он снова пытается спасти брата. Он что, дурак, чтобы заявлять: «У нас с братом замечательные отношения»?! Это ж своей рукой подписать Альберту, которого мариновали в том же Нюрнберге, приговор! Ложь – это единственный способ помочь брату: так что дяде впервые в жизни пришлось отказаться от Альберта (мой отец, наивный правдолюб, напротив, пер на рожон, яростно настаивая на своих добрых отношениях с Германом). Правду знали всего несколько человек, только семья – Альберт, Герман и их сестры Паула и Ольга, мои тети. Да еще и моя мама, которая была с ними в близких отношениях. К тому же Герман, как ты, наверное, знаете, с огромным подозрением относился к этим тюремным психологам и психотерапевтам. Наивно было бы полагать, что военные, назначенные исполнять роль психологов, будут думать о профессиональной этике в ущерб судебному процессу. Герман был не дурак, всё он отлично понимал и старался не откровенничать с этими людьми. Поболтать – с удовольствием: а что ему делать в камере-одиночке? Но уж не исповедоваться им. Это факт. Об этом моей маме говорила тетя Эмми, его жена. Так что да, Герман Геринг, последний подонок, как считали все без исключения на суде, всё-таки думал о брате: не только о Гитлере, рухнувшем великом рейхе и прочей дребедени, что канула в Лету. Он думал и об Альберте.

– Выходит, когда после мая 1945 года ситуация изменилась, – подхватываю я, – Альберт решил вернуть долг: рискуя жизнью, пришел спасать брата, да еще и родство признал открыто, зная,

что с фамилией Геринг это будет тяжело…

– Невероятно тяжело. Но я думаю, что дело не только в моральном долге перед Германом. Хотя… и это тоже. Альберт всегда был к нему привязан.

Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия 11:00 – 12:00 3 сентября 1945 года полковником Джоном Э. Аменом

Вопрос: Поднимите правую руку и поклянитесь, что всё, что вы скажете, – правда, только правда и ничего кроме правды.

Альберт: Клянусь.

Вопрос: Каково ваше полное имя?

Альберт: Альберт Геринг.

Вопрос: Вы понимаете по-английски?

Альберт: Немного. Но не достаточно.

Вопрос: Сколько вам лет?

Альберт: Пятьдесят один год.

Вопрос: Вы женаты?

Альберт: Да, я женат.

Вопрос: У вас есть дети?

Альберт: Да, у меня есть восьмимесячная дочь.

Вопрос: У вас есть другие дети?

Альберт: Нет.

….

Вопрос: Где вы работали?

Альберт: Я был инженером и работал на заводах «Шкода».

Вопрос: В Чехословакии?

Альберт: Да.

Вопрос: Чем конкретно вы занимались?

Альберт: Я был исполнительным директором по экспорту, и мой офис находился не в Праге, а в Бухаресте. Я отвечал за всё юго-восточное направление по Европе. То есть за Болгарию, Югославию, Румынию, Венгрию, Грецию и Турцию. Я отвечал за обеспечение этих стран товарами мирного потребления, которые мы производили в то время. Например, локомотивами, дизельными двигателями, электрическими двигателями, кранами…

Вопрос: С какого времени вы занимали эту должность? Альберт: С 1939 года до конца.

Вопрос: А чем вы занимались до 1939 года?

Альберт: До 1939 года я работал в германо-итальянской компании, производящей фильмы. «Тобис-Италиано».

Вопрос: На какой должности?

Альберт: Я был директором.

Вопрос: Герман инвестировал деньги в этот концерн?

Альберт: С полной уверенностью могу сказать, что он никогда не инвестировал деньги в эту компанию, он не имел к ней никакого интереса.

Вопрос: А что с компанией «Шкода»?

Альберт: Не думаю, что у него была какая-то материальная заинтересованность в заводах «Шкоды», однако поскольку экономикой Протектората управлял рейх, то заводы подпадали под ответственность Германа Геринга…

Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия 10:45— 12:40 25 сентября 1945 года лейтенантом Робертом Х. Джексоном

Вопрос: Ну а теперь расскажите о своих отношениях с братом Германом.

Альберт: Прежде всего, следует четко разделить вопрос на две части, если уж вы спрашиваете об «отношениях». Первое – это мои отношения с ним как с частным лицом, моим братом. Второе – это мои отношения с ним как с государственным чиновником. Если говорить о нем как о моем брате, то он был добр ко мне и всегда пытался помочь, как я уже говорил на предыдущих допросах. Как братья мы были очень близки друг другу, и у нас были вполне нормальные братские отношения – как в любой семье. Как с чиновником я с ним никаких дел не имел. И должен сказать, что с 1923 года, с того самого момента, когда была организована [нацистская] партия, я был одним из самых ярых ее противников и активно выступал против этой партии. И я не имел с ним дел как с представителем этой партии.

Вопрос: Мы к этому вернемся.

Альберт: Да.

Вопрос: Были ли между вами и вашим братом деловые отношения? Какого рода?

Альберт: У меня также не было никаких деловых

отношений с ним, за исключением того, что я возглавил заводы «Шкода». Я был там инженером, а заводы «Шкода» входили в число заводов, принадлежащих Reichwerke Hermann Goering, и, если смотреть на это под тем углом, под которым смотрите вы, то да, у нас были такие деловые отношения.

.....

Вопрос: Работу на «Шкоде» вы получили через своего брата, не так ли?

Альберт: Нет, как раз наоборот. Несколько чехов пригласили меня на эту должность, среди них был Бруно Солецки, который разыскал меня в Вене и попросил работать на «Шкоде». Я спросил разрешения у брата.

Вопрос: Когда это было?

Альберт: Я под присягой и не могу сказать точно, но примерно в конце 1938 года или в начале 1939 года, да, я всё же думаю, что в начале 1939 года. Тридцать девятый – это, скорее всего, самое позднее, когда это могло быть, потому что год я посвятил тому, чтобы узнать, как функционируют заводы, чтобы разобраться, а потом уже направился в Бухарест, в мае 1940 года.

Вопрос: В любом случае, вы начали работать на «Шкоде» после аннексии Судетов, верно?

Альберт: Думаю, что так.

Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия 10:45— 12:40 25 сентября 1945 года лейтенантом Робертом Х. Джексоном

Альберт: Я всегда был склонен помогать тем, кто нуждался, невзирая на национальность, страну, возраст или на то, иудей он или христианин. Я помогал людям из Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии и Германии, когда это было необходимо, вне зависимости от того, были они бедны или хотели эмигрировать, и я никогда не желал получить за это ничего взамен, потому что делал это, исходя из своих религиозных убеждений.

Вопрос: Какова ваша религия?

Альберт: Я принадлежу к протестантской конфессии, но я был и в ортодоксальных церквях, и в синагогах. Я был на буддистских и брахманистских службах: атрибутика в данном случае значения не имеет. Бог один. Но я принадлежу к протестантской конфессии.

Свидетельские показания Альберта Геринга, взятые в Нюрнберге, Германия 11:00— 12:00 3 сентября 1945 года полковником Джоном Э. Аменом

Вопрос: Вы когда-нибудь брали деньги с некоторых из [спасённых вами] людей?

Альберт: Ни одного пенни.

Вопрос: Ни от кого?

Альберт: Всё, что я делал, было продиктовано гуманистическими соображениями и религиозным долгом, и я никогда не получал за это денег. Ни от кого.

.....

Вопрос: Доводилось ли вам периодически выступать посредником между вашим братом и теми, кто хотел получить от него какие-то милости?

Альберт: Возможно, вы не вполне точно формулируете вопрос, допуская, что я действовал как посредник и связывал тех, кто хочет получить какие-то привилегии, с моим братом. Верно то, что я много раз звонил ему по телефону, когда хотел помочь людям и когда я сам хотел воспользоваться его влиянием для этого.

Вопрос: То есть это чистое совпадение, так?

Альберт: Когда меня допрашивали в центре допросов Седьмой армии в Аугсбурге, я дал им полный список всех своих звонков, которые я делал, и приложил огромную таблицу, которая включает имена тех, кому я помог. К примеру, там есть и евреи, которым я помог выбраться из Дахау и которым помог эмигрировать. Так же, есть имена [канцлера Австрии] Шушнига и [эрцгерцога] Йозефа Фердинанда, которым я также помог бежать. В любом случае, я надеюсь, что эти бумаги окажутся у вас и вы сможете посмотреть их, – и они лучше меня смогут сказать вам то, о чем вы спрашиваете.

Вопрос: А ваш брат всегда выполнял то, о чем вы его просили?

Альберт: Настолько, насколько был в силах. Изначально у него была власть, чтобы делать это. Позже – уже нет, потому что Гиммлер стал более могущественным. Он [Герман Геринг] всегда имел доброе сердце и, когда слышал о какой-то несправедливости, о которой я ему рассказывал, всегда пытался поступать правильно…

Элизабет задумывается:

– Мне кажется, в Нюрнберге Альберт был такой один – человек, не использовавший в отношении Германа Геринга слов вроде «убийца», «чудовище». Оно и понятно, конечно. Но это не могло не вызывать раздражения среди прокуроров и судей: им казалось, что Альберт хочет спасти брата и гнусно лжет, обеляя и себя и Германа.

Мой отец, насколько я знаю, часто поддразнивал своего брата Германа на семейных посиделках и встречах: «Ой, ты такой глупый, что в одной куче с этим Гитлером и нацистами!» При этом Герману приходилось спасать Альберта от тюрьмы много раз. Потому что его регулярно пытались арестовать за протесты против режима. Альберт вообще любил провоцировать нацистов. На улицах. В открытую. Совершенно бессовестно. Без чувства страха. Понимал ли он, что Герман всегда его прикроет?

Как мне рассказывала мама, когда Альберта в который раз посадили в тюрьму в 1944 году, Герман сказал ему: «Я больше не смогу помочь. В следующий раз мне просто не удастся тебя вытащить. У меня у самого из-за этого проблемы».

Много дней спустя после разговора с Элизабет нахожу вот

такие строки в протоколах допросов Альберта Геринга от 25 сентября 1945 года:

> Альберт: Когда я увидел его [Германа Геринга], он сказал мне, что это действительно последний раз, когда он помогает мне, потому что у него сейчас большие проблемы. Это было 1 февраля или, может быть, 31 января текущего года. Он сказал мне, что у него был невероятно трудный период жизни и что был приказ о моем аресте, который был подготовлен Киллингером, что являлся посланником в Бухаресте, потому что я помог некоторым евреям. Этот последний приказ о моем аресте, о котором я сейчас говорю, был подготовлен в январе этого года и подписан главой гестапо Мюллером, который также был обергруппенфюрером в СС.
>
> Вопрос: Ну а теперь расскажите нам о ваших остальных арестах, где, когда и за что, были ли вы в заключении, или вас кто-то вытащил?
>
> Альберт: Так было в Бухаресте. И случилось прежде всего потому, что я ничего не мог поделать с представителем Германии и тамошними членами партии [в Бухаресте]. Я поддерживал отношения с компанией моих инженеров и югославов. То же самое было в Праге, Софии и в Бухаресте. А Киллингер, который в то время исполнял свои обязанности, приглашал меня несколько раз то на обед, то посетить лекцию, – в общем, что-то в этом роде. Однажды один из советников посольства встретил меня и задал вопрос, почему же я всё время отказываюсь от приглашений? И я ответил, что лучше я буду общаться с водителем такси, чем буду сидеть рядом с убийцей. Потому что Киллингер убил Ратенау[5]. Спустя некоторое время мой ответ передали Киллингеру, и он был в ярости, и снова и снова доносил на меня в гестапо, а также говорил о том, что я отказываюсь вступать в партию.
>
> Вопрос: Не расскажете ли кратко, где, когда и почему вы были арестованы?
>
> Альберт: Спустя некоторое время меня стало преследовать гестапо в Праге за то, что я защищал чехов на заводах «Шкода» и боролся против немецкого влияния. Потом подготовили ордер на арест от гестапо из Праги. На меня был написан донос, который отправили к Нейрату, а от него – к моему брату. Документ гласил, что я продолжаю помогать евреям и, в

частности, помог еврейской семье, и что я хлопотал за них, чтобы помочь получить иностранное гражданство, чтобы они могли эмигрировать. В конце была приписка: «Как долго вы позволите этому гангстеру продолжать его деятельность?» А в следующий раз дело было в Бухаресте, когда я, в разговоре с друзьями, назвал Гитлера самым главным преступником всех времен…

Вопрос: И Герман способствовал вашему освобождению каждый раз, когда вас арестовывали?

Альберт: Меня арестовывали не каждый раз, но когда приходили приказы и ложились ему на стол, он всегда помогал мне. В последний раз, в феврале, он сказал мне, что делает это в последний раз, потому что больше не сможет мне помочь… Ему пришлось помочь мне даже с женитьбой, потому что гестапо нетерпимо относилось к тому, что я собираюсь жениться на чешке…

Вопрос: Ваш брат был довольно жестким человеком, не так ли?

Альберт: Нет, напротив, очень мягким. Он делал всё для наших сестер и кузин, чересчур баловал их, я бы сказал портил. И мне это не нравилось. Я жил своей жизнью и не зависел от него…

Вопрос: А что говорил ваш брат, когда вы говорили ему о том, какие жуткие вещи творят с евреями?

Альберт: Ну, его обычной реакцией были слова о том, что всё слишком преувеличено, потому что у него-то есть точные отчеты обо всем. Он говорил мне, что не стоит смешивать дела государственные с деяниями историческими, потому что у меня не хватает политических знаний. Его обычные слова были такими: «Ты – политический идиот!» И что я создаю ему много трудностей из-за того, что смешиваю все эти вещи, но, вы знаете, он же здесь, в камере номер 5, и сам может рассказать вам об этом. Я также знаю, что в другом протоколе допроса он назвал меня «белой вороной в семье». Он назвал меня аутсайдером.

Элизабет Геринг никогда не читала протоколов допроса своего отца. Но в целом согласна с дядей: он вообще ей ближе по духу, чем отец. Она говорит:

– Герман-то добился всего, чего только мог добиться в своей жизни: достиг пика военной карьеры, правда, при наличии Гитлера он не мог прыгнуть выше, чем прыгнул. А Альберт – он был бонвиваном. Эдаким красавцем-бабником. Он никогда не

демонстрировал своих амбиций, никогда не желал иметь больше, чем необходимо: был счастлив тем, что имеет. После войны он не пытался биться за улучшение жилищных условий, что-то делать для своей семьи, может, просто время было не такое хорошее и неправильно было бы вообще думать о покупке и приобретении каких-либо вещей для своей семьи. Наверное, в лучшие времена он бы проявил какие-то свои амбиции – не знаю. Зато знаю, что он действительно работал до войны в киноиндустрии и был дружен со многими евреями в Австрии. У него было очень много друзей-евреев: доктора, директора, продюсеры…

Кстати, я хочу кое-что дополнить про его работу на заводах «Шкода». Чехи периодически устраивали саботажи на производстве. А мой отец, будучи на высокой должности, об этом знал, стараясь делать так, чтобы информация не выходила за рамки узкого круга лиц. Но однажды о саботаже узнало немецкое правительство. Отец рассказывал маме, что всех чехов, что принимали участие в нем, погрузили в машины и увезли – и никто никогда о них больше не слышал. В то время работал на заводе один парень, ему было лет пятнадцать, так вот, спустя много лет этот парень тоже дал свидетельские показания в пользу отца, сказал, что Альберт из собственного кармана содержал семьи тех, чьих отцов и мужей забрали навсегда. Потому что некому было заботиться об этих семьях. Так что это интересный штрих к портрету отца. Он был хорошим милым человеком, он по-доброму относился к людям разных национальностей, спасал их, помогал как мог. Но… – Вдруг она смолкает, насильно приклеенная улыбка исчезает, и Геринг тихо добавляет: – Но я, единственная дочь, его совсем не волновала…

Я вижу: ее живость куда-то улетучилась, она устала и хочет передохнуть. Сергей Браверман тоже машет мне: мол, закругляйтесь, нужно поменять точку съемки, дать героине время отдышаться.

– Говорить обо всем об этом не так просто… – Элизабет с облегчением встает с дивана и разминается, покрякивая. – О давно минувших временах, когда я была совсем крошкой. Какие-то воспоминания стерлись, какие-то спутались, прямо как волосы, понимаешь? И мне трудно разобраться: забываю фамилии, путаю некоторые факты, но, в общем, думаю, что не слишком привираю. И потом – главным источником того, что я знаю про времена Третьего рейха и Нюрнбергского процесса, являются не исторические факты и документы, а внутрисемейные истории: то, что рассказывали мои тети Ольга и Паула и, конечно же, тетя Эмми, жена Германа, которая дружила с моей мамой, – ну и мама, разумеется. К сожалению, она умерла. Она бы вам

понравилась – столько всего знала! Увы, не хватило мне сил и терпения написать книгу: надо было крутиться, работать, выживать и еще успеть пожить, наконец.

– Госпожа Геринг, – говорю серьезно, – может быть, всё-таки стоит написать?

– Может, и стоит. Если получится. Сейчас у меня, как всегда, дел по горло. Слушайте, давно хотела сказать, не могли бы вы с Сергеем называть меня Элизабет? Ненавижу эти формальности: «госпожа Геринг». Давайте просто по имени.

– Просто Элизабет?

– Да, – улыбается она, – Элизабет. – И тут же, обернувшись к Сергею: – Ты понял? Называй меня Элизабет!

Элизабет просит несколько минут и исчезает за аркой гостиной. Сергей спрашивает:

– Ну как, тебе нравится, что она рассказывает?

– Да, – говорю, – любопытно, думаю, теперь можно будет поинтересоваться и ее собственной судьбой. Интересно, когда мы познакомимся с ее сыном Ренцо?

– Скоро. Мне кажется, он где-то тут!

– Глупости! Мне кажется, кроме неё и перуанской прислуги, дома никого. Кстати, как тебе операторы?

– Я делаю всё, что могу. Но нажимает ли он кнопку записи вовремя? В общем, вскрытие покажет.

– Надеюсь, не мое вскрытие…

– Я хочу вас кое с кем познакомить! Сейчас! Через пару минут! – Элизабет влетает в комнату, сверкая улыбкой: усталости как не бывало – вся гладенькая, довольная, со свежим розоватым блеском на губах.

– Так Ренцо здесь, дома?

– Да, – кивает Элизабет.

– Я же тебе говорил, – улыбается Сергей.

– Рен-цооо! Порфавор! Моментито! – Элизабет кричит что-то по-испански в черную глотку арки. В ответ – тишина. Через несколько секунд – шорох. И вот в освещенную комнату, чуть морщась и смущаясь, входит двухметровый парень: темные глаза, кудрявые каштановые волосы – удачная смесь перуанца и европейца. Очень милое и несколько напуганное лицо. – Ренцо! Это Ренцо! – словно конферансье на сцене, Элизабет гордо представляет его: – Вот он, мой сынок!

Всей интернациональной съемочной группой здороваемся с Ренцо, а я на глаз пытаюсь определить, сколько ему лет. Наверное, несмотря на выдающийся рост, он чуть младше меня: молодое лицо, крепкое тело, в перспективе склонное к полноте. В

общем, даю Ренцо лет двадцать пять. А может, и того меньше. Во сколько же лет она его тогда родила?

Ренцо в это время обезоруживающе улыбается и что-то лопочет по-испански.

– Он, к сожалению, совсем не говорит по-английски, – бесцеремонно перебивает сына Элизабет, – но я смогу переводить. Итак, это Ренцо де ла Кадена.

Вот оно что! Таинственный де ла Кадена, которого я приняла за третье лицо, и есть ее сын?

– А это тоже Ренцо. – Мать тычет полным юрким пальцем куда-то за спину сыну, и тут я замечаю огромную фотографию, как раз у выхода из гостиной: в длину, как и в ширину, метра полтора. Боже ты мой, где были мои глаза?! Я ж по этой комнате круги наворачивала! Вот что значит внутреннее напряжение. А на фотографии, которой так гордится наша героиня, Ренцо и Хосе Каррерас в обнимку. Элизабет добавляет: – Два тенора!

– Черт возьми! – Мы с Браверманом с удивлением смотрим сначала друг на друга, а потом снова на фотографию: этот парень, что, оперная звезда уровня Хосе Каррераса?

Элизабет громко смеется и поясняет, видя наше изумление:

– Когда Хосе Каррерас и Лучано Паваротти были в Лиме, то выступали с большим хором, а поскольку Ренцо со своими коллегами еще работает и в главном хоре столицы, то они с ребятами пели вместе с Паваротти и Каррерасом. После выступления, на которое пришло более пяти тысяч человек, люди, что пели в хоре, подходили фотографироваться с тенорами. Каррерас был очень любезен, не то что Паваротти! Смотрите, какое фото получилось. Классное, правда?

Мы киваем. Фото и правда классное. Ренцо краснеет от смущения. Его мама – от гордости. И сразу вопрос:

– Ренцо, а ты интересуешься историей семьи? Что для тебя значат твои предки? Интересна ли тебе история Альберта?

Элизабет голубкой воркует по-испански. Ренцо улыбается, задумывается и после паузы произносит, тыча пальцем себе в грудь, как ребенок:

– Ренцо-Альберт де ла Кадена.

Мать продолжает ворковать, уже на английском:

– Да, я назвала его Ренцо-Альберт в честь своего отца Альберта Геринга. Несмотря ни на что…

– А никто никогда не интересовался происхождением Ренцо? В смысле поклонники таланта? Не спрашивали о принадлежности к семье Геринг?

Элизабет кивает:

– Иногда спрашивают. Не так часто. К примеру, недавно был

такой вот случай: спросили про мою фамилию и, как следствие, сразу про происхождение Ренцо. Я сказала: «Вы действительно хотите узнать больше? Но сначала скажите мне, будет вам плохо от того, что я не стану отрицать нашей родственной связи с Германом Герингом? Ведь если это вам неприятно и в перспективе этот факт может затруднить наше общение, то я лучше промолчу».

– Не слишком ли ты опекаешь Ренцо? За несколько минут я уже успела определить, что ты сумасшедшая мать! Что он сам думает о твоей чрезмерной опеке?

Судя по всему, – попадание в яблочко. Я убеждаюсь в этом через секунду, когда, проигнорировав попытки сына узнать у нее перевод вопроса, мать начинает отвечать сама:

– Чрезмерная опека – это не мой случай. Не мой. Я большая поклонница одного индийского психолога, в своих книгах он постоянно повторяет: «Ты не владеешь своими детьми. Ты – их гид. В те моменты, когда ты им нужен, будь проводником. Веди их. Следует сделать их независимыми так скоро, как это возможно, чтобы они сами несли за себя ответственность. Потому что если этого не сделать, то тебя трудно будет считать хорошим родителем». Согласно этой теории, когда каждому из моих детей исполнялось двенадцать лет, я устраивала семейную вечеринку. И написала в честь этого даже небольшую поэму…

– Каждому из детей? – перебиваю ее.

– У меня еще сын. И дочь, она живет в Ла Молина… – На секунду теряю дар речи от удивления. Элизабет продолжает: – Когда каждому из моих детей исполнялось двенадцать лет, я устраивала праздник, а после, в завершение, говорила: «Теперь ты взрослый, то есть отныне несешь ответственность за собственную жизнь! Вы все видите, что я постоянно работаю, нахожусь вне дома, не могу вас контролировать. Так что теперь вы сами должны делать выбор, уметь различать, что есть для вас добро, а что зло. Если вам нужны плохие компании, наркотики, коих тут несметное количество, или какая еще дрянь, то вы непременно (и это в лучшем случае) доведете себя до суда и тюрьмы, – поверьте, тут никто не застрахован. Ну а если вы попадете в тюрьму, знаете, что я сделаю? Я буду носить вам передачи. Например, вкусные фрукты. И… и на этом всё. Потому что я не смогу сделать ничего больше – не смогу повлиять на ситуацию и изменить ее. Так что внимательнее относитесь к себе, заботьтесь о своем здоровье и думайте обо всём, что вы делаете».

Ренцо, я и Сергей в шесть глаз смотрим на Элизабет, которая во время своей вдохновенной речи не просто стягивает всё внимание на себя, но потрясает своей схожестью с сами-уже-

поняли-кем.

Ренцо понимает только испанский. Сергей – вот оно, тлетворное влияние работы с переводчиками, – только русский. Выходит, смысл всего вышесказанного сейчас понимаю только я. И меня он, признаться, несколько пугает. Те факты, которые я успела узнать про Перу в целом и Лиму в частности, во время многочасового перелета истерзав путеводитель, вовсе не казались мне доступными для понимания двенадцатилетних детей. Может ли, думаю я, глядя в лучистые светло-коричневые глаза Ренцо, ребенок понимать, что наркотик это зло, когда этот самый наркотик – обычный ходовой товар, который порой находит тебя быстрее, чем ты его? Может ли ребенок понимать, что вокруг, помимо всего прочего, пышным цветом расцветает то, что напугает любого взрослого: насилие, работорговля, жизнь на окраинах, которая иной раз кажется страшнее смерти.

– Мне самой пришлось рано повзрослеть. – Элизабет говорит очень эмоционально, и ее руки рассекают воздух вдоль и поперек на сотни неправильных и неравномерных кусочков. – Оказавшись в незнакомой стране, с незнакомым языком, которым ни я, ни мама, ни бабушка не владели, пришлось быстро адаптироваться. Мама пропадала на работе, бабушка тащила на себе весь быт – подумайте, до меня ли им было? Бабушка, Мария Клазар, часто брала меня с собой на рынок, к врачу, туда, где надо было хоть что-то понимать по-испански: сама она знала только чешский.

Плюс ко всему мы отличались от местных жителей внешне. Да и внутренне, что говорить! Тут вообще принято, чтобы баба не только тащила на себе всё, послушно и молчаливо, но при этом еще и не напрягала мужа, который целыми днями напролет хлещет алкоголь и играет с дружками в карты!

Дождавшись, когда Элизабет собьется, чтобы перевести дыхание, Ренцо вдруг лихо вворачивает в ее монолог какую-то фразу. Она кивает в ответ и тут же, оборвав сына на полуслове, продолжает:

– Ренцо начал петь, когда был совсем крошкой. Он сидел в своем маленьком кресле в машине, которую я вела. Разумеется, у меня там постоянно играла музыка. И вдруг я замечаю, что малыш, которому год от роду, начинает имитировать звучащие мелодии. Сначала подвывать. Потом – петь в такт музыке.

Музыка всегда была связующим звеном между нами. Это значит, что она нас всех объединяла. Мы пели с Ренцо и его братом с самого детства. Пели всегда и везде. У нас и собака музыкальная была. Помню, мы не могли записать песню на магнитофон, потому она нам подвывала «вуууууууу!». А потом нас с сыновьями стали приглашать выступить на разные социальные

мероприятия. Надо сказать, мы никогда не брали за это денег! И это было прекрасно, потому что мы делились тем, что умели, с остальными.

– Ты хочешь сказать, что музыка помогла решить абсолютно все проблемы? – усомнилась я.

– Не все, конечно. Но всё-таки музыка на детей влияет положительно. У нас тут в школу идут рано, Ренцо я отправила туда в три года. В подготовительную школу, разумеется. И он пошел со своим братом Майклом, который старше почти на год. Майки было четыре, а этому три. И в школе затевалось очередное мероприятие на Рождество – праздничная постановка. Должна сказать, что мы все католики. Мой отец был протестантом, но мама, после того как семья распалась, обратила меня в католическую веру, так что и я, и мои дети – католики. Так вот, эта рождественская постановка в их школе была просто чудовищной: когда нестройным хором воют дети – слушать невозможно. И тогда я спросила у ответственного учителя: можно я со своими мальчиками после постановки спою короткую праздничную песенку? И нам разрешили. Каково же было всеобщее удивление, когда мы с моими двумя крошками спели сложнейшее трехголосие! В общем, это было здорово! Ладно… – Элизабет вдруг теряет к теме всяческий интерес. – Давайте пока отпустим Ренцо: ему нужно отъехать на полчаса в банк, а потом он вернется. Как раз и Майки, старший сын, должен вот-вот подойти.

Я приятно удивлена, что Элизабет так ответственно подходит к съемкам, – да, она берет за это деньги, но ведь подготовилась, предупредила всю семью, вынудила приехать старшего сына. Многие герои фильма отказывались показывать даже фотографии своих детей и внуков, имен не называли, чтобы лишний раз никто не ассоциировал их отпрысков с Третьим рейхом и Гитлером, некоторые отказывались сниматься в домашних интерьерах…

Элизабет другая. А может, всё потому, что в нашей долгой переписке, еще «на берегу», Геринг попросила меня крайне внимательно проследить за тем, чтобы не случилось утечки и отснятый материал, усилиями жуликоватых перуанцев-операторов, вдруг не пошел на местном телеканале.

Мы с Сергеем просим Ренцо немного рассказать о себе. И мать, наконец, переводит сыну вопрос, но, пользуясь минутной задумчивостью воспрявшего было Ренцо, сама же начинает отвечать:

– Вы спросили о том, кто такой Ренцо. Я скажу: мой сын – один из лучших теноров в Лиме. Он мое солнышко, моя радость, счастье. Он более домашний, более спокойный, чем Майкл. И

очень сознательный – вы даже представить не можете, насколько он ответственный. Кстати, он теперь мой работодатель. Много лет я, как моя мама, проработала на крупные концерны – была и переводчиком, и ответственной за закупки серьезной техники. В свое время покупала для компании подводные лодки. Еще я работала в компании, которая занималась распространением электроэнергии по всей стране. Я даже успела какое-то время проработать в лаборатории. Но в итоге – я счастлива этим – меня и Ренцо полностью поглотила музыка. В моем доме ее обожают все. Мой старший сын Майкл, к примеру, обладает прекрасным басом. Я им тоже очень горжусь. Но Ренцо, в отличие от Майки, сделал музыку своей профессией, а я стала его импресарио, агентом. Кстати, он неплохо зарабатывает. Последние восемь лет мы живем в этом доме, таунхаусе, который купил Ренцо. Это его апартаменты, практически весь дом. Сурко, кстати, очень хороший район. Но больше всего меня радует сквер под окном. Какое же счастье – каждое утро кормить белок в парке!

Кстати про белок… С утра пораньше я иду кормить зверей в скверик. Нет, ну, конечно, сначала я принимаю ванну, привожу себя в порядок, и тут обычно начинаются телефонные звонки. Мы ведь проводим свадьбы и другие мероприятия, похороны, крестины, модные показы, корпоративы. Ренцо поет везде – он очень востребован в Лиме. Так что мы очень занятые люди и не можем жаловаться на это. Иногда меня спрашивают, почему Ренцо не поет в Европе или где-нибудь еще? Там можно заработать большие деньги. У нас есть такой друг, Хуан Диафлорес, он прославился в Европе. Зарабатывает и там и тут. И живет очень хорошо. Так что Ренцо, наверное, стоит приглядеться к Европе. Я бы хотела, чтобы он попытался. Но в будущем. Сейчас он налаживает свою жизнь здесь. Ренцо холост. Но ему и не нужно сейчас жениться, я считаю, потому что человек он очень основательный. Ему сначала нужно заиметь крышу над головой…

То есть, эту «крышу над головой» она без всяких дискуссий оставляет за собой, а сын пусть работает и покупает еще?! Она, выходит, действительно всё решает за бедолагу Ренцо – не только говорит за него? Но, с другой стороны, насколько же крут этот Ренцо, если к своим двадцати с небольшим годам купил такой дом в Лиме? Он что, с четырнадцати лет деньги откладывал? Разумеется, нужно понимать, что по цене стандартной московской двухкомнатной квартиры вы можете купить себе несколько таунхаусов в Лиме. Но всё-таки тут и оплата труда намного ниже.

С другой стороны, Элизабет оценивает свои съемки в фильме не в перуанских солях и даже не в долларах. А в евро. В тысячах

евро. Возможно, думаю я, Ренцо с детства выступает за валюту? Значит, не пропадёт: какую-нибудь даму он неминуемо осчастливит чуть попозже – мало того, что парень интересный и воспитанный, так еще и работящий.

Я смотрю на улыбающегося Ренцо, родственника могущественного рейхсмаршала Германа Геринга, который даже не догадывается о том, что в эту секунду его авторитарная мама обсуждает со мной его судьбу и перспективы. Мне Ренцо немного жаль: очень не хочется, чтобы такой замечательный парень дал трещину под мамочкиным каблуком. Я, в отличие от Элизабет, считаю, что ему нужно срочно жениться и побыстрее отвалить в самостоятельную жизнь. К тому же в свои двадцать с лишним пора бы серьезно задуматься о покорении Европы – дальше может быть уже поздно: чай, не мальчик. Это если, конечно, поверить Элизабет на слово, что у Ренцо действительно уникальный голос. В любом случае завтра у нас будет возможность его послушать.

– Ренцо замечательный сын. Всю свою жизнь он наблюдал, как я боролась, пытаясь заработать деньги, к тому же весь дом был на мне. Всё потому, что мой брак оказался далек от идеального, увы. Я вышла замуж за перуанца Анхеля де ла Кадена. И совершила роковую ошибку. Но в любом случае я бы не стала ее исправлять, даже если бы имела возможность, потому что у меня два замечательных сына. Дочь Жанетт – другая история. Она мне не родная. Она родственница Анхеля, но так сложились обстоятельства, что я о ней забочусь, – хорошая девочка, дружит с моими мальчиками. Но с ней вы познакомитесь потом. Так вот, про Анхеля…

Я всегда была самостоятельной: окончила швейцарскую школу, у меня вообще способность к языкам, так что я сразу после окончания изучила международную торговлю и окунулась в работу. Я стала получать высокий оклад и, заработав первые приличные деньги, сразу купила кусок земли – и вообще много чего могла себе позволить. До того момента, как я, к несчастью, вышла замуж. Ведь перед этим у меня были планы куда-то уехать. Сначала, конечно, в Европу, увидеть отца, а потом отправиться в США. Я хотела работать там, найти кого-нибудь милого и начать новую жизнь.

– А как мама, Мила Клазар, относилась к твоему мужу?

– Она его от души ненавидела. И не она одна – все мои друзья в конечном итоге отвернулись от меня из-за него, а может, я сама дистанцировалась? Не понимаю, что со мной случилось, почему я так резко переменилась из-за Анхеля. Муж – это точно – главный ляпсус моей жизни. Я поняла это только когда на свет появился мой первый сын Майкл. И я призналась себе: да, я

несчастна, Анхель – неправильный, не подходящий мне мужчина. Но всё равно я должна родить еще одного ребенка, ведь я всегда страдала от одиночества, потому что была единственным ребенком, и не позволю, чтобы мой малыш был так же одинок, как я. Мне приходилось самой развлекать себя: читать книги, рисовать, я даже разговаривала с животными – настолько была одинока. В общем, почти через год после появления на свет Майкла я родила еще одного ребенка. Это был Ренцо. И для меня он – просто солнышко, правда. Ренцо очень близок со мной. И они такие разные! И никогда не вместе. Потому что Микки – ну вот он такой, да. А Ренцо абсолютно другой. Он дисциплинированный, бежит вперед паровоза, очень прилежно работает. Микки тоже много работает, правда, он не такой закрытый, как Ренцо, – у старшего сына невероятное количество друзей, он живет ими и для них. Он более «социальный» человек. И его обожают все – мужчины, женщины, дети. Есть такие люди, которые всем нравятся.

– Где сейчас твой бывший муж? Куда он делся? Помогает тебе, видится с сыновьями?

– Конечно, этот человек существует где-то в пространстве. Но для нас он, как говорится, что есть, что нет… Папаша периодически возникает на пороге, чтобы о чем-то попросить, а ты говоришь – помогает… Ну конечно! Но это вполне типичная ситуация для Перу, насколько я слышала. Потому что мужчины тут в большинстве своем такие.

– Любой ребенок хочет иметь полную семью. Ты же сама была одинока, оказалась с мамой и бабушкой в чужой стране: не жалеешь о том, что рассталась с Анхелем? Ведь для детей это, наверное, было болезненно…

– Нет, совсем нет. Он жил с нами, и дети, когда стали уже что-то понимать, сказали сами: «Мам, чего ты от него ждешь? Ты же понимаешь, что папа не переменится? Почему ты не разведешься с ним?» Да, Анхель напрягал их своим типичным и крайне распространенным среди местных мужчин желанием – быть главным и непререкаемым авторитетом в семье. Но как может быть авторитетом человек, если ничего не зарабатывает и ни к чему не хочет прикладывать усилий? Если вся забота о детях, доме, финансах – только на мне? Сказать по правде, мне не нужен мужчина, который будет содержать меня, – нужен просто хороший товарищ, поддержка и опора, потому что руки и мозги у меня у самой есть, а этого вполне достаточно для того, чтобы иметь заработок. Конечно, я даже сейчас хотела бы, чтобы появился мужчина, который смог бы позаботиться обо мне. Но такого не было, я постоянно была одна, и сыновья всё это видели.

Я учила их: посмотрите вокруг! Вы хотите свой дом и хорошую машину? Или, может, мечтаете иметь бассейн у дома? В таком случае вы должны учиться и работать – и тогда заработаете на это своими руками. Потому что быть таким, как ваш отец, – стыдно. Не хотела бы, чтобы вы повторили его судьбу.

– Но, Элизабет, ты интересная женщина. Более того, для многих здешних мужчин – экзотика! Неужели так сложно найти того самого человека?

– Я просто невезучая. К тому же здешним мужчинам нужны женщины, которые не настолько амбициозны и самостоятельны. Я говорю не про деньги, а про желание чего-то добиться. Может быть, им нужны более пассивные женщины, которые никогда ни в чем не отказывают и ничего не требуют взамен, которые всегда под боком, занимаются стиркой, присматривают за домом, позволяя мужьям без проблем уходить с друзьями играть в карты и развлекаться?! Такое тут сплошь и рядом!

Конечно, поначалу ты уверен: с тобой-то этот человек будет другим. Глупости. На самом деле, «предупреждающие звоночки» я слышала еще в юности. У меня были подружки, болтушки и хохотушки, которые при мужчинах лишний раз боялись не то что рот открыть – глаза поднять! А я много читала, любила высказывать собственное мнение по поводу и без и не считала нужным молчать в присутствии мужчин – молодых, пожилых, – не важно. Помню, стала замечать, что своим поведением сильно смущаю подруг и молодых людей, с которыми мы общались.

Мужчины выбирают тех, кого хотят подавить своим влиянием, а со мной это не работает. Невозможность с этим смириться – вот, наверное, главная ошибка моей личной жизни…

Обличительную речь Элизабет прерывает звонок в дверь. Молчаливый Ренцо, несколько приунывший во время рассказов своей мамы, смысл которых от него ускользнул, вижу, несколько взбодрился: заерзал на диване, заулыбался. Взгляд карих глаз, направленный куда-то внутрь себя, стал снова осмысленным и задорным. Элизабет тем временем, преодолев вперевалочку несколько метров, уже открывает входную дверь: «Таня, Сергей, господа операторы! Это мой старший сын Майкл!»

Майкл – полная противоположность Ренцо. Он подтянутый, уверенный в себе (что тут же бросается в глаза – на контрасте с Ренцо), в черной кожаной куртке поверх черной обтягивающей мышцы водолазки, в черных джинсах и остроносых ботинках. У него черные волосы, которые, в отличие от копны младшего брата, почти не вьются, черные глаза и хищный нос, волевой тяжелый подбородок, высокий лоб и пухлые губы, которые, однако, не придают лицу и толики мягкости, – напротив, старший

брат выглядит мужественно, я бы еще добавила – сексуально. Каждое движение Майкла выдает в нем скрытую породу: такого, как Майкл, многие проводят взглядом на улице – и предметом их интереса будет вовсе не то, что в нем течет кровь Германа Геринга, даже если вы сообщите им сей факт. Майкл усаживается рядом с Ренцо, с прямой спиной, сложив пальцы в замок и закинув ногу на ногу, Элизабет присаживается с другой стороны; так ей видно и меня, и обоих сыновей.

– Ну что ж, давайте познакомимся с Майклом! Ты говоришь по-английски или по-немецки?

– Ein bisschen, – сдержанно улыбается он, – a little. Черт возьми, а у него и вправду шикарный бас. Ему и петь не надо – пусть просто говорит: уже музыка! Мне хочется подпереть руку головой и, внаглую разглядывая его, жадно вслушиваться в любые обрывочные слова и фразы. Но насладиться басом мешает знакомое напористое сопрано:

– Можно я скажу пару слов о Микки? – Старший сын снисходительно улыбается, кивая маме, которая, ерзая, как гиперактивный ребенок, хочет похвалиться им. – Майкл – инженер-эколог. Это его главная профессия, хотя я говорила вам, что он еще и прекрасный бас, поет в рок-группе. (Майкл сдержанно кивает, улыбаясь уголками губ.) К сожалению, по роду профессии ему приходится находиться далеко от Лимы: к примеру, он практически весь прошлый год провел в сельве, лесах Амазонки! (Так вот как он избежал участи Ренцо, мелькает у меня в голове.) Он был и в Пуно, недалеко от Куско. Там находится самое высокое озеро в мире – Титикака, это на границе с Боливией. Наконец-то Майки оттуда вернулся, чему мы с Ренцо безумно рады!

Судя по всему, безумно рада этому обстоятельству только Элизабет: оба таких разных сына сдержанно улыбаются друг другу. Майклу, наверное, тяжеловато находиться рядом с мамой и Ренцо – с ними ему просто не хватает воздуха. Майкл ловит мой взгляд и понимающе улыбается:

– Я попробую рассказать немного… хотя мой английский не так хорош… Я работаю с местным населением, живу с ними. Живу в общинах индейцев. Мы с местными ребятами уже как семья…

– Да-да! – вступает Элизабет в паузе, пока Майкл тщательно подыскивает нужные слова. – Он не дискриминирует коренное население из-за того, что они не слишком образованны. Более того, у этих людей можно кое-чему поучиться. Так что никакого вам расизма, шовинизма и нацизма. Вот в Европе, куда я ездила два года назад, я осознала, что люди до сих пор живут какими-то

реалиями прошлого, к примеру нацизмом. Есть даже неонацисты – невообразимо! Тут, в Перу, людей отличает лишь наличие или отсутствие образования. Конечно, у каждой страны свои проблемы: в Перу это наркотики и насилие. Но неонацистов-то нет!

В разговор, вдохновленный примером старшего брата, осторожно вступает Ренцо – он живо реагирует на слово «нацизм». Вижу, в нем еще теплится надежда, что старший брат поможет с переводом. Но на помощь сыну приходит Элизабет:

– Ренцо как раз вспомнил случай, как несколько итальянских туристок, с которыми я познакомилась, спросили: «Как вы можете жить под тяжким бременем своей фамилии и вины?» И я, к их удивлению, ответила: «А с какой стати мне чувствовать себя виноватой? Я никого не притесняла и не убивала!»

Ренцо, воспряв духом, пытается что-то добавить. Дав ему произнести ровно три слова, Элизабет подхватывает:

– Да, точно! У нас тут неподалеку в Сурко есть аптека, которой владеют евреи. Они увидели мою фамилию в документах и задали тот самый вопрос про Геринга. Я, разумеется, родство подтвердила. А они сказали: «Уходите, нам противно, что вы находитесь в нашей аптеке». «Ну, – сказала я, – без проблем. Раз неприятно – я ухожу».

– А я, – замечает Майкл, – как-то в юности познакомился с поляком. Мы были ровесниками. Кажется, звали этого парня Малик. Мы тогда, помню, крепко подружились. И как-то он взглянул в мои бумаги, увидел фамилию мамы, задал вопрос про Германа Геринга – образованный парень. Получив честный ответ, он сказал, что, наверное, не стоит нам так крепко дружить – достаточно просто оставаться знакомыми. Всё потому, что его дедушка погиб в концентрационном лагере и, как Малик признался, в нем живут сильные предубеждения против фамилии Геринг и крови, которая во мне течет. Я не очень понимаю, при чем тут я, какое отношение я в принципе могу иметь к преступлениям рейхсмаршала?! Но были и другие реакции… Помню, как-то познакомился с парнем из Германии – так он был в полном восхищении от моей родословной, стал набиваться в друзья. Такое поведение тоже странно, не находишь?

Понимаю, что Майкл желает услышать мой ответ: «Нахожу, что странно. Потому что, следуя логике твоего польского друга, я имею причины ненавидеть тебя не меньше: ты же понимаешь, сколько миллионов советских людей погибло?»

– Но ты ведь нас не ненавидишь? – уточняет он, глядя на меня в упор.

– Нет, – пожимаю плечами, – с какой стати?

– Видишь ли, – продолжает Майкл, удовлетворенно кивнув, – в Перу, к моей личной большой радости, люди вообще мало интересуются Второй мировой войной. И Геринга совсем не знают. Вот Гитлер – другое дело. Хотя… это уже больше… больше…

– Имя нарицательное, – встревает Элизабет, – Однако же я лично знаю людей, которые называют «Гитлером» собак, кошек и даже детей. Но Гитлер для них скорее персонаж – не фюрер, не идеолог. Они просто знают, что есть такой усатый мужик, который что-то орет с трибуны – и то больше по фильмам.

Майкл соглашается:

– Они не слишком информированы на этот счет. Что касается моего личного отношения к Герману Герингу, то скажу просто: в каждой семье не без урода. Да, есть один такой в роду…

– Но в твоей семье, – замечаю, – есть и Альберт Геринг, который пытался спасать людей во время войны. Просто о нем практически никто не знает.

– Плохие люди более популярны, чем хорошие. Зло привлекательнее, – улыбается старший брат, игнорируя попытки младшего вставить слово. – Криминальные хроники имеют очень высокий рейтинг, а у нас тут в Перу – что ни новости, то непременно кровь и криминал. Почему зрители не интересуются так же сильно чем-то положительным? В свете всего этого Герман Геринг, близкий к Гитлеру, будет всегда намного популярнее своего хорошего брата Альберта. Скажу больше: если бы Альберт не был родным братом Германа, то плевать на него было бы и тем немногочисленным любителям истории, которые о его поступках знают. И тебе тоже было бы плевать.

Майкл прав. И что к этому добавить?

– Да, – соглашаюсь, – вы с братом наполовину перуанцы. Но в вас есть и немецкая кровь. А есть ли какие-то немецкие черты характера?

Замечаю, что Майкл переводит этот вопрос брату. Они оба полминуты что-то обсуждают на испанском, к ним, разумеется, присоединяется Элизабет.

– Семейный совет постановил, – улыбается Майкл, – что есть две черты: это дисциплина и ответственность. Перуанцы (это их национальная черта) постоянно опаздывают и подводят. Не все, разумеется. Но большинство.

– А я… – Элизабет ерзает на диване, мучимая желанием выговориться. – …Генетически скорее чешка, чем немка. Чешская культура мне ближе. Мне нравится быть щедрой. У меня бабушка была очень щедрая женщина, любила помогать людям, наготовить еды и раздать бедным. Немцы же очень покладистые,

исполнительные, что ни прикажи, то «яволь!». Прежде чем я на что-то отвечу «яволь!», я сначала должна вникнуть в суть, понять, что, зачем, почему и для чего. И только потом принимаю решение, надо ли мне оно. Мне кажется, Майкл такой же. Он живет в лесах с полудикими людьми, объясняет им, как надо вести себя, когда приходят представители крупных компаний и хотят захватить их земли, чтобы вырубить лес. Он объясняет им, что не надо никого убивать, что есть цивилизованные способы – суды, забастовки. А также – блага цивилизации, которыми они тоже не должны брезговать, – лекарства, например, и прочие полезные вещи.

– Они отличные ребята, эти местные, – добавляет Майкл с теплотой, – конечно, с ними тоже непросто. Чтобы тебе доверяли, ты должен быть рядом. Ты должен уметь делать всё то, что делают они. Жить в их хижинах, есть то, что едят они, а это червяки и личинки. Они срубают дерево, а потом в его коре выращивают червей. И когда черви вырастают, становятся длинными, белыми и жирными, их жарят и едят. И я тоже ем. Это блюдо называется «сури». Местные говорят: всё, что движется по джунглям, – съедобно. Так что человек может есть всё, что движется. Главное – не других людей. Во всех смыслах.

– Ну вот, видите, какие у меня замечательные дети, – сияет Элизабет, – хотя, честно сказать, в детстве они доставляли проблемы. Но я придумала свой личный метод воспитания – «метод Элизабет Геринг», надо бы запатентовать!

– Рискнешь поделиться? – спрашиваю.

Элизабет улыбается и подмигивает сыновьям:

– Так и быть, дарю! Я долго объясняла детям: видите, как я надрываюсь для того, чтобы обеспечить вас всем необходимым? А вы, значит, ленитесь учиться?! (Было такое дело.) Ну хорошо! С завтрашнего дня я не куплю вам даже леденца – вы должны сами на него заработать. И заработок ваш будет пропорционален баллам вашей готовой аттестации. Если вы получаете 19 или 20 баллов в итоговый зачет, то каждый получает по сотне долларов!.. Дикие деньги в то время. Но я была уверена, что набрать 20 баллов, то есть дать максимальный результат, – задача невыполнимая. Но, представьте себе, Майкл оказался упорным. И получил 18 баллов. В общем, мне пришлось дать ему 50 долларов. А потом мы придумали систему ежемесячной отчётности. В конце месяца, в день, когда я получала зарплату, мои дети приходили ко мне со своими аттестатами, и мы втроем садились и высчитывали, кто сколько денег получит.

Еще я приучала их к церкви. Поскольку мы католики, как и большинство жителей Южной Америки, то часто ходили в

церковь. И, конечно, мои сыновья больше развлекались, чем слушали скучные проповеди священника. Как-то после проповеди я достала в церкви гитару. И сказала детям: «Поем для Бога, стараемся не фальшивить, а то ему не понравится!»

Обычно мы шли в церковь к семи утра, совмещая приятное с полезным, – выгуливали собаку. Так вот, однажды утром две старушки стали нашей первой аудиторией. На следующей неделе, в воскресенье, в церкви к семи утра было уже в два раза больше старушек – четыре. И с каждым воскресным утром число старушек росло в геометрической прогрессии, а мои сыновья постепенно привыкли петь на публике – нас с ними как раз стали приглашать выступать и по особым поводам. Например на Рождество.

На диване царит оживление: все трое о чем-то дискутируют.

– Сколько тебе лет? – вдруг спрашивает Майкл.

– Двадцать семь.

И снова бурное испанское трехголосие.

– А с чего такой вопрос? – интересуюсь у Майкла.

– Просто любопытно. Мне кажется, ты смотришь на нас с Ренцо как на детей. А сама-то еще маленькая.

– Уж постарше вас буду.

– Постарше нас? Редко встретишь даму, которая гордится тем, что может помериться с тобой возрастом. – Майкл смеется, обнажая белые зубы. Ренцо, как ребенок, с полуоткрытым ртом внимательно ждет, когда кто-нибудь переведет ему, почему все так веселятся.

– Мне тридцать четыре. Ренцо тоже исполнилось тридцать четыре. – Вдруг говорит Майкл, отсмеявшись. И у меня отвисает челюсть – прямо как у перуанца Альваро в его обычном состоянии. Выходит, что малыш Ренцо – вовсе не малыш?

Семья с интересом смотрит, как меняется выражение моего лица: судя по всему, оно выдает недоумение. Ренцо краснеет, Майкл снова заливисто смеется, хлопая себя по ногам, Элизабет, мать семейства, снисходительно улыбается и по-совиному вращает головой, поглядывая то на меня, то на сыновей, то на Сергея с недоумевающими перуанцами.

– Ладно, – говорю, когда хохот Майкла стихает и все немного успокаиваются, – у меня есть еще один вопрос. Я знаю, что в Америке живет женщина по имени Беттина Геринг. Она – ваша родственница. И много лет назад приняла решение не иметь детей, чтобы не «рожать монстров», то есть не продолжать род Германа Геринга…

Вижу, как Ренцо, заметив перемену в мимике матери и брата, локтем толкает Майкла, требуя перевести вопрос, и тот переводит

брату мои слова. Элизабет напряженно слушает.

– Как вам такая позиция?

Элизабет закусывает губу, Ренцо шепотом начинает что-то говорить Майклу, тот явно возражает в ответ, к диалогу присоединяется мать, и разговор переходит в шумное крещендо на испанском, резюме которого мне через минуту озвучивает сама Элизабет:

– Мы не считаем, что это… нормально. Но Беттина, о которой я, кстати, читала в какой-то американской газете, такая не одна. Моя кузина Эдда, единственная дочь Германа Геринга, тоже не родила детей. И даже замуж не вышла. Правда, не стерилизовалась и не делала свое решение достоянием общественности.

– Так вы… лично знаете Эдду? – Я удивлена. Хотя, с другой стороны, что тут странного: они всё-таки близкие родственники.

– Знаю, – кивает Элизабет, – я встречалась с ней два года назад. Правда, первый и единственный раз в жизни. Эдда – очень закрытый человек. После того как умерла ее мать, моя тетя Эмми, кузина очень одинока. Со мной она поддерживала связь (открытки, звонки раз в год, чтобы поздравить с днем рождения) все эти годы по единственной причине, что она и я – мы обе настоящие Геринг. Когда я говорю «настоящие», я имею в виду те, кто вправе носить эту фамилию. Потому что все остальные родственники – не Геринги. Ведь по праву только Альберт и Герман носили эту фамилию. Да, в семье были еще две сестры Ольга и Паула, которые вышли замуж и, как положено, сменили фамилию…

И осталась Эдда, которая не может передать ее по наследству. И я, Элизабет Геринг. Я тоже не могу передать кому-то эту фамилию, потому что я женщина. Так заведено. После нас с Эддой род Герингов оборвется. А мои мальчики, Ренцо и Майкл, носят фамилию своего отца – де ла Кадена.

Что до Беттины, то она – внучка сводного брата Германа и Альберта, этот брат был сыном Генриха Геринга от первой жены… От второго брака, с Франциской Тифенбрунн, у него четверо детей: Герман, Альберт, Паула и Ольга. А из родственников от первого брака я вообще лично никого не знаю.

Теперь по поводу громких заявлений Беттины – желания оборвать род и не иметь детей… Думается мне, что это штука очень личная. Я вот считаю, что несу ответственность только за свои действия. Я не сделала ничего плохого и не обязана взваливать на плечи грехи предыдущих поколений и тащить их на себе крестом. Ну было, как вам кажется, жуткое чудовище у меня в роду – так что, мне теперь не жить? Это нечестно! У меня тоже

есть шанс – шанс, который я даю себе сама. И я пользуюсь им, потому что иметь детей – это благословение. Другое дело, что мы должны воспитывать своих детей так, чтобы они не стали монстрами. Но, смею надеяться, мои дети другие. Я даже представить не могу, что в ближайшем будущем кто-то из них станет как Герман Геринг, изберет его путь, пойдет по его стопам. Нет!

С другой стороны, дядя Герман изначально был неплохим человеком: он получил прекрасное воспитание. Что с ним потом случилось – вот в чем вопрос! Как он мог слепо следовать за каким-то непонятным Гитлером?! Загадка. Люди, которые изучали дядин интеллект, проводили в тюрьме тесты на IQ, по результатам их отметили, что он не только образован, но и умен. Короче… я совсем запуталась. Я, честно говоря, не знаю, почему дядя так изменился и стал тем, кем стал, но… Но нет! Я – не он. И дети мои никогда не будут как он. Вот и всё.

Элизабет ставит точку.

– Давайте-ка пообедаем! – объявляет она. – Как лучше поступить: мне пойти приготовить что-нибудь или смотаемся всей большой компанией в китайский ресторан неподалеку? Я угощаю!

– Как тебе удобнее?

– По мне… – Элизабет устало улыбается. – По мне так лучше к китайцам. Потому что не нужно будет убирать и мыть посуду. Тут все любят китайскую пищу?!

У входа в ресторан мы прощаемся с красавцем Майклом: ему нужно ехать по делам. Сергей жмет ему руку и похлопывает по плечу. Мы же со старшим братом целуемся три раза – «по-русски». Майкл несколько смущен, но доволен – скорее всего, он рад покинуть нашу шумную компанию под предводительством своей активной мамы.

Элизабет с Ренцо ныряют в китайский ресторанчик. Оборачиваюсь на Майкла и с сожалением думаю о том, что такой мужчина – ощутимая потеря для нашего общества. Он оборачивается, улыбается мне краешками губ и кивает на прощание.

Тем временем мать и младший сын уже облюбовали большой круглый стол и жестами приглашают нас к себе: «Ну и что вы там копаетесь?! Неужели не голодные?!» – шумит Элизабет, стягивая с себя пуховую куртку. Альваро и Пабло занимают другой столик, поменьше. Элизабет заказывает кучу еды и, наравне со мной, лихо орудует палочками, распорядившись, чтобы Сергею принесли европейские приборы. Ренцо вдруг становится более словоохотливым и пытается рассказать нам о том, что увлекается

астрономией, вселенными, галактиками и Стивеном Хокингом. У них с Сергеем завязывается диалог о черных дырах и прочих вещах (мы с Элизабет переводим).

Геринг оживает, когда приходит время десерта и нам приносят печенье с предсказаниями:

– Так, выяснилось, что мы с Сергеем обезьяны по китайскому календарю, а кто ты? Крыса? Отлично…

После ресторана, пока Ренцо, Сергей и Альваро отдыхают в просторной гостиной Элизабет, хозяйка предлагает мне осмотреть ее квартиру. В распоряжении Геринг три этажа (со второго по четвертый) и крыша с импровизированным зимним садом, отделенная от последнего этажа стеклянной дверью. Здесь – стол для пинг-понга, кресло и диван.

– Играешь? – киваю на стол.

– Нет, я не играю. Мальчики иногда. Но Микки живет отдельно и заезжает к нам нечасто. Кстати, обрати внимание, на столе – специальное защитное покрытие, это от кошек.

– От каких кошек?

– Сейчас… – После подъема по лестнице Элизабет никак не может отдышаться. Она медленно ковыляет к стеклянной двери: «Аш! Ашличек! Ашличка! Митч! Ау!»

Откуда-то сверху, с крыши, доносится громкое упрямое мяуканье. Элизабет оборачивается ко мне и заговорщицки поясняет: «Они всегда опасаются, что я поведу их мыться. Они не любят мыться. Ашличка! Милый! Ганнибал! Ау!»

Элизабет продолжает ласково ворковать, и я не сразу понимаю, что она говорит по-чешски! Уму непостижимо! Племянница Геринга общается со своими кошками на чешском языке. Между тем Элизабет упрямо созывает кошек, и я, наконец, вижу источник громкого «мяу», который, осторожно спускаясь по маленькой лесенке, внимательно смотрит на нас ярко-желтыми глазами. Он похож на маленького льва темно-голубого окраса. Хозяйка тут же начинает причитать:

– Это всех моих малышей так обкорнали эти… ужасные люди! Я же просила – только не уродуйте кошек! Видишь, шерсть на голове оставили, а по всему телу обкорнали, да как криво! Ужас и кошмар! Этот кот был просто огромным меховым шариком. Давай, кстати, вас познакомлю. Его зовут Аш. Ашличка, подь!

Насколько я понимаю, фраза «ужасные люди» относится к помощникам Элизабет по хозяйству. Мне удалось заметить двоих. Одна – та самая перуанка, что открыла дверь, когда мы утром впервые переступили порог этого дома, другой – мужчина в возрасте, уж не знаю, за что он отвечает, просто промелькнул

немой тенью, когда мы поднимались сюда с третьего этажа.

Тем временем Аш, убедившись, что я не буду его купать, спускается, продолжая истошно мяукать. Он с удовольствием подставляет огромную голову под ладонь Элизабет, когда та, кряхтя, наклоняется, чтобы его погладить, а потом начинает настойчиво путаться под ногами, мешая хозяйке дойти до кресла: она снова наклоняется, чтобы взять его на руки.

Геринг плюхается в большое кресло, с удовольствием погружаясь в него, как в зыбучие пески:

– Ты нравишься Ашу, – сообщает она доверительно.

– С чего ты это взяла? – спрашиваю.

– Сама увидишь. Сейчас придет к тебе ластиться.

Через несколько минут, как она и обещала, кот по-хозяйски запрыгивает мне на колени и требует, чтобы его гладили и чесали, а потом чесали и гладили – и наоборот.

– Я попозже представлю тебя остальным, – сообщает Элизабет, – там на крыше прячутся Сиси, Митч и Ганнибал. Ашличек просто посмелее! Но, бог ты мой, как же нелепо их постригли!

Я отдаю Элизабет кота, снимаю с шеи свою зеркалку и выставляю на режим записи:

– Я поснимаю тебя немного с Ашем, – не возражаешь?

– Нет, – немного устало улыбается Элизабет. И я понимаю, что мне нравится деловой подход этой самостоятельной женщины. Она не жеманится, не позирует, не умалчивает, в общем, отрабатывает по полной. Это внушает уважение и симпатию. Да что ж такое! Неужели все представители ее рода обладают этим талантом – внушать симпатию?!

Альберт Шпеер в мемуарах писал о мощном обаянии Германа Геринга, которое он, как и свою улыбку, включал и выключал, «словно рубильник». И что удивительно: при описании Германа Геринга и Шпеер, и два тюремных психиатра в Нюрнберге, и остальные – все неизменно сравнивают рейхсмаршала с ребенком – «обычно доброжелательный, иногда явно мрачный, в своих поступках похож на ребенка, постоянно играет на публику».

«Как ребенок» – через каждую строчку. Очень необычно.

– Знаешь, – задумывается Элизабет, – у меня всегда были кошки. Я их обожаю. С тех самых пор, когда была совсем малышкой. Я постоянно общалась с ними, разговаривала – наверное, в этом тоже проявляется одиночество, если кошка твой лучший друг и собеседник. Однажды, когда я вернулась из школы, моя кошка собралась рожать. Дома – никого. И мне пришлось выступить в роли акушерки. Так что котяток я сама вытаскивала на свет божий и перерезала пуповину. А потом

принимать кошачьи роды стало для меня делом привычным.

– Любовь к кошкам у вас черта семейная.

– Да? А почему ты так говоришь? Мой отец, Альберт Геринг, обожал собак, просто до тряски.

– Я говорю про Германа.

– Про дядю?

– Да. Видела много хроники, где он играет с львятами.

– С львятами? Хм… То есть, думаешь, что любовь к кошкам у нас в крови?

– В случае с Герингом, – признаюсь ей, – не знаю. Думаю, что это была не любовь. Сублимация.

– То есть? Почему?

– Потому что эта история с любовью ко львам началась в середине тридцатых годов, тогда все считали, что Геринг не может иметь детей.

Элизабет задумывается:

– Да, в первом браке с Карин фон Канцофф у них не было детей. Я лично думаю, что это была вина Карин.

– Но у нее был ребенок от первого брака.

– Но больше-то не было. Герман её очень любил, но, видно, не судьба…

– Она умерла. А в 1935 году он женился на сорокалетней Эмми Зонеманн…

– Но тетя Эмми-то родила Германа Эдду!

– В 1938-м, когда никто уже и не надеялся. И ей, и Герману было уже за сорок.

– Никогда не смотрела на эту ситуацию под таким углом, – задумывается Элизабет. – Возможно, тут есть рациональное зерно. То есть, полагая, что у него никогда не будет детей, он… как бы… переключился на кошек?

Мы обе смеемся над нелепостью формулировки.

– Давай я тебе кое-что прочитаю про твоего дядю и львов, – предлагаю я Элизабет, прикрывшей глаза.

– Давай, – соглашается она, не разлепляя век, – сколько же ты всего напихала в свой телефон?

> «Жизнь Эмми с Герингом не давала ей скучать. Одна из причуд ее постоянно толстеющего мужа состояла в заботах о содержании львов в местах проживания Герингов. Берлинский зоопарк поставлял маленьких львят, которых Геринги затем в течение почти полутора лет держали в домашних условиях. Животные свободно разгуливали по территории, а по достижении опасных для человека размеров их возвращали обратно в зоопарк.

В течение нескольких лет семья Геринга вырастила семерых львов. Однажды, в связи с Олимпийскими играми 1936 года, “элита” итальянского общества, в том числе сыновья Муссолини – Витторио и Бруно, – пили чай в “Каринхалле”. И вдруг открылась дверь и вошел лев. У гостей глаза полезли на лоб и отнялись языки, пока Эмми Геринг не прогнала домашнего зверя. Она сама вспоминала: “Однажды мы на короткое время поселились во дворце министра-президента, так как наш дом на Лейпцигер-плац приводился в порядок. Мы взяли с собой льва и поместили его в подвале. Ночью мы вдруг проснулись от того, что открылась дверь спальни. Перед нами стоял наш лев. Лапами он отжал ручки восьми дверей, расположенных между подвалом и нашей спальней, и нашел дорогу к нам. Он был прямо-таки вне себя от радости, когда обнаружил нас. Мы не смогли заставить себя отправить его обратно. Итак, мы оставили его на ночь у себя…”»[6]

– Только в отличие от тебя Герман Геринг на кинохронике говорит со своими львами по-немецки, – говорю Элизабет, которой Аш так и не дал подремать, требуя внимания к собственной персоне.

– Мы с моей мамой росли под чешским влиянием. Я была трудным ребенком, и у нас часто дома вспыхивали скандалы. Так вот, когда я сильно огорчала свою бабушку, она говорила: «Ты, Элизабет, истинная немка!» Для бабушки это было настоящим ругательством – «немка!». Отчасти это так. И я ничего не могу изменить. Даже сейчас, я, наверное, и есть – живущая в Перу немка, которая говорит со своими котами по-чешски.

– А по-немецки говоришь? Или это так, забытый и похороненный язык?

Элизабет аж подпрыгивает в кресле:

– Конечно! Я же в свое время работала в швейцарских и немецких компаниях. Я свободно говорю и пишу на немецком. Переводила немецкие контракты для перуанских покупателей. О да. Это был мой хлеб – немецкий, английский, испанский. Теперь со мною рядом нет никого, с кем я могла бы говорить по-немецки или по-чешски. Я говорю постоянно только по-испански. Иногда говорю по-английски, вот, например, как с тобой сейчас. Иногда по-итальянски. Так что, думаю, испанский – все-таки главный язык моей жизни.

– Но при бабушке дома ты говорила на чешском?

– Конечно! А сейчас только с кошками: сыновья не знают

чешский, а вот Аш только его и понимает.

– А не была твоя принадлежность к семье Геринг раздражающим фактором для бабушки?

Элизабет мотает головой:

– Ну что ты, нет! Она всё-таки была мудрой женщиной. Жить прошлым нельзя, так же, как нельзя жить с чужой виной. Это нечестно. А если ты сам постоянно таскаешь за собой этот крест, наслаждаясь страданиями, то это просто ненормально. Вот ты говорила про Беттину Геринг, – мне кажется, всё это дурь и блажь! Ну скажи, кому это на пользу – то, что ты страдаешь за грехи предков? Кому это в принципе может помочь? Странная, непрактичная позиция. Или, я знаю, некоторые вообще ездят по миру и просят прощения у жертв своих отцов, точнее, у их детей. Зачем? Зачем они это делают? Чтобы люди знали, что такие страдальцы существуют? Я хочу, чтобы меня окружали люди, которым интересна именно я, а не те, что пострадали от Германа Геринга, Гитлера и черт знает кого еще!

«Я живу в настоящем, а не в прошлом, все эти воспоминания – просто мертвый груз», – говорил Геринг в Нюрнберге. Правда, в его случае, «мертвый груз» был скорее свершившимся фактом, чем метафорой. Я жду, использует ли Элизабет похожую формулировку? И она добавляет:

– …Самобичевание в данном случае – просто пустое, никому не нужное бремя, мертвый груз.

– Допустим, – говорю, – но наверняка окружающие пытались взвалить на тебя это бремя?

– В общем, было дело, конечно. Не считая швейцарского профессора в школе, который меня невзлюбил за фамилию. Как-то, когда я уже закончила школу и начала работать, я решила найти другую работу, получше, чтобы платили побольше. В общем, остановилась на какой-то крупной немецкой или австрийской компании, уже не помню… Отправила им свое резюме, меня пригласили пройти собеседование. Но я уже понимала: работа у меня в кармане. Я владею несколькими языками, у меня есть своя, пусть очень старая и разваливающаяся, но машина, так что я мобильна, к тому же они мне сразу сказали: «Вы то, что нам нужно». В общем, я пошла на собеседование, понимая, что это формальность. Собеседование проводил крупный начальник, под руководством которого я должна была работать. Он сразу выбил меня из колеи простым вопросом: «Вы имеете что-то против евреев?» Я несколько опешила и говорю ему: «Нет, разумеется, ничего против них не имею. Моя семья, скорее, принадлежит к чехам, чем к немцам». Я не сказала ему, что фамилия моей мамы Нойман, что она сама еврейка.

Подумала: ну какое это имеет значение? А, наверное, надо было сказать. Но тогда я рассуждала просто: ну что это за критерий такой – принадлежность к семье?! Им же нужны мои профессиональные навыки и личные качества!

Но начальник считал иначе: «Видите ли, у вас особенная фамилия, напоминающая о войне, поэтому мне придётся собрать совет директоров, чтобы решить, принимаем мы вас или нет». «Ну да, – сказала я, – ну да, собирайте». Это было неожиданно. После собеседования я пришла домой и рассказала всё маме, а она ответила: «Больше они тебе не позвонят». Спустя день у нас на пороге дома возник пожилой джентльмен, немец, я видела его, когда приходила на собеседование. Он был седой, с белыми-белыми волосами. Так вот, он поздоровался и сказал, стоя на пороге: «Элизабет, вас отказываются принимать на работу, ведь в компании также работают евреи, и, к сожалению, по этическим причинам вам в должности отказано». Я ответила ему: «Не переживайте, я понимаю». Хотя, честно сказать, было очень обидно.

Но были и другие – те, кто смотрел на меня с восторгом (в крупном немецком концерне), как на какой-то трофей, на редкую птицу: «Ух ты! Она родственница того самого Геринга!» Да, случалось и такое.

В молодости, еще до замужества, у меня был бойфренд. Для того, чтобы я могла защитить себя на криминальных улицах Лимы, он подарил мне пистолет, браунинг-бэби (кажется, он так назывался). Я пошла получать лицензию, потому что без лицензии носить его при себе было нельзя. Пришла в полицейский участок, помню, что мне этот участок показался просто огромным. И меня отправили на обследование к психологу: его нужно обязательно пройти. И он спросил меня: «Вы случайно не родственница рейхсмаршала?» «Да, – ответила я, – он мой дядя». И он подпрыгнул, закрутился как волчок и говорит: «Подожди, я тебе сейчас кое-что покажу». В общем, перерыл половину книжного шкафа. И, довольный такой, показывает мне какую-то книгу с заломленными страничками. Он ее листает, потом открывает на какой-то там странице и называет мне результат дядиного теста IQ. Поясняет: очень хороший результат – 138 баллов.

15 ноября 1945 года

Камера Геринга

> «Мною в его камере было проведено тестирование интеллектуальных способностей. Геринг был несколько подавлен к моменту моего прихода, но пару минут спустя приободрился. Он проявил живейший интерес к требованиям теста и после предварительного тестирования (памяти) превратился в возбужденного самодовольного подростка, изо всех сил пытавшегося произвести впечатление на своего педагога… Допустив во время одного из цифровых тестов ошибку, он с досады шлепнул себя по ляжке, после чего нетерпеливо стал похлопывать по одеялу койки, а затем попросил предоставить ему третью, а потом четвертую попытку. “Нет, дайте я еще попробую, я смогу, непременно смогу!”
>
> И когда он, к моему нескрываемому удивлению, все-таки выдержал тест, Геринг, видя мою реакцию, не смог сдержать своей радости. Его прямо-таки распирала гордость. И в этом состоянии он пребывал до завершения тестирования; мои замечания о том, что мало кому из его коллег удавалось подобное, привели его в неописуемый восторг, как какого-нибудь первоклашку. Я дал ему понять, что пока что никто лучших результатов не добивался. Геринг даже признал, что, дескать, всё же эти американские психологи кое-что смыслят»[7].

Психолог, который разговаривал с Элизабет, в итоге выдал ей необходимую для ношения оружия справку.

– И этот человек сказал: «Вам нечего стесняться, Геринг был умным и образованным человеком. Все делают ошибки, и он ошибся тоже». И тогда я поняла, что гены – это одно. А я сама – другое. Я не оправдываю дядю Германа, это не означает, что я такая же, как он. И что, заполучив пистолет, я стану отстреливать людей направо и налево. А что касается крови, то кровь – не единственный источник и мотиватор моего поведения.

Герман Геринг в беседах с тюремным психиатром Леоном Голденсоном, напротив, утверждал, что «кровь всё расскажет», и считал влияние этой самой крови очень мощным фактором, не отрицая, однако, огромную роль среды в развитии человека (что

противоречило взглядам нацистов на этот вопрос). Геринг даже заметил, что важно даже то, «есть ли у человека сестры или братья, или он единственный ребенок в семье», а также «воспитывается ли человек в городе или деревне, рядом с озером или на берегу океана». И подытожил: «Человек – это продукт среды и наследственности». В то же время Геринг отрицал сильное влияние на него самого окружающей среды: «Что касается моего детства, то я не вижу, какое влияние оно оказало на меня как на взрослую личность. Может, и оказало. Это ваша профессия, а я не эксперт в этой области. Но я думал о ваших постоянных вопросах о моём детстве. И пришел к выводу, что между мной-мальчиком и мной-мужчиной нет разницы, даже сейчас. По-моему, мальчик обладает всеми чертами, которые потом проявляются в мужчине»[8].

Я предлагаю Элизабет поговорить, наконец, об Альберте Геринге, ее отце. Про дядю молчу: он еще возникнет в нашей беседе неминуемо. Что касается Альберта, то мне ужасно любопытно, как сложилась его жизнь после войны и почему распался его брак с чешской еврейкой, ради которой брат рейхсмаршала попрал законы Третьего рейха.

В 1947 году младшего брата Германа Геринга, наконец, освободили из-под ареста. Он вернулся домой, к жене Миле и маленькой дочери. Прошу Элизабет вспомнить хоть что-нибудь. Она надолго задумывается. Говорить начинает не сразу:

– Его как раз выпустили из тюрьмы, и он тотчас пришел к нам. Помню, мы находились в каком-то доме, в Австрии, и я играла на втором этаже. И мама сказала мне: «Твой папа идет». Как я была взбудоражена – папа идет! Я и не помнила его толком – фактически это была наша первая встреча, потому что он меня, наверное, видел до этого орущим маленьким свертком. Помню, как я увидела его: это был высокий человек в сером пальто, с тростью и усами. В руках он держал свою шляпу. Он подошел ко мне и сказал: «Давай знакомиться. Ты, наверное, Элизабет?» Мне было три года, но я хорошо помню каждую деталь этой нашей встречи. Я взглянула на него и сказала: «Да, я Элизабет». Он улыбнулся: «Значит, это тебе я принес подарок?» Я заинтригованно посмотрела на него. И он достал из кармана кусок шоколадки, и, разумеется, я тут же потянулась, чтобы взять его. И вдруг Альберт сказал: «Подожди-ка минутку!» Он стал ломать и без того небольшой кусок на части, а потом сказал: «Ты можешь взять только один ломтик». Наверное, он хотел угостить еще кого-то. Но я об этом не думала. И ответила ему: «Тогда не хочу. Спасибо». Может, он меня за это возненавидел?

Уже спустя годы мы с мамой вспоминали эту встречу с отцом. Я рассказала ей о том, что произошло. И мама ответила: «Так вот в чем дело! А я-то не поняла, почему он, выйдя из твоей комнаты, был так зол и бросил мне в сердцах: “Ты плохо ее воспитала!” Такой была реакция отца на мою реакцию. А ведь всё просто: я лишь хотела всю шоколадку, а не кусочек. И подумала: если не можешь дать всё, то оставь себе. Теперь я понимаю, это – гордыня.

История с шоколадкой – на самом деле и есть лейтмотив отношений Элизабет и ее отца Альберта Геринга. Человек, привыкший спасать, выручать и делиться последним, – и его ребенок, который хочет единолично владеть, что шоколадкой, что своим отцом.

Элизабет молчит. И после паузы добавляет:

– Я вдруг вспомнила эту историю – сама не знаю почему. В последний раз я говорила об этом с мамой много-много лет назад. И теперь вот с тобой. Память – очень странная штука, ведь я помню каждую деталь, вплоть до лучиков солнца, ползущих по стенам моей комнаты, помню выражение его, Альберта, лица – и то, как это лицо в момент переменилось… Хуже было другое: внутри по отношению ко мне он тоже переменился – в тот день, когда я встретила отца, я и потеряла его навсегда. Вот ведь как бывает… И других воспоминаний о нем у меня нет: какие-то невнятные обрывки, бессмыслица. Мне даже кажется, что он с нами почти не жил, по крайней мере ничего другого толком вспомнить не могу.

– Твои родители развелись сразу? И в чем была причина?

– Нет, родители развелись в 1950 году. Может быть, в начале 1951-го. Ты хочешь знать причину? Причина всегда одна и та же. Женщины.

– Нет, – говорю ей, – наверное, я чего-то не понимаю. Твой отец – натура противоречивая, это факт. То он вопреки режиму и брату рейхсмаршалу спасает людей, никак не пытаясь скрыть это от гестапо, то женится на чешской еврейке, вместо того чтобы выбрать себе плотную и румяную арийку…

Взгляд Элизабет становится мягче, она задумывается, поджимая губы в тонкую нить:

– Ну да. А когда всё хорошо, когда можно жить и радоваться, он вдруг делает поворот на сто восемьдесят градусов. Кстати о противоречиях. Я тебе не говорила, но у отца было два гражданства – немецкое и австрийское. Так вот, он после войны и суда отказался от немецкого, сказав, что ему противно быть немцем и лучше он будет австрийцем. И еще одна вещь, которая не оставит тебя равнодушной: после войны он наотрез отказался

менять фамилию. Из-за этой фамилии ему пришлось пережить страшные лишения…

– То есть, – пытаюсь понять странную логику Альберта, – немцем он быть отказался. А от фамилии и брата отказываться не захотел?

– Упрямство, наверное. Или что-то еще, чего я не понимаю. – Элизабет поднимает глаза, пытаясь проглядеть что-то сквозь плотно набитые серые облака. И вдруг тихо добавляет: – Я думаю, тогда, во время короткой встречи в Нюрнберге, Герман сказал ему нечто такое… отчего он так упорно держался за фамилию. Но я просто не представляю, что такого должен был сказать ему дядя, чтобы отец так… так нелепо подставлялся до конца жизни. Его же не хотели из-за фамилии брать на работу… Он вообще после самоубийства дяди стал странным. Мама по крайней мере это отметила.

– А почему ты сказала, что он тебя возненавидел, – не из-за шоколадки же, Элизабет? И что стало причиной разрыва твоих родителей?

– Я и правда многого не понимаю, – вздыхает Геринг, – ведь я всё-таки единственный его ребенок. Да, до того как жениться на моей маме, у него было, кажется, две жены. И после развода с мамой – еще один брак или даже два. Но детей не было… Два года назад я, наконец, оказалась в Европе. Так уж вышло, что мне оплатил поездку один хороший человек, который исследовал биографию моего отца. В Мюнхене я встретила Элизабет Симон – бывшую секретаршу моего отца. Она служила у него, когда была совсем юной, ей было максимум лет четырнадцать-пятнадцать, потом, спустя долгие годы, она разыскала мои кординаты в Перу, и мы стали общаться по телефону и писать друг другу письма. Так вот, я приехала в Мюнхен, и Элизабет встретила меня просто замечательно – показала город. Сама она женщина бездетная, не замужем, и я очень благодарна, что она уделила мне так много своего времени и приняла как родную. В числе прочего мы говорили с Элизабет о моём отце. Так уж вышло, что она послужила катализатором разрыва моих родителей, сама того не желая. Трудно сказать, как Элизабет, молодая девчонка, относилась к Альберту, но, сдается мне, она всё-таки была по-юношески влюблена в него. Потому что потом она сказала: «То, как ваш отец поступил с вашей матерью, чрезвычайно меня потрясло: я никогда не думала, что он способен на такое. Это было сильнейшее разочарование в Альберте в частности и в мужчинах вообще».

История очень банальна. Отец, мать и я (это со слов мамы, сама не помню) поехали в Карловы Вары отдыхать. И отцу туда

постоянно приходили телеграммы, он бегал куда-то звонить. В общем, пару дней спустя после приезда он объявил моей маме, что ему нужно вернуться в Австрию. Ну, бывает, конечно. И мама сказала: езжай. А потом маме позвонила Элизабет Симон и сказала, что всё неправда, что никаких срочных дел нет, что все важные вещи проходят через неё, и она полагает, что у Альберта роман с какой-то дамой. Мама, конечно, сразу вернулась в Австрию и фактически застала отца с другой женщиной. Конечно, это ужасно! Особенно оскорбительно, что отец был старше мамы на двадцать лет, и она, молодая девчонка, была ему верна, в то время как он… впрочем, он всегда нравился женщинам.

– Так, значит, он спокойно отказался от твоей мамы и от тебя, с которой у него с самого начала не сложились отношения?

– Ты будешь удивлена, но за меня Альберт бился до последнего во время бракоразводного процесса. И судья даже спросил его: «А что вы собираетесь делать с таким маленьким ребенком?» Отец ответил: «Отдам ее в какую-нибудь школу, институт, дам образование». Но что он на самом деле мог сделать? К тому времени все надежды на светлое будущее распались, как и наша семья. Денег не было, все накопления, что удалось спасти, закончились: Альберт едва сводил концы с концами. Так что судья посчитала его безответственным родителем и право опеки досталось моей маме, тем более что маленькие дети должны оставаться с мамами. Это, наверное, правильно…

– Наверное. Но если пофантазировать, если допустить, что ты сама могла бы тогда выбирать, с кем остаться, – как бы ты решила?

– О чем ты говоришь! Маму и бабушку я ни на кого никогда не променяла бы! Я до последнего буду на их стороне. Это единственный способ отблагодарить их за то, что они для меня сделали…

Эта формулировка Элизабет заставляет меня задуматься о том, что всё не так однозначно, как она хотела бы преподнести. Выбрать маму с бабушкой из чувства «благодарности», занять «их сторону», «не променять ни на кого». Какие-то лозунги, ей-богу! Слова, которые моя собеседница подбирает, и фразы, которые выплетает из них, не кажутся убедительными, и внутренне я почти уверена, что она миллион раз прокручивала у себя в голове альтернативную жизнь с отцом. Да, я уверена в этом.

– После развода, – продолжает Элизабет, – моя мама вместе со мной и своей мамой, Мари Клазар, решила уехать в Перу. О причинах такого выбора я знаю совсем немного. Мама с бабушкой сначала перебрались из Чехии в Австрию. Бабушка вообще не

говорила по-немецки. Мама могла, но, к сожалению, работы там вообще не было. И тут она узнала о человеке, которого потом они между собой называли «друг», а я называла «дядя», я уже упоминала о нем. Так вот, была одна семья, люди, с которыми мама дружила. И как-то они позвонили ей, чтобы попрощаться, и сказали, что уезжают в Перу, что в Южной Америке есть работа. И мама, которой нечего было терять, – одинокая, без денег и работы, – решила, что тоже поедет. Так всё завертелось-закрутилось. «Дядя» вызвался помочь с переездом. Но, как я говорила, он умер на третий год нашего пребывания в Перу….

Отец в это время тоже пытался выжить в Германии и Австрии. Это, наверное, было ещё тяжелее. Фамилия Геринг, помимо прочих напастей, тянула его вниз: поначалу он занимался какими-то переводами с иностранных языков (подкидывали добрые люди), а потом дошло до того, что пришлось руками разгружать товарные составы – невообразимо! (*Мне сразу вспомнились изящные руки Альберта – с тонкими кистями и длинными пальцами – на фотографиях, которые показывала Элизабет. – Т.Ф.)* Он снова женился, на женщине, у которой они с мамой жили в свое время в Зальцбурге. Какая-то баронесса, у нее мои родители в 1947 году арендовали второй этаж дома. Сама баронесса жила на первом со своей дочерью, которая была чуть старше меня. Муж этой женщины (кстати, ровесницы моей мамы, тоже молодой и прекрасной) погиб на войне. Так вот, отец встретился с этой баронессой снова, уже после того, как развелся с моей матерью. Баронесса жила уже не в шикарном доме, а в какой-то маленький деревеньке. Вряд ли это была любовь – скорее, два уставших измученных человека пытались найти друг в друге поддержку и опору. Дочь баронессы звали Брунхильдой, и когда я была в Мюнхене, два года назад, мы с ней встретились. Я рассказала Брунхильде о себе, о том, как жила все эти годы, как мечтала увидеть отца: «Как так? Мы думали, что он поддерживает с тобой отношения. Мы были просто уверены в этом, ведь он же ездил к тебе в Южную Америку!»

– Как, – перебиваю я Элизабет, – он был здесь?!

– И был и не был, – отвечает она, скрывая улыбку, которая легкой рябью пробежала по губам реакцией на мое несдержанное любопытство. – У Альберта и Германа были две родные сестры: Ольга и Паула. Они обе любили маму и после войны поддерживали с ней связь: регулярно писали письма, присылали открытки. И как-то мама позвала меня, а я уже ходила в школу, и сказала: «Тети пишут, что твой папа собирается в Аргентину на заработки. Дела у него идут плохо, очень нужна работа. В общем, готовься: он будет поблизости и обязательно заедет к нам». Не

могу сказать, что в тот момент я очень сильно обрадовалась. Дело в том, что как только мы приехали в Перу, с того самого момента мама постоянно заставляла меня писать письма папе. Я, признаться, иногда сопротивлялась – просто не понимала, что можно написать ему, чужому человеку? Мама помогала, часто подсказывала, что нужно писать: «Поприветствуй папу. Расскажи: я сегодня читала книгу или ходила в школу. Ну и что-нибудь интересное про Перу. И подпиши: буду рада получить от тебя письмо в ответ. Я люблю тебя. Думаю о тебе». Или так: «Поздравь его с днем рождения и пожелай всего самого лучшего». Эти мои письма были очень короткими – просто для того, чтобы обозначиться, шепнуть через океан: «Эй, папа, я есть на свете, я существую, я скучаю».

Каждый раз я спрашивала: «Мама, а почему он не отвечает? Не присылает денег, чтобы тебе помочь? Или хотя бы открытку?» Он вообще не заботился обо мне, что вызывало недоумение. Ведь я же единственный его ребенок!

В общем, лет в десять я закатила маме истерику: «Раз он так тебе нужен, пиши ему сама. Я больше не буду!» Конечно, я и не думала о том, что мама в своих мечтах видит меня в Европе, с хорошим образованием, в лучших условиях, чем тут, в Перу. Она понимала, что у меня есть склонность к языкам. «Ты можешь там остаться, выйти замуж в Европе», – так мама рисовала себе мое будущее. Но меня в Европе не ждали. К тому же, я считаю, что человек должен оставаться там, где ему лучше, а не там, где считается, что ему будет лучше. Тут, в Перу, мы обрели второй дом. А для меня он первый, потому что мне, когда мы приехали сюда, было шесть, и я прожила тут всю жизнь. Так я о чем?

– О том, что Альберт отправился в Аргентину и должен был…

– Ну точно. – Элизабет чешет Аша за ушком. – Должен был. Я помню, что как раз была дома. И вдруг кто-то постучал в дверь…

– Альберт!

– Я тоже тогда подумала – Альберт! Папа! Бросилась к двери – и увидела джентльмена. Я уже и не помнила, как выглядит отец. И тут он говорит: «Могу я пообщаться с Милой Клазар, ведь она здесь живет? Я не ошибся?» Я так на него смотрела – он это или нет?!

Увы, это был не отец. Это был какой-то человек из посольства, уж и не вспомню, зачем он разыскивал маму… Это было сильное, я бы сказала, оглушительное разочарование. Потому что, несмотря на мое нежелание писать ему, я все-таки постоянно думала об отце и с интересом выслушивала ту скудную информацию о нем, которой с мамой делились мои тетки Ольга и Паула.

Да, папа приезжал в Аргентину и даже прожил в Южной Америке два года, но ни разу не связался с нами, даже не сообщил, что он здесь, рядом…

– Но ты же общалась с Брунхильдой! Может быть, он просто не получал твоих писем? Или упоминал о тебе перед смертью…

Элизабет рассекает рукой воздух, чем пугает Аша, и тот трусливо спрыгивает с парапета, по которому только что вальяжно разгуливал.

– Это в книжках человек вспоминает перед смертью о чем-то важном, кается, просит прощения. Нет, Брунхильда сказала, что он ни разу не упоминал обо мне. Что касается моих писем… все знали, что он их получает. Это правда. Поэтому мать Брунхильды, баронесса, на которой Альберт женился, была уверена, что он поехал в Южную Америку ко мне. И Брунхильда тоже была в этом уверена. Так что для нее мое признание стало откровением. Она не знала никаких подробностей о жизни отца, ничего толком рассказать мне не смогла. Помню, мы с ней сидели и молчали. А потом она сказала: «Ты ничего не потеряла, потому что он не был хорошим отцом даже для меня, девочки, с которой несколько лет прожил под одной крышей». А потом Альберт расстался с баронессой и куда-то уехал. Позже я узнала, что он женился на какой-то женщине, просто для того, чтобы не умереть в одиночестве, всеми покинутым и забытым. Хотя вышло именно так. О его смерти я знаю совсем мало: со времен Первой мировой у него было ранение где-то в области желудка. Насколько я знаю, с возрастом эта рана давала о себе знать всё чаще и чаще. А потом всё закончилось…

– Хороший человек Альберт Геринг оказался плохим отцом?

– Да. И это очень странно. Тетя Эмми, жена дяди Германа и мама моей кузины Эдды, всегда говорила моей матери, что не может понять, почему Альберт так странно ведет себя по отношению ко мне. Надо сказать, что Герман Геринг, которого объявили едва ли не самым страшным монстром в истории, был замечательным, трепетным, заботливым отцом. Парадокс, не правда ли? У него, как и у его брата Альберта, был всего один ребенок – Эдда. Так вот Герман Эдду боготворил: ненормальная любовь. Иногда я думаю, как же легко отцы могут поломать жизнь своим дочерям…

– Считаешь, Альберт сломал тебе жизнь?

– Я бы сформулировала иначе. Это сказалось на моей жизни. Я всегда выбирала мужчин, которые были старше меня, потому что никогда не находила точек соприкосновения с молодыми, чувствуя себя старше. Не знаю, как объяснить… Это что-то душевное… Или на уровне заложенной программы… В общем, в

мужчинах я всегда искала своего отца и наивно полагала, что с теми, кто старше, смогу обрести дом и счастье. Я ошибалась, к сожалению. Я всегда делала неправильный выбор. Такая судьба…

– Веришь в судьбу?

– Не особо. Выражение такое. А вот они все… ну, ты поняла, нацисты… и мой дядя Герман – они в это верили. Судьба, миссия, еще какая-то ерунда.

– Знаешь историю про то, как твой дядя чуть не стал масоном? – Вижу, Элизабет оживляется: она хочет немного побыть слушателем. Говорить ей уже трудновато: заплетается язык. Наверное, на сегодня надо заканчивать. – Это было, кажется, в 1919-м. Герман Геринг шел, чтобы записаться в масонскую ложу, – он сам рассказывал об этом, – так вот, по дороге он познакомился с красавицей-блондинкой и решил за ней ухлестнуть: в тот день до масонской ложи он просто-напросто не дошел. Зато через некоторое время вступил в нацистскую партию. Я читала, он что-то говорил по поводу судьбы, что, мол, не встреть он по дороге эту блондинку, история бы была совсем другой: он бы стал масоном и никогда не оказался рядом с Гитлером и – вследствие этого – на скамье подсудимых.

– Он говорил об этом с сожалением? – уточнила Элизабет, по-профессорски поправив очки.

– Не знаю, – честно призналась я, – вряд ли.

– Я почему-то тоже так думаю… У меня, наверное, тоже был шанс изменить свою жизнь. Помню, когда дети были маленькие, Ренцо как раз исполнился годик, мне предложили работу в Европе. Но я отказалась. У меня была пожилая мама, двое детей на руках… Но это предложение – оно было как водораздел. Я понимала, что сейчас может начаться новая жизнь. Боже мой, как я в свое время хотела поехать в Европу к отцу. Но к тому времени, когда мне поступило предложение о работе, он уже умер. Так что я сделала свой выбор: начинать там всё с нуля, без отца, без цели, без смысла казалось невообразимо страшным…

– А когда умер твой отец?

– В 1966 году. Мне было двадцать два года. Я работала в крупной швейцарской компании, которая занималась электрификацией. Центральная гидроэлектростанция. И там, на работе, мы с мамой (она меня устроила к себе) получили известие о его кончине: никто из нас тогда не заплакал. Просто я была разочарована снова, потому что я всё-таки лелеяла надежду, что смогу оплатить поездку в Европу, чтобы увидеть его.

– Ну а что тебе дала бы эта встреча с ним?

– Пусть бы он не знал, что я его дочь, я бы просто посмотрела на него со стороны. А может, и призналась бы, чтобы увидеть его

реакцию на меня. Да. Эта реакция прояснила бы очень многое. Был ли он по отношению ко мне просто жестоким человеком с каменным сердцем? Если нет, то почему никогда не отвечал на мои письма? Мне казалось, что если бы я заглянула ему в глаза, то без всяких слов и оправданий поняла бы, почему всё случилось так, как случилось…

Я вижу, что Элизабет устала и предлагаю перебраться в гостиную, подвести итоги уходящего дня и спланировать завтрашний.

Геринг, тяжело кряхтя, спускается по ступенькам, и в бледном свете ламп, включенных в гостиной, я замечаю, как она вымотана. Она усаживается в кресло возле журнального столика в гостиной. Рядом, на подставке, стоит домашний проводной телефон. Смотрю на него и вдруг говорю:

– Элизабет, я звонила Эдде.

– Ну и как успехи?

– Никак. Она послала меня.

– Обычное дело, – устало улыбается Геринг, – я иногда боюсь, как бы она не послала и меня, так что не особо ей надоедаю. Просто поддерживаю связь.

– Может, ты скажешь ей, что я, что мы…

– Ну уж нет! Она тут же пошлет меня, даже не сомневайся. Как-то раз ко мне обратилась одна съемочная группа из Британии с просьбой помочь выйти на Эдду.

– И как, ты помогла? – спрашиваю ревниво.

– Попыталась. Но Эдда сказала: с этой чушью мне больше не звони. Дело в том, что энное количество лет назад я упросила ее по телефону – мы тогда в глаза даже не видели друг друга – сказать несколько слов на камеру про Альберта: тогда всё только-только начало проясняться, и никто толком об отце не знал. Про Германа-то Эдда вообще ничего не говорит. Так вот, мне важно было, чтобы она подчеркнула, что Альберт был другой, что два брата были очень разные. И она это сделала. Потом позвонила мне и сказала, что это был дрянной опыт, что она больше не желает связываться ни с какими журналистами, что не делала этого много десятилетий и была права. Оказалось, что, задав пару вопросов про Альберта, они насели на нее с вопросами про Германа, а она ведь предупреждала их, что об отце своем говорить не будет ни за что! В общем, она прервала интервью… Как-то так…

– То есть она говорила исключительно про Альберта?

– Исключительно, – кивает Элизабет. – Просто общие слова о «двух таких разных братьях». И вот года два назад люди из Британии очень хотели пообщаться с ней. И я только позвонила,

чтобы за них попросить, так она их послала через меня, намекнув, что так недолго и до разрыва наших с ней отношений.

– Ясно…

– Эдда не будет говорить. Просто забудь, ладно? Она очень несчастный человек, ей хочется закрыться в своем несчастье, лелеять его, быть с ним наедине – и это можно понять. Хотя я, ее двоюродная сестра, как видишь, совсем другая – и не готова страдать в четырех стенах…

– Я пытаюсь понять: это ее несчастье связано с отцом, с Германом Герингом?

– А ты как сама думаешь?

– Ты не хочешь об этом говорить?

– Видишь ли… Эдда может разозлиться. Хотя кое-что я тебе всё-таки расскажу, только не сегодня…

Чуть позже, на кухне, я даю Элизабет конверт, и ее лицо забавным образом оживает:

– Это мне за сегодня? Спасибо, что помнишь, но можешь сейчас не давать, если неудобно. Можешь отдать всё вместе послезавтра или когда вернешься с Мачу-Пикчу…

Вижу, что Элизабет очень довольна. Весь день она избегала темы денег (это не исключает того, что внутренне она боялась обмана), за что ей тоже отдельное спасибо. Вдруг чувствую, как теплое тело накрывает меня в порыве нежности, и ничего не могу поделать с ощущением, что меня обнимает рейхсмаршал.

– А теперь планы на завтра! – Элизабет берет со стола листок, выходит с ним в гостиную и начинает зачитывать: – С утра поедем в Ла Молина навестить мою дочь Жанетт. Потом, если я не ошибаюсь, Сергей хотел побывать на перуанском рынке. Вечером – в ресторан, где поет Ренцо. Ну как?

– Отлично! – Браверман расплывается в усталой, но довольной улыбке.

– А послезавтра тогда организуем еще съемки на океане…

Утро второго дня было напитано густой липкой влагой: воздух был тяжелым, хотелось ухватиться за него, скрутить в жгут и отжать этот странный серо-молочный цвет Лимы, который оседал на глазах мутным пятном.

Город был похож на набивную игрушку, брошенную в воду со вспоротым брюхом: внутри него тяжелела грязная вата, которая, разбухая, узурпировала всё свободное пространство, вяло обтекая препятствия в виде многоэтажных домов, офисов и прочих человеческих муравейников, и слипалась сама с собою.

В это утро столица Перу была пугающе некрасива, и мой не

вполне еще сфокусированный взгляд, направленный сквозь стеклянную стену гостиничного номера с застывшими разводами, напоминающими о зимних дождях, пытался зацепиться хоть за что-нибудь, что дало бы этому городу малейший шанс не возглавить список мест, которые никогда не будешь рекомендовать друзьям для посещения.

Я задернула шторы.

Тяжелая голова.

Тяжелые веки.

Тяжелые облака, царапающие свои огромные пуза об антенны, торчащие вздыбленными редкими волосами на крышах многоэтажек.

Мирафлорес. «Взгляни на цветы». Тонкое, почти деликатное издевательство – выбрать для такого района это нежное название. Теперь я поняла всю гнусность своего положения. Вокруг меня не было цветов. Только серое небо и бетон.

Несмотря на +13, на улице было холодно, и влажный пар лениво выползал изо рта, подпитывая собою зависшую тихую муть, опустившуюся на Лиму.

Элизабет Геринг, упавшая своим грузным телом мне в объятия, как только я перешагнула порог ее дома, казалось, была чем-то удручена. Между ее бровей новой, не знакомой мне морщинкой, засела какая-то озабоченность. «Уж не из-за меня ли?» – пронеслось в голове, но видя, как она поправляет мне прическу, водит пальцем по моей кофте, повторяя очертания забавных надписей на ней, и делает всё, что можно истолковать как «попытку войти в тактильный контакт», я спешно переместила свою догадку о появлении морщинки в «корзину». Шаркая по гостиной туда, обратно и снова туда в потертых балетках, Элизабет была нарочито весела.

– Мы едем к Жанетт, моей дочери, – сообщает она и добавляет во избежание недоразумений: – К моей почти-что-дочери. Она родственница моего мужа Анхеля де ла Кадена, но воспитывала я ее как родную. К сожалению, пышного застолья не будет, у Жанетт, оказывается, свои планы на сегодня…

В голосе Геринг звенит упрек. Ах вот в чем дело: планы Жанетт пошли в разрез с планами ее «мамочки».

– В конце концов, – глажу хозяйку дома по плечу, – мы ведь к ней не есть едем, правда?

Элизабет кивает, но смириться с обстоятельствами явно никак не хочет, выпячивая полную нижнюю губу:

– Я же ее предупреждала. Просила. У них там отличное место для пикника.

– Погода плохая, – замечаю я, улыбаюсь, и губы Элизабет нехотя всё же расползаются в ответной улыбке.

Мы въезжаем в молочные пространства Лимы, взрезая вязкий воздух острым передним бампером старенького «пежо». Перуанские операторы на такси следуют за нами, и я боюсь, как бы они не растворились во влажной дымке.

– Сегодня вы увидите Ла Молина, – бубнит Элизабет, правой рукой насильничая над рычагом механической коробки передач своего ржавого Росинанта.

Полагаю, что название, которое она произносит с придыханием, должно что-то значить для жителя Лимы, и когда Элизабет вдруг оборачивается на меня с водительского сидения, я не успеваю придать лицу восторженно-тупое выражение, замирая просто на тупом.

– Ла Молина – это очень круто, – сдается Геринг, явно испытывая ко мне, необразованной, искреннюю жалость.

– О-о-о, – протягиваю я, запоздало имитируя восторг, на который Элизабет, очевидно, и рассчитывала с самого начала. Судя по всему, Ла Молина – Рублевка местного разлива.

– Очень-очень престижный район. – Геринг бесцеремонно вторгается в мои мысли.

Съехав с трассы, Элизабет опускает стекло, и ветер, пользуясь моментом, тут же путает ей волосы, поселяя в них крошечные песчинки, дальними приветами долетевшие от оставленных позади песчаных насыпей и холмов. Вокруг нас типичный городской пейзаж. Я отмечаю про себя, что дороги в Лиме прекрасные, в Москве по центру-то не всегда нормально проедешь: всё какие-то швы, заплаты, дыры. А тут тебе гладкий асфальт и очень четкая, свежая разметка. Двойная сплошная нарисована кислотно-желтым, канареечным цветом, что на фоне ядреной зелени газонов кажется тонким издевательством городских властей. Ветерок кружит бумажки на тротуарах – надо признать, немногочисленные, потому что улицы тщательно убраны.

В преломляющемся сквозь стекло бледном свете Лимы я снова вижу рейхсмаршала: он сидит рядом, в нескольких сантиметрах от меня, и преспокойно крутит руль пухлыми пальцами.

Между тем Элизабет устает от молчания, что царит в машине всего каких-то несчастных пару минут.

– Вы с Сергеем с восторгом предвкушаете поездку на Мачу-Пикчу? – спрашивает она, в это время Браверман на заднем

сиденье, услышав знакомое название, оживляется. Впрочем, вопрос, заданный Геринг, явно не предполагает ответа. Сразу – пулеметная очередь из слов: – Должна вас кое о чем предупредить. У нас были случаи смертей, инфарктов и инсультов там, на высоте, которые, как вы понимаете, от туристов тщательно скрывают. Я бы посоветовала вам, особенно Сергею, сходить на прием к перуанскому врачу.

Она вдруг принимается яро нахваливать местную медицину и сетовать на собственное плохое здоровье, за которым в свое время не уследила, а теперь вот то ноги болят, то спину прихватит.

– К счастью, – добавляет она, – у меня есть Жанетт, очень внимательная и заботливая, которая всегда отправит меня к нужному специалисту.

И которая, как я догадываюсь, оплачивает некоторые медицинские расходы своей «мамы».

– А еще наши доктора лучше всех знают здешние болезни, которые порой не минуют любопытных туристов. К примеру, некоторые отвязные товарищи решаются на путешествие по Амазонке, а это очень опасно. Самые опасные животные – вовсе не крупные звери, которых ты видишь, а мелкая дрянь, которую невозможно разглядеть. У нас был случай, когда скончался турист, – завелись личинки под кожей, которые позже забрались ему в мозг…

– Человек с личинкой в мозгу.

– Человек с личинкой в мозгу, – соглашается Геринг, брезгливо морщась. – Мой сын Майкл, с которым вы вчера познакомились, бесстрашно живет на Амазонке месяцами. Как-то он приехал и говорит, мол, у него под кожей завелся какой-то паразит. Гляжу – и точно! – прямо под кожей на руке что-то движется, шевелится, живет собственной жизнью.

– И…

– И я, вспомнив ту жуткую историю про туриста, сразу же отправила сына к врачу. Делали какие-то надрезы, вынимали эту дрянь… что-то вроде червяка. Хуже всего то, что такие черви, кажется, еще и размножаются под кожей.

– Я никогда не поеду на Амазонку, – опускаю стекло и втягиваю ноздрями липкий воздух.

– И я, – говорит Элизабет.

Мы паркуемся у свежеоштукатуренных ворот двухэтажного белого дома. Элизабет звонит в дверь. Спустя полминуты калитку отпирает молодая женщина. Элизабет, обняв её, приглашает нас пройти внутрь: «Заходите, пожалуйста. Добро пожаловать домой к моей дочери! Это – Жанетт!»

Пока мы здороваемся и обнимаемся с Жанетт (в отличие от Европы и уж тем паче Азии, в Перу объятия и поцелуи в момент знакомства воспринимаются как дело само собой разумеющееся), я тайком оглядываю ее, перуанскую почти-что-дочь племянницы рейхсмаршала Геринга.

Типичная перуанка: смуглая кожа, вытянутое лицо, тяжелая нижняя челюсть, нос с раздувающимися крылышками на выдохе, небольшие карие глаза, глубоко посаженные под бровями, черные волосы собраны в тугой конский хвост, а по щекам хлещут большие цыганские серьги-кольца, оттягивающие мочки ушей.

– Она не говорит по-английски, – сообщает Элизабет, глядя на мои тщетные попытки завязать разговор с Жанетт, обнажающей брекеты в растерянной улыбке. – Да и вообще она не особо разговорчива.

Вот так штука! Почему же Геринг мне раньше об этом не сказала?

– А чем, – спрашиваю, – занимается твоя дочь. Работает?

– Занимается размножением карликовых собак в домашних условиях, – сообщает Геринг и тут же сама смеется своей шутке. – Шучу-шучу! Жанетт – мать, домохозяйка. Ей сейчас тридцать лет. И у неё двое детей. Старшему сыну двенадцать. А младшей дочери – семь. Мы часто собираемся здесь все вместе на семейные праздники. Иногда я ее прошу чем-то мне помочь…

Природа отношений матери и её перуанской почти-что-дочери становится мне чуть более понятной. Геринг продолжает свой вдохновенный монолог:

– Детей она водит в школу, в также в разные кружки – в общем, не знаю точно, много куда, включая английский. Да оглядитесь же! Тут прекрасное место, не правда ли?! Это типичный дом в районе Ла Молина.

– А где муж Жанетт? – говорю я, озираясь по сторонам в надежде понять причину придыхания Геринг, когда она произносит название этого престижного района.

– Муж – кормилец, на работе. У него процветающий бизнес: он экспортирует ветеринарное оборудование во многие соседние страны. В Уругвай, Парагвай, Боливию. Так что у Жанетт просто отличный муж, самый лучший! Ей очень, ну просто очень повезло.

Ого! А не нотка ли зависти сейчас застряла легкой вибрацией в голосе Элизабет?

– А как Жанетт относится к тому, что ты – племянница рейхсмаршала Геринга?

– Это не сильно ее касается, – говорит Элизабет и переводит мой вопрос Жанетт, слушая, что та отвечает на испанском. – Для

неё фамилия Геринг вообще мало значит, потому что она не слишком хорошо знает историю Германии, к тому же она не имеет с нами кровного родства. Ей это, короче говоря, неинтересно.

Так. Секундочку. Тогда я не понимаю, что мы делаем дома у немногословной Жанетт, которая смотрит вокруг вежливо-безразличным взглядом. Она – не Геринг. Она не говорит по-английски. И ей все эти съемки на фиг не нужны? Тогда почему Элизабет так настаивала на нашей встрече с перуанкой в белой толстовке?! Тем более что, как мне кажется, между Жанетт и Элизабет нет чувств, которые предполагают слова «мать» и «дочь», пусть даже предваряемые «почти что». Они обе, эти женщины, светлая и темная, какие-то излишне отстраненные, чересчур церемонные, вежливые, подчеркнуто доброжелательные друг к другу. Я уже начинаю сильно сомневаться, что Геринг воспитывала Жанетт «как родную»: вероятно, это очередное преувеличение. А вот в чем я почти уверена, так это в том, что тесное общение с почти-что-дочерью и ее влиятельным мужем для Элизабет очень выгодно. Неудобство лишь в том, что в этом доме Геринг, считая себя на голову выше его обитателей, вынуждена мириться с тем, что не может устанавливать тут свои правила. Да, это тебе не покорный «малыш Ренцо», к которому я всё больше проникаюсь жалостью.

Элизабет расстроена прохладным приемом дочери и тем не менее вынуждает Жанетт пройти с нами по дому – провести небольшую экскурсию, хотя та бросает красноречивые взгляды на наручные часы. Геринг ждет нашей реакции, но я не впечатлена небольшим участком и маленьким бассейном десять на десять метров и скептически оглядываю крохотный двор, где могут спокойно резвиться разве что несколько карликовых собак.

Зато Пабло, старший оператор, находится под впечатлением. Судя по его реакции, мы и правда в местной Барвихе. «Это дом не среднего класса! Это высший класс!» – жарко шепчет он мне в ухо, обдавая легкой завистью с запахом еще не переварившегося перуанского завтрака, когда Элизабет и Жанетт проходят немного вперед.

Жанетт снова и снова поглядывает на часы, но, уступая упрямству Элизабет, идет за детьми, чтобы представить их нам. Сын её, очень симпатичный мальчуган с приятным осмысленным взглядом, знает несколько слов по-английски (Элизабет буквально выжимает их из него) и в целом производит приятное впечатление. Дочь, черноволосую девчушку Стефани, успеваю увидеть лишь мельком. Жанетт, представив ее, спешно уводит собираться на занятия.

Элизабет этим крайне уязвлена. «К черту эти занятия, – читается на ее лице, – неужели не можете пропустить разок ради меня?»

Последний удар для племянницы рейхсмаршала – уход Жанетт и ее дочери. Хозяйка дома вежливо прощается с нами во дворе, целует, извиняется и по-испански пытается донести до нас причину своего отъезда с дочерью, жестами показывая, что, мол, мой дом в вашем распоряжении. Элизабет, надув щеки, не выказывает желания переводить мне извинения Жанетт, которую, на мой взгляд, и прощать-то не за что: в конце концов, это же мы все вторглись в ее жизнь под предводительством валькирии по фамилии Геринг.

Когда ворота за «дочерью» закрываются, Элизабет разрывает – нет, даже не от злости – от энергии разрушения, что бурлит в ней, как воздух в банке кока-колы, которую предварительно разогрели и хорошенько встряхнули. Геринг ходит по лужайке в окружении карликовых собачек Жанетт, что-то бормоча себе под нос, и мне кажется, что парой пинков она с удовольствием отправила бы их, повизгивающих и мельтешащих у неё под ногами в своей щенячьей радости, освежиться в бассейн.

Должна сказать, что когда Геринг в бешенстве, она выглядит комично: щеки наливаются крепким арийским румянцем, нос раздувается, губы стягиваются не в нитку – в проволоку. Правда, понаблюдать за ней в этом состоянии долго не получается: спустя пару минут после ухода Жанетт к племяннице рейхсмаршала возвращается самообладание, и она, пытаясь сгладить неловкость ситуации, почему-то начинает рассуждать на тему правильного воспитания детей. Всё это время паренек, старший сын почти-что-дочери, в спортивном костюме, стоит рядом со своей почти-что-бабкой предметом интерьера, а она его даже рукой не касается во время своего вдохновенного монолога.

Минут через пятнадцать мы, наконец, покидаем этот дом, который для Элизабет – поле проигранной битвы. Мы выходим за ворота. Я испытываю облегчение, с одной стороны. С другой, памятуя, что счетчик тикает (оплата Элизабет, операторам, водителю), немного расстроена, ведь часть дня утрачена безвозвратно. Хотя я все-таки обнаружила нечто новое в самой Элизабет – нечто глубоко потаенное, внутреннее, «не для общего пользования».

Элизабет торжественно сообщает, что мы едем на перуанский рынок – наконец-то! Сергей, приунывший, как и я, после посещения Жанетт, на заднем сиденье «пежо» в предвкушении ерзает от радости. Пабло и Альваро на своей машине следуют за нами. Перуанцев мое желание поснимать на местном рынке ввело

в ступор: ну что там делать? Они-то эту пестроту каждый день наблюдают. Нас же «Инка маркет» приводит в полный восторг своим колоритом, а Элизабет тут же принимается придирчиво осматривать свитера из альпаки, шепча мне в ухо: «Это ни фига не бэби-альпака, а шерсть взрослой особи – она жестче и ценится меньше! Вот ворье-то!» Я же, глядя на неё, думаю, что никто из людей со стороны никогда не догадается, что в этой женщине течет кровь рейхсмаршала Германа Геринга. Торговцы принимают ее за туристку, прогуливающуюся вдоль торговых рядов с мужем и дочерью, и нагло задирают цены, в ответ на что Элизабет фыркает и выдает им многосложные тирады на испанском, после которых торговцы называют уже совсем другие цены.

Мы покупаем какие-то сувениры и приятные мелочи, на которые Геринг виртуозно сбивает цены так, что я уже начинаю опасаться за прибыль продавцов. Ее захватила новая идея: она настаивает, чтобы я купила себе свитер. Она так сильно этого хочет, что у меня пропадает всякое желание это делать.

На рынке заговариваю с Элизабет о ее дяде: Герман Геринг не просто любил роскошь – обожал, стаскивая все награбленные предметы искусства в свой замок Каринхалле, названный в честь умершей первой жены Карин фон Канцофф. Где ж обсуждать страсть к дорогим вещам, как не на местной барахолке?

– Так что скажешь по поводу любви твоего дяди к роскоши?

– Почему бы нет? Что в этом плохого? – пожимает плечами Геринг, изничтожая меня взглядом даже не за полное отсутствие интереса к свитерам, а за неповиновение. – Я слышала, что у него было невероятное собрание картин и других шедевров мирового искусства. И что он собрал уникальную коллекцию. Возможно, дяде и правда нравилось искусство. Но, главное, у него была возможность коллекционировать то, что он хотел. А если у тебя есть такая возможность, то ею надо пользоваться…

Сейчас слова Элизабет звучат так же невинно, как и слова самого рейхсмаршала, пытавшегося во время Нюрнбергского трибунала в частных беседах с психотерапевтом оправдать свою тягу к роскоши: «Я рад, что вы спросили, потому что у меня было мало возможностей исчерпывающе ответить в суде на этот вопрос. Они пытались представить меня как грабителя шедевров. Во-первых, во время войны все немного мародерствуют. Однако всё, что, так сказать, я награбил, было сделано законно. Возможно, я платил низкую цену – меньше, чем стоили эти предметы, – но я всегда платил за них, или же их доставляли мне по официальным каналам через дивизию Германа Геринга, которая вместе с комиссией Розенберга поставляла предметы в мою коллекцию. Наверное, одна из моих слабостей в том, что я

люблю жить в окружении роскоши и так артистичен по натуре, что шедевры искусства вдыхают в меня жизнь и согревают мне душу. Но я всегда хотел передать эти сокровища, картины, скульптуры, иконы, украшения и прочее государственному музею после своей смерти или раньше для вящей славы немецкой культуры. Если смотреть на вещи с этой стороны, то я не считаю, что поступал аморально. Я собирал эти сокровища искусства не для того, чтобы продать их или обогатиться. Я люблю искусство ради самого искусства, как я говорил, моя душа требовала, чтобы меня окружали лучшие образцы мирового искусства»[9]

«3 мая 1946. Утреннее заседание. Во время перекрестного допроса Джексона Геринг вновь удостоился оценки “аморального преступника”, и вновь всплыла его страсть к накопительству и его непомерное тщеславие. Всеобщее оживление – за исключением самого Геринга – вызвало описание одного из приемов, устроенного в свое время Герингом, на который бывший рейхсмаршал явился в римской тоге и в сандалиях, как Нерон, вдобавок в гриме, с наманикюренными пальцами и подкрашенными помадой губами.

Беспокойно заерзав на стуле, Геринг бормотал: “Здесь не место упоминать о таких вещах, даже если это и правда”»[10].

Придирчиво рассматривая фигурки инков из серебра, инкрустированные камнями, Элизабет отмечает после паузы:

– Ты, наверное, заметила, что у меня не так много ювелирных украшений. Вот мама моя их обожала, потому что она была из иного времени, где носили мех и драгоценные камни. Я другая. Мех я вообще не ношу. И против убийства животных.

– А осталось у тебя что-то с тех времен, когда мать была вместе с отцом, а Герман Геринг был вторым человеком в рейхе?

– Нет, только фотографии. Конечно, несколько десятилетий назад оставались еще какие-то украшения и вещи, которые моя мама привезла из Австрии и те, что покупала за годы жизни здесь. Но когда она тяжело заболела, ситуация резко осложнилась. Представь, я постоянно на работе. Дети мои – еще подростки, но тоже вовсю работают. А матери нужно было обеспечить уход. Единственным способом хоть как-то помочь ей было нанять сиделку, что я и предпочла сделать, несмотря на большие затраты. Так что все ценные вещи были мною проданы. Сейчас думаю, что все продать было неправильно, но выбора как такового не было. А мама умерла в 1994 году.

– Неужели ничего не осталось? Насколько я понимаю, в свое время твой отец, Альберт Геринг, был очень состоятельным человеком.

– Ну… – Элизабет рассеянно скользит взглядом по торговым

рядам. – Герман Геринг был едва ли не самым богатым человеком Германии, а у его дочери ни гроша не осталось от его былого богатства.

– Что-то не очень верится…

Элизабет озирается по сторонам и понижает голос, словно перуанским торговцам, наполняющим воздух своими выкриками, перебранками и шуршанием пакетов, есть дело до того, что она сейчас скажет:

– Когда-то во времена Третьего рейха у Эдды была маленькая зеленая шкатулка, поверх которой была наклеена фотография Германа. Эту шкатулку она сделала своими руками, когда была ребенком. Ее подарок любимому папе – кажется, на Рождество. Если не ошибаюсь, она передала эту шкатулку ему в тюрьму в 1945 году. После смерти Геринга шкатулка пропала. Казалось бы, конец истории. Но нет. Несколько лет назад Эдда, копаясь в Интернете, обнаружила эту шкатулку… на аукционе. На торги ее выставил какой-то человек из США, пожелавший получить за этот трофей несколько тысяч долларов, а может и евро. Судя по всему, его отец или дед был каким-то образом связан с охраной нюрнбергской тюрьмы в 1945— 1946 годах.

Как бы то ни было, у Эдды появилась навязчивая идея вернуть шкатулку себе. Она сказала: «Я поняла, что мне нужно вернуть ее любыми способами, и вышла на связь с владельцем, точнее с теми, кто его представлял. Я спросила, а почему такая высокая цена за обыкновенную безделицу? Голос на том конце провода пояснил: «Эта безделица, к вашему сведению, принадлежала самому рейхсмаршалу Герингу, так что цена будет такая».

Элизабет грустно улыбается и добавляет:

– Моей кузине пришлось выкупать свою собственную вещь! Но проблема заключалась в том, что Эдде не хватало денег.

– Подожди, но она сказала тем людям, что сама – дочь Геринга?

– Сказала. И что? – Элизабет морщит нос. – Ты думаешь, что у кого-то там дрогнет сердце и они скажут: «Давайте мы вам подарим шкатулку», – так, что ли? Единственный бонус, который Эдда получила, назвав себя, – это то, что ей дали приличную отсрочку, чтобы она смогла собрать нужную сумму. И тут произошло чудо! – Элизабет поднимает толстый указательный палец кверху, тыча мясистой его подушечкой в раздутое пузо лимского облака, зависшего над нами в ожидании окончания истории. – Преставился кто-то из дальних родственников – тех самых, с которыми Эдда никогда не общалась. Но, странным образом, она оказалась упомянута в завещании того человека, так

что нужная сумма, можно сказать, сама пришла к ней в руки. И Эдда тут же потратила ее на то, чтобы выкупить шкатулку.

– Я бы прослезилась над этой историей, если бы не другая… – Вижу, как лицо Элизабет застывает маской, она ждет продолжения. – Ты в курсе, что Эдда судилась с городом Кёльном, чтобы ей отдали картину Лукаса Кранаха Старшего «Мадонна с младенцем»?

Элизабет мотает головой и сразу интересуется: что это за история?

– В 1938 году, когда родилась Эдда, власти Кёльна, как и других немецких городов, приносили свои «скромные» дары рейхсмаршалу и новорожденной. Спустя годы, уже после войны, Эдда Геринг захотела вернуть картину, стоящую целое состояние, себе. Но город Кёльн ответил отказом. Дочь Германа Геринга настаивала на том, что это «дар», который теперь по праву принадлежит ей, а власти города в суде смогли доказать, что такой щедрый подарок ребенку рейхсмаршала был сделан под давлением самого Германа Геринга. В итоге Эдде не удалось заполучить картину. Но суд продлился целых пятнадцать лет. Я слышала, что она подавала десятки апелляций во все возможные инстанции, пытаясь доказать, что «Мадонна с младенцем» принадлежит ей.

Элизабет поджимает губы:

– Нет, я про это ничего не слышала. И Эдда мне об этом не говорила. Но, в конце концов, даже если допустить, что было так, как говоришь ты, кузину можно понять: после войны у семьи Геринг изъяли абсолютно всё. Видимо, поэтому она так долго боролась за картину. А может, потому что это была память об отце.

– Память ценой в миллионы долларов?

– Память бесценна. – А я и не думала, что Элизабет такая ханжа. – Откуда ты знаешь, собиралась она продавать картину или нет! Ох, бедная Эдда! Ей, между прочим, было крайне тяжело найти работу после войны – с такой-то фамилией! Сначала она была медработником, потом какой-то конторской крысой – без амбиций, без радостей жизни и без далеко идущих планов. И жили они с матерью скромно, если не сказать бедно.

– Так почему бы не сменить фамилию? Я слышала, что Эдда фанатично любит отца: может, дело в этом?

– Не знаю. Она ведь и правда не сменила фамилию, хотя могла. Она могла уехать в другую страну и начать жизнь сначала. Могла бы сделать это в юности. Но нет. И я не знаю, почему она так не поступила. Когда я с ней встретилась, то обратила внимание, что она очень милая, приятная. Очень. Но как много

страдала! Всю свою жизнь! Нет, не просто помучилась после войны, а мучается и по сей день. Для нее ничего не меняется. И я, помню, даже предложила ей последовать за мной. Так и сказала: «Почему бы тебе не переехать ко мне в Перу навсегда?»

– А она?

Элизабет улыбается снисходительно:

– А сама как думаешь, что она? Вежливо поблагодарила. Но так, что я сразу поняла: Эдда не хочет переезжать. Категорически. Она хочет остаться в Германии, в Мюнхене, до самого конца. И к тому же, это уже моя личная догадка, она не хочет быть обузой. В общем, причин не ехать сюда у нее, наверное, много. Кстати, я заметила, что мое общество тоже было ей в тягость, ведь она отвыкла от людей.

– Та Эдда, которую описываешь ты, совсем не вяжется со всем тем, что я про нее слышала, начиная с изнуряющего суда с городом Кёльном и заканчивая слухами о том, что в гостиной ее квартиры висит огромный портрет рейхсмаршала в парадной форме, и она, обожая отца, отрицает все его преступления…

Элизабет хмыкает и холодно интересуется:

– Ты хочешь сказать, она нацистка?

– Так говорят. Я не знаю. Всё наше с ней общение закончилась тем, что она послала меня далеко и надолго.

– Может, она и была груба… но она не нацистка, я уверена. Люди жестоки. – Элизабет страдальчески закатывает глаза, и я вижу, как она похожа на своего дядю. – Все считают, что раз ты Геринг, то непременно сволочь. Бедная, бедная Эдда.

– Слушай, это ее жизнь, и история со шкатулкой – лучшая иллюстрация того, что кузина твоя – вечная пессимистка, зацикленная на страданиях и своем ненаглядном папочке…

– Наверное, это так. – Элизабет вздрагивает от резкого крика кого-то из торговцев, но не оборачивается, продолжая: – Я видела ее всего-то раз в жизни, два года назад в Мюнхене. Она очень милая, приятная, мягкая и по отношению ко мне была очень дружелюбна. В то же время, когда смотришь на нее, то отчетливо понимаешь: вот на этом человеке лежит тяжкое бремя вины за отца. Ее всегда будут винить за то, что натворил Герман. Сочувствия не проявит никто.

У меня (на фоне Эдды) есть неоспоримое преимущество, потому что я наполовину чешка, с еврейской кровью и, ко всему прочему, живу в Перу, далеко от Европы. А это несколько другое дело. Потому что европейское общество погребет тебя под руинами исторической памяти.

Разница между Эддой и мной заключается еще и в том, что я всегда жила очень позитивной жизнью, жизнью оптимиста:

такими были и моя мама, и бабушка. А Эдда очень одинока – ни мужа, ни детей. Общаться с дальними родственниками у нее нет никакого желания, она давно и окончательно оборвала с ними связи. Но я уважаю ее решение. Пусть оно и спорное.

– Но свою часть наследства она принять не отказалась!

Элизабет хмыкает и бесцеремонно меняет тему:

– Давай пройдемся еще немного по рынку. Я заметила, что тут переводят наклейки на футболки! Вы с Сергеем не возражаете, если я за пять минут сделаю такую майку с наклейкой «Харлей» для Майкла?!

Она ныряет в проход между торговыми рядами и вперевалочку преодолевает метров двести, останавливается рядом с очередной торговой точкой и вступает в живой диалог с продавцом. Тот шустро выкладывает на прилавок черную футболку, пытаясь узнать, какой размер нужен покупательнице.

– Таня, не поможешь мне на глаз определить размер Майкла? Кажется, то, что показывает этот парень, будет ему велико. – Геринг хитро прищуривается. Я что, прохожу какой-то тест?

– Однозначно, – соглашаюсь и прошу продавца показать размеры поменьше. – К тому же я уверена, что Майкл из тех, кто любит обтягивающие майки, так что нужен размер еще меньше.

– Точно, – кивает Элизабет удовлетворенно, – молодец. Внимательная.

После того как наклейка «Харлей» переведена на майку, которую выбрала я, Элизабет, шумно укладывая покупку в полиэтиленовый пакет, безапелляционно заявляет:

– А теперь хочу купить тебе свитер! В Куско, куда ты потом отправишься, ночью будет очень холодно.

Опять этот чертов свитер! Но настроение у нее заметно улучшилось: она уже не помнит про Жанетт. До моих ушей доносятся команды, которые она раздает операторам. Тут и без перевода понятно: «Идите отдохните, мы пойдем искать вещи и через полчаса вернемся к машине».

Дальше у нас по плану свободное время. Элизабет нужно три часа отдыха, ведь вечером, с девяти до полуночи, у них с Ренцо выступление в итальянском ресторане.

Мы все встречаемся около восьми вечера у дома Элизабет. Элизабет и Ренцо уже успели погрузить аппаратуру в багажник машины. Геринг снова энергична: ее тщательно расчесанные волосы лежат волосок к волоску, а по рукам растекается воздушный шелк ярко-оранжевой блузы, поверх которой надета черная безрукавка (у нее страсть к этой детали гардероба). Ногти отливают неброским перламутром, поблескивают часы на желтом

металлическом ремешке, с силой стискивающем запястье левой руки. На шее у Элизабет золотой индейский обод, на щеках румяна, губы покрыты тонким слоем темно-красной помады. Брови и ресницы аккуратно накрашены, а на лице ровным слоем лежит тональный крем.

Ренцо сегодня выглядит взрослее и представительнее: быть может, от того, что, как теперь я знаю, он старше меня на добрых семь лет? Мы опять едем в их стареньком «пежо»: за рулем сейчас сын, и я снова отмечаю про себя, что с машиной он управляется много лучше своей мамы. Через несколько минут мы уже на месте. Ресторан, как и утверждала Элизабет, действительно совсем недалеко от ее дома: при желании можно было бы даже прогуляться пешком, но у нас в багажнике – оборудование, необходимое для выступления Ренцо: ноты, синтезатор, пюпитр.

– В ресторане мы поем почти год, – болтает Элизабет, в то время как Ренцо высаживает нас и пытается запарковать машину. – Сына пригласили спеть на каком-то мероприятии, и он понравился и гостям, и хозяевам заведения. Так что теперь Ренцо поет здесь каждую среду.

Заходим внутрь заведения, и я понимаю, что мы в частной пиццерии. Назвать ее рестораном можно лишь с натяжкой и целью грубо польстить. Большая барная стойка со стульями и аккуратно расставленным алкоголем. Столики, покрытые белыми скатертями, сдвинутые в разных вариациях, как если бы кто-то расставлял кораблики для игры в «Морской бой». Слева, по диагонали от входа в заведение, – открытая кухня, где видно, как повара готовят тесто для пиццы, подбрасывая круглый плоский блин вверх и подставляя кулаки в нежелании обеспечить ему мягкую посадку.

Несмотря на то что в глубине, за следующим дверным проемом, в сторону которого тычет полным пальчиком Элизабет, есть еще один небольшой зальчик, это, в моих глазах, всё-таки не делает пиццерию ни рестораном, ни местом с большой площадью. Теперь мне остается лишь искренне надеяться, что Ренцо неплохо поет, потому что допрос с пристрастием после концерта неминуем. Элизабет обязательно захочется узнать о впечатлениях ее русских друзей от пения сына, а вру я, надо признать, неубедительно.

– Вот ваш столик! – Элизабет в роли радушной хозяйки: улыбка намертво приклеилась к ее лицу, и я понимаю, что она отныне на работе. – Ты, Сергей, два оператора и я сидим здесь. Правда, я буду у вас наскоками, в паузах, мне нужно быть рядом с сыном.

В это время в дверях возникает Ренцо, который серьезно так,

по-мужски, здоровается с каким-то дядей за пятьдесят, которого мы с Браверманом тут же нарекаем Джорджем Клуни за схожесть с голливудской звездой. Вижу, как долго сын и подбежавшая к нему мать кружат вокруг этого Клуни, говоря приятности и вежливо хихикая над шутками этого, как я полагаю, самопровозглашенного остряка, а тот в это время неприлично пялится на меня, лишь из вежливости иногда перенося томный взгляд своих очей на мать и сына. Те, разумеется, уже сообщили ему о съемочной группе из России.

Народу в кафе пока что никого: исполнители приехали раньше всех, и Ренцо начинает готовить музыкальное оборудование.

– Слушай-слушай-слушай! – Элизабет маленьким ураганчиком подлетает к столу. – А как сказать по-русски: «Welcome to Peru, my dear russian friends»? – Только я открываю рот, как она отскакивает от нашего стола к бармену с вопросом, есть ли у него ручка. На обратном пути она разглядывает столы в поисках бумажки. – Думаю, сойдет, – подмигивая, сообщает она мне, стянув салфетку с соседнего стола.

– Ты хочешь произнести приветствие на русском?

– Сначала, конечно, я поздороваюсь на испанском, а потом поприветствую вас на русском, будет классно, – сообщает мне крайне довольная своей придумкой Геринг.

Ну что ж! Четко артикулируя, я произношу по-русски нужную ей фразу: «Доб-ро по-жа-ловать!»

– Добре поджаловать… – как школьница, Элизабет, проговаривая фразу, одновременно выводит ее транскрипцию латиницей на салфетке. – Как там, еще раз? Добре? Или добры?

– Добро.

– Ага! Добро!

Тяжелее всего Геринг дается «Россия». Она никак не может понять, почему надо говорить «РоссЕя», а не «Рvссия».

Говорю ей:

– Да ладно, не мучайся: как скажешь, так и скажешь! Элизабет упорствует: ей хочется сказать правильно.

К тому же ее произношение безупречно, несмотря на мелкие помарки. Через пять минут Элизабет удовлетворенно кивает: ей все-таки удалось сказать «добро пожаловать» и «Россия». Выжав из меня похвалу и буквально вынудив изобразить бурный восторг, она собирается рвануть к сыну, но вдруг резко останавливается и, едва не потеряв равновесие, опирается на соседний столик:

– Ренцо сказал, что сегодня будет петь для девушки, которая ему нравится.

– Очень мило, значит, эта девушка будет здесь, в зале? Кто

она?

– В том-то и дело, что не знаю. Странное дело, но Ренцо теперь тщательно скрывает от меня свои увлечения.

Странное, думаю про себя. Если мама упорствует в том, что сыну в его тридцать четыре года надо сначала вырасти, а уж потом заводить семью, то вряд ли это способствует его открытости. Он и так меркнет на ее фоне, вынужденный всю жизнь мириться с отведенной ролью «гарнира» для основного блюда по имени Элизабет Геринг. Ее, как в свое время рейхсмаршала, всегда чуть больше, чем остальных. Порой даже слишком много.

– …В общем, он мне ничего не говорит, а ведь так интересно, да?

– Очень, – киваю я, искренне надеясь, что она не заметит того, что на самом деле это не столь интересно. Интереснее другое: а у Ренцо вообще были женщины? Хоть одна? Ведь выглядит он пугающе невинно.

– Ладно, вы давайте-ка отдыхайте, – шумно выдыхает Элизабет, – а я пойду встречать гостей: сейчас начнут прибывать. Потом еще поболтаем. Чуть позже закажу нам с вами еду. Мне только нужно знать, любите ли вы лазанью?

Постепенно кафе наполняется гостями, которые рассаживаются за столики, и уже к девяти вечера все места заняты. Рядом с нами – группа молодых людей и девушек, от двадцати до тридцати. Ренцо машет им рукой, те машут в ответ и смеются: они знакомы.

Нужно заметить, что в кафе, несмотря на демократичность обстановки, собрались не те люди, которых я видела на улице. Тут творческая молодежь – симпатичные девушки с живыми осмысленными лицами, воспитанные молодые люди в пиджаках, и те, кому за пятьдесят, – хорошо одетые, с разными аксессуарами, подчеркивающими их принадлежность к перуанскому среднему классу. Никаких вычурных нарядов с блестками, ничего вызывающе яркого, никакой аномальной длины юбок и брендов, кричащих о положении в обществе. В общем, вполне приличные люди, потягивающие из бокалов вино в ожидании своей пиццы, спагетти или лазаньи.

В начале десятого Элизабет берет слово. В посвистывающий микрофон она приветствует публику короткой зажигательной речью, заканчивает которую фразой: «Viva el Perd!» Под аплодисменты публики Ренцо начинает петь. Я понимаю, что это какая-то известная приветственная композиция на итальянском. Удивляет, что Элизабет подпевает во второй микрофон, и до меня, наконец, доходит, что она не просто импресарио – она еще

и поет со своим сыном. После коротких, но бурных аплодисментов, Элизабет представляет свое «солнышко»: «Сегодня для вас поет Ренцо де ла Кадена». А потом, поправив очки, она зачитывает по салфетке: «Добро пожаловать, мои друзья из… России!» Слыша незнакомый язык, перуанцы хлопают еще радостнее. А Геринг, получив от меня воздушный поцелуй, мягко улыбается и добавляет по-английски: «Вы со своей работой только не забывайте есть и получать удовольствие от вечера! Отдыхайте с нами! Скоро будет лазанья и много чего еще!»

Я ощущаю, что некоторые гости изучают нас с Сергеем, но изучают деликатно: кто-то оборачивается и поднимает бокал красного вина, намекая, что пьет за нас, кто-то шлет воздушный поцелуй или кивает в знак приветствия. Кто-то, как Клуни, хозяин заведения, притаившись за стойкой, разглядывает с нескрываемым любопытством. Мне нравятся и эти люди, и атмосфера веселой простоты, которая царит в этом заведении. Но я так и не разобралась, что за голос у Ренцо. И он, словно прочитав мои мысли, как раз затягивает «Лашате ми кантаре». Элизабет садится рядом с ним на стул и хлопает в ладоши, поддерживая ритм, – эта музыкальная композиция не предполагает дуэта.

Итак, у Ренцо сильный и приятный тенор. В целом складывается впечатление, что родственник Германа Геринга и правда неплох. Конечно, не Паваротти, Каррерас, Доминго. И даже не Бочелли. Однако, можно сказать, что он поет хорошо. До высокого уровня, не перуанского, а международного, не хватает определяющей мелочи – того самого окраса голоса, который делает его узнаваемым. А еще мне кажется, что Ренцо поет через едва заметное усилие: его голос не струится, не дрожит каплями дождя на весенних листьях деревьев. И в голосе, и в его движениях сквозит какая-то зажатость: она откровенно мешает ему петь. Руки напряжены и прижаты к телу. Никаких импровизаций – все накатано и закреплено. Он не отрывается, не хулиганит и не рискует. И тем не менее я внутренне вздыхаю с облегчением: когда буду говорить Элизабет и Ренцо о том, как мне понравилось выступление, то врать не придется.

Во время веселых композиций Геринг подпевает сыну и энергично хлопает в ладоши, пытаясь сильнее завести отзывчивую публику. Все хорошо, мило, просто замечательно, но меня не покидает ощущение какой-то отмели, на которую сел корабль древнего германского рода Герингов. Во время очередной итальянской композиции, которую исполняет Ренцо, Элизабет плюхается к нам за столик и переводит дыхание, но я не даю ей отдышаться:

– И каким ты сама видишь апогей карьеры Ренцо?

Она мечтательно закатывает глаза, узурпировав пухлыми локтями часть стола:

– Я представляю, как сбывается моя мечта. Мой сын становится очень успешным. Но, к сожалению, у нас тут нет хорошего менеджера со связями, а сама я, ну что я могу? Как сделать так, чтобы люди во всем мире узнали его и полюбили так, как любят его здесь? – Элизабет окидывает взглядом зал, с удовлетворением отмечая, что гости внимательно слушают, как Ренцо, в компании одной из девушек из-за соседнего столика, поет дуэтом Conte Partiro. – Эта девушка – тоже певица, у неё замечательное сопрано, но не лучшее в Лиме. У сына в хоре, в котором он поет, есть действительно потрясающие женские голоса.

– А когда ты сама начала петь?

– Я всегда любила музыку. Моя мама в юности пела в опере в Праге. Папа, как я узнала, играл чуть ли не на семи разных музыкальных инструментах. Дядя Герман не пел, но обожал слушать итальянскую оперу. Так вот, я была совсем малышкой, когда мы пели с мамой и бабушкой (в то время в Перу телевидения не было) и тем развлекали себя. До последних дней каждой из них – кстати, бабушка Мария умерла 36 лет назад. А за пару дней до смерти мамы я, помню, сидела у нее на кровати, и мы пели все известные нам чешские песни. А еще мне нравится музыка мексиканская, чилийская, аргентинская, европейская…

– А ты никогда не думала, что Ренцо Геринг будет больше интересен публике, чем Ренцо де ла Кадена?

Элизабет закусывает нижнюю губу: очевидно, она периодически об этом думает и не знает, как поступить.

– Работая в немецко-австрийском концерне, я периодически встречалась с крупными иностранными клиентами. Их приводило в восторг то, что я подписываю документы своей фамилией – Геринг. То есть для них я из-за фамилии и родства, о котором они сразу же спрашивали, была непререкаемым авторитетом. Но, наверное, это все-таки неправильно – продавать публике свою фамилию, даже если мы не в Европе, а в Перу.

На улице, куда я выхожу отдохнуть от внимания, которое уделяет мне публика в целом и Клуни в частности, ко мне подходит любопытный перуанский швейцар: ему не дает покоя тот факт, что я из России. На английском он говорит не лучше Бравермана, что, однако, не мешает ему, перуанцу, очевидно, никогда не покидавшему пределы страны, на чистом русском языке запеть «Расцветали яблони и груши…»

Когда я возвращаюсь в ресторанчик, мать и сын начинают

концерт по заявкам. Клуни подходит к Элизабет и дает ей какую-то бумажку, после чего она задорно приветствует в микрофон какую-то Химениту, попросив ее поднять руку. Хименита оказывается черноволосой девушкой лет двадцати пяти с открытой улыбкой, она сегодня отмечает с друзьями свой день рождения, и Клуни уже идет в её сторону с кексом, из которого торчит зажженная свечка. А Элизабет (взяв в руки гитару и бойко перебирая струны) вместе с Ренцо запевает Happy Birthday. Нет, река рода Герингов не измельчала, – она, черт возьми, высохла: потомки рейхсмаршала поют по заявкам гостей в лимской пиццерии. То, что когда-то могло показаться абсурдным, теперь реально.

К двенадцати гости начинают расходиться. Выходя из ресторана и кутаясь в белый пуховик, Элизабет вдруг заявляет: «Тебе нужно остаться с нами в Перу. Будешь мне прекрасной дочерью».

А вот это неожиданно!

Совладав с собой, мягко улыбаюсь в ответ и говорю, что боюсь не оправдать ее ожиданий как дочь. «Оправдаешь, я уверена», – улыбается Элизабет.

Утро моего третьего дня в Лиме – тяжелее двух предыдущих: хочется похоронить себя под одеялом и не видеть молочный туман, который трется о стекла окон своим мягким пузом.

Геринг встречает нас радушно и без церемоний – как старых друзей. После поцелуев и объятий сообщает: «Располагайтесь где хотите, возьмите чай, полистайте книги, пока я причешусь». Элизабет выглядит несколько измотанной, но уверяет, что отлично выспалась и снова готова к бою.

Примерно час мы снимаем ее в гостиной: она листает тяжелые фотоальбомы и рассказывает, кто есть кто. Очень много «итальянских» фотографий с медового месяца родителей – Альберта и Милы. Есть и дядя Герман в семейном кругу – с Альбертом и сестрами Паулой и Ольгой, с Милой Клазар, мамой Элизабет. Странным образом Элизабет похожа одновременно и на свою маму, и на дядю Германа – от Альберта в ней нет абсолютно ничего. Светло-карие глаза Элизабет поблескивают, когда она натыкается на фото улыбающегося папы, тискающего собаку. Она поджимает губы:

– А я всегда любила кошек. Кстати! – Элизабет срывается с кресла. – Я сейчас вас кое с кем познакомлю! Видите клетки? В одной из них живет белочка, мне ее принесли, потому что она сломала лапу. Или ей сломали, уж не знаю. Так вот, мы пытаемся ей помочь, вылечить, ведь в сквере ее ждет целое беличье

семейство.

В клетке и правда белка с вывернутой лапкой. А в соседней клетке, с которой Элизабет сдергивает полиэтиленовую пленку, – канарейка. «Она ослепла от старости, – поясняет Геринг, – но я о ней хорошо забочусь».

Мы идем в сквер кормить белок. В центре него – статуя Девы Марии. На статуе – венок из свежих цветов. У ног – крохотный фонтанчик, который сегодня почему-то не бьет.

Геринг идет по дорожке, переваливаясь с ноги на ногу, и чем-то напоминает мне огромного пингвина: она щелкает языком, и к ней, к моему изумлению, со всего сквера действительно сбегаются белки, штук двадцать. Элизабет открывает мешочек с арахисом, сетуя на то, что он нынче подорожал, но белкам, которые зимой голодают, этого никак не объяснить… Выясняется, что соседи-перуанцы уже давно привыкли к причудам немолодой блондинки, которая кормит животных, и уже не реагируют на нее так бурно, как это было поначалу, когда восемь лет назад Элизабет и Ренцо переехали сюда из района Мирафлорес.

– Мне нравится заботиться о тех, о ком никто не заботится. Наверное, в этом мы с отцом немного похожи. Конечно, неправильно сравнивать то, что делал он, спасая людей, и то, что делаю я, но, наверное, кое-какое сходство все-таки есть, как думаешь?

– Думаю, да. Но с дядей внешнее сходство абсолютно очевидно. Как и с твоей мамой.

– Да перестань ты! Думаешь, я не дочь своего отца?! А дочь дяди Германа?!

– Не думала, но, если честно… слушай-ка, а поворот интересный! Ты же сама говорила, как трепетно он относился к твоей матери. Они могли встретиться в 1943-м, ведь могли, а?

– Могли! Забудь! Не похожа я на него, уверяю, хотя, честно признаться, мне было бы приятно знать, что от дяди Германа я унаследовала что-то хорошее, к примеру ум. Он же был очень толковым человеком, если бы не этот идиот Гитлер…

– Ты считаешь Гитлера идиотом?

Элизабет привычными жестами матерого сеятеля разбрасывает вокруг себя арахис:

– Конечно идиотом! Мой дядя был летчиком, героем Первой мировой. Имя Геринг для народа тогда значило много. А кто такой был этот Гитлер, сама подумай! Больной бездарный идиот.

– Насчет бездарного я с тобой бы поспорила. Взять хотя бы его ораторский талант, феноменальную память…

– Спорь сколько угодно. Гитлер – бестолочь.

– Сейчас… – Я лезу за айфоном в карман. – Прочитаю тебе

цитату из твоего дяди: «Возможно, вы думаете, что я завидую из-за того, что Гитлер назвал своим преемником Дёница. Нелепо. Я был слишком важен, чтобы он назвал меня. Я тоже был символом Германии. Кто был Дёниц? Маленький адмирал, который мог вести переговоры о мире. Кого мог назвать Гитлер? Разумеется, не Риббентропа, которому не доверяли за границей. И не меня, своего главного современника!»[11]

– Ну и что добавить? – пожимает плечами Элизабет. – Он прав. Только Гитлер – идиот.

– И еще кое-что есть, послушаешь?

– Давай. – Элизабет щелкает языком, подзывая белок.

Читаю: «Немцы называли его “фюрер”. Меня они называли “Герман”. Я был ближе сердцам людей, чем Гитлер, но он был великим вождем, и я полностью подписывался под его программой»*.

Рука Элизабет с орехами зависает в воздухе:

– Стоп-стоп-стоп! По поводу последней фразы. Это неправда. Потому что Гитлер приказал его расстрелять в апреле 1945 года. Более того, он приказал расстрелять мою тетю Эмми и кузину Эдду, которой тогда было семь лет. Тетя Эмми вспоминала, как их арестовали, – весь ужас был в том, что и ребенка арестовали тоже! Это же бред! Так что не был он согласен с Гитлером во всем, это ерунда какая-то!

– Не забывай: эти фразы я беру из бесед с тюремными психиатрами в Нюрнберге. А на суде твой дядя предпочел забыть о том, что Гитлер хотел сделать с ним и его семьей и до последнего отстаивал честь фюрера.

– Вот это меня и удивляло всегда.

– Что Геринг величал себя «последним рыцарем рейха» и подчеркивал, что живет по кодексу чести?

– Да, это его тупое донкихотство.

Элизабет вдруг начинает громко щелкать языком: белки застывают в ожидании очередной порции арахиса. Я понимаю, что разговор окончен. По крайней мере сейчас Геринг развивать тему дяди и Гитлера не хочет. А жаль! Забавно это звучит – донкихотство Геринга. Рейхсмаршалу бы понравилось.

После прогулки по скверу мы всей большой компанией собираемся на океан – в загородную квартиру Элизабет.

Хозяйка кружит по дому и отдает команды прислуге и Ренцо. Операторы вяло собирают камеру и штатив, всем своим видом показывая, как они перетрудились. Минут через пятнадцать Элизабет, Ренцо, я, Сергей и корзина для пикника загружаемся в старенький «пежо».

И вдруг… перед моими глазами проносится – нет, не вся жизнь, а другая машина, из которой мне весело машут Альваро и Пабло. Как вы поняли, они уезжают.

– Куда?! – ору я так, что Ренцо вздрагивает на водительском сиденье.

– Наверное, подождут за поворотом, – бросает Элизабет с переднего сиденья.

Перед тем как сесть в машину, я долго распиналась перед Альваро, втолковывая простую вещь: «У Элизабет на океане домик: поснимаем и в домике, и на океане. Ехать до него километров шестьдесят, так что просто следуйте за нашей машиной».

Затем к Альваро подошел малыш Ренцо и попытался на испанском объяснить, куда конкретно мы направляемся. Только мне, в отличие от Ренцо, не надо жить в Перу всю свою жизнь, чтобы понимать, что от обилия информации у некоторых местных жителей порой случается жестокий запор мозга. Вот и лицо Альваро, после краткого диалога с Ренцо, заставило меня напрячься – настолько, что я вышла из машины и еще раз повторила: «Просто следуйте за нашей машиной, как обычно!»

– Они точно ждут нас за поворотом, – спокойно сообщила Элизабет.

За поворотом, как я и думала, не было никого. Как и через сто, двести, триста метров. Ну а дальше – перекресток: поди угадай, куда наши перуанцы поехали. В общем, Альваро, Пабло и водитель растворились в молоке Лимы, увезя с собой мой жесткий диск со всем отснятым материалом.

– Альваро, fuck… где ты? – кричу я в телефон.

– Мы едем на океан…

– К-к-куда?

– На океан. К дому Элизабет.

– А ты, – я задыхаюсь от бешенства, – ты знаешь, где ее дом?

– Нет.

– А куда едешь?

– На океан…

– Прости, пожалуйста, а какова протяженность прибрежной линии в Лиме? Если нетрудно, в километрах?

В трубке молчание – и после паузы:

– Не знаю точно, мне у кого-нибудь спросить? Много километров…

– Так. Куда. Ты. Тогда. Едешь. Альваро?!

– На океан.

Дальше я кричала, мастерски перемежая все ругательства,

которые знала на обоих языках, русском и английском. Трубка молчала в ответ. Браверман заткнул уши. У Элизабет отвисла челюсть. Ренцо остановил машину на обочине, и я заметила, как сильно он побледнел.

В итоге я охрипла и кричать больше не могла, так что пришлось шептать. Мы договорились с Альваро встретиться у цветной заправки. Ренцо нервно закивал: мол, он такую знает, взял у меня телефонную трубку и что-то пролепетал индейцу по-испански. «Он… сейчас будет на нужной нам заправке», – осторожно сообщил Ренцо, возвращая мне телефон.

Разумеется, на заправке никого не было. Для пущей верности мы проехали еще три заправки и вернулись снова к той, первой, – ни намека на наших операторов. Тогда я снова набрала Альваро: «У дома Элизабет через пять минут!!!» Проорав эту фразу раз восемь, я попросила Ренцо развернуться, чтобы встретиться с перуанцами у дома.

Через пять минут их белое такси и правда въехало во двор. «Едете. Строго. За. Нами», – сообщила я Альваро и Пабло, продираясь через собственные хрипы.

Так со второй попытки мы выдвинулись в сторону домика Геринг на Тихом океане.

В стареньком «пежо» – напряженная тишина. Кажется, Геринги в шоке от моих «вокальных данных». Через десять минут Элизабет осторожно подает голос:

– Ты, должна заметить, не права. Не с точки зрения морали, к тому же прорываться иногда очень даже полезно. А с точки зрения того, что мужики тут – очень обидчивый народ. Обидчивый и гордый. У меня муж был такой: денег не зарабатывал, но так настойчиво требовал уважения, что достал. Более того, местные мужики пакостники редкие, уж поверь. Тебе и правда повезло, что они вернулись. Могли не вернуться, просто уехать. У меня в жизни разное случилось, я знаю, так что к этим людям нужен особый подход – имитация уважения обязательна!

Я поглядываю назад: машина с Альваро едет за нами, и даже с внушительного расстояния я могу разглядеть печать горечи и обиды на лице перуанца.

– Видишь ли, – продолжает Элизабет вкрадчиво, явно опасаясь очередной моей вспышки ярости, – у Ренцо неоднократно были случаи, когда его подводили. Например, нужно петь на свадьбе, а человек, который должен играть на гитаре, не приезжает вовремя. Свадьбу же откладывать не будут, сама понимаешь. Приходится петь а капелла. А потом этот товарищ вдруг заявляется спустя два часа как ни в чем не бывало.

И что делать? Продолжать петь уже вместе с ним.

– Лучше этого козла разрубить на кусочки и скормить птицам или связать и оставить в лесах Амазонки, пока его не сожрут злобные личинки или змеи.

– Нет. – Элизабет улыбается, и атмосфера в машине вдруг разряжается, словно и не было никакой напряженности вовсе. – Нужно отнестись уважительно и с пониманием, потому что тебе, быть может, еще придется иметь дело с этим человеком.

– Нет уж! Если на него нельзя положиться…

– Тут, в Перу, – четко артикулирует Элизабет, – ни в чем ни на кого положиться нельзя. Все такие. Все опаздывают и подводят. Всегда.

– Тебе как австриячке, наверное, это особенно тяжело. Пунктуальность и всё такое…

Элизабет вздыхает:

– Да нет, я все-таки перуанка в душе. Хотя опаздывать не люблю.

– Подожди, а у тебя есть вообще австрийское гражданство?

– По идее я, конечно, могу его получить, ведь Австрия – моя родина. Но как-то руки не дойдут: далеко, дорого, времени нет. Так что гражданство у меня только перуанское.

– И ты не хочешь в Австрию?

– Хочу конечно. Но ничего там не знаю. Никто меня не ждет, как в свое время не ждали тут. Так что вряд ли у меня получится стать австриячкой, даже если я каким-то чудом доберусь туда и, наконец, получу это гражданство.

– Тебе бы там очень понравилось. Мне даже кажется, что ты смогла бы вписаться в ту, другую жизнь.

– Могла бы, наверное. Но всё-таки не могу. Не получится. У меня несколько лет назад был ухажер из Австрии: он работал в Лиме по контракту. Забавный такой, даже хотел жениться, но с условием, что мы будем жить там. А у меня дети, как их оставить? Как оставить океан, без которого мне тоже жизни нет? Я ведь очень люблю Перу, люблю местную кухню, люблю местных жителей и гостеприимство. Невозможно всё это оставить. Так что мой роман ничем не закончился. Тот человек не захотел жить в Перу.

– Можно понять, – соглашаюсь я.

Наконец появляется океан. Прибрежная полоса лентой тянется по правую сторону дороги. По левую – огромные песчаные холмы, даже представить себе не могу, что будет, если поднимется сильный-сильный ветер. Временами на холмах возникают наростами какие-то поселки – цветастые одноэтажные

домики – синие, зеленые, желтые, красные, запутанные в проводах и кабелях, обшарпанные и грязные, кричащие о своей бедности черными дырами дверных проемов и пустыми глазницами черных окон. Страшные цветные пятна фавелл мелькают по левую руку, а справа безразлично шумит Тихий океан, такой мощный, что на фоне его человеческая жизнь и домики кажутся каким-то сиюминутным недоразумением. Гладкая ровная дорога пестрит указателями на Уругвай, Венесуэлу и куда-то еще. Элизабет сообщает, что дорога до Венесуэлы занимает всего сутки на рейсовом автобусе, а может, и того меньше. Вся беднота пользуется этими автобусами, так что ездить в подобные экстремальные поездки туристам не рекомендуется.

– Элизабет, а почему на заборах вокруг некоторых домов Лимы (я успела заметить), торчат битые стекла – это такая самопальная защита от воров?

Она кивает:

– Что-то вроде колючей проволоки. Но у тех, кто побогаче, проведен ток, и вор сильно рискует, забираясь в такие дома: током шандарахнет – и сразу смерть. Лима – самая воровская столица в мире. Другой вопрос: людей нельзя провоцировать. Золотые кольца, украшения, сумочки… Нет. Деньги кладем только в носок или нательную сумку. Вот ты своей красной сумочкой откровенно провоцируешь людей, так что советую прямо сейчас переложить деньги в носки.

– А кредитку куда?

Элизабет не понимает моих острот:

– Всё в носки.

– Не буду.

– Лучше сделай, как я говорю.

– Нет, в носки не буду.

– Тогда пеняй на себя, я тебя предупредила.

– Мы же в машине.

– Я просто тебя предупредила.

Минут сорок мы едем вдоль прибрежной линии. Меня несколько удивляет, что земля возле океана во многих местах не освоена: вот оно, урбанистическое мышление. Через час замечаю, что на берегу океана появляются одноэтажные домишки – такие же точно, какими обросли песчаные холмы по левую сторону.

– А! – машет рукой Элизабет. – Это народ пространство осваивает несанкционированно: ни света, ни воды, ни нормальных удобств.

– То есть, – уточняю, – это всё до того момента, как

государству понадобится эта земля?

– Точно, их выселят отсюда в пять минут, но вряд ли эта земля так уж скоро понадобится.

Спустя минут десять замечаю вдалеке бухту, густо застроенную таунхаусами. Нам, кажется, туда. И действительно, через некоторое время Ренцо уверенно сворачивает направо, а Элизабет сообщает:

– Почти приехали.

Мы останавливаемся у пятиэтажного белого здания, первый этаж которого занимает паркинг. Жутко воняет какой-то ядовитой краской – так, что слезятся глаза.

Мы вылезаем из машины и идем в сторону лестницы. Элизабет, кряхтя и тяжело дыша, плетется в конце. Ренцо по-хозяйски отпирает дверь. Мы оказываемся в небольшой двухэтажной квартирке: справа уборная с ванной, прямо по узкому коридорчику – кухня, оборудованная плитой, холодильником, барной стойкой и вытяжкой. Дальше – выход на широкий балкон. Перпендикулярно барной стойке – жесткий голубоватый диван под кожу, на который мы все бросаем верхнюю одежду, а Пабло с Альваро раскладывают оборудование. Из узкого коридорчика прихожей берет начало крутая лестница, ведущая на второй этаж.

Вся стена кухни – одно сплошное стекло, и глаза ноют от мутно-молочной белизны, которая лезет в окна светлой, не слишком обжитой квартиры. Судя по слою пыли на полу и барной стойке, Ренцо и Элизабет бывают тут зимой нечасто.

С балкона кухни открывается прекрасный вид на бухту, плотно взятую в кольцо пентхаусами и пятиэтажками, – и все они белые, словно вымоченные в молоке Лимы, и вместе создают какой-то санаторно-пансионатный ансамбль.

– А вон та вилла, самая огромная… – Чувствую, как Геринг дышит теплом мне в затылок. – …Принадлежит пластическому хирургу. Он невероятно востребован: видишь, у самого океана на скале?

Вглядываюсь в нелепое сооружение в духе ополовиненного пансионата «Березовая роща», а Элизабет вдохновенно продолжает:

– Вот кто живет так живет! Я всё смеюсь – говорю, Ренцо, на кой черт нам эта музыка?! Переучивайся на пластического хирурга!

Не знаю, кокетничает она или нет, но живет Элизабет Геринг не так плохо. Выясняю, что эту загородную квартиру Ренцо купил два года назад и что у Элизабет есть еще одна подобная «дача», километрах в двадцати от того места, где мы сейчас находимся.

– Только там нет такого вида с балкона, – добавляет Элизабет. Вид с балкона кухни и правда замечательный. Слева – гряда песчаных холмов, которые выглядят карликовыми горами, а справа – бледно-зеленый океан, на котором покоится пара десятков катеров. Наверное, тут и правда хорошо, когда солнце. Без солнца – тяжеловато. Песок кажется серым, небо выцветшим, океан – мрачным, со стертой линией горизонта.

Элизабет раскидывает руки в стороны, подобно статуе Христа в Рио, и шумно втягивает в себя густую белую субстанцию – воздух, который видим и осязаем.

– Это пляж Санта-Мария, на юге Лимы, и тут же прекрасный пляж Эмбахадорес. Как вы видите, здесь совсем нет волн, поэтому спокойно можно плавать, – приезжайте с Сергеем летом, и будет просто класс. Поселю вас тут. Можете и друзей позвать. А днем в бухту обычно приплывают дельфины! Зимой мы с Ренцо ходим на пляж кормить птиц: чаек, пеликанов и других, потому что они голодают. В этом году температура воды была очень низкой, и что-то нарушилось, возможно, рыба уплыла в более теплые воды, потому что птицы умирали от голода прямо на пляже. Так что сегодня, раз уж мы тут, надо будет покормить птиц.

– Посмотри на них! – Элизабет тычет пальцем сторону песчаных холмов: – Ренцо облазил все! Каждый!

– Зачем?

– Он забирается на них и там поет, когда никто не слышит. Тренинг для голоса.

Возникший на балконе Ренцо согласно кивает: он уже отчаялся услышать перевод и может лишь догадываться, о чем идет речь.

– Так, расслабились – и будет! Я пошла готовить бутерброды, – сообщает Геринг.

– Неужели тебе правда так нравится Перу?

– Это мое место. – Полные пальчики Геринг лихо складывают бутерброды, настилая на круглые куски колбасы квадраты сыра и покрывая их снизу и сверху квадратами хлеба. – Когда я была в Европе, в Нью-Йорке, в Майями и даже в Швейцарии, то нигде не чувствовала себя как дома – как тут. У меня нет проблем с общением: я говорю по-немецки и по-английски, так что в принципе могу поехать в любое из перечисленных мест. Но отклика от людей, которого всегда ожидаю, я там не найду. Всё, что за пределами Южной Америки, – какой-то другой мир, испорченный деньгами и условностями. А магазины! Я как-то зашла в магазин в Швейцарии – мама моя! Попросила кого-то помочь, так мне в ответ нахамили. И я сказала себе «нет». Потому что здесь, в Перу, все милые, отзывчивые, открытые – нужно

просто уметь с местными правильно общаться, и тебе всегда помогут. И если я куда-то уезжаю, что крайне редко, то, когда возвращаюсь обратно и как только выхожу из самолета, чувствую запах Лимы – запах, который ни с чем в мире не перепутать. И я счастлива. И я говорю себе: вот сейчас я дома. И больше никаких проблем.

Элизабет разрезает квадраты сложенных бутербродов по диагонали, превращая их в треугольники, и пока я смотрю на то, как большой блестящий нож вонзается в мягкую плоть хлеба, прихожу к выводу, что она, наверное, что-то перепутала. Мне кажется, что европейскую сдержанность Геринг трактует как безразличие, попытки уберечь личное пространство от вторжения – как брезгливость по отношению к окружающим, а желание пребывать в безопасности – как никчемный рудимент уходящих в прошлое буржуазных устоев. В ответ я замечаю ей, что в Лиме жить невозможно, – с этим народом, который привык опаздывать, врать, не держать слова. Мне кажется, что уровень жизни тут такой низкий, что никого уже не трогает чья-то голодная смерть на обочине дороги, а воровство – дел обысное, и каждая прогулка по городу – вроде русской рулетки: могут ограбить или убить.

– Ты слишком предвзято судишь, – замечает Элизабет.

– Я не испорчу тебе аппетит, если мы снова поговорим о Германе Геринге? – спрашиваю у хозяйки, усаживаясь на стул при барной стойке.

– Валяй, конечно!

– Ты ведь знаешь, что твой дядя был наркоманом?

– Разумеется. – Элизабет расставляет бутылки колы на барной стойке и принимается готовить новую партию бутербродов. – А мой отец Альберт не расставался с сигаретой. О святая сигарета и кофе! Каждую минуту! И кофе он пил крепчайший, представь себе. Ну а я неправильная какая-то: не курю, алкоголь не жалую…

– Чересчур ты правильная. Неужели никогда даже не курила?

Руки Элизабет задумчиво замирают, забыв накрыть колбасу желтым квадратом сыра:

– Нет! Один раз было! Знаешь, когда я была совсем малышкой, у моей мамы был ковер дома. И мы уничтожали моль. Поэтому мы закуривали шкаф, но я даже не вдыхала дым. Просто вдувала его внутрь, – так что это единственный опыт в моей жизни, связанный с наркотиками, курением и чем-то подобным. А вот дядя до самой смерти оставался наркоманом.

– Не до конца…

– Да ну?! – Элизабет складывает бутерброд и внимательно

смотрит на меня.

– Его вылечили от зависимости после ареста.

«Врачам доктору Миллеру и доктору Келли уже удалось избавить Геринга от наркозависимости. Ему давали постоянно уменьшавшиеся дозы паракодеина. Начальник тюрьмы полковник Андрас вспоминал: “Когда Геринга доставили ко мне в Мондорф, он напоминал моллюска с идиотической ухмылкой и чемоданом паракодеина. Я сначала принял его за торговца лекарственными средствами”»[12].

– То есть, чтобы приговорить дядю к смертной казни, его еще и вылечили? – Ее брови вспархивают вверх двумя чайками. – Немного жестоко, как думаешь?

– Думаю, что они следовали процедуре…

– Ну да, понятно. Знаешь, может, конечно, дело не только в дураке Гитлере. Может, дядино увлечение этим…

– Этими… Ну, допустим, хотя бы паракодеином…

– Точно, может, его увлечение наркотиками сделало его таким… таким… в общем, сбило с пути истинного? Ведь он не был плохим, он стал таким. Потому многие люди говорили, что он был очень милый. Его правда любили. Но что-то дядю сильно изменило. Что-то толкнуло его в том направлении, в котором он пошел…

Наивные, общие рассуждения Элизабет меня несколько изумляют, и тут она вдруг добавляет:

– Да, его все ненавидят – воплощение зла. Ну и пусть. А я горжусь его умом. Я думаю, что-то было в нем, потому что так много людей, включая тебя, по сей день интересуются им. Ведь хорошая его сторона – ум, живость, яркость – это то, что я бы не отказалась видеть в самой себе. К сожалению, жизнь показывает, что я не такой мощный концентрат этих качеств. Но мне не стыдно быть родственницей такого человека!

Ого! Элизабет уже не кокетничает перед камерой! Заговорила!

Через паузу она добавляет, словно опомнившись:

– Разумеется, с одной стороны. С хорошей стороны. После минутной паузы, говорю:

– Кстати о приговоре. После того как твоего дядю приговорили к смертной казни, он попросил тюремного капеллана Греке отпустить ему грехи.

Элизабет удовлетворенно кивает, и за каждым ее кивком я читаю: «Ну видишь, не такой он монстр».

– Но, – продолжаю, – капеллан отказался, потому что до этого Геринг над ним как только не издевался, оскорбляя религию и устраивая из тюремной мессы шоу.

– Капеллан поступил неправильно. – Элизабет уверенно рассекает ножом очередную партию бутербродов. – Как можно отказать человеку, которого приговорили к казни? Это его, капеллана, большая ошибка, потому что дядя, возможно, пересмотрел свое отношение к тому, что сотворил, и хотел покаяться, ведь не зря же он решился просить об отпущении грехов? Так вот из-за этого, с позволения сказать, священника, мы так и не узнаем, что он думал в самом конце своей жизни. В последние моменты. Уверена, он хотел попросить прощения…

– И покончил с собой до казни, как образцовый верующий. Так, что ли?

– Наверное, он покончил с собой от отчаяния и оскорбления…

– Нет, потому что хотел, чтобы его расстреляли как рейхсмаршала, а не повесили как преступника.

– Я же говорю: от отчаяния и оскорбления. А тут еще какой-то святоша отказывается отпустить ему грехи!

Попытки Элизабет яростно оправдать дядю любой ценой, переваливая вину на священника, о котором минуту назад она узнала от меня, как ни странно, приводят меня в бурный восторг: чем больше ее раззадориваешь, тем ярче перед тобою проявляется призрак Германа Геринга, который говорит устами своей племянницы.

– Ну ладно, сдаюсь! Но ты уж открой секрет смерти дяди, если знаешь. Было несколько разных версий, как Герман Геринг заполучил капсулу с ядом, которой отравился в ночь перед казнью. Лично мне нравится версия, – нагло вру я, выбрав самую неправдоподобную, – что капсулу ему через прощальный поцелуй передала жена, Эмми Зонеманн. Эту капсулу в камере он перепрятал в крем, или куда еще, а в нужный момент использовал по назначению…

– Нет! – Элизабет роняет бутерброд и даже не наклоняется, чтобы его поднять. – Нет! Нет! И еще раз нет! Тетя Эмми не давала ему капсулу: она сама признавалась потом, что никогда бы такого не сделала, просто не смогла бы так поступить с любимым мужем! Капсулу с ядом дал дяде британский солдат. Что ты так смотришь? Да, кое-то из охраны дядю уважал. Подробностей никаких не знаю, но именно это говорила мне мама, которая слышала всё из уст самой тети Эмми, с которой они много лет поддерживали связь после казни дяди Германа.

– Как твой отец пережил казнь брата?

– Не думаю, что легко. – Элизабет кряхтя наклоняется, чтобы собрать с пола бутерброд, потом откладывает в сторону. – Это для птиц. Так вот, я была слишком маленькой, казнь дяди Германа

дома вообще не обсуждали, но раз отец, рискуя жизнью, сдался в 1945-м и пытался спасти брата от виселицы, то, наверное, для него это был тяжелый удар. Иногда я даже думаю (но это уже глупости, так что снимать не надо), что моя собственная семья пострадала из-за дяди, хотя Германа винить в этом, наверное, неправильно. Но мой отец вернулся домой в 1947 году совсем другим, тогда и начались его измены матери: вряд ли трехлетнее заключение и допросы так его добили. Думаю, все дело в Германе. С его смертью из Альберта ушла какая-то легкость, «легкое дыхание», что ли…

– А мог, к примеру, Геринг сказать твоему отцу во время последней встречи в Нюрнберге… только чур не всаживай в меня свой нож, это просто мысль и ничего более…

– Ну-у-у?

– Мог он сказать Альберту во время последней встречи, что ты, к примеру, не его дочь?

– Что-о-о? Чья же тогда?

И тут вдруг Элизабет начинает хохотать:

– Ну не-е-е-ет! Ну ты даешь!

– Это я просто так сказала…

– Нет, давай-ка разберемся. – Элизабет смеется, закашливаясь. – То есть, выходит, мой дядя рейхсмаршал, который, как ты уже знаешь, и в самом деле нежно относился к Миле Клазар-Нойман, моей маме, – не дядя мне вовсе, а… гм… папа? Глупость и ерунда, хотя я понимаю, в чем причина: тебя сбивает с толку моя внешность.

– Послушай, я просто хоть как-то пытаюсь разобраться в том, что сказал твоему отцу твой дядя в Нюрнберге незадолго до смерти.

– Твоя ошибка в том, что ты хочешь сложить этакий затейливый сюжет с началом и концом. Но некоторые истории не нуждаются в начале и конце, не нуждаются в дополнениях. Если есть белые пятна, то пусть они ими и останутся…

– И всё же, – сама не понимаю, чего меня вдруг понесло, – нельзя так свято относиться к известным фактам, надо уметь немножко не доверять им, уметь трактовать их.

Элизабет вдруг начинает тихо тараторить:

– Согласно твоей трактовке выходит, что Альберт от моего дяди, то есть собственного брата, узнал о том, что я не его дочь, после чего он до конца благородно пытался спасти Германа. Не получилось. После смерти дяди он отказался от меня и матери, которая, выходит, изменила ему в свое время с рейхсмаршалом. И Альберт в итоге оставляет себе фамилию Геринг… Жуть какая-то…

– Прости, – говорю ей, – меня занесло, я просто развлекаюсь, строя догадки, а тебе-то не так весело всё это слушать.

– Ничего, – говорит она тихо, – твоя теория выглядит со стороны… как-то занимательно, и опровергнуть-то с лёту трудно. А ты… молодец, лихо закрутила. Я была права, когда сказала тебе еще в самом начале: сделай художественный фильм и получи «Оскар».

– Давай забудем мое… предположение. Итак, твой отец Альберт… ты не против, если мы вернемся к Альберту?

Геринг, сложив очередной бутерброд, словно головоломку, требующую от нее максимум интеллектуальных усилий, что-то бубнит. Я не слышу. Ненавижу переспрашивать. Но делаю это. Мне кажется, что она непременно должна сказать сейчас что-то очень важное.

Она говорит:

– Альберт никогда не любил кошек.

Нет, не так. Она сказала: «Альберт. Никогда. Не. Любил. Кошек».

Элизабет задумывается, отворачивается и открывает бутербродницу. Потыкав пальцами в мягкие тельца бутербродов и убедившись, что они достаточно прогрелись, она выкладывает их вилкой на пластиковые тарелки, пачку которых специально прихватила с собой из Лимы.

– Кстати. – Раздав всем по бутерброду, Элизабет не торопится есть свой, в задумчивости пощипывая себя за бока – как бы в напоминание, что лишние калории вовсе ни к чему. – Я обещала тебе кое-что сказать. Я, конечно, не большой знаток семейной истории и всё такое, но вполне вероятно, что и Альберт, и мой дядя Герман – не дети своего отца Генриха Геринга. Мне мама на это намекала.

– Что ты имеешь в виду? Ведь Альберт, Герман, Паула и Ольга – дети Генриха Геринга и Франциски Тифенбрунн, второй его жены. От первой жены у него было, если не ошибаюсь, пять детей…

– Ну да, большая семья, – кивает Элизабет, косясь на свой бутерброд, и, взвешивая все за и против, не спешит вцепляться в него зубами, – но крестным отцом дяди Германа, может, и не только крестным, – был некто доктор Герман фон Эппенштайн, еврей-выкрест. Кстати, в честь него и назвали дядю Германа. Я также подозреваю, что Альберт тоже вполне мог быть сыном фон Эппенштайна. Если арийская внешность Германа ставит всё-таки под сомнение этот факт, то мой отец – совсем другая масть. Видишь ли, никто не скажет точно – некому, но отец (или тот, кто таковым считается) Альберта и Германа, Генрих, со своей женой

Франциской несколько лет жили в замке фон Эппенштайна. Об этом человеке известно не так много. Он был врачом, с Генрихом Герингом познакомился в Африке, где тот работал по приказу Отто Бисмарка. В общем, они подружились, и так вышло, что фон Эппенштайн пригласил пожить к себе Геринга и его новую молодую жену…

– Франциска была моложе мужа?

– Лет на тридцать. Между фон Эппенштайном и ею вспыхнула настоящая страсть. Но я хочу сказать про замок, в котором жили все они, – Франциска, ее муж и богатый любовник-еврей, врач по образованию. Фон Эппенштайн в самом начале двадцатого века купил замок Фельденштайн в Германии, построенный примерно в 1000 году [в 1253-м. – *Т.Ф.*]. После долгой реставрации, что обошлась ему в целое состояние, он и поселил в замок своих друзей – семейную пару Герингов. Там-то, судя по всему, Франциска Геринг, молодая жена, предавалась страсти в объятиях фон Эппенштайна… Да, доказать никто уже не сможет, но разве внешность моего отца не прямое тому доказательство? Впрочем, меня там не было… Этот замок, Фельденштайн, по просьбе Германа фон Эппенштайна в 1937 году передали во владение другому Герману – Герингу. Ну а сегодня это уже собственность Германии.

– Кстати о собственности. Тебя не задевает тот факт, что ты тут, в этой Лиме, разбиваешься в лепешку, чтобы заработать, а могла бы быть владелицей замков, допустим…

– Маутерндорф! – выкрикивает Элизабет, отдергивая руку от бутерброда так, словно тот накалился до предела. – Мой Маутерндорф! Тот самый, где отмечали свой медовый месяц родители. Теперь он принадлежит федеральной земле Зальцбург. Этот замок, второй по счету, фон Эппенштайн тоже завещал Герману Герингу. Но после войны или в самом ее конце можно было заключить какой-то хитрый договор или оформить наследство, согласно которому замок, по воле Германа, поступил бы в распоряжение отца… Да и вообще Альберт после войны мог бы попытаться доказать, что фон Эппенштайн – его отец. Они ж похожи.

И тут Элизабет подмигивает мне – мое предположение о том, что, возможно она дочь Германа, не дает ей покоя. Или она и сама допускала такую мысль?

– Разве, если отбросить всё и пофантазировать, замок не должна была унаследовать Эдда?

– Я просто не юрист. И отец мой в плане собственности и денег всегда был простофилей: он мог бы попросить Германа оформить нужные бумаги. А я… я могла бы быть владелицей

замка…

В волнении, захлестнувшем ее от такого альтернативного развития событий, Элизабет не замечает, как уже вовсю, яростно двигая челюстями, жует бутерброд, сея вокруг себя крошки:

– Я была в Германии и Австрии как турист два года назад. И специально отправилась на экскурсию в Маутерндорф. В свое время там висела голубая тарелка с гравировкой «Здесь жила Франциска Геринг», это моя бабка. У меня даже есть фото, которое мне прислали друзья. Но тарелки в замке больше нет! Мне сказали, что ее сняли. Уж кому она там мешала? Теперь даже на экскурсии по замку тебе ничего не расскажут про фон Эппенштайна (который, кстати, вложил огромные средства в его реставрацию), а уж про Герингов – тем более. Последним по счету жителем замка называют какого-то монаха, но это было задолго до Первой мировой. А после него – как будто никого не было! Вот тебе и вся история.

– Так что с замком-то? Тебе он понравился?

– Очень даже. – Элизабет возбужденно кивает. – Я даже камушек оттуда утащила!

– Камушек?

– Ну да. Подобрала камушек от замка и храню его дома. В память о Маутерндорфе, который мог быть моим. Смешно?

Мы спускаемся к пляжу. На улице + 15° С, и пуховик Ренцо кажется мне, девушке из северной страны, совершенно неуместным. Песчаный пляж пуст, и кроме нашей большой интернациональной компании тут никого: лишь десятки отчаянно орущих чаек, оставляющих сотни мелких следов на песке.

Элизабет, уверенно переваливаясь с ноги на ногу, движется в сторону чаек с несколькими кусками хлеба. Эти склочные птицы почти выхватывают хлеб из ее рук, пытаясь перекричать друг друга, требуя еще и еще…

– Я настаиваю на том, чтобы мы поехали в центр. – Элизабет явно продрогла. – Как вы себе это представляете: не побывать в центре Лимы, в самом красивом месте в городе?! К тому же там мы можем еще поснимать! – Геринг, лукаво искря глазом, использует самый весомый аргумент и внимательно следит за нашей реакцией. – Да-да-да! Надо поснимать еще! Я так решила.

Ренцо везет нас в сторону дома: по дороге выясняется, что он дает уроки вокала, чем тоже обеспечивает себе стабильный доход, и к нему вот-вот должен приехать очередной ученик. На парковке у таунахуса, в Сурко, тихим укором уже стоит красненькая, кичащаяся своей чистотой машинка. («Боже, Ренцо! Твой ученик

уже приехал!») Ренцо прощается с нами, целуется, обнимается и что-то лопочет на испанском. Сама же Геринг пересаживается на водительское сиденье и сообщает: «А теперь мы едем в центр!»

Проклятущая Лима пронизана пробками – при огромной плотности населения в городе нет метро, только автобусы и жуткие остовы на колесах, которые язык не поворачивается назвать маршрутками. И машины, машины, машины – реанимированные металлические мертвецы, изрезанные стальными шрамами: старые, мятые, битые, прожженные, скрипящие, одноглазые, убивающие морскою качкой всех, кто сидит дальше водительского сиденья. Да, это чистый автомобильный ад.

В центр мы едем долго – больше полутора часов, но не из-за пробок, которые она странным образом, нарушая все правила на своем кряхтящем металлическом Росинанте, объезжает лихой наездницей. Геринг поясняет: выбрала самую длинную дорогу (надо полагать, аналог МКАДа), потому что по внутренним дорогам и кольцам в это время (на часах уже шесть вечера) проехать невозможно никак. Из-под плотного серого неба, которое, казалось, никогда не разорвется, всё-таки выглядывает солнце, щедро закрашивая цветом апельсиновой кожуры трещины штукатурки в крохотных домишках, облепивших грибами-поганками песчаные насыпи.

– Знаешь, мы сейчас едем страшной дорогой, – сообщает Геринг, – тут ведь разбой на разбое.

– В смысле? Грабят?

– Если грабят – дешево отделался. Часто сначала убивают.

– Пистолет, нож и всё такое?

– А камень не хочешь? Видишь эти песчаные холмы? С заходом солнца некоторые подонки сбрасывают с них большие камни. Цель – чтобы камень упал перед машиной или задел ее и водитель остановился. Промажут – могут покалечить или убить. В любом случае – ограбят. И упаси тебя Бог прокатиться по этой дороге смерти сразу после заката…

– А мы успеваем до? – Браверман, которому я не спеша перевожу слова Элизабет, заметно нервничает.

– Почти, – серьезно отвечает Элизабет.

– Однозначно, – перевожу я.

Геринг, в этом она тоже походит на дядю, просто разрывает от внутренней энергии, несмотря на избыточный вес: она вертится, крутится, машет руками, указывая направления площадей, которые нам предстоит обойти, и постоянно что-то рассказывает, перебивая сама себя и тыча пальчиком во все

стороны, отдельно отмечая старые колониальные постройки:

– А это прекрасная церковь Святого Франциска, первая церковь, которую испанцы построили в Южной Америке. К сожалению, эти голуби, которые живут тут, испачкали ее очень сильно. Кстати, в этой церкви я венчалась с Анхелем де ла Кадена, пройдохой и отцом моих детей. А вот там – центральная площадь! Пошли-пошли! Лучше покрутиться тут до полной темноты – потом не стоит.

Я даже не спрашиваю почему. История про «дорогу смерти» еще бьется где-то рыбой в ослабленных усталостью сетях памяти…

А Геринг, привалившись к столбу центральной площади, прямо напротив президентского дворца, вдоль которого плотным строем стоит охрана, вдруг начинает говорить – я даже не успеваю ничего спросить:

– Ты всё время думаешь, как бы воспринял всё это дядя Герман, да? Так вот, я думаю, что он воспринял бы меня и мою жизнь очень хорошо. И я думаю, что, будь у него возможность сейчас оказаться здесь, рядом с нами, он был бы очень и очень рад. Впрочем, он был бы запредельно стар. Помню, тетя Эмми говорила, что он собирался бежать в Аргентину – не успел. И с одной стороны, чисто по-родственному, мне жаль.

– МОССАД бы его разыскал. Они же взяли Эйхмана в Буэнос-Айресе, не так далеко отсюда, – говорю я.

– Меня они не трогают, хотя, наверное, обо мне знают. Что касается нацистских преступников, вроде Эйхмана, то большинство из них после войны бежали в Аргентину и Парагвай. Но и в Лиме были кое-какие тайные зачистки. Я слышала, что пару не столь крупных сошек они взяли и здесь после войны. Что до меня, то мой отец спасал людей, и им это тоже известно, потому что никто оттуда ни разу не появлялся рядом с нашей семьей.

– Как думаешь, Гитлер и впрямь бежал в Аргентину? – спрашиваю Элизабет.

– Это вопрос к МОССАДу. Они всё знают. Я только слышала, как мать, много-много лет назад, когда я была маленькая и мы плыли на корабле, с кем-то это обсуждала.

И, кажется, да, они говорили про Аргентину. Почему-то им казалось, что он мог сбежать. Хотя ваша Красная армия… У вас же есть его череп!

– Есть догадки про этот череп… – начинаю я.

– Говори-говори-говори!!! Ну?

– Никаких фактов у меня нет. Недавно я имела дело с одним голландцем, который разыскивал родню Гитлера. Странным

образом (кажется, нелегально, тайком) он добыл у этих родных образцы ДНК, которые собирался сверить с образцами, что должны были быть у нас, в России. Тот же череп…

– И ему закрыли доступ?

– Точно.

– Но это ни о чем не говорит.

– Знаю из некоторых конфиденциальных источников, что череп не принадлежит Гитлеру. Об этом очень многие, кстати, говорили в свое время.

– А чей тогда череп?

– Не знаю. Есть еще одна версия, что череп был, но сплыл в частную коллекцию.

– Короче, я поняла, Гитлер всё-таки уплыл в Аргентину. Бестолочь кровожадная, – резюмирует Элизабет.

– Давай, – говорю ей, – сменим тему. Вопрос на воображение. Если бы высшие силы тебе сказали: Элизабет, мы готовы отмотать твою жизнь на любую точку и впустить в нее Альберта Геринга. Какое бы время ты выбрала? Вернулась бы на тридцать или сорок лет назад?

Элизабет скользит взглядом по президентскому дворцу и закусывает губы. Говорить она начинает не сразу, после паузы:

– Я бы сказала: дайте мне Альберта сейчас. Пусть он окажется тут, в Перу. Возможно, когда я была маленькой, он не был готов к встрече со мной. Поэтому здесь и сейчас, высшие силы, это самое лучшее время, чтобы вернуть мне отца.

Она озирается по сторонам и мягко улыбается:

– Видишь, они мне его всё-таки не дали. Никого даже отдаленно похожего.

Элизабет хочет гулять с нами по центру Лимы, наплевав на возможные опасности, что предвещают страстные взгляды прохожих, обращенные на мою красную сумку.

– Ты вообще себе хоть что-нибудь купила? – интересуется Геринг настойчиво. – Свитер из альпаки или серебро?

– Пока нет…

– Так ты собираешься что-то вообще покупать?! – Элизабет негодует. Она и вправду волнуется, что я забуду о себе. – Пошли в лавку!

– Не хочу! Я клянусь тебе, – почти умоляю ее, – клянусь, что куплю два свитера из бэби-альпака, шарф, шапочку и…

– Да забудь ты про альпаку! У нас же серебра как грязи! – веселится Геринг, затаскивая меня в какой-то магазинчик с обратной стороны центральной площади.

– И всё фальшивое.

– Да ну?! – Кажется, я нанесла Геринг почти что национального масштаба обиду. – А я тебе говорю, что нет. К тому же хочу посоветовать тебе оригинальное украшение…

Согласно киваю. У них, Герингов, это семейное – Sturm und Drang, буря и натиск. Элизабет в своем арсенале имеет и то и другое. Вот сейчас она делает Drung.

Она сует мне под нос жесткий серебряный обруч, который носят на шее на манер индейских.

– И что тут необычного?

– У тебя такой есть дома?

– Да в Москве вроде теперь всё есть…

– Я спрашиваю… – Боже, ну она прямо рейхсмаршал в блузке с жилеткой поверх. – У *тебя* есть?

– Нет.

– А чего рассуждаешь тогда? Очень полезная вещь: твое дело – менять кулоны, к нему подойдет всё. У меня вот такой же есть золотой. В общем, это просто необходимо.

– О'кей, покупаю, раз необходимо!

– Нет, я покупаю! – Она буквально в секунду оказывается перед продавцом и сует ему в руку купюры, хватает меня под локоть, выводит из магазинчика и сообщает: – Это мой тебе подарок, я так хочу, я так решила, и будет так.

Я вдруг понимаю, что от этого обруча не откажусь: согласитесь, не каждый день вам делает подарок племянница наци номер два Третьего рейха, еврейка по матери, да еще и отец которой спасал поляков, чехов и евреев от нацистского режима. Трудное, несочетаемое, я бы сказала, сочетание. Оттого я теперь обожаю этот обруч, хотя мучают меня сомнения, что всё-таки не серебро это, но даже если алюминий, если проволока, это всё равно замечательный обруч: кулоны меняешь – и каждый раз он смотрится по-новому.

Почти час около нашего отеля Элизабет дает нам с Сергеем наставления, как нужно выживать в Куско, на высоте 3800 метров. Как нужно пить коку, жевать коку, чуть ли не нюхать – лишь бы сбивать давление, которое может взлететь – особенно у постинфарктников. Как нужно пользоваться кислородным баллоном и мне – обязательно – следить, чтобы Браверман, которого она прозвала Sweet Sergey, а для краткости SS (озорно хихикая), не забывал про таблетки от горной болезни.

Прощались с Элизабет мы тяжело: она аж прослезилась. Во-первых, ей «с нами интересно». Во-вторых, финансовое положение благодаря нам улучшилось. А в-третьих – я этого вообще не ожидала, – она настояла, чтобы после возвращения из Мачу-

Пикчу и Куско мы непременно встретились с ней и пошли в ресторан. Как друзья. И чтобы никаких денег вообще. Они с Ренцо еще хотят нас увидеть, ну и судьба SS после покорения высоты их тоже крайне волнует.

Куско. Август. Ночь. Уже почти сутки я пребываю на высоте 3800 метров. Я пью чай из листьев коки и сижу во внутреннем дворике отеля, скользя пальцами по глади планшета. К счастью, сюда добегает вайфай. С заходом солнца в Куско становится очень-очень холодно, и никакие теплые вещи не спасают, хотя я уже обзавелась свитером из бэби-альпака и теплой шапкой с ламами.

Пишу короткое письмо:

> *«Дорогие Элизабет и Ренцо. У нас с Сергеем всё в порядке – завели себе кислородные баллоны и бесконечно пьем настои из листьев коки. Сегодня мы прочесали практически весь центр города, несмотря на то, что туристам в первый день рекомендуют постельный режим. Наверное, всё дело в таблетках от горной болезни – они свое дело знают. А может, это листья коки? Даже сейчас, когда я сижу во внутреннем дворике отеля, до меня доносятся бесконечные звуки рвоты: справа блюют англичане (им весь день плохо, как и мы, они приехали рано утром), и молодые туристы из Америки со второго этажа тоже блюют. Пара пожилых немцев, которых я тут встретила, держатся молодцом, правда, так и не рискуют расстаться с кислородным баллоном. Город Куско прекрасен: ради него, наверное, стоит терпеть всё, что тут приходится терпеть, хотя, если честно, англичане, которых сейчас тошнит, могут со мной не согласиться. Элизабет, твой дорогой SS, судя по всему, уже спит сном младенца, а у меня бессонница, брожу привидением по внутренним дворам: надо бы поспать, но не получается. Поэтому я возьму жесткий диск и посмотрю какой-нибудь фрагмент отснятого материала с твоим участием. Скоро увидимся. Привет Ренцо, Жанетт, а также Митчу, Сиси, Ганнибалу и конечно же Ашу!»*

Перематываю материал туда и обратно. Останавливаю почти в самом конце, там, где Геринг, миновав главную площадь, стоит, глубоко задумавшись, на одной из центральных улочек, подперев собою очередную стену желто-оранжевого цвета. А потом говорит, отвечая на мой вопрос, простила ли она своего отца, Альберта

Геринга:

– Да, я простила его. Когда я узнала, что он делал хорошие вещи для людей, спасал их, я сказала себе: «Я, наверное, не настолько святая, чтобы заслужить его внимание, но, в конце концов, другие люди получали от него что-то хорошее». Так что он не такой плохой. Поэтому я заключила с ним мир…

– Мир, – говорю я ей, – это, конечно, хорошо. Но «заключить мир» и «простить» – вещи всё-таки разные.

– Наверное. Но как дочь я была слишком сильно в нем разочарована. Для меня Альберт, хороший Альберт – это исторический персонаж. А отец… что может сказать дочь, которую покинули, ничего не объяснив? Что может сказать дочь, которую отец ни разу не захотел навестить, не прислал ни одной открытки, просто не справился о её судьбе на другом континенте, в конце концов? Конечно, в голове иной раз крутятся какие-то оправдания, в которые хочется поверить: мол, слишком горд был или денег не было. В общем, сидишь порой поздно вечером и плетешь паутинку из оправданий, сочиняешь правдоподобную версию и пытаешься в нее поверить. Но всё это, конечно, глупости, потому что у него было много возможностей увидеть меня. Несколько лет назад я была в Германии и посетила его могилу. К сожалению, там теперь даже нет могильного камня (но я обязательно этим займусь). Удивительно, но слез я сдержать не смогла – уж не знаю почему. Но если бы представилась возможность отца увидеть, если бы он просто призраком прошел мимо, я бы всё-таки сказала ему, что люблю его.

– А дяде Герману что бы сказала?

– А так бы и сказала: жаль, что ты не смог бежать в Аргентину. Мы бы о тебе позаботились.

– Несмотря ни на что?

– Несмотря ни на что. Как для меня существуют два разных Альберта, точно так же есть и два разных Германа. Один – военный преступник, которого ненавидит весь мир. Но есть другой Герман – хороший человек, настоящий семьянин, о котором я была бы рада заботиться в Аргентине. Не правая рука Гитлера, не левая его нога, не шеф люфтваффе, не главный лесничий рейха… Это – мой дядя. Просто дядя Герман.

…По возвращении из Мачу-Пикчу и Куско мы всё-таки встретились с Элизабет. Она настояла: в переписке, которую мы все эти дни вели, Геринг напомнила, что они с Ренцо приглашают нас в ресторан. Так что стоило только нам вернуться в Лиму и снова заселиться в *El Condado Miraflores*, как в номере раздался телефонный звонок.

– Это Геринг! Ну как съездили?

– Море впечатлений – я тебе писала. Как сама?

– Нуууу… – Трубка на секунду умолкает. – В целом всё хорошо…

– А в частности?

– Да зачем тебе?

– Говори уже.

– Снова проблемы с прислугой! – В ее голосе звенят хрусталики ярости. – Снова, представляешь?!

– Котов, что ли, опять постригли не так?

– Да какие коты! – Элизабет вздыхает, набираясь сил. – Если бы! Несколько дней назад (вы как раз с SS улетели) у меня вдруг просит расчет прислуга: одна женщина. Думаю – с чего бы? Они тут расчет обычно просят в одном-единственном случае… – Я поудобнее устраиваюсь на кровати, как была, в дорожной одежде, – сейчас узнаю особенности национального быта изнутри.

– И в каком случае они просят расчет? Работу другую нашла?

– Нет! Натырила всего, что плохо в доме лежит! Они ж воруют тут, сволочи!!!

– Ты ее, надеюсь, не отпустила? И вызвала полицию…

– Полиция с этими… да в доле, короче, вся полиция, – снисходительная ремарка для непонимающей иностранки. – В общем, у меня пропали деньги, вещи, украшения…

– А то, что я тебе…

– Нет, эти деньги не пропали, я догадалась их упрятать в новый сейф. А эта дрянь – она пронюхала, где старый сейф находится, каким-то образом обнаружила ключ, который я в спальне под матрасом прятала, и подчистила всё, прикинь?

– Но ты ж не можешь отпустить ее!

– Пришлось. У меня нет доказательств. Все украденное уже давно унесено к ней, так что и с поличным не возьмешь, хоть всю ее, тварь, наизнанку выверни! И ничего не поделать. Наверное, всё-таки дешево отделалась…

Ничего не понимаю:

– Дешево?

– Ой, да всякое было… – Тон Элизабет мягчеет, кажется, она уже сожалеет, что всё мне рассказала. – У меня несколько лет назад прислуга точно так же попросила расчет. Да, пропадали потихоньку вещи из дома, но я списывала всё на собственную рассеянность. В общем, прислугу эту я рассчитала. А она – предусмотрительная дрянь – прихватила с собой не только все на тот момент наличные мои деньги, но еще и паспорт, права, страховку, украшения и… – ты не поверишь – все чистящие средства, включая стиральный порошок. Только всё мелкое она

уперла заранее, а с чистящими средствами прокололась, видать, стырить сразу не получилось, и я случайно спалила ее: вся комната завалена была порошками, старой моей одеждой, были какие-то вазочки, платки, тапки, даже тряпки для уборки, губки, перчатки – словом, настоящий склад!

– И?

– И что, думаешь, кто-то ее наказал?! Я несколько месяцев потом документы восстанавливала, Бог знает, кто по старым моим теперь по миру катается…

– Новая латиноамериканская Геринг…

– Точно! Но хуже другое: та женщина, которая сейчас обокрала меня, проработала у меня десять лет, и я хорошо ей платила, заботилась…

– Противно всё это!

– Да уж, – соглашается Элизабет, – но местные все такие. Как один. И к этому за десятилетия, прожитые тут, нужно бы уже привыкнуть…

– А ты говорила – хороший народ и всё такое.

– Так хороший же! – Геринг вдруг задорно смеется в трубку. – Хороший, только врет, ворует, опаздывает. И, кстати, когда вы готовы пойти в ресторан? Ты не думай, я в состоянии заплатить, как обещала!

Мы договариваемся встретиться в девять вечера. В начале десятого, когда тело уже ломит от желания принять горизонтальное положение, она и Ренцо подъезжают на маленькой красной спортивной машине.

В машине мы, конечно, болтаем о Куско и Мачу-Пикчу, оставив за бортом Ренцо, который уныло крутит руль и которому мама не переводит ровным счетом ничего, – впрочем, по общим восторженным репликам можно догадаться, что все довольны собою и друг другом.

Мы останавливаемся в аккуратном дворике кафе, вымощенном мелкой брусчаткой, и Элизабет ведет нас за собою в большой, ярко освещенный зал, набитый шумом голосов, обрывками фраз и криком маленьких детей, снующих с шариками между столиками.

– Тут – очень демократичное место, – поясняет Геринг, когда официант подводит нас к небольшому деревянному столу, на котором вместо скатертей – бумажные настилы с рекламой кока-колы, – но готовят потрясающе вкусно! Ты, кстати, такая тощая – я прослежу, чтобы ты съела всё.

Весь вечер Элизабет с Ренцо заговорщицки переглядываются, а в конце позднего ужина, когда мы, набитые «лучшей курочкой в Лиме», переходим к чаепитию, Геринг что-то шепчет сыну, и тот

уходит, а затем появляется с пакетами, которые Элизабет гордо раскрывает и, к нашему с Сергеем удивлению, извлекает оттуда перуанские сувениры. Браверману достается деревянное изваяние на стену, с выточенным лицом индейца и мордой альпаки, – типичное местное перуанское творчество. Мне же Элизабет купила… свитер ярко-оранжевого цвета из шерсти уже упомянутого животного и тут же, прямо в кафе, заставляет меня его примерить. К счастью, свитер в самый раз. Элизабет хлопает в ладоши и косится на Сергея, пытаясь понять, как ему понравился индеец. После объятий и поцелуев (со стороны мы выглядим как одна большая дружная семья на воскресных посиделках) Элизабет продолжает потрошить пакет.

– Вот, – говорит она, с удовлетворением выкладывая на стол передо мною и Сергеем по нательному кошельку, – в таких кошельках мы тут носим деньги: на тело, прямо под одежду, и ни один карманник вас не обворует.

Мы оба рассыпаемся в благодарностях, ибо подобной заботы никак не ожидали. Конечно, она тут же настоятельно советует мне избавиться от «вызывающе красной сумочки», которая так будоражит местных жителей. И я обещаю, что сумку непременно заменю на нательный кошелек. За кошельками следует раздача местных сладостей и шоколада:

– Вы должны это взять! У нас в Перу потрясающий шоколад и конфеты!

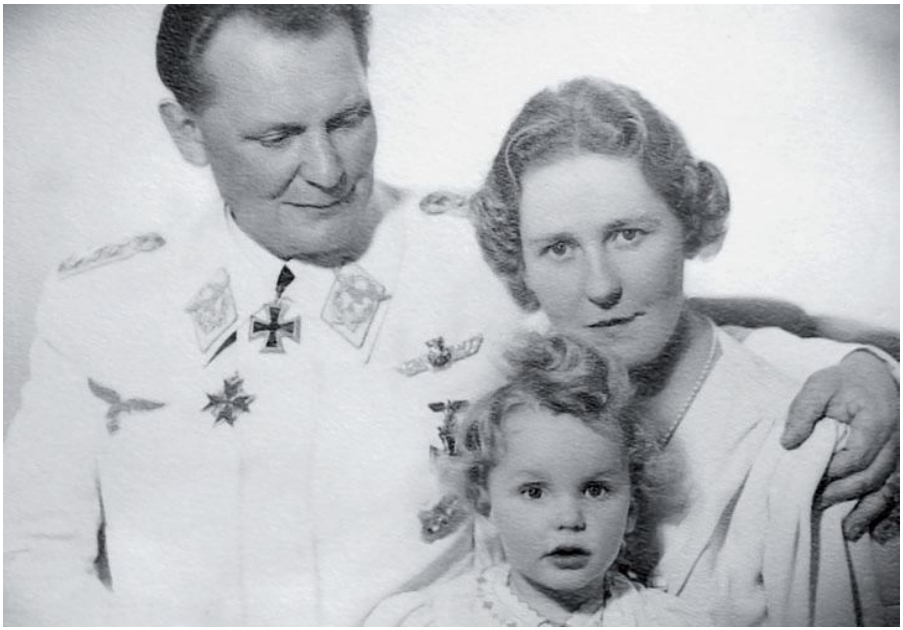
С ворохом подарков мы выходим из кафе. Ренцо заводит машину и зазывает нас в машину. Элизабет остается здесь, у кафе, ждать его: решено, что сын заберет ее на обратном пути, потому что наш отель находится в совершенно другой стороне, а салон авто не настолько просторный, чтобы все могли разместиться комфортно.

Мы долго и нежно прощаемся с нею на крылечке ресторана. Сейчас ее лицо походит на застывшую маску героини традиционной пекинской оперы, когда в былые времена женские роли там исполняли мужчины; кожа ее, кажущаяся дряблой и тонкой, напоминает белую муку или даже глину; сверкают застывшие стеклянные зрачки глаз – безо всякого выражения. Кажется, что эти глаза, обычно не упускающие и крошечной детали окружающего мира, сейчас смотрят куда-то внутрь. Что они там, внутри, видят? Пустоту? Хроническую усталость? Обиду и отчаяние, скопленные за годы человеком, который всю жизнь выживает в незнакомой, непривычной, анормальной для себя среде? Что видят эти глаза, обращенные внутрь себя?

Через стекло отъезжающей машины вижу, как Элизабет машет нам, но вряд ли она видит, как мы машем в ответ. В

последние доли секунды, до того как наша машина скрывается за поворотом, я до рези в глазах всматриваюсь в ее темную фигурку, застывшую на крыльце одиноким пингвином перед огромным неумолимым айсбергом мутного лимского воздуха, с каждой секундой смыкающегося чернотою вокруг, множа черноту вокруг себя и становясь единой, монолитной, всеобъемлющей чернотою…

Рейхсмаршал Герман Геринг



Геринг с женой Эмми и дочерью Эддой

Эдде три года

Эдда Геринг, 60-е

Альберт Геринг

Мила и Элизабет Геринг в Австрии, до отъезда в Перу

Элизабет, начало 50-х годов

Элизабет Геринг со своими сыновьями Ренцо и Майклом

Татьяна Фрейденссон, Элизабет и владелец кафе, в котором выступает Ренцо (на заднем плане)

Сергей Браверман, Элизабет и Татьяна на главной площади Лимы

Беттина Геринг
Люпин среди кактусов, или Невроз по имени Герман

Разыскать Беттину Геринг было легче, чем уговорить сниматься: за те годы, что утверждалась телевизионная заявка на фильм, моя рыбка угодила в невод к другому ловцу – израильскому режиссеру Ханоху Зееви, снявшему тяжелый многочасовой и абсолютно правильный фильм о людях, чьи потомки так или иначе были связаны с Холокостом.

Уж не знаю, почему он выбрал Беттину Геринг, сделав ее героиней фильма наряду с детьми комендантов концлагерей в Германии и Польше, а также некоторых пострадавших евреев, но факт оставался фактом: Беттина уже отметилась в иностранном документальном фильме, который к тому моменту, несмотря на давность проведенных съемок, всё еще находился в монтаже. Но обращаться к Ханоху Зееви с просьбой помочь контактами значило бы признать свою полную несостоятельность.

Итак, я решила попытаться разыскать Беттину Геринг своими силами. Трудность заключалась в том, что во всех упоминаниях в Интернете эта женщина проходила под той же фамилией, что и рейхсмаршал, но электронные справочники Нью-Мексико в ответ на мой запрос брезгливо выбрасывали ответ «не найдено». Возможно, Беттина жила под другой фамилией.

На просторах Интернета я вдруг наткнулась на занимательный очерк некой Шанти Элке Баннварт «Место прощения», писательницы, которая по совместительству значилась еще и практикующим психотерапевтом. Впрочем, литературное дарование и терапевтические навыки госпожи Баннварт интересовали меня в меньшей мере: более забавным казался тот факт, что Шанти Элке Баннварт, немка по происхождению, где-то далеко, в другой части земного шара, приходилась соседкой Беттине Геринг.

«Беттина живет на вершине Месы в доме собственной постройки с оконными рамами бирюзового цвета. Живет прямо в пустыне, которая для нее – просто задний двор, испещренный цветением диких люпинов и сочных подсолнечников Нью-Мексико. Правда, огненно-красные индейские цветы заключены в плен кактусов, живою тюремной изгородью возросших вокруг цветов; кактусов, только и ждущих, как бы улучить момент, чтобы впиться в вашу плоть, как только вы проявите интерес к цветам».

«Местная экзотика через сентиментальную женскую прозу», – подумала я, пытаясь продраться сквозь домотканые кружева английских слов, колючками кактусов цепляющихся за мой взгляд и тем самым замедляя его бег по строчкам, становясь препятствием к фактологическому материалу про Беттину, который вот-вот должен был последовать. Но метафора – люпин среди кактусов – прочно засела в моей памяти. Оставалось лишь понять, соотносима ли она с внучатой племянницей рейхсмаршала Геринга, или же это просто образное выражение, к которому прибег восторженный автор.

«Крики сорок в том месте нанизываются на низкорослые сосны, а олени подходят близко к дому, чтобы попить из старой ванны, оставленной там не по забывчивости, а с умыслом – собирать капли редкого дождя, столь не щедрого к Нью-Мексико. А когда луна разъедается до полного шара, койоты подвывают и хохочут в ночи, перекидываясь шутками с холма на холм через плоские плато, и их жуткий смех льется потоком в каньон, где сливается с тонкой струйкой ручейка, что обеспечивает водою лягушек-быков[13], а также ящериц и зайцев. В зимнее время кедры полыхают, превращая округу в горящую печь, и дым, напитанный приторно-сладкими пряными ароматами, вальяжно переползает через крыши редких разбросанных по пустыне домов. Ветер насильно гонит перекати-поле по траве, настолько желтой, что скорее коричневой, и сбивает их в снопы вдоль изгородей.

Нью-Мексико находится на юго-западе США, на том же меридиане, что и Марокко. Летом тут сухо и жарко, но, несмотря на это, зимой тут идет снег, потому что мы живем на высоте около 7000 футов.

Беттина – моя соседка, правда, соседство, даже близкое, тут, на окраине Санта-Фе, означает, что между нами расстояние “всего” в несколько километров. У Беттины Геринг худое лицо, светлые волосы, живые глаза и быстрая улыбка, которая появляется и исчезает, подобно теням облаков, плывущих над безмятежным пейзажем. Ее передние зубы несколько отличаются от образцовых американских зубов, и этой приметы вполне достаточно, чтобы определить, что по происхождению она не американка. Как и я, она родилась в Германии. И братом ее деда был Герман Геринг…»

Хорошее местечко, чтобы отгородиться от мира. Думаю, эта Беттина сделала правильный выбор. А Шанти, именующая себя ее соседкой, сама не ведая, оказалась моей единственной надеждой, мостиком, сотканным из возлагаемых на нее ожиданий, переброшенным через страны, моря и океаны прямо к загадочной женщине из рода Геринг, живущей люпином посреди кактусов.

«Я живу у подножия Меса, на которой поселилась Беттина. Нью-Мексико казалось настолько же далеким, насколько я сама отделила себя от своих корней и культуры, настолько далеким, что я была свято уверена: уж точно смогу избежать встречи с соотечественниками – особенно с той, что приходится внучатой племянницей Герману Герингу. На протяжении долгих лет я не знала о ее происхождении и тяжком бремени. Мы изредка встречались, но наши отношения ограничивались словом “привет”, которым мы перебрасывались просто из вежливости… Я узнала о происхождении Беттины, когда один друг сказал во время обеда: “…Беттина Геринг – внучатая племянница правой руки Гитлера, человека, которого он много лет видел своим преемником…” Нужно сказать, что я тоже немка и родилась в начале Второй мировой войны, в результате которой были травмированы и моя душа, и моя личность. По сей день я не могу говорить о Холокосте без подступающих к горлу рыданий – и это через шестьдесят лет после упомянутых событий. Я – преступница по происхождению и по своему культурному наследию…

Как-то, когда я ехала в сторону Санта-Фе по грунтовой дороге, которая вела из каньона, несколько собак выбежали на проезжую часть и принялись резвиться прямо перед приближающимся бампером моей машины. Я остановилась и решила подождать, когда они наиграются, и пока ждала, другая машина поравнялась с моей и остановилась. Окно в окно. И когда я опустила стекло, на меня смотрела Беттина. С первого взгляда, с первой секунды тогда мы поняли, что накрепко связаны судьбой.

– Шанти, – спросила она, – я слышала, вы интересовались мной?

– Беттина, – ответила я, – я хочу встретиться и поговорить с вами».

По ходу прочтения эссе мне показалось, что Шанти несколько поэтизирует события, как гиперболизирует и страдания Беттины («она должна отказаться от бремени вины потомков», «она должна обрести мир в себе» или «она чересчур ответственна»). Зачем взрослому здравомыслящему человеку взваливать на себя груз вины за прошлое, к которому он вообще отношения не имеет?

Беттина родилась в 1956 году, к тому времени ее двоюродный дед уже десять лет как жарился в аду. Если принять формальную логику этой женщины, то все наши мелкие прегрешения на Высшем Суде должны суммироваться с грехами наших предков, то есть ответствовать придется не только за свои

личные «накопления». Но тогда и верить в существование рая несколько наивно. Впрочем, пока мне трудно было сказать, верит ли Беттина еще во что-то, кроме греха поколений. И на кой черт он сдался ей, если она давно покинула Фатерланд?

В эссе Шанти Элке Баннварт об этом ни слова.

Зато есть кое-что любопытное, что автор не решилась вынести из кавычек, избавляя себя от необходимости выкручиваться при помощи синонимов, через которые обязательно проступило бы ее личное отношение к одному необычному поступку Беттины:

«Мой отец обожал своего дядю Германа Геринга, – говорит Беттина, – я же чувствую абсолютное отрицание своего наследия. В тридцать лет я стерилизовалась, чтобы не плодить больше монстров, чтобы оборвать род. Да, радикальное решение. Мой брат, кстати, поступил точно так же, но мы оба приняли это решение не сговариваясь! У меня было три психических срыва, в результате которых я не могла спать несколько недель».

Это откровение, проникнутое драматическим пафосом и легкой провокацией, показалось мне смешным и натолкнуло на некоторые подозрения относительно особы, поделившейся им. Страсти сквозь десятилетия, без прямого родства, говорят, скорее, о дури или внутренних проблемах личности. Возможно, заочную предвзятость мою в отношении Беттины объясняло и то, что я знала достаточно историй, которые могли бы считаться истинными драмами. Помню, как раз о драмах мы заговорили с Никласом Франком, сыном гауляйтера оккупированной Польши Ганса Франка, повешенного в Нюрнберге 16 октября 1946 года. Когда мы бродили с ним по сумеречному Нюрнбергу, Никлас, затянувшись сигаретой, вдруг сказал:

– Плохо, когда ты не по собственной воле оказываешься насильно вписан в драму, тем паче в трагедию. К примеру, сын известного всем Йозефа Менгеле, садиста, проводившего опыты на узниках Освенцима, знал, где долгие годы скрывался его отец после войны. И все знали, что он знал. Даже МОССАД, который вел активную работу по поимке Менгеле. Положение усугубляло еще и то, что сын был юристом, человеком, прямой задачей которого является отдавать преступников под суд. Наверное, он каждое утро просыпался с мыслью о том, выдавать отца или нет. И какое бы решение из двух он ни принял, исход обещал быть драматическим в любом случае.

– Если ты о Рольфе Менгеле, то он принял свое окончательное решение…

– Не выдавать.

– Так что его папаша преспокойно скончался в Бразилии в

1979 году. А теперь вот, спустя долгие годы, сын с удовольствием мазохиста ездит в Освенцим и приносит свои извинения…

– За то, что не сдал отца? – уточняет Франк спокойно, закинув голову и выдыхая сигаретный дым. – Я как-то упустил из виду продолжение этой истории.

– Рольф Менгеле приносит извинения за отца, который, по словам самого Рольфа, так до конца жизни ни в чем и не раскаялся. Но точно не за то, что не выдал его МОССАДу или еще кому.

– То есть ему просто жаль, что так вышло с узниками Освенцима? – уточняет Франк, поскрипывая сдавленным смешком и стараясь не расхохотаться.

– Да. Ему просто жаль.

В свете десятков подобных трагедий краткая история Беттины, дальней родственницы Геринга, заочно доказала мне, что ее инфернальные отношения с рейхсмаршалом – лишь верхушка айсберга, а что там скрыто под толщей воды… с этим нужно было разбираться отдельно.

Если отбросить снобизм и рассуждения о том, что есть истинная драма и когда она превращается в фарс, то персонаж для кино Беттина явно подходящий. А еще во мне вдруг вспыхнул интерес и к Шанти Баннварт, живописующей люпины среди кактусов пустыни. Интерес сугубо прагматичный, ибо, будучи не только подругой-соседкой, но и психотерапевтом, Шанти могла бы прекрасным образом принять участие в фильме вместе с Беттиной, которой от этого будет только легче, ведь Баннварт для нее – человек знакомый.

В общем, я села за электронное письмо и, мысленно запечатав его сургучом своей надежды, кликнула мышкой на кнопку «отправить», предварительно вбив в строку адрес автора эссе «Место прощения», ожидавшего отзывов и «справедливой критики» на свое творение, размещенное на личном сайте.

Буквально на следующий день я получила милый ответ:

> *«Уважаемая Татьяна!*
>
> *Я очень тронута работой, в которую Вы погружены, а также Вашими профессиональными усилиями и навыками. Я лично считаю себя ответственной за то, чтобы говорить от лица немецких детей и женщин, переживших войну, отягощенных своим местом в истории, и, конечно, я готова общаться с Вами с большой внутренней отдачей! Спасибо!*
>
> *Также от лица Беттины хочу поблагодарить Вас за*

предложение поучаствовать в Вашем фильме – для меня же это просто честь, и я очень этим взволнована! Ну конечно я приму участие и помогу всем, чем смогу!

Что касается Беттины. Должна сказать, что мы с ней временно не на связи, ведь буквально пару недель назад я как раз заехала, чтобы по-соседски пожелать ей удачи на отдыхе в Таиланде, куда она отправилась на три месяца. Но не огорчайтесь. Я посмею разделить с Вами свою уверенность в том, что она не откажется сниматься в фильме, и попытаюсь разыскать её тамошние координаты или электронную почту, знать которую до этого момента мне просто не было нужды. Я понимаю, что отсутствие Беттины затянет сроки Вашего проекта, но тут уж ничего не поделаешь, ведь главное, в конечном итоге, – цель.

Насколько я поняла, о моем знакомстве с Беттиной Вы узнали из очерка "Место прощения"? Я очень польщена. Могу похвастать, что этот очерк, размещенный в Интернете, стал победителем в местном конкурсе, и его опубликовали сразу в двух антологиях. Но знаете, что самое любопытное? Прямо сейчас я работаю над книгой-автобиографией, которая называется: "Танцующая на одной ноге. Мемуары выросшей в нацистской Германии". Больше всего меня изумляет, насколько перекликаются наши с Вами темы: в основе каждой – тема нацизма. Кто бы мог подумать, что это еще волнует кого-то, кроме меня. Впрочем, наверное, волнует: мы же – и я, и Беттина – живем в диких местах, на самой окраине Санта-Фе, где кактусы – лишь меньшее из зол, которые могут тронуть воображение человека, обитающего в городской среде.

Я еще раз благодарю Вас за предложение, на которое уже даю свое согласие, в ближайшие дни разыщу координаты Беттины и расскажу ей о проекте. А Вы пока пришлите мне краткий план интервью: будет ли тема бремени вины основной? Или предполагаются еще какие-то темы?

С самыми теплыми пожеланиями,

Шанти Элке Баннварт.

P.S.: Мой отец Ханс Ройсслер не был нацистом. Я так считала. Пока не нашла наградной крест и грамоту, врученные ему в 1944 году, за личной подписью Гитлера».

Буквально через несколько дней после письма Шанти мне в почтовый ящик упало еще одно письмо, данные отправителя обозначились в адресной строке как Беттина С (на С начиналась та самая ее фамилия, которую я так жаждала узнать). Письмо было коротким – никаких тебе изысканных вензелей, романтики и причудливых узоров.

> *«Привет! Приятно знать, что есть еще в мире люди, которые хотят закрыть главу Второй мировой. Я колебалась, участвовать ли в Вашем проекте, но Шанти меня уговорила, так что буду рада поработать с Вашей группой. Пока. Спасибо.*
>
> *Беттина».*

О том, что внучатая племянница рейхсмаршала Геринга живет в США очень давно, говорила сама манера письма. Коротко. Прямо. И без лишних вопросов. Истинный немец, он же душу из тебя вынет своей генетической привязанностью к эпистолярному жанру, – помню, какими полотнами писем мы обменивались с тем же фон Риббентропом, да еще и по факсу на официальных бланках. Более извращенного способа общаться на расстоянии, мне кажется, никто не придумал.

Но вернемся к Беттине и Шанти. Идея вовлечь последнюю в проект была абсолютно верной. Предлагаю еще одну короткую выдержку из эссе «Место прощения».

«Несколько недель спустя [после встречи на дороге. – *Т.Ф.*] Беттина приехала ко мне на чай. “Мне нужно научиться прощать, чтобы простить собственный народ, – сказала она. – Я испытываю огромное сострадание к Германии и немецкой истории”. Я призналась ей: “Твоя открытость помогает мне смиряться с собственными скелетами в шкафу, и теперь я могу говорить более свободно и о своем прошлом тоже. Ты растопила меня, и я чувствую себя так, словно внутри меня тает лед”».

Мне хотелось бы сказать себе, что я понимаю, что гложет этих взрослых женщин, перепрыгнувших с одного материка на другой, – от зеленеющих по весне берез Фатерланда в пустыню, покрытую кактусами и кустарниками.

Мне хотелось бы сказать себе, что я понимаю и лаконичную Беттину, и сентиментальную многословную Шанти. И всё-таки я не понимала. Даже вырвавшись за просторы своего узкого сознания, вряд ли смогла бы понять. Единственное, на что можно было рассчитывать, так это на то, что я смогу этих незнакомых мне людей почувствовать.

Итак, 7 мая я и Сергей Браверман ступили на землю штата

Нью-Мексико. Оказавшись в черте города, я попросила таксиста остановиться там, где могут продаваться газеты. Мой коллега недоверчиво уставился на меня, однако вышел из машины размяться. Я купила выпуск *Santa Fe New Mexican*, и мы двинулись дальше.

– И что пишут? – иронично поинтересовался SS.

– Пишут, что мы приехали.

– А что еще? – зевнул он.

– Что мы приехали.

– Уже не смешно, – сообщил SS.

– А я не смеюсь. – Я сунула передовицу ему под нос. – «Relatives of World War II Nazis wrestle with families' legacy of hate». Это заголовок. А вот и первые строки: «Съемочная группа российского телевидения приезжает в Санта-Фе на этой неделе, чтобы взять интервью у двух местных жительниц для документального фильма о том, каково это – быть родственниками нацистов».

– Ни фига ж себе.

– Слушай… так-так… Первый канал… – пробегаю глазами по строчкам, – тут даже цитата из меня… выдержки из моей переписки с Шанти…

Автором статьи оказался Том Шарп, журналист *Santa Fe New Mexican*. Шанти предупреждала меня, что он, возможно, набросает маленькую заметку про них с Беттиной и то, почему русские вдруг заинтересовались потомками и родственниками нацистских лидеров. Но я-то наивно полагала, что размер заметки будет не больше какого-нибудь скромного некролога, и уж точно не думала, что моя личная переписка будет предана огласке. А тут – на тебе: фотография Беттины и Шанти на первой полосе, «русская съемочная группа» и большое продолжение внутри.

У них тут что, правда ничего не происходит?

«Беттина Геринг и Шанти Элке Баннварт жили в этом штате более двадцати лет, но избегали друг друга и огласки относительно их прошлого до недавнего времени».

Судя по всему, наша эпистолярная история с Шанти взбудоражила ее и Беттину настолько, что когда племянница рейхсмаршала вернулась из Таиланда, они тут же отдались в руки газетчиков, с тем чтобы дать выход тому неуемному возбуждению, что клокотало внутри. И обе дамы, которые тщательно скрывали свое происхождение, вдруг заявили о себе на весь штат, а я невольно оказалась катализатором, из-за которого они, наконец, решили обнажиться перед всеми, кого знали и не знали (позже Шанти признается, что инициатором «раскрытия» выступила Беттина). Они заговорили. Беттина оказалась

фрондершей.

«Посмотрите, что немцы сделали с евреями, – заявила она. – Посмотрите, что происходит сейчас в Израиле». И маленькая добивочка, от которой я застонала в голос, чем снова вызвала удивление у Бравермана, тут же отобразившееся на его лице.

Это уже, что называется, от автора, Тома Шарпа: «По мнению Баннварт и Геринг, нацистская Германия – не единственное зло в современной истории. Например, Соединенные Штаты уничтожили много индейских культур и поработили чернокожих».

Находясь в компании приличных американцев, и это знают все, не стоит задевать национальную гордость темой порабощения индейцев и чернокожих. Но две подруги-немки отличились. Так резко выйти из сумрака, как сделали они, еще суметь надо. Это я к тому, что не сомневалась, как американцы отреагируют на статью. Что называется, к бабке не ходи. Впрочем, Беттина кое-что предусмотрела. Заявив себя на первой полосе, Геринг пожелала сохранить тайну новой фамилии.

И еще одну тайну.

«Ее старший брат тоже живет здесь, но Геринг заявила, что он хотел бы избежать публичности. “Он занятный, – сказала она. – Он одобряет то, что я делаю, но не хочет быть в это вовлеченным”».

Отчего-то этот загадочный брат Беттины заинтересовал меня с самого начала. Эдакая мистическая фигура, выглядывающая из-за плеча младшей сестры, человек-призрак, не названный никак, даже по имени, который странным образом оказался в тех же местах, что и его сестра.

Довольно подробная история Беттины – обнажаться, так по полной! – заканчивалась репризой, которая мне очень не понравилась.

«С помощью психотерапии, называемой семейными расстановками, она сказала, что ей удалось почувствовать боль, которую нацисты причинили России».

Хватаюсь за голову и ношусь по веранде гостиницы с воплями… Когда в очередном не пойми-каком-по-счету письме я писала о русском народе, пострадавшем от Второй мировой, я не это хотела сказать! Я не хотела, чтобы Беттина сразу стянула всё на себя! Я не израильский режиссер – я не хочу будить в ней Иисуса Христа и призывать страдать за всех и за всех молиться.

Поспать не удалось. За поздним завтраком в отеле *Chimayo de Santa Fe*, где нам первым делом принесли по стакану воды со льдом – обычное дело в жарких штатах, – солнце сквозь отмытые

оконные стекла жарило немилосердно. Мы с Сергеем обсуждали грядущую встречу с оператором Стюартом. Учитывая, что бюджет фильма вообще не предполагал никаких излишеств, оператора с оборудованием я была вынуждена искать среди местных жителей. Разумеется, никто из коллег не мог мне посоветовать приличного оператора в Санта-Фе, так что спасителем в очередной раз выступил Интернет. За завтраком я как раз играла в «представь себе»: это когда ты пытаешься угадать, каким окажется человек, на которого собираешься возложить все свои ожидания по поводу картинки. Судя по нашей долгой переписке, истинный американец господин Пэнни был вполне вменяемым и адекватным, четко отвечающим моим требованиям.

Стюарт оказался милым человеком средних лет. Прямо на открытой веранде отеля мы с ним выпили по чашке кофе. Он внимательно слушал то, что говорил Браверман по-русски и с не меньшим интересом – мой перевод, согласно кивал и задавал вполне толковые вопросы, успевая изредка подбирать за меня точные слова (пока я тянула долгое «э-э-э», пытаясь нащупать нужное слово).

Можно сколько угодно ругать американцев за фальшивые улыбки, фастфуд и масонские символы на Рокфеллеровском центре, но есть в этих ребятах, true-americans, нечто такое, что я бы обозначила как «отсутствие национального комплекса», в смысле не военно-промышленного, не ракетного, а неполноценности, разумеется. Стюарт – первый американец, который работает на меня, симпатяга из забытой Богом дыры на проблемной границе с Мексикой. Да он прямо как я: сам себе продюсер, автор, режиссер, правда, в отличие от меня, главной статьей его доходов является операторская деятельность. Стюарт – закаленный боец: вот уже много лет он мотается по югу США – от Майами до Голливуда и Мексики. Едет туда, куда попросят заказчики.

Порадовало, что Стюарт всё-таки задал вопрос, отличающий нормального оператора от поденщика, которому плевать, на что тратить гигабайты памяти мемори-кардс: американец, мучительно стесняясь и страдая, что сует нос не в свое дело, решился узнать, а кого же мы, собственно, снимаем (заранее о героях я сообщала ему в самых общих чертах) и почему. Получив исчерпывающий ответ и отреагировав на фамилию Геринг репликой: «Да, точно, второй после Гитлера, военно-воздушные силы!» – Стюарт своими познаниями (богатыми для американца из глубинки) привел меня в такое умиление, что, забыв о своих проблемах с лексикой и грамматикой, я толкнула ему короткую и вдохновенную речь о том, что готова разделить нашу Великую

Победу над Гитлером, Герингом со товарищи с американским народом, ибо, не будь второго фронта и лендлиза, как знать, чем бы всё обернулось.

Прощаясь со Стюартом, мы договорились о встрече 9 мая, работу с ним планировалось начать спустя день, потому что Шанти и Беттина попросили, чтобы первая наша встреча прошла неформально, без камер. Так что в преддверии Дня Победы мы должны были познакомиться с «моими девочками». После статьи, напечатанной в местной газете, я стала называть их так.

Простившись со Стюартом, мы пошли на прогулку. Центральная площадь города находилась в метрах ста от нашего отеля, и мы окунулись в неспешную жизнь города, дремавшего под коварным весенним солнцем, которое через месяц-два сожжет тут всё дотла и иссушит вконец измученную землю. Достопримечательности меня, признаться, мало интересовали – это вам не древние цивилизации типа Индии и Китая.

Итак, здесь нашла свой приют Беттина Геринг, немка по происхождению, которая уже более десяти лет является жительницей Санта-Фе.

По всему центру города разбросаны невысокие двухэтажные глиняные здания: без прямых углов, лишь округлые обтекаемые формы. Все постройки похожи на неровные куличики. Только солнце, небо и коричневатая глина вокруг. Кажется, что где-то за этими домами, в полупустыне, притаился Клинт Иствуд в роли шерифа, что где-то тут, недалеко, скачут на лошадях индейцы, борющиеся за свою независимость. И вдруг, прямо как по заказу, поворачиваю, а под тенистой колоннадой, куда уже подползает солнечный свет, прячутся десятки индейцев, продающих украшения из серебра и камней: они, конечно, очень похожи на тех, из вестернов. На земле перед ними на расстеленных простынях, словно мусор, валяются разного рода поделки – от украшений до обожженных глиняных горшков в национальном стиле, а также магниты, серьги, браслеты. Всё яркое и блестящее, словно на радость огромным чернющим в\ронам, которые теперь символ этой земли. За каждой безделушкой – труд представителя какого-нибудь племени, самые распространенные из которых – навахо и зуни. Некоторые индейцы утверждают, что поделки их собственного производства, их семьи, рода, племени.

Над колоннадой – растяжка: «Программа поставок от коренных американцев Дворца губернаторов», то есть эта колоннада, длиной метров в пятьдесят, – официальное место для торговли индейцев. Они проиграли свою землю. И получили в утешение вот такие вот официальные колоннады.

Спрашиваю индейца:

– Сколько стоит ожерелье?.. Нет, не то, поизящнее которое.

– Тысяча триста, – бросает он в ответ и, не двигаясь с места, начинает разглядывать меня. До меня доходит не сразу: бирюза с серебром стоят тысячу триста долларов США!

– Это шутка? Если нет, то почему они так валяются? – киваю толстому монтесуме в ортопедических тапочках. Уж больно не товарный вид у украшений.

– Нормально лежат, – говорит он, пожимая плечами.

Продвигаюсь по импровизированному торговому ряду дальше.

– Тысяча!

– Тысяча пятьсот!

– Девятьсот восемьдесят, но для вас – девятьсот семьдесят!

Нет, думаю я, ощущая себя Винни-Пухом, это какие-то неправильные пчелы. Но ожерелья отличные, есть над чем подумать. Интересно, а Беттина может позволить себе тут отовариваться?

Мы с Сергеем проходим несколько километров по центру Санта-Фе, точнее, по его периметру, а дальше начитаются дороги, дороги и еще раз дороги – больше нет ничего. Ну да ладно, долго скучать не придется. Завтра мы, наконец, встретимся с людьми, ради которых и прилетели сюда.

Будем знакомиться.

У предварительной беседы перед съемками есть свои плюсы, впрочем, минусы тоже есть. С одной стороны, когда герои привыкают к тебе, – это всегда хорошо, именно этим зачастую продиктовано их вольное поведение в кадре. С другой – и это минус, – люди порой выговариваются, то есть рассказывают всё, а потом повторять самих себя на камеру им становится скучно: и это тоже видно на отснятом материале.

В десять часов утра следующего дня мы с Сергеем нервными шагами измеряем веранду нашего глиняного *Chimayo de Santa Fe*.

– Давай возьмем по стаканчику лимонада, – обращаюсь к Сергею, пытаясь найти спасение в жестоком убийстве времени: на часах пятнадцать минут одиннадцатого. – Вон, идут! – вскрикиваю я, глядя на две женские фигурки в тридцати метрах от отеля и забыв про лимонад. Вскоре они подходят к нам, обе растерянно озираются. Да, точно, это лица с обложки *Santa Fe New Mexican*!

– Беттина! Шанти! – Бросаюсь им на грудь, как старая подруга, и утопаю в объятиях чуть растерявшихся женщин.

– Татьяна! – радостно восклицает Шанти под веселое

кудахтанье Беттины.

– Я же тебе говорила, что Таня молодая! Вот точно, смотри! – говорит Беттина подруге. И уже мне:

– Представляешь, Шанти уверяла меня, что тебе лет сорок-пятьдесят!

Обнимаюсь с Беттиной, в то время как Сергей с лету покоряет Шанти, целуя ей руку, затем и с Беттиной и повторяет тот же церемониал.

– Пошли тогда в холл, жарковато тут, – просит Беттина, и мы следуем в прохладный темный холл отеля, где каждый берет по стакану лимонада, и рассаживаемся по низким креслам вокруг деревянного стола, на который из угла взирает статуя Девы Марии с венком из свежих цветов на шее. Во всем ощущается сильное влияние Мексики – так, словно мы и не в США вовсе.

Пока Шанти и Беттина слушают наш рассказ о том, как мы долетели, устроились, я не свожу глаз с Беттины, которая тоже поглядывает на меня и, улыбаясь, мотает головой.

В статье Тома Шарпа приводилась прямая речь внучатой племянницы Германа Геринга: «Я похожа на него больше, чем его родная дочь!» Пытаюсь найти хоть какое-нибудь сходство, но Беттина больше походит на местных индейцев, чем даже на представителей белого населения Америки. От коренных жителей ее отличают лишь выжженные светлые брови, точно кустарники в полупустыне. Прикоснись – и прахом осыплются от твоего касания. И глаза – ярко-синие, в цвет длинного полупрозрачного палантина, которым она распоряжается, словно парео, подвязывая то юбкой вокруг джинсов, то вновь накидывая на плечи. И уж совсем не вяжется ее внешность с арийской расой и Германом Герингом. Узкое, вытянутое, закопченное солнцем лицо (такой оттенок кожи, «медь + глина», может быть лишь у тех, кто много лет провел в жаркой стране, не перемещаясь из тени в тень и от кондиционера к кондиционеру), острые скулы, высокий лоб с длинными бороздами морщин; глаза в постоянном прищуре, в которых плещется легкая хитринка.

Она вся – скелет, обтянутый тонкой кожей, которая, кажется, вот-вот лопнет или треснет пересушенной глиной на солнце. Она зевает от истомы, не прикрывая рта, потягивается, раскидывая длинные руки, изрытые мышцами, в стороны, ничуть не беспокоясь, даже не задумываясь о том, что это выглядит совсем не женственно: да она вообще не думает, как выглядит со стороны! Ни грамма косметики, ни помады, ни блеска, ни лака на ногтях – ничего, что сегодня украшает любую женщину, включая холеную Шанти, с поблескивающими розовой влагой губами и аккуратно прокрашенными ресничками, прикрывающими

бахромой глаза с черносмородиновыми зрачками. На каждой руке Беттины – по колечку на безымянном пальце. Скромные, незаметные, в лучшем случае из серебра, они смотрятся намного беднее и проще украшений подруги, которая во время беседы поигрывает большими перстнями на ухоженных руках.

Те украшения, что носит Беттина, трудно принять за дорогие индейские поделки. В ушах – грубые серьги с вкраплением бирюзы (подбирала под цвет платка) и коричневые бусы на шее, легкие, словно не из камня вовсе, а из пластмассы, перекликающиеся с черным камушком на одном из колец. Фиолетовая блузка с глубоким V-образным вырезом слишком ядовитого цвета, который сразу выдает ее низкое происхождение; розовая сумочка – то ли кожа, то ли под кожу (скорее всего, второе), наспех подобранная к блузке, в сочетании с которой представляет чистый диссонанс даже для глаз человека, который не слишком доверяется новым веяниям моды.

У Беттины жилистая шея, тонкие кисти рук, длинные пальцы. Волосы натурального темно-русого цвета, с редкой проседью. Ее ярко-голубые джинсы чуть пузырятся в области бедер, хотя при такой чересчур стройной, высушенной фигуре она вполне может позволить себе облегающие «дудочки». Ноги – в удобных сланцах. И, разумеется, никакого педикюра. В руках она периодически вертит очки от солнца, когда не занята волосами или платком, из которого каждую минуту норовит сделать очередную деталь туалета.

Шанти Баннварт – кокетливая пожилая стройная дама в большой соломенной шляпе с коричневым бантом (несколько великоватой) и блузе свободного кроя, с ухоженными темными волосами, черно-серыми прямоугольными серьгами – под цвет блузы и сумки. И хотя Шанти старше Беттины почти на десять лет, отсутствие загара делает ее кожу мягче, нежнее и свежее. У Баннварт и голос мягче, в то время как представительница рода Герингов имеет голос одновременно скрипучий и глухой.

Беттина пьет лимонад шумно, большими глотками, так, что в горле ее слышно бульканье, а Шанти кокетливо подносит стаканчик ко рту, словно пробует вино.

– Мы с Шанти решили, что сейчас устроим для вас с Сергеем маленькую экскурсию по центру Санта-Фе, как договаривались, без оператора: нужно привыкнуть друг к другу. Шанти напомнила мне, что вам было любопытно, что такого я, да и она, нашли особенного в этом месте. Объяснить трудно – нужно посмотреть.

– А завтра можем начинать съемки, – мягко улыбается Шанти, – только сегодня нужно будет составить план, с чего начнем и чем закончим. Может быть, вам что-нибудь понравится

в городе!

Беттина – бесцеремонная, прямая, резко встает, потягивается, делает большой глоток лимонада, осушая стакан до дна, ставит его на стол со стуком и первой выходит из отеля, жмурясь от яркого солнца. Шанти делает приглашающий жест и выскальзывает из прохладного мрака, растворяясь в солнечных лучах перед нами.

Трудность подобной ситуации в том, что о герое известно очень мало. Что я знаю о Беттине Геринг, кроме того, что она внучатая племянница Германа Геринга, что она стерилизовалась и живет, как писала Шанти в своем эссе, чуть ли не посреди пустыни? Если поскрести на донышке воображаемой коробки под названием «Все факты о Беттине», то наберется еще вот что: Беттина родилась в 1956 году, в 1991 году эмигрировала в США, у нее есть загадочный родной брат.

Беттина и Шанти ведут нас к уже знакомому индейскому рынку под колоннадой. Со вчерашнего дня тут мало что изменилось: те же коренные американцы, потные, плотные, несуетливые. Те же украшения, обрастающие пылью на запачканных простынях, расстеленных вдоль колонн.

– Так ты, что же, часто тут бываешь? – спрашиваю Беттину, которая поглядывает на украшения, не решаясь, однако, подойти ближе.

– Нет, только с друзьями, которые порой приезжают в Санта-Фе, вожу для них бесплатные экскурсии.

– И вообще ничего не покупаешь тут себе?

– Почему же? У меня есть кое-что от местных индейцев. Я купила себе пару сережек, но, разумеется, не здесь – слишком дорого! Обычно мне украшения дарят друзья – у меня много таких, кто делает сам. Так что большинство браслетов и бус – это подарки. И не какие-то навороченные, а такие, самые простые, зато от души.

Шанти уже вовсю болтает с коренным американцем и вертит в руках вазочку из глины, охая от восторга:

– Смотри, как здорово! Это делали индейцы племени пуэбло.

– Классно, – сдержанно кивает ей Беттина.

– Так что, это правда настоящие индейцы с настоящими своими поделками?

– Точно, – поясняет Шанти, – но просто так тут торговать не сядешь, нужно обязательно получить разрешение местных властей.

– Цены на серебро сильно подскочили, – задумчиво говорит Беттина, словно обращаясь к самой себе, – ладно, пойдем отсюда.

Наблюдая за родственницей Германа Геринга, которого за его страсть к коллекционированию ворованных предметов искусства из оккупированных стран и тяге к роскоши окружение за глаза именовало не иначе как «коллекционер», я понимаю, что Беттина – совсем другая. Она настолько проста, что в какой-то момент кажется живым антонимом рейхсмаршала. В отличие от своей приятельницы, Геринг спокойно проходит мимо маленьких стеклянных витрин галерей, расположенных на Вест-Пэлас-авеню, за Музеем искусств Нью-Мексико, и лишь на наши вопросы и реплики Шанти по поводу какой-нибудь картинки, статуэтки и ожерелья резко кивает головой в сторону обсуждаемой витрины и вяло тянет «даааа, прекрасно».

Очевидно, всё, что находится за стеклом витрин, категорически не вписывается в круг ее интересов – ей больше нравится музей истории Нью-Мексико, куда она тащит нас на несколько минут, чтобы в прохладном холле, борясь с вялостью и липкостью жары, ткнуть длинным указательным пальцем в несколько черно-белых фотографий XIX века и сказать пару слов в защиту индейцев (тех самых, заплывших жиром, торгующих у Дворца губернаторов). Сказать, что она за свободу, ценности, любовь и красоту, голубое небо, солнце, которое прямо сейчас обжигает глиняные куличи домиков Санта-Фе. Что она за простую человеческую жизнь вне условностей вроде политических границ, денег, розней на любой почве. И здесь, в месте, где земля под ногами вращается особо лениво и со страшными потугами, словно обливаясь соленым п\том мирового океана, всё сказанное Беттиной звучит не наивной декларацией, а чем-то очень правильным и важным. Но то – лишь магия момента, которая рассеется, оставив в сухом остатке очень простенькие пацифистские суждения женщины из рода Геринг.

У витрин «Галерей маниту» Беттина, плавая отражением в сверкающих чистотой стеклах туда и обратно, что-то серьезно обсуждает по мобильному.

– У тебя всё в порядке? – уточняю, когда она заканчивает разговор.

– Да-да, я просто сообщила мужу, что всё в норме. У него сейчас урок пения, а позже я должна буду забрать его по дороге, отвезти домой и накормить. Ему просто нужно поесть. Когда увидите моего мужа, поймете, о чем я. Он невероятно тощий, непонятно, как душа в теле еще держится.

Итак, у Беттины есть муж. Интересно.

– Ой, какая забавная утка: это же из диснеевского мультика! – подает голос Шанти, которая ушла на пару десятков метров вперед, разглядывая витрины.

– Где? – Беттина, впервые проявив к чему-то интерес, и весьма оживленный, направляется к Шанти и сама предлагает войти в маленькую частную галерею, стены которой увешаны цветными картинами с мультяшными персонажами. Геринг тут же вступает в диалог со светловолосым мужчиной в очках в модной оправе, сидящим за компьютером: минут десять продавец отвечает на вопросы гостьи про «мультяшную» тему в искусстве. Их веселый разговор неожиданно завершается сетованиями Беттины – оказывается, ее отец запрещал ей в детстве смотреть американские мультфильмы:

– Он долбил мне: «Это намеренная отупиловка всего мира, ЦРУшные дела! Это для того, чтобы конкретно из тебя сделать идиотку! Никакого Диснея! Никаких американских мультфильмов. Только немецкие. И точка». А мне же так хотелось именно американские мультики смотреть. Там очень добрые, милые, хорошо прорисованные персонажи, юмор. Нет, он был по отношению ко мне категорически неправ.

– Как-то жестковато. – Мужчина за компьютером морщит лоб: ему, американцу, тяжело понять, что за страшная угроза скрыта в их мультфильмах. – Но сегодня ты можешь смотреть мультики столько, сколько пожелаешь…

– Да, конечно, – кивает Беттина, – правда, интернет-соединение у нас дома очень медленное, а телевизора нет.

Мужчина сочувственно улыбается и разводит руками: он и знать не знает, что отец Беттины – старший и любимый племянник Германа Геринга – Хайнц Геринг был летчиком люфтваффе.

Уже выйдя из галереи, Беттина никак не может оставить тему мультфильмов.

– Знаешь, – замечает она, отгораживаясь от моего пристального взгляда черными стеклами очков, – Герман тоже мог бы быть мультяшным персонажем. Такой толстый, шумный, с активной жестикуляцией. Но страшная реальность, которую он оставил после себя выжженными остовами многих городов и тысячами человеческих останков, никак не согласуется с миром того же Диснея. Диснея, которого так ругал мой отец, помогавший Герману Герингу рушить вполне настоящие дома и обрывать настоящие жизни.

Геринг и Баннварт ведут нас в прохладное брюхо очередного глиняного кулича. Шанти поясняет: тут раньше была церковь, а теперь небольшой концертный зал. Всё отделано деревом: сцена, пол, стены. На потолке длинные деревянные балки, на стенах фрески, половицы жалуются на каждый сделанный шаг.

Беттина что-то мурлычет себе под нос.

А какую музыку предпочитают подруги?

И тут они единодушны: конечно классическую!

Геринг добавляет:

– Я, конечно, люблю джаз и рок-н-ролл, но чем больше слушаю разной музыки, тем больше понимаю, что предпочитаю классику. И я не шучу: как раз ехала к вам на машине, и у меня играло классическое радио, и, представь себе, передавали Первый концерт Шостаковича! Всю дорогу его слушала. Да я вообще обожаю русских композиторов. Конечно, и немецких люблю: Баха, Моцарта, Бетховена.

– А Вагнера? – интересуюсь осторожно.

– Вагнера нет. Слишком пафоса много. Гитлер зато его очень любил. И Геринг, наверное, тоже.

Беттина не ошиблась:

«Моими любимыми композиторами были, во-первых, Вагнер за его великие темы, а затем, наверное, Моцарт и Бетховен. Конечно, мне нравился Гайдн и Бах и более легкая музыка обоих Штраусов». А что насчет современной музыки? «А! Ненавижу джаз, но мне нравятся некоторые современные вещи…»[14]

Беттина продолжает:

– Мой муж поет в симфоническом хоре Санта-Фе. Наверное, еще и по этой причине мы слушаем так много классики.

– Ага, – киваю я, а сама думаю: а что же брат? О нем ни слова…

– Пойдемте-ка в «Ленсик» и в Собор! – предлагает Шанти, кивая на самое высокое глиняное здание во всей округе: тут целых три этажа, выбеленных солнцем. – А это и есть «Ленсик», центр искусства, открытый в 1931 году. Теперь его восстановили как некоммерческий центр. Здесь читают лекции, танцуют, смотрят кино, поют – и приезжие иностранные звезды, и местный хор, а также проходят трансляции Метрополитен-опера в прямом эфире.

Окна – где-то стрельчатые, где-то квадратные, где-то прямоугольные. Адская смесь, где заметнее прочих – мавританский стиль и испанский ренессанс. Рассматриваю этот громадный кулич, верх которого венчает причудливая лепнина, похожая на стоящие колом оборки кружева, накрахмаленного и пришитого к вороту обычной рубашки, – и для себя делаю вывод, что сие строение (одна из главных достопримечательностей и центр культурной жизни всего Санта-Фе) – прямо-таки изысканно безвкусное.

– Правда ведь, очень красивое здание? – подает голос Беттина.

– Очень, – соглашаюсь я.

Она гордо улыбается:

– Да, вот здесь иногда и поет в хоре мой муж.

Наши искривленные отражения, все четыре вперемежку, плывут по стеклам витрин в сторону Вест-Аламеда-стрит – Беттина настаивает, что там можно перевести дыхание в тени деревьев, у реки, которая, к сожалению, в это время года едва дотягивает до ручейка. Беттина и Шанти предлагают обосноваться на одной из каменных скамеек, возле каменного столика.

– Так вот про Санта-Фе, – улыбается Шанти. – Это волшебный город и место исцеления, высокодуховное место: какой прекрасный вид открывается с холмов!

Беттина согласно кивает, но добавляет:

– Думаю, раньше тут было совсем иначе: лет двадцать назад это был типичный спокойный маленький городок, где все друг друга прекрасно знали. И сейчас знают, разумеется, но очень много людей приехали сюда извне. Так что, когда я сюда переехала, еще не было такого количества приезжих…

Я замечаю, что Беттина говорит задумчиво, осторожничая, словно начинающий канатоходец, она пытается удержать баланс, тщательно подбирая слова и теребя тонкие колечки на пальцах.

– Беттина, как считаешь, удалось ли тебе стать американкой?

Мой вопрос она прочитывает буквально: осторожно поглядывая на фотоаппарат в руках Сергея, она делает очередной шаг по условному канату, сплетенному из внутренних опасений:

– Мой муж уже американец, он получил гражданство. А я еще в процессе. Вот почему я опасаюсь что-либо говорить…

SS разоружается: кладет мой фотоаппарат прямо перед собой на стол. Беттина, улыбнувшись ему, продолжает уже намного спокойнее:

– Понимаете, я вот-вот должна получить американское гражданство. Я могла получить его давно, но, в отличие от всех моих друзей, подала документы самая последняя, пять лет назад. Одно мое опрометчивое слово или движение – и в гражданстве могут отказать. Уже были прецеденты, когда из-за какой-то глупости, мелкой и незначительной, американцы не давали гражданство людям, которые вот-вот должны были его получить. Поэтому я не очень хочу называть на камеру точные даты своего приезда в США. Потому что, например, я приехала сюда раньше, чем заявлено в документах, – около двадцати лет назад. В общем, поймите меня – и не трогаем больше эту тему перед камерой, идет?

– Идет, конечно. У меня нет задачи подвести тебя, – киваю я и получаю в ответ улыбку.

А теперь вопрос: как эта ее осторожность вяжется с ее резкими суждениями о геноциде индейцев, политике Израиля и всем прочем, что было закавычено Томом Шарпом в местной газете от 7 мая? Тогда она ничего не боялась?

Это первое противоречие.

И не последнее.

К началу третьего подруги предлагают отправиться перекусить: на правах местной светской львицы Шанти как бы мимоходом замечает, что, мол, для нее уже держат столик в одном из лучших в Санта-Фе ресторанов, поблизости от нашего с Сергеем отеля.

– Нам в Ла Каса Сена, – сообщает Шанти, нырнув куда-то в темноту. Мы оказываемся в квадратном внутреннем дворике с садом, посреди которого – десятка два круглых столиков под большими белыми зонтиками, призванными спасти посетителей от беспощадного полуденного солнца. Шанти тут же машет толстяку-администратору, который показывает нам, где лучше расположиться в это время дня. Нам сразу же приносят по стакану воды со льдом и меню, в которое обе подруги тут же углубляются, чтобы наперебой начать советовать нам местные блюда.

Когда с обедом покончено, заказываем кофе – все, кроме Беттины. Она предпочитает чай.

– Ну что, – шепчу я Сергею, – давай подарим им сувениры?

Сергей открывает свой рюкзак и извлекает два павловопосадских платка, которые я заказала перед самой поездкой в Санта-Фе. Беттине, со светло-серыми глазами, мы дарим платок с серыми и синими цветами. Брюнетке Шанти – с красными. Подарки вызывают бурю восторга: подруги явно такого не ожидали.

– Это шерсть? – уточняет Беттина, тут же кутаясь в платок.

– Шерсть.

– Как здорово, большое спасибо, очень мило с вашей стороны!

Шанти благодарит и щупает свой подарок:

– Ух ты! Теплый! Буду кутаться в него долгими зимними вечерами.

– Мне тут вспомнилась история знакомства родителей, – улыбается Беттина. – У моей мамы Элизабет была своя швейная мастерская. Мама, должна сказать сразу, принадлежала к семье ярых антинацистов. Дед мой, мамин отец, так вообще на своей двери во время войны написал «люблю евреев», работал адвокатом и защищал их – ну и, конечно, имел из-за этого

проблемы с гестапо. Так вот, после войны люди перестали шить одежду на заказ: предпочитали покупать готовую. Как-то раз в 1954 году в мастерскую мамы, терпящую убытки, зашел человек, продававший наперстки. Она, конечно, сначала и подумать не могла, что человек этот – старший племянник рейхсмаршала Германа Геринга, пилот люфтваффе, вымученный многолетним пленом в СССР. Но они познакомились, сходили на свидание, поженились в 1955 году. Ну а в 1956-м родилась я. Так-то вот.

– А к чему ты это вспомнила? – уточнила Шанти.

– Из-за платка. Подумала об одежде. Сразу вспомнила о мамином ателье. Вот такая логическая цепочка.

– Неужели родители твоей мамы были антинацистами? Это возможно? Или, скорее, легенда такая?

– Не легенда. – Беттина шумно глотает чай. – Уже с детства интуитивно я намного лучше относилась к семье моей мамы и терпеть не могла родственников по линии отца. А моя бабушка… это вообще отдельная тема! Мать моего папы была категорически против брака отца и простолюдинки, чьи родители к тому же помогали евреям во время войны… В душе-то она оставалась нацисткой.

– А твой отец? – спрашиваю я.

– Да, а твой отец? – повторяет Шанти, округлив глаза.

– Нет, мой отец Хайнц Геринг после войны уже не был нацистом. Он просто был таким растяпой с довольно мягким характером. Неплохой в целом человек, но…

– Ты обмолвилась, что он был в плену в СССР. Это же очень любопытно.

– Мне любопытно другое, – перебивает Беттина, – почему он попал в этот плен: он совершил аварийную посадку на территории СССР. Зная папашу, который всегда был не от мира сего, могу с уверенностью сказать, что причиной тому было даже не его плохое зрение, а какая-нибудь глупость вроде того, что он не рассчитал, что ему не хватит горючего. Это его отличительная черта – никогда не думать наперед. За это он расплатился несколькими годами плена в России. Никаких подробностей я не знаю, кроме того, что он трижды пытался бежать и трижды его ловили и возвращали обратно. Знаю, что он много работал (тяжкий физический труд, к которому с детства не был приучен): его заставляли копать мерзлую землю то ли для котлованов, то ли для чего-то еще. Но когда он вернулся домой, то никогда не ругал русских – по крайней мере я не могу вспомнить, чтобы он отзывался о русских с ненавистью и злобой, несмотря на то, что в плену ему пришлось несладко. Он вернулся на родину весь высохший, как скелет, но всё равно постоянно улыбался и

повторял: «Я счастливчик, что вернулся», и что многие другие вернуться не смогли. После того как вернулся из плена, он начал помогать моей бабке Ильзе, своей матери, в разведении кур на ее ферме, потом продавал пуговицы и запонки. Познакомился с моей мамой и женился в 1955 году. Единственное его богатство – это железные монеты, какая-то невероятная коллекция, которую он начал собирать во времена Третьего рейха. Впрочем, по-моему, и ее он тоже отдал за долги в конце жизни. Это всё, что я могу про него сказать, и надеюсь, что смогла удовлетворить твое любопытство. Больше ничего не знаю, честно. И вообще – о чем тут еще говорить?

– Они все, Геринги, были на вершине рядом с тем, кто правил, а это всё равно что… – Беттина пытается подобрать правильное сравнение: – Быть рок-звездами. Мой отец с этим вырос. Он был подростком, когда семья переживала взлет. Он любил дядю, водил мотоцикл БМВ, купался в роскоши – как, впрочем, все родственники Германа. А потом всё рухнуло. Обломки. На мне это тоже сказалось.

Беттина умолкает. И после некоторой паузы, сделав пару шумных глотков кофе, говорит: «Пойдемте-ка смотреть главный собор!»

Собор святого Франциска Ассизского стоит на возвышении. Вокруг него несколько статуй, в числе которых изваяние самого Франциска, указывающего перстом на здание гостиницы, стоящей на углу. К собору прилегает сквер со скамеечками и памятником, окруженный железным забором, который запирают на ночь. Беттина и Шанти, минуя сквер, сразу ныряют внутрь здания.

Посреди собора, белого изнутри, – купель с освященной водой, в которой отражаются высокие белые своды, ничем не украшенные. Всё убранство – очень, даже чересчур скромное. Если пройти чуть дальше – окажешься у алтаря, но Беттина и Шанти занимают деревянную скамью возле купели.

Сразу спрашиваю Геринг:

– Ты верующая?

Она задумывается, бросая взгляд на Библию с затертой обложкой, что смотрит на нее из углубления впереди стоящей скамьи.

– Непростой вопрос. Я не католичка. И мне не нравится никакая религия: терпеть не могу, когда одни люди регламентируют существование других. Безусловно, я верю в Высшие силы, в Провидение, в энергию. Вне всяких сомнений, я человек духовный, но ненавижу, когда меня пытаются использовать, загнав в рамки конкретной религии и подчинить каким-то невнятным постулатам. Нет, этот номер со мной не

пройдет.

Когда мы выходим на улицу, я изумляюсь резкой перемене погоды: всего-то минут двадцать прошло, а небо – темно-серое, с тяжелыми налитыми тучами, которые грозят пролиться крепким дождем. Словно в подтверждение этих моих безрадостных мыслей штормовой ветер вдруг яростно вцепляется в синий платок Беттины, надувая его огромным парусом-горбом и пытаясь стянуть со спины и утащить, но Геринг лишь заливается радостным смехом.

– Эй, чего скисли?! – кричит Беттина. – Мы тут с Шанти кое-что придумали! Как насчет того, чтобы сейчас разбрестись в разные стороны – мне же нужно мужа забрать и покормить, – а вечером сходить в ресторан?! Шанти возьмет с собой Клода, а я – Ади.

Хороший знак. Значит, мы подругам понравились.

– Отлично, – соглашаемся мы с Сергеем.

– Мы будем с вами праздновать, – хохочет Беттина, пытаясь выпутаться из своего синего платка и перекричать резкие порывы ветра.

– Праздновать что? – не понимаю я.

Вижу, как Геринг вскидывает брови и кричит так, словно нас разделяет не метр, а несколько десятков метров:

– Как что? Победу! – И, на манер Уинстона Черчилля, поднимает указательный и средний пальцы правой руки – V.

Victory.

В шесть вечера Сергей и я, оба в толстовках и шарфах, стоим на крыльце отеля. Погода лучше не стала.

На веранду с громким гоготанием, под отчаянные стоны досок, по лесенке поднимается компания людей – это «мои девочки» со своими мужьями. Ади, мужа Беттины, я идентифицирую сразу: он невысокого роста, очень худой, настолько, что хочется сразу протянуть ему что-нибудь пожевать: внешне он не слишком похож на немца (скорее, на жертву нацистского концлагеря), хотя в действительности Ади – потомок истинных арийцев. У него серые глаза, редкие волосы с проседью и седая козлиная бородка, которой он, очевидно, очень гордится и которая превращает его в побитого жизнью Дон Кихота. А вот муж Шанти, Клод, – настоящий американец, пышет здоровьем и улыбается в густые усы, механически поправляя клетчатую шапочку с козырьком.

– Ну а теперь, – командует Шанти, – едем праздновать в ресторан. Я знаю отличное местечко недалеко от Аламеда, так что будем надеяться, что там нас примут.

Шанти с Клодом сразу объявляют монополию на нас с SS, усаживая в свою машину. Беттина и Ади едут впереди на седане серебристо-зеленого цвета.

В нашем салоне царит непринужденное веселье. Клод ведет машину осторожно, не забывая улыбаться в усы и рассказывать о Санта-Фе, индейцах и о том, что здесь жить очень здорово, но порой скучновато. Клод – изобретатель, публикует материалы в научных американских журналах, изучает вселенную и любит на досуге изобрести что-нибудь «полезное для дома».

Впереди за лобовым стеклом, по которому прозрачными змейками извиваются дождевые капли, я вижу Ади, который, стоя посреди дороги под дождем, машет руками. Клод выныривает из машины и через минуту с кряхтением плюхается на водительское сидение: «Нет мест».

– Все отмечают День Победы?

– Всем некуда деться майскими вечерами, – сообщает Шанти. – Ну ладно, едем дальше.

К моему удивлению, история повторяется несколько раз: через каждые триста метров машины останавливаются, а потом Ади, изрядно промокший, подает знак Клоду, что, мол, и тут всё занято. В итоге приют мы находим недалеко от масонского центра, который еще называется Храмом Шотландского Обряда. Метрах в трехстах от него Шанти указывает на приличного вида ресторан: «Тут и обоснуемся».

За столом – трое потомков нацистов (Геринг, ее муж и Шанти). И потомки «союзников», – я, Сергей и Клод.

Первый тост от Беттины: «За Победу!»

Мы чокаемся бокалами и шумно поздравляем друг друга, словно наступил Новый год.

У меня перед глазами проплывает худое лицо Кейтеля, напряженного, усталого и измученного, который садится подписывать акт о военной капитуляции Германии. Я четко вижу, как он выводит свою фамилию на документе, подписание которого мы сейчас отмечаем. Да, я вижу это.

– Так, ау! – Шанти уже теребит меня за плечо. – У нас сегодня веселье, не забыла?

– Я и не печалюсь, – честно отвечаю ей.

– Завтра будем говорить о обо всём остальном, – почему-то бросает Беттина.

– А сегодня – о любви! – И Клод залпом опрокидывает в себя бокал вина так, словно это стакан водки.

О любви так о любви. Ади понимает задачу буквально и пытается вспомнить историю своего знакомства с женой.

– Это странная история, – начинает он, и все, предваряя его рассказ, хохочут, кроме Сергея, которому я еще не начала переводить. – Кое-то из моих друзей яро агитировал меня приехать на ПМЖ в США. И позвал меня к себе в гости – перекантуешься первое время. И вот картина маслом: стою я с чемоданами в аэропорту Джона Уэйна, что в Лос-Анджелесе, и жду, когда друг за мной приедет. Час, другой. Пытаюсь дозвониться – безрезультатно. Стою и вспоминаю: ну кто же у меня еще тут есть из знакомых? И вдруг, представляете, вспомнил! Решил набрать и дозвонился. А тот человек, на другом конце провода, говорит: «Ну хорошо, я тебя заберу, но у меня сегодня намечается вечеринка, так что гостем будешь!» Ну я за, конечно. Так вот, он приехал, забрал меня и привез к себе домой, а там уже собрались гости. И на этой вечеринке я встретил Беттину. Вот такая была история нашей первой встречи.

– И что ты о ней подумал? Какая первая мысль пришла в голову, когда ты ее увидел? – интересуется Шанти, делая глоток красного вина.

– Было так: я уже сидел, а она вошла из соседней комнаты. И я подумал: о, какая интересная женщина!

– Да ну не ври, – смущается Беттина, делая глоток из своего бокала.

– А ты что об Ади подумала? – спрашивает Клод Беттину.

– Подумала: о, какой интересный мужчина! – смеется Беттина, копируя ответ Ади.

Тут и мне интересно:

– А точки соприкосновения сразу нашли?

Ади кивает, отвлекшись от лазаньи:

– Да! Ей нужны были права. Друзья отдали ей машину, и Беттина очень хотела научиться водить. Я пообещал ей, что научу. Так что это серьезная такая точка соприкосновения была – ее корыстный ко мне интерес.

– Ну конечно! – хохочет Беттина. – На самом деле, совпали духовные ценности, увлечения одной и той же музыкой, общие друзья, в конце концов, так что всё совпало удивительным образом.

– Да, – хихикает Ади, напрочь забыв про жизненно необходимую для него лазанью, – я попытался сразить Беттину невероятным количеством тупых шуток. Народ тихо потянулся прочь из комнаты, в числе последних была и она. В общем, я понял, что потерпел сокрушительный успех.

– Да уж, забавно было, – перебивает мужа Беттина.

– Вот так я пытался покорить ее. Но, правда, потом Беттина вернулась и сказала: «Хочешь со мной продолжать общаться –

больше молчи, тогда всё будет отлично».

– Да-да! Классное было время. – Беттина шумно жует кусок пиццы, пытаясь четко выговаривать слова, так, будто тренирует дикцию. – У меня вообще было много краткосрочных романов с мужчинами – не дольше полугода. И потом моя подруга решила пригласить меня и Ади на обед, собрав при этом трех моих бывших для компании, можете себе представить?! Любопытно, что все мои бывшие – тоже немцы. И Ади.

– Ну, такая здоровая конкуренция, – улыбается Ади и, наконец, чинно приступает к лазанье.

– Вы с Ади так подходите друг другу. Даже внешне… похожи. – Шанти хихикает от хорошего настроения, смущения и красного вина, Клод хитро улыбается в усы, а Сергей с серьезным лицом слушает мой перевод.

Беттина делает большой глоток красного вина и вдруг говорит:

– Это я сейчас так расслаблена, прямо отпустило, – знали бы вы, как я волновалась из-за вашего приезда и того, что придется опять ворошить эту тему. Вот внучатая племянница Гиммлера, Катрин, книгу написала про деда и двоюродного деда и назвала ее «Братья Гиммлеры». Разумеется, все материалы она брала из архива, сама ведь ничего особо не знает. Поговаривают, что Катрин, очень, кстати, приятная на вид дама, вышла замуж за еврея, но старается на эту тему не давать комментариев, потому что все тут же начинают говорить, что сделала она это из чувства вины перед евреями, из-за концлагерей. В общем, сама Катрин открыта к общению, но говорит лишь только о своей книге. Гиммлер… какой ужасный человек, трудно такого иметь в роду.

За столом воцаряется молчание. Клод сосредоточенно изучает скатерть, Шанти сверлит взглядом содержимое своей тарелки, Сергей, не понимая перевода, скучающе изучает зал ресторана, а я пытаюсь найти точку, куда бы и мне лучше уставиться, но Ади перехватывает мой взгляд и почему-то кивает, а через несколько секунд приходит на помощь жене:

– Слушай, ты не доешь мою лазанью? Что-то не могу осилить.

– Давайте, что ли, снова за Победу? – осторожно предлагает Клод.

Утро нового дня, и мы с Сергеем снова измеряем шагами веранду *Chimayo de Santa Fe*. Наш улыбчивый американец-оператор возникает на крыльце с опозданием на десять минут. Стюарт извиняется и объясняет, что сегодня, к его удивлению, была перекрыта главная дорога в центр. Обычная отмазка любителей поспать, думаю я (к моему удивлению, то, что сказал

Стюарт, позже подтвердит Ади) и, устало вздыхая, загружаюсь в машину американца, где нас ждет Борил Родаков, стройный тридцатилетний коллега Стюарта, болгарин по происхождению.

Я протягиваю Борилу руку для приветствия, а Стюарту еще и листок бумаги формата А4 с картой, заботливо нарисованной рукою Шанти и врученной мне перед самым расставанием со словами «без нее вы никогда меня не найдете». Над картой крупными буквами написано: «OUR LOCATION».

Чтобы добраться до госпожи Баннварт, нужно проехать двенадцать миль по Олд-Лас-Вегас-хайвей, а дальше уйти в один из извилистых поворотов и проехать несколько миль по бетонке: Шанти и Беттина живут за пределами столицы штата Нью-Мексико.

До Шанти мы добираемся с небольшим опозданием. Решено, что мы снимем с ней маленький эпизод возле ее дома, а после все вместе отправимся к Беттине и Ади, снимем там еще один общий эпизод с участием Шанти и отпустим ее на этот день, продолжив разговор с родственницей Геринга.

Дом Шанти поражает воображение. Во-первых, он стоит на холме в гордом одиночестве в ста метрах от бетонки – ни намека на забор, колючую проволоку, сигнализацию или даже волчий капкан. Сам дом Шанти – двухэтажный куличик из глины. И мне тут же вспоминается сказка «Три поросенка». Такой домик любой волк сдует при желании, а еще лучше – залезет внутрь.

У нас иное понимание и ощущение пространства, чем у американцев. Вот если вас поселить в глиняном домике за несколько километров от населенного пункта, магазинов и аптек, людей, наконец, без забора и дробовика под подушкой – вам комфортно будет? Да? Ну тогда прибавьте к этому, что домик Шанти не только из глины: две боковые стены – стеклянные: стоит вечером включить свет, и вуайеристы округи могут занимать места в партере.

Мне, к примеру, смешно смотреть, как она запирает на ключ стеклянную дверь, потому что войти в дом при желании сможет даже ребенок – тут не надо быть крутым взломщиком из голливудского боевика. И почему я думаю об этом? Потому что мы отличаемся от них, американцев, коренных или нет, всего лишь одним, что бы там ни болтали политики и социологи. Мы отличаемся друг от друга лишь забором. Но это – колоссальное отличие.

Александр Солженицын жил в Кавендише, штат Вермонт. Приехав туда, он отгородил свое имение, большой кусок леса, забором с колючей проволокой, оснастив его камерами наблюдения, – это было единственное частное владение во всем

Вермонте с такой охраной. Когда Солженицын поселился там, то попросил местных жителей не беспокоить его; впрочем, и соседи не стремились с ним общаться – они понять не могли, на кой черт такие меры предосторожности и почему человек не может наслаждаться открытыми пространствами леса, радоваться и дышать полной грудью. Надо ли говорить, что к Солженицыну потихоньку проникались презрением и, в конце концов, он остался в памяти соседей как «тот самый странный русский с забором»?

Шанти Баннварт очень любит свой глиняный дом; он двухэтажный, с верандой, которая выходит во внутренний двор, на ее собственный искусственно созданный пруд – с самодельными разноцветными фигурками драконов, фонтанчиками, камушками и, конечно же, золотыми и красными рыбками, шныряющими в воде и размыкающими толстые губы в ожидании корма. Но самое интересное, что сразу за прудом – обрыв и фантастический вид на высокие холмы. Шанти вдохновенно поясняет: «Каждый вечер я выхожу любоваться на звезды – небо просто невероятное. Я тут живу больше двенадцати лет, с тех самых пор, как второй раз вышла замуж, за Клода. И мне тут нравится, потому что очень тихо. И дико».

Искренне завидую Шанти, что она не просто может видеть эту невероятную красоту каждый божий день, но и наслаждаться ею. Я бы сошла с ума тут, в ее доме, в первую же ночь (какие там звезды!) возвела бы баррикады, вооружившись до зубов и вздрагивая от каждого завывания койота. А потом отстроила бы огромный забор, пожертвовав холмами, скалами, деревьями и всем, что составляет этот открыточный пейзаж, во имя спокойного сна. И, конечно, провела бы сигнализацию и расставила капканы…

– Ой, я надеюсь, что кошку я заперла внутри. – Шанти в ужасе мечется возле дома. – Я беспокоюсь за нашу кошку Китти. У нас и гремучие змеи, и пумы, и койоты, и все они могут съесть кошку. Тут дикие места.

– Да уж, – говорю, – более дикого и обособленного местечка не встречала.

Шанти, обрывает свое заунывное «Китти-китти-китти» и добавляет:

– Беттина Геринг, к примеру, живет в намного более диком месте, чем это. И нам до нее ехать еще около десяти миль. Скажу честно, я была у нее раза два, но дорогу вообще не запомнила.

– А я думала, вы соседи…

– Ближайшие, – говорит Шанти и облегченно вздыхает: внутри дома она замечает белую вальяжную Китти. – Здесь

«соседство» понимается не так, как у вас. К примеру, все, кто живет вокруг нас в радиусе сорок миль, считаются соседями. Ну а между нами с Беттиной всего-то десять. Многие годы я не знала, что Беттина тут живет. Когда пару лет назад я услышала, что родственница Германа Геринга живет на вершине Месы (а я ведь живу у Месы), я, признаться, даже немного перепугалась. Старалась избегать ее. Мы ведь обе немки по происхождению. И я не хотела знакомиться с ней и погружаться в то, от чего бежала, – погружаться в прошлое, в то, что натворили наши деды и отцы. И вдруг она, немка, да еще и Геринг, здесь, у меня под носом! В пустыне.

Эта пустыня дикая, не облагороженная. Я люблю эту землю. Посмотри – как дико и тихо. И даже, с Божьего благословения, иногда идет дождь. Мне очень нравится этот вид. Вот почему я тут дом построила – из-за этого вида. Построила из грязи. Или «долби», как тут это называют. Тут в Нью-Мексико почва глинистая. Да, в общем, и есть глина. Ты можешь хоть чайник слепить из нее. Ты можешь обжигать эту почву и использовать. Как делают годами коренные жители, индейцы. Беттина тоже построила дом своими руками. К ней, в тот самый дом, мы сейчас и собираемся.

Уже в машине Шанти никак не может остановиться:

– Беттина очень прямая, очень искренняя – кому-то может показаться, что она чересчур открыта, но это прекрасно, это ее натура. Она никогда не играет, не фальшивит, не хочет казаться лучше, чем есть на самом деле. Всем своим видом она говорит вам – или принимай меня такой, какая я есть, или проваливай к чертям!

Метафора Шанти «люпин среди кактусов» – это попадание в яблочко. Люпин – он же почти что сорняк, цветок, на который всем наплевать, растение, название которого с латыни переводится как «волк», потому что он выживает даже в самых сложных условиях, даже на глинистой почве. Даже тут, в полупустыне. Определенно Беттина – тот самый люпин, волчий цветок. Только корневая система у нее не такая глубокая. И никогда не будет потомства – из этого люпина ничего не произрастет.

Я вижу двухэтажный дом с плоской синей крышей. Он кажется чуть выше глиняной постройки Шанти, но в ширину сильно уступает. Дом – практически одна сплошная рыжая глина, всего несколько узких прямоугольных окошек, есть полукруглый балкон с перилами, на котором как раз стоит Беттина и машет нам всем, вновь прибывшим:

– Ну куда вы запропастились? Я уже начала беспокоиться! Стояла и ждала вас у съезда, а потом плюнула!

– Прости, мы опоздали! – Шанти паркует машину и кричит в открытое водительское окно.

– Я иду к вам вниз, – сообщает Беттина и исчезает внутри дома.

Успеваю заметить, что кроме дома и пары мелких пристроек-куличиков, которые тут называют «гостевым домиком», «сараем» и «парковкой», на участке нет ничего. Никаких выложенных камушками дорожек, цветущих клумб, фонтанчиков, инкрустированных столбиков – ничего, что говорило бы о том, что хозяйка пыталась хоть как-то облагородить территорию.

Не могу утверждать, что в этой дикости, которой окружила себя Беттина Геринг, нет своего очарования – оно есть. Но территория выглядит стерилизованной, ибо она есть отражение женщины, к которой мы приехали в гости. Внучатой племянницы рейхсмаршала Германа Геринга.

После приветственных объятий с Беттиной и Ади хозяйка тут же спрашивает меня:

– Ну как, нравится?

– Нравится, – говорю. – Хотя к вашим домам из глины, стоящим посреди пустого участка земли, привыкнуть всё же никак не могу. Сколько тут у вас участок?

– Сорок акров, – сообщает Беттина и, видя, что я равнодушно киваю, окончательно запутавшись в их милях, акрах и галлонах, поясняет, указывая рукой вдаль: – Проще говоря, во-о-о-он до тех гор.

Я, кажется, крякаю от удивления, потому что до тех гор, кажется мне, пешком добраться тяжело, а дороги нет: более того, решив пройтись по этим владениям, ты рискуешь быть ужаленным гремучими змеями, пумами и бог весть какой еще дрянью, что обитает в диких краях Нью-Мексико.

– Ой, Шанти! – Беттина поправляет повязанный вокруг джинсов платок, тот самый, который мы вчера ей подарили. – Я хотела тебе сказать: опять гремучка в сарае. Пару часов назад. Интересно, что их там так привлекает?

– А я нашел змею вчера, – по-хозяйски окидывая взглядом землю, добавляет Ади, в плотной ковбойской рубашке в сине-зелено-бело-черную клетку и в серой вязаной жилетке, накинутой поверх него, – я пошел за ящиком с инструментами, что у нас в гараже, поднял его, чтобы унести с собой, а оттуда на меня смотрит змея. Я сразу понял, что она не ядовитая. И говорю ей: привет, дружище. Она была красивая, вот такой длины.

И Ади раскидывает руки в стороны.

– Не гремучка? – уточняю я.

Ади спокоен:

– Ну что ты! Не ядовитая вообще, хотя таких тут меньшинство. В общем, змейка посмотрела на меня, я деликатно поставил на место ящик с инструментами и дал ей время уползти. Мне вообще нравятся змеи, я бы даже сказал, что очень их люблю. Кстати, вполне официально подрабатываю змееловом – это одна из моих десяти профессий. Облачаюсь в защитную одежду, беру сачок и спасаю тех, к кому приползла в гости гремучая змея.

– Поймал, и что потом?

– Положил в коробку и отпустил, разумеется, где-нибудь подальше. Помню, как проходил тренинг, учился ловить ядовитых змей. На землю вокруг тебя высыпают полную коробку гремучек, и ты должен сначала защитить себя, свои ступни, колени, а потом – сложить их обратно в контейнер. Странное чувство, когда вокруг тебя кишат смертельно опасные змеи, но всегда нужно помнить и осознавать, что они сами тебя боятся…

Беттина подает голос:

– А мне спасать змей не нравится, хотя я их очень люблю и ни капли не боюсь. Однажды, когда мы строили какой-то из гостевых домиков, к нам приползла огромная жирная змея – гремучка. Я верю в то, что эти змеи появляются не просто так, – она ползала недалеко от нас всё время, пока мы строили, и сильно раздражала не нас с Ади, а нашего кота (в итоге его разодрали дикие звери). И кот так яростно шипел, что мы решили отловить ее: поймали, засунули в корзину для мусора и выбросили где-то подальше, потому что постоянное присутствие змеи трепало нервы коту, а кот своим шипением раздражал нас.

– Ну что, пошли в дом? – улыбается Шанти, но я вижу, что тема отлова змей ей близка и не слишком приятна.

– Конечно, – улыбается Беттина.

Всем сразу нам никак не разместиться в прихожей, так что заходим по очереди. Прямо оттуда берет начало лестница, ведущая наверх, на второй этаж: там находится студия (кухня, столовая и комната в едином пространстве); вторая лестница ведет из прихожей вниз: там спальня, кладовка, терраса и небольшая веранда. Но пока мы все поднимаемся наверх.

Чокнувшись чаем за официально наступившее здесь 9 мая (снова!), мы потихоньку приступает к съемкам. Мне даже не надо думать, с чего начать разговор: склоняясь над сидящим Ади, беру со стола бумажки Беттины, среди которых – мятая передовица газеты *Santa Fe New Mexican* всё с той же фотографией двух

подруг-немок.

– Это знаковая статья, – улыбается Ади, – начало начал.

– Это всё ты, – кивает мне Шанти, – с тебя всё началось.

– Это меня и пугает, – признаюсь. – И вы… не жалеете?

– Ничуть. – Беттина присаживается на край стола рядом с Шанти.

– Ничуть, – пожимает плечами Ади, – помню, как всё началось. Шанти позвонила нам в семь утра и разбудила своим воплем: «Мы сегодня в газете!»

– Да, так и было, – кивает Беттина, – мы, признаться, опешили от ее такого напора. Звонит и кричит: «Статья вышла на первой полосе! И там наша с тобой фотография!»

– Поскольку Шанти удалось меня разбудить, – подхватывает Ади, делая глоток из чашки жены, – я тут же полез в Интернет и прочитал статью там, а позже мы съездили и купили газету. Статья, кстати, получилась отличная, но в Интернете она выложена в сокращенном варианте – на бумаге это выглядит иначе. Две колонки – история Беттины, а две другие – история Шанти. Нужно сказать, что Санта-Фе очень живо откликнулся на эту статью. Кто-то был зол, кому-то очень понравилось, кто-то очень поддерживал Беттину. Шанти отбирала все эти отзывы и мониторила.

– Да уж. – Шанти поправляет накидку, случайно задевая пальцем микрофон, и виновато смотрит на Сергея. Тот дружелюбно кивает и показывает, что всё, мол, хорошо, это ерунда. – Вчера я не стала вам говорить… Нужно было обдумать… Люди привыкли цепляться к словам и фразам, не видя общего смысла. Начну с того, что недавно я издала книгу «Танцующая на одной ноге». Эта книга автобиографична, она о том, как я росла в нацистской Германии, – просто быт, просто жизнь, за рамками которой происходили страшные преступления, о которых мы, дети, и ведать не ведали. Даже подумать не могли, что наши милые отцы способны были убивать чужих младенцев и скармливать их собакам…

Беттина нежно скользит подушечками длинных пальцев по плечу Шанти, подбадривая ее. А та продолжает:

– Не углубляясь в подробности – свою книгу я вам подарю, – должна сказать вот что. Рассуждая на тему Третьего рейха, я, дочь нацистского инженера Ханса Ройсслера, получившего из рук Гитлера грамоту и Железный крест второй степени за заслуги перед отечеством (за какие именно – не знаю по сей день и боюсь даже предположить), среди прочих тысяч фраз написала такую: «Я одновременно и пострадавшая, и виновная». И вот на презентации книги ко мне подошла пожилая женщина и сказала:

«Да как ты смеешь примазываться к жертвам!» Она, наверное, считает, что жертвы – это исключительно те, кого наши отцы ненавидели и оккупировали. Но нет, жертвы есть и среди тех, кого они, наши отцы, любили…

Беттина согласно кивает:

– Рейхсмаршал любил моего отца, своего старшего племянника Хайнца. У отца было плохое зрение, но, чтобы облагодетельствовать племянничка, Герман, разумеется, определил его в люфтваффе, которыми командовал сам. Но вместо блицкрига – многолетняя война. А потом еще пять лет советского плена. Вот чем обернулась для моего отца дядина любовь. Можно ли его, отца, в данном случае назвать жертвой?

– Наверное можно, – кивает Шанти, – но я продолжу свою мысль. Люди цепляются за слова, а не за смыслы. И в статье, которая вышла в газете, мы с Беттиной имели неосторожность кое-что ляпнуть.

– Ну я вот лично так и считаю. А не нравится – пусть не читают, – фыркает Беттина.

– Это она из-за индейцев, – шепчет Шанти, кивая на соседку.

– Да, из-за индейцев. Сравнение, мол, читателям не понравилось. Что Гитлер пришел к власти демократическим путем, что его именно избрали – точно так, как американцы избирают своих лидеров. Американцам претит сравнение с нацистами! Конечно, я не права, что так выразилась в ожидании гражданства США, поэтому постараюсь выражаться корректнее, иначе могу пролететь…

– И я то же самое сказала в интервью для статьи, – вторит Беттине подруга.

– Но ты уже гражданка США – это раз. А во-вторых, я же добавила кое-что про индейцев. Я сказала, что нацисты по отношению к Европе и России вели себя так же, как американцы вели себя по отношению к индейцам, уничтожая, порабощая, захватывая земли. И еще про Израиль…

Ади улыбается:

– Ну это ты хватила лишнего. Давай о приятном. Найди открытку.

– Она пришла по почте. – Беттина отрывается от стола и тянется к стоящей на окне белой глянцевой открытке с улыбающимся подсолнечником на обложке. – Она подписана от руки, и со стороны кажется, что текст напечатан на принтере, но на самом деле это написано рукой – большая работа. И вот что пишет отправитель: «Дорогая Беттина. Я просто хочу, чтобы ты знала, что для меня ты – героиня. Когда мы с тобой подружились в “Фейсбуке”, я посмотрела твою фотографию и узнала о твоем

происхождении. Как же тяжело вам и вашей семье было жить с этим столько лет! Мне было интересно прочесть твою историю в газете “Нью-Мексикан”, написанную Томом Шарпом. Я думаю, что ты прекрасна, что ты очень храбрая и любящая. Я счастлива, что знакома с тобой! С любовью, Барбара».

– Уау! Здорово! – выдыхает Шанти, и ее глаза тут же наполняются слезами.

– Да уж! Эта Барбара, она твоя ровесница, Шанти, и работает медсестрой. Она ходит ко мне лечиться, так что мне вдвойне приятно, ведь она – моя клиентка, ко всему прочему. – Беттина вдруг задумывается, а потом говорит: – Но были и другие, не столь приятные отзывы. Понять не могу, почему эта статья зацепила стольких людей. А для себя я знаю одно: лучше быть потомками жертв, чем палачей. И не важно, виновен ты сам или нет, все ждут от тебя раскаяния за семью. И я даю им его. Виновным быть тяжелее. Но если признавать вину публично, то всё-таки немного легче…

Шанти вертит в руках открытку, которой так гордится Беттина:

– После публикации статьи в газете несколько человек уже пригласили меня выпить кофе со словами: «Знаете, а я тоже вырос в Третьем рейхе, и я хотел бы поговорить об этом с вами», – представляете?

– И меня приглашали на кофе, – перебивает ее Беттина, – раза три! Люди с улицы. Вчера утром я пошла в магазин. Там несколько женщин подошли ко мне – всем за семьдесят – и сказали, что читали материал и им понравилось. А потом подошел мужчина и сказал: «Мои родители были немцами, и они эмигрировали в США после войны. Никто в семье никогда не говорил по-немецки, это тщательно скрывалось». И я подумала, что мы с тобой, Шанти, всё-таки правильно поступили, что дали интервью для газеты.

– И тем не менее, – продолжает Шанти, – такое ощущение, что американцы не любят эту тему. Я живу в США уже двадцать семь лет. И не припомню, чтобы кто-нибудь, хоть один единственный человек задал мне вопрос: каково это было – взрослеть в нацистской Германии? Что вы все ощутили после Нюрнбергского процесса? Как вы узнали, что ваши отцы – палачи и садисты, как справились с этим?

Беттина встает из-за стола, потягивается, покрепче затягивает платок вокруг бедер и идет к раковине, возле которой стоит шуршащий золотой пакетик с китайским чаем:

– У меня есть приятель – кстати, ты, Шанти, его знаешь, я про Питера, местного сумасшедшего. Так вот, Питер постоянно

подозревал свою мать-немку в том, что она была нацисткой. И так его это волновало, что только об этом и говорил: «Дай мне, Боже, сил вынести правду о матери». В общем, какая-то журналистка, писавшая статью про нацизм, знала мать Питера и откопала ее старые письма, и сын убедился, что его подозрения беспочвенны и мать не была нацисткой. Он, с одной стороны, был очень рад. А с другой, как мне кажется, разочарован. Ведь нацизм из разряда тех вещей, что притягательны даже спустя десятилетия.

– Как же ты права. – Шанти, чуть расслабившись, облокачивается на спинку стула и смотрит, в окно, за которым островки зеленых кустарников украшают унылую изнывающую от засухи почву. – Лично я со своим литературным агентом постоянно гадаю: чем на самом деле занимался мой отец?

– О да-а-а-а… – тянет Беттина. – Это действительно о-о-очень большой вопрос, который у меня возник после прочтения твоей книги. Так просто кресты не раздают. Тем более Гитлер…

Шанти улыбается:

– Так что я, в некотором смысле, как твой Питер, – страшусь любой конкретики об отце и в то же время желаю знать правду.

А теперь нажмем на кнопку «пауза», оставив наших словоохотливых подруг и притихшего Ади на втором этаже дома, застывшего во времени и пространстве выжженной полупустыни, а я, пользуясь минуткой, приведу тут несколько отзывов на статью, которая вышла в газете штата Нью-Мексико. В Интернете, где была опубликована сокращенная версия материала, люди оставляли свои отзывы, которые спустя две недели были затерты и которых теперь не найти. Я их, к счастью, успела сохранить. Так что у вас есть шанс узнать, как на самом деле были приняты откровения двух подруг жителями американского города Санта-Фе.

Bianca Sivan

«Ну что за тупая статья! Типичная чушь, характерная для местных газет Санта-Фе! Как сказал Марк Мендес, “все слишком нетерпеливы в своем желании укоренить ненависть”».

Shane Hardy

«Ну не могу я понять этих дам! Сначала эта парочка отпрыгнула от планов нацистской Германии, переложив их на почву американской истории, и принялась исповедовать еврейскую сионистскую политику. Они не видят картины в целом, а сопоставляют лишь фрагменты

историй двух разных стран. Я американский еврей и не считаю их ответственными за прошлое. Я не верю в грех поколений. А вы, дамочки, продолжайте в том же духе! Но только не поливайте грязью историю США: всё, что произошло с первыми поселенцами, афроамериканцами и палестинцами, следует рассматривать в историческом контексте, а не выдергивая из него. В противном случае вы понимаете историю чересчур прямолинейно».

William Mee

«Если отвлечься от рассуждений на тему зла нацизма, политики Израиля и отношения США к коренным американцам, то газета “Нью-Мексикан” откопала очень любопытную историю. Так интересно знать, что Санта-Фе – город, наполненный самыми разными и необычными людьми».

Sarah Silverman

«Лично я в ужасе от того, что людям пришло в голову приравнять геноцид народа к войне. Это большая разница. Ну почему нельзя просто рассказать конкретно о временах Второй мировой войны, не приплетая сюда коренных американцев и политику Израиля?»

Alfonso Estrada

«Привожу ссылку на последний абзац: “Нацистская Германия – не есть уникальное зло”. Этой фразой они уравнивают это зло с американской историей. Не куплюсь я на такое. Знаю я таких либералов, которые твердят, что Израиль совершает агрессивные поступки (в сторону Палестины). Да, наверное, либералы действительно так считают. А я – нет».

Ed Campbell

«Ваше понимание действительности говорит о вас многое: о вашем понимании истории, этики и личной ответственности».

Jimmy Green

«Они, должно быть, чувствуют себя как дома в ненавистном им капиталистическом строе?»

Gene Herbert

«Наверное, уже слишком поздно заниматься

образованием Баннварт и Геринг. Слишком им тут плохо, среди нашего мерзкого общества в Санта-Фе».

Беттина, отложив шуршащий золотистый пакетик с чаем, возвращается за стол, по дороге извлекая из ящика очередную бумажку:

– Вот еще один любопытный отзыв, который я распечатала из Интернета: «История про Беттину Геринг, которую рассказал Том Шарп на страницах газеты, показалась мне очень интересной. Я только не согласен с заявлением, что двоюродный дядя Беттины, Герман Геринг, был главным, кто ответственен за миллионы погибших. Журналист Шарп и Геринг не правы в оценке фигуры рейхсмаршала. Главным чудовищем рейха был Гиммлер, именно он занимался массовым уничтожением людей. И, кстати, случайно ли, что эта статья была опубликована перед Днем Победы?»

– Вот мне тоже интересно! – восклицает Шанти. – Почему? Так совпало? Мы же не подгадывали…

– Ничего не бывает случайным, – загадочно произносит Беттина. – Что же до Гиммлера… Да, я вчера как раз за столом ляпнула то же самое, что, мол, он куда большее чудовище, чем мой двоюродный дед. Но всё-таки, если быть честной, то Геринг был вовлечен в страшную политику рейха не меньше, а больше остальных. Следовательно, обвинять только Гиммлера – неправильно. Да, Герман Геринг… он ответственен за миллионы смертей больше, чем кто бы то ни было.

– Тем более, – добавляю я, – что он ответственен за создание первых концлагерей в 1933-м и 1934 году для коммунистов и других врагов национал-социализма.

– Да, он виновен больше всех, – соглашается Беттина.

– Ну не считая Гитлера, конечно, – шепотом добавляет Шанти.

– Да, – подает голос Ади, – но валить всё только на Гитлера тоже глупо. Остальные миллионы немцев не в счет? Но, с другой стороны, я против, когда Беттине указывают на то, что она в этом виновата. Приезжал к нам тот израильский режиссер. И я говорю ему: «Помилуйте, Беттина – внучатая племянница Геринга! Во-первых, не такое уж близкое родство, во-вторых, зачем на неё вешать вину?» Но он упертый, этот израильтянин, давил и давил. Беттина уже и перед ним и его предками почувствовала себя виноватой… Типа «ты виновата и даже сниматься не хочешь?! Как так можно?!».

– Хуже всего было с Руфью, – соглашается Беттина, – с той женщиной, чьи родители были в концлагере. Она со мной была отчаянно груба, после встречи с этой женщиной я в полной мере ощутила, что такое вина, хотя головой понимаю, что я не виновата, что ни при чем. Но я горжусь собой, что прошла через это, выдержала напор.

– А зачем тебе оно надо? Выдерживать? – Я этого правда не могу взять в толк.

– Я не могла отказать, потому что это был *израильский* режиссер.

– Не понимаю, – говорю я.

– И не поймешь, – грустно улыбается Беттина. – После того как умер мой отец, я получила непростое наследство: со мной стали связываться журналисты (я тогда жила в Германии) и просили прокомментировать то, как я отношусь к рейхсмаршалу Герману Герингу. Я открещивалась всячески, посылала их, в общем, не хотела говорить об этом. А потом нашла коробку отца со старыми семейными фотографиями, и на них был Герман, еще молодой, не жирный, каким все его знали в период расцвета нацизма. Молодой летчик, герой Первой мировой войны. Больше всего меня потрясло, что я на него похожа, очень сильно, невероятно… И я подумала: ну нет, я не хочу быть похожей на этого парня! Не хочу! Я другая! И порвала эти фотографии. Не хотела, чтобы они были у меня дома.

Рассматриваю Беттину и никак не могу уловить «невероятного» внешнего сходства.

– Могла бы продать, – смеется Ади.

– Нет. Денег за эту дрянь мне тоже не надо.

– Знаешь, – мягко улыбается Шанти, – когда я росла в послевоенной Германии, меня никто особо не дразнил. Вся страна – потомки нацистов. Хотя СМИ с большим удовольствием начали

раскручивать тему про преступления нации и так далее.

– Меня тоже, в общем-то, не дразнили. – Беттина задумывается. – Почти…

Шанти собирается уезжать: решено, что сегодня мы снимаем разговор с Беттиной и Ади, а завтра подруги снова встретятся и позволят нам поснимать их общение.

– С чего начнем? – интересуется у меня Беттина, как только белая «тойота» Шанти скрывается в гуще деревьев.

– Сначала я бы попыталась разобраться с твоей родословной…

– Ну-у-у-у! Ты не представляешь, во что ввязываешься, – вздыхает Беттина и входит в дом. Мы все следуем за ней вниз по лесенке и оказываемся в спальне.

Стюарт краснеет: «Ой, простите, ничего, что мы тут?» Беттина, кажется, даже не понимает причины его смущения: «Разумеется!»

Спальня просторная и очень светлая (как же тут, наверное, бывает жарко!), обставлена крайне скромно: впрочем, пора бы уже свыкнуться с мыслью, что Ади и Беттина – люди очень простые и непривередливые ни в быту, ни в еде.

По левую руку от входа – крашеный фиолетовый шкаф (судя по разводам, хозяева явно старались над ним сами) и куча розовых ящиков из пластмассы с металлическими ручками, вделанных в стену без помощи мастеров и дизайнеров.

Пол в спальне необычный. Треть его выложена крупной плиткой. Оставшиеся две трети – деревянными лакированными досками: сразу понимаю, что это никак не связано с новыми дизайнерскими веяниями, просто Беттине и Ади не хватило плитки. То же самое с обстановкой. Вижу несколько деревянных тумбочек, причем по форме и цвету не совпадают даже те из них, что стоят по разные стороны кровати. «Я его слепила из того, что было» – эту строчку можно смело отнести ко всему глиняному куличу, который Беттина называет домом.

Напротив кровати – деревянный комод, рядом с которым – дверь в просторную кладовку. Вот оттуда-то и выходит Беттина, прихватив с собой большую коробку с фотографиями: «Вы же знаете, что рядом с нами в получасе езды находится Лос-Аламос. Там в 1942 году для работ по “Манхэттенскому проекту” была создана Лос-Аламосская Национальная лаборатория, где Оппенгеймер готовил атомную бомбу в противовес активно развернувшейся ядерной программе Гитлера… И вот в прошлом году в лаборатории случился ядерный пожар. Я сложила фотографии в большую герметичную коробку, чтобы они не

испортились… Ну да, странная и бесполезная мера предосторожности, я понимаю…»

Беттина ставит коробку на кровать, сама садится у подножия на корточки и начинает перебирать старые фотографии:

– Моим дедом был Карл Эрнст Геринг, старший сын Генриха Геринга от первого брака. Герман Геринг родился во втором браке, и Карл с Германом приходились друг другу сводными братьями по отцу.

Беттина тонкими пальцами вынимает снимок старшего брата Германа Геринга, сделанный в Африке. Предположительная дата съемки – 1913 год, и, следовательно, человек на снимке, худощавый, со сжатыми в нитку губами, словно бы пришитыми друг к другу, и напряженным тонким подбородком – практически мой ровесник, двадцати пяти лет от роду. На нем широкополая шляпа в стиле сафари и военная форма, застегнутая на все пуговицы, без всяких нашивок и знаков отличия.

Самое забавное, что с фотографии на вас смотрят в общей сложности три глаза: два глаза – Карла. Третий – поверженного буйвола, лежащего на боку, – на этом огромном звере Геринг восседает с видом победителя. Глаз буйвола смотрит тоже прямо на вас: он еще не успел подернуться пленкой мертвого безразличия, и кажется, что побежденный и победитель – оба позируют фотографу.

– Мой дед умер в 1932 году где-то в Африке, до того, как нацизм расцвел бурным цветом. Насколько я знаю, с Германом у них были нормальные отношения. После Первой мировой мой дед страдал от тяжелого ранения, ему делали операции, но ничего не помогло. Я этого человека, разумеется, не знала… А вот моя бабка. – Беттина показывает фотографию пожилой женщины лет шестидесяти пяти с пушистыми белыми волосами и тонкими губами. – Ильзе Геринг. Но Геринг она не только по мужу, но и по рождению, – понимаете, что это значит? Нет? А то, что Карл Эрнст Геринг, мой дед, женился на своей сводной племяннице Ильзе, которая тоже происходила из рода Герингов и носила ту же самую фамилию. В общем, в семье был инцест. В результате этого инцеста на свет появились трое сыновей – мой отец и два его младших брата.

Беттина убирает фотографию бабушки в коробку и выуживает другую. На ней женщина лет тридцати пяти в окружении трех мальчишек-подростков, чей румянец на щеках проявляется сквозь дымку застывшего прошлого. Оба старших сына в белых брючках и майках с длинным рукавом, сама мать в платье цвета слоновой кости. Младший, в шортиках, с костлявыми коленками и белыми-белыми волосами, сидит на руках у Ильзе, чье выражение лица

устрашает меня сквозь десятилетия: русые волосы, высокий лоб, глубоко посаженные глаза с отеками вокруг, острые скулы, губы ниточкой и длинный нос. И пристальный взгляд в объектив, который, несмотря на полуулыбку, не кажется мягким. На этой фотографии Ильзе Геринг обнимает двух сыновей – младшего и среднего, в то время как старший, Хайнц Геринг, сидит рядом и улыбается из-за спины матери. Хайнц, отец Беттины, в одном ботинке: другая ножка – сухая. Маленькая короткая ступня с будто обрубленными пальцами обернута в белую сеточку. Впрочем, лопоухого старшего сына эта проблема не тяготит, и на фотоснимке он даже не пытается укрыть ногу от любопытного фотообъектива, как это часто делают, смущаясь, подростки.

По иронии судьбы, именно тех двух сыновей, что обнимает мать, отнимет у нее Вторая мировая война.

– Младшие братья отца не вернулись со Второй мировой, хотя отец рассказывал, что, вероятно, они просто покончили с собой, якобы не смогли перенести позора из-за того, что война проиграна и им придется жить жалкой ничтожной жизнью после шикарного существования под крылышком их дяди Германа, рейхсмаршала Третьего рейха. В любом случае правды мы не узнаем. Так что всем членам семьи Геринг по той или иной линии я непременно прихожусь родственницей. Уж не знаю, можно ли это считать плюсом…

– Ты хорошо знала свою бабку Ильзе Геринг? – интересуюсь я, по-прежнему не сводя глаз с фотографии Ильзе и трех ее сыновей.

Беттина вздыхает:

– Даже слишком. Ильзе рано овдовела, двое ее мальчиков погибли на фронте, остался только мой папа Хайнц 1921 года рождения. Конечно, сейчас я понимаю, что ее жесткий характер был продиктован трудностями, выпавшими на ее долю, но извиняет ли это то, что Ильзе до последних дней была нацисткой? Что, глядя на хронику концлагерей, которую после войны крутили по телевизору, она всё время говорила, будто бы ничего подобного не было, что это выдумки КГБ и ЦРУ, чтобы подорвать и без того слабый немецкий национальный дух?! Мне было лет десять-одиннадцать, и мы только-только купили первый телевизор. По третьей программе постоянно показывали документальные фильмы про войну и то, что натворили немцы. Так вот, бабушка была не согласна с позицией, что ей, как и миллионам немцев, нужно раскаяться в содеянном. Она категорически отказывалась принимать в семью мою мать, потому что та, видите ли, была дочерью антинацистов, да еще «без роду и племени». Ну конечно, с Герингами по родовитости сравниться трудно, и бабка гордо носила свою фамилию до конца

жизни, вздыхая по «золотому веку», который, как она считала, приходился как раз на расцвет карьеры Германа. Бедная моя мама! Как она терпела выпады своей свекрови. А та придиралась ко всему.

– А твой брат? Как он к этому относился и кто он вообще?

– Да, у меня есть брат. – Беттина поднимает на меня взгляд, говорящий, что я коснулась того, чего не должна была, словно мы заключили с ней пакт об умолчании. – Ни имени ни фамилии его я вам не назову, могу лишь сказать, что он тоже живет в Санта-Фе и тоже сделал операцию по стерилизации (нет, мы не сговариваясь, не думайте – каждый сам принял это решение). Он категорически отказывается появляться перед камерой, носит другую фамилию.

– А работает кем?

– Строителем. Стоит дома.

– Неужели мы не можем с ним просто увидеться?

– Нет, решительно невозможно. – Снова красноречивый взгляд, мол, не лезь. – Так вот, когда бабушка заводила свою шарманку про то, что нацистов уж слишком ругают и ничего по-настоящему чудовищного они не сделали, брат просто кидался в нее обувью, а я говорила ему: «Она, конечно, не права. Но кидаться в бабушку ботинками – тоже не выход».

– Она пыталась тебя воспитывать?

– И еще как! У меня была замечательная тетя Оля, она родная сестра Германа и Альберта Герингов. Так вот, тетя Оля как-то приехала нас навестить. Наверное, это было где-то в конце шестидесятых. В то время у бабушки была навязчивая идея – воспитать из меня настоящую леди (типа, «раз с твоим братом не получается, то из тебя-то уж точно сделаю человека»). Хуже не придумаешь. В общем, приехала тетя Оля. Бабушка наскребла остатки семейного серебра, сервировала стол – как сервировали во времена Германа – и позвала нас с тетей. Сидим мы, болтаем. А Оля (она была очень доброй женщиной) расспрашивает меня, как дела, как учеба. За разговором я забылась и положила локти на стол. Вдруг – мощный удар, такой, что я чуть в сторону не отлетела. Бабушка на глазах у тети Оли со всей дури как долбанет меня по локтям. И тетя, помню, в ужасе говорит ей: «Ильзе, нельзя так обращаться с ребенком». А та в ответ: «Я учу ее хорошим манерам» Вот вам и вся бабушка. А я стала полной противоположностью «леди», это не моя поведенческая модель.

Или вот, еще история про бабушку, раз Ильзе тебе так интересна. Как-то мама с папой и братом уехали отдыхать в Италию. Уж не помню, почему меня не взяли, а отправили в деревню, где бабушка была вынуждена держать маленькую

куриную ферму (так выживала дама из высшего общества). У родителей украли документы, а без них вернуться обратно было невозможно. Пока восстановили, прошло несколько недель. За это время я чуть с ума не сошла. Дети бабушкиных соседей со мной не общались, кто-то даже обозвал нацисткой, но главной причиной их нелюбви ко мне было не это. Главной причиной было то, что они не терпели Ильзе, и виной всему бабушкин снобизм: невероятно, но она по-прежнему считала себя аристократкой, а других, к которым сама же прибегала за помощью по любому поводу, – людьми второго сорта. В общем, помню, как начинались мои дни в ожидании родителей. С утра я бежала к дороге и по несколько часов стояла и ждала, не появятся ли вдалеке знакомые силуэты, чтобы спасти меня от этого ужаса!

Мне кажется, Беттина вспоминает бабушку не без некоего мазохистского удовольствия: поведение Ильзе вне всяких сомнений сильно отразилось на ее психике. Геринг слушает мои догадки и задумчиво кивает:

– Наверное. Из-за нее во мне зрел протест, и в результате в тринадцать лет я сбежала из дома и стала жить самостоятельной жизнью. Бабушку мне простить внутренне было трудно, хотя дед по линии матери, которого бабушка тоже терпеть не могла, говорил: «Не злись на нее, у нее очень тяжелая жизнь». Но я бесилась от того, что ни мой дед, ни моя мать так и не стали для Ильзе равными, – всегда подчеркивалось, что род Герингов – благородный. А вы – «приблуды и дворняги», хотя от рода Герингов, кроме имени и нескольких столовых приборов, ничего не осталось…

– Но тогда, – говорю, – она и вас с братом должна была воспринимать как «приблуд».

Беттина, перебирающая фотографии, останавливает быстрое движение своих скользящих по карточкам пальцев:

– Нет. Но если на брата, тоже бунтаря, она в итоге махнула рукой, то я была ее надеждой. А мне не хотелось оправдывать ее ожидания – это тоже бремя, которое нельзя взваливать ни на детей, ни на внуков. В общем, я не стала истинной леди и ни капли об этом не жалею.

– А это случайно не Эдда? – киваю на фотографию, которую Беттина держит в руке.

– Эдда, дочь Германа Геринга.

– А кем она тебе приходится?

– Спроси что-нибудь полегче… Из-за инцеста, который был в семье, я каким-то странным образом сама себе прихожусь тетей, а Эдда… она и двоюродная кузина мне, и двоюродная тетя одновременно. Тьфу! Я вообще запуталась с этими родственными

связями!

Беттина продолжает перебирать фотографии.

– Вот мать, вот тетя Оля, а вот рождение моего брата, снова маленький брат, и опять, а вот и мое рождение. Видите, еще и пары месяцев нет от роду, а уже улыбаюсь, так что я оптимистка! Знаете, мой отец много фотографировал нас с братом в детстве, а потом вдруг резко перестал, и я не знаю, чем это можно объяснить. Надоело?

– А это ты?

На фотографии рядом стоят девочка и мальчик, дети дошкольного возраста. Белокурая малышка с тонкими-претонкими ножками в коротком легком платьице и шляпе, которая ей велика, а рядом с ней улыбающийся мальчуган в темных шортиках с разбитой коленкой; чуть поодаль две плетеные корзины, в которых наверняка лежит еда для семейного пикника.

– Это мы с братом. О! А вот это свадьба родителей. Посмотри, сколько народу со стороны невесты, человек десять. А рядом с отцом – только его мать Ильзе. Это фото о многом говорит.

– Мне больше говорит другое. В огромной пачке фотографий ни одной фотографии Германа Геринга.

Беттина отрывает взгляд от фотографий и поворачивается ко мне:

– Я же сказала тебе, что от всех его фото я избавилась, истинная правда. Мне он здесь не нужен!

– Но в статье твоего приятеля Тома Шарпа в подзаголовок вынесена твоя цитата: «Я похожа на него больше, чем его родная дочь», из чего следует, что ты должна видеть Германа в зеркале.

Беттина складывает фотографии обратно в коробку, утратив к снимкам интерес.

– Конечно, я вижу Геринга в зеркале. Того самого худого летчика времен Первой мировой войны. И я сразу сказала: нет, я не хочу быть на него похожей. И точка.

Говорю:

– На мой взгляд, ты на индейцев местных похожа намного больше, чем на Германа.

Она снисходительно улыбается:

– Это всё загар. Сравни как-нибудь, когда будешь смотреть старую хронику, и поймешь, о чем я.

Беттина бросает несколько оставшихся фотографий в коробку, закрывает ее и уносит в кладовку.

– Кстати, ты не могла бы сказать Сергею, что он очень похож на мою мать? Очень-очень сильно! Я тут нашла одно фото! У меня закрадывается подозрение, что мы могли бы оказаться

родственниками!

В подтверждение своих слов она выносит фотографию матери в стеклянной рамке. Элизабет умерла в Германии всего несколько лет назад, до этого Беттина часто моталась туда из США, чтобы ухаживать за ней и помогать. К счастью, ее мать была крепкой старушкой и скончалась, дожив до девяноста лет.

– Что-то общее, наверное, есть. – Сергей задумчиво разглядывает фотографию Элизабет.

– Похожи, – удовлетворенно кивает Ади, стоящий в углу комнаты: ему даже на фотографию для этого смотреть не нужно.

– Она была очень хорошим человеком, – говорит Беттина. И через паузу добавляет: – И ненавидела нацизм. Просто влюбилась в человека, носившего фамилию Геринг. Так уж вышло…

Беттина стряхивает пыль со стекла фоторамки, саркофагом накрывшей лицо худой пожилой женщины со светлыми яркими глазами и выбеленными волосами. Геринг пристально осматривает комнату, словно выбирает место, откуда матери будет интереснее всего наблюдать за жизнью дочери. Не сумев придумать ничего оригинального, Беттина ставит фотографию на тумбочку у окна, развернув ее так, чтобы мать, Элизабет, своими остановившимися глазами смотрела на безветрие за окном – через два запыленных стекла.

Возможно, скоро мать Беттины увидит, как за окном расцветут люпины.

Мозг мой так устроен, что он собирает информацию о персонаже, выхватывая второстепенные детали, чтобы позже стянуть их в единую картину; одежде, движениям, вздохам, манере смотреть и выбирать объекты созерцания я зачастую доверяюсь больше, чем словам. К примеру, Беттина, я заметила, не просто кладет ногу на ногу, а словно бы завязывает их в жесткий напряженный мышечный узел. И несмотря на то, что она абсолютно свободна в своих жестах, руки у нее постоянно напряжены – отсюда некоторая угловатость зашуганного подростка, которая не бросается в глаза сразу, а приходит винным послевкусием. Та же Беттина, которая утверждает, что верит в энергию и Провидение, отрицая религии, надела черные хлопковые носки с изображением Девы Марии, которые можно заметить лишь тогда, когда она скручивает ноги узлом и джинсы, сложившись гармошкой на коленях, обнажают щиколотки. Такие носки не покупаются случайно.

Она видит, что я заметила носки, и, воровато оглядываясь, пускается в объяснения, пока мы выбираем точку для следующей съемки:

– Можешь считать меня ненормальной, но позавчера ко мне в комнату вошла Дева Мария Гваделупская, протянула ко мне руки, улыбнулась и растворилась в ночной темноте. Я посчитала, что это хороший знак. Накануне вашего приезда я переволновалась – мне очень тяжело думать о Геринге, мне тяжело думать о русских, которые потеряли на войне много-много миллионов, я сознательно избегаю этой темы, потому что чувствую боль, которая непременно выливается в физический недуг: от нервов у меня так схватило спину пару дней назад, что, если бы вы не были уже на пути сюда, я бы настаивала на том, чтобы всё отменить. Тот израильский режиссер чуть не сделал меня калекой, потому что душевная боль находит выход, и мне очень, просто невероятно плохо…

Связь с Девой Марией в ее ответе проследить не слишком трудно – этим изображением на носках Беттина, такая прямая и резкая, пытается защититься от того, что может быть ей и неприятно, и болезненно, – например, от каких-нибудь вопросов, отвечать на которые она желанием не горит. В основном эти вопросы касаются непосредственно ее семьи и ее внутреннего мира.

Меня изначально мучили сомнения – а только ли в Германе Геринге тут дело? И я постепенно утверждалась в том, что есть что-то еще, личное и внутреннее, что-то связанное с прошлым, что сильно повлияло на ее психику: ей не страшно жить в глуши, в окружении змей и диких животных, а вот погружаться в пучину личных воспоминаний – не общих рассуждений, на которые она любит сбиваться, – очевидно не нравится. Более того, меня удивляет то, как и что она говорит. Обращаясь к расшифровкам, то есть ее словам, переложенным в текст на бумаге, можно констатировать, что Беттина не имеет четкой позиции по тому или иному вопросу. Зачастую, говоря одно, в следующем предложении она опровергает себя. Она может сказать, что ненавидит Геринга, а через минуту вдруг совершенно спокойно выдает: «Да плевать мне на него, это родство меня совершенно не беспокоит». Про стерилизацию свою, к примеру, говорит: «Это я сделала из-за Геринга, чтобы не рожать монстров» – и сразу же добавляет, что «Геринг тут ни при чем». Два полярных утверждения, сложенные воедино, однако, не позволяют заподозрить Беттину во лжи: в каждое свое новое утверждение она верит так же истово, как и в предыдущее, наивно полагая, что развивает ту же самую мысль, вследствие чего вас не покидает ощущение, что с вами наперебой говорят как минимум два разных человека.

Я приведу вам два ее высказывания на тему добровольной

стерилизации, и вы поймете, что я имею в виду.

> «В тридцать лет я перевязала маточные трубы, и для меня это было непростое, но осознанное и взвешенное решение. Я осознала, что действительно не хочу иметь детей, – это долгие годы сидело в моем подсознании. Да, я уверена, что причиной моей стерилизации стала подсознательная вина».

> «Стерилизация – это просто веха истории моей жизни. После того как я перевязала маточные трубы, вдруг произошло чудо: я всё-таки забеременела от Ади и была не против родить ребенка. А он такой: ты с ума сошла? Я не хочу детей! Вот совсем!»

То, что забеременеть после перевязки маточных труб оказалось возможным, говорит лишь о некачественности операции, которую сделали Беттине, – впрочем, как я поняла, и беременность-то случилась внематочная. Что называется – не судьба. Но, судя по последнему пассажу Геринг, она была бы не против, если бы ребенок каким-то образом появился на свет.

Очень часто корни подобных проблем прорастают из детства, о котором, кстати, героиня почти не вспоминает. Если вдруг под моим давлением отвечает на вопрос об отце, то отзывается о нем достаточно нейтрально, слегка критикуя, и добавляет, что он «умер давно». О матери Беттина говорит с нежностью, но периодически в третьем лице, называя ее «моя любимая Элизабет»: «Она скончалась три года назад, и мне очень ее не хватает». Бабка Геринг, Ильзе, безусловно оказала сильное влияние на девочку, раздразнив в ней «дух сопротивления». Ну а Герман Геринг, рейхсмаршал, которого Беттина никогда не видела, но чье присутствие «всегда ощущала» тенью отца Гамлета, – это, скорее, ее невроз, нашедший воплощение в таком вот обличье. Создав образ рейхсмаршала и наградив его всеми негативными чертами своих близких по линии Геринг (зло), Беттине не было нужды копаться в реальных фактах жизни Германа Геринга – она создала его сама, сделав неопровержимым доказательством своей правоты в ненависти к бабке Ильзе и презрении к своему отцу Хайнцу. Так что она откровенно «плавает» в биографии второго нациста Третьего рейха, хотя утверждает что «пару книг о нем прочла, и совсем недавно: взяла их в библиотеке в Санта-Фе».

Семейные проблемы. Нужно ли говорить о том, что ощущение дома и домашнего очага Беттина утратила очень давно:

– Если вспомнить, – говорит она, стоя на балкончике своего

глиняного дома, – даже когда я была школьницей и ездила в поездки со своим классом, некоторые ребята говорили: «Как хочется обратно! Как я скучаю по дому», – я им отвечала: «Что? Домой? Но почему?» Я просто не понимала, о чем они таком говорят. Дом для меня – это везде вокруг, во многих местах, где есть пространство. Здесь, в доме в Санта-Фе, я прожила целых двадцать лет – и для меня это личный рекорд, и уже всё стало приедаться.

Когда мы с Ади едем путешествовать, то живем крайне просто: всё, что мне нужно, – это кровать, стул, стол и пара кресел для друзей. Никаких удобств! Я ни в чем не нуждаюсь и от этого ощущаю полную свободу. Мне не над чем дрожать – ничего ценного просто нет! Так что я, например, с удовольствием бы пожила на побережье или в Даун-тауне Бангкока, я ведь с ума схожу по Таиланду, это восхитительное место, где я мечтаю остаться. Для меня это тоже дом. Хотя мне недостаточно одной страны. Мне нужен целый мир.

За такими пафосными выражениями кроются довольно-таки простенькие вещи: нежелание видеть, как высокородная бабка Геринг унижает ее, Беттинину, мать; как отец Хайнц, «рохля», не в состоянии заступиться за собственную жену, которая пашет за него, бабку и двоих детей, и которая «выдает мужу последние деньги на хлеб, а он идет и покупает по дороге какой-нибудь забавный сувенир», забывая о том, что детям нужно есть. Именно диктатура Герингов в лице бабки привела к тому мощному отрицанию всего, что связано с этой частью семьи, как я думаю.

Итак, в тринадцать лет Беттина устала быть «сторонним наблюдателем» и убежала из дома, совершенно спокойно начав взрослую жизнь. Вопреки своей бабке, она начисто перечеркнула в себе «женское начало», наплевав на церемонии, этикет и платья, выбирая взамен дешевые штаны, майки и кеды. Стерилизация – возможно, отчасти следствие взаимоотношений в семье.

В противовес мягкому и нерешительному отцу Беттина провоцировала себя на поступки, ибо уйти из дома в тринадцать лет с котомкой за плечами без денег и не вернуться обратно – это поступок. А подсознательно переча собственной матери, она отказалась вкалывать за деньги: их никогда не достаточно – так не проще ли жить в свое удовольствие на натуральном хозяйстве?

– Это было так: десять человек скинулись и вместе купили в деревне старый дом, скорее даже сарай, стоил он копейки. Для того чтобы поучаствовать в покупке, я подрабатывала в магазинчиках. Мы с друзьями, все десять человек, решили жить в гармонии с природой: для начала собственными силами перестроили дом, намного опередив сегодняшнюю экологическую

моду. Мы упивались собой – словно вернулись в прошлое, на несколько сотен лет назад, когда люди сами строили себе дома, а не покупали квартиры. Деревня, в которой мы жили, была воистину райским уголком.

Двое ребят были масонами и, как настоящие масоны, уже кое-что смыслили в строительстве. В общем, мы построились и жили спокойно несколько лет. Потихоньку жители деревни стали покидать ее и уходить на заработки в города. Помню, был фермер, Питер, у которого на заработки ушли все помощники, и он обратился к нам: нужны были люди, которые могли помочь собрать урожай. За это нам разрешалось есть все фрукты вволю, сколько душе угодно.

Был в деревне и пекарь – он тоже остался без подмастерья и пригласил меня на подработку. И вот, в единственной в деревне пекарне, мы с ним пекли хлеб. Как-то он даже сказал, что у него никогда не было такой смышленой помощницы. Хлеб мы с ним и моими друзьями продавали на праздниках, ярмарках, музыкальных фестивалях. Мы тогда были идеалистами и верили в то, что живем правильно. Деньги были всегда на втором, третьем, двадцать пятом месте. Они меня не интересовали. И если вспомнить, как от их отсутствия страдали отец и мать, то родителей можно только пожалеть.

Иногда я думала, вдруг где-то остались сокровища семьи Геринг? Но даже если бы мне когда-нибудь что-то и перепало, то я бы отказалась. Помню, в доме у родителей был прекрасный мебельный гарнитур, не знаю точно, откуда он взялся: предполагаю, что принадлежал бабке Ильзе. И вот у нас с братом возникли подозрения, что во время войны эта мебель была отобрана у евреев, поэтому мы перекрестились, когда отец в конце жизни отдал ее за долги: мы не хотели иметь отношения к этому грязному прошлому.

– Получается, ты ушла из дома и оборвала все связи с семьей?

– Да, в тринадцать лет я всех послала в жопу, но я не из тех, кто рвет связи окончательно. Помимо всего прочего, я продолжала ходить в школу – нет, конечно, месяца три я там после ухода из дома не появлялась, но потом здравый смысл возобладал. Я работала, чтобы оплачивать комнату, которую мы делили с несколькими друзьями, потому что затея с домом воплотилась не сразу. А потом моя лояльная мама, которая очень переживала, осознала, что обратно я точно не вернусь, и стала давать мне немного денег, которые, конечно, несколько облегчили мою жизнь в общине. Брат, кстати, тоже ушел из дома следом за мной. Мы, как и всё наше поколение, были бунтарями.

Помню, еще дома, мы устраивали родителям скандалы после фильмов о войне или разговоров о рейхсмаршале – мы орали: «Мы вас не любим, мы другие!» Мы хотели отличаться от своих родственников настолько, что иногда это казалось чем-то маниакальным.

В то время Беттина, бастовавшая против всего, дерзкая и независимая, отчаянно пыталась найти хоть какие-то опоры, ибо семья и происхождение были благополучно вынесены за скобки. Но опору найти было непросто. Она была коммунисткой, хиппи, буддисткой – где родственница рейхсмаршала только не отметилась! Про увлечение коммунизмом Беттина говорит крайне осторожно: боится, что американцам эта информация о ее прошлом может не понравиться.

– Я понимаю, но хоть пару слов…

– Пару слов, говоришь? – Беттина потягивается и снова зевает, не прикрыв рот. – Ну ладно. Скажу просто: я была типичным представителем поколения шестидесятых, и меня не миновало ни одно новомодное течение. Что касается коммунизма, то это моя реакция на нацизм. Мой плевок сама понимаешь кому в лицо. Впрочем, мне тогда всего-то лет тринадцать было, и поэтому коммунизм поглотил меня целиком и полностью. А потом так же резко отпустил. И сегодня нацизм, коммунизм и прочие жестокие режимы для меня – одно и то же: фашист ты или коммунист – всё одно. Приверженностью к идеологии ты никому не поможешь, как не сможешь помочь и себе. А протестовать против идеологий – еще больший бред, чем принадлежать к какой-нибудь из них, потому что в своем протесте против этого ты такой же. Так что я решила начать с себя. Мне нужно было исцелить себя, найти свой путь – странно, но я всю жизнь пытаюсь найти себя, это духовный поиск…

Мы с Сергеем просим Беттину выйти на улицу. Камни-валуны (на один из которых она садится, перед этим по новой обернув вокруг талии наш подарок – платок), большое высохшее дерево, рассеченное безжалостной молнией несколько лет назад, и мирно спящая собака Беттины Тиро, забывшая о своем страхе перед незнакомцами, – хороший кадр получается.

Стюарт и Борил готовят камеры, Ади вызывается помочь подержать светоотражатель, мы с SS общаемся с Беттиной – она проводит рукой по воздуху, словно по гигантскому монитору Ipad: «Вот это всё – моя дикая земля. Кстати, никто из вас или ваших друзей не хочет обзавестись землей в Санта-Фе?» Что-то не припомню, чтобы кто-то из моего окружения мечтал заиметь дачу на другом конце земли.

– Я спрашиваю об этом не просто так. – Беттина делает серьезное лицо. – Под большим секретом сообщаю, что мы с Ади собираемся покинуть это место и хотим продать всё, чем владеем. Дом уже выставлен на продажу, пару дней назад опять появились желающие посмотреть, но, я боюсь, дело так ничем и не закончится, как это уже было несколько раз: пришли, посмотрели, поговорили – и передумали покупать. А между тем цену я не слишком задираю.

А куда она собирается переезжать? Неужели в Германию?

Беттина задумывается:

– Нет, мы пока не знаем, куда переедем. Никаких идей. Но на ближайшие полгода, пока будет продаваться дом, собираемся перебраться в Таиланд. А что? Тепло, хорошо, всё там знаем, друзья на месте есть! К тому же Ади может зарабатывать чем угодно – он инженер по образованию, умеет строить дома, отлично разбирается в солнечных батареях, ловит змей и даже пилотирует маленькие самолеты.

– А что будешь делать ты? – спрашивает Сергей. Я перевожу.

– О, это очень просто, я могу делать массаж на пляже, я уже так подрабатывала в Таиланде, так что там я точно не пропаду. На еду и ночлег мы заработаем.

– А здесь, – спрашиваю, – в Санта-Фе чем занимаешься?

– У меня свой кабинет. Иглоукалывание, массаж, травяные настои. Предлагаю вам завтра с утра заехать со мной на работу – вот и посмотрите, как и чего. А пока давайте, мучайте меня, но не долго: скоро надо будет пообедать.

– Тогда давай продолжим историю твоего взросления. Ты, значит, была хиппи. Наркотиками увлекалась?

Беттина морщится и заявляет, глядя в камеру:

– Значит так, говорю сразу: наркотики я в первый раз попробовала в тринадцать лет, как только сбежала из дома, но этот первый раз стал последним, потому что выяснилось, что у меня какая-то непереносимость. Так плохо было, что я сказала: нет, мое тело к таким испытаниям не готово. Хотя вы, наверное, спрашиваете это, чтобы провести параллель с рейхсмаршалом? Он серьезно пристрастился к морфию. Кстати, морфий дает такой эффект, что тебе кажется, будто ты великий и грандиозный. А он был чрезмерно тщеславным и без морфия. А уж всё вкупе давало непередаваемый эффект. Так что да, у рейхсмаршала так просто завязать не получилось. Единственное, что может послужить оправданием, это то, что его подстрелили во время Пивного путча: кто говорит – в бедро, кто говорит – в яйца. Как бы то ни было, ему сказали, что он не может иметь детей. Из-за своей травмы, чтобы облегчить боль, он начал принимать наркотики,

пристрастился, очень хотел родить детей, но не мог, правда, в итоге у них со второй женой Эмми Зоннеман родилась Эдда. Мне кажется, в детстве я ее пару раз видела, хотя точно сказать не могу, не помню…

– Эдда – долгожданный ребенок Геринга. Ему и его жене было за сорок…

– Да, это я знаю.

– Он так мечтал о детях, а ты… ты отказалась.

– И не жалею. А для него – да, это была больная тема.

Беттина права. Даже после того как вторая жена Германа Эмми забеременела, окружение Гитлера трунило над толстяком Герингом, предполагая, что ребенок был зачат не без помощи адъютантов и близких друзей семьи. Рейхсмаршал реагировал на эти сплетни болезненно. Во время Нюрнбергского процесса, в 1945 году, на скамье подсудимых Герман Геринг встретился с одним из таких злостных сплетников, ярым антисемитом Юлиусом Штрайхером, бывшим гауляйтером Франконии и издателем антисемитской газеты *Der Stuermer* («Штурмовик»). Ни Штрайхер, ни Геринг не были рады встрече. Вот что говорил ярый антисемит Третьего рейха тюремному психологу Гилберту:

«Ах, этот Геринг! Он и в брак-то вступить как подобает не смог. Да, мне известно, что именно по милости Геринга и никого другого я в 1940 году вылетел из гауляйтеров только из-за того, что во всеуслышание заявил, будто его ребенок зачат в реторте. А в чем моя вина – я только высказал то, что считаю правдой»[15].

Следует признать, что с годами Эдда становилась всё больше похожа на рейхсмаршала, поэтому повода сомневаться в его отцовстве не было. Что это – чудо? Человек, объявленный бесплодным, смог стать родителем. С другой стороны, забеременеть после перевязки маточных труб – это тоже можно назвать чудом.

Беттина считает, что не столько физическая травма, сколько невозможность иметь потомков не дала Герингу слезть с наркотиков, на которых он сидел вплоть до 1945 года.

Когда во время войны начались перебои с поставкой опиума, Герман Геринг отдал приказ срочно разработать искусственный наркотик, который ему презентовали в 1944 году. И, как говорят, нацы номер два лично выбрал для него название. «Долофин». То есть Адольф. В честь Гитлера. Потом препарат переименовали.

– Ладно, – говорю Беттине, – наркотики проехали. Но ты была хиппи, а это предполагает довольно вольные нравы.

– О да! – По лицу Беттины проходит легкая рябь блаженства человека, с головою окунувшегося в прохладу веселой юности. – Чего мы только не творили, когда были хиппи! Свободная любовь

и всё такое прочее. Многие девчонки, мои приятельницы, которым было лет по двадцать, беременели. А я была совсем молодая, но, помню, уже тогда говорила: «Не надо, не вздумайте рожать, вы слишком безответственные!» Мне нравилось говорить этим девчонкам всякие злые вещи о том, что матери из них – полное дерьмо, поэтому незачем заставлять детей страдать. А мне в ответ говорили: «Да что ты так агрессивно реагируешь? Это же нормально – заводить детей, это самая нормальная вещь в мире, мы справимся, вырастим их! Отчего ты-то так бесишься?!» И тогда я поняла, что дело во мне, в том, что я не хочу заводить детей, в том, что намеренно отрицаю свое происхождение, что намеренно хочу оборвать свой род, чтобы не вешать на плечи ребенка вину за Германа Геринга: этот человек сломал жизнь всем – от собственной дочери Эдды до меня, так что моим детям он жизнь не сломает!

Очевидный перенос вины на человека, который умер за десять лет до ее рождения.

Конечно, если принять ее мифологическую парадигму мышления, то всё можно пронизать невидимой паутиной причин и следствий, не имеющих логической связи, – в плоскости этой парадигмы не действуют законы реальности и любое событие становится очередным звеном. И Геринг черным обелиском возвышается над жизнями всех тех, с кем он связан спиралями ДНК. Давайте посмотрим на проклятие рода глазами самой Беттины. Что мы увидим?

Итак, Эдда, долгожданная дочь рейхсмаршала, не вышла замуж, не имеет детей, доживает свой век в маленькой мюнхенской квартирке с портретом румяного отца в гостиной.

Элизабет, племянница рейхсмаршала, всю жизнь страдает из-за своего отца, брата Геринга, который отказался от нее, единственной дочери, и всю жизнь гонялся за призраком любимого брата, которого не смог спасти.

Два брата отца Беттины, Хайнца Геринга, погибли на войне из-за того, что дядя по блату устроил их в люфтваффе (по мнению Хайнца, покончили с собой, не приняв поражения), сама Беттина с братом с детства ненавидели свою бабку Ильзе Геринг, которая отравляла жизнь всей семье.

И это лишь малая часть тех, кто, как уверяет Беттина, пострадали из-за Геринга. Следуя мистической логике, если таковая вообще существует, я могу приплести сюда еще парутройку историй о том, как пострадали представители семьи Геринг от человека, покончившего с собой в нюрнбергской тюрьме в ночь с 15 на 16 октября 1946 года, но, пожалуй, развлеку вас только одной из них, которую рассказала мне сама

Беттина, привычно путаясь в именах и датах. Несколько лет назад она виделась с одним из своих кузенов, детей еще одного сводного брата Германа Геринга от первого брака.

– Он был одним из его любимых племянников, молодой парень. Конечно, дядя рейхсмаршал его устроил в люфтваффе, и тот пошел на войну. По первой профессии этот мой какой-то-юродный кузен был доктором, и жена его тоже была доктором. У них родились четверо детей, все девочки, и когда пришло сообщение, что он погиб, жена поступила точно так же, как печально известная Магда Геббельс. Не знаю, скопировала ли она это с поступка Магды, могла ли знать о нем или нет, но произошло всё как раз в конце апреля 1945 года, когда Гитлер покончил с собой. В общем, жена кузена покончила с собой, предварительно убив четырех дочерей. Это был такой фанатичный подход – нет рейха, нет Гитлера, нет мужа, а значит, нужно умереть. А кузен вернулся с войны несколько недель спустя. В общем, я узнала эту историю только год назад и, когда кузен это рассказал, просто не знала, что ответить, как себя вести. А потом он добавил, что после войны снова женился, и у него родился сын… Но как его первая жена могла так поступить?

Спрашиваю, знает ли Беттина, почему Геринг в тюрьме спокойно принимал тот факт, что Гитлер приказать расстрелять его и его семью и при этом до последних дней отстаивал фюрера?

– Потому что псих.

– Исчерпывающий ответ. А знаешь, что сказал тюремному капеллану Греке? «Геринг признался ему, что просто не в состоянии усвоить все эти религиозные учения и надеется лишь на то, что у его супруги хватит мужества убить себя и их ребенка, чтобы не жить этой постылой жизнью»[16].

– Животное! Как можно так говорить про собственного ребенка?!

– Зная, как он боготворил свою дочь Эдду и как не терпел капеллана Греке, думаю, что это просто очередная бравада человека, которому в ближайшей перспективе предстоит взойти на эшафот.

– Я с тобой не согласна! Такие люди – просто сумасшедшие. Психопаты. У них нет чувств. Живут для себя и думают только о себе, считая, что лишь они имеют право на существование. Да они все там были психопатами со своим Гитлером во главе!

Кстати о психопатологии. Выдержка из «Нюрнбергского дневника», мемуаров доктора Гилберта, психолога, работавшего в Нюрнберге с нацистскими преступниками: «Я решил копнуть чуть глубже и высказал ему напрямик, что он, хоть и неплохо разбирается в людях, понятия не имеет о психопатологии. Этого

Геринг отрицать не стал… И Гитлер, и Гиммлер – психопаты, утверждал я, хотя весьма церемонно выражались на приемах и раутах. В отношении Гиммлера Геринг готов был со мной согласиться, но стоило ему пытаться применить эту версию к Гитлеру, как тут же происходил сбой»[17].

У Беттины нет никаких сбоев. Геринг – психопат. И точка. Она в этом уверена.

Некоторые психотерапевты считают, что травма передается по наследству. В роду у Беттины были не только психические послевоенные травмы, которые она заполучила от бабки и отца, но и нарушенные табу. Вот почему для меня столь важно было увидеть брата, которого так тщательно скрывает Беттина.

Инцест.

Первое и главное табу, возникшее у древних племен. Бабка Ильзе вышла замуж за Карла Геринга, человека, связанного с ней кровными узами. Расплатой за это была потеря двух из трех сыновей, ибо за нарушением табу всегда должна последовать кара.

Инцест в семье, о котором она знает с детства, не дает Беттине покоя.

Она говорит: «Думаю, что мое решение не заводить детей – правильно. В моем роду было много внутрисемейных браков, кровосмешения, а это ужасно. К тому же это не дает здорового потомства».

Причем, если «примитивные народы боятся наказания за нарушение табу, главным образом тяжелого заболевания или смерти, то… при неврозе дело обстоит иначе. Если больной принужден совершить нечто запрещенное ему, то он боится наказания не за самого себя, а за другое лицо, большей частью остающееся неопределенным, но при анализе в этом лице легко узнать самого близкого больному и самого любимого человека»[18]. Больше всего Беттина боится не «родить монстров», а, насколько мне удалось понять, «наградить их тяжким бременем», ибо нерожденный ребенок, судя по всему, и есть для нее самое близкое существо.

Я ни в коем случае не ставлю никому диагнозов – это лишь мои собственные предположения. Но я заметила и еще одну вещь, которой поначалу не придала значения. Сначала прочитайте вот это: «Обыкновенно запрет произносить имя умершего выполняется очень строго. Так, у некоторых южноамериканских племен считается самым тяжелым оскорблением оставшихся в живых, если в их присутствии произнести имя умершего, и полагающееся за это наказание не менее сурово, чем наказание за убийство. Нелегко понять, почему произнесение имени так

пугает, тем не менее связанная с ним опасность вызвала ряд предупредительных мер, интересных и значительных во многих отношениях. Так, масаи в Африке нашли выход в том, что меняют имя умершего непосредственно после смерти; его без боязни можно называть новым именем, между тем как все запрещения связаны с прежнем именем. Странное впечатление от этого табу имени уменьшится, если мы вспомним, что у дикарей имя составляет значительную часть и важное свойство личности, что они приписывают слову полноценное значение вещи… Как и следовало ожидать, невротики, страдающие навязчивостью, в отношении имен ведут себя так же, как дикари. У них проявляется острая "комплексная чувствительность" к тому, чтобы произносить или услышать известные имена и слова…»[19] А теперь – та самая деталь, которую я подметила уже во время того, как стала вплотную работать с расшифровками после съемок с Беттиной: за несколько дней она произнесла *Герман Геринг* лишь три (!) раза, два из которых – по моему настоянию, ведь фрагменты, которые будут отобраны в фильм, должны звучать четко. Всё остальное – «он», «он», «он». И без контекста. Даже начиная рассказ, она говорит «он», стараясь не произносить ни имя ни фамилию – уж не знаю почему. Так что единственное, что я позволяю себе править, – это изредка заменять местоимение «он» на «Герман Геринг» или «рейхсмаршал».

Беттина говорит, что после своих путешествий по Индии и Таиланду она вдруг испытала облегчение и даже почти что переменила свое отношение к семье Геринг, решив попробовать не отрицать ее.

– Когда я была молодая, я была слишком критично настроена к части семьи по линии моего отца. Они все для меня были злом. Но это всё равно, что осуждать одну половину самой себя! Но я осуждала. Он, бабушка Ильзе, тень рейхсмаршала – этого мне хватило с лихвой. Так вот, год назад я всё-таки съездила в Германию на «семейный собор». Как раз там и познакомилась с кузеном, который мне рассказал свою страшную историю про то, как жена убила четырех дочерей. Мне всегда казалось, что представители семьи по линии отца были воплощением зла, и только год назад я сказала себе «хватит!». Нужно увидеть их, пообщаться, поговорить. В общем, всё оказалось не так страшно. Очень милые люди, в основном дальние родственники. Дочери рейхсмаршала среди приглашенных не было: Эдда человек очень закрытый, живет так тихо, словно и нет ее вообще. Подозреваю, что она опять просто проигнорировала приглашение.

Отношение к рейхсмаршалу и родственникам несколько переменилось. Беттине даже стало казаться, что она унаследовала

от Германа Геринга кое-какие особые личные качества – в какой-то момент она так настаивает на этом, что мне на долю секунды кажется, будто в ней говорит тщеславие и она действительно гордится чем-то, что получила от Геринга:

– Да, сходство с ним определенно есть. Это, в большей степени, какие-то навыки. Интеллект. Способности. Некоторые вещи, которые мне даются легко. Ну, например, стратегия – мой конек. К примеру, я играю в игру-стратегию со своими еврейскими друзьями (причем, их это забавляет – ввязать меня в игру, связанную именно с военными стратегиями) и я постоянно их побеждаю. Каждый раз. Но я не хочу выигрывать даже такую безобидную войну, понимаете? Уже надоело выигрывать.

– Зачем тогда играешь? И всё ли это, как тебе кажется, черты рейхсмаршала?

– Я не могу сопоставить себя с ним (!!!). Не могу найти ничего общего с этим человеком (!!!). Мне становится скучно говорить о нем постоянно, давайте сменим тему. Понимаете, он таков, каков есть. Один из многих сынов своего времени…

– Хорошо. А те черты, о которых ты упоминаешь, как думаешь, они идут тебе на пользу?

– Не то чтобы я не успешна в карьере, но я всегда чувствовала, что не использую свой потенциал на полную мощность, ведь у меня отличные организаторские навыки, но каждый раз, когда я попадала на какую-то позицию, связанную с властью, я сразу так: «Неее, это не мое». Как-то мне предложили возглавить компанию по иглоукалыванию. И я сказала: «Ни за что!» В школе дело даже доходило до смешного: всем нравилось, как я толкаю речи, и было предложено сделать меня школьным спикером. Я чуть от ужаса с ума не сошла: нет, я не должна быть на виду! Не хочу!

Лично я считаю, что дело тут не в путешествиях по Индии и Таиланду, не в разговорах с престарелыми гуру, не в единении с природой. Скажу больше: я уверена, что перемена произошла с Беттиной после встречи с израильским режиссером. Именно тогда она впервые, примерив на себя вину, поняла, что это такое, и, боюсь, что ей понравилось кутаться в эту вину, теребить ее, точно платок. С виной в нее прокралось и тщеславие – удовольствие от интереса, направленного на нее как на родственницу известного человека, Германа Геринга, правую руку Адольфа Гитлера.

Вот откуда взялось вдруг такое ее высказывание:

– Я решилась встретиться с вами потому, что это, как мне кажется, способствует работе, которую я веду над собой, это помогает излечиться, потому что я всегда ощущала себя так, что у

меня вообще нет выбора.

– А как считает твой брат?

– Мой брат обычно говорит про вину: «Ну что я могу поделать?» Тот человек жил в былые времена, а я живу сейчас, я не могу ощущать ответственность за то, к чему не имею отношения. И я с братом согласна – мы-то тут ни при чем (!!!).

– Но он тоже сделал операцию, чтобы не продолжать род.

– Ну да. Как я. Из-за Геринга.

Беттина потягивается и, не прикрывая рта, зевает прямо в камеру, давая понять, что сейчас настало время перерыва и что ей разговоры даются очень тяжело.

Беттина – трудный собеседник. Она просто черпает из своей невротической памяти, состоящей не из реальных людей, а образов, и извлекает оттуда нечто таинственным образом увязывающееся в ее голове с тем, что она говорит и думает, даже если в реальности никакой причинно-следственной связи и в помине нет. Проще говоря, она пренебрегает рецептами, когда готовит салат, и использует любые продукты, что есть в холодильнике, а уж согласуются они между собой или нет, это не ее забота. Кстати, про салат – это не метафора, а прямой смысл. Обед, который приготовила родственница рейхсмаршала Геринга, вызывает удивление: огромный пакет американских снеков (наполовину опустошенный еще до нашего появления), подсохшее печенье и берлинский салат, который, по собственному признанию, Ади сложил «из того, что оставалось в холодильнике». Судя по всему, кроме картофеля, яблока, майонеза и маринада, в холодильнике не осталось ничего. И, конечно, запивать всё это нужно непременно «настоящим хорошим китайским чаем, который мне привезли друзья из Таиланда. Зеленый с жасмином, очень дорогой, – и заваривать его нужно трижды».

Берлинский салат Беттина положила в огромную дешевую миску, которая легко может сойти за цветочный горшок, снеки насыпала в такую же емкость из глины. Понимаю, что хозяева люди не жадные: просто в холодильнике, который Беттина в очередной раз открывает, чтобы достать соус для снеков, действительно почти ничего нет. На мой вопрос, едят ли они мясо, она пожимает плечами: «Ничего против не имеем, но пища очень тяжелая, поэтому едим ее крайне редко».

Беттина накрывает на стол:

– У нас самообслуживание, поэтому накладывайте что хотите.

Выбор, прямо скажем, не велик. Родственницу Геринга трудно назвать человеком даже среднего достатка – живут они с

мужем крайне скромно. Более того, Беттина никогда не возражает, если ты предлагаешь заплатить за нее в кафе, и Ади вот тоже не сильно отпирался во время вечернего застолья, и теперь я точно знаю почему.

Я спрашиваю у нее, никогда не бывавшей ни в России, ни на территории бывшего СССР, пробовала ли она когда-нибудь русские блюда, на что Беттина, ополаскивая запыленные вилки и ножи, отвечает:

– Не только пробовала! Мы с Ади обожаем борщ! Я его периодически готовлю, когда получается – по рецепту, который вычитала в Интернете. А есть его вкуснее всего со сметанкой. Еще я очень люблю национальные немецкие блюда, гуляш хороший могу приготовить, красную капусту, и, конечно, предпочтение отдаю тайской и индийской кухне. А из сладкого мне лучше всего удается торт «Черный лес», который я иногда готовлю по просьбе Ади. Печь я просто обожаю.

Берлинский салат после съемок на свежем воздухе принимается нашей компанией на ура, вместе с хрустящими снеками. Беттина, набив полный рот, пытается рассказать про свою любовь к чаю и Азии вообще – она никогда не была в Китае, но уверена, что съездить ей туда стоит непременно:

– Когда мне было лет шесть, отец купил нам с братом «Маджонг», и мы всей семьей с удовольствием в него играли. Прекрасное было время! Так что с Азией у меня с детства были хорошие ассоциации. А потом я задумалась о том, чтобы заняться иглоукалыванием. Но об этом поговорим завтра у меня на работе…

– Скажи, – спрашиваю я ее на улице на прощание, – а почему вдруг ты оказалась в США и конкретно Санта-Фе?

Беттина делает зевок и начинает:

– Так уж сложилось. Из Германии я уехала в девятнадцать лет. Теперь, спустя долгие годы, я думаю, что это было скорее похоже на бегство; в Санта-Фе я приехала лет через десять: обреталась сначала в Калифорнии, где и познакомилась с Ади (он рассказывал про наше знакомство). И когда мы с ним стали жить вместе, у нас вдруг появилась мечта заиметь собственность, но денег было очень мало, готовое жилье не купить. А мой брат к тому времени переехал из Германии тоже и поселился в Санта-Фе. В общем, приехали мы его навестить, и я влюбилась в эти прекрасные места. И мы решили купить собственность здесь на паях с друзьями, но возникли правовые разногласия – проще говоря, мы решили взять кредит и выкупить землю самостоятельно. Мой брат показал нам всё тут и настойчиво

советовал место рядом с собой, но мы отказались, и я ни капли не жалею. Тут нам понравилось намного больше. И именно тут мы затеяли наше большое строительство: дом сделали сами, вдвоем (брат тоже помогал) почти за два года, а вот все эти пристройки вяло доделывали в течение двадцати лет. До того как переехать в Санта-Фе, я жила в разных местах, включая Сан-Диего. Я была терапевтом-массажистом, но именно там взбрело мне в голову посещать занятия в школе иглоукалывания. Дело в том, я планировала сделать своим бизнесом выпечку, но во время занятий по иглоукалыванию из класса выбрали подопытного, выяснилось, что я «пограничный диабетик»…

Нужно заметить, что диабет у Герингов – наследственное заболевание. Генрих Геринг, который приходился отцом рейхсмаршалу и деду Беттины Карлу Эрнсту, в последние годы жизни страдал диабетом: «Отец умер, когда мне было двадцать. В течение двух или трех лет он страдал от диабета, но отказывался соблюдать диету и меры предосторожности»[20]. Впрочем, Беттина об этом и знать-то не знала, но диагноз «пограничный диабет», который ей поставили в школе иглоукалывания, ее напугал настолько, что с выпечкой как профессией было решено завязать раз и навсегда. Так что в Санта-Фе она вернулась с дипломом школы иглоукалывания.

– Санта-Фе – это очаровательное место с грустной историей, как любая история, связанная с захватом земли. Правда, тело мое иногда изнывает от того, что вокруг очень жарко и сухо, и мы стараемся с Ади уезжать, к примеру в Таиланд. Но когда я возвращаюсь сюда и вижу эти открытые просторы, я складываю руки – ладонь к ладони – и говорю: «Спасибо, Боже, Аллилуйя».

– Хорошее место, чтобы скрыться.

– Я бы сказала, хорошее место для поиска самого себя.

– Или чтобы спрятаться.

– Может быть, и так. Но вряд ли. В юности я сменила фамилию, у меня был первый краткосрочный брак, и я решила перестать быть Геринг. Так и живу под фамилией первого мужа, а Ади под своей. Но тут в Санта-Фе люди зачастую не так уж образованы, даже имя своего президента знают не всегда, что уж им до какого-то рейхсмаршала!

– Значит, место ты выбрала правильно.

– Здесь тишина, покой, пространство и только ты. Никакого шума и толпы, как в Калифорнии или на Восточном побережье США. Но теперь мы хотим уехать отсюда. Надо просто продать землю с домом.

В девять тридцать утра мы с Сергеем и Стюартом паркуемся на обочине дороги у небольшого магазинчика, что на Олд-Лас-

Вегас-хайвей, за пределами Санта-Фе. Беттина подъезжает с опозданием в десять минут: «Таня, садись ко мне в машину», – кричит она, опустив стекло водительской двери. Стюарт с Сергеем следуют за нами.

До офиса Беттины отсюда и ехать всего ничего: минут через десять она останавливает машину на небольшой парковке между двух белых одноэтажных домиков, тычет пальцем в лобовое стекло в сторону того, что правее: «Нам сюда».

В дверях на нас почти налетает крупный мужчина, с которым Беттина вежливо здоровается, представляет нас и перекидывается с ним парой вежливых реплик. «Это арендодатель, – шепчет она мне, как только он выныривает на улицу, закрыв дверь, – поэтому приходится церемониться».

Стюарт распаковывает штатив и занимается настройкой камеры, в то время как мы с Сергеем и Беттиной осматриваем ее рабочее место. С виду это обычная маленькая частная клиника, коих полно и у нас в России. Длинный коридор без окон, по бокам которого – несколько дверей с простыми металлическими ручками. Там, где коридор сворачивает влево, чтобы через пару-тройку метров упереться в очередную белую дверь, и находится врачебный кабинет внучатой племянницы рейхсмаршала Германа Геринга.

Вдоль левой стены этого длинного коридора – деревянные шкафы высотой метра два, полки которых уставлены большими банками, наподобие трехлитровых, в такие у нас на родине обычно закатывают соленья. Правда, внутри этих банок, на каждую из которых аккуратно наклеены бумажки с напечатанным текстом (вот она, немецкая педантичность!), – засушенные травы и корни различных растений; и Беттина, проходящая вдоль полок, нежно скользит ладонью по стеклянным пузикам емкостей, набитых высушенной травой. Эти растения она собирает не один десяток лет – кое-что привозила специально из Германии и Таиланда. Но в основном травы собраны в Санта-Фе.

Рядом с ее кабинетом – большое каменное изваяние Будды. Внутри, как только входишь, по левую руку на стене висит картина – явно индийская – с эдаким абстрактным изображением Шивы, одного из божеств индуизма, на желто-зеленом фоне с трезубцем в руках. Я вспоминаю о том, что Шива олицетворяет сразу два начала, разрушительное и созидательное, и кажется мне, что эта двойственность вполне созвучна сложному, спутанному внутреннему миру нашей героини. Индийская свастика четырьмя заломами линий, образующих прямые углы, повисает в воздухе в противовес фигуре умолчания – свастике нацистской.

Две свастики. Два разных смысла.

На окнах кабинета Беттины – белые больничные жалюзи. Посреди – массажный стол, за которым у стены на полках нашли приют очередные скляночки с напечатанными этикетками.

– Это травы в каплях, – поясняет Беттина, когда я беру в руки одну из них, чтобы лучше рассмотреть, – я делаю их сама.

Вдоль другой стены – рабочий стол с телефоном, чайником, календариком и белой чашкой с недопитым Беттиной накануне зеленым чаем. На столе – большое стекло, под которое подложены важные для хозяйки кабинета бумажки – рабочий график, телефоны некоторых клиентов, чьи-то визитки. Ни одной фотографии.

Несмотря на то, что кабинет совсем небольшой, его трудно назвать уютным и обжитым, впрочем, Беттина не несет собою уют и не тяготеет к нему. Она из тех, кто, оказавшись в пустом кафе или закусочной, плюхается за самый неудобный столик, прямо на проходе, где снуют усталые официантки, постоянно задевая тебя бедрами и не извиняясь.

Внучатая племянница Германа Геринга считает себя целительницей и является ярой приверженкой народной медицины – ну кто бы мог подумать? Рейхсмаршал синтезировал наркотики, а она делает настои из лечебных трав.

– Стать целительницей я хотела еще в юности, даже до того, как в девятнадцать лет бежала, в смысле уехала из Германии. – Беттина проходит в свой кабинет и усаживается прямо на массажный стол, выпятив вперед пышную грудь, наличие которой удивительно при ее худобе и телосложении, и, облокотившись на отставленные назад руки, продолжает. – Начинаешь с того, что хочешь излечить саму себя, а потом лечение других выходит на первое место. Я уверена, что у меня есть целительский дар, и обнаружила я его в себе очень рано. Впрочем, по-серьезному я стала заниматься этим лет в тридцать, после того как сделала стерилизацию. Сначала я освоила массаж, а уже после, в Сан-Диего, – иглоукалывание. В западной медицине, как вы знаете, основной упор делается на здоровое тело. Но восточная, потому она и стала мне ближе, лечит и душу, ведь многие болезни идут от проблем душевных. Психосоматика.

Помню, мне было лет шестнадцать-семнадцать. К тому моменту мамино ателье уже прекратило свое существование и она работала медсестрой в хосписе, а подрабатывала тем, что приходила домой к людям, обычно в возрасте, которые пережили удар или инсульт. В общем, у нее была пациентка, которой было очень тяжело двигаться, и ей нужно было разрабатывать руки и ноги. И когда у мамы был отпуск, она попросила меня подменить

ее на несколько дней. Она обучила меня всему, что я должна была делать с ее «частными» пациентами, и я отработала эти дни вместо нее. Так вот, эта пожилая пациентка сказала моей маме, когда та вернулась: «У вашей дочери золотые руки – смотрите, какой у меня прогресс, я стала лучше двигаться». И я почувствовала – это дар, понимаете? У меня есть и другой дар – сильная интуиция и чутье, а еще я остро чувствую то, что переживают другие люди. Раньше, когда я делала массаж больным, я после процедуры ощущала боль в том месте, где болит у пациента. Это нехорошо. Из-за этого я временно завязала с массажем, сосредоточившись на иглоукалывании, потому что тут между тобой и человеком б\льшая дистанция. Мне не нравятся касания. Я слишком остро чувствую чужую боль.

– А негатив ощущаешь, когда кто-то узнает о том, что ты Геринг?

– Иногда… – Беттина закусывает губу. – Помню, что информация о моем происхождении не понравилась людям в Гернике, например. А вот когда я некоторое время жила в Англии у друзей, никакого негатива, направленного в свою сторону, не чувствовала, даже когда люди узнавали, кто я такая, – англичане предпочитали остроумно шутить на эту тему, но никаких грубостей.

Я пыталась вспомнить, обижали ли меня из-за фамилии в школе, и должна сказать, что всё-таки нет. Помню, кое-кто из сверстников даже говорил: «Надо же! Ты из такой семьи». Но это всё потому, что родители этих детей были нацистами и оставались ими даже спустя десятилетия после войны, как и моя бабка Ильзе. Так что наивно думать, будто все раскаялись, как только рухнул рейх: ведь для многих немцев раскаяние – лишь вынужденная формальность. Они умирают сейчас в свои восемьдесят-девяносто лет, по-прежнему оставаясь нацистами, и на кухоньках меж собой любят вспоминать молодость, выпавшую на период Великого германского рейха.

– Давай вернемся к тебе: целительница по фамилии Геринг – для многих это прозвучит, мягко говоря, парадоксально.

Беттина откидывает с лица прядь волос:

– Парадоксально. Да уж. У меня была клиентка, пожилая еврейка, выросшая в Германии, которая регулярно ходила сюда ко мне за травами и на массаж. Как-то я рассказала ей, из какой семьи происхожу, – в конце концов, казалось мне, настолько ли это определяющий фактор? К тому же хорошо знакомые люди имеют право знать. В общем, я ей сказала: так, мол, и так, я родственница того самого, понятно кого. А она, уходя, сказала: «Прости, Беттина, но я больше не смогу к тебе ходить. Мне

слишком тяжело тебя видеть». И это было как удар под дых, понимаешь? Прямо больно стало. А потом был еще один случай, с тем еврейским режиссером. В общем, мы пошли в буддийский центр, и он рассказал людям, которые там работали, что хочет тут кое-что снять, ну и меня представил им, как полагается, по полной программе. И одна пожилая еврейская дама сказала, что ей противно сидеть рядом со мной. Встала и ушла. Впрочем, случаев какого-то вопиющего хамства я всё-таки припомнить не могу, но понимаю, что людям может быть очень неприятно находиться рядом со мной.

– Знаешь, – говорю ей, – мне кажется, что дело не в происхождении, а в людях, которые носятся с прошлым как с писаной торбой. Я согласна, что нужно помнить историю, но не плевать же в лицо человеку, который не имеет никакого отношения к преступлениям тех времен! Честно говоря, меня удивляет, что ты пошла на заклание к этому израильтянину. Он явно пытался внушить тебе комплекс вины, который, как я понимаю, у тебя уже сформировался и без его участия.

Беттина мотает головой:

– Не думаю, что этот комплекс вины во мне, о котором ты говоришь, настолько силен. Хотя, наряду с виной, я действительно ощущаю себя жертвой того…

– Геринга…

– Да…

– Пожалуйста, скажи на камеру его имя, а то меня обвинят в подставе, что, мол, о ком-то другом говоришь.

– Хорошо. Герман Геринг… Этот человек с огромной манией величия, он разрушил всю свою семью. Чудовище, не проронившее ни слезинки… Хотя я помню фрагменты хроники весны 1945 года, как он готов был разрыдаться, когда в плену у американцев с него сняли наградные кресты и забрали пистолет. Ну конечно его волновали не горы трупов, оставленные позади, а изъятые рейхсмаршальские кресты! И плакал он потому, что боялся увидеть себя настоящего, потому что, когда у тебя забрали все атрибуты власти, приходится остаться с собою наедине. А если он больше не рейхсмаршал? Если у него нет больше власти, то кто же он тогда? Просто толстый наркоман-убийца? И что ты хочешь, чтобы я еще сказала?!

Вижу, она завелась:

– Раз уж мы заговорили о слезах рейхсмаршала… А ты сама-то часто плачешь?

– О да! – Беттина кивает. – Я люблю порыдать над мелодрамами. Хотя, если серьезно, то чаще плачу не из-за себя. В последние три года, после смерти матери, плачу очень много, но

слезы воспринимаю как способ освобождения от боли, которая гложет меня изнутри. Вот я разговариваю с тобой, а сама думаю, что мамочка, наверное, мною не слишком довольна. Она была потрясающей женщиной, продвинутой, либеральной. После смерти моего отца она прожила еще почти тридцать лет и умерла в девяносто. Она помогала мне с моими внутренними проблемами. Да, она любила выпить. Кто-то скажет – алкоголичка. Но я так не считаю. Она была женщиной шустрой, живого ума, много ходила пешком и так и не научилась водить машину. Помню, незадолго до смерти она упала и сломала шейку бедра, и лечил ее русский доктор. Он проводил анализы ее внутренних органов и констатировал, что она, в общем, здоровый человек.

Конечно, я доставила ей очень много проблем – особенно тот мой уход из дома в тринадцать лет. А потом и брат. Представляете, что она пережила? Но смогла понять, примириться и продолжала меня любить. Она, конечно, всегда беспокоилась обо мне, о моем будущем, потому что я не тот человек, который может беречь деньги и что-то откладывать на черный день. Я не такая, как она. Я всё-таки человек свободный, по крайней мере желающий ощутить абсолютную свободу. Мне нравится то, что я выбрала. Даже сегодня я не слишком загадываю наперед. Да, конечно, многие рассчитывают на пенсию, пашут, как волы. Но я не из их числа. Все наши с Ади сбережения – это наша земля и дом. А работать я буду до конца жизни, но только в том графике, в котором захочу. Руки есть, ноги есть, так что на хлеб деньги всегда будут.

– Неужели совсем никаких… вложений? Вот у тебя дома кое-где висят какие-то акварельки.

– Думаешь, я не понимаю, к чему ты клонишь? Это копеечные картинки, кое-что из этого нарисовал Ади, кое-что его отец, какие-то мы купили буквально за доллар, так что я не занимаюсь коллекционированием, как…

– Герман Геринг.

– Геринг. Он собирал картины и другие предметы искусства ради престижа. Хотел показать, что он самый богатый человек. Поэтому я считаю, что искусство он ценил исходя из его рыночной стоимости. Думаю, это просто показуха: смотрите, какой я классный, как я во всём этом великолепно разбираюсь. На самом деле, сегодня многие богачи любят прихвастнуть, к примеру, своими яхтами. У кого больше, так сказать. Слушай, давай пока закончим, а?

– Ладно. Только еще один вопрос. На воображение. Вот представь, что сейчас дверь твоего массажного кабинета

распахивается и сюда входит Герман Геринг. Что бы ты ему сказала? Ты ведь наверняка думала об этом, а?

– Да, – Беттина вздыхает, – я бы сказала ему: «Я как могу пытаюсь исправить всё то, что ты натворил». Но услышал бы он меня? Вряд ли. Потому что он – чертов психопат, а у таких людей совсем нет чувств. Вот я, например, чересчур остро чувствую страдания других людей, а он… он просто толстокожий. Было время, когда я по-настоящему злилась на него, ненавидела за бремя, которое он взвалил на плечи всех представителей своего рода, но сейчас, странно это говорить, но, может быть, не будь Гитлера и Геринга, мир не получил бы важный урок ценою в десятки миллионов человеческих жизней? Может быть, и немцы не стали бы такими миролюбивыми? Да кто вообще знает, что лучше, а что хуже?

– Хорошо, но у Германа Геринга был младший брат…

– Да, родной брат Альберт, который спасал евреев, цыган, чехов. Но я ничего о нем не знаю. Порой мне кажется, что это просто семейная легенда.

Шанти Элке Баннварт, к которой мы приезжаем вместе с Беттиной, с идеальной укладкой, бусами на шее и перстнями на изящных наманикюренных пальцах, стоит, закутавшись в бежевое мексиканское пончо, испещренное сотнями оттисков наскальных узоров, в ожидании гостей.

Она проводит нас сквозь гостиную – и мы оказываемся во внутреннем дворе, который заканчивается обрывом. Перед ним – пруд, вырытый по их с Клодом заказу, окантованный булыжниками; рядом высажены несколько ровно подстриженных кипарисов, почти на самом краю, за озером, крохотная площадка, на которой стоят несколько стульчиков, чтобы любоваться потрясающим видом на холмы, вершины которых вдали накрыты фиолетовыми облаками. В воздухе зависла колибри, в пруду кишат желтые и красные рыбки – их так много, что, когда Шанти вытряхивает туда коробочку с кормом, вода, словно по волшебству, начинает пузыриться: рыбы жадно бросаются на еду. Смотрю на Беттину, которая чувствует себя неловко посреди великолепия, которое владельцы этой земли создали собственными руками: кажется, что их земля дышит, в то время как она, родственница рейхсмаршала, не может вдохнуть жизнь в свою дикую территорию.

Многочисленные деревья – молодые и старые, – которые я вижу по пути, подстрижены, а на некоторых повязаны ленточки. Так хозяйка помечает те из них, которые могут не перенести жаркого лета. Здесь даже высохшие деревья и ветки не нагоняют

такой тоски, как на пространствах, которыми владеет родственница Германа Геринга.

– Здесь будут цвести люпины, – бросает Шанти.

– Ага, – равнодушно бросает Беттина.

Через полчаса мы возвращаемся в дом, Шанти предлагает продолжить разговор внутри.

Она приносит чай и погружается в мягкое зыбучее кресло перед столом с кирпичного цвета скатертью, на котором, между чашками с чаем, в художественном беспорядке пребывают пара книжек и папка с торчащими неровными краями газетных вырезок.

– Слушай. – Беттина делает глоток чая и морщится, как истинный ценитель, которому только что налили «пакетированные помои». – А в каком году ты сама уехала из Германии?

– Мне был двадцать один год, и я была счастлива, что закончила обучение и могу уехать. Это был, кажется, 1957 или 1958 год. В общем, я, наконец, покинула Висбаден, в котором изучала химию.

– Висбаден! – Беттина подпрыгивает на месте. – Я как раз родилась в Висбадене. То есть мне был примерно год, когда ты уехала оттуда.

– Да, – сдержанно кивает Шанти, не разделяя радость землячки, – как только я получила диплом и отпраздновала это событие, буквально на следующее утро я покинула Германию. Вырвалась, как птица из клетки. Мой отец Ханс Ройсслер был высокопоставленным нацистом, мать умерла, когда я была малышкой, а мачеха меня не любила. В общем, оставив отчий дом, я сначала отправилась в Швейцарию, где вышла замуж и родила троих детей. Как только я пересекла границу Германии, тут же забыла про нацизм, Гитлера, Геринга, отца и всё прочее – я стала матерью и от души наслаждалась жизнью. И когда приехала в Америку, в Бостон, получать второе высшее образование, мне уже было сорок лет. Как-то в общежитии, в комнате, по маленькому крохотному телевизору моя соседка смотрела документальный фильм про концлагеря и деревянные бараки, а я ведь никогда этого не видела, ничего не знала и не желала знать с тех пор, как бежала из Германии. И тут… это просто ужасно… не передать… это же как так… они их убивали, понимаете?.. Мой отец, другие отцы…

Беттина поглядывает на видеокамеру, за которой стоят Стюарт и Сергей, вопрошая взглядом, можно ли ей подойти и утешить всхлипывающую Шанти. Нет, нельзя. И Шанти,

подрагивая в рыданиях, прикрывает руками лицо, пытаясь отдышаться. Соседка смотрит на нее с сочувствием:

– Дорогая, – говорит Беттина растерянно, и в голосе её можно расслышать что-то отдаленно похожее на нежность, – не стоит так убиваться. Их больше нет…

Я не понимаю, о ком она, – о палачах? О жертвах? Обо всех, кто был тогда?

– Но ты же понимаешь, что они есть, – всхлипывает Шанти, размазывая по лицу тушь.

– Даже если есть, – говорит Беттина спокойно, и Шанти на пару секунд перестает всхлипывать, но из ее груди вырывается судорожный вздох и слезы опять льются рекой.

Шанти плачет так самозабвенно, что даже мужчины в растерянности переглядываются. Мне и в голову не приходит броситься к ней, чтобы утешить, потому что это будет ошибкой: пусть поплачет. Беттина, уже поняв, в чем дело, кивает мне: мол, давай продолжать.

– Ты боишься назвать Геринга по имени. Почему?

– М-м, – хмурится Беттина, – пока ты не стала мне об этом говорить, я не обращала на это внимания.

Всхлипы Шанти чуть стихают, она пытается услышать, о чем мы говорим.

– Это ведь проявления невротического свойства?

Всхлипы Шанти потихоньку сходят на нет, и она прислушивается к вопросу, который я адресую ее соседке.

– Значит, я невротик, – кивает Беттина и с хлюпаньем и шумом втягивает в себя чай, – а может, и не я одна. Может, мы все, а?

– Упс, закончилась флешка… – Слышу за спиной виноватый голос Стюарта, разбившего напряжение момента. – Мне нужно пару минут, чтобы поставить новую. Я быстро!

– Осторожно, она стекля… – Звук замирает в горле у Шанти в тот момент, когда Стюарт, потирая лоб, ощущает жесткий пол комнаты под собственной задницей. – Стеклянная дверь…

– Я понял, – улыбается Стюарт, поднимаясь с пола и вызывая ответную улыбку Шанти, на лице которой замерла легкая тревога за оператора, – всё, теперь выйду нормально.

– А я лицо умою, с вашего позволения. – Шанти, еще чуть всхлипывая, встает и выходит через арку в коридор.

Беттина поднимается с уступа возле камина и плюхается на диван, рядом со столом, прямо напротив кресла, где только что сидела Шанти.

– Я говорю о том, что мы все невротики. – Она делает глоток чая, подтягивает ноги и садится в позу Будды, обнажая носки с

Девой Марией. – И ты, и я, и наши нации. Мы были бы все ненормальными, если б остались нормальными после того, что было. Хочешь сказать, Сталин преследует вас меньше, чем нас Гитлер? Или коммунизм исчез, как и нацизм? Ха! Война закончилась. Но она пришла в мой дом с бабкой Ильзе, которая переехала к нам в Висбаден, потому что была больна и не могла больше содержать свою куриную ферму.

О! Это было изысканно, как она садилась перед телевизором и что ему говорила. Сказать? Она говорила, что коммунисты – дрянь. Американцы – продажны. Евреи… ну туда, в печи, им и дорога, в принципе. Смысл был такой. Впрочем, она и печи-то отрицала, считая, что Освенцим, Бухенвальд, Дахау выдумали для того, чтобы заклеймить нацию. Кстати, несколько лет назад я была в Освенциме и вернулась оттуда вся больная – словно сама побывала узницей. Это тоже была сильная психологическая травма.

Шанти, вошедшая в комнату, стоит позади Беттины, и на ее глаза снова наворачиваются слезы. Беттина, не видя ее, продолжает:

– Потом я уехала в Америку, встретила своего первого мужа. И передо мной встал выбор: новое имя и новая жизнь или груз за спиной. Я выбрала новую жизнь и думала, что груз исчез. Не вышло. Прошлое тихо вползало в меня теми самыми призраками, о которых говорит Шанти.

– Геринг – не твое прошлое. Геринг – это образ.

– Скажи это, к примеру, Катрин Гиммлер про ее двоюродного деда – она замужем за евреем. Мы все невротики.

Шанти садится в кресло и делает пару глотков из своей кружки:

– Я хочу верить, что немцы смогли вынести большой урок для себя…

– Да-да! – встревает Беттина. – Точно! Большой урок. Когда я слышу, как они поют национальный гимн нестройными голосами на трибунах или в барах, так просто бежать хочется на край земли. Мне кажется, это что-то из прошлого. На меня накатывает ужас. Впрочем, я думаю, что мне стало лучше. Это благодаря статье в газете и твоему, – кивает на меня, – приезду. Я окончательно утвердилась в том, что на правильном пути. Так что должна сказать спасибо…

– За что?

– Теперь я понимаю, что моя миссия заключается в том, чтобы и дальше своим примером нести освобождение людям, которые мучаются собственным прошлым и происхождением…

Миссия?

– Моя миссия в том, чтобы снимать зло, налипшее на их души из-за того, что их предки совершали грехи. Наверное, весь смысл в этом. И, наверное, то, что я отказывала в свое время каким-то съемочным группам, было ошибкой. Да, мне больно и тяжело, но я должна подумать о тех, кому нужна моя помощь… Таня, когда ты написала Шанти и мне, я не хотела сниматься, потому что видеть кого-то из России вот так, нос к носу, – это было чересчур для меня, человека, чей родственник уничтожил много миллионов твоих соотечественников. Но вот прямо сейчас я ощущаю свет внутри себя и, наверное, буду продолжать сниматься дальше. Со мной сейчас хочет связаться американская съемочная группа…

Она продолжает еще что-то говорить про свое предназначение и миссию, но звук ее голоса приглушается размеренной пульсацией, нарастающей в моих висках. Солнце настолько обнаглело, что уже поселилось в комнате, придав белым стенам цвет спелого апельсина, и пытается прожечь сетчатку глаз; камера, стоящая за спиной, жужжит, словно назойливая муха. Челюсти судорогой сводит зевота. Я больше не слышу Беттину – лишь вижу, что она выброшенной на сушу рыбой то смыкает, то размыкает губы. Оборачиваюсь на Шанти, которая сидит с округлившимися глазами и прикрывает ладонью открывшийся рот. Ее ногти, покрытые перламутром лака, отражают яркий солнечный свет, а железный массивный браслет на левой руке руководит солнечным зайчиком, бьющимся в мелкой дрожи на одной из стен. Она, мне кажется, силится понять, осознает ли сама Беттина, что сейчас говорит, и откуда вдруг во рту взялся сладковатый привкус тщеславия, которым наполняется воздух вокруг нас. Я вижу, что Шанти прикрывает рот и осторожно облизывает губы. Мне почему-то кажется, что ей не вкусно.

Когда солнце уже готово найти ночное укрытие за синеющими вдали холмами, домой возвращается Клод. Следом за ним, минут через десять, в дом входит Ади с бумажным пакетом в руках.

– Ты привез кое-что для стола, как я просила, да?

– Конечно. – Ади протягивает Беттине пакет, и та, удовлетворенно кивнув, извлекает содержимое: початую бутылку красного вина и недоеденные вчера снеки с приправой.

– Шанти, это вам от соседей.

– Спасибо. – Лицо Шанти непроницаемо.

Хозяйка зажигает в гостиной свечи, и стеклянные стены

становятся нашими отражениями, а я не могу избавиться от чувства, что мы все, в этом доме на холме, – мишень для взглядов какого-нибудь маньяка-извращенца, который часто становится героем американских фильмов в стиле horror.

Клод, переодевшись и нацепив на голову капитанскую фуражку с надписью «Россия», купленную во время поездки в Санкт-Петербург несколько лет назад, весело насвистывая, отправляется на кухню, вооружившись колбами и мензурками, – он хочет продемонстрировать нам всем эксперимент, «который проводили в Александрии почти две тысячи лет назад». Но для начала нужно всё подготовить.

Шанти накрывает на стол в гостиной, она позаботилась о салатах и даже приготовила местное мясное блюдо на всю большую компанию. В это время Беттина и Ади, уютно расположившись в креслах, наливают себе в бокалы по глотку вина.

– Я сейчас пойду возьму из машины гитару, – сообщает Ади, с интересом разглядывая убранство дома соседей.

– О! Так ты не забыл? – радуется Беттина.

Из кухни доносится громкое чертыхание Клода и окрик Шанти – кажется, эксперименты изобретателя могут стать причиной семейной ссоры.

– Шанти, – говорю я, заходя в маленькую кухню и пытаясь отвлечь ее от Клода, который уронил на пол мензурку с водой, – забыла спросить, почему ты так выделяешь люпины?

– Ах, цветы. – Шанти надевает варежку и вынимает из духовки противень с обещанным национальным блюдом. – Вот представь себе. Война. И черный рынок, где люди меняли ювелирные изделия на кур. Я ходила туда как-то с бабушкой, когда была совсем маленькой. Помню, там торговали рыбой – мы сели перекусить на скамейке. И вдруг я заметила, что вокруг что-то не так, что-то изменилось. Вместо привычных домов стояли какие-то руины. «Их, – сказала бабушка, – разрушили прошлой ночью». А потом у разрушенных домов я увидела что-то красивое, такое, что контрастировало с черными выгоревшими остовами зданий. И я спросила у бабушки, что это. Она ответила, что это люпины. Я на всю жизнь запомнила, как цвели люпины у разрушенных домов и как им было всё равно, есть эти дома или их больше нет…

– Ади будет петь, – кричит Беттина из гостиной, – идите все сюда!

Дон Кихот в полумраке неуверенно перебирает струны гитары и важно откашливается. Жена улыбается:

– Он споет вам одну из моих любимых немецких песен *Tanz*

ueber die Bruecke[21]. Ее очень любила моя мама. В основу положено стихотворение, написанное во времена, когда в Европе свирепствовала чума, так что танцы, о которых тут идет речь, это, скорее, предсмертные судороги.

– Я не знаю эту песню. – Шанти усаживается в мягкое кресло.

Ади берет первые аккорды, монотонные, напряженные, и затягивает песню слабым, съезжающим в разные стороны голоском:

Мост каменный
Ведет через Майн,
Если по нему захочешь пройтись,
В вихре танца сразу кружись…

…В комнате повисает тишина – лишь на долю секунды, а потом мы все аплодируем.

Пока Ади, вдохновленный аплодисментами, раздумывает, делая пару глотков вина, чем бы ему еще покорить слушателей, я спрашиваю его:

– А ты почему покинул Германию?

– Ну, в отличие от Беттины, – Ади подмигивает жене, расположившейся с ногами в соседнем кресле и пролистывающей книгу Шанти «Танцующая на одной ноге», – я был очень правильным подростком… Эй! Ты купилась, что ли?! Не был я правильным. Я родился и вырос в Западном Берлине. Сначала и правда был послушным ребенком, но лет в четырнадцать скатился по наклонной. В шестнадцать я тоже стал коммунистом, постоянно протестовал против всего и вся. Социальные работники проводили со мной поучительные беседы. Когда мне исполнилось лет двадцать, я сам решил стать соцработником, потому что изучил проблему трудных подростков, что называется, изнутри. А потом – бах! (Ади проводит рукой по струнам гитары) – и разочарование. Я понял, что пытаться изменить общество – это не мое. В общем, я получил вид на жительство и уехал в Америку.

– Вы с ней, – киваю на Беттину, – как-то уж слишком похожи. Я не про внешность. Если бы не твой Западный Берлин…

– Что ты пытаешься сказать? – улыбается Ади.

– Не знаю, – пожимаю плечами, потому что правда не знаю.

– Кстати, – продолжает Ади, – в штате Нью-Мексико очень много людей, приехавших из Западного Берлина, моих земляков. Но штат этот мне очень понравился тем, что тут круглый год солнце, а поскольку я преподаю в местном колледже предмет, посвященный солнечной энергии, и занимаюсь установкой солнечных батарей, то сам Бог велел сюда перебраться. Еще я

подрабатываю пилотом-инструктором, пою в хоре и даже играю на индейских барабанах.

– Он очень многогранный человек, – не без гордости замечает Беттина, продолжая листать книгу.

– Всё – и ничего толком, – усмехается Ади и снова проводит рукой по струнам. – А вот жена у меня настоящий генерал. Я ее иногда так и называю – генерал. А еще круче – «рейхсмаршал», потому что она любит руководить: «Принеси то, подай это». А я: «Яволь, рейхсмаршал!» Она, конечно, эту шутку не очень любит.

Беттина откладывает книгу и тянется к бокалу с остатками вина, делает небольшой глоток, немного морщится:

– Безусловно, всё организовываю я. Организаторский талант – это то, что мы оба, я и брат, получили по линии Герингов. Брат строит по контракту дома и сам знает всё до мельчайших деталей, умеет распределить работу таким образом, что всё получается построить основательно, четко и в минимальные сроки…

– Ребята, у меня получилось! – Дом сотрясает счастливый вопль Клода, доносящийся с кухни. – Мне удалось! Жаль, что вы не видите! Я сделал это! Да!!!

– Вот и молодец! – снисходительно бросает Шанти куда-то себе за спину и входит в гостиную с тарелками…

После ужина все рассаживаемся на диванах и креслах. Ади, Беттина и Шанти запевают на немецком под гитару «Мекки Мессер». Дом сотрясается от громких фальшивых нот, раскатов хохота, нестройного хора голосов и стенания саксофона. Мне кажется, что дело происходит на сцене. Свечи догорают, черные тени дрожат на белой стене, а за прозрачными стенами молчит чернота леса.

Ночью мне снится странный сон: мы все, кто участвовал в сегодняшнем вечернем застолье, оказываемся в соборе Франциска Ассизского, в том самом, где пару дней назад были с Беттиной и Шанти. Там почему-то много народу – идет какая-то служба, но при этом на входе стоит автомат с диетическим Dr. Pepper. Я бросаю центы и получаю две белые банки с шипучкой, которые, кажется, таинственным образом исчезают в следующую секунду, и я начинаю их искать.

Священник, чем-то похожий Клода, только толще килограмм на двадцать, проходит вдоль рядов и, умильно улыбаясь, что-то спрашивает у прихожан. Я жду, когда он подойдет, чтобы задать жизненно важный вопрос: кто украл мой диетический Dr. Pepper? Отчего-то мне это безумно важно.

Через проход от меня сидит Беттина, и у нее в руках одна

баночка. Та самая!

Я зову ее – не слишком громко, но она не слышит и продолжает пить.

Священник подходит к нам и, игнорируя меня, спрашивает у Беттины:

– Чего ты хочешь, дочь моя?

– Я хочу, чтобы вы благословили нас с братом, – отвечает Беттина, почему-то зевая ему в лицо.

– А где твой брат? – спрашивает священник, заглядывая ей в рот, словно он стоматолог.

– Он здесь, внутри. – Беттина проводит рукой по животу.

Я просыпаюсь. Гостиничные часы показывают три ночи с минутами. Включаю прикроватную лампу и беру местный телефонный справочник за текущий год. Листаю. Фамилии жителей указаны в алфавитном порядке с телефонами и адресами. Открываю на букве Г, «Геринг» – нет ничего. Ищу по фамилии, которую носит Беттина сейчас, – тоже ничего. Ищу по фамилии Ади – он в справочнике есть как отдельная единица.

А брата нет.

А Ади есть.

А брата нет.

Dr. Pepper. Приснится же такое! Охота на газировку. Бред какой-то.

И тут доходит.

Ну конечно!

Диетический, в белой банке… диетический… тонкий – худой – в два раза худее.

Dr. Pepper. Dr. P…

Если добавить в название напитка одну букву и убрать вторую «р», то…

Это фамилия Ади!

Я замираю со справочником в руке.

И тут меня начинает мутить.

От того, что только что пришло в голову.

«Бывают же тупые мысли!» – злюсь на себя, глупый сон и отбрасываю справочник в сторону.

Так быть не может.

Так быть не должно.

Burden of shame

“I look more like him than his own daughter.”

Bettina Goering
Santa Fe woman speaks of her great-uncle, **Hermann Goering**, chief of the German Luftwaffe during World War II

Bettina Goering, 55, left, and Shanti Elke Bannwart, 73, speak about their experiences growing up in Germany after World War II at Bannwart’s home near Apache Canyon on April 30. Goering is the grandniece of Hermann Goering, an administrator of Adolf Hitler’s plan to exterminate Jews. Bannwart grew up near Hamburg during the war, as the daughter of a high-level civilian employee of the German military. LUIS SÁNCHEZ SATURNO/THE NEW MEXICAN

Relatives of World War II Nazis wrestle with families’ legacy of hate

By Tom Sharpe
The New Mexican

A Russian television crew is due in Santa Fe this week to interview two local residents for a documentary about the psychology of the relatives of Nazis.

Bettina Goering and Shanti Elke Bannwart have lived in the area for more than 20 years, but avoided each other and publicity about their past until recently.

Goering is the grandniece of Hermann Goering, a founder of Germany’s National Socialist Party, chief of the Luftwaffe and Adolf Hitler’s chief administrator for the “final solution.”

In 2004, she traveled to Australia to meet Ruth Rich, an artist trying to come to terms with her legacy as the child of Polish Jews who narrowly escaped the Holocaust. The encounter became fodder for the 2008 documentary *Bloodlines*, by Australian filmmaker Cynthia Connop.

Bannwart is the daughter of a high-level civilian engineer for the German military and, after the war, for the Allies, and then for the Opel automobile manufacturer.

Last month, Santa Fe’s Sunstone Press published her memoir, *Dancing on One Foot: Growing up in Nazi Germany*, about her strangely normal childhood in wartime Hamburg, and her mother’s death after the war from an illegal abortion. Bannwart will talk about her book and sign copies at 6 p.m. June 15 at Collected Works Bookstore & Coffeehouse, 202 Galisteo St.

Both Bannwart and Goering appeared in a recent Israeli documentary, *Hitler’s Children*, th is to air on European television later this year.

“I had my tubes tied at the age of 30 becau I feared I would create another monster,” Goering says in that film. “I look like him for start — the eyes, the cheekbone, the profile. look more like him than his own daughter.”

Tatiana Freidensson, a producer for Chann

Please see **SHAME**, *Page A*

INSIDE

◆ Profiles of Santa Feans Bettina Goering and Shanti Elke Bannwart. **PAGE A-5**

«Бремя стыда» – материал о Беттине Геринг и Шанти Баннварт в газете Santa Fe New Mexican

Дед Беттины Карл, брат Германа Геринга, 1913 год

Шанти Баннварт, Татьяна Фрейденссон, Ади, Сергей Браверман, Клод и Беттина Геринг в гостях у Шанти

Никлас Франк
Жизнь в тени эшафота

Почему я тебя так унижаю словом?
Так я протестую.

Никлас Франк, журналист

«Когда мы говорим о Никласе Франке, нужно прежде всего понимать, что мы имеем дело с психической патологией. Он – такой же больной на голову, как его отец», – сказал мне Рихард фон Ширах, сын одного из осужденных в Нюрнберге лидеров Третьего рейха, чей родитель в начале тридцатых годов XX века возглавлял гитлерюгенд, а потом стал гауляйтером Вены. Помню, Рихард отхлебнул кофе, отряхнул пухлыми пальцами рукав, которым только что провел по запыленному столику уличного кафе, и, смакуя во рту паузу с привкусом капучино, добавил: «Я хочу, чтобы вы правильно поняли меня. Несмотря на то, что наши с Франком отцы сидели на одной скамье подсудимых, я не желаю, чтобы мое имя упоминалось вместе с именем Никласа».

Пусть не обижается на меня Рихард, но я всё-таки поставила его имя рядом с именем Никласа: в конце концов, что его отец, Бальдур фон Ширах, что отец Никласа, Ганс Франк, генерал-губернатор оккупированной Польши, – оба были людьми, близкими к Адольфу Гитлеру, а просеивать слова через решето мрачного исторического контекста – занятие, на мой взгляд, неумное и неблагодарное. Но всё же откуда такая острая реакция на имя Никласа? Что значит «больной на голову»? И почему Рихарду он «противен, даже омерзителен»?

Признаться честно, я была заинтригована.

После слов Рихарда мне стало безумно любопытно.

Оказалось, что имя Никласа Франка, сына одного из самых страшных нацистских преступников, часто всплывает не только в контексте истории «коричневых отцов», – странным образом оно стало фигурировать в работах социологов, психологов и даже некоторых германских психиатров. Почему?

У меня было две встречи с Франком. Первая случилась в федеральной земле Германии Шлезвиг-Гольштейн, в маленьком городке, где недалеко от Эльбы на большом зеленом участке стоит его деревянный двухэтажный дом с мансардой.

Помню, Франк-сын изначально произвел впечатление очень образованного, уравновешенного и культурного человека. «И что в нем такого странного?» – думала я до той поры, пока он не напугал меня по-настоящему. Итак, дома у Никласа при работающей видеокамере он, по моему настоянию, приступил к просмотру старых семейных фотографий.

Все фотографии его семьи – отца, матери, любимого старшего брата Нормана, среднего Михаэля и двух сестер, Зигрид и Бригитты (периода Третьего рейха) – были бережно оцифрованы, и теперь их можно было разглядывать прямо на мониторе старой модели ноутбука, увеличивая, уменьшая, разворачивая.

Происходило всё так: Франк кликает мышкой, и одно изображение микшером сменяет другое. Вот он с отцом и матерью. Вот, спустя пару десятилетий, он уже со своей женой Ханнелоре (которая подгадала свой отъезд к подруге в Мюнхен как раз под дату нашего приезда, мотивировав это тем, что не хочет никого собою отвлекать и мешать мужу). А потом Никлас вдруг загадочно улыбнулся и сказал, задержав палец на левой кнопке мыши: «Сейчас покажу вам самую главную, самую мою любимую фотографию». Что же он покажет?

Дочь?

Внуков?

Какое-то семейное торжество?

Я не угадала. Даже не была близка к правильному ответу. Один клик мышки – и перед вами… фото трупа отца. Снятого с виселицы. Не остывшего.

Никлас спокойно смотрит перед собой. Он дышит ровно. Спорю, что у него и пульс не учащается. И он даже не подумает взглянуть на вас хотя бы просто для того, чтобы увидеть реакцию на свои слова, которые он произносит монотонно, словно на экране перед ним – клумба с цветами, выращенными его любимой женой Ханнелоре: «Это фото казненного отца. Его повесили 16 октября 1946 года по приговору военного трибунала в Нюрнберге. За военные преступления и преступления против человечества. Время смерти – примерно начало второго ночи. Мой отец лежит, поплатившись жизнью за содеянное. Он заслужил такую смерть. Это главная фотография всей моей жизни. Присмотритесь…» Никлас увеличивает фотографию отца: руки на животе, рот приоткрыт, словно человек с изображения дышит во сне, пушистые ресницы плотно сомкнуты по воле руки, что в трепетном ужасе, а может, в удовлетворении или равнодушии навсегда слепила веки одному из самых страшных чудовищ Третьего рейха.

Франк продолжает увеличивать лицо отца. Крупнее. Еще

крупнее. И вот оно уже занимает весь монитор. Это предельное увеличение. А курсор мышки кружит у левого глаза трупа, привлекая ваше внимание. Никлас продолжает: «Один глаз опух. Наверно, когда отец падал с виселицы, ударился этой стороной лица о край люка. За минуту до этого он поднялся на эшафот по тринадцати ступеням, потом палач мистер Вудс накинул ему на голову черный мешок и веревку на шею. Отец сказал: “Мой Иисус, милосердия”. И уже в темноте, с мешком на голове, перед разверзающейся бесконечной темнотой отец добавил, обращаясь ко всем наблюдавшим за казнью: “Я благодарю вас за хорошее отношение во время моего заключения и молю Бога, чтобы он меня великодушно принял”».

Никлас умолкает, а я перевожу взгляд с лица покойного Ганса Франка на черный, словно вырезанный из бумаги профиль сына, очерченный белесым светом из бокового окна. На лице Никласа – выражение полного безучастия. Он, наконец, уменьшает фотографию. Франк поворачивается ко мне, поясняя, словно ребенку, до которого не вполне доходит смысл всего, что здесь и сейчас происходит: «Эту фотографию отца я ношу с собой в портмоне или кармане пиджака. Всегда. В доказательство того, что он (небрежный кивок на монитор) всё-таки мертв. И хотя я принципиально против смертной казни, мой отец ее заслужил. Заслужил те несколько минут страха смерти, которые по его вине испытали миллионы людей, конкретно, почти шесть миллионов. – Тут Никлас запинается, продолжая чуть тише: – Шесть миллионов ни в чем неповинных людей, которых он уничтожил».

Ну а теперь небольшое лирическое отступление. Об отце, который удостоился такой «доброй» памяти. О генерал-губернаторе Польши, получившем этот пост по указанию Гитлера в 1939 году и занимавшем его вплоть до конца войны. О человеке, который сам себя именовал «королем польским», в то время как люди прозвали его «польским мясником».

Ганс Франк, отец Никласа, – фигура крайне любопытная: так может быть интересен и привлекателен лишь носитель чистого зла, обернувшийся к концу жизни из кровавого палача в раскаявшегося грешника, протирающего пол своей маленькой тюремной камеры коленями брюк, что стали велики по причине скудных тюремных трапез.

Итак, Ганс Михаэль Франк.

С официальных его фотографий на вас снайперским прицелом устремлен его взгляд – словно не вы рассматриваете его, а он вас; причем рассматривает исключительно с тем, чтобы нажать на курок. С чуть выпяченной вперед нижней губой

выражение лица Франка кажется брезгливым, и даже сквозь десятилетия вы ощущаете, как противны ему и как досаждаете своим вниманием. Высокий гладкий лоб, низкие, неровные и не слишком густые брови, нависающие над глазами, целящимися в объектив фотоаппарата, плотно сомкнутые губы, чуть припухлые и аккуратные; нос – выдающийся, с раздувшимися крылышками, придающими выражению его лица излишне грозный вид. Но вид этот – нарочито искусственный, принятый, очевидно, по случаю создания официального фотопортрета. В начале тридцатых годов, когда ни Гитлер, ни его соратники еще не разучились улыбаться, пока война не маячила на горизонте, на старых фотографиях можно обнаружить и расплывшегося в улыбке Ганса Франка. В улыбке, которая, как он сам (или не без помощи окружения) понял, ему не идет, обнажая щербинку между его нижними зубами и делая намек на второй подбородок излишне прозрачным.

Ганс Франк – из числа тех породистых представителей арийской расы, которым идеально подходила нацистская форма, пошитая фирмой Hugo Boss, а также фуражка с огромным орлом и свастика во всех возможных вариациях. Ему и правда идет всё, кроме адвокатского облачения, в котором он сфотографирован рядом с Гитлером в самом конце двадцатых годов, на заре карьеры: довольный Гитлер выходит с Франком, своим личным адвокатом, из зала суда, к будущему фюреру кто-то, впечатанный вспышкой фотоаппарата в вечность, бежит с букетом цветов, а будущий генерал-губернатор Польши улыбается, обнажив щербинку между нижними зубами и совершенно не задумывается пока о том, достаточно ли внушительно выглядит.

Франк с 1927-го по 1933 год был личным советником и адвокатом Адольфа Гитлера, представлял интересы будущего фюрера более чем на ста судебных процессах. После прихода к власти национал-социалистов его карьера развивалась параллельно карьере фюрера. Гитлер стал рейхсканцлером, Франк – рейхсминистром юстиции.

> «Комиссар юстиции и глава правосудия в рейхе д-р Ганс Франк заявил юристам в 1936 году: “Фундамент всех основных законов – это национал-социалистическая идеология, в особенности же ее истолкование в партийной программе и речах фюрера”. И далее д-р Франк разъяснил, как он это понимает: “При национал-социализме не существует независимости закона. Вынося любое решение, спросите самих себя: а как бы фюрер поступил на моем месте? Согласуется ли это решение с

национал-социалистической совестью германского народа?” <…> Более того, всем юристам предписывалось вступить в лигу национал-социалистических немецких юристов, где им часто делали внушения в духе Франка»[22].

В 1939 году Гитлер лично назначил Франка гауляйтером Польши, оккупированных территорий, на которых юрист порезвился вволю, поправ законы человечности, – с его подачи было уничтожено несколько миллионов.

Соратники фюрера во время Нюрнбергского процесса часто говорили о том, что Гитлер загипнотизировал их с первой секунды – с первого взгляда, с первого слова, – будто это была какая-то магия. Франка Гитлер не загипнотизировал: в 1919 году Ганс только изучал юриспруденцию в Мюнхене и был приглашен на выступление будущего фюрера своим приятелем, рабочим Антоном Дрекслером, одним из основателей нацистской партии. Тогда ни речь фюрера, ни его внешний вид Франка не впечатлили: он подумал, что этот странный малый с усами, судя по нездоровому цвету лица, – не жилец. К сожалению, Франк ошибся.

> «В 1926 году я впервые вступил в партию, но вышел оттуда спустя три месяца. Мой отец сказал мне: “Я поражаюсь, что ты не замечаешь, какой дурак этот Гитлер…” Тогда я написал Гитлеру письмо, в котором говорил, что не согласен с некоторыми партийными принципами, и заявил о своем выходе из рядов партии. Я с головой ушел в свою адвокатскую практику. Двадцать седьмого декабря 1926 года я прочитал объявление в газете, что какие-то бедные люди ищут защитника для суда… И я стал адвокатом этих бедняков, которые оказались участниками штурмовых отрядов в Берлине. Какая ирония – я защищал в суде членов партии, сам в ней не состоя. В 1928-м я снова присоединился к партии в роли юридического советника… В 1928-м Гитлер лично встретился со мной и попросил стать его адвокатом на полную ставку. Я принял это предложение…»[23]

Уже во время Нюрнбергского процесса Ганс Франк, обвиняемый номер 7 на трибунале, в приватных беседах с психологами, охраной и другими арестованными нацистскими лидерами много рассуждал о судьбе – о том, что сам дьявол несколько раз настойчиво сводил его с Гитлером и что были знаки, много знаков, к которым он должен был прислушаться и не

прислушался. Началось всё с того, что на улице к нему пристала цыганка.

> «Я рассказывал вам, что мне предсказала одна цыганка в 1934 году? То, что я не доживу до пятидесяти лет? Видите эту линию у меня на ладони? Она внезапно обрывается, видите? Та цыганка тогда сказала, что это будет связано с каким-то процессом, с каким-то судом. Меня это не насторожило, поскольку я был адвокатом, ничего страшного в этом нет. А потом она сказала, что до своего пятидесятилетия я не доживу»[24].

Цыганка оказалась права – в возрасте сорока шести лет Ганса Франка казнили в Нюрнберге по приговору военного трибунала, на котором адвокат, по иронии судьбы, оказался обвиняемым.

Никлас Франк, сын Ганса Франка, окончив школу в середине пятидесятых годов, захотел стать юристом: его занимала возможность работать с протоколами Нюрнбергского процесса, изучать материалы защиты и обвинения родителя, но потом он передумал. Фраза «по стопам отца», которую шутя бросил ему старший брат Норман безо всякой задней мысли, была прочитана Никласом как предупреждение о том, что его карьера может развиться точно так же, как карьера отца, и привести если не к виселице, то к какому-нибудь неприятному финалу, ибо «гены есть гены».

Никлас Франк нашел для себя компромиссное решение. Он – журналист. Он написал несколько книг и огромное количество статей в крупные немецкие периодические издания. Много писал о Третьем рейхе, Гитлере и, конечно, собственном папочке, сдабривая каждое свое упоминание о нем самыми отборными проклятиями, на какие способен далеко не каждый нормальный человек. Бомбой в 1987 году разорвалась в Германии первая книга Никласа Франка «Отец. Сведение счетов», которая публиковалась по частям в еженедельном журнале «Штерн», где Никлас в то время работал штатным журналистом. Его тексты про отца стали предметом ожесточенных споров в Германии. Впрочем, «ожесточенные споры» – это не вполне верно. Точнее сказать, «ожесточенная травля Никласа». Ведь проклятия, адресованные отцу, потрясли немцев, закостенелых в своем беспамятстве, миролюбии и ненависти к нацизму после Второй мировой войны. Так что в метафизическом споре между нацистским палачом Гансом Франком и его сыном многие бюргеры использовали христианские ценности как главное мерило справедливости: «Как можно так сильно ненавидеть отца?! Как можно так оскорблять

давно умершего человека?! Это тяжкий грех!»

Христианская заповедь «почитай отца твоего и мать твою» для Никласа – пустой звук. Разговоры с отцом для него – вроде успокоительной молитвы, что на сон грядущий, что просто так. Никлас говорит с ним на страницах своих книг, в газетных и журнальных публикациях, напрямую или опосредованно, в контексте и вне его, доводя себя до истерик и сексуального возбуждения. Никлас говорит с отцом беспрестанно, даже если тебе вдруг на долю секунды покажется, что он говорит с тобой. Но что за страстное желание бесконечно, изо для в день, травить уже мертвую дичь? Связь Никласа с ненавистным отцом, звенящую от натуги, но не способную разорваться, можно уподобить истовости религиозного фанатика, кандалами приковавшего себя к кресту и нашедшего для себя спасение в яром, бьющем кровью в мозг, поклонении очередному новому Баалу. Но виноват ли в этом фанатик? Или же виновен его Бог?..

Если немцы по большей части просто осуждали Франка-сына, не выбирая выражений, то некоторые любопытствующие психиатры и психологи разглядели в нем богатый для исследования материал, который Никлас регулярно подкидывал, словно бы дразня их, шокируя, вызывая профессиональный зуд, давая повод за поводом крепко усомниться в его адекватности.

Влиятельный немецкий журнал *Die Zeit* в 1987 году в рецензии на книгу Никласа Франка назвал его описательный метод «психо-порнографическим» с примесью «некрофильских сексуальных фантазий».

Сейчас я подкину вам для затравки пару цитат из Никласа, чтобы вы сами рассудили, справедливы ли были отклики в духе: «Да он псих! Он истинное животное!»

«Я чувствую твой смертельный страх, и это возбуждает меня…» – говорит Никлас, представляя звук шагов отца, которого вводят в спортзал нюрнбергской тюрьмы. Еще пара минут – и отец будет повешен.

«Будучи ребенком, я превращал твою смерть в свою собственную. Я ложился в большом туалете на вонючий линолеум, разводил широко ноги, левая – около висящего члена, и, легко мастурбируя, представлял тебя, как ты ходишь туда-сюда по камере, как на тебе колпак и веревка вокруг шеи, – и вперед, в вечность. И я испытывал оргазм».

А лучшей усладой для его слуха мог быть только «хруст ломающегося позвоночника» отца, который музыкой отдавался в его ушах. А вот и прямое обращение к отцу:

«Я живу, ты понимаешь меня, ты слышишь меня: я живу! И старше тебя, чем был ты, когда умер. Я всегда хотел достичь

этого. Я еще ребенком поклялся себе в этом. Даже если это всего лишь на секунду! А после этого я поклялся себе, что пойду на всё, чтобы освободиться от тебя, свиньи».

«Я живу» – как вопль отчаяния. Как манифест самому себе. Кого Никлас хотел в этом убедить, до кого докричаться, ведь книгу он писал не в десять— пятнадцать лет? Когда эти строки увидели свет, ему было сорок восемь.

Все, кто осуждает Франка-сына, уверены, что он безумен в своем преследовании отца. А может, всё не так? Может, это Никлас пронизан отцом, словно спорами плесени? Везде и всегда, сквозь всю его биографию, и не штрихпунктиром, а прямой жирной линией, нанизывая на себя жизнь сына, проходит Ганс Франк. Может, монолог сына, растянувшийся на десятилетия, – что-то сродни рвоте, безостановочной и мучительной? И такое публичное очищение организма – способ выжить, выблевав из себя заразу, которая сжирает Никласа изнутри?

Попытка спастись?

Или спекуляция во имя провокации?

А может, и правда болезнь? Отклонение?

Впрочем, диагностов в Германии нашлось превеликое множество.

К примеру, в книге *German Life Writing in the Twentieth Century*[25] Никласу посвящена небольшая главка под названием «Вуайеризм?». Уж не знаю, что авторы углядели такого в Никласе заочно, – кажется мне, они сами занимались вуайеризмом, ставя человеку диагноз, ни разу с ним не встретившись. Надо бы спросить у них, почему они упустили из виду каннибализм, ведь Никлас также пишет, как представляет, будто пожирает еще теплое сердце отца.

Лично я не верю, что Никлас Франк сумасшедший. Для меня он человек с внутренней травмой. Такие люди – самые интересные. Потому что хочется сразу докопаться до причины этой травмы, обнаружить ее и попытаться извлечь, – как хирург извлекает из плоти пулю.

Весной 2011 года мы с Никласом Франком договорились встретиться в Нюрнберге для досъемок. Сейчас это просто тихий баварский городок с короткой памятью. Мы освежим эту память. Не без помощи Никласа: мы планируем прогуляться по памятным местам, связанным с последним годом жизни его отца, а также посмотреть кое-какие «останки» Третьего рейха.

Франк, насколько я поняла, любит этот город. Иногда приезжает в архив, чтобы поискать материалы для очередной обличающей нацизм книги. Единственное место, куда ему за

долгие годы не удалось попасть, – тюрьма, где казнили отца. Не удивительно, ибо тюрьма действующая, так что оказаться по ту сторону массивной бетонной стены – отдельная трудность. Не для меня. Дело в том, что я заранее официально договорилась с начальниками Дворца правосудия и тюрьмы, что мы сможем побывать не только в зале суда № 600 (где почти год длился суд над высшими чинами Третьего рейха), но и в тюрьме, где в 1946 году казнили Франка и где сам Никлас больше шестидесяти лет назад был на последнем свидании с отцом. Свидании, о котором Франк-младший вспоминал во время нашей первой встречи у него дома:

– В сентябре сорок шестого мы, мать и пятеро детей, поехали к нему в Нюрнберг. Процесс уже завершился, и 1 октября должны были объявить приговор. Мы еще с лета сорок шестого знали, что отца казнят. У него не было никаких шансов, так сказал матери его адвокат, доктор Зайдель. Даже в школе дети дразнили меня: «Твоего папу скоро повесят». А мне было семь лет. Короче, я ехал туда, уже зная, что это будет последний раз, когда я увижу своего отца.

Там же, дома, в Шлезвиг-Гольштейне, Никлас показал нам на мониторе ноутбука еще одну фотографию: кто ее сделал, он не знает. На ней женщина, чье лицо трудно разглядеть за черной широкополой шляпой, в траурного цвета костюме с длинной юбкой, сжимает в руке, обтянутой черной перчаткой, лист бумаги – пропуск в нюрнбергскую тюрьму для последнего свидания с мужем. Рядом с нею идут двое детей: младшая дочь Бригитта, в юбочке и свитере застыла на ходу с коробкой в руках, и младший сын Никлас, в жилетке поверх белой рубашки с галстуком, лицо которого скрыто локтем материнской руки.

Никлас помнит эту встречу детально:

– Во время встречи я сидел на коленях у матери перед стеклом, за которым был отец, а за ним стоял американский солдат в белой каске. В стекле были маленькие отверстия, чтобы лучше слышать друг друга. Отец, с радостной улыбкой на лице, сказал мне: «Ники (так называли меня в семье), скоро будем вместе праздновать Рождество, всё будет очень здорово, и я вам опять буду рассказывать сказки». А я сидел на коленях у матери и испытывал глубочайшее разочарование, потому что не мог понять, зачем он врет. Он же знает, что его повесят. Зачем он врет мне? Я был одновременно и зол, и огорчен. Я-то точно знал, что больше его никогда не увижу.

Часто Ганса Франка упоминают как единственного обвиняемого на Нюрнбергском процессе, который полностью признал свою вину, раскаялся, сотрудничал со следствием, не

просил о снисхождении, а принял католичество и весь год, что длился процесс, молил Бога о прощении в своей маленькой тюремной камере. Странная и резкая метаморфоза, произошедшая с одним из самых жутких убийц в истории, не дает покоя и его сыну Никласу Франку. Он уверен – это очередная ложь отца:

– Итак, наша последняя встреча с отцом перед казнью. Он сидел и врал, что всё будет хорошо и скоро он вернется домой. Что за чушь, право слово! Если бы он, к примеру, сказал мне: «Ники, тебе семь лет. Ты знаешь, что мы видимся в последний раз. Меня наверняка приговорят к смертной казни. И это будет справедливо. Я виновен. Попытайся никогда не взваливать на себя такой грех, как это сделал я». Тогда я, наверно, разрыдался бы. Но зато я бы жил с этим совсем по-другому.

Сказать честно, кое-что меня тогда в этой истории смутило. Не на уровне фактов – на уровне ощущений. Семилетний мальчик, который спокойно, по-взрослому цинично смотрит на своего отца в последний раз и думает… о злодеяниях, которые тот совершил. Как-то хрестоматийно получается, как-то чересчур правильно, мелькнуло у меня в голове нежным всполохом крыла бабочки – одной из тех, что летали во дворе, за стенами деревянного дома Франка. А Никлас, закончив эту историю, откинулся на стуле, который издал одновременно и глухой, и пронзительный стон…

Именно после этой истории мне захотелось попробовать получить доступ в тюрьму. И я его получила. Только Никласу не сказала.

Никлас Франк приехал на поезде – с севера Германии до южной части, где находится Нюрнберг, примерно четыре часа езды. Впрочем, ему всегда есть чем занять время: Никлас входит в стеклянный холл отеля, сжимая в руках замусоленные и уже не шуршащие сегодняшние газеты. Пока мы с ним здороваемся и обмениваемся вежливыми репликами про погоду и его здоровье, я опишу вам этого человека.

Несмотря на то, что в прошлом году Никласу перевалило за семьдесят, ему трудно дать и шестьдесят пять. Он длинный и тощий – такой, каким был всегда. Наверное, метр восемьдесят, а может, и еще выше.

У Никласа седые, коротко стриженные густые усы, которые притоками по обеим сторонам лица впадают в недлинную седую бороду, – редчайший случай, когда человек при этом не выглядит престарелым д’Артаньяном. Быть может, всё потому, что у Франка, как и у его отца, красивая форма черепа, так что даже его

полысевшая голова смотрится стильно, никак не жалким свидетельством возраста.

Франк носит очки – небольшие стекла в тончайшей черной оправе – и фактически не расстается с ними; лишь изредка, если вы ставите его в тупик каким-то вопросом, он снимает их, чтобы потереть ладонью лицо.

Когда Никлас увлекается какой-нибудь историей настолько, что начинает говорить по ролям, изображая персонажей (обычно своего отца или брата Нормана), он широко открывает рот, отчего становятся лучше видны его неровные пожелтевшие зубы. Передние два – те, что у кроликов обычно выпирают, – вдавлены внутрь, за счет чего отчетливее проступают маленькие вампирские клычки. Мне трудно сказать, похож ли он на своего отца, скорее нет, чем да – иное телосложение в противовес сочной плоти гауляйтера Польши. Но нос и взгляд не позволяют мне констатировать полную несхожесть отца и сына.

Франк опускается в мягкое белое кресло и вытягивает вперед ногу. Он морщится.

– Что-то не так? – спрашиваю, усаживаясь на подлокотник его кресла.

– Моя левая нога… – Франк закидывает голову и смотрит на меня снизу вверх. – Заныла сегодня ужасно. Как назло, словно кто-то нарочно не хотел пускать меня сюда.

– Провидение? – уточняю я на всякий случай, отлично зная, что Никлас в это не верит.

– Проклятье из ада от покойного папочки, – усмехается Франк, – да артрит, наверное, простой, что же еще?!

– А-а-а, – улыбаюсь я с облегчением: может, у меня правда что-то с памятью? Может, я, как и немецкое общество, сочинила себе жуткого сумасшедшего Франка? Начиталась его статей про папу? Приукрасила гирляндами ужасов нашу с ним предыдущую встречу?

– Как ваши внуки? – улыбаюсь я, протягивая Франку ключ от его гостиничного номера.

Никлас кладет его на низкий стеклянный журнальный стол и начинает ерзать в кресле, путаясь в полах распахнутого плаща, желая добраться до внутреннего кармана своего пиджака:

– Сейчас тебе их покажу! Выросли за полгода все! – Кряхтя он извлекает несколько фотографий: – Где же они?

– А что это за маленькая черно-белая фотография? – спрашиваю я.

– Ну-у-у, – тянет он, пытаясь извлечь из кармана другую, – ты ее уже видела.

– Я не экстрасенс, не вижу сквозь пиджак.

Франк явно не понимает, к чему я заговорила про экстрасенсорику, и, выгнув брови, поясняет:

– Ты ее видела у меня дома в Шлезвиг-Гольштейне!

С неохотой ребенка, которого принудили поделиться любимой сладостью, он протягивает мне маленькую фотографию, бережно обернутую в полиэтиленовый файл, – мера предосторожности, чтобы изображение не замусолилось окончательно. Я смотрю на фото. Кладу его на стол и начинаю ногтем разглаживать замятости на полиэтилене. Франк смотрит на меня не без любопытства.

– Ну? – вдруг спрашивает он.

– Что ну? – спокойно говорю я, продолжая разглаживать полиэтилен. – Обычное дело. Вы же сами говорили, что всю жизнь носите это фото с собой. («Черт! Быть не может! Он и правда носит его с собой! С ума сойти! Я думала – шутка!» – надрывается мой внутренний голос, в то время как другой мой голос звучит ровно и спокойно, словно это и правда обычное дело – носить при себе фото отца-покойника.)

– А, да, конечно, – рассеянно кивает Никлас и добавляет. – Просто я уже полминуты сую тебе под нос фото со своими внуками, а ты пялишься на труп моего папаши.

Ох.

Нехорошо как-то вышло.

Я протягиваю Франку фото отца и беру в руки другое, с внуками.

А в глазах еще стоит тот самый труп, который за несколько минут до запечатленного момента был живым человеком. И этот живой человек написал своей семье последнюю записку. Никлас получил ее как раз на следующее утро после казни. У записки был постскриптум. Сухая констатация факта: «В ночь на 16 октября я умер».

Никлас рассказывал, что такая приписка была сделана Гансом Франком во всех его последних письмах, адресованных близким и друзьям, – несмотря на тайну, сопровождавшую дату и время казни, о ней в нюрнбергской тюрьме знали все, включая тех, кого должны были казнить. Еще, помню, Никлас добавил: «Это была единственная правда, которую мой отец сказал в своей жизни…»

– Ну и как тебе мои прекрасные внуки? Выросли, не правда ли?

Продемонстрировав мне веселые мордашки своих внуков, Анно, Карлы и Норы, Франк бережно складывает фотографии – лица детишек к лицу висельника, их разделяет лишь тонкая полиэтиленовая пленка – и убирает во внутренний карман

пиджака, к правам и паспорту.

– Никлас, – говорю я, – вам нужно отдохнуть с дороги.

Он согласно кивает и тянется рукой к ключу, оставленному на столике.

Два часа спустя Франк выходит из отеля и жмурится от оранжевого заходящего солнца. Он подремал в номере и теперь, чуть прихрамывая, готовится прогуляться с нами к крепостной стене города, возле которой мы с утра, в ожидании его приезда, обнаружили неплохое местечко для съемок одного из эпизодов. Итак, мы с оператором, Эйзенштейном (так Никлас по-дружески зовет режиссера Сергея) и Франком прибываем на точку. Да, за то время, что нас тут не было, с местом произошли разительные перемены. На закате открылись ставни дома, который днем казался нежилым, и в окнах появились девушки.

– Ой, тут общежитие студенческое, что ли? – уточняю я, пока мужчины замирают, открыв рты. – Какие девочки симпатичные!

– Да, и трансвестит из третьего окошка тоже, – кивает мне Эйзенштейн.

Франк громко, раскатисто смеется:

– Отличную точку, гляжу, выбрали!

Теперь и до меня дошло. Здесь бордель. И сейчас как раз «приемные часы».

– С другой стороны… – Никлас прикуривает сигарету и задумчиво выпускает изо рта плотный серый дым. – По смыслу даже очень интересно. Я могу пройти вдоль этого чудесного заведения и сказать, что мой отец несравнимо хуже прекрасных представительниц этой древней профессии. Что он настоящая проститутка – лег под Гитлера и ни в чем никогда ему не возражал. Он не тело продавал. Он душу продал.

– Неплохо и со смыслом, – одобрительно кивает Франку Эйзенштейн.

А вот сутенер, к которому отправляются мужчины, пока я ошалело разглядываю девиц, гроздьями свисающих из окошек своими пышными грудями, наращенными косами и силиконом губ, посчитал иначе. Ни просьбы, ни посулы – ничего не подействовало. Не захотел он, чтобы кто-то снимался на фоне его девочек, – и точка.

– Обидно, хороший мог бы выйти эпизод для фильма, – говорит Никлас, закуривая сигарету.

– Кстати, – замечаю я, – герр Франк, не многовато ли курите? Третья подряд!

Несмотря на то что вопрос задумывался как риторический, Никлас вдруг, закашлявшись от дыма, дает мне развернутый

ответ, исторгая из себя слова вперемешку с дымом. Мы прогуливаемся вдоль борделя, и проститутки, включая трансвестита, смотрят на нас из окон крайне недоверчиво. Кто-то грубо хихикает, отпуская, очевидно, в адрес Франка сальные шуточки. Он спокоен:

– Седьмого января 1976 года я бросил курить, дав при этом клятву, что, когда мне стукнет шестьдесят пять, я опять начну. И правда, в тот день рождения я снова закурил. Я, наверно, был единственным мужчиной в Германии, который радовался каждому своему дню рождения, приближающему его к заветной дате. И с этого времени так и курю, когда меньше, когда больше, иногда совсем не курю.

«Апчхи!» – чихает кто-то на балконе второго этажа.

– Будьте здоровы, – говорит Франк громко и, не поднимая головы, продолжает свою неспешную прогулку вдоль девиц. – Все эти тридцать лет без табака меня согревала мысль о том, что вот как хорошо, что я дал эту клятву в том, что в шестьдесят пять опять начну.

«Спасибо!» – доносится откуда-то сверху. Дальше следует какая-то фраза, очевидно шаловливого характера, – и снова хихиканье. Франк улыбается, но не оборачивается на девушек, продолжая свою мысль:

– И теперь я с удовольствием выкуриваю сигарету-другую, особенно за бутылкой вина или где-нибудь в поездках. А когда я дома, то курю намного меньше.

– Вы хотите сказать, что курение – целая философия?

– Да нет. – Франк выпячивает нижнюю губу и мотает головой. – Это просто зависимость. Мне так легче думать, мышление становится более ассоциативным, появляются новые мысли, новые писательские идеи. Но все это, разумеется, полная ерунда. Любой заядлый курильщик придумает тысячи оправданий тому, зачем ему нужно выкурить еще одну сигарету. Но, в конце концов, мне уже перевалило за семьдесят, так что, думаю, я могу себе это позволить.

– Герр Франк, а ваш отец курил?

Никлас согласно кивает, оживляясь, словно охотник, готовый вновь травить свою любимую дичь, в ожидании того сладостного момента, когда можно будет вонзить в ее плоть клинок своего острословия, протолкнуть его глубже, в самое нутро, и с удовольствием повертеть из стороны в сторону.

– Курил. Только не сигареты – сигары. Отец очень хотел, чтобы Норман, мой старший брат, как можно быстрее стал взрослым, и когда тому было шестнадцать, предлагал ему выкурить сигару, выпить красного вина. Отец буквально

форсировал взросление Нормана: он любил старшего сына, и кажется, подозревал, что жить ему самому остается недолго. Когда к нему пришли с известием о том, что немцы разбиты под Сталинградом, он развел руками и сказал: «Меня только что коснулся ангел смерти», имея в виду не только поражение в Сталинградской битве, но и свой собственный конец. А в последнее свое Рождество с 1944-го на 1945 год отец вместе с Норманом сидел в боковой комнате, они курили сигары, и неожиданно он сказал моему брату: «Норман, я ощущаю себя глубоким стариком». Норман потом всю жизнь расстраивался из-за того, что ничего не сказал отцу, не спросил ни о чем. Вполне возможно, что отец тогда бы многое рассказал. Ну а раз его старший сын промолчал, то и он предпочел не развивать эту тему. Вот так мы безвозвратно упускаем моменты истины. Брат действительно всю жизнь не мог простить себе этого. Он тоже – жертва отца. А… к чему это я?

– Это не важно, – говорю, – мне вот интересно, кто из вас кого преследует?

– Никто никого не преследует. – Франк точно понимает мой вопрос, не делая изумленного лица и не пытаясь переспросить, о чем я, собственно, говорю. – Его повесили.

– Физически – да. Но метафизически, сдается мне, он всё время рядом с вами.

– Да, он всегда рядом, – говорит Франк, – он здесь.

Никлас похлопывает себя по левой стороне груди – кажется, что он говорит про свое сердце. Если не знать о наличии внутреннего кармана в плаще. И фотографии трупа отца, что покоится в нем, обернутая в полиэтилен.

В этот момент я ощущаю, как по спине у меня пробегают мурашки.

Перевожу взгляд на проституток – они утратили интерес к Франку и теперь лениво поглядывают на нас лишь для того, чтобы упредить попытку снять их на фотоаппарат, который болтается у меня на шее.

– Знала я одну немецкую проститутку, – говорю Никласу, – которая любила рассказывать про своих клиентов.

– Любопытно. – Франк затягивается сигаретой.

– Меня удивил один только момент, – говорю ему, скользя взглядом по черноволосой даме с четвертым размером груди. – Она рассказывала о том, что крупные шишки, всякие там директора и чиновники, которые в обычной жизни управляют большим количеством людей, обычно просят, чтобы их били и унижали.

Франк поднимает на меня взгляд:

– Садизма без мазохизма не бывает. Мой отец, уничтоживший миллионы людей, терпел, как над ним издевался Гитлер, унижал его. Мать моя тоже потихоньку проникалась к отцу презрением, и оно было ощутимо. Он вообще, судя по всему, был тесно связан с людьми, которые им пренебрегали…

– Вы намекаете, что вашего отца можно разобрать по Фрейду?

– Любого можно. Гитлера можно. Третий рейх можно. Но я этим никогда не занимался. – Никлас подергивает плечами. – Мне никогда это не было интересно. Я не слишком увлекался этим, быть может, потому что меня самого…

Франк замолкает – причем не обрывая фразу, а заканчивая ее, словно бы поставил смысловую точку посреди предложения. Мысленно заканчиваю фразу за него: «…Меня самого следовало бы разобрать по Фрейду».

Это что, подсказка?

Отец Никласа Франка, Ганс Франк, трудов Фрейда никогда не читал, но зато прочел переписку основателя психоанализа с Альбертом Эйнштейном и, по собственному признанию, находился под большим впечатлением от двух этих великих людей:

«Фрейд практически в точности предсказал, что произойдет, и это действительно произошло – всё, что касается зверств и массовых убийств. Он был выдающимся мыслителем. Он видел присущие Гитлеру и гитлеризму садизм и жестокость… Гитлер был противником легкого получения развода. Я был за это, но ничего не мог поделать. Гитлер запретил мне развод с женой, с которой я был очень несчастлив… Я думаю, у Гитлера были нестандартные сексуальные потребности. То есть ему очень немного нужно было от противоположного пола. Он считал женщин объектом поклонения и часто со страстью говорил о своей матери… Фрейд, Зигмунд Фрейд, последний из великих немецких психиатров, умерший в Англии, отмечал связь между нереализованной любовью и жестокостью»[26]. После этого монолога, адресованного тюремному психиатру, Ганс Франк еще добавил, что Фрейд правильно сделал, что эмигрировал, спасаясь от национал-социалистов.

К вечеру, уже после заката, небо заволакивает темными тучами. К тому моменту, когда мы идем ужинать на Тиргертнертоплац, уже трудно что-либо разглядеть: во тьме потонула и моя любимая скульптура кровожадного зайца, которая находится в нескольких метрах от дома Альбрехта Дюрера. К сожалению, сегодня мне зайчика не рассмотреть, а я так хотела показать его Франку! Что ж, попробуем сделать это завтра.

Мы садимся за столик кафе под тент, потому что начинает сыпать мелкий дождик. Мужчины заказывают себе пива и ужин. Никлас, поглядывая на меня, тоже поначалу думает отделаться салатом, но в итоге, искушенный Эйзенштейном, решает взять куриные крылышки с гарниром. И соленые закуски, что станут замечательным дополнением к литру светлого пива, которое он, не колеблясь, заказывает сразу, в то время как Сергей с оператором осторожно рассуждают, не много ли им будет взять по пол-литра.

– Дальше по плану водка. – Франк подмигивает мне, в то время как я гадаю, шутка это или он правда нацелен на повышение градуса. За ужином все шумно болтаем. Никлас под нашу с Сергеем диктовку записывает кое-какие русские выражения. Особенно в восторге он от эйзенштейнового «пива с прицепом», даже вносит его себе в блокнот латинскими буквами и восторженно повторяет: «пи-во с при-це-пом». И ведь, знаете, дальше на самом деле следует водка.

– Ну так зачем вам взваливать на себя страдания? – спрашивает Сергей, как только Франк, закусив, шумно переводит дыхание. И, прикурив сигарету, тот говорит:

– Дело не в страданиях. И я не хочу страдать. Но я не могу забыть того, что натворили немцы с 33-го по 45-й. Я не могу не помнить о жертвах. Мне всё время представляется молодая женщина, мать, где-нибудь в России или Польше, которая плачет о своем сыне, убитом немцами. И я плачу вместе с ней. Но я не дал разрушить свою жизнь моим родителям, в семье которых я родился, то ли по воле Божьей, то ли по воле случая.

Кап.

Кап.

Кап.

Дождь стучит по брезентовому тенту, метрономом задавая тон беседы, – с одной стороны, напрягая, а с другой – успокаивая, создавая атмосферу уюта, доверия, камерности. На столике – подрагивающий огонек в стеклянной колбе, который отражается в сверкающих глазах Никласа: тот прикуривает от свечи, а я вдруг задумываюсь о том, есть ли у немцев такая же, как у нас, плохая примета, согласно которой от свечи прикуривать нельзя. Впрочем, даже если есть, Никлас вряд ли из тех, кто верит приметам. Я вообще не думаю, что он во что-то верит.

– Вашим потомкам уже, наверное, живется легче… – говорю я, и тут же злюсь на себя за то, что так грубо вспорола своим голосом тишину, сдобренную шумом дождя.

Никлас глубоко затягивается, и я слышу, как потрескивает его сигарета:

– Разумеется, боль проходит. Уходит по мере того, как все эти события становятся историей. Да и мое поколение уже не так страдает. И правильно делает – жизнь сильнее страданий, она вымещает их. Я же ни в чем не виноват, мое поколение ни в чем не виновато. Почему же я всё время поднимаю этот вопрос, пишу книги, в каком-то смысле борюсь? Я борюсь против забвения. После войны немцы упустили возможность признаться в том, что они многое знали, на многое закрывали глаза. Надо сказать, что немецкие историки, сначала под давлением союзников, а затем и по своей воле, весьма подробно вскрыли и зафиксировали преступления нацизма. Скажу даже, что каждое преступление нацистов с 33-го по 45-й подверглось основательному расследованию, задокументировано, и эта информация доступна сейчас каждому немцу. Но это историки. Народ же пытался вытеснить эту тему из своей жизни. А я как раз и хотел взломать это молчание.

– Но таскать труп отца с собой… – запутавшись в словах, я указываю Никласу на внутренний карман его пиджака.

Он серьезен и спокоен. Он констатирует:

– Я всегда вместе со своим отцом, с ним и преступлениями немцев. И я всегда помню, что те, кто попал в Освенцим, поляки, русские, евреи и другие, – они все были лишены возможности дожить до счастливой старости. Да и отца моего повесили, когда ему было всего сорок шесть. Повесили в этом прекрасном городе.

И как бы в подтверждение своих слов Франк жадно затягивается прохладным «пьянящим» воздухом этого города. А потом снова сигаретой.

И продолжает:

– Когда я написал первую книгу об отце, мне было почти пятьдесят. К тому времени я уже сложился как личность, как Никлас Франк. Конечно, я никогда не забывал, кем был мой отец, что он творил. Но сознательно или бессознательно я всегда противился тому, чтобы родители уничтожили мою жизнь. Мне нравится шнапс, я с удовольствием могу выпить пива, я люблю свою жену. У нас прекрасная дочь Франциска, у нас три замечательных внука. Вот что составляет основу моей жизни. Я жил своей жизнью, делал ошибки, иногда очень серьезные. Но порой я действительно задумываюсь, а не стал ли я марионеткой отца? Почему я уделяю ему так много внимания?

Его пауза заполняется шумом капель дождя, отпружинивающих от натянутого над нами навеса.

Я понимаю: Франк говорит не с нами. И даже не сам с собой. Он опять говорит с отцом.

– Наверное, я всё-таки не марионетка, – вдруг говорит Франк

и со стуком ставит опустошенную рюмку водки на стол, оглядываясь в поисках официантки, чтобы заказать еще, – но для меня отец всегда был прототипом истинного немца: образован, причем намного лучше, чем я, например. Но всё равно – преступник. И это был его выбор. Справедливости ради нужно заметить, что в 1942 году на лекциях, которые Ганс Франк прочитал в нескольких университетах Германии, он высказывался за то, чтобы вернуть в рейх некое подобие конституционного права, за что Гитлер на него ополчился, запретив выступать в Германии на публике и лишив возможности руководить офисами нацистской партии. Однако пост генерал-губернатора Польши Гитлер за Гансом Франком сохранил.

– И что вы об этом думаете? – интересуюсь я у Никласа. – Он ведь пытался высказываться за конституцию…

– Плохо пытался. Сначала «закон – это Гитлер». А потом вот одумался, – отрезает Франк злобно. – Но сразу струсил. Он всегда трусил перед фюрером. Наверное, это главный урок, который он преподал мне: трусость ведет прямиком на виселицу.

– Что он должен был тогда сделать? Попытаться взорвать Гитлера, как фон Штауффенберг?!

– Подойдите к нам, – Франк подзывает продрогшую официантку, – принесите еще водки. Мне, Эйзенштейну и оператору.

Кап.

Кап.

Кап.

Франк щелкает зажигалкой и прикуривает сигарету, которая, когда он втягивает дым, озаряет его лицо в полумраке бледно-розовым светом. Я не знаю, продолжит ли он свою мысль. Никлас молчит.

– Так как, – осторожно начинаю я, – он, по-вашему, должен был убить Гитлера? Или оставить власть?

Франк криво усмехается – так же, как его отец на хронике:

– У отца была масса возможностей отказаться от власти. После убийства Эрнста Рёма, например. В 1934 году Рём был расстрелян по так называемому делу о восстании, которого на самом деле и не было. В то время мой отец был министром юстиции Баварии. Тогда противозаконно расстреляли не только Рёма, но и многих других членов СА. Мой отец всё это прикрывал. Самое позднее именно тогда он должен был сказать «нет». Всё-таки он был юристом, изучал право в период Веймарской демократии. Он точно знал, что правильно, а что нет.

– Может, – осторожно перебиваю Франка, – он не хотел, чтобы с ним случилось то же самое, что и с Рёмом?

– И что?! Возьмем другой пример – концлагерь Дахау! Отец знал, что там убивают людей, особенно его поразили убийства юристов, евреев по национальности. Коллеги по цеху и всё такое. Но Гиммлер, тогда еще президент полиции Мюнхена, запретил ему проводить расследование. Просто запретил. И отец, знаете, вполне смирился с этим. А что касается твоего вопроса про фон Штауффенберга… Нет. Я не требую от отца таких геройских поступков. Совсем необязательно было уходить в Сопротивление, но он хотя бы мог сослаться на болезнь, мог сказать: «Мой фюрер, мое сердце слишком слабое, я болен». Но он продолжал участвовать во всём этом. Это было для него важнее. У него было больше ста мундиров и даже специальный слуга, который следил за ними. Для него было важно, что как генерал-губернатору ему полагался бронированный «мерседес» с оранжевыми фарами. Тогда были специальные, очень узкие фары, чтобы их нельзя было заметить с самолета. И вот у него были такие, оранжевого цвета, якобы у самого Гитлера были такие же. И этому он радовался как ребенок. А в это же время по всему генерал-губернаторству, в том числе и в Кракове, убивали евреев и поляков, сгоняли в гетто, концлагеря, газовые камеры. К этому он был равнодушен.

– По-вашему, послать к черту Гитлера было просто?

– Это было очень просто. Но отец не стал этого делать.

А вот как ответил на этот вопрос сам Ганс Франк в 1945 году в одном из разговоров с тюремным психологом Густавом Гилбертом:

«Видимо, во мне есть нечто порочное, злое – как и во всех людях… Одним массовым гипнозом это не объяснишь. Тщеславие – вот это уже ближе к истине. Оно свою роль сыграло. Вы только представьте: тебе тридцать, а ты уже министр, на лимузине разъезжаешь, целая свора секретарей у тебя на побегушках. Видимо, мне захотелось утереть нос этим эсэсовским руководителям, посоревноваться с ними по части прилежания. А Гитлер поощрял в людях злое начало. Это ведь на самом деле было нечто феноменальное! Я как увидел его на экране в зале заседаний [Нюрнбергского трибунала. – *Т.Ф.*], так снова на мгновение, не дольше, но всё-таки как будто окрылился. Я ведь очень подвержен чужому влиянию. Странно… А тут на экране появляется Гитлер. И ты выбрасываешь руку вперед… На мгновение на тебя снова накатывает одурь…»[27]

Я зачитываю Никласу этот фрагмент. Хочу услышать комментарий сына Ганса Франка.

– Угу, – задумчиво кивает Никлас, вытирая рот салфеткой и дожевывая мясо со свиного ребрышка, – и ты сама веришь в то, что только что зачитала?

– Почему нет? Человек раскаивается, винится…

– …Сваливая всё на Гитлера и свое тщеславие? – резко обрывает меня Франк. И продолжает: – А теперь моя очередь сыпать цитатами. Вот, например, что еще говорил мой отец, будучи генерал-губернатором Польши: «Что после войны будет с евреями, поляками, украинцами, русскими и всеми остальными, кто здесь обитает, мне абсолютно всё равно. По мне, пусть хоть фарш из них сделают». Или вот еще. Как-то отец отправился в Лемберг, где выступал перед несколькими сотнями немецких чиновников, офицеров, солдат, и произнес там следующую фразу: «Я только что проехал через старое еврейское гнездо, но я почему-то не увидел ни одного аборигена. Неужели вы сделали с ними что-то плохое?» И все немцы в зале хохотали. Потому что они действительно уже сделали это плохое. Ну как мог высокообразованный человек, прекрасно играющий на рояле, в молодости не пропустивший ни одну театральную премьеру, цитирующий наизусть «Фауста» Гёте, знавший Шекспира, великих немецких поэтов, как он мог сказать такое? Что же у него было в голове? А голова была умная. По результатам теста на интеллект в Нюрнберге он был в верхней трети. Он всё знал. Прежде всего, он знал, что такое добро и что такое зло. Ему принадлежат следующие слова, которые он произнес перед иностранной прессой: «Если я дам указание распечатать по одному бланку на каждые тридцать поляков, которых расстреливают по моему приказу, всех лесов Польши не хватит, чтобы произвести столько бумаги». Так и сказал. Умно сказал. Не просто «уничтожить», «расстрелять». Нет. С издевкой. Тем ужаснее звучит. Ты еще ему веришь? В его раскаяние?

– Не знаю, – пожимаю плечами. – Мне трудно представить шесть миллионов человек. Это больше десяти населений современного Нюрнберга.

– Я не хотел быть хоть в чем-то похожим на отца, – продолжает Франк после паузы, – и я стал другим. Я очень хотел бы жить и своей собственной жизнью, без него. Но так вышло, что я его сын. И ни разу не уклонился ни от одной дискуссии об отце. Но должен признаться, что чувствую себя опустошенным каждый раз, когда публично расправляюсь с ним.

Франк отодвигает от себя тарелку, на которой остатки гарнира и несколько обглоданных костей.

– Ну где же эта официантка?! – Никлас улыбается, демонстрируя нетерпение. – Мы должны выпить за славный город Нюрнберг! Идите сюда, – кричит он молодой девушке в традиционной баварской одежде, – нам нужно еще водки!

Сколько водки выпил он на похоронах своих двух братьев и двух сестер! Никлас был младшим сыном Ганса Франка и покинет этот мир самым последним из детей грозного генерал-губернатора. В невеселой жизни и печальной смерти своих братьев и сестер он тоже винит отца…

У себя дома, в Шлезвиг-Гольштейне, Никлас бережно хранит фотографии своих близких не только в компьютере. В его рабочем кабинете, уставленном набитыми книжными полками, вам в глаза бросаются фотографии и портреты, развешанные на стене. Там есть и портрет матери в пышном белом платье, и портрет маленького Ники – светловолосого голубоглазого ребенка, изображенного на листе бумаге пастелью во времена, когда его отец правил Польшей. Фотографии остальных детей – Зигрид, старшей сестры, Нормана, старшего брата, Бригитты (названной в честь матери), Михаэля (названного в честь отца, чье полное имя звучало как Ганс Михаэль Франк). Фотографий отца нет. Нигде. По крайней мере я так подумала, находясь в кабинете Никласа. Пока он, догадавшись, что я пытаюсь найти, не указал пальцем в сторону тонкого фрагмента стены между двумя шкафчиками. В самом низу, где никому никогда и в голову не придет вешать фотографии, я замечаю овальную рамку. Человека в черных очках (у Франка были проблемы с глазами, но Никлас как-то сказал, что, по его собственному мнению, за очками его отец хотел спрятаться, это была стена, отделяющая его от неприятной окружающей реальности) и костюме, который ему заметно велик, два американских солдата в белых касках препровождают на очередное судебное заседание в 1945 году. В руках он сжимает материалы своей защиты.

– Значит, у вас в кабинете всё-таки есть фото отца…

Франк, брезгливо поморщившись, отвернулся к окну:

– Я принципиально не вывешиваю его фото. Я его презираю. Этот снимок висит здесь из-за моего старшего брата Нормана, которого я любил и продолжаю после его смерти любить всем сердцем.

Тогда мне показалось, что ответ не слишком соответствовал вопросу. Какая связь между Норманом и фотографией отца в кабинете Никласа?

– Это любимое фото Нормана, – пояснил Франк, словно прочитал мои мысли, продолжая смотреть в окно. – Норман умер в 2010 году, и для меня это самая тяжкая утрата.

Я спросила, после того как повисшая скорбная пауза растянулась на неприличные две минуты:

– Все портреты и фотографии здесь, на стене, они… по отдельности. Как же общие, семейные фото?

– Да! – Франк резко отвернулся от окна и через пару шагов оказался у своего рабочего стола. – Сейчас покажу! Отличное семейное фото и отличная история, стоящая за ним!

Никлас щелкает мышкой, и на мониторе компьютера появляется фотография: мать с пятью детьми. В кресле сидят двое детей – белокурые Никлас и Бригитта, по правую руку от Бригитты на подлокотнике в белой шелковой блузе под подбородок сидит старшая сестра Зигрид, с русыми волосами до плеч, и, улыбаясь, смотрит на двух малышей. На подлокотник, по левую сторону от младших детей, присела мать, Бригитта Франк, в черном платье с белым узором на груди, собранными в прическу темными волосами, – в этом застывшем мгновении она с умилением смотрит на свою младшую дочь; взгляд Никласа, что сидит в рубашке и шортиках, устремлен в раскрытую книгу, которую мать держит перед его лицом в правой руке. Левой рукой Бригитта обнимает сына Михаэля, стоящего рядом. Над всей этой трогательной композицией возвышается старший сын Норман, который стоит за креслом с замершей на губах мягкой улыбкой. Если не знать историю этой семьи, то внешне ее можно принять за образцовую.

– Ох, какое фото, Никлас!

– Да уж, – кивает Франк, вяло изучая изображение семьи, которой больше нет. – Кстати, именно этим фото моя мать активно спекулировала перед Гитлером.

– То есть?

– Отца на фотографии нет, он как раз вновь повстречал свою первую любовь и с головой ушел в измены. И мать послала эту фотографию Гитлеру с просьбой запретить отцу развод. Она написала Гитлеру: «Мой фюрер, как можно позволять мужчине разрушать такую счастливую семью?!»

– И добилась своего?

Франк утвердительно кивает:

– Но только не подумай, что она любила отца. Она просто хотела и дальше быть «королевой польской», женой генерал-губернатора.

Вот как комментировал свой брак и семейные отношения сам Ганс Франк в разговорах с тюремным психиатром Леоном Голденсоном:

«Многие годы я не жил со своей женой как муж. Я хотел развестись, на самом деле уже шел бракоразводный процесс. А потом вмешался Гитлер и запретил это… Летом я случайно встретился с Гитлером, который сказал, что мне не будет разрешено развестись ни при каких условиях.

Свою жену я встретил в 1924 году. Эти отношения возникли

случайно и стали одной из самых больших ошибок в жизни. Я не хочу сказать ничего плохого о характере моей жены, но она слишком стара – на пять лет старше меня, и, по-моему, это очень плохо. А кроме того, ее характер противоположен моему. Я был помолвлен с замечательной женщиной, которая бы прекрасно мне подошла. Думаю, если бы я остался со своей первой возлюбленной, моя жизнь пошла бы совсем по-другому. В то время я диктовал свою докторскую диссертацию машинистке. Она и стала впоследствии моей женой. Хотя она была на пять лет старше меня, я внезапно страшно возжелал эту женщину…»[28]

Вот что говорит об этом Франк-сын:

– Моя мать сразу же распознавала слабости того или иного мужчины. Поэтому она и выбрала в мужья самого слабого из всех, а именно Ганса Франка, которого захватила в свои сети по всем правилам искусства обольщения и уже больше никогда из сетей не выпускала. Этот брак с самого начала был несчастливый: мать была из обанкротившейся семьи, отец ее покончил жизнь самоубийством. Она дослужилась до секретарши и спала только с теми мужчинами, которые могли продвинуть ее по службе. При этом всегда ждала большой любви. Будучи секретаршей, она печатала докторские диссертации в Высшей технической школе Мюнхена. Причем другим секретаршам, которые тоже печатали разные документы, она сказала: «Если кто-нибудь придет с докторской и мне понравится, я подам знак, тогда шлите его ко мне». И вот объявляется идеалист, эстет, эрудит Ганс Франк, на пять лет моложе ее. И как я уже сказал, она соблазнила его по всем правилам искусства.

«…Я был будто опьянен, не буквально, а образно. Я разорвал свою помолвку с бывшей возлюбленной, которая принадлежала к обеспеченной и влиятельной семье и была молода. Я женился на машинистке. В 1926 году родился наш первый ребенок, и мне пришлось начать зарабатывать. Это стало одной из причин, по которой я принял предложение Гитлера…»[29]

Никлас считает, что это очередное оправдание отца:

– Позднее, уже из тюрьмы, он писал, что это было просто эротическое опьянение, что они совсем не подходили друг другу. Но, с другой стороны, у них родились пятеро детей. Он изменял матери, она не оставалась у него в долгу. Странно, но когда я собирал материалы для книги о матери, каждый обнаруженный факт ее измены безумно радовал меня. И тут я полностью на стороне моей матери, а отца презираю.

Я попросила Никласа вспомнить что-нибудь о матери, Бригитте Франк, которую он, как сам говорит, считает редкой дрянью, но уважает за силу характера: в 2005 году он посвятил ей

свою очередную книгу под названием «Моя немецкая мать». О чем он там писал, вам догадаться будет нетрудно. Впрочем, это его право – зарабатывать деньги и известность на обличении собственных родителей.

– До 1945 года мы, пятеро детей, дома ее почти не видели. Ее свекровь как-то даже обозвала мать свиноматкой, потому что та жила только в свое удовольствие. Мы, можно сказать, познакомились с матерью только после войны. И в принципе мы жестоко отомстили ей за ту недоданную нам любовь. Мы просто использовали нашу мать – она пахала на износ. Даже в самый расцвет так называемой «власти» семьи Франк она говорила нам: «Дети, еще придет тот день, когда мне придется зарабатывать вам на жизнь печатной машинкой». И была права. После войны мать не получала пенсию, нужно было как-то жить. Всё, что оставил отец после себя, – это рукопись под названием «Перед лицом виселицы», которую он написал прямо в тюрьме перед казнью. Мать ее удачно продала. В своих записках отец рассказывал о Гитлере, о том, как они были вместе, как пришли к власти. И всё это с невыразимым тщеславием. Но о своем генерал-губернаторстве, когда совершались страшные преступления против человечества, он написал лишь шесть страниц – и ничего о самих преступлениях. Я читал его книгу, превозмогая отвращение, буквально физическую боль. Он пишет много о Боге и тут же описывает свою встречу с Гитлером, как будто так и не осознав, что тот, как и он сам, был ужасным преступником. Нехорошая книга. Но раскупалась хорошо. Мать проявила высочайшие маркетинговые способности. Она каждому потенциальному покупателю написала личное письмо. Наняла для этого родственников, платила каждому по десять пфеннигов за письмо. Она писала немецким промышленникам, затем всем католическим священникам, всем, вплоть до анонимных алкоголиков. Она очень ловко всё провернула. Например, директор «Фольксвагена» подарил ей после этого автомобиль, и она сразу же стала сдавать его в прокат. Она знала толк в коммерции. Но умерла в шестьдесят три года, совершенно измученная и обескровленная.

Я тогда, помню, еще раз внимательно взглянула на женщину с фотографии, улыбающуюся и обнимающую своих детей. Неудивительно, что фюрер расчувствовался, глядя на это фото. Любой бы расчувствовался. Кроме Никласа:

– Между старшими двумя детьми и нами, тремя остальными, была большая разница в возрасте. Первой родилась Зигрид в 1927-м, затем в 1928-м – мой брат Норман. После чего настал довольно длительный перерыв. Мать сделала несколько абортов,

у нее были выкидыши. Разумеется, далеко не все аборты были от отца. В 1935-м родилась сестра Бригитта, ее назвали точно так же, как и мать, в 1937-м – Михаэль, и в 1939-м родился я, последний. Так вот, трое младших родились уже в Третьем рейхе и, конечно же, не крестились. А Норман и Зигрид были крещеными.

Но чем ближе Восточный фронт приближался к Германии, тем больше мать задумывалась, что будет дальше. «Нас ведь не смогут победить, – помню, твердила она себе и нам, своим детям. – У Гитлера же есть “вундер-ваффе” – чудо-оружие». А в 1945 году в один момент нас, младших детей, вдруг крестили. В Шобернхофе, имении отца на юге Германии. Пришел священник. Я до сих пор хорошо помню это католическое крещение, с ладаном, водой, молитвами, со всей церковной атрибутикой. Нам же тогда было очень весело и смешно. В принципе, наше воцерковление является свидетельством упадка семьи. И упадка рейха. На этом всё и закончилось.

Я присела на стол Никласа, который откинулся на спинку своего мягкого офисного стула на колесиках, снял очки и потер глаза рукой:

– Выходит, вашему старшему брату Норману на момент крушения Третьего рейха было восемнадцать?

– Да. – Никлас надел очки, снял их снова, протер и опять надел. – Ему тяжелее всех пришлось.

– Как он относился к отцу?

– Очень его любил. После войны Норман и я были единственными из всех пятерых детей, кто попытался разобраться с не слишком приятной биографией нашего отца. Не на основе судебного процесса, который описывал преступления отца, а с тем, как с этим жить. Остальные трое детей пытались оправдать отца для себя, видя в нем невинную жертву Гиммлера, времени, обстоятельств, Гитлера и, прежде всего, невинную жертву правосудия победителей, жертву Нюрнберга. Но, как мне кажется, это лишило их жизненной силы. Все они относительно рано ушли из жизни. Они не смогли справиться с этим. Одна из моих сестер… Бригитта… – Франк умолкает и прищуривается, очевидно, взвешивая, стоит ли говорить об этом, но, в конце концов, решает продолжить фразу: – Предположительно покончила с собой в 1981 году, потому что ее преследовали кошмары: она с юности была зациклена на том, что должна умереть в том возрасте, в котором умер отец. Так и случилось. Она умерла в сорок шесть лет. Другая сестра, Зигрид, умерла, когда перешагнула порог возраста матери, но это не так рано, мать дожила до шестидесяти трех лет. Младший брат Михаэль

спился и умер в 1990-м. А Норман… – Мне кажется, что губы Франка подрагивают. – Мой бедный Норман… Отец сломал ему жизнь. Он знал отца намного лучше меня. И брат для меня был пожизненной жертвой национал-социализма. Он мне сам как-то сказал: «Да, я знаю, что наш отец был преступником, но я люблю его». И с этим он жил. Я приносил ему всё новые документы, которые доказывали, что отец был совершеннейшим трусом, что он участвовал во всех этих ужасах, что этому нет оправдания. Брат понимал это, соглашался, но не мог избавиться от личной связи с отцом, которого, повторю, очень любил. И так и не смог смириться с его казнью.

– А кем работал Норман? – уточняю я. – Тоже журналист?

– Близко, но не совсем. – Никлас улыбается, застряв в воспоминаниях, обнажая вдавленные внутрь передние зубы. – Он был штатным сотрудником Баварского телевидения. Доставал всё, что требовалось для съемочного процесса, отвечал за реквизит, художников по костюмам, столярные работы и всё остальное. Но сам никогда не снимался. И он очень страдал, когда издавались мои книги, направленные против родителей. Это сильно расстраивало его. Но ему приходилось жить с этим. Ругался страшно. Но при всём этом поддерживал меня.

– Если я не ошибаюсь, – начинаю я осторожно, – в то время, в конце восьмидесятых, и читатели, и коллеги спустили на вас всех собак и объявили невменяемым.

– В газете «Цайт» про меня так и написали: «Никлас Франк – психопат». Это было сложное время для меня – все ополчились очень злобно. А Норман, дома ругавший меня на чем свет стоит, вдруг взял и написал письмо в мой журнал «Штерн», где выступил в мою защиту. Так и написал: «Никлас всё делает правильно», хотя сам он так не считал.

У Нормана, смотрящего на меня с фотографии, сделанной в начале сороковых годов, высокий лоб, прямой нос и спокойный снисходительный взгляд. Он сидит в большом кресле с мягкими подлокотниками, но, несмотря на желание выглядеть расслабленно, в его теле ощущается какое-то напряжение – возможно, потому, что он старательно позирует фотографу, желая казаться серьезнее и взрослее, чем есть на самом деле. Тонкая изящная кисть левой руки его охвачена плотным кожаным ремешком наручных часов. За спиной у Нормана – стопка книг и массивные часы с огромным римским циферблатом, а руками он осторожно придерживает щенка, которого словно бы страхует, чтобы тот не соскользнул с колен.

– Он очень красивый мальчик… был, – говорю я осторожно.

Франк показывает другие фотографии брата. Вот, к примеру,

Норман в зрелом возрасте – ему около сорока. Былая красота, тонкость и нежность черт утрачены, на лице проступают морщины, а глаза источают такой драматизм, что становится не по себе. Старший сын бывшего генерал-губернатора смотрит куда-то вдаль и поправляет рукой галстук, то ли пытаясь ослабить его хватку, то ли сильнее затягивая его вокруг своей шеи. Галстук-удавка. Мне вспомнилась одна история про Иоахима фон Риббентропа, который во время Нюрнбергского процесса в таком ужасе ожидал предстоящего приговора, что попросил позволить ему являться на заседания суда без галстука, мотивируя это тем, что ему тяжело дышать. Психологи сразу же углядели в этом психосоматическое проявление – галстук стал устойчиво ассоциироваться у Риббентропа с петлей, той самой, которую ему в итоге накинули на шею в ночь на 16 октября 1946 года в спортзале Нюрнбергской тюрьмы.

А вот и еще одна любопытная фотография старшего брата Никласа. На ней Норману уже за пятьдесят. На носу – нелепые очки-бабочки. Он в широком темном пиджаке, под которым снова светлая рубашка с галстуком. Но главное в этой фотографии – фон. За Норманом на стене в позолоченной раме висит огромный портрет его отца (это вам не скудное фото, что запрятано в кабинете Никласа).

– А вот его последнее фото, сделанное за два дня до смерти. – Никлас достает из ящика стола заляпанный матовый снимок, с него на вас устремлен взгляд пронзительно-синих глаз, незамутненных временем и не согласующихся с морщинами, изрывшими его лицо. Норман Франк сидит на кровати в старом синем халате и в руках держит бутылку вермута.

У меня хватает такта подавить вздох.

Никлас добавляет:

– Снимать фото не нужно, я не хочу, чтобы брата видели в таком состоянии.

– Хорошо, – отвечаю, – но почему он выглядит таким одиноким? Где его семья сейчас, где дети?

Никлас поджимает нижнюю губу:

– Брат сказал как-то, что сын военного преступника не должен иметь детей. И он сдержал это слово. У него никогда не было детей. Я же считаю, что это всё ерунда. Дети-то ни в чем не виноваты. Так получилось, что по велению Бога или случая мы с братом родились именно в этой семье. И это не имеет никакого отношения к тому, что наш отец потом стал преступником. Его утверждение не имеет никакого смысла. И я всегда возражал ему на этот счет. Но он был упрям.

Помню, брат страшно влюбился в одну женщину по имени

Эллен. Они поженились. Несколько лет жили счастливо. А потом его жена покончила жизнь самоубийством. Предположительно, разочаровавшись в браке и в моем брате. В том, что их было трое – Норман, она и Ганс Франк, повешенный отец. Брат часто уходил в себя, не разговаривал, часами размышлял об отце. А это мало интересовало его жену, что вполне нормально. Она была молода, красива и не желала копаться в старом грязном белье. Это было второе страшное событие в жизни моего брата после казни отца – самоубийство любимой женщины. Когда оно случилось, я переехал к нему и стал для него, как я сам говорил, самой строгой в Германии сиделкой. Мне тогда было под тридцать. Я не справлялся – не было соответствующих навыков, образования. Он ничего не ел, не пил. Тоже попытался свести с жизнью счеты. Ему тогда очень туго пришлось. Еще и потому, что он, как я уже говорил, лучше всех знал отца. И продолжал любить его, даже понимая, что тот творил. Норман понял это раньше нас всех, детей Ганса Франка.

Это случилось, когда Норману было лет четырнадцать-пятнадцать. А отец тогда правил Польшей. Как-то в Кракове – это было начало сороковых годов – Норман играл в футбол вместе с другими немецкими мальчишками, и один из них вдруг сказал: «Опять поляков расстреливают», и они услышали, как вдали пели национальный гимн Польши. Они бросили свой футбол, побежали на звук и через два квартала увидели еще агонизирующие тела. Это были люди, которых по какому-то принципу выбирали, а то и просто хватали на улице и расстреливали, например в отместку за то, что бойцы Армии Крайовы убили какого-нибудь немца. И вот за обедом отец, всемогущий генерал-губернатор, сидит вместе со старшим сыном. Стол накрыт по-королевски. Норман обращается к отцу и говорит: «Слушай, пап, мы играли в футбол, а рядом расстреливали людей, зачем это делают?» В ответ всемогущий генерал-губернатор швыряет вилку на тарелку, вскакивает и кричит на сына: «Я не хочу об этом ничего знать! Не желаю ничего об этом слышать!» И выходит из столовой.

Вот оно – воплощение нечистой совести. Ни мужества, ни сил. Словно голый король перед сыном, который был единственным, кто задал отцу неприятный вопрос. Уже за одно это я любил своего брата. А он, несмотря ни на что, любил своего отца. Брат страшно переживал, когда американцы в мае 1945-го, после освобождения концлагерей, в ярости от увиденного буквально измочалили отца шпицрутенами в тюрьме Тегернзее. Отцовские раны всю жизнь отзывались болью в душе Нормана.

– Вы говорили, что мать вас водила в нюрнбергскую тюрьму к

отцу? Норман тоже ходил туда, он видел отца перед казнью?

– Разумеется. В октябре 1946 года Норману было восемнадцать лет. И с ним отец встретился отдельно. На прощание он пожелал старшему сыну не говорить о людях того, что говорил он. А он говорил ужасные вещи о тех, кто тогда подлежал уничтожению. Вместо того чтобы сказать сыну, чтобы тот не совершал таких преступлений, отец, если правильно истолковать его слова, говорил: «Ты можешь думать всё что хочешь, но не произноси этого вслух». Я считаю, с Норманом он поступил столь же бесчестно, как и со мной. Брат рассказал мне об этом всего лишь пять или шесть лет назад. Раньше не хотел, поскольку сам был порядком расстроен таким жестом отца…

Франк убрал фотографию в стол, встал и, сопровождаемый стонами половиц, подошел к окну и молча уставился туда.

Вечер. Мы сидим под тентом нюрнбергского кафе. Глаза Никласа с каждой рюмкой сверкают всё ярче. Он смотрит на свечу и слушает дождь. Я тоже слушаю дождь. Все молчат. Чувствуя давление паузы, я решаю ее нарушить:

– Никлас, вы работали в известном еженедельнике «Штерн», а где еще работали?

Он смотрит на меня с изумлением, пытаясь понять причину, по которой я вдруг задаю именно этот вопрос. Он тушит очередную сигарету в пепельнице, подпирает голову рукой и начинает рассказ:

– До этого работал журналистом в «Плейбое» и газете «Вельт ам зонтаг». Но большую часть своей профессиональной жизни всё-таки провел в «Штерне». Это была замечательная работа. Там всегда царил хаос, но в нем можно было найти свой шанс. Мне нравилось. В «Штерне» я начал редактором книжной рубрики, затем стал редактором отдела культуры, какое-то время даже руководил им, но, видимо, был самым плохим начальником отдела культуры за всю историю журнала. Потом перешел в репортеры и последние десять лет ездил по кризисным, горячим точкам. Там мне вновь пришлось столкнуться с убийствами, пытками. Всё это я видел собственными глазами. Несколько раз жизни моей грозила опасность, но обошлось. Что касается профессии, здесь мне также повезло, правда, я не был выдающимся журналистом, должен признаться. Иногда даже не понимаю, почему меня не выгнали из журнала.

– Кокетство, – говорю.

– Нет, я на полном серьезе, – кивает Франк.

– Хорошо. Тогда расскажите про вашу жену Ханнелоре. Когда она узнала, кем был ваш отец? Как отреагировала?

Никлас улыбается:

– Когда я познакомился с Ханнелоре, моей дорогой женой, нам было по двадцать два года. Она сначала вообще не знала, кто я, из какой семьи. Мы были студентами, никто не показывал на меня пальцем и не спрашивал ее, знает ли она, с чьим сыном целуется. Тогда это было не важно. Конечно, я ей вскоре всё рассказал, в том числе о своем намерении написать книгу. Мою жену интересовал не мой отец, а мое прошлое, слава Богу. Наша дочь Франциска родилась в 1966 году, вот она взрослела вместе с моими поисками и расследованиями. Она знала обо всём с самого начала, поскольку я каждый день приносил домой материалы об отце, ее деде. Недавно она мне сказала, что испытывала в этой связи некое чувство вины. Я этого совсем не заметил, мне очень жаль, что так получилось. То есть она считала, что даже второе поколение несет какую-то долю вины. Хотя я ей никогда не говорил ничего такого. Я всё время твердил только одно – мы невиновны…

Я даже готова поверить Франку в том, что он не взвалил на себя бремя вины, что он лишь пытается «взломать печать молчания» и всё в таком духе, если бы не последняя реплика, которую он кидает, когда официантка приносит счет.

Он, пьяно улыбаясь, подмигивает ей и вдруг говорит:

– А знаете, как меня зовут? Меня зовут Никлас Франк-тире-Освенцим.

Несмотря на долгий и необычный ужин, продлившийся около двух часов, и изрядное количество алкоголя, который они употребили, Эйзенштейн и Франк принимают решение снять несколько проходов по городу для фильма, не обращая внимания на то, что дождик уже обернулся ливнем, сильно похолодало и изо рта идет пар. Никлас, прихрамывая, проходит узкими переулками, выныривая на мониторе видеокамеры из мрака в желтый свет фонарей, просвечивающий дождевые капли и расползающийся пятнами по стенам домов.

– Еще дублик? – Франк, промокший насквозь, облокачивается на капот машины оператора, пытаясь отдышаться и дать отдохнуть ноющей ноге.

– Думаю, да, если вы не против, – кивает ему промокший Эйзенштейн. – Только сменим точку.

– Меняйте, – соглашается Франк, над которым я раскрываю большой черный зонт. – Ну что, не холодно тебе?

Смотрю на Франка:

– Скорее мокро. Кстати, Никлас, герр Франк…

– Ууу? – Никлас, следящий за Эйзенштейном и оператором,

обращает взор на меня, а выдержать его взгляд довольно непросто.

– Есть одна идея по поводу… в общем, сюрприз… но я не знаю, как вы отнесетесь…

Франк смотрит с изумлением. Я, путаясь, продолжаю:

– Если я не ошибаюсь, вы никогда не были в здешней тюрьме… ну в той, где…

– Где повесили моего отца, – помогает мне Никлас, – не был. Туда довольно трудно попасть, потому что она действующая…

– У меня есть разрешение, – говорю я, напряженно замирая в ожидании его реакции, – мы можем попасть туда завтра, ближе к вечеру, если вам это интересно…

У Никласа Франка очень большие глаза, а сейчас, кажется мне, они просто выскользнут из орбит и, отпружинив от сверкающей брусчатки, поскачут вниз, прямо по Бергштрассе, туда, куда устремляются стоки воды, текущей вдоль бордюров, – прямо к памятнику Дюрера, и дальше, к Лютеранскому собору святого Себальда, старейшей церкви Нюрнберга, на которую и устремил свой остановившийся взгляд один из величайших художников в мире.

– Это супер, – говорит Франк, – значит, завтра мы идем в тюрьму!

Потом задумывается:

– А как ты так быстро получила разрешение?

– Не быстро, – отвечаю, – на согласование ушло несколько недель…

– Я понял, – кивает Франк, – ты не знала, как я отнесусь.

– Предполагала, что положительно.

– Не положительно, а просто даже очень-очень положительно! Это ж надо… Тюрьма… Тюрьма…

Франк умолкает.

– Пять минут! – слышу крик Эйзенштейна. – И мы будем готовы!

– Яволь! – кричит Франк сквозь толщу дождя, кричит как-то механически, задумавшись о чем-то своем.

– Давайте зайдем под тент, – говорю Франку, который откликается лишь с третьей моей попытки. Отряхиваю зонт. Шум дождя заливает наше с Франком молчание. Он не слишком твердо стоит на ногах, но и назвать Никласа пьяным язык не поворачивается.

– И в спортзале, значит, побываем… – бубнит он себе под нос.

– Конечно, – говорю. – А помните, что вы тогда, в Шлезвиг-Гольштейне, сказали про мистера Вудса, когда показывали его фотографию?

– Про мистера Вудса? – Франк возвращается в реальность и несколько секунд беспомощно смотрит на меня, прежде чем понять, о чем я его спрашиваю. – Про палача?

– Да, вспомните, что вы сказали, когда показывали его фото. Он там с улыбкой прилаживает петлю для виселицы, такой довольный курносый американец…

Франк чуть прикусывает верхнюю губу, слегка выдвигая нижнюю челюсть:

– Я, кажется, сказал: «Это палач моего отца мистер Вудс, которому я за многое благодарен, прежде всего, за то, что он отлично справился со своей работой и повесил моего отца».

– Точно, – говорю, – слово в слово так и сказали.

– И?

– Мы готовы! – кричит Эйзенштейн.

– Две минуты, – орет Франк, закуривая сигарету. – Иду!

И, резко меняя тон, добавляет тихим голосом:

– Мистер Вудс очень хороший человек. Профессиональный палач, казнивший палача Ганса Франка. Обычно есть жертва и палач. А тут – палач и палач. Только палач-любитель – мой отец – был истинным чудовищем, в то время как Вудс – восхитительным человеком. Я храню его фото, потому что мне он нравился.

Франк выходит сквозь стену дождя, забыв взять с собою зонт. Я остаюсь одна, слушаю, как дождь бьет с размаху дома и брусчатку на Бергштрассе. Исторический центр «самого немецкого из всех городов Германии» опустел: все узкие улочки, переулки, их пересечения в бледно-желтом свете фонарей показались вдруг дешевой картонной декорацией, которая вот-вот размокнет и, утратив форму, обернется унылой грязью под ногами. Я видела, как фигурка Франка, чуть пошатываясь и прихрамывая, перемещалась по каменным тоннелям улиц, то растворяясь на мониторе камеры, то возникая на нем снова. На секунду меня пронзает острая жалость к человеку, застрявшему в тени эшафота своего отца, плутающему по лабиринтам букв, сплетенных в слова судебных протоколов, мемуаров, исторических книг, – точно так, как плутает он сейчас перед камерой, но я быстро прогнала это ощущение: если хочешь общаться с героем нормально и получить хороший материал, то сейчас не самый лучший момент, чтобы придаваться жалости.

– Поехали в гостиницу, сохнуть. – Я раскрываю зонт над головой Франка, а другой, уже открытый, протягиваю оператору и Эйзенштейну, чьи дождевики всё-таки не выдержали напора воды.

– А бар там есть? – уточняет Франк, по лицу которого скользят капли воды. Очки его запотели.

– Разумеется, а что?

– Надо будет мистера Вудса помянуть. Хороший человек…

В баре гостиницы мы втроем, с Франком и Эйзенштейном, поминаем мистера Вудса. При этом двое из нас совершенно не понимают, зачем пить за палача, который, пусть и крайне профессионально, как утверждает Никлас, выполнил свою работу в Нюрнберге. Да и умер больше полувека назад.

– Вы, конечно, в курсе, – уточняю я у Франка, – при каких обстоятельствах это произошло…

– Помню плохо, но закончил он как-то… нелепо, что ли?

– Думаю, что «нелепо» – это хорошее слово для палача, который казнил сам себя.

Никлас, закинув ногу на ногу, откидывается на спинку кресла и пристально изучает потолок, усеянный мелкими лампами. Его вид трудно назвать скучающим – мне кажется, он очень ждет продолжения рассказа, и еще он почему-то выглядит напряженным: крылья носа раздуты, закусил верхнюю губу, глаза остановились. Знать бы, о чем он думает. Неужели о Вудсе? Какая связь может быть с человеком, которого он видел-то лишь на фотографиях? А может, Франк думает вовсе не о палаче…

– Да, какая-то странная история была, кажется в пятидесятых… какой-то глупый несчастный случай.

– Верно, – киваю. – Сержант Джон Вудс, повесив приговоренных нацистских бонз, вернулся из Нюрнберга в США. И был командирован на Маршалловы острова.

– Это черт знает где, – говорит Франк и смотрит на меня. – Почему они отправили туда самого титулованного палача двадцатого века? Он же был национальным героем! Я не преувеличиваю! Странное решение американского командования.

Пожимаю плечами:

– Вероятно, там была тюрьма и должны были проходить какие-то казни. Согласно легенде, Вудс конструировал новую модель электрического стула, мудрил с подачей и напряжением тока, в общем, занимался тем, что хотел усовершенствовать этот метод казни. И решил его испытать. На себе.

– И казнил сам себя?

– Да. Стал первым человеком, который был казнен на Маршалловых островах.

– Гротескно! – Франк пребывает в мрачном восторге. И тут же добавляет: – Храни Господь его душу. Настоящий был профессионал, таких уж и нет. Но гротеск в чистом виде!

Последняя фраза звучит особенно восторженно. Чтобы как-то сбить напряжение момента, Никлас вдруг нервно смеется:

– Он ведь был профессионалом. И сам вызвался быть палачом на Нюрнбергском процессе, до которого у себя в США повесил не

меньше нескольких сотен человек.

– То была петля, – перенимаю я нарочито задорный тон Франка, – с электрическим стулом он не сладил. Так что, можно сказать, его убил прогресс.

Франк кивает:

– Но в Нюрнберге он справился отлично. Он прекрасно реализовал идею с эшафотами, которые были покрыты черной тканью, чтобы, когда откроется люк и тело с петлей на шее провалится в него, никто не видел последних секунд агонии осужденных. А отец мой как раз ударился глазом о край люка, когда падал туда, в ад, с веревкой на шее…

– А почему вы сказали – «гротеск»?

– Ну потому, что палач, казнивший себя, – это гротеск.

– А сын, пьющий за палача отца, – не гротеск?

– В меньшей степени, – неохотно отвечает Никлас.

«Гротеск» – любимое словечко Никласа Франка. Он употреблял его и во время прошлых съемок у себя дома в Шлезвиг-Гольштейне. Употребляет и сейчас. Постоянно. Гротеск. Все в мире – ему гротеск. Забавное словечко, чтобы леденцом катать его во рту. И куда более забавно, что именно это словечко, как я понимаю, он получил в наследство от своего отца. Это лишь моя догадка. Но позвольте привести цитату из «Нюрнбергского дневника» Густава Гилберта, этот американский психолог был собеседником практически всех нацистских бонз во время Нюрнбергского процесса. И именно ему Ганс Франк, отец Никласа, сказал такие слова: «Гротеск, да и только! Здесь собраны те, кто стремился урвать себе побольше власти над страной, и теперь каждый в своей камере – четыре стены да санузел – и в них они дожидаются процесса, как заурядные преступники»[30].

Определенно, «гротеск» достался Никласу от отца.

– Это его слово, – говорю вдруг вслух.

– Что? – не понимает Франк.

– Гротеск – это словечко вашего отца.

– А ты… – Франк смотрит на меня странно, и я снова не могу понять, одобрительно или нет. – Ты откуда это знаешь?

– Ну… это просто, – вру я, – дедуктический метод. Вы забрали себе его слово, так же, как присвоили себе его смерть, так же, как хотели в детстве присвоить себе мать…

– Хватит! – взвивается Никлас. И добавляет, чуть мягче: – Хватит. Я понял.

– Надо бы идти спать, – сообщаю я Франку и Сергею, делая глоток теплого вишневого сока.

– Угу, – кивает Эйзенштейн.

– Ну да, – нехотя соглашается Франк, развалившись в кресле и всем видом давая понять, что всё-таки «нет».

– Герр Франк, а можно один вопрос в контексте «гротеска»?

– Разумеется. – Никлас снова протирает очки носовым платком. – Спрашивай.

– Могу я допустить, что сын, который ненавидит и презирает своего отца, пьет за его палача и уничтожает в своих книгах, на самом деле просто любит его, несколько извращенно, по-своему?

Франк протирает очки, всем видом давая понять, что занятие это – жизненно важное. Он надевает их на нос и смотрит на меня:

– Большей. Глупости. Я. В. Жизни. Не. Слышал.

– Извините, я должна была спросить.

– Я уже ответил.

– Но так всё-таки могло бы оказаться… – начинаю злиться я.

– Нет, – пожимает плечами Франк, – это ошибочное умозаключение.

– Это ощущение.

– Называй как хочешь.

Мне вдруг становится весело от такой резкой, почти что агрессивной реакции Никласа на мое предположение. Ну наконец-то хоть какая-то новая реакция!

– Ну ладно, я спать, доброй ночи. – Целую своих собутыльников в колючие щеки и ухожу наверх; минуя лифт, поднимаюсь по лестнице к себе и думаю о том, что Франк-сын, как бы ни хотел он это скрыть, испытывает к отцу амбивалентные чувства. Совершенно точно. Ненависть – она как-то уж слишком на поверхности, чересчур спекулятивна. Если вот, к примеру, зайти от противного. Допустим, сын ругает отца последними словами для того, чтобы общественность встала на сторону убийцы шести миллионов, пусть не прямо – косвенно, но вступилась за его отца. То есть в своей кощунственной агрессии, направленной в сторону родителя, он провоцирует людей отторгать мораль глобальную (Ганса Франка как убийцу миллионов), сосредотачиваясь на мелочи (сын должен почитать отца, каким бы он ни был).

Если допустить, что это так, – выглядит как извращение. А может, это и есть гротеск.

Никлас Франк по-настоящему умен. И ум его, к моему несчастью, казуистичный. Никлас легко пресекает все мои попытки продраться к самому его нутру, чтобы понять, в чем заключается истинная причина его психической травмы и, как следствие, такого болезненно-жестокого отношения к отцу. Сын «польского мясника» мастерски уходит от ответов на

«неинтересные» для него вопросы или переиначивает их, отменяя заданный смысл: в частности, так регулярно происходит с моими вопросами про его отношения с отцом не как с генерал-губернатором оккупированной Польши, а как с родителем («Каким человеком может быть отец, уничтоживший шесть миллионов человек? Может он быть хорошим?»). Из раза в раз Никлас своего отца замещает гитлеровским ставленником, внутренне прекрасно отдавая себе отчет, что личность человека и личность историческая – две большие разницы. Налицо – самая настоящая подмена. В иные моменты мне просто начинает казаться, что для Никласа крайне важно заместить отца военным преступником, чтобы объяснить себе, за что он этого человека так ненавидит. Он путает причинно-следственные связи как истинный невротик, потому что дети любят даже плохих родителей, ужасных родителей, таких, которых и язык не повернется «родителями» назвать. И у этой всеобъемлющей ненависти нашего героя к своему отцу наверняка есть какое-то разумное объяснение…

Эту историю Никлас рассказал мне еще у себя дома. За год до окончания войны, перестав отрицать очевидное и верить обещаниям фюрера о победе, его мать, Бригитта Франк, опасаясь приближения Восточного фронта, перебралась со своими пятью детьми в Германию, в усадьбу Ганса Франка (который присоединился к семье лишь зимой 1945 года) на озере Шлирзее. Эта усадьба называлась Шобернхоф. Там-то и застали Бригитту войска союзников в начале мая 1945 года. Вот что вспоминает Никлас:

«Одному пьяному американцу пришло в голову устроить нам показательный расстрел. Выстроил нас, троих младших детей и мать, у стены и хотел расстрелять. За то, что мы были родственниками “польского мясника”. Но он не знал мою мать, ее отвагу. Она так на него накричала, что он просто выпустил автомат из рук. Интересно, что Бригитта и Михаэль в это время плакали навзрыд, а я молча стоял, вы не поверите, но это истинная правда, я стоял и думал: “Этот человек с автоматом напротив нас прав. Он имеет право расстрелять нас”. Мне было-то всего шесть лет. Я молча стоял и думал, что так и должно быть».

Может ли ребенок в шесть лет осознавать, что люди, которые хотят убить его и его близких, – правы? Если да, то на чем основывается эта уверенность? Учитывая, что всё детство Никлас был изолирован от внешнего мира и провел за стенами замка Крессендорф, он мало знал о том, что происходит за воротами территории, охраняемой «добрыми эсэсовскими солдатами». Безусловно, он покидал замок. А один раз даже ездил с матерью

за дешевыми покупками в еврейское гетто, кажется, в 1939-м или 1940 году – в пропахшем ее духами «мерседесе». Тощим детям, которых он видел из окон машины, он показывал язык, совершенно не понимая, чьи это дети и какая их ожидает участь, и теперь, много лет спустя, содрогается от ужаса, вспоминая об этом. Из чувства вины перед этими еврейскими детишками в своем рабочем кабинете в редакции журнала «Штерн» Никлас повесил фотографию: на ней мальчик-подросток из Вены, которого краской на стене родительского магазина заставляют написать слово Jude. Фотография эта провисела там двадцать лет. «Интересно, что никто из журналистов “Штерна”, никто из посетителей никогда не спросил, что это за снимок. Никто не спросил: “Господин Франк, что это за фото висит здесь у вас?“ Его не могли не видеть, но никто ни разу ничего спросил и не сказал».

Если Никлас в своей жизни лишь однажды был в еврейском гетто, то мать его, Бригитта, ездила туда часто: «Там за бесценок она скупила десятки меховых шуб, платков, платьев. Каждый раз после таких закупок всё это перевозилось в салон-вагоне моего отца. Я до сих пор помню этот вагон, прекрасно оборудованный для детей. Я очень любил поездки в салон-вагоне из Мюнхена в Краков. В нем всё было отделано красным деревом, и мне очень нравилось его роскошное убранство. Его цепляли к поездам. Железнодорожники прозвали его контрабандистским вагоном, это я позже узнал. Как и то, что моя мать постоянно перевозила в этом вагоне через границу продукты, ценности, всевозможные товары. Из Польши в Баварию. Поскольку вагон принадлежал генерал-губернатору, его не проверяли. Каких только вещей не перевозили в нем! Когда отца арестовали, у него в рабочем кабинете висел Леонардо да Винчи, “Дама с горностаем”, две картины Рембрандта, одна Рафаэля, причем это были известнейшие произведения искусства, которые он присвоил».

Разумеется, на трибунале в Нюрнберге Ганс Франк объяснил это тем, что пытался сберечь бесценные произведения от коммунистов, а уж кто настоящий «коллекционер искусств», так это рейхсмаршал Герман Геринг, который, по мнению Франка, и способствовал обрушению рейха, похищал и присваивал произведения искусства, вместо того чтобы заниматься люфтваффе.

Но вернемся снова к Никласу – как и откуда он мог знать, что творится в Польше, вокруг их замка? Думаю, что дело было не в обстановке, царившей в генерал-губернаторстве его отца. Совсем не в ней.

«Для меня времена Третьего рейха были самыми

счастливыми годами моей жизни. Мы жили как будто в волшебном королевстве. Все, кто приходил к нам в гости, приносили игрушки в подарок. У нас было всё, что только могут пожелать дети. Нас баловали тетушки по материнской линии. Саму мать мы почти не видели. Нас возили на лучших по тем временам автомобилях, а что может быть интереснее для мальчишек. Нас прекрасно кормили. Мы дружили с эсэсовскими солдатами, которые охраняли замок Крессендорф, они были очень милы к детям, тем более это были немецкие дети, дети арийцев, дети генерал-губернатора».

Это – реальные воспоминания Никласа Франка, в чистом виде. Дальше пойдут его комментарии. То, что можно назвать воспоминаниями в «поздней редакции»:

«В Третьем рейхе мы жили счастливо. Но была и другая сторона. Особенно она отразилась на моем старшем брате Михаэле, который был старше меня на два года. Мы с ним были очень близки. Каждую игрушку мы сразу же ломали, ссылаясь на то, что нам нужно узнать, что же там внутри. Ломали все игрушки. Я думаю, что это была некая психологическая защита против той страшной атмосферы, которая царила в генерал-губернаторстве. Потому что все знали, что мы грабим эту страну, мы жестоко расправляемся с ее жителями. Мы ведем роскошную жизнь. Но всё это неправильно, всё это преступно. Эта атмосфера оказывала психологическое давление и на детей».

Что за атмосфера? Где? Очевидно, атмосферу, царившую дома, взрослый Никлас подменяет атмосферой, царившей в генерал-губернаторстве, о которой он мог тогда знать очень и очень мало. А может, даже ничего. Но что он бесспорно и безусловно мог ощутить в полной мере, так это отсутствие внимания со стороны родителей друг к другу и к собственным детям.

«Отец никогда с нами не играл. Это и понятно, у него было очень много работы, обязанностей, как, впрочем, и у всех, кто стоит у власти, у политиков. Да он и неохотно бывал дома, потому что отношения с женой были не очень хорошие».

Отношения в семье генерал-губернатора Польши Ганса Франка были далеки от идеальных. Нелюбимая «старая» жена, равнодушная к мужу, но не равнодушная к роскоши, с одной стороны. С другой – понимающая любовница, которую Франк в свое время бросил ради Бригитты, но сошелся с ней снова. С третьей стороны – Гитлер, категорически запретивший ему развод и навязавший Бригитте, которая как могла развлекалась на стороне.

Теперь давайте разберемся с тем, почему Никлас и его брат

Михаэль ломали игрушки. Была ли это психологическая защита против мрачной атмосферы, царившей в Польше, или всё-таки для детей в возрасте от двух до пяти лет ломать игрушки – вполне нормально? Современные психологи объясняют этот факт по-разному, но сходятся на том, что, во-первых, это объясняется детским любопытством. Во-вторых, может свидетельствовать о недостатке родительского внимания. В-третьих, это один из способов выплеснуть внутреннюю агрессию. Считается, что так делают дети, на которых нередко выплескивают свои негативные эмоции родители, и, копируя манеру родителей, ребенок кричит на свои игрушки, ругает их, ломает и разбивает.

Но дело не только в этом. Напряженная обстановка внутри семьи всесильного Ганса Франка, кажется, лишь закрепила в маленьком Никласе эдипов комплекс – испытывая, предположительно, сексуальное влечение к своей матери, он одновременно испытывал враждебные и ревностные побуждения по отношению к отцу. И часто мать, сама не слишком понимая это, давала Никласу всё больше скрытых мотивов, которые легко обрабатывало его подсознание, оборачивая в пользу внутреннего Эдипа.

«Крессендорф. Когда я был там ребенком, меня поразила одна история. Один раз мы приехали с матерью с прогулки в большом “мерседесе” и остановились перед лестницей. Мать вышла из машины, взяла меня за руку, а отец стоял наверху, словно Людовик XIV, и даже не подумал спуститься к ней. По тому, как мать сжала мою руку, я понял, насколько она возмущена своим невежей мужем, который стоял и высокомерно ждал, когда она к нему поднимется. Мне этот эпизод запомнился навсегда. По тому, как мать сжимала мою руку, становилось очевидным, что этот брак ненастоящий».

Впрочем, отец в доме был главным авторитетом. И, скрывая свои инцестуозные побуждения по отношению к матери и убоявшись наказания отца, Никлас, как и положено в таких случаях, начал идентифицировать себя с отцом. Дедушка Фрейд был бы за Никласа горд. Всё шло по классической схеме.

«Страшный шок я испытал летом и осенью 45-го, когда вышли первые демократические газеты. В них часто публиковали фотографии с горами трупов, где были и трупы детей моего возраста. А в подписях под этими снимками всё время упоминалась Польша. А я уже тогда знал – Польша принадлежит “нам”. Не в смысле политической принадлежности, а нам – семье Франк».

Никлас не владел никакой Польшей – да, у него была своя комната, слуги и всё, что положено иметь ребенку генерал-

губернатора, но какое отношение он имел к этой стране?«Мне очень нравилась роскошь. Я и пользовался благами этой жизни. В Крессендорфе у нас был слуга, его звал Йохан. На первый этаж вела очень красивая открытая лестница. Я становился наверху и кричал тонким детским голосом: “Йохан! Йохан!” Слуга, подчиняясь приказу сына генерал-губернатора, вынужден был подниматься ко мне и спрашивать: “Чего изволите?” А я кричал ему в ответ “спасибо”, смеялся и убегал прочь. То есть я намеренно использовал свое положение, еще будучи ребенком, потому что знал – никто ничего не скажет. У меня был игрушечный автомобиль с педалями, на нем можно было очень быстро ездить. В Кракове, в замке Вавель, мы носились на нем по коридорам. И тогда мне очень нравилось делать взрослым больно. Я ждал, пока кто-нибудь выйдет в коридор, а, заслышав шаги, начинал стремительно крутить педали и въезжал моей жертве прямо в ноги. Многие от боли вскрикивали – автомобиль был сделан из металла, – и я смотрел на них снизу вверх, а им ничего не оставалось, как скривить лицо в улыбке, погрозить пальцем и попросить Ники больше так не делать. Они не могли просто так вытащить сына генерал-губернатора из машины и показать ему, что он натворил, сказать, что нельзя другим людям делать больно. Да, я пользовался своим привилегированным положением».

Ну а тут Никлас просто-напросто встает на место отца, выбрав своим королевством не оккупированные территории Польши, а территорию краковского замка, в котором проживала его семья. Любопытно, что Никлас идентифицирует себя с отцом (даже по сей день, вспоминая это, он повторяет: «Мне нравилась роскошь», «я пользовался своим положением» и так далее), представляя себя на месте тирана – пусть только в пределах семейных владений.

Но, кроме отца, есть и еще конкуренты в борьбе за мать. Второй конкурент – Михаэль, который старше Никласа всего на два года. Подсознание юного Никласа, искренне любящего своего брата-наперсника, товарища по играм, хочет Михаэля устранить. И если в случае с отцом подсознание Никласа, пропитанное критикой матери в адрес своего мужа, находит вполне реальные факты, за которые можно начать желать ему смерти, то любимый брат ни в чем не виноват:

«Как-то нам с братом, я уже не помню, кому из нас [могу поспорить, что Никласу. – *Т.Ф.*], пришла в голову такая идея. Михаэль лег на кровать и притворился мертвым. А я должен был побежать к матери и сказать ей, что Михаэль умер. И вот я бегу через весь замок Крессендорф к матери, которая была в своих

покоях и как раз принимала ванну. Прибегаю и кричу ей: “Мама, мама, идем быстрей, Михаэль умер”. Мать выскакивает из ванны голая – всё-таки детей она любила, – хватает полотенце и бежит по длинному коридору через весь замок – а это огромное расстояние – в детскую, а там Михаэль лежит якобы мертвый. И вдруг он рассмеялся. Мать, конечно, дала мне – и заслуженно – оплеуху за то, что я принес ей страшную весть. Опять же, с точки зрения психологии, это был мой детский крик по материнской любви».

В случае же с отцом маленький Никлас Франк словно бы отчаянно ищет подтверждение, за что так сильно ненавидит его, за что в глубине души желает ему смерти, не имея возможности выместить свое либидо. Он совершенно спокойно отнесся к тому, что в 1946 году его отцу на суде вынесли смертный приговор. Полагаю, он желал своему родителю смерти еще до этого. И уж совершенно очевидно, что желал он ее совсем не потому, что его отец уничтожил всю Польшу. А спустя годы Никлас убедит себя, что мотивы его ненависти связаны с массовыми убийствами мирного населения. Думаю, это неправда.

С утра мы отправляемся на Тиргертнерторплац – туда, где вчера ужинали. Я хочу показать Франку бронзового зайца, городскую скульптуру авторства Юргена Герца, которая, судя по всему, не впечаталась в его сознание даже дагерротипом: Франк уверяет, что никакого зайца не помнит. Между тем он есть. И стоит недалеко от дома Альбрехта Дюрера, являясь прямым антонимом зайчиков с дюреровских гравюр.

По моему мнению, это самый уродливый и одновременно самый восхитительный из всех зайцев в мире, что я видела. Это суть человек, будущее, прошлое, внутреннее, внешнее, смерть, жизнь и даже нацистская Германия… Но если всё это – широкая трактовка, то есть одна вещь, которая бесспорна. Заяц хочет вас сожрать. Совершенно точно.

Нюрнберг сам по себе такой же, как этот заяц. Многоплановый, многопластовый, затаившийся и затаивший. По мне, этот город – один из самых лучших в Германии, и вовсе не потому, что в его биографии есть самый известный международный судебный процесс и казнь, хотя факт этот, безусловно, прибавляет ему очарования.

– Как я мог его не заметить? – Никлас Франк в задумчивости описывает круги, огибая зайца то с одной стороны, то с другой. – Может, он новый?

– Его установили в 1984-м. Вы, вероятно, просто не ходили здесь? – недоумеваю я, глядя, как Никлас останавливается, чтобы

прикурить сигарету от зажигалки, отобранной у меня вчера вечером.

Он уверяет, что здесь ходил.

И уверяет, что зайца не видел.

Бронзовый зверь вызывает в нем любопытство.

Франк приближает свое лицо к огромному желтому глазу зайца, выпучив собственные глаза до такой степени, словно между ним и бронзовым чудовищем идет игра в гляделки. А потом Никлас вдруг выдыхает в желтый глаз зайца сигаретный дым, отходит подальше и начинает бубнить себе под нос:

– Действительно, вид у него злой, агрессивный. Из-под его тела торчат пальцы человека, Бог мой, так заяц лежит на человеке!.. У него страшные когти, это злое, агрессивное животное. Странно… В лапах его кости… Теперь я понимаю, что тебе так дался этот заяц, он и правда может служить символом Германии с 33-го по 45-й. По-моему, это самый опасный заяц, которого я когда-либо видел в своей жизни, нет, правда, чудовище. А что это там?

Франк вдруг делает пару шагов и со стоном, сопровождаемый звуком похрустывания в колене своей пораженной атритом ноги, присаживается на корточки перед бронзовым зайцем:

– А ты видела, что перед большим зайцем – его крохотный последыш? – обращается Никлас ко мне.

В полуметре от большого зайца, на гранитном постаменте, что кажется чересчур великим для своего обладателя, стоит маленький зайчишка.

– Заяц Дюрера. 1984. Юрген Герц, – читает Никлас вслух надпись на постаменте. И добавляет: – Этот маленький заяц, очевидно, помет того, большого. Несмотря на свои размеры, видишь, он уродлив и перекошен. И этот зайчишка, наверное, я.

– Интересное прочтение скульптуры. А здоровый заяц-убийца, перемоловший и людей, и себе подобных, он, стало быть, ваш отец?

– Да. – Франк, сидя на корточках, поднимает свою руку вверх, при этом ладонь смотрит на брусчатку, а длинные пальцы устремлены вверх, к небу. Я думаю о том, что это тоже можно было бы прочитать как нацистское приветствие… – Так ты поможешь мне подняться или нет? – интересуется Никлас, чуть озлобившись в своей беспомощности.

Я протягиваю ему руку. Он поднимается и, выпрямившись, добавляет:

– Вообще-то кролики, зайцы, они – спасибо, ох, как больно – опасные животные: выжирают зеленые поля, оставляя после себя голую землю. Такую, какую оставил после себя мой отец, Гитлер,

все они. Проще говоря, определенное число зайцев, у которых было вполне достаточно жизненного пространства, вдруг начали убивать других зайцев. Такова была ситуация в Германии…

Я говорю Франку:

– Сдается мне, сами местные не слишком любят этого зайца. Его уменьшенную копию невозможно найти ни в одной сувенирной лавке. Я в свое время пыталась найти – нет, только зайцы Дюрера во всех вариантах: бронза, папье-маше, оттиски…

Никлас в задумчивости раскрывает рот, обнажая два передних своих зуба, вдавленных внутрь, – он тоже неправильный заяц:

– Предлагаю пройтись по лавкам, пока у нас есть время. Я бы тоже посмотрел, чем они тут торгуют.

Франк смотрит на часы – я понимаю: он думает о тюрьме, но времени у нас действительно предостаточно. Эйзенштейн с оператором остаются допивать кофе, а мы с Никласом покидаем их и медленно спускаемся вниз по Альбрехт-Дюрер-штрассе прямо от дома Дюрера.

– Он, конечно, не похож на того… – Франк замирает у первой же витрины, тыча пальцем в стекло: – Но, по-моему, очень даже ничего…

За стеклом – маленький бронзовый заяц, такой, что поместится у вас на ладони, в самом ее центре; заяц, скукожившийся в комок, – он больше похож на кусок бронзы, но под кожей этого зайца ощущается пульсация и напряжение каждого мускула, скованного испугом.

– Как вы его разглядели? – смотрю на Франка, внимательно изучающего витрину со старыми вещами.– Тут и кружки, и какие-то значки, и подернутые паутиной подсвечники. Заяц среди них совершенно не читается.

– Не знаю, – отвечает Никлас, – но знаю, что он довоенный. Как минимум.

– Мне нравится. – Смотрю на зайца и проникаюсь к нему всё большей нежностью, думая о том, как ему будет хорошо и уютно у меня дома на собственной полочке, за стеклом, не витринным, а тем, за которым не собирается пыль. – Надо попробовать его купить.

Я открываю дверь магазинчика. Лавка битком набита старьем, и хотя расположена она на туристической улице, тут полно вещей, интересных не только туристу. Напротив стеклянной двери стоит большой деревянный стол, за которым восседает Карл Маркс, не настоящий, конечно, но очень похожий на Маркса человек: белая пушистая борода, усы, курносый нос. У Маркса скучающий вид, плотное телосложение, и под серым

свитером, который весь усеян катышками, заметно очерчено пузо, на котором расплылись два пятна от кофе.

Я по-хозяйски беру зайца, ощущая его тяжесть в руке, и уверенными шагами иду к лавочнику, который изучает нас с Франком. Со стуком ставлю фигурку на массивный деревянный стол.

Маркс с подозрением смотрит на меня. И с сожалением – на кролика. Попросив его подождать с выпиской чека пару минут, я оглядываю лежащие рядом на полке немецкие военные кресты с Первой мировой, нашивки, старые монеты. Лавочник, проследив мой взгляд, интересуется:

– Что вы ищете?

Сообщаю, что так, в довесок к зайцу, я, возможно, приобрела бы какую-нибудь забавную ерунду времен Второй мировой войны.

– Вы говорите по-русски? – вдруг шепотом спрашивает меня Маркс с сильным акцентом, одновременно косясь на Франка, который завяз по правую сторону от входной двери, изучая старую посуду.

– Да, а как вы догадались?

– Вы еще рот не раскрыли, – снова шепчет продавец, – а я уже понял, что вы из России.

Любопытно, что он не путает падежи.

– А он немец? – спрашивает Маркс, кивая в сторону Франка.

– Да, а вы?

– Доктор Арно Розенталь, к вашим услугам, – представляется мой собеседник, протягивая пухлую руку для пожатия. – Так что вы хотите найти?

– Что-нибудь времен Второй мировой.

– Вынужден огорчить – у меня ничего такого нет, – отвечает Розенталь, забирая из моих рук кредитную карточку.

– Неужели ничего совсем? – любопытствую, пока проходит платеж. – Мы же в Нюрнберге.

– Клянусь. – Розенталь возвращает мне карточку и сообщает, что сделал мне скидку в десять евро. – Вы купили отличную вещь. Этот заяц будет постарше Второй мировой. Признаться, мне даже жаль с ним расставаться, потому что за долгие годы, что он жил у меня в витрине, такой тихий, незаметный и никому не нужный, я к нему немного прикипел.

Никлас Франк подходит к нам, и в его глазах читается легкое недоумение – он услышал русскую речь.

– Доктор Арно Розенталь – господин Никлас Франк, – представляю я их, и новые знакомые пожимают друг другу руки. Похоже, Франк и Розенталь ровесники. Чистокровный ариец и еврей.

Розенталь переходит на немецкий, на котором говорит с южным акцентом:

– Так что вы ищете?

– Меня немного взволновали те старые баварские кружки, – признается Франк, – некоторые из них я помню, они послевоенного времени, но вряд ли я что-то буду покупать сегодня.

Воспользовавшись тем, что Розенталь и Франк завели вежливую беседу, я прогуливаюсь вдоль полок со старыми игрушками и кухонной утварью. Мне интересно, есть ли тут что-то времен Второй мировой войны (не до, не после, а конкретно времен войны).

Судя по всему, действительно ничего.

Франк тем временем присаживается на деревянный стул напротив Розенталя – часть их беседы я упустила, не заметив, как собеседники завели речь о национал-социализме. Никлас, как и я, изумляется: ведь после войны тут осталось море хлама. Почему ничего нет?

– Я еврей, – оскорбленно замечает Розенталь, задетый нашим настойчивым интересом. – Я не могу продавать такую дрянь. К тому же это экстремизм.

– Понимаю, – кивает Франк, – ваша семья эмигрировала из Германии в тридцатых?

– Часть семьи, – отвечает Розенталь уклончиво. – Сам я приехал сюда лет тридцать назад.

– Мне жаль, что вашим родным пришлось эмигрировать, – говорит Франк серьезно, словно бы признавая свою вину. Его собеседник живо реагирует на тон Никласа.

– Вы-то тут ни при чем, – говорит он.

– Ну это как посмотреть, – заявляет Франк, вглядываясь в мутно-серые глаза Арно. Я затихаю: скажет или не скажет?

– Как ни посмотри. Это было и было, – вздыхает Розенталь и, пытаясь увернуться от пристального взора Франка, смотрит на меня в некотором недоумении. И вдруг говорит: – Ладно, хорошо.

Сначала я не понимаю, что он имеет в виду, но когда его пухлая рука ныряет под стол и раздается шум ящика, выдвигаемого из темной ячейки, мне начинает казаться, что Розенталь хочет нам что-то показать.

– Вы оба сидите здесь. – Доктор Розенталь встает с места и идет к стеклянной двери, поворачивает ключ, переворачивает табличку с надписью «открыто» на «закрыто» и, насвистывая что-то, возвращается обратно. Мы с Франком переглядываемся. – Если кто-то из вас проболтается, мне будет очень плохо, так что прошу понять это. – Розенталь шарит в нижнем ящике стола.

Вытаскивает оттуда большую помятую коробку, в которой что-то позвякивает. – Предупреждаю, у меня осталось мало…

Доктор Розенталь открывает пыльную коробку, обитую материалом, и я слышу, как Франк шумно выдыхает: в ней несколько нацистских крестов, эсэсовские нашивки, бляшка с ремня, спичечница с нацистским орлом, несколько значков с двойной руной зиг, белых в красной окантовке, и какая-то коробочка, скорее даже футляр, из плотного бордового картона под шагреневую кожу – примерно три-четыре сантиметра в ширину, десять в длину и сантиметр в высоту. На крышке футляра – серебряное тиснение – цифра 25, вписанная в зубчатый круг, похожий на солнце. Внутри – награда.

Хозяин лавки подвигает коробку к Франку, который почему-то отворачивается.

– Эту штуку, – Розенталь открывает маленькую бордовую коробочку, – пару месяцев назад мне принес один человек, очень интеллигентный, работает в бюро где-то недалеко отсюда. У него недавно назад скончался отец, почившему было лет девяносто. Я предложил продавцу, сыну покойного, сто евро – сам не знаю почему. Меня очень порадовало, что находка, которую он обнаружил в личных вещах отца, где-то в его шкафу, была в хорошем состоянии…

– И часто вам такие находки приносят? – Голос Франка выдает его заинтересованность.

– Раньше было очень часто, – кивает Розенталь, – но, по понятным причинам, сейчас всё реже и реже, ведь многие владельцы уже умерли. А те, что еще живы, – да просто перетряхните их личные вещи, и вы там такое увидите! А вот дети и внуки от таких вещей с удовольствием избавляются, понимаете? Но не надо думать, что их предки, люди, которые это хранили, – какие-то отморозки. Очень приличные, уважаемые господа – один, как я знаю, был судьей, другой тоже был юристом, кажется адвокатом, был еще сын какого-то местного чиновника, вышедшего лет двадцать назад на пенсию. Еще, помню, одна фрау, что живет в пяти минутах отсюда, продала мне добро, оставшееся после смерти мужа. Но, как я уже сказал, обычно от этой атрибутики избавляются дети и внуки – старики хранят до последнего. Вот как этот крестик, кстати, не такой уж он зловещий…

– Как посмотреть. – Франк брезгливо глядит на награду, не прикасаясь к ней. Синяя лента, белый крест, окантованный серебряной полоской, внутрь которого вписаны дубовые листья, обрамляющие черную свастику в центре.

– Fuer Treue dienste, – читаю я по слогам то, что написано на реверсе, ощущая, как острые края креста врезаются в мои пальцы, – «За верную службу». Награда, очевидно, для гражданских.

– Тем хуже, – вздыхает Франк, – таких гражданских в Третьем рейхе я вообще не понимал никогда…

– Учреждена 30 января 1938 года. – Доктор Арно Розенталь вперился в монитор старенького кряхтящего компьютера. – Чтобы поощрить честный труд немцев на благо рейха. Фюрер распорядился разработать ее аж в 1935 году, но сделано это было только три года спустя. Награда имела три класса: тот, что перед вами, – самый низкий, серебро. Дальше – золото, за сорок лет службы, а потом – особый крест за пятьдесят лет…

– Рейх всего двенадцать лет прожил – столько как раз, сколько зайцы живут, а тут всё какие-то безумные цифры, –

говорю я.

А Франк уточняет у Розенталя, можно ли тут закурить. Тот мотает головой и предлагает пойти на улицу.

Арно отпер дверь и, выпустив Франка и меня, проследовал за нами. Птицы не пели – они орали как полоумные, но заметить источник громкого чириканья мне так и не удалось.

– Я с собой медаль прихватил, чтобы ее можно было лучше рассмотреть при дневном свете, – сообщает Розенталь, осмелев в достаточной мере. Он что, на полном серьезе решил нам ее продать? – Восемьдесят евро. – Лавочник, опершись спиной на стеклянную дверь магазина, призывно покрутил медалью перед лицом Франка, который тут же отвернулся к витрине, выказывая свое презрение к вещице. Розенталь, как показалось мне, прочитал поведение Никласа иначе: верно, решил, что тот, демонстрируя равнодушие, пытается сбить цену.

Я сажусь на высокий бордюр и уныло рассматриваю брусчатку.

– Могу сделать скидку, так как девушка купила у меня кролика. Предельная цена – семьдесят евро.

– Я покупать это не буду, – хмурится Франк, – даром не возьму.

– Это экстремизм, – напоминаю я Розенталю, который настроился на обработку Франка.

– Не агрессивный экстремизм. Это ваше право купить такую штуку, только носить ее на лацкане пиджака вне дома не советую. Да взгляните же, герр…

– Франк, – говорю, – он герр Франк.

А сама надеюсь, что у Розенталя что-то щелкнет в голове, но нет, Арно, как ополоумевший соловей, начинает щебетать еще громче:

– Он в идеальном состоянии, с лентой, сверкает как! Боже ты мой, я бы сам купил, если бы коллекционировал.

– Я такое не коллекционирую, – спокойно отвечает ему Франк, изучая свое отражение в стекле витрины.

– Есть и другое, – не унимается лавочник, – есть «спешл», но это не быстро. Чтобы найти «спешл», нужно время. И нужен ваш конкретный заказ. К примеру, какая-то военная награда…

– Не нужно, – говорит Франк.

– Но вы же интересовались, – говорит продавец.

– Ну да, – говорю я, – но это просто интерес.

– Ну хорошо. – Розенталь уязвлен и всячески демонстрирует это. – Если вы, герр Франк, купите баварскую кружку, которую смотрели, я могу уронить туда этот крест, прямо в нее, за сорок

евро сверху. И точка.

– Интересное предложение, особенно в свете того, что его отец был нацистом, – говорю я, ощущая, как пробуксовывает ситуация вокруг меня. Всё это надо прекратить любым способом. Однако, вопреки моим ожиданиям, лавочник спокоен:

– Можете не говорить мне, я это сразу понял, – отвечает продавец, – вермахт?

– Нет, – отвечаю за Франка.

– Ну тогда… тогда люфтваффе!

– Да нет же, – говорю я.

– Элитное подразделение СС?

– Нет. – К моему изумлению, Никлас всё-таки вовлекается в диалог с Арно.

– Ну кто тогда, а?

– Да не важно… – Я вдруг ощущаю необходимость смягчить накаляющуюся атмосферу.

– Нет, интересно же! – шумит раскрасневшийся лавочник.

– Он был… – говорю я, придумывая правдоподобную ложь.

– Генерал-губернатор Польши, – добавляет Франк неправдоподобную правду.

– В смысле, когда? – До Розенталя пока не дошло. Потом Розенталь тянет гласную: «А-а-а…»

Потом, задумавшись, рассеянно изрекает: «Дерьмо!»

Мне даже кажется, что он не понимает, что сказал это вслух.

Молчание.

Кажется, до Розенталя еще только-только доходит то, что сказал Франк. Никлас тупо уставился в витрину. Он просто замер – и ни по жестам, ни по выражению лица, отражающемуся в витрине, я не могу сделать выводов о том, что творится в его голове. На лице Розенталя же, который так и замер с крестом в руке, вся гамма чувств, но, пожалуй, превалирует что-то похожее на… сочувствие? Лавочник открывает дверь и уходит к себе в магазинчик.

Никлас молчит. Я поднимаюсь с бордюра. Мы просто стоим, не зная, как быть дальше. Раз – и дверь в магазин снова открывается. На пороге – Розенталь. Он мнется и пытается что-то сказать.

– Я прошу прощения, – миролюбиво начинает лавочник, не глядя на Никласа, – я и подумать не мог… Так что еще раз извините за настойчивость.

Франк говорит:

– Мне кажется, вам не за что извиняться.

Я прощаюсь с полностью ошарашенным евреем и благодарю за кролика.

– Он и правда очень старый, берегите его, – отвечает Розенталь, печально глядя на мою сумку, в недрах которой теперь поселился бронзовый зверек, а потом поднимает глаза и смотрит в спину медленно уходящему Франку, – интересный этот человек, Франк. Значит, то, что его отец генерал-губернатор Польши, – это правда?

– Правда.

Дальше – полушепотом – реплика, которая сражает меня наповал:

– Бедный, – говорит Розенталь, – мне его очень жаль.

Мы движемся в сторону Нюрнбергского Дворца правосудия.

Франк, сидя рядом с оператором на переднем сиденье машины, выглядит напряженным и внимательно смотрит в окно, не желая приобщаться к нашим разговорам.

В нюрнбергскую тюрьму нас пустят после четырех. Так что сначала, согласно договоренности, мы побываем во Дворце правосудия и зале суда №600 – том самом, где почти год длился суд над главными нацистскими преступниками, в числе которых был отец Никласа. В этом дворце я сама раньше никогда не бывала, зато вокруг него совершала прогулку примерно полгода назад, во время своего предыдущего посещения этого города. Помню, по этой территории сновали люди в длинных плащах под зонтами и в галстуках. Остроносые ботинки с дрожащими на них, отполированных до блеска, капельками дождя – всё это было очень атмосферно. Сегодня, как ни странно, снова мрак. Я довольна. Солнце только испортило бы настрой. Еще чуть-чуть – и посыплет мелкий дождик. Небо заволакивают плотные тучи, а температура воздуха не поднимается выше +13 градусов. И если я радуюсь из-за того, что в кадре будет красивая картинка, то Никлас Франк, слегка помятый, с покрасневшими белками глаз и чуть взъерошенными волосами, видит в этом какой-то мистический знак от отца.

– Прямо бесится, – фыркает Никлас себе под нос, и я вижу, как решительно он настроен попасть сегодня в нюрнбергскую тюрьму.

Широкая Фюртерштрассе сама ведет нас много километров по направлению к дому 110. Это и есть Дворец правосудия.

Его я узнаю сразу – его любой узнает, кто хотя бы раз в жизни видел хронику с Нюрнбергского процесса: возникает ощущение, что время в этом месте остановилось. Если бы не современные автомобили и не знаки «кирпич» и «Р» (паркинг), режущие глаз яркими цветами, может показаться, что ты шагнул сквозь экран в кинохронику.

Главное здание с анфиладой, плотное, приземистое, по-немецки лаконичное кажется уж слишком твердо стоящим на земле. Когда-то над арками этого здания были установлены четыре флага: если смотреть слева направо, то сначала – советский, затем – британский, американский и французский.

Несмотря на то, что этот Дворец правосудия известен всему миру и находится под охраной ЮНЕСКО, путеводители по Нюрнбергу не слишком распространяются по части истории, которая бы слишком глубоко уводила вас в былые времена. Так что расскажу вам немного об этом месте.

Здание Дворца было построено в 1916 году по проекту баварца Хуго фон Хёльфа в духе немецкого Ренессанса и было открыто в сентябре королем Людвигом III. Но известность этому комплексу, включавшему в себя тюрьму, принес именно Нюрнбергский процесс.

Дворец правосудия как место, где должна была вершиться справедливость в 1945 году, был выбран не случайно. «Самый немецкий из всех городов», по словам Адольфа Гитлера, еще во времена Веймарской республики, с 1927 года, Нюрнберг стал центром национал-социалистического движения. А с 1933 года Гитлер, ставший рейхсканцлером, назвал Нюрнберг «городом партийных съездов». Где, как не здесь, было важно провести суд над главными нацистскими преступниками? Впрочем, советская сторона не горела желанием проводить исторический судебный процесс на территории, подконтрольной американцам. Поэтому предварительные слушания прошли в Берлине 18 октября 1945 года, а затем процесс перебазировался во Дворец правосудия в Нюрнберге, где заседания начались 14 ноября того же года и продлились больше девяти месяцев, вплоть до 31 августа 1946 года.

И если первая причина проведения процесса в этом городе кажется символичной, то второе объяснение выглядит очень простым, я бы даже сказала бытовым. Несмотря на то, что Нюрнберг сильно бомбили, Дворец правосудия практически не пострадал. Но главное, что из Дворца в тюрьму вел подземный ход, что делало удобным перемещение подсудимых из камер в зал суда и обратно. Да и огромный штат Международного трибунала мог с легкостью разместиться на территории этого комплекса. В общем, удобно. А порой, скажу я вам, удобство намного важнее всяких там символических смыслов.

Оператор, высадив нас с Франком и Эйзенштейном перед оградой Дворца правосудия, уехал парковать машину. Никлас тут же, прихрамывая, двинулся на территорию – с тем чтобы размять

ногу, «разгулять» ее перед съемками. По крайней мере он так сказал. Хотя, глядя, как его фигурка в бежевом плаще нервно перемещается из одного конца анфилады главного здания в другой, я подумала, что это, наверное, неправда. Измерив анфиладу шагами вдоль и поперек, Франк, не думая даже зайти внутрь, стал вышагивать по периметру территории. Прохладный ветер трепал полы его плаща и разматывал нить дыма, тянущуюся от его сигареты куда-то в бесконечность. Огромное мощное здание и маленький человек перед ним.

Кстати, часто именно это главное здание принимают за место, где непосредственно судили нацистских преступников. На самом же деле зал суда № 600 находится правее – в восточном крыле Дворца правосудия. Будучи составной частью всё того же архитектурного ансамбля, восточное крыло не такое огромное, но, как и главное здание – плотное, ровное, словно начерченное по линейке. Такая же блекло-красная крыша и те же песочного цвета камни, из которых сложена стена. А четыре огромных окна верхнего этажа – это и есть зал № 600.

Я машу Никласу и указываю в сторону восточного крыла. Короткий кивок – и он разворачивается по направлению, указанному мной. Нужно сказать, что перед главным зданием Дворца правосудия несколько метров выложено бежево-коричневой брусчаткой. Настил, неровный от времени, вдруг подцепляет нос ботинка Франка, и тот едва успевает сохранить равновесие. Несмотря на то, что Никлас находится далеко от меня, ветерок с дымом его сигареты доносит до моего слуха обрывки чертыханий. Интересно, Франк действительно сопрягает любое препятствие на своем пути, в том числе камушек, со своим отцом? Если допустить, что это так, то Гансу Франку, наверное, безмерно скучно в аду. Хотя ирландский священник, отец О'Коннор, крестивший его в католичество в тюрьме, написал семье бывшего генерал-губернатора Польши трогательное письмо, уверяя, что перед смертью Франку были отпущены все грехи и он, оказавшись после казни на небесах, обрел мир и успокоение, – в общем, всё то, чего был лишен в этом бренном мире. Никлас не верит, что отцу предназначались небеса. Только ад. Только шесть миллионов адов – по числу людей, которые погибли по вине «короля польского», который на деле оказался «польским мясником».

Никлас и я открываем зонтики, потому что начинается густой мелкий дождик, который тут же превращает свежий ровный асфальт, положенный перед восточным крылом дворца, в зеркало. Оператор с Сергеем готовят камеру, накинув дождевики, а Никлас начинает измерять шагами вход во дворец – здесь он не в первый

раз.

– Ну, отец, вот я опять пришел тебя навестить, – улыбается он, глядя в камеру, словно бы по ту ее сторону находится Ганс Франк. – Здесь и стало ясно: кишка-то у тебя тонка. Здесь ты сначала признал вину, потом забрал свое признание назад. Ничего ты так и не понял… Каждый раз, будучи здесь, я очень живо представляю своего отца, который боролся здесь за свою жизнь, но оказался абсолютным ничтожеством. Он ничего не осознал. А самое главное – он так ни в чем и не раскаялся. В течение почти года мой отец выслушивал неопровержимые доказательства преступлений, совершенных им и его сообщниками. Но, несмотря на все эти доказательства, вечером в канун казни он написал письмо своему адвокату Зайделю. «Доктор Зайдель, – писал он. – Позаботьтесь о том, чтобы мое доброе имя было восстановлено в глазах общественности, я не преступник». Невероятно. Не могу понять, как можно было утверждать такое после целого года судебного процесса… И вообще, пойдемте уже внутрь. Надо не опоздать в тюрьму, там нас, как я понимаю, будут ждать через час с небольшим.

Мы заходим в здание суда. Пока предъявляем на входе полученное официальным факсом разрешение на съемку, Франк начинает медленный подъем по крутой скрипящей лестнице с большими деревянными перилами, отполированными до блеска сотнями ладоней.

На втором этаже Никлас останавливается, чтобы сделать передышку. В момент, когда я его нагоняю, внимание Франка вдруг привлекают фотографии на стене. Эдакая доска почета, а может, позора. На ней фотографии осужденных нацистов в 1946 году. Справа, в самом верхнем углу, – фотография гауляйтера Польши в пиджаке с нацистскими нашивками и лаконичной подписью снизу – «Франк». Ни имени, ни дат жизни и смерти. Просто «Франк».

– Вот и мой отец. – Никлас не просто показывает указательным пальцем на фотографию, он подушечкой своего пальца упирается Гансу Франку прямо в сердце. Если бы это был пистолет, сын, наверное, спустил бы курок.

Франк-сын уныло оглядывает фотографии остальных нацистских преступников, которые составляют компанию его отцу, и с шумным вздохом отворачивается, возвращаясь к лестнице.

Он преодолевает еще один этаж. Тяжело. Медленно. Хромает (и теперь это заметно отчетливее), но продолжает идти.

Мы оказываемся в огромном просторном бежевом холле. Франк, вдруг словно обессилев, опускается на скамейку рядом с

мраморной раковиной, чтобы отдышаться. Он тупо смотрит перед собою – в нескольких метрах от него чернеет массивная деревянная двустворчатая дверь, ведущая в зал суда, сверху надпись – «Зал №600».

Пока Сергей с оператором готовятся к съемке, Никлас снимает плащ и наматывает его себе на руку, оставшись в плотном бежевом пиджаке и синей рубашке с расстегнутым воротом. Затем Франк снимает кепку. Потом вдруг с кряхтением приподнимается со скамейки и снова надевает плащ – неужели ему холодно? Тут ведь намного теплее, чем на улице. В руках он оставляет зонт и шапку, мучаясь и не понимая, куда их деть.

– Я возьму, – говорю.

– Спасибо, – кивает Никлас, не поворачиваясь ко мне, и ослабляет хватку, чтобы я смогла вынуть оба предмета из его рук.

Он снова смотрит на ту дверь. На надпись «Зал №600».

– Мне сказали внизу, что здесь сейчас как раз заканчивается экскурсия для будущих юристов – студентам рассказывают о судебном процессе, – говорю я, чтобы понять по реакции Франка, хочет он зайти внутрь или предпочтет дождаться, когда помещение освободится.

– Правда? – спрашивает Никлас, наконец подняв глаза.

– Да. Могу заглянуть и поинтересоваться, не против ли они будут посниматься с вами, если, конечно, это вас не раздражает?

– Ну тогда давай. – Франк устремляет взор куда-то внутрь себя. – Но только недолго, ладно? Мы же в тюрьму опоздаем.

– Не опоздаем, – говорю.

– Ладно. Только всё равно давайте недолго.

Зал №600. Франка не остановить. Он выступает перед студентами и не думает заканчивать. Тридцать минут назад Никлас вошел в зал. Как только он переступил его порог, и преподаватель, и ребята, и какое-то лысое официальное лицо в очках, очевидно работающее во Дворце правосудия, все устремили взгляды на него и резко умолкли. Они знали, что это за человек, потому что я успела заочно представить им его.

– Привет, я Никлас Франк, надеюсь, что я вам не помешаю. Мы хотели немного тут поснимать для российского телевидения, так что спасибо, что разрешили начать сейчас…

Невысокий лысый очкарик лет пятидесяти, в рубашке, галстуке и пиджаке свободного кроя в один скачок оказался рядом с Никласом и прошептал ему в ухо то, что я частично расслышала: «После того, как нам сообщили, что вы здесь, мы с ребятами обсудили вашего отца… и… если вы не возражаете… не будете ли вы столь любезны ответить на несколько вопросов».

– Ладно, только недолго, у меня не так много времени, – любезно ответил Франк и нелюбезно покосился на свои наручные часы.

Пока Сергей шептал оператору о том, как и что снимать, Никлас прошел в центр зала к студентам и, переминаясь с ноги на ногу, снова поглядел на часы. Я обвела взглядом зал. На кинохронике он казался много больше, раза в два. Массивная отделка из темного дерева занимает чуть больше двух третей боковых стен. Деревянный резной потолок, четыре огромные люстры, сталактитами свисающие с него.

Свет в зале не горит – нет нужды, потому что в окна бьет мягкая серость нюрнбергского полудня. Дневной свет падает на деревянные скамьи, на которых сидели подсудимые. Посредине, между рядами скамей, рассеченных проходом на две части, в стене можно заметить створки лифта, в котором в зал суда по одному доставляли обвиняемых. Длинный деревянный стол для судей расположен перпендикулярно скамье подсудимых, – местоположение судебной кафедры с сороковых годов изменилось, так что два судейских входа, обрамленных массивным зеленым камнем, оказались по бокам кафедры, над которой под потолком зависло огромное деревянное распятие. Во время Нюрнбергского процесса распятия, разумеется, не было.

Скользнув взглядом по напряженным смышленым лицам студентов, я отметила, что в большинстве своем это девушки, парней в группе всего несколько. Но всем ребятам крайне любопытен Франк, отец которого, по признанию самого Никласа, «всей своей жизнью способствовал появлению Гаагского международного трибунала, который судит преступления против человечности, например в Руанде. Наверно, в этом единственная заслуга моего отца, прожившего жизнь преступника».

– Можно я задам вопрос? – Одна остроносенькая студентка, с блестящими черными глазами, невысокого роста, пробралась к Никласу через стену своих однокурсников и нарушила тишину, повисшую в зале.

– Пожалуйста, – ответил Никлас сдержанно, но любезно – показалось, что в его голосе послышалось удовлетворение от того, что он вызывает такой интерес у молодежи. Девчушка продолжила чуть смелее:

– Сколько раз вы бывали в этом месте? И как меняются ваши ощущения с каждым новым разом, когда вы оказываетесь здесь, – ведь, кажется, вон на той скамье подсудимых сидел ваш отец?

Франк, проследив за ее рукой, обернулся к пустой скамье и кивнул, словно кому-то невидимому на скамье:

– Именно так. На первом ряду.

Откашлявшись, как оратор, которому предстоит говорить речь, Никлас медленно начал свой рассказ:

– Я здесь в четвертый или пятый раз – в зале №600. И для меня это, конечно, не то место, которому можно поклоняться. Каждый раз, когда я прихожу сюда, всё словно оживает, в том числе и боль. Не потому, что здесь, в соседнем здании, был повешен мой отец, а потому, как он вел себя именно тут, в зале суда. Мягко говоря, это было поведение труса. Восемнадцатого апреля 1946 года, в четверг, он неожиданно заявил о признании вины. При этом связал свою вину с виной всей Германии. Мол, должна пройти еще тысяча лет, прежде чем Германия сможет избавиться от бремени этой вины. Очень трусливый и лживый ход – распространить предъявленное ему лично обвинение на миллионы остальных немцев. Но даже от этого, весьма условного признания вины, он отказался в своем последнем слове. И отсюда, со скамьи подсудимых, заявил: «После того как я услышал здесь об ужасных преступлениях, совершенных поляками, чехами, русскими в отношении немцев, то могу утверждать, что вина Германии, которую, как я считал, она будет нести еще тысячу лет, – эта вина Германии уже полностью погашена». Мне этого не понять. Процесс шел целый год. Здесь всем, в том числе обвиняемым, демонстрировали кадры из Освенцима. Здесь им были предъявлены неопровержимые улики и железные доказательства вины немцев, шедших за Гитлером, за такими, как Франк. Ни намека на раскаяние не было в его словах.

Черноволосая девчушка отчаянно не хотела уступать вахту рыжеватой длинноволосой подруге, которая осторожно подняла руку, чтобы о чем-то спросить Никласа. Но черноволосая перебила ее:

– Известно, что ваш отец раскаялся на процессе. И, кажется, крестился. Может ли быть так, чтобы человек, который принял веру и раскаивался, притворялся?

– Может, – кивнул Франк, – когда речь идет о моем отце. Он крестился в 1945 году в тюрьме. Крестил его отец Сикстус О’Коннор. И после этого отец стал очень набожным. Можно сказать, это было бегством в веру. И в письмах своих жене, детям он ни разу не признался: «Да, я виновен». Не написал о том, что он видел доказательства того, что вел ужасную, преступную жизнь. Нет. Что вы! Он предпочел бегство в религию: Иисус Христос, Спаситель, Избавитель. Крестился в католической церкви.

Несмотря на обращение в веру, он так и не смог признаться в своей вине ни себе, ни своей семье.

«А еще Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, описывал свои чудовищные зверства в дневнике. Но в Нюрнберге признался во всех преступлениях, отрекся от них и стал ярым католиком; ему не изменила способность верить истово и даже фанатично»[31].

«Религия – великое утешение, а теперь – мое единственное. Сегодня я, как ребенок, радуюсь предстоящему Рождеству. Знаете, иногда я себя спрашиваю на самом что ни на есть глубоком подсознательном уровне: а может, вся эта вера в потустороннее бытие не просто фантазия, а может, жизнь и не кончается стылой могилой? Бац! Всё! И всё же хорошо, что вот так, до самого конца будешь верить в эту иллюзию. Кто знает? (Теперь мне впервые за два месяца стали понятны причины, заставившие Франка перейти в католичество и которые в период изоляции его в камере до начала процесса свидетельствовали о его искреннем раскаянии)»[32].

Никлас вдохновенно продолжал отвечать на вопрос темноволосой студентки:

– В письме адвокату Зайделю – оно, кстати, хранится в Государственном архиве в Мюнхене – мой отец просил его, чтобы тот постарался восстановить его «доброе» имя в Германии, писал о том, что он не преступник. Меня, ребенка, уже тогда это раздражало в его письмах. Мать получает очередное письмо из Нюрнберга от отца, а я могу наперед сказать, что каждое слово в нем – ложь: «мой Бог, мой Спаситель» и всё в том же духе. Неприятно. Вполне возможно, что перед страхом смерти люди пытаются найти утешение в религии, да и год в одиночной камере провести тоже не очень легко. Но я должен сказать, меня это нисколько не волнует.

Франк вдруг отвернулся от студентов и запрокинул голову, дротиком воткнув свой взор в огромное распятие, висящее над судейской кафедрой. Голос его окреп, лысое официальное лицо, я заметила, платком смахнуло со лба пот. Франк заговорил, словно обращаясь к распятию:

– Бог, если таковой существует, только усмехнулся бы на молитвы отца. Кто-то даже написал, что в тюрьме Ганс Франк заменил Гитлера Богом. Да, до этого он самым ничтожным образом молился на Гитлера, теперь – на Бога, католического, кстати.

По всем законам жанра в тот момент крест должен был сорваться со стены и с громким стуком рухнуть на судебную

кафедру, но вместо этого в зале повисла тишина. У одной особо чувствительной блондинки от экспрессии Франка и мрачности момента глаза подернулись слезами и приоткрылся рот. Все были обескуражены. Все замерли. На лицах студентов застыли самые разные выражения – восторг, ужас, брезгливость, восхищение, страх, всё вместе и во всех возможных комбинациях.

Франк отвернулся от распятия и буднично поинтересовался:

– Еще есть какие-то вопросы?

– У меня, – осторожно вступила рыженькая студентка, та самая, которой однокурсница не дала слова. – Вы так говорите об отце, будто находитесь с ним в состоянии войны… Возможно ли, образно выражаясь, заключение мира между вами и вашим отцом?

Это она четко подметила, рыженькая. Франк вздохнул.

– Нет, – ответил он и умолк на несколько секунд, словно что-то обдумывая, – нет, не возможно. Жертвы не дают сделать мне этого. Я родился в 39-м, первые фотографии жертв увидел в шесть лет. А когда отца казнили, мне было семь. Тогда начали выходить первые демократические газеты. В них публиковались фотографии – трупы, трупы, горы трупов. Тела детей моего возраста. А в подписях к фотографиям практически всегда упоминалась Польша. Это была Польша времен Франка. Я тогда испытал настоящий шок, которого никогда не забуду. Затем я начал уже свои расследования, которые только подтверждали, что отец участвовал в уничтожении невинных людей. Никогда не забуду историю, в которой описывалось, как один эсэсовец в краковском гетто схватил ребенка за ноги, размахнулся и разбил его голову о стену. Каждый раз, думая об этом, я испытываю ужас. В великолепно проведенном перекрестном допросе, который вел старший советник юстиции Смирнов, отец признал свою вину, правда, потом сразу же отказался от своих слов. Я вам рекомендую прочитать протоколы допросов Нюрнбергского процесса. Уже только по стилистике видно, насколько жалкими и трусливыми были эти люди. Они не хотели ничего знать. Они пытались переложить всю вину на верхушку – Гитлера, Гиммлера и Бормана, которых, кстати, на процессе не было. А отец, только что признавшись, стал всё отрицать, увиливать, мол, официально о лагерях смерти он узнал только в 44-м году. В ответ на это Смирнов показывал ему документы, подписанные отцом еще в 43-м. «Да, – признавался тот, – но это было неофициально». Он был жалок. А у меня как его сына такое поведение вызывает только презрение. Так что простить его я не смогу.

– Значит, и молодые поколения несут за эти преступления вину? – снова подала голос черноволосая студентка.

Франк охнул, спохватившись, что его поняли неверно:

– Нет, ни в коей мере! Сотни тысяч немцев кричали «Хайль Гитлер!» и в то же время отказывались от активного участия в преступлениях. Если бы мой отец стал хотя бы таким «внутренним эмигрантом»…

– А что ваша мама? Как она относилась ко всему этому? Знала ли она, что творил отец? – поинтересовался тощий парень, стоящий за наблюдательной рыжей студенткой.

– Вам что, правда интересно? – Франк медленно оглядел зал и остановил свой взгляд на мне.

Я кивнула ему. И жестом показала на часы, давая понять, что разговор со студентами пора потихоньку заканчивать. Но ему, как поезду, взявшему большой разгон, было трудно остановиться, несмотря на то что я тянула руку к условному стоп-крану.

Итак, с начала беседы со студентами прошло полчаса. В зале опять тишина – все ждут рассказа Франка о его матери.

Никлас начинает, как обычно, издалека:

– Матери, – произносит он и держит театральную паузу, оглядывая всех собравшихся, – матери – одна из темных страниц нацистской Германии. Как вели себя немецкие матери, бабушки и прабабушки? Если среди ваших родственников есть хоть кто-то, кто жил в те времена, спросите их, что они знали, что они видели? Но, предупреждаю, это будет очень трудно. Вы не можете представить, сколько мне пришлось съесть пирожных, когда я расспрашивал тетку: «Тетя Маргот, давай, рассказывай». – «Ники, съешь лучше пирожное. Зачем тебе это? Ты тогда не жил, ты не сможешь ничего понять». Мой отец в тюрьме любил говаривать: «Это были дикие годы». Но ведь и в дикие годы десять заповедей никуда не деваются, даже если ты атеист. Вернемся к немецким матерям. Рассказывали, как в мясной лавке немка могла запросто перегнуться через прилавок и дать пощечину продавщице-полячке, если ей вдруг показалось, что та обслуживает очень медленно. Немецкие женщины вели себя ничуть не лучше немецких мужчин. А самое интересное – это то, что после войны немецкие женщины умели лучше молчать. Так к чему я веду?

– К матери, – напоминает Никласу нестройный хор голосов.

Франк присаживается на угол одного из столов, расставленных по залу. Со стороны всё выглядит так, словно ему всё больше удовольствия приносит то, что сейчас происходит вокруг. Он лукаво улыбается, и взгляд его скользит по лицам студентов, по убранству зала и замирает, обратившись в себя. Он медленно начинает очередной рассказ:

– Когда весной 1945 года пришли американские войска, наше

поместье Шобернхоф на озере Шлирзее было разграблено за две ночи. Но не американцами, дом разграбили угнанные в Германию рабочие из Польши и, кажется, Украины. Мы, дети, сбежали с матерью. А когда опасность миновала, на следующий день мы отправились обратно, но сумку мать оставила у знакомой. Через некоторое время, осенью 1945-го, она попросила подругу принести ей эту сумку обратно. Та возьми и загляни в сумку. Это трудно представить: она была набита драгоценностями, которые мать награбила в Польше, в Кракове, Варшаве у евреев. И как ни в чем не бывало мать стала их продавать. На Шлирзее был специальный дом для вынужденных переселенцев, выживших заключенных концлагерей, евреев. Их там регистрировали, оформляли документы и отправляли по домам. И вот моя мать отправлялась туда на синем велосипеде, который почему-то не унесли, и продавала украшения. У евреев были очень хорошие связи, они расплачивались маслом, мукой, другими вещами, за те драгоценности, которые у них же в принципе и были украдены. Но и для них это было очень выгодно, потому что мать собирала не просто побрякушки, а дорогие украшения. Таким способом она поначалу обеспечивала наше существование, существование своих пятерых детей…

Я показываю Никласу рукой на часы – до похода в тюрьму я тоже хочу задать ему пару вопросов в зале суда.

– Да-да, я помню про время, – хмурится Франк, который уже откровенно наслаждается тем, какую реакцию вызывает у студентов. – Пусть молодые люди зададут мне еще один вопрос, и я их отпускаю…

Несмотря на то что поднимается несколько рук, лысый очкарик, на правах старшего, выдает автоматную очередь:

– Герр Франк, расскажите немного о себе, а то мы уже обсудили и вашу мать, и вашего отца. Вы ведь писатель и журналист? Когда-то давно я читал вашу книгу, довольно трудное чтение, но должен заметить, что она сильно врезалась мне в память, потому что я не был и никогда не буду согласен с вашей позицией по отношению к родителям…

– Да, я понимаю вас, мало кто со мной был согласен, если такие вообще были… – Франк закидывает голову и молча изучает потолок, пока тридцать человек замерли в ожидании. – Большую часть своей жизни я проработал в «Штерне». Кстати, целых три года провел в «Плейбое», представьте, начальником отдела культуры… Меня всегда привлекал гротеск. Можно сказать, что жизнь моей семьи в окружении миллионов трупов была не чем иным, как гротеском. Гротескная сторона нашей жизни всегда интересовала меня в работе, особенно когда я был репортером по

«горячим» точкам, побывал во многих местах, в странах, где шла гражданская война. Тогда я понял, что мораль бывает столь же тонкой и прозрачной, как лист бумаги. Я сейчас пишу книгу о денацификации и в этой связи провожу много времени в архивах, в том числе здесь, в Нюрнберге. В рамках денацификации американцы составили 1,8 миллиона дел на немцев, так или иначе запятнавших себя участием в нацистских преступлениях. Из этих дел можно вычитать страшные истории. Иногда я бросаю чтение, выхожу на улицу и курю, чтобы успокоиться. Настолько потрясают меня истории, выплывшие на свет в ходе процесса денацификации, продолжавшегося с 45-го по 51-й год. Но итог меня радует. В результате мы построили настоящее демократическое государство. Нам удалось выбраться из того болота, в которое мы, немцы, сами себя и загнали.

Франк умолкает снова – он умеет профессионально держать паузу. Студенты молчат, подавленные тем, что он сказал до панегирика новой демократии, и, сдается мне, если бы сейчас в зал №600 влетел комар, то шум стоял бы такой, будто это вертолет. Я думаю, что Франк уже закончил, и собираюсь подойти к нему, но он вдруг продолжает:

– Когда в 87-м вышла моя злая книга об отце, меня довольно часто приглашали выступить. Интересно, что примерно треть слушателей сразу же уходила, как только я начинал читать отрывки из книги. Остальные же внимательно слушали. Затем начиналось обсуждение, и часто бывало так, что меня просто забывали. Люди говорили уже для себя, спорили друг с другом о том, что они действительно знали и чего не могли знать. Рассказывали друг другу разные истории, о том, например, что по закону еврей должен был сойти с тротуара, чтобы уступить место так называемому арийцу. Здесь, наверно, срабатывало правило, которое хорошо знакомо журналистам… Кстати, вы знаете, какое есть классное правило для проведения интервью?

Этот вопрос Франк задает, глядя мне в глаза. Улыбаюсь и пожимаю плечами, мол, не знаю. Он продолжает:

– В «Плейбое» я отвечал за интервью, они тогда пользовались большой популярностью. И вот почему. Именно тогда я узнал это золотое правило – интервью нужно проводить в три дня: в первый день интервьюируемый всё врет, во второй из него кое-что можно вытянуть, ну а на третий день он настолько устает, что выкладывает всё начистоту. Так что все наши интервью проводились тогда в течение трех дней…

Я смотрю на Франка, пытаясь понять, что эта фраза значит, и мысленно загибаю пальцы: если брать в расчет нашу с ним встречу в Шлезвиг-Гольштейне, то мы уже общаемся три дня.

Если первая встреча не в счет, то он, выходит, пока не готов выкладывать всё начистоту? А значит, вопросы про его детство, которые мне наиболее интересны для того, чтобы разобраться в метафизической войне, что длится десятилетия между отцом и сыном, я смогу задавать не раньше завтрашнего дня. Глупость какая… Он это серьезно?

Студенты покидают зал суда, рассыпаясь в благодарностях. Кое-то подходит, чтобы пожать Франку руку. Лысый очкарик с платком, зажатым в руке, крутится возле Никласа, задавая какие-то короткие уточняющие вопросы. В итоге они вежливо прощаются друг с другом, но лысый Франку руки не подает – видно, этим он обозначает свое несогласие с позицией сына генерал-губернатора Польши.

– Я устал. – Никлас проходит через зал и, замерев на долю секунды, подходит к скамье подсудимых. Он присаживается не на то место, где сидел отец, а рядом.

– Не жарко? – спрашиваю его. – Могу подержать ваш плащ.

– Мне холодно. Тут трупный холод, неужели не чувствуешь? – обессилено отвечает Никлас. – Им так и веет от моего соседа слева…

Я не чувствую никакого холода.

И кроме Никласа на скамье никого нет.

– Итак, вы сейчас на той же самой скамье подсудимых, где сидел ваш отец, – говорю я. – Как думаете, что он чувствовал, находясь здесь, в этом зале?

– Мы тогда часто ходили в кино, перед фильмом обычно показывали новости – «Вохеншау» – еженедельное обозрение, где среди прочего транслировали кадры с Нюрнбергского процесса. Как это ни смешно, но моя мать очень гордилась тем, что отец сидит в первом, а не во втором ряду. Среди главных военных преступников. Гордилась тем, что и здесь он был одной из самых важных фигур. В 50-х (мать умерла в 59-м) мы подарили ей телевизор. Тогда часто показывали документальные фильмы о суде. Обычно, когда показывали скамью подсудимых, показывали первый ряд, начиная с Геринга, потом камера переходила на Гесса, Риббентропа, а затем уже появлялся наш отец. И вся семья Франк перед телевизором буквально следовала за камерой и разочарованно вздыхала, если его вдруг не показывали.

Во время суда мать писала ему письма. У меня их сохранились сотни. Она писала отцу каждый день. Он тоже ей отвечал каждый день. Правда, ему приходилось писать намного больше – у него еще и любовница была, которой он тоже

ежедневно отправлял письма. Так вот мать в письмах писала: «Ты превосходно выглядел, ты похудел, тебе очень идет». Вот он – гротеск. Муж борется за то, чтобы остаться в живых, мы влачим жалкое существование, потому что всё потеряли, у матери нет никаких заработков. При этом она радуется тому, что муж хорошо выглядит. Хотя при попытке самоубийства – пытался вскрыть себе вены – он что-то повредил, поэтому придерживал одну руку другой. То есть на тот момент он был жалким ничтожеством во всех отношениях. А тут – хорошо выглядишь! Гротеск.

– Вы говорите о его попытках самоубийства. Их было две, – говорю я и лезу за планшетом в сумку. – Сейчас кое-что зачитаю…

Франк нервно хмыкает себе в усы и пытается на немецком, которого Эйзенштейн не понимает, пожаловаться тому на меня:

– Эта барышня со своим тщательным подходом пугает меня до одурения.

– Вы тоже меня пугаете, – говорю я Никласу.

– Да? – Франк, кажется, забавляется. – И чем же?

– Собою, – отвечаю я и, не давая ему ответить, тут же начинаю ему вольно переводить следующую фразу из «Нюрнбергских интервью» Леона Голденсона.

«У него было два шрама на шее с двух сторон на уровне щитовидного хряща – он сказал, что пытался покончить с собой в первый день плена (3 мая 1945 г.) в Тегернзее. Он повторил попытку самоубийства 5 мая 1945 года, разорвав вены на левой руке на локтевом сгибе и у запястья. У него до сих пор осталось неприятное ощущение в первых трех пальцах. “Я попытался покончить с собой, потому что пожертвовал всем ради Гитлера. И человек, ради которого мы пожертвовали всем, оставил нас в одиночестве. Если бы он покончил с собой четыре года назад, всё было бы в порядке”»[33].

– Если бы отец нормально покончил с собой, всё было бы в порядке, вот как я считаю, – замечает Франк, – но, с другой стороны, его тогда бы не судили. И хотя я против смертной казни, я искренне считаю, что мой отец ее заслужил. Если бы его не судили, я бы сам отдал его под суд. Наверное.

Наверное?

Франк продолжает:

– От секретарши отца, которая был его последней любовницей, я узнал, что в день ареста на столе в доме на Шлирзее лежал золотой или позолоченный пистолет, наверняка произведенный заключенными евреями. И я спросил фройляйн Кравчик, так ее звали, почему же отец не застрелился? Она мило улыбнулась мне и ответила: «Для этого он был слишком большим

трусом». И я рад тому, что он был трусом, иначе бы его не судили. А в Тегернзее в начале мая он был избит американскими солдатами, которые незадолго перед этим освободили концлагерь Дахау, насмотрелись на горы трупов и в ярости устроили отцу, «польскому мяснику», публичную порку. Тогда он перерезал себе вены. Его кинули в грузовик и повезли в Берхтельсдорф в госпиталь, которым заведовали американцы. И по пути в больницу, прямо там в грузовике, он попытался гвоздем перерезать себе горло. Обе попытки, слава Богу, не удались, и он всё-таки смог предстать перед судом. Я думаю, я даже уверен, что поначалу ему казалось, что для него, государственного мужа, самым страшным наказанием может стать ссылка куда-нибудь в Голландию на лесопилку, как случилось с кайзером Вильгельмом. Но постепенно ему становилось понятно, что речь идет о его жизни. Он, как и любой другой, испытывал страх перед смертью. Поэтому он и принял в тюрьме крещение, стал «благоверным» католиком. Сидя на этом месте, я испытываю злость. Злость на то, как он себя вел. Его частичные признания так и остались жалкими попытками повиниться. Затем он стал во всём обвинять своего бывшего врага Гиммлера. Кстати, отца моего сильно ненавидел и Геббельс. В Берлине ходили слухи, что Геббельс сделал в своем дневнике следующую запись: «Франк возомнил себя королем Польши». Даже поговорка была о том, что на западе живут франки, французы то бишь, а на востоке наживается Франк – намек на коррупцию. Но Гитлер не любил сдавать своих старых соратников и держал его в Польше, а Шпеер, Гиммлер, Ламмерс и в первую очередь Борман хотели от моего отца избавиться. Кстати, в Берлине отца по праву называли пугалом. Он делал всё, что требовал Берлин. Свои сто фирменных костюмов он любил больше, чем людей. Уже после трети процесса, по крайней мере после того, как подсудимым показали фильм про Освенцим, они поняли, что у них нет никаких шансов. Причем шансов не из-за несправедливого суда. Они сидели в этом зале, на этой скамье. И смотрели, смотрели, смотрели все эти страшные документальные кадры, сделанные русскими, американцами…

«И внезапно смешливости этой пришел конец, когда командующий Донован объявил о демонстрации обнаруженного американскими войсками документального фильма о нацистских концентрационных лагерях. Мы с Келли стояли у скамьи подсудимых и наблюдали за обвиняемыми во время демонстрации документальной ленты… Франк во время первых кадров согласно кивает… Кейтель снимает наушники и искоса поглядывает на экран… Риббентроп зажмуривается, смотрит в

сторону… Заукель лихорадочно оттирает со лба пот… Франк, судорожно сглотнув, пытается сдержать подступившие слезы… Геринг оперся на ограждение скамьи подсудимых, он с сонным видом лишь изредка поглядывает на экран… Франк бормочет: “Ужасно!” Розенберг беспокойно ерзает на своем месте, иногда бросает на экран быстрый взгляд исподлобья, опускает голову, снова поднимает взор, чтобы проверить реакцию остальных… Геринг с мрачным видом сидит, опершись на локоть… Штрейхер произносит: “Не верю я в это!” Геринг откашливается… Адвокаты издают стоны… Теперь Дахау… Франк горестно кивает: “Ужасно!”… Дёниц сидит, обхватив голову руками… Опустил голову и Кейтель… Франк грызет ногти… Функ горько рыдает при виде обнаженных женских трупов, сбрасываемых в яму, невольно прижимает руки ко рту…

Франк находился в крайне подавленном состоянии, но когда мы упомянули о фильме, он от душившего его стыда и гнева тут же залился слезами… Мы его спросили, не надо ли ему снотворного. В ответ он лишь покачал головой.

– Нет, благодарю. Если я не засну, я смогу молиться (в искренности Франка сомневаться не приходилось)»[34].

Никлас Франк, положив руки перед собою на кафедру скамьи, сказал:

– В этом зале отец увидел воочию, что натворил!

Я замечаю:

– Но он же и отдал в руки суда неопровержимые доказательства своей вины. Страшные дневники, которые вел много лет и в которых описывал свои преступления. Он мог их сжечь, мог что угодно с ними сделать, но отдал в руки судей самую главную улику против себя…

Из дневника Ганса Франка:

> *«Прежде чем германский народ окажется перед лицом всеобщего голода, пусть голод коснется оккупированных территорий и тех, кто их населяет… Эти районы – военный трофей Германского рейха… Я не побоялся заявить о том, что в случае гибели одного немца должна быть расстреляна сотня поляков»*[35].

Никлас усмехается:

– Ну да, он просто дурак, что отдал их. Хотя, наверное, всё было правильно.

Не поняла, он что – осудил отца за то, что тот предоставил доказательства своей вины?

«“Во мне будто живут два человека, – говорил Ганс Франк. – Я сам, Франк, которого вы видите перед собой. И другой Франк – нацистский фюрер. Как будто во мне присутствуют два разных человека… Захватывающе, да?” (Очень, если рассматривать в аспекте шизоидного состояния, заметил психолог Гилберт.)

Позже, наговорившись о “злом Франке”, он вернулся к теме своих дневников: “Я передал эти дневники, чтобы раз и навсегда покончить с тем, другим Франком. Три дня после самоубийства Гитлера стали для меня решающими – это был поворотный пункт в моей жизни. Сначала он увлек нас за собой, взбаламутил весь остальной мир, а потом просто исчез – оставил нас расхлебывать наше горе, отвечать за всё, что происходило”.

Это была самая содержательная и показательная беседа из всех, что мне довелось вести с Франком. Невольно он раскрыл свою глубоко упрятанную гомосексуальность, которая наряду со слепым тщеславием и полнейшей беспринципностью понудила его примкнуть к фюреру в атмосфере всеобщего психоза, поставившего с ног на голову все общечеловеческие ценности, идентифицировать себя с ним. Подобно злому демону, который в поисках оправдания своего существования погряз в разрушительных, непотребных и кровавых оргиях, от дистанцировался от невыносимого портрета своего “эго”, сбежал в религиозный экстаз и отделил себя от мира и от некогда совратившего его недоброго идола. Правда, полное уничтожение и забвение своего эго стали бы для Франка непомерным грузом – факт предоставления доказательства своей собственной виновности ублажал его мазохизм»[36].

Не таков ли и Никлас, сидящий сейчас передо мной на скамье подсудимых? Не таким ли же способом он, определив для себя своего отца как Мефистофеля, пытается и слиться с ним воедино, и отделиться от него одновременно, всячески подчеркивая, что он абсолютно отличается от генерал-губернатора Польши?

Меня поразило, какое место выбрал для себя Никлас в зале №600 после того, как ушли студенты. Нужно заметить, что ни я, ни Сергей, ни кто либо другой ни намеком не дал ему понять, что Франку-сыну следует занять место именно на скамье подсудимых: в нашем распоряжении было всё помещение, и он, в конце концов, мог встать где угодно – к примеру, в центре зала, или, допустим, опереться на судебную кафедру, стоящую в середине, или, что было бы понятно, занять место, которое было отведено не для участников процесса, а для наблюдателей. Но, как мы видим, Никлас выбрал именно скамью – он не остановился

рядом, не указал на нее рукой. Он просто взял и сел туда, на место рядом с тем, где сидел отец. Ерунда? Возможно. Но в этом его движении, уверенном и спокойном, я прочитала, что это было единственное место, куда он изначально и намеревался сесть. Потому что он продолжал ассоциировать себя с отцом – ублажая, с одной стороны, собственные страдания и собственный мазохизм. С другой – насилуя себя, издеваясь над собой в угоду внутреннему садисту.

– Можно вопрос?

– Говори. – Никлас, словно умученный занудным уроком школьник, кладет руки перед собой и укладывает на них голову.

– Вы правда не испытываете ни капли жалости к своему отцу? Не отвечайте вот так сразу! Я понимаю, он чудовище. Шесть миллионов… Но если взглянуть на него как на человека. Не для того, чтобы оправдать, а чтобы понять. Подумайте: он – несчастный человек, брошенный матерью, намертво прикованный к нелюбимой, неласковой жене, которая даже не пыталась понять его, а крутила романы направо и налево, в конце концов, человек подавляющий свою гомосексуальность (Франк хмурится, но молчит), – отсюда, с этого подавления, его тяга к жестокости…

– Начиталась Фрейда!

– И что?

– Нашла кого жалеть!

– Я не жалею, я ищу ключ к пониманию…

Никлас говорит со мной мягко, медленно, словно обращается к неразумному ребенку:

– Прощение всегда предполагает понимание. И наоборот. А прощения этим людям быть не может, так что не пытайся их понять. За десятилетия своих поисков и исследований я не нашел ничего, что могло бы помочь мне простить своего отца…

– Вы не об отце сейчас говорите. Вы говорите о генерал-губернаторе. К тому же он всё-таки признал свою вину, хотите вы этого или нет.

Франк откидывается на спинку скамьи:

– В Национальном архиве в Вашингтоне я снял копию съемок 18 апреля, когда он заявил о том, что признает свою вину. Существует клише, что человек, признающий вину, говорит это соответствующим голосом. Но если вы посмотрите, как это делал мой отец, каким голосом он делал это признание, вы поймете, что это не признание. Оно звучало как речь на мюнхенском съезде партии. В нем не было никаких эмоций, форма не соответствовала содержанию. Мне, кажется, это была всего лишь некая уловка с его стороны. И еще одна деталь, о которой никто

тебе не скажет: в последнем письме моему брату отец писал о «трибунале победителей»: вот что его беспокоило в последние минуты – что с ним обошлись несправедливо. «Мы, – писал он,– просто проиграли, и за это придется заплатить. Но разве можно допустить, чтобы все эти предатели народа, эмигранты обвиняли меня за то, как я прожил свою жизнь?» И это после целого года судебных заседаний. Хочешь еще о чем-то поспорить?

– Нет. Позвольте препроводить вас в тюрьму? – спрашиваю у Франка, надеясь увидеть реакцию на свою намеренно некорректную формулировку вопроса.

– С удовольствием, – неожиданно бодро отзывается Никлас, не обращая никакого внимания на формулировку, кряхтя поднимается и покидает скамью подсудимых. Уже выходя из зала №600, я вижу, что он останавливается перед самым порогом, оборачивается и смотрит в сторону скамьи подсудимых, где только что сидел. Я почти уверена, что он видит там что-то. Или кого-то.

– Телефоны, металлические предметы, сумки, ключи, зонтик, разумеется, тоже. – Охранник бубнит привычно-монотонно, потому что несколько дней в неделю в тюрьме приемные дни, и родственники приходят проведать заключенных, так что текст про «металлические-предметы-сумки-ключи» отскакивает у него от зубов, как какая-нибудь детская считалочка.

– Я возьму с собой фотоаппарат, – говорю ему. – У меня разрешение на съемку.

– На съемку видеокамерой, – уточняет охранник, – ладно, берите, вы же в то крыло…

«То крыло».

Ну да.

Мы – я, Франк, Сергей и оператор – сдаем всё, что только можно, в специальное окошко, откуда нам сквозь стекло просовывают номерки. Никлас крайне сосредоточен и немного возбужден – на лице его, сменяя друг друга, проступают следы сильного напряжения и усталости, а хромота его всё отчетливее бросается в глаза. Я думаю о том, что ему тут будет непросто: место, где повесили твоего отца, не самое приятное в мире. Даже если отца своего ты презираешь и ненавидишь.

Следуя за коротко стриженным охранником, чей затылок я запомнила лучше лица, мы выходим во внутренний дворик тюрьмы и оказываемся по ту сторону огромной серой стены, отделяющий комплекс Дворца правосудия от тюрьмы. Если гулять вдоль этой разделительной стены со стороны Дворца, то можно увидеть большую желтую металлическую табличку,

предупреждающую о том, что «любой разговор или иные попытки контакта с заключенными караются штрафом до 1000 евро». Интересно, а были случаи? Через эту огромную монолитную стену, высотою в четыре Никласа Франка, толщиною не меньше полуметра, кто-то пытался общаться? Как-то слабо представляется, учитывая, что вся она – сплошь бетон, который сверху венчает колючая металлическая проволока наверняка под напряжением.

Теперь мы все по другую сторону стены.

– А где в то время проходили прогулки заклю… – закусываю губу. Судя по жесту нашего сопровождающего, сейчас нужно заткнуться и идти молча. Я на всякий случай бросаю взгляд на тюремный дворик. Перед серой стеной – большая зеленая клетка метров двадцать в квадрате, неужели тут совершают прогулки современные заключенные? Весь двор выложен брусчаткой, из-под которой пробивается зеленая трава, из чего я делаю вывод, что если бы тут кто-то гулял в недавнем времени, трава была бы примята.

Я оглядываю двор снова и снова. Мне хочется шепнуть Никласу об одной истории, которую я вычитала о его отце. Наверняка он тоже ее знает…

«Знаете, – заявил Франк, – вы просто не в курсе того, что здесь происходит. Один пример. Взять хотя бы Геринга. На одной из наших последних прогулок в тюремном дворе он вдруг останавливается и, в упор глядя на меня, дожидается, что я обойду его и займу свое место слева от него, поскольку он старше меня по званию. Можете себе такое представить – здесь, в этой тюрьме? Да он для меня пустое место»[37].

И всё-таки я предпочитаю промолчать: мне кажется, что гладкий затылок охранника внимательно следит за мной, и стоит мне снова попытаться открыть рот, меня депортируют в мир свободных людей за бетонной стеной.

Никлас, сохраняя молчание, тоже внимательно рассматривает тюремный дворик и наверняка думает о том же, о чем и я: тут они гуляли или нет?

Тихой группой мы входим в какое-то одноэтажное строение, изнутри похожее на поликлинику: давно не штукатуренные стены, отслоившийся линолеум, кое-где продранный. Скрипят двери, в которые мы входим, следуя за проводником, а потом вдруг под ногами разверзается лестница, внизу которой берет начало коридор, чьи несколько десятков метров включают в себя целую вечность голодной до звуков тишины.

В тюрьме, как нигде, главную роль играют звуки, а совсем не визуальный ряд. Твои шаги, тяжелый вздох Никласа, хромающего

в конце нашей безмолвной группы, скрип штатива, который оператор несет вместе с камерой, нервное покашливание Сергея, звук ключей, металлической гроздью свисающих с пояса нашего сопровождающего и хлопающих его по бедру. Каждый шум здесь много больше, чем просто звук. И слух натянутыми до предела барабанными перепонками ловит всё, что разрушает тишину. Звук в этих стенах – большая роскошь, к которой не получится прибегать всякий раз, и только если отчаянно захочется проверить, оглох ты или еще нет, можно кашлянуть в кулак.

Миновав длинный коридор, мы снова поднимаемся по лестнице, делаем несколько шагов по улице, снова куда-то заходим, и за нами захлопываются массивные железные двери. Мы окончательно в тюрьме. И в первые несколько секунд тишина оглушает настолько, что хочется ее нарушить, – как угодно, лишь бы взломать ее, распечатать, вскрыть.

– Можете говорить, – сообщает вдруг охранник. – Сейчас подойдет Фёгеляйн, который будет здесь вашим сопровождающим. Ждем.

– А где это крыло? То самое, где их содержали? И почему тут… так всё странно? – Я озираюсь по сторонам. Несколько железных лестниц с перилами и ступенями ведут… в стену? Это какой-то сюр.

– Фёгеляйн вам ответит. Разговаривать вы уже, конечно, можете, но не со мной. – Охранник поднимает руку и машет фигурке, которая материализовалась в конце долгого тюремного коридора. – Вот он, ваш проводник.

Передав нас с рук на руки Фёгеляйну, Харон с гладким затылком, чьего имени я так и не запомнила, впрочем, как и лица, – разворачивается и уходит. Ну что ж, он доставил нас в свой Аид, где передал человеку с забавной для нашего уха фамилией, черными коротко остриженными кудрями и симпатичным лицом. Судя по манере общаться, свободной живой мимике, приятному низкому тембру голоса и раскованности движений, Фёгеляйн всё-таки не рядовой охранник, а кто-то повыше должностью – у него на поясе с правой стороны висит огромная связка ключей, раза в три превосходящая по размеру связку нашего предыдущего сопровождающего.

После обмена рукопожатиями Фёгеляйн смотрит на Франка и говорит:

– Значит, это вашего отца казнили тут в 1946 году.

– Именно, – кивает Никлас, – Ганса Франка.

– Конечно, знаю, – мягко улыбается Фёгеляйн, словно они обсуждают общего знакомого – какого-нибудь герра Мюллера.

– Я хотела бы сразу уточнить про спортзал и крыло, где их

содержали, – вступаю я осторожно.

– Видите ли, – говорит Фёгеляйн, – я должен вам всем сразу кое-что объяснить. Разумеется, не вдаваясь в подробности. Да, они все, заключенные нацистские бонзы, были здесь. Но проживали они в этом крыле, – Фёгеляйн указывает рукой на стену, куда упираются лестницы.

– Не понял, – Франк почесывает лысину и оглядывает стену.

– Кажется, дошло, – говорю я, пока Фёгеляйн держит паузу, – точно! Когда мы были в восточном крыле, там, где зал №600… Если выглянуть в окно из коридора и посмотреть на здание тюрьмы, оттуда видно, что огромная часть стены, в виде большой арки, заштукатурена, – так, словно…

– Словно мы снесли это крыло, – кивает Фёгеляйн, – да, оно было снесено.

– Что? – в один голос спрашивают Франк и Эйзенштейн, который и без перевода вдруг начал понимать, о чем идет речь.

– В начале восьмидесятых были снесены два корпуса тюрьмы, восточный и северный, и спортивный зал, где повесили вашего отца, – продолжает Фёгеляйн (он что, думает, Никлас пришел почтить память отца?). И добавляет: – По всем понятным причинам. А западный и южный мы задействовали по прямому назначению.

– Почему-то я была не в курсе, – говорю.

– А мало кто в курсе, – пожимает плечами Фёгеляйн, – места для любопытных туристов там, за стеной, а здесь – жизнь и работа. Тут мало кто бывает. И то мы согласились пустить вас сюда потому, что отец господина Франка закончил здесь свои дни. Так что вы и правда в историческом месте. Они были здесь. И повесили их тут.

Фёгеляйн показывает пальцем в окно. Туда, где простиралось когда-то восточное крыло тюрьмы, а позже было отрублено и уничтожено, словно объятая гангреной конечность. Все мы устремляем взоры в окно, на небольшой тюремный пустырь, где с помощью столь уважаемого Никласом палача сержанта Вудса в нескольких метрах от нас были повешены нацистские преступники. И где теперь находится то самое пространство, которое очевидно стало тюремным двором.

Молчание длится с минуту.

Кап. Кап. Кап.

Я оборачиваюсь: с высокого тюремного потолка на серый кафель тюрьмы капает вода, и этот звук в нашем большом общем молчании с каждой секундой становится всё более душераздирающим.

Франк вдруг говорит:

– Я был здесь, в тюрьме. Но туда, где были камеры, нас не пускали.

– Точно, – соглашается Фёгеляйн, словно в 1946 году он так же стоял рядом с маленьким Никласом, пришедшим в последний раз увидеть отца.

Мы стоим на маленьком круглом пятачке, выложенном кафельными плитами. Рядом с нами какие-то лестницы, ведущие в стену, обрубленные и ненужные – напоминающие, что когда-то тюрьма простиралась туда, куда дороги больше нет. Другая железная лестница с высокими ступенями ведет на второй этаж – такой же безмолвный и пустой, как и первый. Я вглядываюсь в длинный коридор, простирающийся перед нами, – он совсем такой же, как на кинохронике.

– Все крылья тюрьмы были абсолютно идентичны, – кивает Фёгеляйн, – всё так, как и было тогда. Здесь, как и там, только камеры-одиночки.

– Мы можем посмотреть их? – тихо интересуется Франк.

– Разумеется, – радушно соглашается Фёгеляйн и показывает рукой на пустую кишку западного отсека, – прошу вас. Здесь преступников пока нет. Они – в соседнем крыле. Так что это – в вашем полном распоряжении.

Никлас снимает с себя плащ и наматывает его на левую руку:

– Я готов. Пойдемте.

Франк с Фёгеляйном идут впереди и обсуждают устройство тюрьмы. Слышу, как от стен эхом отскакивают слова «корпус», «флигель», «снесли», «камеры». В конце коридора – винтовая лестница, обернутая высокими железными прутьями. Франк доходит до нее и останавливается, рассматривая с интересом. Потом обращается к Фёгеляйну:

– А покажите нам камеру, такую, которая максимально соответствовала бы той, что была у моего отца…

– Легко. Все камеры, что здесь есть, – в вашем распоряжении, – шутит Фёгеляйн и хмыкает, чтобы сгладить некоторую неловкость, которая повисает после его слов. Никлас никакой двусмысленности не замечает.

– Тогда я… – Франк делает паузу, словно вслушиваясь в тишину, – тогда я выбираю себе вот эту.

– Себе? Хороший выбор, – кивает в ответ Фёгеляйн, словно продавец в магазине бытовой техники, и тянется рукой к огромной связке ключей, прикрепленной к его поясу. Перебирая большие блестящие ключи, он, наконец, находит нужный и вставляет его в замок.

Если бы мне сказали выбрать единственный в мире звук –

насыщенный, сочный, многозначный, наполненный и радостью и скорбью одновременно, я бы выбрала именно этот – звук отпираемой огромной металлической двери камеры нюрнбергской тюрьмы. Это оркестр, музыкальная феерия, полифония – я не знаю что. Но пронзительнее этого звука в тишине пустого тюремного отсека быть ничего не может.

– Какая мощь. – Франк, словно не контролируя себя, тянет руку к массивной железной двери с окошком и огромным засовом и проводит по ней ладонью. – Вот это да.

Медленно заходит в камеру, озираясь по сторонам. Камера – маленькая. Прямо напротив входа – чуть выше головы Никласа – окно в тюремный двор, впрочем, ничего там не увидеть, если не встать на стул, но у заключенных все стулья были с подпиленными ножками. Так что снизу в окно был виден лишь кусочек неба. Маленький кусочек.

Слева – кровать, точнее, прямоугольник на ножках с матрацем, и маленький столик. Справа, как входишь, – параша. Дальше – стул. На стене почему-то висит кусок зеркала с отбитыми краями – уверена, что если тут снова поселят какого-нибудь заключенного, то зеркало непременно снимут, иначе покончить с собою можно будет в две минуты.

Описав по камере несколько кругов, Франк усаживается на стул и вытягивает больную ногу. Он вдруг говорит:

– Никто не обидится, если я попрошу позволить мне посидеть тут в тишине? А потом можем снимать.

Все понимающе кивают. А Фёгеляйн – так вообще сама тактичность в униформе. Кстати, Фёгеляйн – отличная фамилия, в тему. Точно такая была у генерала СС, который женился на сестре Евы Браун, – то есть Фёгеляйн был фактически кумом Гитлера.

Я заглядываю в узкую щель дверного проема: на деревянном стуле в мутном свете, ниспадающем из квадратного окошка, сидит пожилой человек с вытянутой больной ногой и опущенной на грудь головой. Его плащ по-прежнему намотан на левую руку – кажется, Никлас и забыл об этом. Он сидит неподвижно. Словно замер. Минуту, две, пять, десять… Осторожно интересуюсь у бледного изваяния, можно ли мне зайти? Да, конечно, теперь можно. Он дает понять мне это кивком, кажется, пытаясь улыбнуться, но выходит какая-то жалкая старческая гримаса. Сажусь на корточки рядом с его стулом. Никлас закидывает голову назад и еще пару минут изучает потолок, потом, прищуриваясь, переводит взгляд на окно. И говорит:

– Он писал нам в письмах о том, что смотрит на небо, видит голубое баварское небо. А по воскресеньям он наверняка слышал

здесь церковный звон. В тюрьме он стал очень набожным, вставал на колени в камере и молился. Молился он и в ночь казни. Когда дверь в камеру открыли, он стоял тут же, у двери, на коленях. Вместе с охраной и комендантом тюрьмы пришел священник О'Коннор, который его и крестил. Тогда отец обратился к нему со следующими словами: «Отец, когда я был ребенком, мать каждый раз перед школой осеняла мой лоб крестом» – и попросил священника сделать это и сейчас. Тот выполнил его желание. Затем охранники подняли отца с колен, а он уже был в кандалах. И повели из камеры в спортзал на казнь.

– Вы это придумали?

– Увидел, – говорит Франк, – я вижу чуть больше, чем ты. Но это не метафизика. Это долгие годы работы с письмами, документами, фотографиями, хроникой. Жесты, взгляды, слова, которые он подбирал в письмах к нам, – я знаю всё. И поэтому я могу видеть то, что тут было. Например, когда он спал, руки нужно было держать поверх одеяла. Свет в камерах никогда не гасили. Это было сделано после того, как Роберт Лей покончил с собой. Но Герингу потом всё равно удалось проглотить капсулу с ядом. К огромному моему сожалению. Жаль, что и этого не повесили.

В это окно мой отец, наверное, посмотрел в последний раз, произнес молитву, еще на что-то надеясь: «Спаситель, я не был плохим человеком, сохрани мне жизнь». Но Спаситель показал большим пальцем вниз, и это был прекрасный жест. Потом отец зашел в спортзал, с улыбкой, после чего ему накинули петлю. Про себя я могу точно сказать, что если меня будут казнить, я буду кричать, я умру от страха. А он держал себя в руках.

Это было в ночь на 16 октября 1946 года. А 1 октября в Нюрнберге огласили приговоры. Я очень хорошо могу представить себе состояние отца в тот день – одновременно надежда на то, что его оправдают, и осознание, что это конец. Будь я рядом с ним в тот момент, я бы ему сказал, что у него нет никаких шансов, я сказал бы: «У тебя в жизни было очень много шансов, но ты ими не воспользовался, а предпочел стать преступником, тебя нисколько не заботили судьбы людей, поэтому оставь все надежды. Я тебе желаю, чтобы сейчас, перед казнью, – а я уверен, что тебя казнят, – чтобы ты представил, каково пришлось тем невинным полякам, русским, всем остальным, на кого напали нацисты. Представил себе, что они чувствовали. Они не были ни в чем виновны. Ты же виновен. А теперь приготовься лучше к смерти».

Мы все вздрагиваем. Фёгеляйн выронил из рук ведро, которое вынес из кадра по настоянию Сергея, но застыл, слушая монолог

Никласа, обращенный к отцу, позабыв отставить тару, – и вот итог: ведро упало на кафель со звуком, который на долю секунды оглушил нас всех; кажется, единственный, кто не понял, почему все вздрогнули, был Франк. Он просто не услышал.

– Извините, – смущенно лепечет Фёгеляйн, который и сам перепугался до ужаса и пытается неверными руками поднять ведро с пола. Судя по всему, монолог Никласа произвел на него впечатление.

– Можно я тут посижу еще пару минут? – спокойно интересуется Франк.

– Разумеется, – отвечает ему Фёгеляйн.

– Можешь остаться. – А эта реплика уже адресована мне.

– Какой смысл? – говорю. – Сегодня только второй день интервью, и то не полный. Как я могу рассчитывать на вашу откровенность?

– Полуправда сойдет? – хмыкает Франк.

– Говорят, она хуже лжи, – отвечаю ему в тон, с ухмылкой.

Франк закидывает голову и снова смотрит в потолок, словно бы к нему обращается:

– Кто говорит? Идиоты говорят.

– Тогда вопрос: что вы могли бы вспомнить об отце положительного? Именно об отце, а не о гауляйтере Польши?

– Я уже вспомнил всё хорошее.

– Да? И что же?

– Ну, что он достойно принял смерть, хоть в этом краснеть за него не пришлось.

– А еще что? Ну, может, какое письмо вам из тюрьмы нежное прислал…

Франк задумывается – его лицо расползается в ядовитой улыбке:

– Да, было кое-что, что он прислал мне из тюрьмы. Лично мне. Свой молитвенник в память о нем.

Я улыбаюсь: ну наконец-то, хоть что-то человеческое было в этом чудовище по имени Ганс Франк.

Никлас продолжает:

– Он даже бережно подписал его для меня. А теперь маленькое отступление. Дело в том, что имя Ники в семье писали всегда из четырех букв: Н И К И. А в молитвеннике мое имя было написано через два К. И меня это ужасно разозлило. Сегодня, конечно, можно сказать, что это было по-детски с моей стороны. Но дети в таких вещах очень пунктуальны. Для меня за этими буквами стояло: да какая разница, как я его там назову. Ну как, трогательная история?

– Я забыл забрать зонт в тюрьме, на выходе, когда раскладывал по карманам вещи. – Франк сидит на скамейке возле Дворца правосудия. Мы только что сходили в главное здание и отобедали в местной столовой.

– Плохая примета – забывать свои вещи в тюрьме, – подает голос оператор, – значит, придется туда вернуться.

– Зонт был гостиничный, так что если примета работает, их накроет налоговая. Нам же бояться нечего, – отвечаю ему несколько раздраженно.

Франк молча закуривает сигарету.

Молитвенник. Эта история и другие, ей подобные, не озвученные Франком, но в наличии которых я уже теперь и не сомневаюсь, и заставляют Никласа так люто ненавидеть своего отца. Потому что такая ярая ненависть, как правило, взрастает на самых простых вещах, например, на критической массе обид. Эта ненависть проистекает из личного эгоизма, а не исключительно от страданий из-за безвинно погибших шести миллионов несчастных.

Утром следующего дня мы все, включая Франка, выдвигаемся на юго-восток города – там, где средоточие немногих остатков национал-социализма, разбросанных на одиннадцати квадратных километрах.

Свернув с широкой Байернштрассе, мы паркуемся недалеко от постройки, напоминающей римский Колизей: тут хоть в путеводитель не заглядывай – очевидно, что перед тобой монументальная постройка времен Третьего рейха, одно из «идеологических» сооружений, напоминающих о преемственной связи рейха и Священной Римской империи. Это Конгрессхалле, Дворец съездов – самое большое из сохранившихся до нашего времени монументальных сооружений эпохи Третьего рейха.

Я по ошибке посчитала, что авторство сего творения принадлежало Альберту Шпееру, который лихо развернулся в Нюрнберге с позволения Гитлера, но нет, оказалось, что этот гимн нацистскому монументализму спели в своем проекте Людвиг и Франц Руффы. В 1935 году во время очередного партийного съезда Гитлер лично заложил первый камень в основание Дворца съездов, строительство которого началось на берегу пруда Дутцендтайх.

Снаружи – это огромное белое полукруглое здание, с галереей арок, облицованное гранитными плитами, что были доставлены со всех областей империи. Выбор гранита, как я выяснила позже, тоже не был случайным: гранит символизировал «прочность и вечность идей и творений». По замыслу

нюрнбергских архитекторов, нацистский Колизей должен был почти в два раза превзойти в размерах римское сооружение.

После того как рухнул Третий рейх, этот Колизей, чья высота не поднялась выше 40 метров (планировалось 70, по сравнению с 50 метрами в Риме) ввиду того, что строительство было заморожено во время Второй мировой войны, остался огромным величественным «недоделком», с которым, несмотря ни на что, городу Нюрнбергу пришлось считаться: учитывая, что здание строилось на века, его снос или разбор, даже по самым скромным подсчетам, потребовали бы колоссальных затрат. Отдать здание в частные руки тоже не получилось: власти выступили против попыток частных инвесторов превратить место в дискотеку или спортзал. В общем, решение вопроса свелось к банальности – сделать из Колизея наглядный урок истории. Существующее ныне U-образное здание обращено рогами к пруду, рога заканчиваются двумя пристройками. В северной располагается центр документации НСДАП, посвященный постыдному нацистскому прошлому города Нюрнберга и всей Германии, в южной обосновался Нюрнбергский симфонический оркестр.

Мы обходим часть гранитной галереи, заходим в широкую арку и оказываемся внутри Конгрессхалле.

– Отличное место, – резюмирует Франк, – я тут никогда не был.

– Почему? – спрашиваю.

– Потому что не большой знаток и ценитель архитектуры рейха. Но тут по-настоящему здорово! Стою вот и чувствую себя самой мелкой в мире тлёй.

Я тоже чувствую себя тлёй. Вокруг меня – огромный простор. Поскольку самая большая часть здания была построена из кирпичей, но облицевать Колизей успели только снаружи, внутри он весь темно-красный, как копченая форель.

Около получаса мы все, разделившись, бродим по огромному внутреннему пространству Колизея, часть которого, судя по нескольким огромным цветным контейнерам, сейчас служит складом.

Никлас Франк, прихрамывая, бродит то туда, то сюда, периодически останавливаясь и закидывая голову вверх. Когда он подходит к нам, заметив, что ведется съемка, я спрашиваю, о чем ему тут думается.

– Ни о чем особенном… – Никлас пожимает плечами. – Слишком много места, слишком всё большое и неуютное. Комплекс неполноценности национал-социализма налицо.

Франк подходит к арке, через которую мы вошли на территорию, и усаживается на маленькую железную лесенку,

ведущую к запертой металлической железной двери прямо у самой арки.

– Поговорим о комплексах? – спрашиваю я.

– О комплексах нацистов?

– А может, о твоих личных?

– Неинтересно, – говорит Никлас и обводит взглядом Конгрессхалле, – слишком мелко. Хотя… о мелком хорошо говорить в такой вот масштабной декорации… Вот тебе история, которую ты так ждала. Это, кстати, самое первое мое воспоминание об отце. В Бельведере в Варшаве, помню, я бегал вокруг большого круглого стола. Я только что поел, и на мне еще был нагрудник. И я хотел, чтобы отец обнял меня. А отец убегал от меня, причем так, чтобы мы находились на противоположных сторонах стола. Я рыдал и визжал, как маленькая собачонка. Мне так хотелось к нему на руки. А он мне заявил: «А что ты хочешь, ты – чужак, ты не из нашей семьи». Мне тогда было три или четыре года. Это мое первое воспоминание об отце, о том, как отец отверг меня. Ему, наверное, казалось, что это шутка. Но в ходе моих исследований позднее я выяснил, что за этим скрывались его подозрения о том, что я не его сын, а его лучшего друга. Такова была подоплека этой шутки. И тогда образовалась первая трещина в отношениях между мной и отцом. Это не так уж и легко пережить, когда отец отталкивает сына от себя.

– И что ты выяснил? Кто был его лучшим другом?

– Карл Лаш. – Горькая ухмылка Никласа. – С ним у моей матери была связь. И мой отец считал, точнее, на него периодически накатывала такая одурь, что я сын Лаша, поэтому и назвал меня «чужаком». Впрочем, потом вдруг наступило некоторое потепление в наших с ним отношениях. Не знаю, что он там думал про себя, что высчитывал…

– Чем занимался этот Карл Лаш, кроме того, что был любовником твоей матери?

На лице Франка улыбка застыла, словно зацементированная:

– Лаш тоже был губернатором. Поскольку Гиммлер очень хотел, но не мог добраться до моего отца (Гитлер упрямо не хотел сдавать старого соратника), то его не трогали, хотя он тоже был замешан в коррупционных аферах. А Лаш – тот попался. Между прочим, тоже неглупый был человек. Имел две докторских степени по праву. Но этот Лаш на губернаторском посту вовсю занимался контрабандой и увлекся настолько, что СС, а точнее Гиммлер, приказал его арестовать. Потом Лаша в камере застрелили. Мать позже обвиняла отца в том, что он и пальцем не пошевелил, когда эсэсовцы арестовали и расстреляли Лаша в 1942 году.

– Тогда, – я пытаюсь правильно сформулировать вопрос, – тогда как ты сам считаешь, чей ты сын?

– О-о-о-о, – улыбается Никлас Франк мягко, – отличный выбор, чей же я сын?

– Но ты же знаешь.

– Знаю. Я сын своего отца-идиота, который пытался объяснить себе, за что же он меня не любит. И вот нашел причину.

Мы выходим из Колизея. Франк долго молчит. Я тоже боюсь влезать со своими расспросами – вдруг сейчас закроется или разъярится? Но нет. Он вдруг сам начинает говорить:

– Была одна вещь, за которую я отца любил. Это патефон. Он очень часто ставил пластинку с увертюрой к опере «Фра Дьяволо». Как-то он поставил ее в саду в Шобернхофе, мы лежали на земле, и отец рассказывал историю про Хубертони. Был такой разбойник, который страшно боялся других разбойников и поэтому всегда стрелял из лесу, прячась за деревья. И нам, детям, это тогда так нравилось! Такая вот приятная сцена в моих воспоминаниях об отце. Их было крайне мало.

– Стало быть, после этого… после того как его отношение к тебе переменилось в лучшую сторону, его молитвенник с надписью «НИККИ» тебя огорчил…

– О, не просто огорчил, это было как плевок в лицо. Отец пишет прозвище сына с ошибкой.

– Учитывая, что отца со дня на день должны отвести на эшафот, это может служить смягчающим обстоятельством, – говорю ему в ответ.

– Когда он отказывал мне в любви, он не думал о смягчающих обстоятельствах. Так почему об этом сейчас должен думать я?

В молчании мы проходим еще метров сто-двести, а потом разворачиваемся и возвращаемся обратно к Колизею, где нас дожидаются Эйзенштейн и оператор.

Франк не говорит ни слова.

Только курит третью подряд.

– Здесь чертов забор, – расстраиваюсь я, когда мы останавливаемся у Поля Цеппелина.

– Точно, – вздыхает Франк.

– Забор можно перелезть, – утешает нас Эйзенштейн и печально смотрит на Франка, понимая, что его идея обречена. – Ой, а что за мужик выходит с территории? Сейчас… нужно спросить его…

– Не даст он снимать, – злится оператор с обидой старого

эмигранта, перебравшегося в Германию пару десятилетий назад, – это вам не Россия!

– Не слишком понимаю, что означает твой выпад, – говорю ему по-русски, – но пробовать не возбраняется нигде.

– Вот именно. – Сергей устремляется к мужичку. – Кто меня ему переведет?

Через десять минут уговоров, после того как мы представляем ему Никласа Франка, а я почти рыдаю в голос, рассказывая о том, как нам нужно Поле Цеппелина для фильма, мужик сдается: «Впущу вас и не буду запирать территорию ровно двадцать минут. Но даже за забором вам придется перелезать через кое-какие металлические ограды – тут я ничего не могу сделать. И пожалуйста, тихо и аккуратно».

Смотрю на Франка.

Он решительно кивает.

Это невероятно, но в нашем распоряжении на двадцать минут все поля Цеппелина. Как достопримечательность они в путеводителях обычно не позиционируются – и понятно почему. История этого места началась в 1909 году: Фердинанд фон Цеппелин, прозванный «безумным графом», приземлился на своем дирижабле на глазах у ликующей толпы местных жителей на этом месте. Вторая жизнь полей началась ближе к концу тридцатых годов.

Достроенное по проекту Шпеера к середине 1937 года, Поле Цеппелина стало ареной для грандиозных парадов-спектаклей, здесь же прошли два съезда НСДАП. Мировую известность это место получило после того, как Лени Рифеншталь запечатлела его в своем фильме «Триумф воли».

В период оккупации, с 1945-го по 1949 год, американцы проводили здесь парады своих вооруженных сил, переименовав место в *Soldiers Field*[38]. А там, где раньше была огромная свастика, развевался американский флаг (свастика была взорвана сразу после прихода американских войск, и этот момент запечатлен на американской кинохронике). После окончания американской оккупации тут стали проводиться разные массовые мероприятия – к примеру, регулярные мотогонки. Разбирать Поле Цеппелина, как и в случае с Конгрессхалле, было делом тяжелым по всем параметрам: построен комплекс был на совесть. Но его помпезный вид, напоминающий о периоде рейха, начал раздражать власти Баварии, и в итоге в 1967 году было принято решение взорвать колоннаду главных трибун, что и было сделано в ночь с 8 на 9 июня.

Мы с Никласом, Сергеем и оператором находимся в нескольких десятках метров от трибуны Цеппелина, которая была

построена из бетона и кирпича и облицована известняком. Предназначалась она для выступлений Гитлера. Ступени, по которым мы поднимаемся к ней, щербатые, надтреснутые, все проросли травой (она пробивается из каждой трещинки), а территория, если смотреть с точки, с которой фюрер озирал ее, разбита на сектора: спереди асфальт, дальше – ограждение и парк, затем – еще забор. Всё это сделано намеренно, с целью, чтобы комплекс не казался таким просторным, величественным и монументальным. Кстати, здесь часто проводятся концерты – к примеру, на Поле Цеппелина выступали Rolling Stones.

Никлас встает на лестнице таким образом, чтобы сзади него, фоном, виднелась трибуна Гитлера:

– Там наверху стоял и мой отец, выступал перед Гитлером. Он отлично выглядел. Но та чушь, которую он нес, которую несли все они… То, как они буквально выкрикивали свои речи, словно пытаясь заглушить, перекричать свою совесть… Это было ужасно. Хотя ими восхищались, их приветствовали восторженными криками. Ужасно.

Потом Никлас достает мобильный и начинает фотографировать Поле Цеппелина.

– Я покажу его своей жене Ханнелоре, – говорит он, а потом фотографирует нас с Сергеем, – и вас тоже, раз так сложилось, что ни в прошлый раз, ни в этот вам с ней не довелось познакомиться.

Франк делает несколько снимков, убирает телефон в карман и снова оглядывает окрестности.

– Что ты думаешь о современной Германии, о современных немцах, потомках тех, кто стоял здесь, на Поле Цеппелина, и исступленно орал «Хайль Гитлер!»?

– Думаю… – Франк смотрит на трибуну Гитлера, словно внутренне решая для себя, стоит всё-таки подняться на нее или нет. Он медлит. Кажется, подниматься всё-таки не хочет. – …Еще минимум сто лет к немцам будут присматриваться и относиться с опаской. Кто их знает, этих немцев, на какие еще преступления они способны. Такие опасения имеются. Поэтому я очень рад образованию Европейского союза, тому, что мы объединились. Соседи за нами действительно присматривают, особенно французы, чтобы мы вновь не выбрали некий особый путь. За это я им благодарен. Так и должно быть. И побаиваются нас совершенно справедливо, я думаю. Мы несколько в ином положении, чтобы делать по-своему, так, как мы хотим. Как только мы хотим выделиться, сразу же всплывает наше прошлое, а именно Третий рейх. «Ага, значит, немцы опять диктуют нам свои условия, значит, они опять хотят господствовать в Европе, во

всём мире». Такие мысли возникают в каждой голове. Но всё равно я уверен, что большой опасности пока нет. Хотя полагаю, что внутри немецкой души до сих пор не искоренены очень опасные вещи. Именно потому, что наши родители и деды трусливо молчали и унесли правду с собой в могилу. А ведь они всё это начали, они всё это творили. Кстати, у меня дома, если помните, на стене висит картинка – на ней нарисованы теплые домашние немецкие тапки из войлока. Но если присмотреться, – видно, что тапки все испещрены свастикой. Эту картинку я повесил у себя потому, что она очень точно передает немецкий характер. Мы милые. И одновременно опасные.

Франк умолкает. Могу поспорить, что перед его глазами пролетают кадры из «Триумфа воли». Громкие приветственные крики, свастики, вскинутые в приветствии руки. Но это было тогда. Давно. Сейчас Поле Цеппелина – каменное недоразумение, где гуляем лишь мы и ветер. Я сажусь на холодную ступеньку и, задрав голову, спрашиваю Никласа, стоящего рядом и озирающего окружающее пространство:

– Ты общаешься с кем-то из детей других известных нацистов, осужденных на Нюрнбергском процессе?

Франк отрицательно мотает головой.

– Между тем, должна заметить, что Рихарду фон Ширахy ты противен, он не хочет, чтобы его имя упоминалось рядом с твоим.

– Так не упоминай. Сделай человеку приятно.

Мне становится неловко.

– Никлас, – говорю, – а для меня честь провести эти дни с вами.

Он говорит, глядя куда-то вдаль:

– Да всё нормально. Мне безразлично, что кто думает. Я выбрал такой путь и не пытаюсь сделать приятное и нашим и вашим, как это, например, сделал Мартин Борман-младший. Его книга о семье, направленная на примирение, пользуется огромной популярностью в Германии в отличие от моих книг, где о примирении не говорится ни слова. Насколько я знаю, сына Бормана часто приглашали школы, где он показывал фотографии своего отца, говорил, что знает, что тот был преступником, но он был и очень хорошим отцом. Я считаю, что так нельзя. Это означает отмену преступления. «Он был хорошим отцом» звучит в этом случае намного сильнее, чем то, что он приказал уничтожить несколько миллионов человек. И книги все эти были наполнены чушью: мы, мол, не знаем, в какой ситуации они находились, и так далее и тому подобное.

Мы поднимаемся медленно, потому что у Франка болит нога.

Я признаюсь ему, что пыталась связаться с Борманом, но его жена сообщила, что он настолько болен, что уже не встает с постели.

– Уууу, – сочувствующе кивает Никлас. – Не тот ли скандал с педофилией, что всплыл недавно, его подкосил?

– Что за скандал? – интересуюсь я. – Совращение несовершеннолетних? Он же католический священник!

– Они часто этим грешат, – хмыкает Франк. – В случае с Борманом это, возможно, клевета. Впрочем, речь о шестидесятых годах, когда он был миссионером и преподавал в австрийской семинарии для мальчиков. Поговаривали даже, что это не единичный случай с участием Мартина, что он детей избивал… много грязи. Не думаю, что это правда.

– А что тогда? С ним квитаются из-за его происхождения?

Никлас пожимает плечами:

– Возможно.

– Неужели вы с ним так ни разу и не виделись?

Никлас останавливается в нескольких метрах от трибуны Гитлера и… решительно разворачивается в обратную сторону, давая понять мне, что раздумал подходить ближе:

– Как-то в одном из интервью сын Бормана заметил, что с удовольствием бы познакомился с Никласом Франком. В «Штерне» стали на меня давить, мол, давай, это будет очень интересный материал, дети военных преступников и тому подобное. И кто-то из редакции позвонил Борману-младшему. Но, оказалось, что к этому времени он уже прочитал мою книгу об отце и сказал, что встречаться со мной нет смысла, поскольку я не способен на прощение.

– Так и сказал?

– Так и сказал.

– Мне казалось, – я стараюсь перекричать ветер, – что он более мягкий, более лояльный человек.

– Не ко мне, – отвечает Никлас, – к своему отцу. Пойдем обратно!

– И это все ваши знакомства в этой… среде?

Франк задумывается. И молчит с минуту. Начинает, улыбаясь:

– Был еще забавный контакт с дочерью Германа Геринга, Эддой. Как-то по просьбе одного американского писателя, который хотел инициировать нашу с ней встречу, я поддался уговором и позвонил Эдде. Он дал мне ее номер, в надежде, что она лучше примет эту затею, если ей позвонит человек не со стороны, а с такой же историей, как у нее. Я дозвонился, поздоровался, представился, она сразу же перебила меня и спросила, не тот ли я Никлас Франк, который написал столь

ужасные вещи про своего отца. Я ответил, что да, это именно я. Бах! И бип-бип-бип. Она бросила трубку.

Я не могу сдержать улыбку: как это похоже на Эдду! – Кто еще из них послал вас?

Никлас закусывает губу:

– Вроде бы больше никто. С двенадцати лет я жил в интернате, там же были сыновья Риббентропа, Адольф и Бертольд. Отличные ребята, очень спортивные в отличие от меня, что меня тогда весьма злило. Мы никогда не говорили о политике. Один был моложе меня, другой старше. А в интернате все держатся своей возрастной группы, так что у нас и там не было никаких контактов. И потом, после школы, тоже.

Я смотрю на часы. Мы гуляем по полям Цеппелина уже больше сорока минут.

Пора возвращаться. Да и делать тут, в самом деле, больше нечего.

– Меня, если честно, тревожит всего один вопрос, – говорю я Никласу, когда мы все, продрогшие, не могущие отогреться, обедаем в центре города в уютном баварском ресторанчике. – Если вы сможете дать мне исчерпывающий ответ, то для меня многое станет понятнее.

– Интересно, – говорит Франк не без иронии, делая большой глоток пива и промокнув салфеткой усы. – И что же это за вопрос, способный сделать из меня открытую книгу?

– Почему вы пили за мистера Вудса? – уточняю я. – За палача своего отца?

– Дался тебе этот Вудс! – фыркает Франк. – Я же сказал: хороший человек и профессионал.

– Профессионал, господин Франк, знает, как сделать так, чтобы сломать жертве шейные позвонки. Тот самый «хруст ломающегося позвоночника», который вы слышите, думая об отце… Это ведь придумка, да? Не было никакого хруста позвоночника.

Впервые я вижу Франка таким. Мне кажется, еще секунда, и он врежет мне наотмашь, ей-богу. Но он молчит. Руки трясутся, но вряд ли это от волнения. Бешенство. Определенно он в бешенстве.

– Я не понимаю тебя, – сдавленно шепчет он.

– Понимаете, – я решаюсь на откровенный блеф, – есть версия, что им, десятерым повешенным в Нюрнберге нацистским преступникам, отказали в переломе позвоночника. И что ваш мистер Вудс получил указание не проводить математических расчетов, дабы не сделать казнь быстрой, безболезненной и

гуманной.

– Я всё равно тебя не понимаю. – Франк, разъярившись было сначала, вертит в руках сигарету, но курить тут нельзя. – Поясни.

– Начну издалека. – Я жую салат и слежу за рукой Никласа: его пальцы беспокойно терзают сигарету, из которой на стол начинает сыпаться табак. – Не будучи профессионалом в области экзекуции, могу сказать, что есть несколько видов петли. Короткая петля, средняя петля и длинная петля. Короткая – это асфиксия, муки. Длинная – мгновенная смерть, при которой веревка зачастую отсекала повешенному голову. А средняя – это как повезет с палачом, да?

Франк вздрагивает, откладывает сигарету и складывает руки в замок.

– По-твоему, – говорит он, – Вудс, выполняя тайный приказ, повесил их негуманным способом, не рассчитав массы тела. Допустим. Я тоже склонен думать, что это так. Потому что никому из тех – пусть и многочисленных – свидетелей, что присутствовали на казни, в целом верить особо нельзя. Показания рознятся и поводу длительности казни. А к Вудсу я питаю нежные чувства, потому что этот человек принес моему отцу последние предсмертные страдания.

– Да, – киваю, – вы мстительный сын.

– Точно, – вдруг улыбается Франк и принимается за сосиски.

– Сделаю вид, что поверила, – говорю я.

Франк снова откладывает столовые приборы в сторону и промокает губы салфеткой.

– Поясни, – говорит он.

– Не имею права, – говорю я, продолжая жевать салат, – всё неофициально и может оказаться сплетней, а я не имею права покушаться на историю свершившегося много лет назад правосудия.

– И всё же? – Никлас улыбается натянуто.

– И всё же есть данные, кто из десятерых повешенных сколько времени провел в петле до смерти.

Никлас уже не улыбается. Я продолжаю жевать салат и говорить одновременно:

– Итак. Спортзал. Три эшафота. Но в рабочем состоянии лишь два. Работает всё так. Один «клиент» проваливается в люк с петлей на шее и барахтается там, внизу, скрытый от глаз наблюдателей. Второго в это время заводят в спортзал. Когда проваливается он, освобождают первую виселицу и вводят следующего. Ваш отец был номером… номером…

– Пять.

– Точно, пять. А кто был номером четыре, не помните, герр

Франк?

– Розенберг, – отвечает Никлас осторожно, – может, выйдем на улицу и перекурим?

Киваю, беру плащ, накидываю на плечи. Никлас выходит в пиджаке, оставив свой плащ в ресторане. Он молчит. И курит. И между затяжками произносит:

– Они, номер четыре и номер пять, мучились меньше остальных, такую версию я слышал от матери. Мы это часто обсуждали и с Норманом. Но правду узнать трудно. И если всё так, то номер четыре и номер пять… им сильно повезло. Я только не понимаю, почему повезло номеру четыре. Он же истинное чудовище.

– А почему номеру пять, понимаете? – спрашиваю я.

– Потому что пастор О'Коннор сказал, что раскаявшиеся грешники попадают в рай.

– А что еще говорил… пастор О'Коннор?

– Ну что-то о том, что облегчение мук раскаявшегося стоит того, чтобы помочь и какой-нибудь никчемной твари вроде Розенберга. Просто для отвода глаз.

Я не верю своим ушам:

– Он так и сказал?

– Я ни за что не могу ручаться, – говорит Франк, лукаво улыбаясь, а я понимаю, что это явно не слова пастора, – и больше ничего не скажу. Вудс был добрее к номеру четыре и номеру пять. Почему? А может, и это всё ложь – ее и на Нюрнбергском процессе было в изрядном количестве.

– Во всяких детективных триллерах часто говорят, что тело человека – главная улика. Но тела всех казненных и Геринга были сожжены. А где, кстати, пепел?

– Вроде бы спустили в канализационный сток, – выдыхает дым Франк.

– Я слышала более романтичную версию: прах, мол, развеяли над рекой… А где пастор?

– Пастор О'Коннор пропал, как я ни пытался его разыскать после войны, никто не мог сказать, где он. Пойдем, я хочу доесть, наконец, свои сосиски!

– Последний вопрос, ну самый-самый, – говорю я. Франк останавливается. – Неужели у вас не было ни одного совсем уж личного хорошего воспоминания?

– Было. В замке в Кракове я зашел к нему в ванну, он брился, пена на лице. И он пальцем провел по моей щеке и коснулся моего носа. И это было абсолютное счастье. Вот что нужно ребенку, чтобы обожать родителя, – легкое прикосновение отца.

Ранним утром следующего дня Никлас Франк уехал к себе домой. Мы простились с ним заранее ночью, простились, измученные им, но и безмерно довольные и благодарные за дни, что нам довелось провести вместе. С ними обоими – Никласом и его отцом, обернутым в полиэтилен и запрятанным во внутренний карман пиджака. Они поехали в Шлезвиг-Гольштейн, к себе в небольшой деревянный домик, к любимому трактору, горящей солнцем Эльбе и старенькому ноутбуку с сотнями оцифрованных фотографий. На прощание Франк сказал:

– Я однажды прочитал, что в старые времена, когда племена эскимосов воевали между собой, они сажали стариков на сани в качестве щитов. То есть если кого и убьют, то пусть в первую очередь это будут старики. Это было неправильно. Так же как и то, что делаю я, убивая раз за разом отца в своей книге, в своих словах, в своих мыслях. Обо мне отец заботился. Пусть он, может, и не испытывал какой-то любви ко мне, но по крайней мере сделал многое, чтобы я жил. И я живу.

«Я живу, ты понимаешь меня, ты слышишь меня: я живу! И старше тебя, чем был ты, когда умер. Я всегда хотел достичь этого. Я еще ребенком поклялся себе в этом. Даже если это всего лишь на секунду! А после этого я поклялся себе, что пойду на всё, чтобы освободиться от тебя, свиньи». Или – «чтобы вытеснить тебя, свинью, из себя».

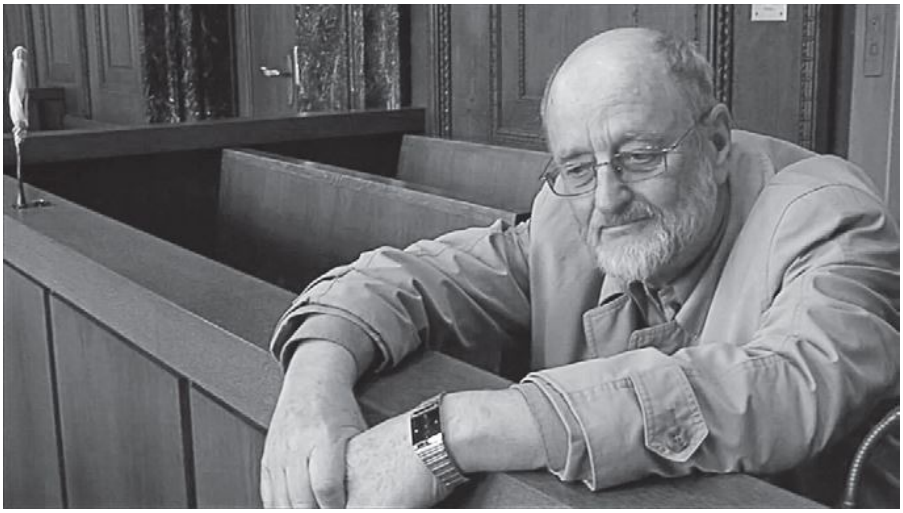
Теперь эти слова из книги Франка, ужаснувшие меня когда-то, прочитывались иначе, по-новому. Нет, они не стали казаться мягче, безобиднее, но что-то в восприятии моем переменилось. Словно слова эти обрели какой-то новый смысл. А может, за эти два с половиной дня, что я провела в Нюрнберге с Никласом, они просто обросли контекстом.

Гауляйтер Польши Ганс Франк

Семейное фото Франков, которое мать отправила Гитлеру, чтобы тот запретил развод

Любимое фото Никласа

Старший брат Норман Франк у портрета отца



Никлас на скамье подсудимых, где сидел его отец

Татьяна Фрейденссон, Никлас Франк и Сергей Браверман в зале суда № 600

Рихард фон Ширах
Жизнь после рагнарёка

> *Прочитав о привычках этих виноградных улиток, которые так вкусны, я почувствовал стыд за то, что съел столько этих нежных созданий, не принимая во внимание их чувств.*
>
> *Бальдур фон Ширах*[39]

Пухлые пальцы Рихарда фон Шираха с легкостью, мастерски вели перьевую ручку по странице – так, словно это была партнерша по танцу. Со стороны всё выглядело просто. Мне подписывали книгу. Но если бы вы повнимательнее присмотрелись, как автор делает это, то непременно отметили бы, что ручку этот человек держит не так, как, к примеру, вы или я. Он держал ее, словно кисть, за самую оконечность, а на листе бумаги проступали невероятной красоты китайские иероглифы, изящные и тонкие. Рихард, чуть высунув язык, дышал, как сенбернар, и отчаянно потел: мюнхенское солнце второго летнего месяца было к нему особенно беспощадно. Фон Ширах, плотный, похожий на шарик, породистый, как пес у какого-нибудь «породистого» заводчика, в оранжевой рубашке и кокетливом сером пиджаке мучился жарой, томился солнцем, плавился крупными каплями соленого пота, скользившими по выпуклым щекам и мощной шее. Но пиджак снимать он не собирался.

Часа полтора назад этот человек сказал мне: «Гитлер отнял у меня семью». В переносном смысле на эту фразу имели право миллионы немцев, переживших Третий рейх. В прямом смысле такое могли утверждать лишь единицы.

Передо мной, склонившись в ревматическом поклоне над книгой и шумно дыша, стоял человек, чьи мать и отец были близкими людьми Адольфа Гитлера. Семьей фюрера. А дед – личным фотографом и близким другом. Звали деда Генрих Гоффман, именно он сделал практически все известные фотографии и официальные фотопортреты Адольфа Гитлера, получив монополию на изображение фюрера (на этом он сколотил многомиллионное состояние, так как изначально только ему, старому другу, фюрер доверял делать свои фотографии). Дочь Гоффмана Генриетта, мать Рихарда,

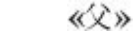
практически выросла на коленях у «дяди Адольфа». А отец Рихарда, Бальдур фон Ширах, в начале тридцатых годов был любимчиком Гитлера, его протеже. В какой-то момент Бальдура даже считали преемником фюрера, а Гитлер с легкостью простил ему инцидент, который в то время для любого другого человека обернулся бы неминуемой смертью. Когда фюреру донесли, что на одной из попоек Бальдур целился из пистолета в его огромный портрет и орал спьяну крамольные вещи, Гитлер даже выговора фон Шираху не сделал – виду не подал, что знает об этом.

Точка влево.

Точка вправо.

Откидная влево.

Откидная вправо.



так пишется китайский иероглиф с неблагозвучным названием «фу!». Произносить надо кратко, четко, четвертым этимологическим тоном. Если вы не знаете основ путунхуа, то представьте, что вам что-то так противно, что вы бросаете этот звук, отсекая звучание гласной «у». Этот иероглиф в биографии Рихарда интересовал меня больше всего. Скажу кратко: «фу» – это ключ к прочтению, символизирующий своими черточками руку, держащую прут. «Фу» – это отец. Отец, который – уж так сложились обстоятельства – никогда не заносил прут над сыном. Просто не мог. Помню, Рихард сказал мне: «Когда его судили в Нюрнберге, все считали, что отцу грозила смертная казнь, и поэтому один ирландский священник[40] тайно пронес меня под своей сутаной в тюремную камеру отца. Мне на тот момент было два с половиной года. Ума не приложу, как священник на такое решился, – судя по всему, отец действительно балансировал на грани вынесения ему смертного приговора. Как бы то ни было, именно в тюремной камере я впервые увидел своего отца, он посадил меня на колени. Разумеется, я тогда совершенно не понимал, в каком положении он находился. Меня очень занимало, почему у него не было шнурков, я видел лишь, что это добрый человек, мой отец».

«Добрый человек» Бальдур фон Ширах получил двадцать лет тюрьмы на Нюрнбергском процессе за преступления против человечности, и другой процесс – воспитания детей – прошел мимо него. Трудно сказать, сожалел ли он об этом, ибо, судя по всему, не питал сильных чувств ни к кому, кроме фюрера и себя самого. И если Гитлера он до середины сороковых годов превозносил, сочиняя во славу его оды (в прямом смысле слова), то себя воспринимал крайне серьезно, излишне, даже как-то болезненно.

Бальдур фон Ширах вошел в историю как глава гитлерюгенда, вождь самой мощной молодежной военизированной организации в Германии, а то и во всей Европе. Во времена расцвета в гитлерюгенде состояло более 10 миллионов человек.

В 1940 году Бальдур фон Ширах указом Гитлера был отправлен в Вену, стал гауляйтером австрийской столицы. Именно пятилетнее правление в Вене сыграло с Бальдуром дурную шутку – он, пытаясь угодить Гитлеру и очистить достославную столицу родины фюрера от евреев, спокойно принял идею их массовой депортации, итогом которой стало насильственное выселение 60 тысяч человек из Вены в Польшу. И если за идеологическое совращение молодежи в гитлерюгенд тюремный срок мог оказаться ничтожно мал (к примеру, Артур Аксманн, преемник фон Шираха на посту руководителя гитлерюгенда, отделался легким испугом, не получив никакого срока, что само по себе крайне несправедливо), то Вену фон Ширахуу прощать не собирались. К тому же близость к Гитлеру, которая когда-то была главным козырем Бальдура, теперь стала самой слабой картой в его колоде (так, считалось, что гросс-адмирал Дёниц, которого Гитлер в оставленном завещании упомянул как своего наследника, получил пятнадцать лет тюрьмы, в основном, по этой причине: ведь как человеку военному ему было проще всего списать свои действия на приказы главнокомандующего).

Рихард фон Ширах, младший сын Бальдура, родился в 1942 году. Он был четвертым ребенком в семье: у Бальдура была старшая дочь Ангелика, старший сын Клаус и средний Роберт (который погиб в автокатастрофе в конце 70-х). Клаус фон Ширах уже давно отказывается говорить об отце – это его принципиальная позиция в последние двадцать лет. Что касается старшей дочери Бальдура, то я даже не знаю, жива ли Ангелика Бенедикта 1933 года рождения.

Рихард, младший сын главы гитлерюгенда, вообще не высказывался о родителе публично – не считая того, что написал книгу «Тень моего отца». Видимо, он намеренно избегал выступлений перед камерой, иначе мне было бы известно, что он появлялся где-то в документальном кино. Если за столько лет человек не засветил свое лицо, скорее всего, он откажется сниматься, – и всё же я решила попробовать написать Рихарду подробное электронное письмо по адресу, который ценой невероятных усилий выудила у издательства, опубликовавшего книгу «Тень моего отца». В письме я также привела кое-какие

имена, которые дали бы понять Рихарду, что я «в теме» и вообще человек не случайный.

Ответ, который я получила от Рихарда, содержал так много слов, что я поначалу залипла в них, как муха в паутине. Впрочем, были две конкретные вещи, которые меня несколько огорчили. Рихард сказал, что готов к «сотрудничеству», но на определенных условиях:

а) гонорар в размере 1700 евро за несколько часов общения с ним, ибо он человек уважаемый и широко известный в узких кругах;

б) общение наше должно состояться непременно на нейтральной территории – он категорически против того, чтобы снимали в его мюнхенской квартире.

Оба пункта меня удивили. Рихард беден? Или невероятно богат и скуп? Или захотел заработать на имени отца? А тут еще и запрет снимать у него дома!

Я решила, что утром напишу Рихарду фон Ширахy вежливый отказ. Но. Опять. Не знаю. Что-то внутри меня зеленым ростком любопытства, взламывая потрескавшийся асфальт прагматизма, шептало, что, отказавшись от встречи с фон Ширахом, я совершу ошибку. Наверное, всё-таки стоило взглянуть на Рихарда, поговорить с ним, посмотреть, как он жестикулирует, как подбирает слова, во что одет, а остальное дорисуют за меня логика и интуиция.

Я написала: «YES».

Фон Ширах тоже не ожидал. В следующем письме он уточнил: «YES?»

Да, Рихард. Именно так. «YES».

А потом он написал мне это письмо:

«Уважаемая Таня!

Думая о документальном проекте, хотел бы поделиться некоторыми общими соображениями.

– В долгой и непростой истории отношений между нашими странами были периоды, когда эти отношения были выгодны обеим сторонам.

– Последняя война, начатая агрессивной Германией, принесла бесконечные страдания русскому народу, но и немецкому народу тоже. Может быть, с этой точки зрения российской аудитории было бы интересно получить общее представление о том, какую цену Германия за это заплатила… Оба народа испытали, что такое жизнь в условиях диктатуры и отсутствия свободы.

– Мы не должны позволять себе отрицать злодеяния

с обеих сторон, память о которых должна служить напоминанием и стимулом для того, чтобы никогда не допустить повторения подобного.

– Мы должны были все переосмыслить. И мы развили молодую, живую демократию, доросли до такого уровня, которым можно гордиться. Мы живем в открытом либеральном и социальном обществе, и я был бы рад, если бы российская аудитория поняла, что прошлое осталось в прошлом. В связи с этим я не могу понять заявление покидающего Германию российского посла г-на Котенева, который сказал, что в некоторых головах до сих пор живут мысли о холодной войне. Я, например, никогда не встречал таких людей. Это поколение вымерло.

Я считаю, что документальное кино не может воздействовать, если аудитория страны-победителя чувствует себя преданной (историей), если ей приходится видеть побежденный народ, живущий в комфорте, покое и достатке.

– Думаю, мы также должны представить некоторых немцев, которые – бескорыстно и не напоказ – посвящают значительную часть своего времени тому, чтобы помогать российским больницам, – поддерживают их материально или пытаются различными способами помочь тем, кто пострадал во время Второй мировой войны.

Жертвы есть с обеих сторон…

А теперь я пошел смотреть футбольный матч.

С уважением, Рихард».

За недолгий период нашей с Рихардом переписки я поняла, что он тяготеет к обобщениям, любит представлять немецкий народ от своего лица, избегает любых подробностей о себе. Также я научилась без ошибок и с первого раза писать *von Schirach*, не забывая о коварной второй букве «с» перед второй «h», а также о приставке «фон», которая несомненно льстила ее обладателю. Памятуя, как серьезно отец Рихарда относился к этой приставке, я не рискнула опускать ее во время общения с сыном, вспомнив, как Бальдур фон Ширах обличал своего товарища по скамье подсудимых фон Риббентропа как раз из-за этих трех букв – забавно, что эта мелочь занимала Бальдура во время Нюрнбергского процесса. По крайней мере вот что он говорил тюремному психологу Густаву Гилберту про министра иностранных дел Третьего рейха.

«“Мы всегда язвили по этому поводу… Да-да, он

действительно фальшивый дворянин, так и есть. После Первой мировой войны он позаимствовал от каких-то там своих сверхдальних родственников приставку «фон». Это были даже не родственники… Очень забавная история!" История, без сомнения, забавная. Тем более что и Ширах – тоже "фон". Сомнений нет, у Шираха не мог не вызывать неприязни чванливый выскочка Риббентроп, но источником ее была отнюдь не проводимая им агрессивная политика»[41].

Ну да Бог с ними, с «фонами». В письмах от Рихарда я заметила занятное – внизу, в постскриптуме, Рихард непременно сообщал, где он находится и что делает, хотя это была деловая переписка по электронной почте, а не дружеские смски. Вот что было в постскриптумах: «кстати, я в читальном зале мюнхенской библиотеки», «а знаешь, я на концерте», «я сейчас за городом, и у меня тут небольшие перебои с Интернетом». Из этих приписок я должна была сделать вывод, что Рихард а) человек образованный, б) человек активный, с) человек технически продвинутый, который, несмотря на свой совсем не юный возраст, может, сидя на концерте, вести переписку.

За несколько дней до запланированных с ним съемок в Мюнхене я получила коротенькое письмо. На этот раз вместо указания места своего нахождения он написал: «До скорой встречи».

> *«О'кей. Погода будет отличная, и я хотел предложить, чтобы наша первая встреча состоялась прямо в центре города, недалеко от Фельдхернхалле, в Хофгартене, который был частью бывшей резиденции королевской семьи Баварии. В этом общественном месте, в тени деревьев, мы сможем спокойно насладиться чашкой чая, прекрасной архитектурой и совершить экскурс в историю.*
>
> *До скорой встречи,*
>
> *Рихард фон Ширах».*

Тень деревьев. «Тень моего отца». Кругом тени. Прямо театр теней, честное слово.

После того как мне отказали в «интерьерных съемках», было уже всё равно, где снимать. В Хофгартене так в Хофгартене. На всякий случай я все-таки влезла в поисковик «Гугл», чтобы заранее посмотреть, как в кадре будет выглядеть кафе, в котором мы с Рихардом должны выпить по чашке чая, начав встречу.

Это было кафе «Хек», располагавшееся на углу

Людвигштрассе и Галериштрассе. Проще говоря, то самое место, где по вечерам сиживал Адольф Гитлер (тогда еще не столь широко известный) после своего заключения в тюрьме в Ландсберге в 1924 году. Любопытно, хотел ли таким выбором места встречи Рихард на что-то намекнуть? Или тут, в Мюнхене, куда ни плюнь – всё места Гитлера, и мне уже мерещится, что сын фон Шираха выплетает какую-то тонкую паутину намеков на собственную связь с историей Германии и фюрером?

Вход в кафе есть с Одеонсплац. Пройдя заведение насквозь, вы оказываетесь в начале Хофгартена, на летней веранде, где расположено много-много-много белых деревянных столиков, врытых ножками в песок. Именно здесь я должна встретиться с потомком рейхсюгендфюрера и гауляйтера Вены Бальдура фон Шираха.

В означенный день мы с Сергеем и оператором приехали на место встречи – пораньше, как и положено, чтобы осмотреть окрестности перед битвой. Фон Ширах появился строго в два, когда солнце приступило к активному истреблению всего живого вокруг.

Рихарда я узнала сразу, хотя никогда раньше не видела даже на фото, – достаточно было вспомнить, как выглядел его отец Бальдур фон Ширах: нет, портретного сходства не наблюдалось, и тем не менее, в первую же секунду любой, кто когда-нибудь видел отца этого человека на кадрах кинохроники или фотографиях, понял бы, что перед ним его сын. Надо признать, что после двадцати лет в Шпандау, которые высосали из заключенного № 1 все жизненные соки, Рихард на фоне папы казался наливным яблочком. Перед шустрым фон Ширахом шествовал его живот – упакованный в оранжевую рубашку, живот этот выкатывался именно что властным апельсином, раздвигал собою полы пиджака и превращал своего обладателя в пожилую, толстую и глубоко беременную фрау. Да, женственность просматривалась в облике сына – точно так же, как пробивалась через мундиры, которые носил его отец. Бальдур фон Ширах стеснялся своей мягкости, пытаясь спрятать ее за выправкой, но это было не так-то просто.

Рихард ростом не выше метра семидесяти пяти, с развевающейся на горячем ветру густой шевелюрой, окрашенной временем в благородный серебряный цвет. Волосы его были разложены на левый пробор и ниспадали по обеим сторонам лоснящимися ушами лабрадора, крупными завитками. Что еще было выдающегося? Пожалуй, второй подбородок. Крупный нос, который вполне гармонировал с благородной внешностью Рихарда, с одной стороны, и делал его вкупе с подбородком

похожим на большую сытную индюшку, – с другой. Губы фон Шираха, по краям которых, стоило ему улыбнуться, появлялись глубокие засечки, превращались в математический отрезок. Когда Рихард увидел меня, губы его расползлись в кривоватой «фамильной» улыбке, руки распахнулись в стороны, как дверцы шкафа; в его взгляде отчетливо читался восторг, лукавство и ностальгия по временам, когда дамы были в теле. На тот момент я тоже была в теле – и фон Ширах даже причмокнул губами от восторга. Потом кивнул – медленно, так, словно это был и не кивок, а легкий поклон. Провел пухлой ладонью правой руки по своему пиджаку (в другой руке он сжимал толстую книгу), – неужели ладони вспотели?

Выждав секунд десять и измерив меня взглядом, Рихард вдруг вторгся в мое личное пространство, демонстративно презрев протянутую для пожатия руку и смачно приложившись губами к обеим моим щекам.

«Ого, какой напор!» – пронеслось у меня в голове. Сделав шаг назад, я глубоким кивком передала фон Шираху всё мое к нему почтение:

– Рада познакомиться, герр фон Ширах.

– Можно Рихард. Хотя… для тебя я слишком стар, понимаю. Называй, как тебе удобно.

– Спасибо… – я чуть помедлила, – герр фон Ширах.

Рихард чинно поздоровался с Сергеем и оператором и решил поболтать со мной, пока те готовили оборудование. Плюхнулся с размаху на стул, который под его весом издал протяжный стон. Стол тоже получил удар – мой визави обрушил на него толстую книгу в суперобложке. Я поняла: для меня принес. Я прочитала «Der Schatten meines Vaters»[42]. Пухлая рука Рихарда мягко накрыла книгу, на которой был изображен его отец с выброшенной вперед рукой и – отдельно приставленной иллюстрацией – мальчик в шортиках, подозрительно похожий на Рихарда семидесятилетней давности.

– Значит, вы китаевед, переводчик с китайского и писатель? – уточнила я у того, кто, судя по всему, олицетворял ту самую «тень своего отца».

«Тень отца», вовсе не бесплотная, а крепко в теле, кивнула. И хотя Рихард пытался казаться невозмутимым, я заметила, как его глаза шустро скользнули по мне, чтобы понять, производит ли он должное впечатление.

Я спросила:

– Слышала, есть такой писатель, Фердинанд фон Ширах. Он родственник или… самозванец?

Мой собеседник помрачнел лицом и с нарочитым интересом

погрузился в изучение меню:

– Ага, минеральная вода. Нет, всё-таки кофе. А ты?

– И я, – ответила. – Так что по поводу Фердинанда? Самозванец?

Рихард тихо рассмеялся: получилось как-то жалко и неубедительно. Он и сам это понял. Запрокинул голову, подставив лицо под палящие лучи мюнхенского солнца, потом провел рукой по волосам:

– Фердинанд – это мой племянник, очень шустрый малый.

– Племянник? – уточнила я.

– Сын покойного брата Роберта, – пояснил Рихард спокойно. – Или лучше взять минералку на такой жаре? Нет, наверное, как и ты, буду кофе.

Кажется, Рихарду не хотелось говорить о племяннике. А мне, как назло, сразу захотелось узнать – отчего такая странная реакция у дяди на имя Фердинанда:

– А что значит шустрый малый? Успешный? Разворотливый?

– Очень разворотливый. Фердинанд был успешным адвокатом. Занимался уголовным правом. И, надо признать, в этом здорово преуспел. Потом он решил написать книгу, взяв за основу случаи из своей практики. И – вуаля – теперь он автор бестселлеров. Публика любит всякие убийства, кровь… Вот мемуары – они уже слишком сложны для восприятия масс, слишком далеки от народившихся новых поколений. А Фердинанд широко известен в Германии среди массового читателя, хотя его авторский стиль… Ну всё равно он хороший человек.

Рихарду, в голосе которого звучала легкая надменность, как мне показалось, не слишком понравилось, что я столько внимания уделила какому-то Фердинанду, когда он, такой прекрасный, сидел передо мною и пытался принять позу, которая позволяла бы ему смотреться выгоднее: он то подпирал голову рукой, то запрокидывал ее, то откидывался на спинку стула.

Фон Ширах был несколько обескуражен моим интересом к Фердинанду – скажу честно, плевать я хотела на племянника, мне просто любопытно было, отчего столько эмоций появилось на лице дяди при упоминании Фердинанда. С первых минут мне стало понятно, что Рихард фон Ширах из тех, кто заранее готовится ко встрече, продумывает свое выступление, выстраивает его, накидывает себе тезисы и запоминает их логическую последовательность. Обычно нет ничего занудливее такой беседы. Я была счастлива, что привела фон Шираха в легкое замешательство. Он завис. И это давало мне надежду на то, что он сможет рассказать что-нибудь интересное. Пока нужно

было окончательно вымучить его Фердинандом, отбив желание говорить по написанному.

– Значит, вы не единственный писатель в своей семье? – Я всё сильнее подталкивала Рихарда к пропасти импровизации, куда он боялся сорваться, балансируя на краю.

Нехотя он ответил:

– Нет. Моя дочь Ариадна и сын Бенедикт – тоже писатели. И тоже довольно известные. Может быть, они чуть уступают Фердинанду, ну так он и старше их. Еще одна племянница тоже пишет, но она так, не делает на это ставку.

– Неужели они все пишут под фамилией фон Ширах? – искренне изумилась я, подумав о том, что, конечно, раскрученным именем отца и деда, наверное, торговать в Германии выгодно, иначе такого обилия, можно даже сказать, переизбытка плодовитых фон Ширахов не наблюдалось бы на книжном рынке.

Рихард, задетый пренебрежительным равнодушием официантки и пытаясь занять руки, невесело хохотнул:

– Бенедикт, мой сын, сменил фамилию.

– Взял литературный псевдоним, – поправила его я.

– Нет-нет, – вдруг закудахтал Рихард, уже меньше сопротивляясь вектору, который я задала разговору, – он сменил паспорт. Потому что просто не хочет быть фон Ширахом. И с дедом ничего общего иметь не желает, а я не могу давать ему советы в столь щепетильном вопросе. Он вообще очень самостоятельный молодой человек – ездит по миру, живет где нравится. Сейчас вот, к примеру, в Барселоне.

– Здорово, – сказала я, – а что его заставило сменить фамилию? Вот так просто решился? Или как это происходило?

Фон Ширах задумался. Через несколько секунд он, отчаявшись расстрелять взглядом официантку, медленно заговорил:

– Могу лишь предполагать, что… это случилось давно, после его первого посещения Освенцима.

– Вы возили его в Освенцим? – ахнула я.

– Да я сам там… не был, – сказал Рихард и тут же охнул, поспешив добавить: – Нет, не потому, что не хочу, просто не получалось как-то. Несколько лет назад я был на конференции в Кракове и рассказал об этом сыну. Тот сразу же спросил: «Как же так, ты был в Кракове и при этом не заехал в Освенцим?!» Я ответил, что не мог, что был занят. «Как? Быть в Кракове и не побывать в Освенциме?! Ты обязательно должен съездить туда! Обещай мне!»

– Вы пообещали?

– Да, – серьезно кивнул Рихард, – разумеется. Каждый немец обязан там оказаться.

Вот ведь выверт истории. Всего-то семьдесят— восемьдесят лет назад нацисты считали, что там должны оказаться евреи, цыгане, славяне. А теперь – «каждый немец».

– Герр фон Ширах, так когда ваш сын оказался в Освенциме первый раз?

– Много лет назад он был там со своим классом, когда учился в школе. Кажется, они там пробыли пять дней.

– Пяяять?! – вырвалось у меня невольно.

Рихард пожал плечами:

– Мне тоже показалось, что пять дней это многовато, потому как такое может обернуться пыткой для молодых неокрепших умов. После этого сын начал активно интересоваться, имел ли его дед Бальдур отношение к Освенциму…

– Нууу, – задумалась я, – чисто формально не имел, наверное. Если пытаться оправдать его. Хотя, разумеется, все были причастны.

Фон Ширах согласно кивнул:

– Мой сын тоже так посчитал – особенно когда узнал, что дед его «очищал Вену» от евреев. И теперь снова настаивает, чтобы я всё-таки туда, в Освенцим, съездил! Кстати! – Рихард вдруг необычайно оживился, заерзав на стонущем стуле. – У нас тут в Мюнхене год назад открыли синагогу!

– И? – спросила я, удивляясь, как лихо повернул разговор.

– Ее сознательно построили в очень важном историческом месте. Всё это попытки хоть как-то улучшить, исправить нашу ужасную историю. Конечно, полностью ничего не исправишь, но мы прикладываем усилия в этом направлении. Вот что важно. Я там уже был, но когда сын приедет меня навестить, мы обязательно сходим с ним туда вдвоем. А ты, кстати, была в Освенциме? – отчего-то спросил меня Рихард.

– Нет, – сказала я спокойно.

Ширах уставился на меня в священном ужасе, но уже через долю секунды его отпустило. Он вспомнил, что я не немка. А значит, мне можно. По крайней мере это я прочла по его лицу. Он продолжил:

– Это поколение, следующее, поколение внуков, – оно вообще не интересуется рейхом. Точнее, интересуется, но прикладно, воспринимая эту часть истории как чудовищную и опасную глупость. Правда, я до сих пор не понимаю, зачем некоторые выносят сор из избы, раз уж им так неприятно прошлое. К примеру… – Фон Ширах задумался, стоит ли говорить дальше, но его губы уже задвигались по инерции, и звуки сами срывались с

них, слепляясь в слова: – Фердинанд, племянник, иногда путает вымысел и правду. Так бывает у писателей, особенно когда много стилизуешь реальные истории, воссоздавая несуществующие в реальности нюансы и причинно-следственные связи. Наверное, он несколько этим увлекся. В каком-то интервью Фердинанд рассказал про деда: тот, мол, в детстве общался с ним пару лет всего, – и этого ему хватило с лихвой. Сказал, что дед был мизантропом, который избегал людей, и в то же время во всем хотел быть лучшим. Они играли в какую-то настольную игру, и Бальдур фон Ширах постоянно выигрывал – это ведь нормально, естественно, когда взрослый человек обыгрывает ребенка, а не поддается ему, уступая: это развивает мышление, заставляет думать, бороться на равных. Фердинанд сказал примерно так, что однажды он понял принцип, единственный принцип, который его дед использовал, чтобы обыграть его, и обыграл деда. И Бальдур с ним больше не играл. Я не согласен. Нет. Возможно даже, что Фердинанд намеренно придумал эту историю, чтобы пнуть деда лишний раз и лишний же раз напомнить публике о своем с ним родстве. Дед-то его был неординарным человеком и, возможно, после двадцати лет заключения в камере-одиночке он стал нелюдим, не мог легко ладить с людьми, но эта история – плод воображения талантливого и весьма успешного беллетриста. Так же, как и то, что дед вообще не очень-то любил с внуками возиться, – разумеется, он любил своих внуков, разве может иначе быть? Отсюда его желание говорить с ними о высокой литературе, музыке…

– Мне казалось, – осторожно начала я, – внуки были очень малы.

– Да, то были не мои дети, мои тогда еще не родились, – вздохнул Рихард, – они появились на свет только после смерти отца. Так что никакой привязанности к деду у них нет…

– Может, продолжим разговор про фамилию? У вас столько писателей в роду! Кто бы мог подумать!

Последние фразы были сказаны не без иронии, которую слух моего собеседника, к счастью, не уловил.

Фон Ширах, ерзая на стуле, решил занять свои пухлые руки чашкой кофе, которую только что принесли. Он сделал большой глоток, поставил чашку на блюдце и заговорил:

– Сегодня вы всё меряете тем, раскручена фамилия или нет. Но такие фамилии, как моя, – они особенные. Для многих они связаны с войной, кровью, страданиями. Меня раньше постоянно спрашивали, как живется с такой фамилией и почему я ее не сменил. Должен сказать, что фамилия была последним, что меня

связывало с прошлым, с тем, что у нас было. Ведь мы всё потеряли. Гитлер и моя семья – они долго были единым целым. А потом – бах! – и после войны всех разметало по Германии. Дедушка с бабушкой по отцовской линии оставались в русской оккупационной зоне – в Веймаре. Дедушка, Карл Бейли фон Ширах, там и умер, я так с ним и не увиделся. Отец – в тюрьме. Мать – на допросах. Дед – тоже. Семья распалась на фрагменты, мелкие осколки, была практически уничтожена. Собственно, я так и не знал семейной жизни. Я рос в государственных интернатах и видел себя эдаким Оливером Твистом, провел несколько лет в детдоме. Было потеряно всё, не было ничего, с чем можно было бы идентифицировать себя – даже собственного жилья не было, домашнего очага. И отказ от фамилии, от последнего, что связывает тебя с прошлым, просто был невозможен. Фамилия прирастает к тебе. И это уже вопрос характера, личности, как ты будешь с ней жить. Но я не слишком задумывался над этим вопросом. Я помню, что и в школе у меня не было практически никаких проблем из-за фамилии. Мне кое-кто из учителей сочувствовал. Я даже был выбран школьным спикером, у меня со всеми были отличные отношения. По крайней мере я никогда не страдал от того, что у меня такая фамилия. Я не знаю, что происходило, что говорилось за моей спиной. Но сегодня можно сказать, что всё это прошло, что это принадлежит истории, и я не могу представить, чего бы я добился сменой фамилии.

– Но вы же сами сказали, что она ассоциируется с войной, кровью…

Взгляд Шираха забегал по людям за столиками кафе и остановился, наконец, на мне:

– Я сказал – у многих. Не у меня. Фамилия эта существует уже почти семьсот лет, я могу пойти в любую библиотеку и взять книги, написанные моими предками сотни лет назад. Это тоже своего рода традиция, которую не может прервать единичный случай карьеры в Третьем рейхе.

– Ну предположим, – сказала я с сомнением. – А правда ли, что дети и внуки тех нацистов, что были в близком окружении Гитлера, мало того, что сохраняют фамилии, но и тесно общаются?

Рихард вскинул брови.

– Это кто вам такое сказал?

– Это мое предположение.

– А-а-а, – протянул он с едва заметным облегчением, – на самом деле, я подумал, что вы слышали что-то о моем брате Клаусе. Мюнхен слухами полнится. Одно время, лет сорок—пятьдесят назад, он дружил с Эддой Геринг, дочерью

рейхсмаршала.

– И что он рассказывал о ней?

– Да ничего особенного, говорил, что она живет скромно, одиноко, в своей квартирке далеко от центра. Что у нее в гостиной висит портрет отца во всем маршальском облачении. С крестом. – Рихард поднес пухлую руку к шее, показывая место, где висел крест у Геринга. – Но всё это тлен. Это глубоко несчастная женщина, которая нуждалась в помощи, поддержке, в том числе и финансовой. Но Клаус сказал, что с годами ее характер только ухудшился – не знаю, общаются ли они теперь вообще. Что касается контактов с детьми других высокопоставленных нацистов, то нельзя сказать, будто эти дети образуют некую сообщество и поддерживают тесные связи, – это абсурд. Всё наоборот. Я бы сказал, что мы скорее сторонимся друг друга. Несколько лет назад я, к примеру, совершенно случайно познакомился с одной родственницей Гиммлера, которая написала книгу о братьях Гиммлерах, о Генрихе и его брате. С ней мы встретились на каком-то конгрессе, где положено жать друг другу руки. Ну я пожал. И что? У меня не было ни желания, ни потребности знакомиться ближе. Есть те, кому я вообще никогда не подал бы руки, – омерзительные люди вроде Никласа Франка, сына генерал-губернатора Польши. Это патология – так воевать против своего покойного отца. Такие люди мне не интересны. Меня больше интересуют историки, с которыми можно говорить о конкретных обстоятельствах, обо всем том, что выходит за рамки «преступления и наказания» и представляет собой исследование фактов, – не с целью вынесения оценок или приговоров, а исключительно ради выяснения истины. Вот что является для меня главным мотивом.

…Поэт, мечтатель, романтик и одновременно с этим четкий партийный функционер Бальдур фон Ширах дал второе дыхание маленькой затухающей организации гитлерюгенд. Вопреки распространенной ошибке, нужно отметить, что Бальдур не был основателем гитлерюгенда, но быстро избавился от «лишних» элементов, включая вождя организации Курта Грубера, который к 1930 году привлек в нее 35 тысяч человек. Дело было так: в 1931 году гитлерюгенд перешел под контроль СА – для Бальдура фон Шираха, который лично знал главу штурмовиков Эрнста Рема и имел с ним добрые отношения, это была отличная возможность занять пост главы молодежной организации: Ширах сделал всё, чтобы дискредитировать Грубера, который возглавлял гитлерюгенд. Гитлер изумился, зачем Бальдуру это «тухлое» место. Но Ширах твердо стоял на своем: он создаст самую крупную молодежную организацию – и точка. Тридцатого октября

1931 года Гитлер назначил фон Шираха рейхсюгендфюрером нацистской партии и отдал ему в подчинение гитлерюгенд. И не прогадал.

Известно, что в гитлерюгенде большой упор делался на физическую подготовку, и тут новоиспеченный ее глава, которому на тот момент было двадцать четыре года, мог мало чем похвастаться – и тем более послужить кому-то примером: фон Ширах был слишком тучным и неповоротливым: это хорошо видно в фильме Лени Рифеншталь «Победа веры», предварившем появлением «Триумфа воли». Судя по всему, режиссер намеренно оставила в фильме фрагмент, как Ширах, стоя с Гитлером на трибуне (фюрер выступал перед стадионом, заполненным молодежью), сносит своей крупногабаритной попой фуражку фюрера, которую тот положил на край кафедры. За это Гитлер – что тоже можно увидеть на пленке – бросает на своего протеже испепеляющий взгляд.

Бальдур «был скорее эстет, чем аскет, и предпочитал роскошный гостиничный номер, а не лагерную палатку и горшок с гороховой похлебкой. Упорно ходили слухи о его якобы гомосексуальных наклонностях и шикарно обставленной спальне в белых тонах»[43]. Уж не знаю насчет его наклонностей и спальни в белых тонах, но, окрыленный Гитлером, отец Рихарда даже с фотографий взирал на современный мир как-то отстраненно, прожигая бумагу светом своих глаз.

Об отце, точнее, о его биографии, как и о биографии деда Гоффмана, Рихард говорил с удовольствием, в котором, однако, ощущался легкий привкус горечи: что именно придавало этот привкус рассказу моего героя, я сразу разобраться не могла. И тем не менее складывалось ощущение, что фон Ширах скорее гордится своим отцом, чем нет:

– Мой отец родился в Веймаре, в семье тогдашнего директора главного, можно сказать, театра Германии. Это была очень культурная семья. У семьи был большой дом, прислуга, был даже отдельный слуга, который следил за серебряной посудой. Мать была американкой, родилась в аристократической семье. Дома говорили по-английски. Отцу перед школой даже пришлось как следует учить немецкий. Каждый день ходили в театр. Семья была музыкальной. Сестра деда по отцу была певицей, выступала на фестивалях в Байройте, исполняя Вагнера. А мой отец уже с ранних лет, еще будучи школьником, возлагал надежды на Гитлера. Это было очень необычно. В четырнадцать лет он написал стихотворение в честь Гитлера, отправил его в Мюнхен, и оно было опубликовано в партийной газете. Гитлер в ответ прислал ему свою фотографию с автографом в серебряной рамке.

Бальдур фон Ширах был назван родителями в честь ни больше ни меньше одного из высших богов скандинавско-германского эпоса, Бальдра, символизирующего весну и свет. Фон Ширах получил имя бога в искаженном виде, Бальдvр, – наверное, это и стало причиной того, что весь коричневый пантеон оказался на скамье подсудимых. По логике каких-нибудь эзотериков, разумеется.

«Именно в кабинете Гиммлера я впервые увидел молодого Бальдура фон Шираха. Что подвигло его родителей дать ему такое романтическое имя, я не знаю. Но этого было достаточно, чтобы уничтожить его до конца жизни»[44].

– Ты знаешь миф про Бальдра? – спросил меня Рихард.

– Знаю, «Младшая Эдда», – ответила я, удивив ответом саму себя.

Фон Ширах лишь удовлетворенно кивнул: мои познания в области скандинавской мифологии, которую на журфаке МГУ преподавала славная Нинель Ивановна Ванникова, вымуштровав нас, студентов, так, что мы едва ли на древнескандинавском не говорили, он воспринял как само собой разумеющееся. Позволю себе кратко и вольно пересказать этот миф.

Сын высшего бога, Одина, Бальдр был настолько прекрасен и телом и душой, что от него исходило сияние. Коварный бог Локи, обитающий в одной мифосистеме с Бальдром, прослышал о пророчестве, гласившем, будто бы прекрасный бог погибнет от рук собственного брата, слепого Хеда. Но мать прекрасного бога, Фригг, обошла девять миров и взяла клятву с каждого растения, животного, камня, что они не причинят вреда Бальдру. Не взяла клятву она только с омелы, растения, из веток которого предприимчивый Локи, выведав хитростью правду у Фригг, сделал стрелу и отдал слепому Хеду, направив его руку в сторону брата. Хеда за непредумышленное убийство брата жестоко покарали, а прекрасный Бальдр попал в царство мертвых, из которого у него, однако, был выход. По блату. Он же бог, в конце концов, а не простой смертный. В общем, условие было такое: если весь мир без исключения будет скорбеть по Бальдру, он вновь вернется в мир живых. И главные боги, асы, стали обходить землю с этой вестью – в итоге скорбел весь мир. Но операция по спасению Бальдра была второй раз бессовестно сорвана упорным Локи, который обратился в великаншу Токк, эгоистично заявившую, что плевать ей на Бальдра и скорбеть по прекрасному богу она не собирается. Так бог весны и света остался в царстве мертвых навсегда. Точнее, до того момента, когда наступит рагнарёк, – и тогда он вновь вернется.

Я спросила у Рихарда, не может ли он сопрячь этот миф с

историей своего отца.

Фон Ширах задумался, тяжело выдохнув:

– Невозможно.

– Тогда я помогу. – Мне нужно было разговорить Рихарда, который, уже почувствовав, что я ослабила узду, начал было разглагольствовать о вине Германии. Нет. С виной Германии придется погодить. Я хочу больше узнать о другом: – Итак, ваш отец довольно рано попал на Олимп…

– Асгард, – поправил меня Рихард, – в скандинавской мифологии боги жили в своем городе под названием Асгард.

– Асгард, – повторила я, как школьница, – итак, Бальдур фон Ширах, выходец из аристократической семьи, в юности познакомился с Гитлером и воспылал к нему платонической любовью, начал посвящать стихи и славить будущего фюрера…

Рихард подхватил:

– Лет в шестнадцать, после фотографии, той, что моему отцу прислал Гитлер в благодарность за стихи… Нет, все-таки ирония судьбы. Эта фотография была сделана человеком, которому суждено было стать моим дедом и тестем моему отцу… Дед мой, Генрих Гоффман, был замечательным фотографом, имел многочисленные награды за свои работы еще задолго до знакомства с Гитлером. Будучи пятнадцатилетним мальчишкой, он отправился учиться фотографии – сначала в Германии, затем в Париже, где снимал для журналов мод, и в конце концов попал в Лондон к известнейшему фотографу Эмилю Отто Хоппе. После завершения учебы он вернулся в Мюнхен и открыл фотоателье. И с Гитлером он познакомился, получив заказ на съемку: фотографий Гитлера до этого еще не было совсем. И одну из фотографий, отпечатанных у деда, Гитлер послал моему отцу. Вот как было! С ума сойти! Получив фотографию от Гитлера, мой отец сразу же прочитал «Майн Кампф» и уверовал в то, что Гитлер сыграет решающую роль в судьбе Германии. И отец, этот школьник, пригласил Гитлера в гости в Веймар. И Гитлер приехал. Он приехал вместе с будущим товарищем отца по Шпандау – с Рудольфом Гессом…

– Ой, можно сразу вопрос про Гесса? – не удержалась я, хотя обычно героев не перебиваю, но выражение самодовольства на лице Рихарда мне захотелось стереть. Мне же драма нужна, страдания – или нет?

– Я не знаю, почему он полетел в Англию, – отрезал Рихард, не дослушав мой вопрос до конца, и немного надулся.

– Потому что работал на английскую разведку, – сказала я первое, что пришло в голову, и уставилась на фон Шираха. На его лице с капельками пота отчетливо проступило недоумение. Он

спросил:

– Так это, значит, правда?

– Конечно, – ответила я не без злобного азарта. – Именно поэтому ему на Нюрнбергском процессе вынесли приговор – пожизненное заключение. Убить не могли. Но и правды сказать не позволили. Пришлось Гессу в сумасшедшего играть. И «коллег» раскалывать в Шпандау.

– Отец мой просидел с ним в одной тюрьме двадцать лет, но, думаю, так до конца про Гесса ничего и не понял… Значит, МИ-6? Вольф-Рюдигер, сын Рудольфа, во всех интервью говорил, что отца убила служба МИ-6. Выходит, своего убили? – На лице фон Шираха отобразилась полная растерянность.

Пришло время остановиться. Я сказала:

– Да нет, всё же не думаю, что это правда. Рихард, вообще у меня к вам был вопрос про Гесса, но не про Рудольфа, а про Вольфа-Рюдигера. Уж с ним-то вам, наверное, доводилось общаться?

Фон Ширах сложил руки в пухлый замок, положил его передо мною на стол. Он вздохнул:

– Нет, может, когда-то очень давно. Я ничего не помню. Знаю, что Вольф-Рюдигер давно умер. Лет семь-восемь назад, кажется. И все знали, *что* именно его доконало. Он же всю свою жизнь посвятил вызволению отца из тюрьмы Шпандау. – Фон Ширах вдруг замолчал, тяжело вздохнул и снова продолжил: – Мне кажется, он был подвинут на своем отце. И, как и все мы, ничего толком про него не знал. Вольф писал письма во все страны, политикам, просто влиятельным людям, говорил им, что отца надо выпустить. Что это издевательство – держать огромную тюрьму ради одного узника…

Я должна напомнить, что Бальдур фон Ширах и Альберт Шпеер были последними осужденными нацистскими преступниками, которые, отсидев весь срок в Шпандау, покинули ее пределы. В день, когда их отпустили, Рудольф Гесс остался единственным узником громадной тюрьмы: он получил пожизненное заключение и провел в Шпандау еще 21 год – до самой своей смерти.

«Сегодня, в последний день, Гесс и Ширах до самого вечера вместе гуляли в саду. Гесс явно передавал сообщения для своей семьи… Когда я выразил сомнения, что Ширах передаст сообщения его семье, Гесс взорвался. Он в ярости накинулся на меня:

– Как вы можете подозревать нашего товарища Шираха в таких вещах!..

Позже я узнал от Вольфа-Рюдигера Гесса, что в последующие

годы Ширах ни разу не навестил фрау Гесс и ни разу не связался с сыном Гесса»[45].

Рихард фон Ширах продолжал:

– Сын Гесса, Вольф, даже организацию создал – что-то типа «Общества освобождения Рудольфа Гесса», которую, кажется, потом признали экстремистской. Но больше я ничего не знаю, кроме того, что у сына Гесса – трагическая судьба. Он умер, кажется, от инфаркта – по крайней мере, я прочитал где-то в Интернете.

– Вам не жаль его? – спросила я.

Фон Ширах пожал плечами:

– Это было его право – хлопотать за отца, посвятить себя ему.

– Но отец его умер аж в 1987-м!

Ширах подавил глубокий вздох и уныло посмотрел на свою опустевшую чашку кофе:

– Ну да. А сын, вместо того чтобы успокоиться и уже заняться своей семьей – у него двое или трое детей, – затеял суд с Великобританией! Невообразимо! Он обвинял страну, точнее, ее спецслужбы, что они убили его отца.

Я посетовала:

– Не успела с ним встретиться, к сожалению, но, как я понимаю, он был странным человеком. Он утверждал, будто не было газовых камер, а узники концлагерей работали за зарплату, так что жаловаться им не на что. Никто почти не погиб: трупы на хронике – это советская пропаганда, а Гитлер был прекрасным управляющим.

– Омерзительно. – Рихарда передернуло. – Хорошо, что я не стал его другом.

– А был шанс? – вцепилась я в собеседника, желающего уйти от этой темы и демонстративно отводящего глаза в сторону. Фон Ширах нехотя проскрипел в такт стулу:

– Шанс, наверное, был. Но мы же объединяемся по принципу интереса друг к другу, а не из желания воссоздать скамью подсудимых – мол, вот фон Ширах, вот его товарищ Гесс, а вот Риббентроп или Франк. – Тут Рихард брезгливо поморщился. – Мы не хотим этого. Наши родители и при жизни никогда не были дружны, всё, что их объединяло, – это Гитлер, а потом – Нюрнбергский процесс. Ничего общего у этих людей не было.

– Забавно, – улыбнулась я.

Рихард насторожился.

– А что тут забавного?

– Я вдруг подумала, что дети героев – к примеру, сын Эрвина Роммеля и сын фон Штауффенберга, – находятся в приятельских отношениях и очень нежно друг о друге отзываются.

Ширах звякнул о блюдце опустевшей чашкой из-под кофе, которую он до этого перевернул дном к верху, чтобы последняя капля упала ему на язык:

– Это личное. Вряд ли дело в их отцах.

– Кстати, Рихард, а вы знаете, что прах Рудольфа Гесса перезахоронили? Совсем недавно.

– Конечно, – кивнул тот, – только не перезахоронили, а эксгумировали останки, чтобы не было этих диких сборищ неонацистов, которые сотрясали весь Вунзидель. Это ужасно!

– А где могила вашего отца? – поинтересовалась я. Рихард изменился в лице. Он сказал:

– В Крефе. На реке Мозель.

– Вы бываете там?

– Думаю, там есть кому за ней приглядеть. Я хочу заказать воды, – прохрипел Ширах.

– А правда ли, что на могильном камне надпись, которую хотел ваш отец?

Ширах отвернулся и сказал, глядя куда-то в сторону:

– Я не знаю, какую он хотел надпись.

– Хорошо. А какая есть?

Рихард вздохнул, давая понять, что эта тема ему скучна, и выплюнул через губу:

– «Я был одним из вас».

– И?

– Что?

– Он, думаете, был одним из них?

– Да я вообще не знаю, кому это адресовано, – покраснел Рихард, – наверное, немецкому народу.

– Мог бы просто попросить выгравировать сверху *Dem Deutschen Volke*[46], как на Рейхстаге.

Ширах встал из-за стола и в негодовании двинулся в сторону, где болтали две официантки, бросив: «Я очень хочу газировку – во рту пересохло».

Рихард, тяжело дыша, вернулся к столику. Я напомнила фон Шираху, что мы остановились на том, что в гости к его отцу, тогда подростку, прямо в родительский дом, приехали Гитлер и Гесс. Эта тема была моему собеседнику много приятнее предыдущей про могилы. И Ширах, выпятив грудь колесом, защебетал:

– Гитлер нанес визит отцу, пришел с букетом цветов. Во время этой встречи он спросил отца о его планах на будущее. Отец сказал, что хочет учиться, но не знает еще где. Тогда Гитлер посоветовал ему приехать в Мюнхен, где и создавалась его партия. Отец так и поступил. Там он познакомился с мамой,

причем произошло это благодаря собаке, которую поймал отец. Маме было тогда семнадцать-восемнадцать лет, эта собака убежала от нее. Так они встретились в первый раз.

> «Я знал ее с шестнадцати лет. Это была настоящая любовь. Сначала я встретился с ней, а потом с ее отцом, который познакомил нас формально. Профессор Гоффман был поражен, когда я попросил руки его дочери. Думаю, он не знал, что я влюблен в нее… В тот же год, до моей свадьбы, я стал самым молодым членом рейхстага»
>
> *Бальдур фон Ширах)*[47].

Это нельзя назвать ложью – скорее, семейной легендой. Альберт Шпеер назвал этот брак «династическим», не скрывая, что все знали истинные его причин: «В их браке ее отчасти интересовала его власть, а его отчасти интересовали ее деньги»[48]. На самом деле Бальдура деньги интересовали лишь во вторую очередь – он и сам был не из бедной семьи. Близость к Гитлеру – это было определяющим фактором. Фон Ширах, как ни пытался преподнести, что не догадывался, будто бы перед ним дочь близкого друга Гитлера, ради которого он приехал в Мюнхен, всё окружение будущего фюрера знало, почему Бальдур выбрал Хенни. Слово их сыну – нашему герою Рихарду:

– Гитлер почти каждый вечер бывал в доме отца этой девушки, то есть моего будущего деда по материнской линии. Дедушка, Гоффман, по вечерам часто отсутствовал, фотографируя на различных мероприятиях. Он вращался в творческих кругах, вел богемную жизнь. Кстати, в этом они были очень схожи с Гитлером, подолгу спали. Гитлер зачастую вставал только в два часа дня – беседы затягивались до самого утра. Короче, типичный распорядок богемы. Такой же распорядок был и у Гоффмана. Его жена умерла очень рано. Поэтому моя мать, которой тогда было тринадцать-четырнадцать лет, часто оставалась дома одна. И Гитлер очень волновался по этому поводу – он решил, что так дальше не пойдет, что ей нужно получить хорошее воспитание. Давайте, мол, пошлем Генриетту в Берлин, у меня там близкий друг, участник Первой мировой, летчик. У него есть жена-домохозяйка из Швеции. И вот у нее-то Генриетта может научиться всему, что сделает ее настоящей дамой. А другом-летчиком оказался не кто иной, как Геринг. Так моя мать была отправлена на воспитание в дом Геринга, молодого депутата рейхстага. Геринги (Герман и его первая жена Карин) жили в небольшой квартире, и моей матери приходилось спать на диване

в гостиной. А у Герингов очень часто бывали компании. Поэтому моя мать ложилась спать только после того, как все разойдутся. Зато она познакомилась со множеством самых разных людей, которые бывали у Герингов. Потом мама вернулась в Мюнхен, и Гитлер с удовольствием, как и раньше, приходил к ним в гости, играл маме на пианино, в том числе из опер Вагнера. Она читала ему газетные статьи, и он ее поправлял, если она, например, не туда ставила ударение. Она собирала ему вырезки из разных газет, он давал ей задание прочитать ту или иную книгу и потом спрашивал их содержание. Таким образом, Гитлер был другом семьи, и даже можно сказать, что так он обрел семью. Отношения были самые что ни на есть дружеские. Короче говоря, он чувствовал себя в гостях у Генриха Гоффмана как дома, разделял многие его взгляды на культуру. А еще мой дед познакомил Гитлера и Еву Браун… – вдруг сказал Рихард и замолчал.

Мне послышалось?

Фон Ширах повторил снова. И добавил:

– Забавная была история. Дед, мать, отец, Гитлер и Ева – они были самыми близкими людьми очень долгое время. Началось всё так: деду нужна была помощница в фотоателье. Ею оказалась семнадцатилетняя девушка-практикантка, которая хотела работать в фотоателье лаборанткой. Эта девушка была из Мюнхена, из учительской семьи. Она была ровесницей моей матери. Короче говоря, это была та женщина, в которую, как считается, влюбился Адольф Гитлер. История их знакомства началась совершенно буднично. Гитлер как-то зашел в ателье к деду, тот попросил практикантку принести для господина Вольфа (так в целях конспирации называли Гитлера) пива и колечко «Краковской». Так Гитлер познакомился с Евой Браун. Деду, кстати, это не очень нравилось. Ему не хотелось, чтобы его ученица забивала себе голову всякой там любовью. Ева Браун до самого конца, до 45-го года, оставалась сотрудницей фотоателье Гоффмана, как, впрочем, и ее сестра. Это еще более укрепило связь между Гитлером и моим отцом, моей матерью.

Я вновь посмотрела на Рихарда.

Его губами мне улыбались губы Бальдура, его глазами на меня пристально смотрел Генрих Гоффман, а на голове Рихарда, волнуемые ослабшим от жары ленивым ветерком, кудрявились волосы Генриетты. А сидели мы в том месте, где любил бывать Гитлер.

Мы с Рихардом сидели в рейхе, друг против друга, так, как будто шелуха современности, наросшая за десятилетия после тех давних событий, вдруг облетела, и мир стал черно-белым, как на хронике, а там, в нескольких десятках метров от нас, на

Одеонсплатц, висели растяжки со свастикой и маршировали люди в форме…

Фон Ширах молчал. Он провел рукой по своему взмокшему лбу и смахнул налипший на него серебристый завиток волос. Я молчала тоже. Понимал ли он, что сейчас я переживаю очень странные секунды своей жизни, которые трудно описать словами? Это как будто время преломилось, хрустнуло сломанной костью, словно ты умер и словно три свои смерти назад ты сидишь, дышишь, а под тобой движутся тектонические плиты. Вокруг меня шумела немецкая речь, сопровождавшаяся аккомпанементом шороха листвы, утратившей хлорофилл. И перед глазами мелькали черные точки и заломы старой пленки.

Я не знаю, сколько времени прошло, прежде чем я заметила, что теперь уже моя рука накрыла его пухлую руку, от которой исходил жар. Фон Ширах мягко понимающе улыбнулся. А я в ужасе смотрела на стол. Моя пустая чашка кофе, его газировка со стаканом, лилия в вазе, книга «Тень моего отца».

– Простите, – сказала я, осторожно отлепив свою руку от руки Рихарда, – теперь мне тоже нужен глоток минералки, наверное.

Рихард протянул мне свой стакан, но, опомнившись, отодвинул его и протянул бутылочку с остатками воды, а потом снова протянул мне стакан. Я взяла его и сделала глоток, подставила лицо солнцу, закрыла глаза на пару секунд. Открыла – нет, не помогло. Мы сидели в черно-белом мире, где цветы лилии и оранжевая рубашка Рихарда были высветлены.

– Вы любите «Лили Марлен»? – спросила я фон Шираха.

– Очень красивая песня, – кивнул он, не удивившись моему вопросу.

– И прилипчивая, – посетовала я, – если запою, то пою ее три-четыре дня кряду, сводя с ума всех вокруг.

– Vor der Kaserne, vor dem grossen Tor, – сказал мой собеседник.

– Stand eine Laterne und steht sie noch davor, – сказала я шепотом, понимая, что мы оказались в каком-то кафкианском мире, где сидим и шепчем друг другу строчки из «Лили Марлен».

Фон Ширах замолчал. Потом добавил:

– Отец ее любил. Насвистывать.

Ширах попытался насвистеть первые ноты, но ему никак не удавалось издать что-то похожее на свист. От усилий он покраснел – и мне показалось, что передо мной сидит большая озорная индюшка из мультика.

– Рихард, – спросила я, соскребая остатки мыслей со дна черепной коробки, – а была ли ваша мама Генриетта дружна с Евой Браун? Всё-таки ровесницы. И Гитлер… в том смысле, что

одна – его воспитанница, другая – возлюбленная.

Фон Ширах снова заерзал на стуле.

– Да уж не слишком они ладили из-за него…

– Уж не хотите ли вы сказать, – нервно хохотнула я, – что обе боролись за его внимание?

Рихард кивнул.

– Ну да, а ваша мама, к примеру, была тайно влюблена в…

Рихард пожал плечами.

Что это значит? Возможно?

– Вы хотите сказать, что Гитлер был первой любовью вашей мамы?

Фон Ширах пожал плечами и тяжело вздохнул:

– Гитлер любил только одну женщину. До мамы моей в этом смысле ему не было дела. Да, они музицировали вместе, она старалась угождать ему, нравиться ему, она прихорашивалась к его приходу, выпытывала у своего отца все подробности о Гели Раубаль, но моя мать и Гитлер… это было невозможно. Он знал ее с самой юности, он не видел в ней женщину. А вот семнадцатилетняя Ева (Гитлеру, кстати, было уже сорок лет) чем-то его заинтересовала. Но у него была Гели, и Еву, как и мою маму, он всерьез не рассматривал. А вот после смерти Гели… Вы что, хотите услышать, что связь Гитлера с Евой больно ударила по моей матери? Я не буду никак это комментировать. В конце концов, как я говорил, мама была слишком юна. В 1931 году она встретила отца, в 1932 году вышла замуж, в 1933 родила первого ребенка. Именно она выбрала имя для своей дочери, хотя почему-то считается, что это сделал отец, – он просто согласился. В общем, первую свою дочь они назвали Ангелика.

– И?

– Ангелика, – повторил Рихард.

– Ну да, красиво. – Я пыталась понять, в чем необычность этого имени.

– Ну Гели же! Гели! – пухлая рука Рихарда взмыла в воздух. – Гели!

«Иногда я сомневаюсь в его чувствах к Еве Браун; его старые соратники говорили, что он по-настоящему любил Гели Раубаль»[49].

История Гитлера и Гели Раубаль заняла свое место в мемуарах деда Рихарда, Генриха Гоффмана. Это был конец двадцатых годов:

«Гели Раубаль была прелестна. Бесхитростно и без малейшего кокетства ей удавалось одним своим присутствием приводить всех в хорошее настроение. Мы без исключения были преданы ей – особенно ее дядя Адольф Гитлер. Ей даже удалось уговорить его

пойти с ней по магазинам – настоящий подвиг! Я хорошо помню, как Гитлер рассказывал мне, что он ненавидит, когда Гели примеряет шляпы или туфли, рассматривает тюки тканей, на полчаса завязывает серьезный разговор с продавщицей и потом, не найдя ничего подходящего, уходит из магазина. И хотя он знал, что так будет всякий раз, как они с Гели пойдут за покупками, он всегда преданно следовал за ней, словно ягненок…

– Знаете, Гоффман, – ответил он, – я принимаю будущее Гели так близко к сердцу, что чувствую своим долгом лично присматривать за ней. Да, я люблю Гели, я мог бы на ней жениться! Но вы знаете мое мнение насчет женитьбы, вам хорошо известно, что я твердо решил оставаться холостяком. Поэтому я сохраняю за собой право наблюдать, с какими мужчинами она общается, пока не появится подходящий человек»[50].

Но упоминание о Гели в мемуарах деда Рихарда было не случайно. Судя по всему, Гоффман хотел опровергнуть слухи о том, что Гитлер убил Гели чуть ли не собственноручно. А также: что она была беременна – то ли от него, то ли от еврея, то ли вообще не была беременна ни от кого. То ли сказала, что не любит его, Гитлера, то ли любила, то ли он ее так достал своим пристальным вниманием, что она покончила с собой. Гоффман, судя по всему, поставил своей целью доказать, что если Гитлер и был причастен к смерти Раубаль, то лишь опосредованно.

«Семнадцатого сентября 1931 года Гитлер пригласил меня в долгую поездку на север. Когда я приехал к нему в дом, там была Гели, она помогала ему собраться. Когда, уходя, мы спускались по лестнице, Гели перегнулась через перила и крикнула:

– Au re voir, дядя Адольф! Au re voir, герр Гоффман!

Гитлер остановился и посмотрел вверх. На мгновение он задержался, потом повернул назад и опять поднялся, пока я дожидался его у передней двери. Очень скоро он вернулся.

Мы молча сели в машину и поехали в направлении Нюрнберга. Когда мы проезжали через Зигестор, он вдруг обернулся.

– Не знаю почему, – сказал он, – но мне очень тревожно.

<…>

Потом мы выехали из Нюрнберга и направились в Байройт, когда в зеркале заднего вида Гитлер увидел догонявшую нас машину… Мальчик, пыхтя от возбуждения, подбежал к Гитлеру и сказал, что Гесс хочет говорить с ним из Мюнхена по срочному делу и ждет на телефоне. Мы развернулись и поспешили назад в гостиницу.

<…>

– Гитлер у телефона, что случилось? – Он сипел от

волнения. – О господи! Это ужасно! – воскликнул он после короткой паузы, и в голосе его прозвучало отчаяние. Потом он произнес твердо, почти крикнул: – Гесс! Отвечай мне прямо, она жива, да или нет?.. Гесс, поклянись честью офицера… скажи мне правду – жива она или нет?.. Гесс!.. Гесс!.. – Он уже кричал.

Наконец мы добрались до его дома и услышали ужасную весть. Гели уже сутки была мертва. Она взяла из арсенала Гитлера маленький пистолет калибра 6,35 и выстрелила себе в сердце.

<…>

Знал ли Гитлер, что у Гели были причины для самоубийства, или он просто предчувствовал дурное? “Мне очень тревожно” – эти слова просто выражали подсознательное беспокойство, или его последнее прощание с Гели дало какую-то причину для тревоги? Эти вопросы никогда не получат ответа, и мы никогда не узнаем истинные причины самоубийства этой прелестной девушки»[51].

Мать Рихарда, Генриетта, тогда еще подросток, знала об отношениях Гитлера с Гели и относилась к племяннице фюрера даже нежно, с оттенком жалости, понимая, что эта любовь «дяди Адольфа» обречена изначально. Узнав о том, что Гели покончила с собой, а Гитлер собирался последовать за возлюбленной, демонстрируя крайнюю степень отчаяния, Хенни Гоффман несколько дней проплакала в подушку.

При Гитлере Хенни больше никогда не заговаривала о Гели – возможно, в свое время она питала некоторые надежды на то, что могла бы занять место Раубаль. Но Гитлер лишь с удовольствием слушал, как она читает вслух и музицирует. В своих воспоминаниях Генриетта, как и Рихард, ее сын, сидящий передо мной в Хофгартене, явно много чего недоговаривает: «У господина Гитлера английская бабочка, в руке он держит серую шляпу из велюра. И вдруг говорит такое, что ему совсем не свойственно, говорит на полном серьезе: “Вы хотите поцеловать меня?” Он говорит: “Вы”. Что за игра воображения: поцеловать господина Гитлера!»[52]

Хенни не ожидала, что Браун заинтересует такого замечательного человека, как «дядя Адольф». Она искренне считала ее недалекой, но тем не менее в 1932 году Ева стала любовницей Гитлера. В этом же году Хенни Гоффман вышла замуж за Бальдура фон Шираха. Хенни не без злорадства тайком «обличала» отношения Гитлера и Евы, сохраняя в их присутствии видимость близкого расположения к обоим. В конце концов, у нее теперь был муж, который, как и она сама, был страстно увлечен… Гитлером и мог разделить с нею ее страсть.

«Сославшись на свою жену, Ширах поведал мне, что отношения Гитлера и Евы Браун не были обычными, нормальными отношениями мужчины и женщины, да и ему самому не раз бросалась в глаза искусственность, присущая этой паре. Ширах отказывался верить, что между ними существовали интимные отношения. По его мнению, Ева Браун служила некоей куклой-марионеткой для создания видимости нормальных отношений»[53].

Много лет спустя, в 60-е годы, Генриетта в одном из интервью призналась, что и сама не могла похвастать женским счастьем: «Я была ”вдовой“ нацистского режима задолго до Шпандау, потому что Бальдур женился на нацистах и гитлерюгенде».

Как и его отец, Рихард преподнес мне историю знакомства своих родителей в этом же романтическом ключе:

– Маме было восемнадцать лет, когда родители поженились. В отца она влюбилась в семнадцать. Одно из последствий это прекрасной любовной истории – это я. У мамы убежала собачка, а отец помог ее поймать – так они и познакомились. Свидетелями на свадьбе у моих родителей были Гитлер (он подарил им щенка овчарки) и Эрнст Рём, с которым и мой отец был в добрых отношениях. Мама тоже была близка с Рёмом, он всегда заботился о ней – часто ходил с ней гулять, обычно в заведения, пользующиеся сомнительной репутацией. Он даже как-то позвонил Гитлеру и спросил у него, можно ли сходить с моей матерью в кафе, где собирались трансвеститы, то есть он специально звонил в Мюнхен, чтобы спросить у Гитлера разрешения. Гитлер разрешил, и моя мать, которой было лет семнадцать-восемнадцать, ходила в это кафе, пользующееся сомнительной репутацией, не с кем иным, как с Рёмом. Родители поженились в 1932-м. Есть фотография, где они сидят за свадебным столом: Рём, Гитлер, она и другие в квартире Гитлера.

– Рихард, я только одного не понимаю, – осторожно начала я, – оба ваших родителя нежно относились к Эрнсту Рёму и ничего не сказали после «ночи длинных ножей», приняв ее как должное?

Ширах звякнул горлышком стеклянной бутылки о стакан.

– Маме, мне кажется, тогда стоило серьезно задуматься, почему же так получилось. Кстати, ты знаешь, что Рём был гомосексуалистом?

– А еще главой СА, – почему-то вступилась я за Рёма, давая понять Рихарду, что незачем делать на этом акцент.

Ширах кивнул и продолжил:

– Моя мать, как и многие другие, просто игнорировала сигналы, предупреждающие об опасности. Она была опьянена тем, как быстро развивались события. Вероятно, нам сегодня этого не понять. Сразу после «ночи длинных ножей» Рём был устранен Гитлером как потенциальный заговорщик и соперник. Я спрашивал позднее мать об истинных причинах этого конфликта, всё-таки Рём был свидетелем на ее свадьбе и всего лишь через год-два убит по приказу Гитлера. Но она или не хотела, или не могла мне ответить. Всё это, мол, щепки… Она ничего не хотела рассказывать. Ничего никогда не обсуждала. Не рассказывала.

В 1932 году, после свадьбы с Генриеттой Гоффман, как и скандинавский бог из «Младшей Эдды», наш Бальдур был практически неуязвим – только Гитлер получил власть, он стал активно продвигать своего протеже. И, надо сказать, протеже не подвел.

– Может, поговорим о гитлерюгенде? – спросила я Рихарда.

– Я без понятия. Никогда не занимался этой темой. Не слишком разбираюсь в этом.

– Ну хорошо. Что делал ваш отец в этой организации? – не сдавалась я.

– Создавал гитлерюгенд.

– Скажите пару слов об этом?

– Это слишком скучно.

– Пожалуй, да, Рихард. Ваш отец встретил Гитлера очень рано, и очень рано стал одним из близких ему людей. Вы когда-нибудь сравнивали себя с ним?

Кажется, фон Шираху вопрос понравился.

– Когда я размышлял над судьбой отца, я задавал себе вопрос, а что было бы, если бы я в двадцать пять лет попал на такую должность и был бы столь близок к Гитлеру? Конечно, передо мной открылись бы невероятные возможности, соблазны. Но в том положении, наверно, не до размышлений…

– Это значит, что вы поступили бы точно так же, как ваш отец, окажись на его месте?

– Нет, наверное. – Рихард воровато огляделся по сторонам. – Точно. Нет. Просто, понимаешь ли, мой отец был единственным человеком, который хотел создать крепкую молодежную организацию. Все остальные не считали это сколько-нибудь интересным занятием. Каждый хотел занять пост поважнее. Отец же верил, что именно за молодежью будущее, считал, что это именно его задача, поскольку он еще достаточно молод – ему было тогда двадцать три – двадцать четыре года. Причем в партии он пользовался совершенно особой славой…

«Был гомосексуалистом, как утверждали некоторые

историки?» – пронеслось у меня в голове. Нет. За этой корявой формулировкой Рихард прятал иной смысл:

– Дело в том, что он написал сборник стихов, вообще постоянно писал стихи, многие из которых стали очень известны впоследствии. Первых успехов на стихотворном поприще он добился еще в восемнадцать лет. Так он заработал имидж эстета, человеку культурного.

– Рихард, – попросила я, – прочтите что-нибудь. Не про Гитлера, если такое есть.

– На камеру? Нет, я не знаю его стихов. – Фон Ширах очевидно врал, усиленно разглядывая свои коричневые кроссовки. – Некоторые из песен, для которых отец написал стихи, стали популярными, особенно про знамя, которое веет впереди[54]. Но я никогда не учил его стихов, во многом я дистанцировался от них.

– Вот как?

– Да. – Рихард тряхнул седой гривой. – Ладно, я всё-таки скажу пару слов про гитлерюгенд. Итак. Молодой фон Ширах ставит перед собой задачу создать молодежную партийную организацию и успешно ее решает – организация ближе к началу сороковых годов насчитывает от 8 до 10 миллионов членов и пытается играть доминирующую роль в воспитании молодежи. И благодаря этому успеху отец, которому тогда было всего двадцать пять лет, получает пост руководителя одного из ведомств в ранге министра.

– Звучит мило. Словно этот гитлерюгенд не стал пушечным мясом в итоге и их всех по указу Гитлера не бросили на фронт.

Рихард нахмурился:

– Это сделал не отец. Он вряд ли бы допустил такое. Это сделал Аксманн, который в 1940 году сменил на посту моего отца и полностью милитаризировал эту молодежную организацию. Он возглавлял ее до 1945 года.

– Вы ведь знаете, – спросила я, – что Аксманн не был осужден? Прошел денацификацию и стал обычным гражданином, занялся бизнесом и дожил до глубоких седин?

– Разумеется, – кивнул фон Ширах, – но судить его следовало бы. Он убийца. Он бросал детей в качестве живого щита в апреле 1945 года в Берлине. Отец, повторяю, так не поступил бы…

Гитлерюгенд был образцом, по которому создавались аналогичные структуры, в Японии, например. Но с именем этой организации связана и деградация, которой подвергалась молодежь, обучаемая одному лишь военному делу. Необходимость соблюдения принципа «молодежью может руководить только молодежь» привела к тому, что когда отцу

исполнилось двадцать девять лет, ему пришлось передать пост руководителя гитлерюгенда более молодому претенденту Аксманну. После этого отец пошел в армию простым солдатом, попал с войсками во Францию. И там его произвели в лейтенанты, как он рассказывал, за заслуги в бою за какой-то мост. Этот рассказ произвел на меня сильное впечатление, поскольку сам я очень далек от армии и всего, что с ней связано. После такой небольшой военной карьеры, в 1940 году, когда ему было тридцать три года, он был назначен гауляйтером и комиссаром обороны, другими словами – бургомистром Вены. Там провел все последующие пять лет вплоть до прихода русских. При этом он отвечал за организацию обороны. Здесь он оказался в такой же ситуации, как и Эрнст фон Вайцзеккер: был найден документ, который подтверждал, что он знал о депортации евреев. Сам он не отдавал таких приказов. Депортацией занимались совсем другие структуры, в основном СС. Кроме того, депортация началась задолго до его появления в Вене, а в 1942 году неожиданно прекратилась, – это связано было с изменившимися планами Гиммлера. Но, естественно, это не освобождает его от ответственности, поскольку он не протестовал, всё происходило с его молчаливого согласия.

«В начале войны Ширах был еще в фаворе у Гитлера. Говорят, летом 1942 года Гитлер заметил в узком кругу, что возлагает большие надежды на Шираха»[55].

«…Потом он женился на Хенни Гоффман, а в свое время даже считался золотым мальчиком партии, практически наследным принцем»[56].

Отец Рихарда действительно стал полноправным обитателем Асгарда. Но, как мы понимаем, на каждого Бальдура есть свой Локи, земной инкарнацией которого выступил рейхсляйтер Мартин Борман, активно поспособствовавший потере авторитета фон Шираха: «Решив испортить репутацию Шираха, Борман принялся рассказывать за чайным столом порочащие гауляйтера Вены анекдоты, но, когда соответствующим образом настроенный Гитлер пренебрежительно отозвался о Ширахе, неожиданно начал расхваливать его. Похвала, однако, звучала настолько двусмысленно, что уже через год Гитлер начал испытывать непреодолимую антипатию к Шираху и даже несколько раз отказывался принимать его. Теперь Борман мог со спокойной душой и с оттенком презрения в голосе в отсутствие Гитлера так отзываться о Ширахе: он, дескать, как никто другой, годится на должность гауляйтера Вены, ведь там все интригуют друг против друга. Внешне Борман вроде бы даже стремился своими словами несколько подправить репутацию Шираха, но в действительности

наносил ему последний удар»[57].

Борман, получивший неограниченную власть, умудрился окончательно рассорить Шираха и Гитлера. Вот что вспоминал Генрих Гоффман:

«Однажды в 1944 году, когда я вернулся в ставку из Вены, я обедал с Гитлером и передал ему письмо от Бальдура фон Шираха.

– Ширах, – сказал я, – протестует против обвинений Бормана. Он обвинил Шираха в том, что теперь уже слишком поздно думать об организации противовоздушной обороны в Вене.

Ширах сказал мне, что еще в первые недели после начала войны разработал план противовоздушной обороны, но Борман приказал ему ничего не предпринимать, так как преждевременные действия только напрасно обеспокоят население города.

В письме Гитлеру почудилась скрытая критика Бормана, и он резко оборвал меня.

– Зарубите себе на носу, Гоффман, и скажите вашему зятю! – закричал он. – Чтобы победить в этой войне, мне нужен Борман!..

Он испытующе смотрел мне в лицо, как будто его слова имели какое-то отношение ко мне лично»[58].

Фон Ширах на тот момент уже был политическим трупом.

В «Младшей Эдде» предвестием рагнарёка явилась смерть бога Бальдра.

В 1945 году рагнарёк настал.

Рихард, опрокинувшись на спинку стула, сказал:

– Отец, будучи гауляйтером Вены, оставался на посту до последнего момента, а мы, моя мать и четверо детей, прятались в Тироле. Ходили слухи, что отца поймали и повесили на Флорисдорфском мосту. На самом деле всё было не так. Отец оставался в Вене до того момента, когда передовые отряды русских вошли в центр города. Везде рвались гранаты. В последнюю минуту отец с шофером выехали на машине из города. Русские были уже так близко, что даже ранили водителя. Везде царил хаос, они не знали, сразу их расстреляют, если они сдадутся в плен, или нет. Короче говоря, отец стал выдавать себя за писателя, автора детективных романов, снял комнату в небольшом местечке в Австрии. Но когда через неделю выяснилось, что некоторый порядок всё-таки присутствует, он сдался американским войскам, после чего его перевезли в Нюрнберг для проведения судебного процесса. А еще он прихватил с собой чемодан, в котором лежали картины Рубенса и Ренуара. Они достались ему от матери-американки.

Я спросила у фон Шираха, правда ли то, что американские

родственники Бальдура предлагали ему бежать в США и даже были готовы поспособствовать побегу? Если это правда, тогда… почему он сдался? Мне показалось, по лицу Рихарда пробежала легкая тень.

– Мать тоже этого не понимала. Она рассчитывала на побег в Америку – там были очень богатые родственники, готовые принять и отца, и нас всех в любой момент. Поддельные документы были готовы – всё было готово. Надо было только решиться. Отец сделал выбор не в пользу вольной жизни и семьи. Он выбрал… Гитлера, даже отрекаясь от него сотни раз, он делал это только для того, чтобы произносить это имя.

В 1928 году судьба предоставила Бальдуру фон Шираху выбор: он ездил в Америку, где встречался со своим богатым дядей-промышленником Норрисом, который недвусмысленно намекнул племяннику на то, что тот может в свои юные годы занять высокий пост в его корпорации и остаться в США навсегда. Но Бальдур, уже зараженный бациллой национал-социализма, отказался. Выходит, он отринул Америку дважды – тогда, в 1928 году, и в 1945-м.

– Предполагаю, что в основе логики отца весной 1945 года лежало две вещи, – сказал Рихард фон Ширах. – Прежде всего, отец понимал, что ему, конечно, удалось бы сбежать и спрятаться, но что будет, если вдруг кто-то из русских идентифицирует его? Тогда он действительно будет на Флорисдорфском мосту болтаться в петле. Но его вряд ли бы узнали: отличный фальшивый паспорт на имя Рихарда Фалька, борода, очки, свободное владение английским – он представлялся переводчиком и писателем. Ну а во-вторых… мне трудно сформулировать… Мать считала, что это всё его тщеславие.

– Тщеславие?

– Да. Он хотел оказаться на процессе. Так сказать, подвести итоги своей работы. И он приходит к американцам и торжественно объявляет: «Я – Бальдур фон Ширах». Точнее, кажется, сначала он отправил адъютанта, но того преспокойно отпустили обратно – не поверили, сказав, что труп фон Шираха висит на мосту. И тогда папа явился к ним сам.

Представился. Сдался.

– Зачем? – спросила я. – Это же глупость! Нет, это, конечно, хорошо для всех – не для него. Не понимаю. Вот взять, к примеру, Гиммлера. Он же тоже мог преспокойно ускользнуть от правосудия.

– Там странная история, – сказал фон Ширах, – никто не знает наверняка…

– Официальная версия такова, – с умным видом начала я. – Гиммлера поймали англичане. Ну немец как немец. Таких тысячи – усталых, потрепанных. К тому же Гиммлер сбрил усы и был с повязкой на глазу. Его не идентифицировали. Ну а потом, вместо того чтобы смолчать в тряпочку, он снял повязку, надел очки, представился и попросил о встрече с Монтгомери.

– А потом раскусил ампулу с ядом, когда понял, что ее могут отобрать, – закончил за меня Рихард.

– И зачем он представился?

– Не знаю, – ответил мой собеседник совершенно искренне. – Кстати о Гиммлере. Я вспомнил одну очень интересную, почти анекдотичную историю. Как-то отец, когда он еще был студентом, приехал на каникулы домой в Веймар, а Гиммлер тогда тоже был в Веймаре, у него не было денег и негде было переночевать. Тогда отец предложил ему переночевать в большом родительском доме. Гиммлер тогда еще мало что из себя представлял, у него был только мотоцикл, сам был худющий. Моя бабушка-американка очень вежливо его приняла и в какой-то момент заметила, что с ним что-то не так. Она спросила, в чем дело, и он сказал, что у него расстройство желудка. Она заварила ему чай и сделала компресс. Гиммлер остался благодарен ей за это на всю жизнь – постоянно передавал ей приветы потом. Так что вот как было: молодой Ширах приглашает Гиммлера, чтобы тот не тратился на гостиницу и провел у нас одну ночь. Как всё было переплетено еще в самом начале…

– В конце тоже… – заметила я.

Фон Ширах, сделав глоток воды, резко сказал:

– Мой отец побрезговал цианидом во имя судилища. У отца был такой же выход, как у Гиммлера, как у всех у них, – ампула, которая всегда с собой. Он не сделал этого. Значит, из трех вариантов – убить себя, бежать или оказаться на процессе – он всё-таки выбрал третий.

И я не поняла, печалило фон Шираха это обстоятельство или радовало. То, каким голосом он сказал это, наводило на мысль, что всё-таки скорее печалило. Неужели он был бы рад, проглоти его отец ампулу с ядом?

– А что ваша мама? – поинтересовалась я. – Как она приняла известие, что отец жив и здоров?

– Не помню, – сказал фон Ширах и откинул голову назад, подставив на несколько секунд лицо солнцу. Это «не помню» настораживало. Казалось бы, правильной реакцией на весть, что твой муж жив, может быть ну хотя бы радость. – Знаю только, что у нее было при себе пять ампул с ядом. По одной на каждого из нас, детей, и для себя. Но она решила, что не сделает того, что,

как мы потом узнали, сотворила Магда Геббельс со своими малышами.

– Когда ваши родители снова увидели друг друга?

– Я не присутствовал при этой встрече, но знаю, что они увиделись в конце июня в лагере для интернированных под Инсбруком. Я знал от старшего брата, который, в свою очередь, слышал это от моего дяди Генриха, что отец и мать, вместо того чтобы обняться, тихо шипели друг на друга. Она сказала ему что-то вроде: «Ничтожество! Тебя бы никогда не нашли! Нужно было бежать в Америку!» Отец сказал что-то о своем месте в истории (даже я пару раз слышал от матери о том, что он постоянно думал об этом, и спустя многие годы это по-прежнему раздражало ее безумно), развернулся и ушел. Так встретились муж и жена после окончания войны.

– После этого, – сказала я, – он оказался в Нюрнберге. И по приговору в 1946 году получил двадцать лет тюрьмы.

Фон Ширах кивнул и сложил толстые пальцы в замок:

– Сейчас я не могу вспомнить ни одной оценки процесса со стороны моего отца. Об этом вообще не говорили. Только из книг я узнавал, как выносились приговоры, зачастую это происходило в ходе переговоров, встреч судей за обеденным столом. Думаю, отец боялся, что его приговорят к смертной казни. Кстати, его товарищ по несчастью Шпеер тоже был приговорен к двадцати годам тюремного заключения. Но если бы на тот момент было известно больше фактов, то вполне возможно, что приговор для них обоих оказался бы иным. В любом случае считалось, что эта тема закрыта – процесс всё-таки подвел некую черту. Находились, конечно, такие сумасшедшие, как я, которые спустя годы – по личным причинам – читали материалы дела. Никто больше не хотел заниматься этой темой, ее прятали в нижний ящик стола. Поэтому мне очень трудно сказать, как отец отреагировал на приговор. Наверняка он испытал облегчение, узнав, что приговорен к тюремному заключению. Я помню зато слова Сталина, который, говоря о послевоенной Германии, сказал, что, мол, мы не можем постоянно вести процессы, ведь принимавших преступные решения были десятки тысяч, так давайте расстреляем 50 тысяч, и всё успокоится. В ответ на это Черчилль пошутил и сказал: а давайте 49 тысяч[59]. По крайней мере, таково было настроение. Может быть, поэтому отец считал, что легко отделался. Хотя, может, это было больше, чем он ожидал. Двадцать лет тюрьмы… Отцу тогда было тридцать девять.

Я допила кофе и пыталась поставить чашку на блюдце так, чтобы она не звякнула. Не вышло. Я сказала:

– Я читала другое. Читала, что ваш отец боялся смертной

казни, но он не рассчитывал на мягкий приговор. С другой стороны… Шпеер и фон Ширах – они фигуры неравноценные. В том смысле, что Шпеер был не просто архитектором, как вспоминают его сейчас, а с 1942 года возглавлял министерство военной промышленности рейха. Получается, что глава гитлерюгенда и гауляйтер Вены фон Ширах получил такое же наказание…

– А ты бы… – Глаза Рихарда блеснули. – Ты бы какие приговоры вынесла?

– В данном случае позиция советской стороны мне ближе – ну в смысле, что всех…

– Всех повесить, – кивнул Ширах, словно мы обсуждали рецепт домашней выпечки.

Я кивнула.

На самом деле Бальдур фон Ширах, который даже среди соседей по скамье подсудимых считался одним из самых невинных представителей нацистской верхушки, не был столь невинен, каким хотел казаться. Да, ему не вменили в вину военные преступления, однако за преступления против человечности, депортацию более 60 тысяч евреев, он получил сполна (всего из Австрии было депортировано больше 180 тысяч человек). В письмах к генерал-губернатору Польши, Гансу Франку, фон Ширах настаивал, чтобы тот принял от него евреев и он, Бальдур, смог бы «очистить» от них Вену. Франк сопротивлялся – мол, и своих-то девать некуда.

«Он стремился всем внушить, что он, дескать, невинный мальчуган… Не вышло… Я помню, как он льнул к Гитлеру, как боялся упасть в его глазах»[60], – говорил сосед фон Шираха по скамье подсудимых Ганс Франк, радостно обличая самого юного из главных нацистских преступников. Ему вторил и Ялмар Шахт: «Похоже, он не такой уж и безвинный и всеми преданный, как это могло показаться… как вы считаете?»[61]

Рихард сказал:

– И самое, как приходится констатировать, позорное деяние моего отца – это то, как он, будучи гауляйтером Вены, хвастался, что великим культурным достижением немцев является очищение Вены от евреев. Это полностью на его совести, это нельзя простить и невозможно объяснить. Мне очень трудно было смириться с этим. И в качестве реакции я долгое время читал только запрещенных в Третьем рейхе еврейских авторов – своего рода личная попытка загладить вину отца. Тот факт, что он давал санкцию на депортацию, на изгнание известных еврейских писателей, я рассматривал как предательство всей той культуры, в которой он вырос.

А теперь вернемся к мифу о боге Бальдре. Скандинавский эпос гласит, что после рагнарёка, а 1945 год для отца Рихарда был именно концом света, Бальдур должен вернуться из царства мертвых.

Двадцать лет – к такому тюремному сроку был приговорен отец Рихарда.

Двадцать лет он провел в берлинской военной тюрьме Шпандау как заключенный № 1.

Двадцать лет – столько времени Рихард фон Ширах ждал своего отца из тюрьмы. Его жизнь началась с рагнарёка:

– Сорок пятый год. Мне три года, – рассказывает фон Ширах. – Я могу только догадываться, что произошло что-то страшное, но не понимаю – что, я вижу лишь, что какая-то неведомая сила разом изменила жизнь моей семьи, Германии. Тогда я видел лишь, что мы всё потеряли: дом, не стало няни, к которой я был очень привязан, мать исчезла в тюрьме. Отец, которого я толком и не видел, был то в одной тюрьме, то в другой, причем с каждым разом тюрьмы становились всё больше. Это были огромные тюрьмы. Лишь в одиннадцать лет я увидел его – и вот перед тобой человек, которого охраняют столько военных, разве кто-нибудь другой может быть интересней для мальчишки? Этот человек невероятно опасен. Но ты не знаешь почему. Почему родного тебе человека, отца, охраняют 600 военных? Чем же он так опасен? Это было невозможно объяснить. Но здесь и начинается путь к познанию. Для нас этот путь был во многом связан с нищетой.

Рождество, когда мне было три года, мы с братьями и сестрой праздновали в гостевом домике рядом с нашим бывшим домом, который к тому времени был занят американскими военнослужащими, ну а нас там некоторое время терпели. Я видел, как они надевали парадный мундир отца – веселились, развлекались этим. А в самое Рождество к дому подъехал грузовик, нас, четверых детей, заставили взять самое необходимое и увезли на этом самосвале в долину в Баварии и ссадили у бывшего домика лесника. Так мы встретили Рождество в 1945 году.

Мать, как я уже говорил, арестовали, и мы не знали, когда она вернется, – через месяц, через год, или мы ее вообще больше не увидим. Я не понимал, почему нет мамы, почему нет няни. Почему нас выгнали из дома и поселили к совершенно чужим людям, которые вынуждены были принять нас, только подчиняясь приказу? Так долина стала нашей ссылкой на последующие два-три года. Но, как и для любого ребенка, для меня эти места стали

волшебными. Я жил на природе. У меня не было обуви. Первая обувь, которая у меня там появилась через год, – это сандалии, вырезанные из старых автопокрышек. Там мы жили с лесорубами, простыми крестьянами. Я прекрасно проводил там время, хотя и очень скучал по маме. Потом мне казалось, что это было очень счастливое время. Нельзя сказать, что мы там только страдали, ко многому относились с юмором и казались сами себе одинокими волчатами.

Впоследствии кто-то всё-таки заметил, что у этих четверых детей никого и ничего нет, что мы не получаем талоны на еду, что всё пропитание мы пытаемся добыть в лесу и в реке. С какого-то времени нам стали помогать, а к младшим приставили няню, которая оказалась самой настоящей садисткой и попросту издевалась надо мной, не знаю, почему именно надо мной. Так прошло несколько месяцев, после чего к нам вернулась наша старая няня.

Когда вырастаешь в такой нищете, становишься ко многому восприимчивым. В книге я описал свои впечатления, свой путь, и это описание мало связано с историей моего отца. Семья не имела никаких финансовых средств, нам негде было жить. Мать после первого ареста отпустили ненадолго. И вот она одна с четырьмя детьми, без образования и без профессии. Ей тридцать один год. Всё конфисковано, ей не разрешается зарабатывать деньги, нам разрешали только менять вещи.

Генриетту фон Ширах арестовывали три раза и отпускали – в 1947 году она, наконец, окончательно получила свободу, была приговорена к штрафу в 2000 марок и испытательному сроку длиной в год. Право опеки над четырьмя детьми не получил никто – ни Генриетта, ни брат Генриетты, ни их отец, Генрих Гоффман.

– А что стало с чемоданом с картинами, которые ваш отец получил от своей матери и взял с собой во время побега? – поинтересовалась я.

Рихард отвечал медленно:

– Ну, он его спрятал, а потом сказал матери где. Она разыскала его, открыла, а там внутри… уже ничего ценного и не было. Только какие-то книги.

– Но, если я правильно помню, она всё же продала какую-то картину Ван Гога, кажется, за 30 тысяч марок?

Фон Ширах поморщился:

– Я не хотел бы об этом говорить… Мы никогда не были богаты. Нас, четверых детей, раскидали по интернатам. Повезло, что я и Роберт оказались в Кауфбойрене вместе. Многие думали,

что у нас все-таки где-то запрятаны сокровища, и мы, мол, немного погодя будем вести роскошную жизнь. Но это было совсем не так. Я помню, например, что наши няни жаловались, что они могут готовить пищу только из тех продуктов, которые можно было купить на продуктовые карточки. Мой брат Клаус после войны попал в интернат, где положение было не лучше. И один известный мюнхенский портной, сын которого закончил этот интернат, пожелал оказать помощь учебному заведению и подарить костюм самому бедному ученику. В школе долго выясняли, кто же из учеников самый бедный, и в конце концов решили, что это мой брат, потому что у него были только одни брюки и больше ничего; не было родственников, которые бы жили рядом и могли посещать его, отец был в тюрьме, мать всё время занята. Короче, они предложили Клауса фон Шираха. Итак, мой брат получил костюм, сшитый специально на него известным мюнхенским портным. А я в то время играл в театре, меня пригласили играть в одном спектакле из-за красивого голоса. И вот картина: я на сцене, в партере сидит мой брат в новом костюме. Естественно, сразу поползли слухи: вот что значит связи – один одевается с иголочки, другой в театрах играет. Конечно, за этим ничего не стояло, наоборот, это только подчеркивало наше отчаянное положение. Таких ситуаций было множество.

– Стало быть, единственным светом в окошке для вас был…

Рихард печально улыбнулся:

– Мой отец. Мать мы видели редко – ей нужно было выживать. Устраивать… личную жизнь. А моя жизнь началась с гибели рейха. И это не самое лучшее начало. В общем, вся моя последующая связь с отцом состояла из писем. Раз в неделю я писал письмо отцу в тюрьму. Каждое письмо было на счету, каждое слово было на счету, потому что существовали ограничения по объему написанного. Для этих писем было характерно неестественное, чувственное настроение, которое возможно только в литературе. Письма были написаны очень проникновенным языком, так, что по прошествии лет они представлялись мне хорошо сыгранным дуэтом. Можно сказать, что я узнал отца только по этим письмам. Мне разрешалось посещать его раз в год, но только на тридцать минут. За временем строго следили. Я приходил в камеру, в которой записывали всё, о чем мы говорили. В камере нельзя было дотрагиваться до собеседника. И вот этих тридцати минут должно было хватить на весь год. Эти тридцать минут и письма поначалу сформировали мое представление об отце. Тысяча восемьдесят писем…

И детям, и жене Бальдур фон Ширах постоянно писал письма, проникнутые лиризмом. В них он говорил только о музыке и

литературе. Все двадцать лет – только об этом. Его высокий штиль, однако, возник не только в Шпандау, хотя Шпеер отмечал, что в какой-то момент все заключенные вдруг начали выражаться высокопарно: «Седьмого апреля 1950 года. Сегодня во время работы в саду Ширах вдруг воскликнул: ”С запада надвигаются тучи. Наверное, у нас пойдет дождь“. Меня поразила его манера речи – в обычных обстоятельствах он, скорее всего, сказал бы: ”Собираются тучи. Будет дождь“ – или что-то в таком роде. Мы все выражаемся неким стилизованным книжным языком»[62].

Альберт Шпеер был прав насчет всех и категорически неправ насчет фон Шираха. Тот еще с юности привык выражаться высокопарно, скрывая смысл или отсутствие его в тонкой изящной паутине слов, которую он ткал с той же непринужденной легкостью, как паук, к которому он в одно лето прикипел в том же тюремном саду: «С тех пор кормление паука превратилось для Шираха в манию. Здесь всё доводится до крайностей. И речь не только о заключенных. Сегодня американский, французский и русский охранники вместе с Ширахом ползали на коленях в траве и ловили кузнечика»[63], чтобы бросить в паутину.

В тюрьме фон Шираху, осыпанному в Третьем рейхе всеми литературными премиями, не писалось. И хотя он признавался Шпееру, что якобы написал 800 страниц дневника, но по факту после выхода из тюрьмы именно мемуары бывшего главного архитектора рейха (а с 1942 года – министра вооружений) пополнили золотой фонд документальной прозы XX века.

«У Шираха же ничего нет. Ему было лет пятнадцать-шестнадцать, когда он познакомился с Гитлером, и вскоре во время учебы в университете Гитлер стал центром его мироздания. Он не получил никакой профессии, никогда не занимался настоящим делом: он был всего лишь функционером. Иногда я думаю о том, что значила для него литература и поэзия. Его всегда считали одним из ведущих лириков Третьего рейха. Но пишет ли он что-нибудь здесь? Я ни разу не слышал от него ни слова об этом… по-моему, его поэзия была для него просто работой функционера; она рождалась не из художественного темперамента или желания придать форму действительности, а из стремления угодить. И как только не стало предмета его поклонения, поэзия тоже кончилась; его творчество умерло вместе с Гитлером».

После выхода из тюрьмы Бальдур фон Ширах написал мемуары – «Я верил в Гитлера», где за ворохом слов, не столь искусно сплетенных в кружево самооправдания, пытался объяснить, почему же он, собственно, верил в фюрера. Дотошно описывая свое детство, юность, встречу с Гитлером, Ширах не

смог превратить свои мемуары в образец высокой литературы, к которой всегда стремился. Впрочем, дети Бальдура, получая всякий раз от него из тюрьмы письма, набитые совершенно нелепыми советами о том, какие сонаты Бетховена нужно непременно послушать и какие книги классиков прочитать (что особо актуально для голодающих малышей), потихоньку привыкли к равнодушно-поучительным текстам отца в количестве не более 1300 слов (именно такой лимит предписывали тюремные правила).

Вот такие письма получал старший брат Рихарда Клаус:

> *«Мой дорогой Клаус, как хорошо, что ты познакомился с Пятой. Я слушаю части этой симфонии, которые звучат в моей голове, и радуюсь им. Хорошо помню скрипичный квартет со всеми его темпами и вариациями. Что касается камерной музыки, то это совсем другой мир… Нельзя знать Бетховена, не зная его сонат… Через язык музыки люди могут не только понимать друг друга, но и реальный мир, и мир потусторонний. Или, как сказал Бетховен, "музыка – более высокое откровение, чем вся мудрость и философия"»*[64]

И еще три абзаца в таком же духе. И тысячи писем тоже. Только так.

– Единственное, на что отец чутко отреагировал, – вспомнил Рихард, – это на то, что его старший сын Клаус, мой брат, хотел стать журналистом. Но отец сказал, что у этих людей «крайне низкие моральные стандарты», сказал, что они пишут всё ради денег, что посредственных писак уж слишком большое количество, и он не хочет, чтобы Клаус стал одним из них. Отец сказал так: хочешь быть журналистом – получи сначала нормальную профессию. И однозначно дал понять какую. Он хотел, чтобы Клаус стал юристом, хотя тот страстно мечтал писать. В общем, брат закончил юридический вуз. Мне кажется смешным, что отец, который не знал своего сына, а даже имея возможность обмениваться с ним письмами, говорил исключительно о высоких материях, вдруг так вмешался в процесс воспитания. Мы, голодные до любви, подумали, что она проявляется так.

Фон Ширах замолчал.

Я вспомнила о том, что Шпеер узнал от охранников, что дети фон Шираха после встречи с ним уходили в слезах. И как можно было понять из замечаний бывшего гитлеровского министра военной промышленности, это не были слезы счастья.

– О, это Альберт Шпеер соврал, – бросил Рихард, поморщившись. – Он вообще мастер на выдумки, если вы читали его мемуары, то поймете, о чем я. Он, наверное, имел в виду ситуацию с Клаусом, моим старшим братом.

– А что за ситуация?

Ширах пожал плечами:

– Из того, что слышал я, в газете написали, что брат мой, которому было восемнадцать лет, на первой встрече с отцом рыдал как ребенок. Клаус говорил, что было не так: он просто растрогался и буквально уронил слезинку, а охранники преподнесли это кому-то из журналистов, что он там чуть ли не в истерику впал, понимаете? Вряд ли. Но писать такое в газете – подло.

– Хорошо, а вы?

Рихард задвигался на стуле и уставился на суперобложку книги.

– Каждое посещение тюрьмы Шпандау, – начал он, – и для отца, и для меня, тогда еще ребенка, приезжавшего раз в год в Берлин, – каждое такое посещение оставляло глубокий след в душе. Представьте только: ты целый год ждешь этого момента, причем практически нет никакой возможности перенести встречу, если ты, например, опоздал на самолет или на поезд. У нас на это просто не было денег. Вообще не было денег. Мы жили в нищете. Трудно было собрать денег на эту поездку. На встречу отводилось только тридцать минут, и за эти тридцать минут надо было рассказать обо всем, что произошло за год, и выслушать собеседника. Было очень трудно справиться с этой ситуацией. Я записывал в книгу все те вопросы, которые я задавал отцу во время этих визитов, когда мне было десять— двенадцать лет. Среди них были, например, такие: знает ли отец, что такое нейлоновые чулки, пользовался ли он шариковой ручкой и так далее, то есть вопросы о самых простых вещах. Но самое важное, конечно, было наблюдать за ним – как он держит руки, как откашливается. Это очень важно.

Рихард замолчал. Обернулся, проверив, рядом ли его портфель. Кажется, он что-то задумал. И точно: запихнув руку внутрь, извлек из его недр очки:

– Давайте я зачитаю вам кое-что, прямо на камеру, потому что лучше, чем написано, не скажешь.

Нацепив очки на нос, Рихард превратился в филина-сказочника, который с азартом стал перелистывать странички собственной книги в поисках нужного отрывка.

– Да, вот! – сказал фон Ширах, откашлявшись. – Мое первое свидание с отцом в тюрьме произошло в 1953 году.

Я уже было приготовилась к тщательному описанию Бальдура фон Шираха, как вдруг Рихард, уткнувшись в книгу, затянул свою песнь:

– «Я был искренним и доверчивым, совесть моя была чиста, и я был благодарен, что мог, наконец, в реальности увидеть своего воображаемого отца по переписке. Как долго я этого ждал! А когда временами его голубые глаза смотрели на меня растерянно, нерешительно и вопросительно и, казалось, темнели при этом, я чувствовал, что понят и что он слушает меня внимательно… Когда я видел его музыкальные пальцы, мне очень хотелось дотронуться до них, но это было невозможно. Объятье, пусть лишь на пару секунд, так много значило бы для меня. Оказалось, что разделявшая нас решетка, возможно, служила для эмоциональной защиты. Когда он заметил, как напряженно я слежу за тем, как он пишет, он улыбнулся мне и, очевидно, подумал при этом о том, как часто мы, оба в сходном уединении пишущего письмо, навинчивали перья на ручки. Эта улыбка подействовала на меня как молчаливый тайный привет, который был понятен только нам двоим».

Я отметила про себя с легким изумлением, что в отрывке, который с таким упоением зачитал Рихард, в котором столько раз возникло местоимение «я», в этом абзаце, да и вообще в этой книге, в самом Рихарде – крайне мало отца. Больше – какого-то мазохистского наслаждения, которое автор явно получал от собственных страданий.

Фон Ширах отложил книгу и посмотрел на меня долгим взглядом. Снял очки. Нервно откинул волосы, липшие ко лбу.

– Лишь в двадцать пять лет я впервые увидел, как отец держит чашку кофе, как он пьет. До этого мы виделись только через решетку. Я должен сказать, что верю в силу тюремного заключения. Оно действительно может заставить думать по-другому. Кроме этого, я специалист по проигрышам, по поражениям. И думаю, что в обоих случаях – после поражения или в заключении – можно многое осознать, многое понять для себя.

Но тогда я знал, что этому человеку нужна моя помощь, ему нужна эмоциональная связь со мной, так же, как она была нужна и мне. Я хотел бы ответить на вопрос о том, каково же это – знать, что твой отец был преступником и за это был осужден. Это невероятно трудная в эмоциональном плане ситуация. Потому что ты вынужденным образом любишь этого человека, которому нужна твоя помощь, который день и ночь проводит в крошечной тюремной камере. Этот человек – преступник и одновременно твой отец… То есть у вас с ним существует прочная

эмоциональная связь, которую вы не можете разорвать окончательно. Но при этом он остается преступником, и его преступления… Не знаю даже… Очень трудно сформулировать… Он и отец, он же и преступник, и наряду с этим… Нет, не так…

Губы Рихарда дрогнули. Раз. Другой.

И расплылись в кривой улыбке.

Фон Ширах как-то нервно дернул рукой и закинул голову.

Он плакал?

Неожиданно. Удивительно.

Рихард, сощурившись от солнца, опустил голову.

Мне кажется, ему стало неловко.

Фон Ширах сказал, что ему нужна пауза – отдышаться. Камеру выключили. И через несколько минут он уже весело щебетал со мной про то, как удачно он выбрал Хофгартен для съемок – на такой жаре в Мюнхене мало где можно дышать полной грудью. А я, глядя на него, пыталась понять, что стояло за этой эмоциональной вспышкой.

Выходит, он правда любит своего отца?

С другой стороны – а почему нет?

Но откуда тогда это тщеславие? Защитная реакция? И почему он так любит говорить о своих страданиях?

– Давай пройдем поглубже, в сторону Английского сада, там будет больше тени, – сказал Рихард. И лукаво подмигнул мне: – Я тебе кое-что покажу, там, в саду. Тебе понравится.

То, что мне должно было понравиться, находилось в северной части Хофгартена, горевшего на солнце людой мелких камушков, сединой волос Рихарда, пышной зеленью листвы. Там, где мы остановились – под густой плотной тенью, которую солнце не смогло унизить своей абсолютной властью, – фон Ширах загадочно улыбнулся, взял меня за руку и под изумленными взглядами Сергея и оператора потащил за собой. На лице Рихарда капельками пота проступило возбуждение, в глазах плескался восторг – такое можно видеть у малыша, который тянет за собой мать, чтобы показать, как красиво он изобразил на стене фломастером лошадку или котика.

– Вот он! Вот он! Там, за деревьями. Вот он! Русский! Сейчас. – Рихард, наконец, отпустил мою взмокшую ладонь и полез в свой потрепанный кожаный портфельчик, куда он успел убрать книгу и на дне которого покоился футляр с толстыми очками. – Прямо минуточку еще одну!

Он выудил очки из портфеля и надел их на нос – передо мной опять стоял крупный большеглазый филин. Фон Ширах впервые показался мне по-настоящему милым.

– А теперь – закрой глаза. Он снова взял меня за руку.

– Иди за мной вперед. И еще шажок. И еще один. Вот так. Открывай!

На уровне моих глаз оказались чьи-то бронзовые штаны. Я закинула голову – это был памятник человеку, стоящему на небольшом постаменте и смотрящему в сторону.

– Это русский, русский! Смотри! Тьючеф.

– Что?

– Тьюджев.

Рихард, прилагая максимальные усилия, пытался прочесть надпись на постаменте. Я посмотрела: «Федор Тютчев».

– Тючев, – повторил за мной фон Ширах и, показав пальцем на губы, артикулированно повторил еще раз: – Тючев.

Рихард несколько секунд упорно смотрел прямо на меня, пока я не догадалась, чего он ждет. Ну конечно!

– Рихард, надо же! – завопила я от восторга, словно и правда встретила покойного поэта прямо тут, в Хофгартене. – Федор Тютчев! Вот так чудо!

Рихард раскинул руки в сторону, намекая на дружеские объятия. Обнимая рыхлого и влажного Рихарда, от которого исходил пар, я думала о том, что он часто вступает со мной в тактильный контакт. Интересно, он со всеми женщинами так? Нет, фон Ширах не переходил никаких границ – возможно, дело было в том, что в детстве он недополучил нежных прикосновений родителей. Сорок второй год рождения. Ни тебе богатства в Третьем рейхе, ничего, что бы он мог знать о прошлой роскошной жизни семьи, за которую ему пришлось расплатиться своим детством в интернате.

Рихард разомкнул объятия. Я, наконец, свободно вздохнула. И спросила у Рихарда про его отношение к русским.

– Прекрасное! – сказал он. – Русская литература – лучшая в мире. Первое, что я прочитал из русской литературы, еще в школе, и больше из подросткового любопытства, была «Лолита» Набокова, которую взял в библиотеке. Этот роман меня очаровал настолько, что я не мог читать многое из немецкой литературы, потому она была не на таком высоком уровне. И так я стал настоящим фанатом Набокова. Кроме этого, и в тюрьме, и после заключения мой отец читал много русской литературы. Это к вопросу о том, что тюрьма является местом познания и осознания. Он и меня уговаривал читать. И «Тихий дон» Шолохова, и всего Тургенева, и Толстого.

Филин Рихард снял очки и положил их в футляр.

Мне стало интересно, как он относился к другим русским, ведь именно наша Красная армия чуть не прикончила его отца, ведь именно советские охранники были самыми жесткими и

несговорчивыми в тюрьме Шпандау…

Ширах посмотрел на Тютчева, потом на меня и вздохнул:

– Другие русские… Наверное, у отца моего и правда было сложное отношение к русским. Например, именно обвинитель с русской стороны генерал Руденко пытался возложить на немцев ответственность за Катынь, хотя все прекрасно знали, что это было дело рук русских, а не немцев, к тому же имелись документальные подтверждения, результаты расследований. Мои контакты с русскими ограничиваются лишь тюрьмой, тюремными служащими. Некоторых из них отец очень уважал. Когда я приходил к нему в тюрьму, он заклинал меня: «Только не говори ничего плохого о Мартынове, он мне очень помог».

«6 апреля 1957 года. Пока Функ болен, Шираху не с кем поговорить. Утром он вдвоем с Фоминым посадил на круглой клумбе красные и белые люпины так, чтобы цветы выросли в форме советской звезды. Я спросил сидевшего в противоположном углу сада Гесса: ”Что вы думаете об этом? Ваш лидер молодежи рейха украшает цветочную клумбу красной звездой“. Гесс лишь улыбнулся»[65].

– Рихард, – спросила я, напомнив ему в вольном пересказе фрагмент мемуаров Альберта Шпеера, – не кажется ли вам, что это уже был даже не надлом – перелом. Бальдур фон Ширах, советская звезда…

– Нет-нет. – Рихард замотал головой из стороны в сторону. – Нет. Я думаю, что то, что ты обозначила как «перелом», «слом», это случилось уже после тюрьмы. Когда отец вышел оттуда. Когда понял, что миру уже плевать на прошлое, которым отец продолжал жить. Гитлер, рейх и все прочее.

– Но он вроде бы раскаялся. Отказался от убеждений, Гитлера, рейха.

– Парадокс заключается в том, что он всё равно остался там, в рейхе, с Гитлером и убеждениями.

Я села на траву в метре от Рихарда, повернувшись спиной к Тютчеву – фон Ширах изумленно посмотрел на меня сверху вниз, но в глазах мелькнуло снисхождение. Его, я уверена, даже забавляло легкое мое пренебрежение высоким этикетом.

– В том же дневнике Шпеера есть фраза, которую я себе подчеркнула. Прокомментируете мне ее?

Фон Ширах кивнул.

«Пиз принес Гессу и мне рождественские подарки от наших родных. Ширах ничего не получил. В ноябре он всем назло написал домой, что в этом году не хочет никаких подарков. Теперь, признается он, его пугает, что дети поймали его на слове»[66].

– Вы не думаете, что это… как бы сказать… несколько жестоко?

– Я не помню такого, – отрезал Рихард, – не помню.

Странное дело: вспоминая о том, как навещал отца в тюрьме, как тосковал по нему, Рихард горестно всхлипнул и едва не разрыдался. А тут вдруг – «не помню такого». Помнит. Очевидно. Но тогда я ничего не понимаю: двадцать лет переписки, страданий по отцу, одиночества в интернате. А еще та фраза, которую Рихард случайно обронил в нашем разговоре: «Я специалист по проигрышам, по поражениям». Я произнесла ее вслух. Фон Ширах посмотрел на меня в полном недоумении, приоткрыв рот. Я добавила:

– Что вы имели в виду, когда сказали это?

– Я это сказал? – Казалось, Рихард искренне изумлен. – Конечно, я мог такое сказать, но, наверное, я имел в виду отпечаток, который детство наложило на всю мою жизнь. Ведь я рос в интернате, и, несмотря на то, что все ко мне хорошо относились, это было тотальное одиночество. Это была борьба с самим собой – как себя вести с этими чужими людьми? Говорить ли мне громко или тихо? Шутить ли, или у меня выходит глупо? Лучше всего, решил я, говорить то, что хотят слышать окружающие. Я привык к этому. Я не умел толком строить карьеру, коллектив – это вообще не мое. Хотя у меня была своя немецко-китайская компания. Как я могу тебе, сидящей передо мной в позе лотоса, объяснить, что такое постоянно лавировать, крутиться, полагаться только на себя? Но не так, как это делают настоящие американские герои, а так, как это бывает у простых людей…

– С непростой фамилией?

– С непростой фамилией, – кивнул Рихард, двинувшись ко мне подать руку, чтобы мне удалось восстать из травы. – Давай я покажу тебе памятник Гейне. Вон он. Рядом с Тьючев. Этот памятник Гейне мне очень дорог. Во-первых, я изучал германистику. Во-вторых, моя мать как-то попросила, чтобы – если у нас появятся средства – мы, дети, вложили их в реставрацию этого памятника. Она очень любила Гейне и Вольтера.

Бог ты мой, а я подумала, что это чей-то фамильный склеп. По сути, это и есть каменный склеп, внутри которого на бронзовой скамейке сидит бронзовая женщина возле бронзового надгробия. Но войти в склеп невозможно – передней стены нет, вместо нее решетка, очень похожая на тюремную. Памятник называется «Муза поэта».

Оператор, притаившийся за кустами с камерой, по команде

Сергея снял, как фон Ширах подошел к склепу. Его пухлые пальцы обвили решетку. Мне показалось, что он видит там не музу поэта, а отца, который в одиноком детстве, как я полагаю, был для Рихарда всем – и музой, и надеждой, и недосягаемой мечтой, будущим, вобравшим в себя всё, что так хотелось видеть Рихарду. Словно индюшку, мой новый знакомый нафаршировал образ отца-узника всем тем, чем юношеский ум мог восхищаться в книгах. В тех книгах, которые ему советовал к прочтению Бальдур. В книгах, где узники всегда были страдальцами-философами, но никак не преступниками.

Мы шли с ним по тропинке, оставив за спинами горделиво смотрящего вдаль Тютчева. И затерявшуюся в зеленой листве метафору Гейне – музу-узницу. Пройдя метров двадцать, я заметила, что на скамейке, утопленной в пышной зелени, спит бомж. Ширах заметил его одновременно со мной, кивнул в его сторону и, понизив голос, чтобы не разбудить спящего, сказал: «Он и я – ну чем мы отличаемся?»

Кокетство. Почему-то вспомнилась мне эпитафия на могиле Бальдура фон Шираха. «Я был одним из вас». Ну да. Конечно.

Фон Ширах склонился над спящим и шепотом констатировал: «Спит! Как сладко спит!» Отойдя от бомжа на несколько шагов, Рихард вдруг начал читать мне Гейне – негромко, но с выражением: «Denk ich an Deutschland in der Nacht…»

Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной;
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.

Проходят годы чередой…
С тех пор, как матери родной
Я не видал, прошло их много!
И всё растет во мне тревога…

И грусть растет день ото дня.
Околдовала мать меня:
Всё б думал о старушке милой, –
Господь храни ее и милуй!

Как любо ей ее дитя!
Пришлет письмо – и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.

Забыть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет –
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.

Крепка родная сторона,
Вовек не сломится она;
И будут в ней, как в оны годы,
Шуметь леса, катиться воды.

По ней не стал бы тосковать,
Но там живет старушка мать;
Меня не родина тревожит,
А то, что мать скончаться может.

Как из родной ушел земли,
В могилу многие легли,
Кого любил… Считать их стану –
И бережу за раной рану.

Когда начну усопшим счет,
Ко мне на грудь, как тяжкий гнет,
За трупом бледный труп ложиться…
Болит душа, и ум мутится.

Но слава богу! В тьме окна
Зарделся свет. Моя жена
Ясна, как день, глядит мне в очи –
И гонит прочь тревоги ночи.

(Пер. с нем. М.Л.Михайлова)[67]

Тогда, не слишком понимая смысл, я подумала, что с такой тоской Рихард читает стихотворение о матери: в конце концов, она любила этот памятник. Только теперь понимаю – не о ней. Вся эта тоска, письма, Германия с ее липами, которая восстановилась после рагнарёка 1945-го, – это всё биография Рихарда в изложении Гейне. Но тогда я спросила Рихарда не о глубинных смыслах, которых не уловила сразу. Спросила лишь о поверхностных. В конечном итоге, когда камера заработала, Рихард, присев на край скамейки и одним боком опершись на ее спинку, услышал от меня вопрос о матери.

– Вы хотите знать о моей матери? Что именно?

– Что с ней было после того, как отец попал в Шпандау?

– Аресты и допросы. Допросы и аресты. Лагерь для интернированных. И другой лагерь. И так до 1947 года.

– Но она навещала отца?

– До 1947-го.

– Почему?

– Потому что… его все предали. И Гитлер, и Германия, и мать, что, наверное, непростительно. Хуже всего было, что мы все, четверо детей, узнали о том, что она собралась с ним развестись в 1947 году, из газеты. И мать… она допустила, чтобы ее личное письмо было процитировано там, в газетах. Это было неправильно. Мы все осудили ее. И, конечно, отец тоже расценил это как предательство, ибо все жены узников Шпандау хранили верность мужьям, смиренно дожидаясь их выхода из тюрьмы. Но у матери уже был другой мужчина. Наверное, ее трудно осуждать. Нужно было к кому-то прислониться. Но не так громко. Не так яро.

Письмо Генриетты фон Ширах, что она написала мужу в тюрьму, было для Бальдура громом среди ясного неба, – нет, он не был убит, не уничтожен морально, просто еще раз убедился в том, что высокие отношения присущи только поэзии и литературе. Вываливать личную жизнь на всеобщее обозрение, позволив опубликовать такое письмо в газетах, – не лучшая идея, считал он. И разорвал ее фотографию, которую по привычке держал у себя в камере вместе с фотографиями детей. Что же это было за письмо, которое с удовольствием смаковали, как сладкую сплетню?

> *«Спрашивал ли ты когда-нибудь, как нам удается выжить? Было ли хоть раз так, чтобы ты, сидя в своей камере, вместо изучения философии, латыни, французского, вместо сочинения стихов и размышлений о том, чтобы исправить наше положение в истории, как ты это называешь, действительно посмотрел в глаза реальности и поинтересовался, откуда возьмется еда для твоей жены и твоих детей?*
>
> *Ты изолировал себя от всего и от всех, ты витаешь в облаках, как было почти всегда со дня нашей свадьбы…»*[68]

Если эта часть письма была адресована Бальдуру, то следующая часть адресовалась читателям, которые должны были увидеть это письмо. Остановимся на этой части чуть подробнее:

> *«Помнишь тот день 1943 года, когда я пришла в Берхтесгаден после посещения моих друзей в Амстердаме и принесла журнал ”Лайф“, который я купила на*

обратном пути через Лиссабон? Я показала его Гитлеру, который, как ты знаешь, почти никогда не видел заграничных публикаций. Я указала ему на статью в журнале о войне и ее бесчеловечности. Ты помнишь, что случилось? В это время ты был в комнате. Гитлер взорвался и сказал: "Вы должны научиться ненавидеть, все вы. Вы слишком сентиментальны". Я видела, что мое присутствие раздражает фюрера, и когда уже собиралась уходить, Мартин Борман, желая успокоить Гитлера, поставил пластинку. Я дошла до лестницы и услышала звуки вагнеровской "Гибели богов". Совершенно внезапно я поняла, что те, чье общество я только что покинула, и ты среди них, обречены»[69].

Да-да, главный посыл письма – объяснить всем, что она, Генриетта, всегда была по ту сторону или даже просто в неведении, – и тем не менее предрекла гибель богов. Этот абзац письма отсылал предполагаемых читателей к истории о том, как Генриетта, приехавшая из оккупированной Голландии, холодно заметила фюреру, что случайно стала свидетельницей депортации евреев оттуда, и ей показалось, что с людьми обращались жестоко. В своей книге воспоминаний (а всего она написала несколько книг, художественная и фактологическая ценность которых невысока) Хенни уже в подробностях описала, как спорила с фюрером и как тот разъярился на нее за то, что она заступалась за людей. Было ли это правдой? Или эта история была если не сочинена, то несколько раздута фон Ширахами, которых в 1943 году Гитлер в Бергхофе принял прохладно? Вот что сам Бальдур фон Ширах сказал по этому поводу тюремному психиатру Леону Голденсону в 1946 году в Нюрнберге, за год до письма Генриетты. Замечу, что интерпретация событий Бальдуром несколько отличалась от интерпретации, представленной Генриеттой и в письме мужу, и в книге, которую она написала годы спустя: «Он сказал, что, когда в 1943 году он со своей женой приехал на несколько дней погостить в доме у Гитлера в Берхтесгадене, там было невозможно жить из-за жизненного распорядка Гитлера, так что им обоим пришлось уехать раньше, оправдываясь тем, что им нужно возвращаться к детям. Он сказал, что в тот раз его жена заявила ему, нисколько не сомневаясь, что Гитлер сумасшедший… Там было много других гостей. Гости должны были придерживаться расписания Гитлера в приеме пищи, а это расписание было очень изменчивым. Например, Гитлер завтракал в три часа дня, обедал в восемь вечера, а ужинал около полуночи… Фюрер

безмолвствовал во время еды либо начинал разглагольствовать, не допуская никаких комментариев или замечаний от своих гостей… *Он [Ширах] сказал, что жена его была довольно несдержанна и привыкла достаточно свободно выражать свое мнение о ком угодно, но даже она не могла ничего сказать Гитлеру (выделено мною. – Т.Ф.)»*[70].

Не могу удержаться, чтобы не привести еще одну вариацию на тему этой истории, описанную у психолога Густава Гилберта. Вот что сказал ему Бальдур во время Нюрнбергского процесса: «Моя жена… решила поинтересоваться у фюрера, известно ли тому об этом бесстыдстве. Он не вымолвил ни слова. *Тут задал вопрос и я, желая узнать, что же ожидает депортированных евреев. И тут он накинулся на меня с такой яростью, что я уже не сомневался в том, что меня ждет неминуемый арест. С тех пор я оказался в опале (выделено мною. – Т.Ф.)»*[71].

Ну и еще одна интерпретация – чтобы вы видели, как создается легенда. Альбертом Шпеером в «Тайном дневнике», который он вел во время двадцатилетнего заключения в тюрьме Шпандау, эта запись датирована 1957 годом: «Мы стали обсуждать тот факт, что оба впали в немилость перед крушением рейха: Ширах – после визита в Бергхоф в первой половине 1943-го, *когда отчаянно возражал против преследования евреев… (выделено мною. – Т.Ф.)»*[72]. Судя по всему, именно так преподнес Шпееру факты Бальдур фон Ширах.

Кажется, фон Шираху и Генриетте трудно было определить, кто именно из них возражал Гитлеру и заступался за людей, а может, никто и не заступался. Факт остается фактом: заступничество за евреев фон Ширахи не поделили.

Но вернемся к финальным аккордам письма Генриетты мужу в Шпандау:

> *«Потом, когда гитлеровская Германия уже рушилась вокруг нас, я ожидала, что ты попросишь принять яд вместе с тобой, как сделал Геббельс со своей женой и детьми… Ты ответил: ”Я не могу совершить самоубийство. Сначала мне надо прояснить мое место в Истории и значение моей работы…“ Как всегда, ты не желал смотреть фактам в лицо. Прими я тогда яд, это избавило бы меня от невыразимых страданий в борьбе за жизнь свою и детей. Я уже столько раз выражала тебе свои чувства, но ты всегда предпочитал игнорировать их как неприятные для тебя… Я немедленно развожусь с тобой».*[73]

Мне вспомнилась история, тоже про письмо, которую

рассказывал Рихард где-то возле храма Дианы в Хофгартене: «Мне было 11 лет, и я мечтал увидеть отца. Когда я оказался в Шпандау, меня сопровождал русский директор тюрьмы – он пытался болтать со мной по-немецки и как-то дал понять, что, мол, не такое уж тут мертвое заведение, это лишь видимость, что тут – как в склепе. На самом деле, четыре страны, контролирующие тюрьму, конфликтуют между собой. В общем, после свидания с отцом я, вернувшись в интернат, написал письмо матери – она-то, понятно, после развода с ним не виделась… В общем, я написал маме и по неосторожности ляпнул – мол, я узнал, что внутри тюрьмы… и так далее. И – это было страшное потрясение – буквально через пару недель в номере одного журнала я увидел опубликованным мое письмо маме. Я долго не мог простить ей обманутое доверие. Это было просто предательство! Обиду свою я помню до сих пор. А в письмах отцу я тему матери не затрагивал – с того момента, как они развелись, никто из нас не упоминал о ней, а отец порвал ее фото. Запретных тем с отцом и так было в принципе много – во-первых, цензура. Во-вторых, он сам не горел желанием говорить с нами про Третий рейх, Гитлера, вину».

Рихард, удобно расположившись на скамейке, водил рукой по лицу, словно пытаясь стянуть с себя верхний слой кожи, как пенку с горячего молока.

– Вернемся к разводу, – настойчиво предложила я собеседнику. – Что мама делала после него?

– Жила дальше, – равнодушно бросил он.

Исчерпывающий ответ.

– А вы знали, что жена бога Бальдра, согласно «Младшей Эдде», умерла от горя, узнав, что ее любимый муж остался в царстве мертвых? – спросила я.

Рихард горько хмыкнул:

– Иногда мне кажется, что они все – отец, мать, дед – остались в царстве мертвых с Гитлером.

– Но раз ваша мама зажила полной жизнью, нашла… нового возлюбленного, то она любила жизнь.

– Наверное, – согласился Рихард как-то неуверенно, – но Гитлер и рейх по-прежнему оставались для нее лучшими воспоминаниями. И дело даже не в нацизме, а в том, что тогда она была молода и беззаботна. С момента гибели рейха на ней висела вина (от которой она, надо сказать, никогда публично не отказывалась) и четверо детей, для которых нужно было зарабатывать деньги.

– И муж, который писал лиричные письма, рассуждая о роке и

своей роли в истории.

Фон Ширах промолчал.

В 1948 году Бальдур фон Ширах, судя по всему, думая, как ему самому выжить на свободе через восемнадцать лет, активно интересовался доходами Гитлера: «Сегодня – снова у парника – Ширах спросил меня, откуда Гитлер брал огромные суммы для своего частного фонда. Неужели доход от ”Майн Кампф“ покрывал многочисленные расходы, хотел он знать… Мы вместе подсчитали его доходы и получили сумму, которая никак не могла покрыть подобные расходы. Тогда я вспомнил историю с маркой. Однажды его фотограф Гоффман обратил внимание Гитлера на тот факт, что он мог бы потребовать выплату роялти за использование его портрета на каждой марке, и Гитлер без колебаний ухватился за это предложение»[74].

А в 1952 году заключенному номер один, Бальдуру фон Шираху, отбывшему чуть меньше половины тюремного срока, больше не пришлось считать чужие деньги – ему сообщили, что он стал… миллионером. Да, на смену имуществу, которое было изъято у бывшего гауляйтера Вены, пришло состояние почивших американских родственников, предусмотрительно вложенное в ценные бумаги американских железнодорожных компаний, в числе которых была Norris Locomotive. Половину состояния должна была унаследовать Розалинда, родная сестра Бальдура. Так что теперь фон Ширах был завидным женихом. В 1965 году, за год до выхода из тюрьмы, уже не юный Бальдур попал в лазарет с отслоением сетчатки, в итоге он ослеп на один глаз. Но когда он вернулся в тюрьму из лазарета, то наболтал товарищам о том, что жил в люксе, заказывал еду по меню, об австрийской графине, которая прислала ему цветы и записку с предложением жениться на ней. Она проезжала мимо его окна на спортивном «мерседесе».

«Вечером Пиз немного подкорректировал его рассказ: – Вы же знаете Шираха. Естественно, у него была самая обычная палата. Приемная предназначалась для полиции, а у дамы, безусловно, не были никакого ”мерседеса“. Она ездила на ”фиате-тополино“»[75].

Я спросила у Рихарда, как он получил состояние отца, хватило ли им, детям?

Ширах откашлялся и растерянно взглянул на меня:

– Вы правда не знаете? – удивился он.

– Не имею ни малейшего представления…

– Может, оно и к лучшему, – ответил он уклончиво, но не без тоски в голосе. – У меня ничего нет, и не будем к этому больше возвращаться. Что касается матери, то, как только она узнала, что

отец разбогател, попыталась связаться с ним через своего брата, попросить деньги на образование детей, чтобы вырваться из нищеты. Отец очень деликатно намекнул Генриху, что никаких денег ей не даст. Она забыла, что развелась с ним? И дети никогда не писали в письмах, что нуждаются (можно подумать, он этого не знал). Но главное – он уверен, что Генриетта потратит деньги «на себя и своих любовников», а вовсе не на нас. Это было глупо. Какой бы мать ни была… она всё-таки любила нас и никогда не присвоила бы деньги отца. В общем, эта попытка провалилась. Потом в тюрьму на свидание, как обычно, пришла моя старшая сестра Ангелика и попросила у отца денег, объяснив, как сильно мы все нуждаемся. Он опять говорил с ней о музыке и литературе, говорил о картинах, потому что у Ангелики были способности к рисованию, – и в итоге ничего не ответил. В общем, это был отказ. Так что заботу о нас взвалила на себя тетя Розалинда – она вступила в права наследования. Но это были не наши деньги. У нее тоже была своя жизнь. А тут – четверо подростков, их мать и ее ухажеры…

Я хотела понять – а что Рихард? Как это отразилось на его отношении к отцу?

Он пожал плечами:

– Ну много ли мы понимали тогда? Мы познали в детстве такую страшную нищету, что всё последующее казалось много лучше. С другой стороны, мы также понимали, что мать сама не заслуживала иной участи, оставив отца в такой сложной ситуации. Позже она предпринимала активные попытки вытащить отца из тюрьмы – делала обращения к правительствам разных стран, писала письма. Отец – он правда никогда не говорил об этом, – кажется, считал, что мать пытается обелить себя в его глазах, чтобы получить доступ к финансам.

– Когда она ушла? – спросила я.

– В 1947-м…

– Нет, в смысле не от отца. А вообще ушла, умерла.

– А! – Рихард будто даже взбодрился. – В начале 90-х.

– А конкретно?

– В 1992 году.

Поудобнее устроившись рядом с Рихардом, оккупировавшим скамейку, я, наконец, спросила про выход его отца из тюрьмы. Он закатил глаза, тяжело выдохнул.

– Можете себе представить, что мы, дети, чувствовали, ожидая приближения заветного дня? Выход отца из тюрьмы был, разумеется, необычайным событием. Согласно тюремным правилам, его должны были выпустить в полночь. Ни на минуту раньше. Ровно в ноль часов должны были открыться ворота. Этого

момента мы ждали двадцать лет. Обычно, когда предстоит столь ожидаемое событие, с ним связываются определенные надежды личного характера. Кажется, что, стоит, наконец, отцу оказаться дома, как все проблемы будут решены сами собой, что всё сразу изменится. Глубочайшее заблуждение. И чем выше ожидания, тем сильнее разочарование.

– Разочарование?

– Я даже во сне видел эти ворота Шпандау. Как они открываются, представляешь? – сказал Рихард, и повеяло легким мелодраматизмом. Глаза Шираха подернулись влажной пленкой, но мое сердце отчего-то не сжималось так, как сжималась оно, когда одинокая фигурка Никласа Франка, перечеркнутая тонкими карандашными штрихами дождя, брела вдоль тюремной стены в Нюрнберге; когда Элизабет Геринг, с глазами, смотрящими внутрь себя, пела песни в лимском кафе, и я видела, что она где-то далеко-далеко, в непонятных туманах и черно-белом мире…

Впрочем – не отрицаю, – за легкой дымовой завесой цинизма, которая спасала меня от помешательства, от странностей, творящихся вокруг, от деталей, фактов, ситуаций, которые я описываю в этой книге и о которых порой умалчиваю по самым разным причинам, я вполне могла делать эмоциональные сбросы там, где их делать не следует, и быть чересчур недоверчивой тогда, когда, наоборот, нужно было довериться собеседнику, который, сжимая мою руку в своей, вводил меня в пределы чего-то, что было недоступно многим другим. Я могла смещать акценты, упускать из виду важные детали, фокусируя внимание на том, что было важно лично для меня. Я не была беспристрастна. А если бы была, то меня бы просто не было…

Фон Ширах, сложив руки на груди, взглянул на меня и вдруг сказал:

– А жарко сегодня, да?

Его вопрос меня слегка обескуражил:

– Очень, – сказала я, пытаясь вернуть Рихарда в 30 сентября 1966 года. – А какая была погода, когда открылись ворота Шпандау и из них выехали две черные машины, в одной из которых сидел ваш отец?

– Было тепло, может, нет. Я не помню, – сказал он и виновато взглянул на меня. – Представляешь, что это такое, когда ты видишь человека, которого никогда не мог обнять? Ведь я до этого ни разу не мог прикоснуться к отцу, не говоря уж о том, чтобы обнять его. И вот это происходит в первый раз, и это очень непривычно, очень непросто. Но само освобождение проходит, как в дурмане: мы, отец и трое сыновей – Клаус, Роберт и я, –

сидим в отеле, курим только сигары, пьем шампанское, пытаемся сделать из этого праздник.

– Но? – предвкушала я драматическую развязку, которую предвещало погрустневшее красное лицо Рихарда.

– «Но» – это не факт и не одна ситуация. «Но» – это процесс. В один момент мы возвращаемся в реальную жизнь, и наступают будни. И ты понимаешь, что тот мир, который был создан в письмах, кратковременных и редких посещениях отца в тюрьме, – мир искусственный и очень хрупкий. И ты понимаешь, что те звуки скрипок, которые звучали в наших письмах, словно в слаженном квартете (все четверо писали ему письма), что все эти интонации – всего лишь упражнения, заученные до автоматизма на протяжении двадцати лет. Но в жизни не остается места общим фразам. Это невозможно.

Постепенно в тебе начинает расти разочарование. Я заметил, что он мной совсем не интересуется. Я думаю, он был законченным эгоистом, если судить по его отношению к детям. А ведь мы много отдали ему. Мы не отказались от него, мы продолжали любить его, писали письма, задавали вопросы. Только мы привносили жизнь в его камеру-одиночку. Но в один прекрасный момент ты понимаешь, что он даже не спросил тебя, где ты учишься, как ты жил все эти годы или хотя бы просто – как дела? Я так и не услышал этих вопросов. При этом наступает некоторое замешательство, но ты надеешься, что ему нужно время, чтобы освоиться. И первое разочарование было связано как раз с отсутствием интереса к нам. Мы не понимали, что это значит, никогда с таким не сталкивались. Но это и понятно, вряд ли найдется кто-нибудь еще, кто просидел больше двадцати лет в одиночке. К тому же у них у каждого была своя судьба, кого-то из них заключение, что называется, сломало. Мы подмечали разные необычные вещи. Например, отцу было очень трудно приспособиться к новым реалиям. Он пытался вырезать ножницами таблетки в упаковке из фольги, которые можно выдавить пальцем. И когда я это увидел, я очень остро осознал: Боже мой, ведь он всего этого не знает, он пропустил огромную часть жизни. Ведь он не видел, как восстанавливались города, он не знает современных телефонов, он никогда не видел факса, и вряд ли знает, что это такое. С другой стороны, мы, возможно, требовали от него слишком многого. Он мог говорить с нами, как любой другой человек, из газет он получал практически всю информацию, просто не сталкивался со многими вещами в реальной жизни. Тогда нам показалось, что, наверное, мы ведем себя с ним неправильно. Но, к сожалению, инструкций по обращению с бывшими заключенными не было. И я понял, что

вместо того, что я называю эмпатией, появляется охлаждение.

– Рихард, вы сказали «первое разочарование», а когда было… последнее?

Мой собеседник криво улыбнулся губами Бальдура фон Шираха:

– Главный сигнал отчуждения прозвучал, когда отец писал мемуары и хотел, чтобы я прочитал их и, может быть, отредактировал, короче, как-нибудь поучаствовал, ведь я всё-таки связан с литературой… Но я сказал, что не буду их читать, что у меня нет никакого желания, что я сыт этим по горло, что двадцать лет был за него, моего отца, что я наконец-то свободен и сейчас намерен отправиться с другом в Италию. Это его очень задело. Ты же понимаешь – только так я мог освободиться, мог избавиться от тени, которая висела над всем моим детством, моей юностью. Мог, наконец, освободиться от этого извечного «ты уже написал письмо? нет еще? Так пиши… пиши… пиши…». Я помню, как это давило на меня. Как-то из чистого упрямства я решил больше не писать ему в тюрьму. Меня так мучили угрызения совести, что я продержался всего три недели. Даже тут он меня сломал…

Наконец, жалость, подступила к моему горлу тяжелым комком, который невозможно было проглотить. Жалось не к Рихарду. Как ни странно, как ни глупо, к его отцу. Нет, не к нацистскому преступнику фон Ширахе, а к пожилому человеку с дурацким именем Бальдур, которое я, забавы ради, даже дала своему новому плюшевому мишке. К человеку, преданному всеми и вся. Человеку, который способствовал хаосу, создавая порядок так, как он понимал это. Человеку, которому и правда было бы лучше принять яд или бежать в Америку. Самая страшная казнь для идеалиста – пусть и нацистского чудовища – это видеть крушение всех идеалов, не только политических. Не сомневаюсь, что у Бальдура была и своя история отношений с остальными детьми, с которыми он два года спустя после выхода из тюрьмы умудрился расплеваться, – Рихард не захотел об этом говорить. Я подумала, что в истории нашего Бальдура всё было сложнее, чем в скандинавском мифе. Там коварный Локи принял обличье великанши Токк. Здесь, в реальности, Локи появлялся перед Бальдуром в самых разных обличьях, от Гитлера до младшего сына. Рихарда.

С другой стороны, можно ли осуждать Рихарда за то, что он (в который раз) не хотел читать мемуары отца о Гитлере, о причинах, которые сделали Рихарда сиротой при живых родителях? Нет, наверное нельзя. Но я вдруг четко осознала, что человек, сидевший передо мной, был копией Бальдура фон

Шираха.

Рихард отплатил отцу равнодушием – не потому, что был мстителен и жесток.

Реальность за воротами Шпандау разрушила тонкое кружево букв на клочках бумажек, которыми годами обменивались Рихард и его отец. Бумажек, которые содержали в себе не чувства – просто буквы, слепленные в бессмысленные слова, за которыми не было глубин, разверзающихся после столь почитаемых и отцом и сыном Гёте, Набокова и многих других.

Рихард, как я поняла позже, намеренно умолчал о том, как Бальдур потихоньку расплевался со всей семьей и уехал жить к своему бывшему адъютанту Фрицу Висхоферу, на родственнице которого женился его сын Роберт. Что было потом? Почему в итоге Бальдур перестал подолгу гостить у Висхофера и перебрался в городок Крев, где поселился в гостинице и позволял развлекать себя пожилой хозяйке, которая много лет назад состояла в женской организации Bund Deutscher M@del и сочувствовала Бальдуру, снова и снова возвращая его своими сетованиями в Третий рейх?

> «Шестидесятисемилетний Бальдур фон Ширах, лидер нацистской молодежи, хваставший, что со временем у него каждый немецкий младенец еще в колыбели будет говорить ”Хайль Гитлер“, умер в четверг в деревенской гостинице.
>
> Ширах умер во сне в номере отеля ”Монреаль“, что в деревне Крев, приютившейся среди лучших виноградников Мозельской долины. Представитель гостиницы сказал, что Ширах был прикован к постели около 8 недель, так как упал у себя в номере и сильно ушибся»[76].

Рихард фон Ширах подписывал мне книгу. Из-под его пера рождались невероятной красоты китайские иероглифы. Он, пыхтя, высунув язык, продолжал сплетать узоры из штрихов. Я увидела, как пишется мое имя по-китайски. И как пишутся другие приятные слова, которые написал мне Рихард.

Мы проговорили очень долго и собирались прощаться. Рихард получил деньги и, покраснев, то ли от смущения, то ли от удовольствия, предложил зайти на несколько минут в музей, который располагается в здании, построенном в период рейха.

– Тут были выставки, куратором которых был мой дед, Генрих Гоффман, за что, кстати, и получил профессорский титул. Но это не главное, – сказал фон Ширах.

Он скользнул между толстыми огромными колоннами в

квадратный мрак открытых тяжелых дверей – я зашла следом. Каменные просторы холла подавили меня собою настолько, что я вмиг почувствовала себя лилипутом в мире давно умерших Гулливеров.

– Иди сюда, – крикнул Рихард, – посмотри на эту доску.

На железом обитой стене выпуклыми буквами были выгравированы какие-то слова. Оказалось – названия. Я сразу поняла, что к чему.

Siemens

BMW

Hugo Boss Volkswagen

и др.

– Они все работали на нацистов, – шепнула я Рихарду.

Тот кивнул в ответ.

– Я должен… – Его дыхание в прохладе огромного здания обожгло мне ухо. – Просто должен показать тебе одну фотографию, она вон там, на стене.

Я вгляделась: там был изображен кто-то, кто, сложив перед собою руки в замочек, стоял на коленях с видом нашкодившего кота, которого хозяин познакомил с тапком.

– Это восковая фигура Гитлера, – сказал фон Ширах, – ее, к сожалению, больше нет, но фотография осталась. Гитлер стоит на коленях. Ах, как это правильно. Гитлер на коленях!

Не знаю, что имел в виду Рихард под словом «правильно», и чем был вызван его восторг, мне понять трудно. Гитлера, в конце концов, и раком можно было поставить. Но это был не Гитлер. Это был Гитлер, каким его хотел бы видеть Рихард, каким он хотел бы показать его отцу, – швырнуть фото в лицо и сказать, не заламывая мелодраматично руки и не обращаясь к высокому штилю: «Вот он, твой герой, любовь всей твоей жизни! Ради этого ничтожества, ради него я, спустя двадцать лет тоски по тебе, должен слышать только “фюрер-фюрер-фюрер”?! И не важно, в каком контексте ты произносишь его имя, – даже если ругаешь последними словами! Ты произносишь его. Постоянно!»

Жаль, что Рихард не сделал этого. Мне кажется, стало бы чуть легче. Полагаю, отец и сын ни разу в жизни нормально и не поговорили. И теперь можно понять почему. Ни тот ни другой просто не умели разговаривать, теряя смыслы за ворохами ненужных слов, теряя за ними чувства. Они перечувствовали, перелюбили, перестрадали – сын в книгах и чужих судьбах, отец – в Третьем рейхе. Друг на друга их просто не хватило.

Рихард любил не отца, он любил свои страдания длиной в двадцать лет – согласитесь, не маленький кусок жизни, чтобы от него так просто отказаться. Не знаю, что имел в виду сын, когда сказал мне во время беседы:

– Знаешь, перед встречей со мной отец написал моей тете, которая должна была впервые сопроводить меня к нему в

Шпандау в 1953 году, что он мог бы оградить нас от этих встреч, но лучше закалить нас сразу, меньше думать о нашей боли, и тогда это всё будет на пользу.

Он написал ей, мы, дети, должны сами увидеть и понять, что с нашим отцом связано «понятие Удачи и Неудачи великого Рока», и еще он сказал ей примерно так: «Если мои дети не увидят меня своими глазами, у них будет обо мне совершенно неверное представление. А я хотел бы, чтобы они думали обо мне не как о романтическом герое, и не как о сокрушенном, сознающем свою вину, кающемся, а как о том, кем я являюсь…»

Кем?

«Я был одним из вас» – в очередной раз вспомнилась мне надпись на могиле Бальдура. Даже после смерти он продолжал нести бессмыслицу.

Простившись с Рихардом, я подумала о том, что у меня точно будет тепловой удар и неплохо бы отлежаться где-нибудь в тени, хотя б того же Хофгартена, а лучше отмокнуть в прохладной ванне.

– Ну что, – обратилась я к Сергею, который тоже выглядел измотанным, – по гостиницам?

– Обернись, – шепнул Браверман.

– Вы просто… обязаны со мной… сегодня вечером… отужинать. – Рихард тяжело дышал – бегом, что ли, возвращался? – А завтра я… мог бы пригласить вас в Старую пинакотеку, где вы, как я понял… хотели бы побывать. Работа закончена…

Игнорируя Сергея и уж тем паче оператора, фон Ширах обращался ко мне.

Я посмотрела на Бравермана.

Он подавил смешок.

Я посмотрела на бордового Рихарда.

– Мы погуляем по Мюнхену, – сказал фон Ширах, – и если у тебя возникнут какие-то вопросы, я готов ответить на них в приватной беседе… То есть на не все… Но спрашивай…

– А еще он явно готов учить тебя китайскому, – бросил по-русски оператор.

Браверман снова хмыкнул.

– Хорошо, я покажу тебе одну пивную Гитлера, о которой мало кто знает…

– Рихард… – Я чувствовала, что краснею. – Я как-то не уверена… Гитлера, наверное, с меня хватит…

– А еще я приглашаю вас в лучший ресторан, он рядом с Одеонсплац.

Фон Ширах переминался с ноги на ногу, как дитя:

– Я возьму с собой жену Клауса, а ты – Сергея, и поскольку она говорит по-русски, нам всем будет весело.

– Соглашайся, – мягко сказал Рихард.

– Соглашайся, – сказал Сергей.

– Соглашаюсь, – сказала я.

Фон Ширах лучезарно улыбнулся «фамильной» улыбкой и шумно выдохнул.

Мы с фон Ширахом договорились встретиться на площади Макс-Йозеф-плац, напротив Национального театра, возле ресторана «Шпатенхаус», на летней веранде которого под огромными зонтами яблоку было негде упасть. Да что там веранда – вся площадь была забита людьми, высыпавшими на улицы в ожидании вечерней прохлады. Погружаясь всё глубже в мюнхенский вавилон, облитый липким оранжевым светом теряющего силы солнца, я искала глазами такого же цвета рубашку.

Фон Ширах возник у «Шпатенхаус» в четверть восьмого в том же сером пиджаке и штанах, что и днем, но переменил рубашку – ярко-оранжевую на светло-зеленую. Он шел под руку с очаровательной блондинкой: светлое каре, брови дугами, аккуратный курносый носик и крупные серьги. Наташа фон Ширах, жена Клауса, брата Рихарда, была в длинной юбке, блузе в горошек и голубой накидке с короткими рукавами.

– Здравствуйте, – сказала она и улыбнулась. На вид ей можно было дать не больше пятидесяти с хвостиком, но я понимала, что Наташа старше. – Очень рада вас видеть.

В первые секунды мне показалось, что по-русски она говорит вообще без акцента, но он скоро проявился. Следует, однако, признать, что русский Наташи был на высочайшем уровне, – это когда человек прибегает к сложносочиненным и сложноподчиненным предложениям, правильно используя при этом все падежи.

– Вы русская? – спросила я, заглянув в ее голубые глаза, не утратившие яркости с возрастом.

Она мягко засмеялась и открыла дверь ресторана, пропустив меня вперед, – столик был заказан внутри, где царили прохлада и полумрак.

– Нет, но дедушка мой был с Украины. Фамилия его Бируля. Русский язык я просто выучила, – ответила Наташа.

Рихард велел Сергею сесть напротив Наташи, сам же, подмигнув, сел напротив меня. Видимо, фон Ширах полагал, что Браверман должен общаться с Наташей, а я с ним. Моя догадка

сразу подтвердилась:

– Наташа, – фон Ширах приобнял ее, – очень много чего хотела узнать у вас про российское телевидение. Пусть Сергей ей расскажет!

Наташа кивнула и поправила накидку.

– Наташа, – спросила я после того, как она сделала заказ, – а почему вы и Клаус, ваш муж, не хотите сняться для фильма?

Она ответила:

– Это невозможно. Клаус категоричен. А когда он категоричен, то ничего не поделаешь. Да и я не считаю нужным лезть в кадр. Думаю, Рихарда вам достаточно.

– Но есть много вопросов, ответы на которые я не получила, – сказала я Наташе, краем глаза наблюдая, как Рихард, глядя то на нее, то на меня, мимикой пытался намекнуть нам обеим, что ущемлен в правах: из всех сидящих за столом он был единственным, кто не понимал по-русски.

Она, не обращая внимания на фон Шираха, продолжила:

– Значит, так тому и быть. Мы не хотим выворачивать себя наизнанку, и вы должны нас понять. Я – жена Клауса, а Клаус – он уже очень пожилой человек, он устал от расспросов, он больше не может и не хочет. Так он решил для себя несколько лет назад – и упрашивать его бесполезно. Сама понимаю, как вам хотелось бы с ним пообщаться, он много чего знает, но у него «нет» значит «нет». – Наташа острием своего взгляда чуть не порезала Рихарда, который начал активно махать руками и что-то бурчать, желая напомнить всем, что он всё еще тут. – Поймите меня, – добавила она, видимо, окончательно решив игнорировать Рихарда, – мы с Клаусом оберегаем свой покой. Но увидеть вас, познакомиться, для меня – огромное удовольствие, к тому же я не смогла отказать Рихарду: он очень хотел познакомить меня с вами. Сказал, что с Сергеем я могу прекрасно пообщаться на русском о и России.

– Ну так что, – снова подмигнул мне Рихард, – ты уверена, что не будешь пить вино?

– Да, – ответила я злобно, – я вообще не пью.

– Никогда? – огорчился он.

Я кивнула.

– Ты какая-то нерусская, – заметил фон Ширах, сделав глоток вина, – кстати, что у тебя за кровь? Кто ты и откуда?

Крайне естественный вопрос для сына высокопоставленного нациста. И как не нахамить в ответ?

– Ваш папа забраковал бы меня, если бы вы лет пятьдесят назад решили на мне жениться.

– Почему? – удивился собеседник, игнорируя мою попытку

задеть его. – Я так понял, что твой род откуда-то из Скандинавии.

Я с завистью смотрела на Наташу и Сергея, увлеченно обсуждающих что-то, – видела, как мило Наташа округляла глаза и кивала, приоткрыв рот.

– Вообще-то я русская, но во мне есть еще как минимум две крови – шведская и еврейская.

– Аааaа! – Рихард расплылся в нежной улыбке. – Даже так? А кто был в роду… ну генеалогическое древо свое ты вообще видела?

Я пожала плечами:

– Какой-то древний шведский род. Еще есть дальний родственник по другой линии. Он, кстати, Красную армию создал – ту самую, от которой удирал ваш отец.

Фон Ширах, к моему изумлению, пришел в бурный восторг, поняв, о ком идет речь, но уточнил на всякий случай:

– Печальный конец в Мексике? – Я кивнула.

Он просиял:

– Так мы связаны с тобой историей! – И хотел было заключить меня в объятия, но я сделала вид, что не заметила его порыва. Сомнительная это радость.

– Ну а ваша семья, Рихард, – спросила я, – все сплошь арийцы? Или как?

– Моя семья, кстати, – самая что ни на есть интернациональная: сестра моей жены, которая родом из Швейцарии, – замужем за индийским махараджей, моя племянница живет в Риме, дети говорят по-итальянски и по-немецки. Мой сын живет в Барселоне. Невестка – русская, племянник, сын моего брата Роберта, прекрасно говорит по-русски, у него очень красивая русская жена, ребенок, маленький Максим, говорит и по-русски и по-немецки. Бабушка моя была американкой. Сам я жил в разных странах…

Мой взгляд скользнул по рукам фон Шираха – и почему мне вообще в голову не пришло поинтересоваться, женат ли он? Вероятно, потому, что по его одежде, слегка помятой и небрежной, по поведению, я сделала вывод, что он в разводе. Кольца на руке не было – как не было его и днем в Хофгартене.

– А, кстати, жена ваша… – начала было я.

– О, а вот и салатики несут, – обрадовался Рихард и повернулся к Наташе и Сергею.

С одной стороны, меня забавляли ролевые позиции, которые каждый из нас выбрал, согласно теории Эрика Бёрна. Рихард – толстый подвижный ребенок, пытающийся привлечь мое внимание любыми способами. Я же была в образе взрослого

рассудительного человека, который снисходительно смотрел на непоседливое дитя, изредка им раздражаясь. С другой стороны, периодически я испытывала странное ощущение, будто на меня с легкой тревогой и нежностью смотрит не Рихард, а Бальдур фон Ширах, кривовато улыбаясь. Хуже всего то, что человек, сидевший передо мной, не был точной копией своего отца, но мое внутренне зрение, как специально, всматривалось в те черточки лица фон Шираха, которые делали его похожим на покойного рейхсюгендфюрера. И тут проблема уже была не в Рихарде. Во мне.

– Я знаю, что тебе нравится китайский, – сказал Рихард и долил себе вина, с сожалением глядя на мой стакан сока. – Ты будешь его учить?

– Поздновато уже, – призналась я. – Но если бы я знала его хоть вполовину так же хорошо, как вы, уехала бы работать в Китай.

Рихард вскинул бровь:

– В Пекин?

– В Шанхай.

Он брезгливо поморщился. И добавил:

– Не слишком люблю этот город: большой бездушный муравейник – то ли было лет двадцать-тридцать назад! Да и вообще, нужно сказать, это жесткая страна. Я там довольно долго жил и работал. Очень тяжело, – выдохнул он шумно. – Если бы у меня был сегодня выбор, какой язык выучить, то я бы выбрал турецкий.

– Какая глупость! – фыркнула я. – Китайская стена, терракотовая армия, Шаолинь, закаты над Хуанпуцзян и Янцзы, изогнутые крыши домов, как стаи летящих драконов… И всё это – для вас ничто?!

– Мы, немцы, должны понимать, кто такие турки, потому что они – важная составляющая нашей жизни, – серьезно ответил фон Ширах и оглянулся на Наташу с Сергеем, которые отчего-то громко рассмеялись. – Турция привлекает меня сейчас больше, чем Пекин, Шанхай и твоя Хуанпуцзян вместе взятые…

– Зато, как мне показалось, турки не спешат узнавать вашу культуру. – Я посмотрела на фон Шираха, который несколько растерялся от такого напора. – Как можно даже думать о том, чтобы променять Китай на это!

Рихард замотал головой:

– Нет-нет, конечно, Китай прекрасен… Я же жил там и даже смог бы жить там снова, если случится какая-нибудь оказия…

Судя по всему, выражение моего лица Рихарда насторожило, и он, как мог, пытался исправить положение: сделал большой

глоток вина, надул губы, сложил пухлые руки на груди и изрек:

– Я, кстати, думал даже учить русский!

– Да ну, – фыркнула я, пытаясь понять, шутит он или нет.

Ширах активно закивал головой:

– Это правда! Просто раньше это было невозможно, а я бы с удовольствием отправился на учебу в Россию, но это было очень дорого, толком никто не знал, можно ли, да и сама Россия тогда была еще слишком, как бы сказать… сталинской, короче говоря, не очень привлекательной. И, признаться, иногда я тоже об этом жалею. В такие моменты, как сейчас.

– Не нужно жалеть, – сказала я и резко сменила тему: – Вы так и не рассказали мне, что сталось с вашим дедом Генрихом Гоффманом?

– Я не знал его особо. Из тюрьмы его отпустили где-то в начале пятидесятых, конфисковав всё имущество. В скором времени он умер. Конечно, я жалею, что не знал его. Я не хочу об этом. – Фон Ширах глотнул вина. – Тебе без них, моих предков, со мной вообще не интересно?

– Смотрите, несут горячее… – Это был отличный повод «соскочить» с темы и не давать ответ, который, несомненно, собеседнику бы не понравился.

В конце ужина, когда принесли счет, случился забавный эпизод. Рихард, монополизировав чек, несколько минут обыскивал себя с пристрастием, виновато посетовав Наташе:

– Я забыл деньги.

– Ничего, Рихард, – бросила она и тут же полезла в сумку.

Сергей запротестовал:

– Мы готовы подключиться.

Я посмотрела на Рихарда, который с большим интересом начал изучать свои ногти, напевая себе под нос какую-то забавную песенку. Своим видом он словно пытался сказать – «ну и что такого?».

И вслух, не поднимая глаз, произнес:

– Наташа заплатит. Таков этикет!

Когда мы вышли из ресторана, я было завела нежную прощальную речь, но, оказывается, никто и не думал прощаться. Наташа только и успевала хватать за руку то меня, то Сергея, чтобы мы не потерялись, – она втискивала нас в узкие переулки, проводила сквозь гаштетные, успевая подпевать песням, которые лились из каждого кафе под звон пивных бокалов. Она рассказывала, как то или иное место было связано с Гитлером, – я тогда еще подумала: как с ней интересно, ей бы путеводитель

написать! Ведь все фон Ширахи пишут – отчего бы и ей не попробовать?

Около десяти вечера мы простились с Наташей – тепло, так, как прощаются со старым другом. «Пишите, звоните, когда приедете в следующий раз; я не могу гарантировать, но у меня, возможно, и завтра, ближе к вечеру, будет время», – шепнула она мне по-русски, обдав сладковатым ароматом духов. Рихард небрежно, по-свойски чмокнул ее в щеку на прощание, сообщив ей, что тоже скоро собирается нас покинуть: только немного проводит.

Около полуночи, исходив весь центр Мюнхена вдоль и поперек в компании Рихарда, мы оказались на Мариенплац, сверкающей в свете иллюминации с Новой ратуши и выбеленной светом настолько, что казалось, будто от ратуши исходит сияние. Сергей сел на лавку и, томясь вечерней жарой, озирал площадь. А Рихард потащил меня в самый ее центр.

Я закинула голову и посмотрела на часы с замершими фигурами, которые оживали всего несколько раз в день: словно хозяева, они оглядывали свои владения с высоты. Я вспомнила фрагмент старой хроники. Там были эти же часы, фигурки двигались, а за ними, ухваченный объективом видеокамеры по воле талантливого безымянного оператора, простирался разбомбленный Мюнхен: руины, дома без крыш, с пустыми оконными проемами. И вот теперь я, стоя рядом с Рихардом, смотрела на эти часы и замершие фигурки снизу вверх, а площадь вокруг полнилась голосами и смехом веселых от пива туристов…

– О чем думаешь? – осторожно поинтересовался фон Ширах.

– Ни о чем и о многом одновременно.

– А я, – сказал Рихард, – о том, что ты бы, наверное, понравилась отцу. Ну в принципе. Хотя он был сложным человеком.

– Смелое заявление, мне ответить, что я польщена? Рихард проигнорировал мои слова, прозвучавшие издевкой. И хотя никакого такого смысла я в них не вкладывала, вышло действительно грубо.

– Ты по-прежнему думаешь, что я его тень? – Судя по тому, каким спокойным голосом был задан этот вопрос, внутри того, кто задал его, было неспокойно.

– Если быть честной… – Я медленно измеряла шагами площадь, Рихард двигался за мной на расстоянии метра. – Иногда, глядя на вас, мне кажется, что я вижу его. Но я его не знала. Так что это, наверное, химера, игра воображения.

– Его. Как я и думал, – кивнул Рихард, – «Тень моего отца». Считаешь, это я сам придумал? Это придумали другие. Такие, как

ты. Кстати, мой отец, которого ты так жаждешь видеть во мне, напоминаю, был нацистским преступником: милый, интеллигентный, любящий музыку. Но хуже всего, что он ни к кому не испытывал чувств. Я спасся, просто спас свою жизнь только благодаря тому, что много читал, что был самоучкой. Чтение спасло меня, чтение помогло мне расти – и в какой-то мере дистанцироваться. Я критически относился к отцу по мере взросления – всё больше и больше. Я читал его письма, встречался с ним в тюрьме и в какой-то момент понял, что знаю такие вещи, о которых он знать не мог.

– Простите, но вы сейчас это придумали – про критическое отношение к отцу? – Я не придумала ничего лучше, как запрокинуть голову и посмотреть на часы с замершими фигурками. – Вы были от него без ума, как он был без ума от Гитлера. И гордились им. Вероятно, вы продолжаете им гордиться, даже если сами не хотите этого. Разве не так? Я ошибаюсь?

Фон Ширах хмыкнул.

У меня уже шея затекла смотреть на «глюкеншпиль», но встречаться глазами с Рихардом не хотелось. И тут совсем рядом я услышала его спокойный голос – прямо над своим ухом:

– Вопрос о том, горжусь ли я отцом, неуместен. Я не могу гордиться тем, кто разрушил нашу жизнь, из-за кого мы попали в практически безвыходную ситуацию, которую смогли преодолеть только благодаря упорству, хладнокровию, чувству юмора. Нам не нужны были все эти лишения. Вполне можно было бы обойтись без них. Если хочешь знать, как я на самом деле воспринимаю его, – то, скорее, как некую разрушительную силу, которая жестоко вмешалась в мою жизнь – вмешалась просто самим фактом своего существования. Вполне возможно, что, не будь ее, этой силы, я жил бы несколько по-другому. К счастью, я нашел опору в школе, в учебе, в чтении, мне была предоставлена возможность получить университетское образование в Мюнхене, я учился в Китае. Накопленные знания помогли мне высвободиться из пут национал-социалистической истории моего отца…

Я вспомнила: когда Рихард собирался подписать мне книгу, он открыл ее на какой-то странице и ткнул пальцем в маленькую фотографию. Снимок был сделан сбоку, даже, можно сказать, из-за спины мальчика лет десяти в коротких штанишках, который, подперев раскрытую книгу тощими коленками, сидел на крыше, за которой открывался вид на озеро. Это была очень трогательная и явно не постановочная фотография. Одинокий ребенок с книгой.

Я, наконец, закончила изучать Новую ратушу, которую теперь могла бы нарисовать с закрытыми глазами, и двинулась к Мариинской колонне.

– Послушай меня, остановись, перестань же ходить! – потребовал Рихард резко.

Остановилась. Я была на взводе оттого, что больше не владела ситуацией, и, желая скрыть свой испуг, была чуть более агрессивна и напряжена.

Но фон Шираха словно подменили. Он аккуратно, двумя пальцами взял непослушную прядь моих волос, которая выбилась из хвоста, и положил ее мне за ухо, наклонил голову на бок, словно любуясь. Он вздохнул и по-учительски поднял кверху полный указательный палец прямо перед моим носом, так, что подушечкой его почти касался его кончика, и тихо зашептал:

– Я сейчас не хочу никого обидеть. Но ты должна знать, понимать, что победителю, которому ведом только успех, не нужно учиться чему-то новому. Побежденный же вынужден постоянно искать причины своего поражения. Мы потерпели поражение в сорок пятом, полное поражение во всех смыслах, в том числе духовное поражение. Мы потеряли невероятно много. Около 80% городов было разрушено, в том числе Мюнхен. Но это одновременно означало для нас и оздоровление. Мы, побежденные, всегда на шаг опережали победителя. Я могу привести множество примеров, которые свидетельствуют о том, что по многим вопросам мы оказались впереди такой страны, как Англия. Англичане демонтировали у нас массу заводов и фабрик. В результате у них оказалось устаревшее оборудование, а мы попросту были вынуждены использовать новую технику. Я считаю, что поражение, равно как и тюрьма, несут в себе некий потенциал осознания и познания. И мы сумели его использовать. Вряд ли найдется еще хоть одна такая страна, которая смогла извлечь столько уроков из своих ошибок и заблуждений. Мы гордимся тем, я повторюсь, что приложили все возможные усилия для того, чтобы хоть как-то исправить то, что творили раньше с другими народами, творили… с твоей страной…

– Вот только… извиняться сейчас не надо, – ответила я, подавленная тем, как Рихард бесцеремонно нарушает мое личное пространство. Он это почувствовал и отошел на шаг в сторону, замерев мрачной тенью посреди площади.

– Я и не чувствую себя виноватым. – Могу поспорить, сказав это, он криво улыбнулся.

– И я не считаю вас таковым. – Это была истинная правда.

Фон Ширах, опершись спиной на фонарный столб, уныло

окинул взглядом Мариенплац, звучащую десятками счастливых голосов. Он молчал почти минуту – и его молчание тоже меня напрягало. Наконец сказал:

– Я хочу донести до тебя одну вещь. Это даже не совет – пожелание. Прошу, никогда не спеши делать выводы – дай себе и другому время.

– Не понимаю, при чем тут это, – сказала я и, наконец, взглянула на него прямо. Рихард мягко, снисходительно улыбнулся и, вытянув руку, коснулся моего плеча. Я дернулась было в сторону, но это был такой простой и естественный жест, без всякого подтекста – просто легкое касание.

Он хмыкнул и убрал руку:

– Думаешь, я не заметил, как ты среагировала на то, что я отказался читать мемуары своего отца?

– Я никак не среагировала и ничего не сказала.

– Сказала, только не произнесла вслух. – Ну вот опять он начал сыпать книжными фразами. – Я видел, что происходило с твоим лицом в тот момент. Да брось, я всё понимаю. Ты решила, что я как он. На самом деле, я не так уж виноват. Хочешь верь, хочешь нет, но я правда формулировал собственные обвинения против отца – перед тем как его выпустили из тюрьмы, я уже кое-что для себя внутренне понимал: не такой уж я был ослепленный дурак, чтобы надеяться, что это будет тот человек, которого мы себе намечтали. Разочарование было неизбежно. И когда после выхода его из Шпандау лепестками засохших цветов рассыпался тот образ, который мы себе нарисовали, я уже готов был осудить его. Я вошел в комнату. Он – с газетой в кресле. Такой же спокойный, равнодушный и вежливый, как всегда. И вдруг я понял, что он уже понес свое наказание, и теперь мне надо проявлять определенное понимание, определенное милосердие. Понял, что не стоит проводить еще один процесс, теперь уже семейный, над человеком, который провел больше двадцати одного года в одиночной камере, подчас в довольно тяжелых условиях. И, подумал я, этот человек должен иметь право хотя бы надеяться на то, что его не будут судить еще раз – не будет судить собственный сын.

– Но… Вы же отказались читать мемуары отца, когда были ему так нужны! – зачем-то ответила я, снова почувствовав прилив странной жалости к Бальдуру.

– Не так уж и нужен… – Фон Ширах печально улыбнулся. – Если он ни разу не задал мне ни одного вопроса обо мне, моей жизни. Но мы нашли определенное решение. Мемуары, которые написал отец, несколько недель подряд публиковал известный журнал «Штерн», так что этот вопрос, в общем-то, разрешился

мирно, но отец затаил обиду. Я сам страдал, но понимал, что если я еще буду рядом с ним, то растворюсь в нем, потому что он сам был нерастворимым. Я не такой. Я проигрываю ему во всем. Даже сейчас ты видишь его во мне – его, мать, деда. Вот кто стоит с тобой на Мариенплац сейчас?

– Sie sind, – ответила я по-немецки.

– «Sie» или «sie»[77] с большой или с маленькой буквы? – уточнил Рихард. – Это – принципиальная разница.

– Sie, – повторила я, понимая, что, скорее, всё-таки подразумевала «они». Гоффман, Хенни и Бальдур. Но вслух сказала так:

– Зачем всё время вписывать себя в контекст?

– А зачем всё время нужно было отводить взгляд? Почему ты вообще не смотрела мне в глаза? Наблюдаешь, как всем вокруг весело? – спросил меня фон Ширах, кивнув на толпу молодых ребят с рюкзаками и фотоаппаратами. – Веселая толпа. Хочешь к ним?

– Я не люблю толпу… кстати… о толпе… Знаете, Рихард, – сказала я совершенно некстати, – надпись «Я был одним из вас» мог попросить выгравировать на своей могиле лишь тот, кто всегда любил трибуны и кафедры. Кто был над толпой.

– Разве это не очевидно? – Фон Ширах оторвался от фонаря и пожал плечами. – Я думал, это было ясно с самого начала.

– Вынуждена констатировать, что я вообще ничего не поняла и сейчас не понимаю.

– Тебе и не нужно, – сказал фон Ширах, – точнее, ты просто не можешь. Нужно знать нюансы, предпосылки, и не только одну сюжетную линию, но и лирические отступления, контекст. Всё может оказаться не тем, чем кажется. Может даже оказаться всё наоборот!

– А конкретнее?

Фон Ширах тяжело вздохнул.

– Ты видишь меня, но ты не понимаешь, почему я поступил так или иначе. Почему я заставил Наташу платить? Почему я сейчас тут с тобой, а не дома с книгой, хотя это всё нарушает течение моей жизни, – а я ни на что не променяю вечер среди книг! На всё есть свои причины.

– Хотите вернуться в свое Манчжоу-го? Ну так идите. – Я слышала свой спокойный голос и удивлялась, что говорю это вслух. – Идите к своим иероглифам. Вы всё равно не будете мне ничего объяснять – уж это я точно понимаю.

– А если я всё-таки объясню? – изумленно спросил Рихард.

– Тогда, возможно, я вас выслушаю. Но камеры уже нет – так что, в конечном итоге, могу обойтись и без того, что вы хотите

сказать. Вы правильно днем сказали – работа закончена.

– Я и хочу сказать, только потому, что нет ни камеры, ни… никого. – Я почувствовала, как пухлые пальцы его мягко сжали мое плечо. – Этот… Мюнхен, Мариенплац, иероглифы, всё надоело. Может быть, я только что решил для себя одну важную вещь. Всё, что началось сегодня утром, было неправильно – и по моей вине. Я постараюсь исправить ситуацию. Все эти деньги – Наташи, твои… Давай завтра всё изменим? Ты ведь завтра еще в Мюнхене? – Рихард говорил сбивчиво, быстро, я едва успевала понимать его. – Значит, у меня будет шанс… А там посмотрим, как всё получится. Мне хочется, чтобы всё началось заново, но не так, как было сегодня: я постараюсь быть другим. Так как? – спросил он, не меняя тона, снова с печалью во взгляде оглядев очередную группу молодых ребят, которые во всех возможных комбинациях фотографировались на фоне Новой ратуши.

– Вы хотите, чтобы я позвонила вам завтра? – поинтересовалась я.

– Я сам найду тебя – только будь, пожалуйста, на связи.

Я кивнула.

Он добавил:

– Хотя, может быть, ты выберешь Наташу, – я вижу, ты от нее в восторге. Она этого заслуживает, так что если ты решишь вдруг встретиться с ней… У тебя есть выбор.

– Кажется, мы всё-таки договорились с вами. Он улыбнулся. И улыбка вышла недоверчивой.

– Я найду тебя в первой половине дня. Сам. И мы пойдем.

– Куда?

– В Старую пинакотеку и еще много куда. Но если ты не можешь, если завтра я услышу отказ, всё будет намного сложнее лично для меня.

– Хорошо.

Честно провалявшись до полудня в гостиничном номере, я проверила почту и смс – ничего. Но в гостинице сидеть не хотелось, так что мы с Сергеем пошли бродить по Мюнхену. В половине второго, так и не получив никакой вести от Рихарда, я, с одной стороны, испытала большое облегчение, с другой, мучимая любопытством и догадками, пыталась понять, что с ним такое вчера было: и пьяным вроде назвать было нельзя…

В четыре часа Сергей предложил написать Наташе смс и пригласить ее на ужин, если она не занята. Отличная идея! И мне, наконец, удастся с ней нормально пообщаться без фон Шираха. Я написала Наташе смс: «Милая Наташа! Мы с Сергеем только что побывали в Старой пинакотеке и подумали, а отчего бы нам не

пригласить вас на ужин? Как вы? Какие планы?» И нажала «отправить».

Ответа от Наташи не было. Вдруг телефон дзынькнул, сообщив, что у меня – новое непрочитанное сообщение. Отправитель: R.vonSchirach.

Что он там, интересно, пишет? Приносит извинения? Но текст был примерно такой: «Дорогая Таня! Я надеюсь, ты не передумала. Прошу тебя встретиться со мной в 14:00 у ”Шпатенхаус“».

Не понимаю! Какие 14:00, если сейчас уже почти пять?! – Что-то случилось? – спросил Сергей. – Это Рихард?

– Ага, и я не могу понять, чего он дурака валяет, – поделилась сомнениями я. – Пишет о том, что мы с ним должны увидеться сегодня в два – ну три часа назад, то есть.

Браверман пожал плечами.

– А ты уверена, что сообщение пришло только что?

– Да! Прямо сейчас телефон звякнул. Ты же сам слышал…

– Ну да.

Я уставилась на экран: сообщение пришло только что. Но время отправки действительно стояло другое.

– Ой! Он отправил его около двенадцати! Это сообщение шло до меня почти пять часов?

– А не ты ли вчера с утра жаловалась на сеть? Помнишь, родители твои не получили от тебя сообщение и звонили в испуге?

Я кивнула, еще не слишком понимая, что произошло.

– И наше сообщение Наташе, наверное, тоже не дошло, поэтому она не отвечает. Кстати, я надеюсь, что Рихард не пришел в обозначенное место в указанное им время… Ведь не пришел, Сереж?

– Вероятно, пришел, – ответил Браверман спокойно.

– Хуже и быть не может, – констатировала я. И была не права. Потому, что хуже быть могло. Проверяя статус сообщения, которое час назад было отправлено Наташе, я заметила, что в получателях этого сообщения был указан Рихард: вчера, обменявшись с Наташей телефонами во время ужина, я вбила ее номер как N.vonSchirach. А Рихард у меня был обозначен R.vonSchirach. И, конечно, я перепутала адресатов. То есть я, выходит, проигнорировав его, пришедшего на встречу со мной, спустя несколько часов отправила ему сообщение для Наташи – о том, как хочу ее видеть!

Дура.

– Это какая-то дикая нескладуха. Так не бывает, – ошарашенно сообщила я Сергею.

Мы медленно подходили к Карлсплац. У «Макдоналдса» стояла толпа турецконемецкоподданных, культуру и язык которых так жаждал постичь Рихард. Я подошла к фонтану и села на прогретый солнцем камень, тупо глядя в телефон. Браверман сел рядом.

– Сам виноват, старый романтичный идиот, – ворчала я, – этот эпистолярный жанр! Он погубит фон Ширахов! Ну почему нельзя просто позвонить? Зачем все эти глупые сообщения – вензелечки слов? Чтобы теперь, в итоге, я чувствовала себя виноватой? Нет, моей вины тут нет…

Собирая вещи и отгоняя от себя зудящее комариным укусом ощущение, что случилось что-то непоправимое, я посмотрела на книгу Рихарда. Открыла первую страницу. Там была надпись не только на китайском – и на немецком. Ее я заметила впервые: «Прекрасной Тане, которая собою снова напомнила мне, почему русские женщины имеют так много достоинств».

Рихард, вы говорили мне не делать выводов, когда не знаешь причин и следствий. Так почему вы сами упорно не подходите к телефону, не желая выслушать мои объяснения? С другой стороны, как я могу объяснить нелепость, которая оборвала наше общение? Облачив ее в слова, я сделаю ее еще нелепее. Вы же писатель, вы бы поняли меня, правда? Я, конечно, не знаю истинных причин, зачем вам нужен был шанс всё изменить. Всего бы вы не изменили. Но я же понимаю, что вы говорили не обо всем, а о себе. И тут я не имела права вас подводить. Даже ненароком. Впрочем, вы уже совершили одно перевоплощение: человек, рядом с которым я встречала новый день на Мариенплац, кардинально отличался от веселой индюшки из Хофгартена.

Рихард, я очень хочу написать вам письмо, но я не знаю, что мне сказать: что я очень-очень сожалею о том, чего не знаю? Может быть, уже хватит с нас обоих нелепостей, ведь я могу их множить бесконечно долго. Да, Рихард, я, наверное, никогда больше не узнаю семейных тайн, которые вы готовы были мне открыть, много чего не узнаю о Бальдуре фон Ширахе, о Хенни, о Генрихе Гоффмане. И – что важнее – о вас. Но если бы вы сейчас могли услышать мои мысли, то знали бы, что именно в эту секунду, я думаю о вас как о «Sie», а не как о «sie».

Рихард, мне бы хотелось, не вдаваясь в детали, написать вам только два слова, которые я пошлю вам своим последним мюнхенским приветом.

Mail to R.vonSchirach

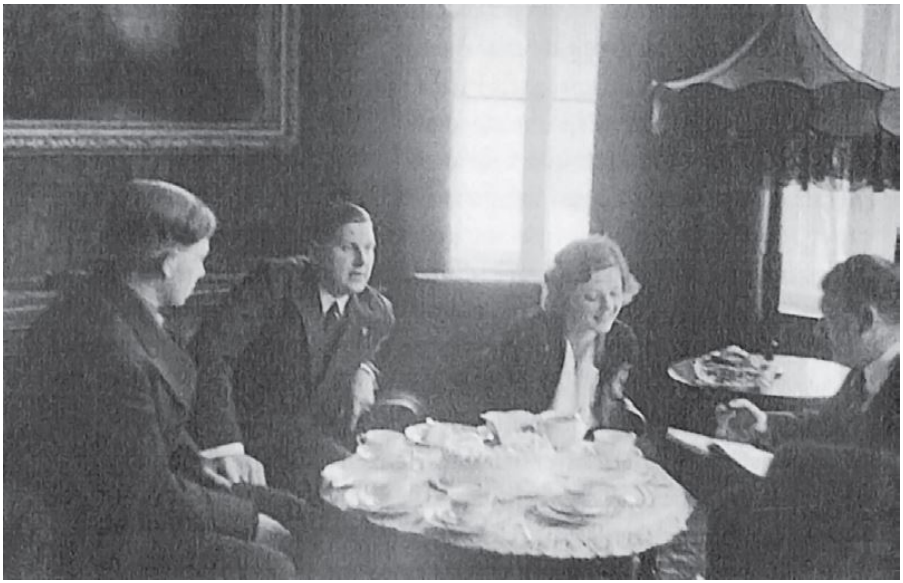
«Forgive me»

Через сутки, уже покинув Мюнхен, я получила лаконичный ответ: «Ок». И улыбочку, которой не поверила ни на секунду. К короткому письму были прикреплены пара моих фотографий-портретов, которые он сделал в «Шпатенхаус» на свой фотоаппарат.

«Я возвращаю ваш портрет» – пронеслось в голове.

P.S.: В течение двух месяцев мы еще несколько раз перекидывались письмами – вежливо, доброжелательно, ничего не вспоминая. В какой-то момент он перестал отвечать.

Рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах



Вся семья фон Шираха дома у Гитлера, 1932 год.

Генрих Гоффман

Наташа и Рихард фон Ширах

Райнер Хёсс
Человек за жалюзи

– Вы когда-нибудь думаете об этих казнях, газовых камерах, сожженных трупах, другими словами, к вам когда-нибудь приходят такие мысли, они преследуют вас?

– Нет. У меня нет таких мыслей.

– У вас когда-нибудь бывают кошмары?

– Никогда.

Из разговора тюремного психиатра Л.Голденсона с комендантом концлагеря Освенцим Рудольфом Хёссом в Нюрнберге в 1946 году[78].

– Возможно, тебе стоит поговорить с Хёссом, – сказал Никлас Франк, – задумчиво надвинув козырек кепки на глаза. Нюрнберг вязким мраком застыл в рассеянном свете редких фонарей, лишь подчеркивающих кругами белизны на мокром асфальте многослойность темноты вокруг. Рано утром Франк должен был уехать, – и только что, к началу первого ночи, закончилась наша прощальная прогулка перед разлукой: мы стояли у отеля.

– Я думала, вы и правда ни с кем из потомков нацистов не общаетесь: вы ж сами говорили, что вроде это неинтересно, или как?

– Райнер – другое дело. – Никлас щелкнул зажигалкой, пламя которой на секунду вспыхнуло в его глазах. – Он хороший парень, но очень страдает. Он внук коменданта Освенцима – того, которому мой отец, «польский король», переправлял всех «недочеловеков». Но его история, даже спустя столько лет после смерти деда, ужасна. Поэтому он, потихоньку выползая из скорлупы, всё-таки никогда никого не пускает к себе домой.

Я была заинтригована:

– Никлас, но как вы с ним познакомились? Мне казалось, когда между вашими предками существует такая связь, лучше держаться особняком…

– Он сам меня нашел. – Франк достал телефон и, продолжая курить, открыл в нем записную книжку. – Райнер прочитал мою книгу об отце. Позвонил и сказал: мол, это было очень смело.

– И не осудил?

– В том-то и дело, что нет. Сказал только, что у него на такое духу не хватило бы. И что моя книга в каком-то смысле помогла ему жить дальше. Так началось наше общение. А несколько лет спустя ему самому предложили написать книгу. Поначалу он перепугался: звонил в панике и спрашивал, что делать? Потом долго доставал со своей глупой затеей: «А давай напишем книгу вместе?» И тут я уже был вынужден предупредить его, что фамилии Франка и Хёсса на одной обложке – это спекулятивный ход. Мол, мой папа поставлял твоему деду людей, которых тот отправлял в топку, так что давай плакать об этом вместе. Нет, это… – Никлас поморщился. – Дурной тон.

– Он на вас не обиделся? – поинтересовалась я.

Франк, озираясь в поисках мусорного бачка для своего окурка, наконец, заметил его:

– Не думаю. Раз решился – пусть делает всё сам. В таких вещах нельзя опираться на кого-то. В общем, мы иногда общаемся. Сказать честно, мне его даже жаль: он не такой, как я… В смысле, не такой стойкий.

Окурок, не долетев до бачка, рассыпался ярким фейерверком красных искр.

– Свернете на маленькую дорожку, за домом с красной крышей… и потом, через сто метров, свернете еще раз направо… Оттуда наберете мне – и я скажу, куда вам дальше ехать.

Так продолжалось уже битый час, я знала: Райнер не назовет свой точный адрес, и это было условием, которое он выдвинул мне через Никласа Франка, впервые в жизни согласившись пригласить к себе домой незнакомых людей, да еще и с камерой! По телефону Хёсс вежливо сообщил, что абсолютно полагается на слова Никласа о том, что мне можно доверять, но для верности он всё-таки приготовил мне расписку о неразглашении его места жительства, и добавил, что дом, его собственными стараниями, не виден даже на картах Google, так что нам всё равно самим не найти. Понимаю ли я, вежливо поинтересовался он, что если я не сдержу слово, то подвергну опасности не только его, но и всю свою семью? Я понимала. Не понимала лишь, откуда исходит опасность. Потомки жертв Освенцима хотят разорвать его на клочки?! Вроде бы столько лет уже прошло… Впрочем, в жизни есть место совсем уж невероятным вещам. Как, например, распечатанная мною из Интернета статья под названием

«Бестактная тактика». Главным героем этой статьи был Райнер. Приведу ее фрагмент:

> «Внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса предлагает израильскому мемориалу Холокоста Яд Вашем вещи своего дедушки. Для продажи. Он в своем уме? В Израиле есть поговорка: “Сначала убил, а потом еще хочет и наследство получить”. Редко это выражение так соответствует своему смыслу, как в данном случае. <…> Он хочет наследство своего дедушки – нет, не подарить. Продать. Некоторое время назад музей получил письмо с подзаголовком: “Редкие вещи Освенцима, комендант Хёсс”. Там он пишет: “Речь идет о некоторых вещах из наследства Рудольфа Хёсса, которые сохранились: ящик с официальными регалиями – подарок от Гиммлера, рейхсфюрера СС, вес 50 кг. Нож для писем; неизданные дневники из Освенцима; фотографии из плена в Кракове. Я бы был вам благодарен за быстрый ответ. С уважением, Райнер Хёсс”.
>
> В Яд Вашем это предложение сначала приняли за дурную шутку, но быстро стало ясно: Хёсс не шутит».

Эта статья не вызвала во мне отторжения и желания осудить Хёсса, в то время как немецкая общественность, очевидно, приложила его по полной. Я же лишь усмехнулась про себя неосмотрительности Райнера – ну что он, в самом-то деле, дурака свалял? Чай, уже не мальчик! Нет, я сама, разумеется, не считаю сей поступок – если он действительно имел место – правильным. Просто когда слишком глубоко погружаешься в истории потомков крупных нацистов и когда всё время вокруг тебя Третий рейх, Гитлер и горы трупов на кинохронике, постепенно что-то внутри роговеет, покрываясь рубцом цинизма – защитный механизм. И даже возникает своеобразное чувство юмора, как, например, у патологоанатомов, то есть очень-очень специфическое. Но вернемся к Райнеру Хёссу. Была и еще одна вещь, которая меня немного позабавила:

> «Идея продать мемориалу Яд Вашем наследство деда пришла ему в голову несколько месяцев назад в разговоре с одним другом, внуком фон Бальдура Шираха, того самого Шираха, который руководил гитлерюгендом. Представить себе, что внуки нацистов встречаются, чтобы поболтать о наследстве дедушек, – довольно дико».

Это был кто-то из многочисленных племянников знакомого мне Рихард фон Шираха. Круг замыкался. Я ощущала себя полностью причастной к тому, что происходило в жизни моих героев, и даже могла бы позвонить Рихарду и поинтересоваться, что же за безобразники такие его племянники, что Хёсса подводят под монастырь? Впрочем, с Рихардом у нас была своя, особая история, поэтому лишний раз его беспокоить мне не хотелось.

А вот Райнер Хёсс с его экстравагантным поступком – нажиться на вещах деда-убийцы, впарив их израильтянам, – даже заочно приводил меня в странный противоестественный восторг: то ли он дурак, накрученный фон Ширахами, то ли просто отчаянный парень. Ведь еще из этой статьи я, не зная, кем Хёсс был по специальности, выяснила, что он потерял работу, – в этом автор материала углядела прямую связь с тем, что Райнеру срочно понадобились деньги. И, возможно, была права.

Итак, мы – я, Сергей и оператор – въехали в городок N, что располагается примерно в двухстах километрах от Нюрнберга и похож скорее на очень ухоженную деревеньку.

Следуя инструкциям Хёсса по телефону, я одновременно с этим внимательно разглядывала места, по которым мы ехали. Сам городок находится на холме, с которого открывается вид на зеленые луга, поля, крыши домиков, приютившихся внизу, под сверкающим на солнце крестом маленькой церкви. В окне машины проплывали двухэтажные домики – не сказать, что роскошные, но аккуратные, ровные и одинаково белые, как зубы в искусственной челюсти. Домики отличались друг от друга низенькими заборчиками, условно обозначающими частную территорию, и пестрым наполнением цветочных горшков, развешенных под окнами.

Если б не режущая глаз чистота, прямые линии, восхитительные дороги, ровные сверкающие черепичные крыши и цветочки в горшочках, я бы подумала, что я сейчас нахожусь где-нибудь в средней полосе, на родине: голубое небо с вальяжными густыми белыми облаками, словно наклеенными на него, и зелень деревьев, вдалеке подпирающая собою горизонт.

Сергей Браверман изредка бросал с заднего сиденья какие-то отдельные реплики в духе: «Здесь есть вообще кто живой?» Лишь один раз я заметила маленький, неспешно передвигающийся «фольксваген». Оператор уныло смотрел в лобовое стекло машины, вяло покручивая руль и ожидая нового потока инструкций от Райнера, как только мы доедем до очередного дома с красным или синим заборчиком.

– Герр Хёсс, – сказала я в трубку по-английски, – мы доехали до нужного места.

– Хорошо, – отозвался голос, – а теперь поверните налево, затем направо в конце улицы – и вы увидите меня.

Райнер стоял у своего дома и махал нам рукой. На вид ему можно было дать меньше сорока лет, хотя Франк сказал, что Хёссу под пятьдесят – вероятно, виной всему его манера одеваться: голубые джинсы, белая майка, поверх которой надета свободная рубашка с коротким рукавом в крупную клетку – красно-бело-синюю, под которую норовил забраться легкий летний ветерок. На ногах – белые кроссовки с красной прострочкой. Я вышла из машины. Мы пожали друг другу руки.

Он был очарователен: высокий, загорелый, спортивного телосложения, с огромными серо-зелеными глазами, в глубине которых притаилась настороженность; уши Райнера были оттопырены, и это делало его трогательным, беззащитным: уши эти буквально горели на солнце – пронизанные светом, они казались ярко-красными.

Хёсс улыбнулся несколько растерянно, но широко – от уголков его губ крупной рябью по щекам шли складочки, не мимические морщины, а именно складки – так, как от касания идут круги по воде. Я внимательно изучала его, пока он здоровался с Сергеем и оператором. Короткая стрижка, взъерошенные волосы, зафиксированные гелем, как это делают подростки; на правой руке вокруг запястья – кожаный шнурок, на который нанизаны несколько маленьких железных кубиков с буквами, – судя по всему, чье-то имя. Вокруг шеи – кожаный шнурок с такими же кубиками. На безымянном пальце левой руки – серебряное кольцо. В правом ухе – серьга, повторяющая по форме и узору кольцо на пальце. На запястье левой руки – простые часы с круглым циферблатом. Для своего возраста Хёсс в таком прикиде выглядел несколько несуразно.

– Куришь? – спросил меня Райнер по-свойски, протянув открытую пачку сигарет.

– Да, – призналась я и, словно жребий, вытянула сигарету из открытой пачки. Мы закурили.

Райнер, прищурившись от солнца, сказал:

– Жена нам мешать не будет, дети разбрелись по своим делам. Прошу тебя, пусть они не попадают в кадр, даже если кто-то придет домой.

– Конечно, обещаю тебе. – Я затянулась тяжелым дымом: сигареты были крепкие. – Ты скажешь, чего так боишься?

Райнер выпустил изо рта струйку дыма, которая была тут же просканирована солнечными лучами:

– Я расскажу. – Он улыбнулся. – И извини за меры предосторожности, возможно, со стороны глупо смотрится, но

иначе нельзя.

– Не проблема, – улыбнулась я в ответ.

Есть такие люди, с которыми не нужны церемонии, демонстрация хороших манер и можно сразу без лишних вопросов перейти на ты и говорить обо всём, что придет в голову, не беспокоясь, что о вас могут плохо подумать. Райнер из таких людей – что называется *easy going*. Рядом с ним легко, спокойно и меньше всего думается об Освенциме.

– Этот дом, он не весь твой? – кивнула я на двухэтажное здание с большой мансардой, выкрашенное в белый цвет, как и большинство домов городка.

Райнер хохотнул:

– Что ты! Только третий этаж, то есть неполноценный третий – мансарда! Сама сейчас увидишь.

Воровато оглянувшись, он бросил сигарету на дорогу, подоткнув ее кроссовком под бордюр, и подмигнул мне: я последовала его примеру.

– Ну что, приглашаю вас к себе, – сообщил Райнер Сергею и оператору, – а теперь все за мной!

По узкой дорожке, вымощенной мелкой плиткой, мы проследовали за стремительно рванувшим Хёссом во внутренний двор, где сбоку, спрятанный от глаз любопытных, располагался подъезд с массивной деревянной дверью. По дороге мы миновали железные детские качели и турник в крохотном дворике, которые, несмотря на свет дня, отчего-то выглядели зловеще. У самого подъезда стояли несколько велосипедов. Каменная желтая лестница, сразу за дверью подъезда, отталкивалась от белых оштукатуренных стен на каждом этаже. Кое-где стены украшали несколько картинок в простых пластиковых рамках – видимо, сами жильцы пытались внести какие-то яркие пятна в бледную монотонность подъезда и нарушить жесткую симметрию его форм, нагонявшую тоску. Райнер, скользя ладонью по деревянным перилам, поднимался выше по лестнице. Мы остановились на третьем этаже. Он распахнул ту дверь, что была справа.

«Добро пожаловать!» – слова Хёсса отскочили эхом от белых стен.

У входной двери стоял высокий деревянный шкаф для обуви, забитый кроссовками и сандалиями самых разных цветов и размеров. Интересно, сколько у Райнера детей? Двое? Трое?

Я посмотрела на этот шкаф и увидела огромную гору обуви в освобожденном Освенциме…

На шкафу стояла связанная из сена маленькая кошка и сделанный специально для нее деревянный домик из ненужных в

хозяйстве досок. На стене вокруг входной двери висели венки из засушенной травы и железные таблички с забавными надписями. Конечно, мне вспомнилась другая надпись: *Arbeit macht frei*[79] – на воротах Освенцима.

Хёсс жестом пригласил нас внутрь. Узкий коридор, куда не попадал дневной свет, – в длину, наверное, метров десять–пятнадцать. По левую сторону коридора, у самой стены, – деревянный толстый шкаф, уничтожающий часть и без того узкого пространства. За шкафом – первая дверь слева, ведущая в крохотную комнату в голубых тонах с покатым потолком, кроватью и тумбочкой. По правой стене – две плотно закрытые двери и в конце коридора – еще одна. Судя по всему, остальные комнаты тоже были крохотными и полностью повторяли ту, в которую мне удалось заглянуть.

В конце коридора бил агрессивный дневной свет. Я осматривала режущее солнцем глаза пространство, которое, видимо, служило в мансарде Райнера Хёсса местом сбора всей семьи. Как и остальные помещения в квартире, эта комната, самая большая, имела скошенный потолок, покрытый деревянными лакированными рейками. С одной стороны, рейки, безусловно, добавляли уюта, с другой – сжирали дополнительный объем.

Справа – вход в маленькую кухоньку, где больше двух человек одновременно не поместятся, и виной тому – потолок с откосом.

Из-за отсутствия места в кухне у хозяев и возникла идея с барной стойкой из искусственного камня, окруженной несколькими высокими стульями.

Над стойкой четырьмя белыми плафонами нависал светильник; под ним стояла большая сувенирная пивная кружка: из нее торчали семь гладиолусов – белые, фиолетовые, розовые и красноватые. На стене, прямо в том месте, где к ней примыкала стойка, висело большое квадратное зеркало, отражавшее макушки гладиолусов и приоткрытую балконную дверь напротив.

Я взглянула в него, и в эту секунду, сверкнув солнцем, меня ослепила распахнувшаяся балконная дверь: Райнер вышел на балкон и вернулся оттуда под руку с пожилой дамой в белой рубашке, темных штанах, жилетке и очках: «Анна-Мария. Мой агент. Она не будет мешать нам, только проследит, чтобы я ничего глупого не ляпнул».

– О, нет-нет, не бойтесь, – закудахтала Анна-Мария, поймав мой настороженный взгляд, поправила седую завитушку на лбу и протянула мне руку для пожатия, – я вовсе не цензор и вмешиваться в процесс не буду.

– Спасибо, что понимаете. – Я пожала ей руку, искренне надеясь, что действительно не будет.

– Райнер, давай приготовим Тане и ребятам кофе! – миролюбиво предложила агент, и Райнер послушно двинулся на кухню, откуда вскоре раздался звон чашек и ложек.

Мы все расселись вокруг барной стойки.

– Осталось уладить только одну маленькую формальность, – сказала Анна-Мария, понизив голос, и протянула мне листок А4 и ручку. – Подпишите, что никогда не укажете название городка, в котором проживает Райнер.

Я подписала, поймав на себе виноватый взгляд Хёсса, расставляющего перед нами чашки с кофе.

Агент, уже попривыкнув ко мне, добавила мягко:

– А теперь давай придумаем, как мы укажем местоположение Райнера, – в фильме надо сказать, что он живет на севере Германии.

– Как угодно, – в моем голосе было столько покорности, что пожилая фрау на пару секунд смутилась. – Как вы скажете.

– Ой, всё-таки я старая дура! – Анна-Мария с несвойственной пожилым дамам энергией спрыгнула с барного стула. – Они же сразу поймут, что мы врем. У Райнера южногерманский акцент, то есть его бросятся искать здесь.

– Они? – осторожно уточнила я. – Кто эти «они»? Оставив мой вопрос без ответа, ответственный агент, сопровождаемая недоуменными взглядами Сергея, Райнера и оператора, зашагала по комнате с чашкой недопитого кофе в руке, обращаясь непонятно к кому:

– Ну что же лучше сказать? Что сказать?

– Давайте скажем, что Райнер живет на юге Германии, – предложила я осторожно. – К тому же на его голос мы наложим перевод, так что никто не услышит акцент.

– А вдруг кто-то увидит исходный материал? – бросила Анна-Мария.

– А давай, – обратился Хёсс к агенту, – Таня скажет, что я живу на юге Германии. Как есть. Пусть даже скажет, что в Баден-Вюртемберге.

– Ну-у-у… – Она, наконец, остановилась. – Пусть так, да… определенно… это лучше, чем нелепая ложь про север, которую тут же раскроют.

– Да кто раскроет-то? – спросила я, заерзав на стуле в предвкушении ответа.

Но Анна-Мария мой вопрос снова проигнорировала.

– Я прошу еще об одной вещи, – сказала она после недолгой паузы.

«Ну началось», – пронеслось у меня в голове.

– Пожалуйста, ни в коем случае, когда будете делать фильм, не вставляйте в него планы городка. И вид с балкона Райнера тоже не снимайте. Так будет проще найти его.

– Кому будет проще его найти?

Мною овладевало тихое раздражение.

…Дедушка Райнера, Рудольф Хёсс, комендант концлагеря Освенцим с 1940-го по 1943 год, протеже Мартина Бормана и подчиненный Генриха Гиммлера, стоит на иерархической лестнице Третьего рейха на ступень ниже тех, кто оказался на скамье подсудимых во время Нюрнбергского процесса. Кстати о процессе. Хёсс, которого в 1946 году арестовали британские войска, проходил на главном трибунале в мировой истории свидетелем (по иронии судьбы, на процессе не присутствовали ни Борман, которого в итоге осудили заочно, ни Гиммлер, который покончил с собой). А после показаний Рудольфа Хёсса ждала обескровленная Польша, которой он был выдан и где его повесили в 1947 году прямо на территории Освенцима, соорудив маленький деревянный эшафот в нескольких сотнях метров от того места, где бывший комендант жил со своей семьей в шокирующей близости от бараков и труб крематория.

Мне казалось, что Рудольф Хёсс – садист, психически больной человек, как большинство из тех, кто занимался созданием и внедрением механизмов массового уничтожения людей. Казалось, обсуждать тут и вовсе нечего. Но, изучив его биографию, вынуждена констатировать, что человек этот не был столь патологичен – и вот это ужасает по-настоящему.

«А вы, по-вашему, садист?» – «Нет, за всё время, что я был комендантом, я ни разу не ударил ни одного заключенного. Когда я узнавал, что какой-то охранник обращается с заключенными слишком жестоко, я пытался заменить его другим охранником»[80]. И тем страшнее история этого тихого человека со спокойным лицом, без эмоций, четко, как механизм, выполнявшего свою работу. В связи с этим поражает и автобиография Хёсса, которую он написал в польской тюрьме и закончил незадолго до собственной казни.

«Удушение газом проводилось в штрафных изоляторах блока 11. Я сам наблюдал за убийством, надев противогаз. Смерть в переполненных камерах наступала тотчас же после вбрасывания. Краткий, сдавленный крик – и всё кончалось. Первое удушение людей газом не сразу дошло до моего сознания, возможно, я был слишком сильно впечатлен всем процессом. Более глубокий след

в моей памяти оставило происшедшее вскоре после этого удушение 900 русских в старом крематории, поскольку использование блока 11 требовало соблюдения слишком многих условий. Во время разгрузки были просто сделаны многочисленные дыры в земле и в бетонной крыше морга. Русские должны были раздеться в прихожей, а затем они совершенно спокойно шли в морг, ведь им сказали, что у них будут уничтожать вшей. В морге поместился как раз весь транспорт. Двери закрыли, и газ был всыпан через отверстия. Как долго продолжалось убийство, я не знаю. Но долгое время еще был слышен шум. При вбрасывании некоторые крикнули ”Газ!“, раздался громкий рев, а в обе двери изнутри стали ломиться. Но они выдержали натиск.

Лишь спустя несколько часов двери открыли и помещение проветрили. Тут я впервые увидел массу удушенных газом. Меня охватило неприятное чувство, даже ужас, хотя смерть от газа я представлял более страшной. Снова и снова я представлял муки удушаемых. Впрочем, трупы не имели каких-либо следов судорог. Как объяснили мне врачи, синильная кислота парализует легкие, но ее действие было настолько быстрым и сильным, что это не вызвало проявлений удушья, как это бывает при удушении, например, светильным газом или путем лишения воздуха. Об убийстве самих русских военнопленных я тогда не думал. Мне приказали, я должен был выполнить приказ. Должен признаться, что меня это удушение газом успокоило, поскольку вскоре предвиделось начало массового уничтожения евреев, но ни Эйхман, ни я не имели представления о способах убийства ожидавшихся масс. Наверное, с помощью газа, но какого именно газа и как его использовать? А теперь мы открыли и газ, и способ. Я всегда боялся расстрелов, когда думал о массах, о женщинах и детях. Я уже отдал много приказов об экзекуциях, о групповых расстрелах, исходивших от РФСС или РСХА. Но теперь я успокоился: все мы будем избавлены от кровавых бань, да и жертвы до последнего момента будут испытывать щадящее обращение»[81].

Я понимаю, отчего к коменданту Освенцима было приковано внимание тысяч людей во время Нюрнбергского процесса и суда, состоявшегося в Польше: все пытались понять, человек ли он в принципе, нормален ли он? Рудольф Хёсс не мучил в детстве кошек, не препарировал жаб и не подвергался избиениям – не было чего-то жуткого и шокирующего, что могло бы объяснить его деяния. Родители Хёсса, люди фанатично религиозные, сына не били, не истязали, не делали вроде бы ничего, что могло

сильно «подвинуть» его психику, мечтали, чтобы в будущем он стал католическим священником. Хотя… всё же был момент, на который, мне кажется, важно обратить внимание.

«В тринадцать лет я пережил событие, которое могу обозначить как первую брешь в своем прочном религиозном мировоззрении. Во время обычной потасовки по дороге в спортзал я нечаянно столкнул с лестницы одноклассника. Он сломал лодыжку. В течение многих лет сотни школьников, в том числе и я несколько раз, падали с этой лестницы без серьезных повреждений. Но вот этому крупно не повезло. Я был наказан двумя часами карцера. Это было в субботу, в первой половине дня. После обеда я, как обычно в этот день недели, пошел на исповедь и честно поведал священнику и об этом случае тоже. Но дома я ничего не рассказал, чтобы не портить родителям воскресенье. Они должны были всё узнать от меня утром в понедельник. Вечером мой духовник, хороший приятель отца, был у нас в гостях. Но следующее утро отец сурово расспросил меня об этом происшествии и наказал меня за то, что я не рассказал обо всём сразу. Я был буквально потрясен – не наказанием, а вероломством своего духовника. Ведь нас всегда учили, что даже тайна тягчайшего преступления, доверенная священнику на святой исповеди, не может быть предана огласке. А здесь священник, которому я всецело доверял, который был моим духовником и наизусть знал все мои грехи вплоть до самого мелкого, нарушал тайну исповеди по такому пустяковому поводу! Рассказать отцу о происшествии в гимназии мог только он»[82].

Райнер Хёсс, внук коменданта, прокомментировал эти строки автобиографии деда так: «Он пишет, что не хотел быть священником, потому что церковь предала его. При этом не говорит, в чем заключалось это предательство. Сейчас появляются предположения, что речь могла идти о сексуальных домогательствах со стороны одного из священников. Но это просто модная сегодня тема». (Здесь Хёсс очевидно намекает на историю с сыном Мартина Бормана, священником, которого обвиняли в педофилии.)

Разочарование в церкви Рудольфа Хёсса только росло. Когда ему было шестнадцать лет, он добровольцем сражался в Палестине и Ираке против англичан. Хёсс признавался, что во время службы он видел «много дурных вещей», которые творила католическая церковь, что, собственно, и вызвало у него полное отторжение религии. При этом Хёсс в беседе с тюремным психиатром Леоном Голденсоном отказался дать ответ, какая конкретно ситуация заставила его окончательно порвать с церковью, дав лишь понять, что речь шла о средствах, которые

собирала церковь, и о том, как ими распоряжалась.

Райнер Хёсс прокомментировал это так: «Шофер деда Лео рассказывал, что мой дед вышел из церкви. Но в Интернете я прочитал, что он позднее вновь обратился в веру. Хотя Лео, который присутствовал при казни, сказал, что в последние минуты дед не обращался к Богу».

Сам Рудольф Хёсс на вопрос о вере, заданный ему в Нюрнберге в 1946 году Леоном Голденсоном, ответил так: «Я покинул церковь в 1922 году, а моя жена – в 1935-м… Сказать, что я стремлюсь к религии, было бы чересчур. Но сейчас, когда я знаю, что моя жизнь закончена, я хочу обрести внутренний покой. Я сейчас хочу понять, было ли неправильным то, что я совершил в своей жизни – не только в Аушвице, но и до этого»[83].

Религиозность и вера – вещи, как известно, разные. Рудольфу Хёссу в двадцатые годы был нужен не столько даже Бог. Хёссу как человеку без внутреннего вектора была нужна строгая система координат – и чем точнее, чем подробнее, чем отработаннее, тем лучше. И он нашел эту систему во главе с тем, кто заменил собою Бога.

«Был ли Гитлером для него Богом? – задумался Райнер. – Самым важным для него было послушание, выполнение приказа, неважно, был это Гитлер или Мюллер. В нем уже сидела эта идеология. Он был солдатом. Он был на Первой мировой. Вернулся. Что у него было? Как и у других солдат, вернувшихся с войны. Ничего. Они умели только воевать, только убивать. Их учили этому. Возьмите тех же американцев во Вьетнаме. Они служили своей стране. А когда вернулись, тут же превратились в убийц детей и так далее. Они были нежеланными в своей родной стране. Первая мировая была проиграна. Последовали Версальские договоры. Так что им не оставалось ничего больше, кроме как надеяться, что скоро начнется следующая война, где они найдут себе применение. А на войне они были как дома. Их там кормили, у них, что очень важно, там были друзья. Только в тех условиях они могли существовать. Они не были нужны гражданскому обществу. Они больше ничего не умели. Они умели стрелять в людей. Вот и всё».

«Я, будучи старым, фанатичным национал-социалистом, принимал это как данность – в точности так же, как католик свои церковные догмы. Это была просто истина в последней инстанции, никаких сомнений на ее счет у меня не было и быть не могло»[84].

У коменданта Освенцима, который больше походил на часовой механизм, а не на человека, было, как мне казалось вначале, обостренное, гипертрофированное чувство

справедливости – в том смысле, как он понимал справедливость для себя. Но, считая так, я упускала из виду самое главное – контекст, ибо Рудольф Хёсс был человеком системы, и для него несправедливостью считалось всё, что противоречило правилам системы.

Допустим, национал-социализм заменил Хёссу религию. И что, у него не было глобальных разочарований в Гитлере, в рейхе? Неужели не нашлось такого же, как в детстве, священника-предателя, интегрированного в новую систему координат Хёсса? «Я думал, что делаю правильное дело, я подчинялся приказам, а сейчас, разумеется, считаю, что это было необязательно и неправильно…»[85]

Никаким раскаянием здесь и не пахнет – не таков был Рудольф Хёсс, чтобы предать систему, которой исправно служил много лет. Система, которую, как считает его внук Райнер, приняла его деда не без вмешательства темных сил. Райнер верит в судьбу.

– Не знаю, стоит ли говорить об этом, но мой дед родился не в 1900 году, как указывается во всех источниках. Он родился в 1901 году. Он специально подделал свидетельство о рождении, чтобы участвовать в войне. Если бы он этого не сделал, то мы бы здесь не сидели и не говорили бы о его преступлениях на посту коменданта Освенцима. Всего лишь один год предопределил всю мою жизнь.

– Райнер, а сколько тебе сейчас? – спросила я.

– Сорок шесть. – Выглядел он определенно младше.

– Столько, сколько было твоему деду, когда его арестовали.

– Ну да. – Хёсс задумчиво посмотрел вдаль. – А в сорок семь его казнили. Точнее… в сорок шесть, если по правде.

– И как оно переживается сейчас?

– Нормально, – улыбнулся Райнер, – пойдем, кое-что покажу.

Перед балконным окном стоял кошачий домик, наверное, метр в длину. Самой кошки нигде не было. За ее обиталищем – большой мягкий угловой диван, бежевый, в тон обоям; в самом углу за диваном – длинная лампа из IKEA. На стене висела в рамке какая-то картинка с крупными распустившимися бутонами роз и черно-белая фотография: с нее четыре человека улыбались в объектив. Райнер начал водить пальцем по стеклу рамки, оставляя за подушечкой указательного пальца едва заметные борозды пыли: «Вот это мои дети. Это Даниэль, ему 28 лет. Это моя дочь Надин. Ей 24 года. Это Шанин. Ей 22. А это мой младший сын Паскаль – ему 15 лет… Я сам отец. У меня четверо детей. И я не могу себе представить, что я мог бы убивать соседских детей. Людей, с которыми я, к примеру, десять лет

встречался, здоровался на улице…»

Я смотрела на четыре улыбающиеся симпатичные мордашки и на Райнера. И снова на мордашки. И на Райнера.

– У тебя прекрасные дети…

Он улыбнулся – правда, как-то невесело:

– А теперь я пойду, с твоего позволения, соберусь с мыслями.

Я увидела, как он, за балконным стеклом, сидя на стуле, высекал искру из зажигалки: Райнер не курил – просто высекал пламя и убирал палец с подачи газа. Снова и снова.

– Райнер, – сказала я Хёссу, который поманил меня на балкон, когда камера заработала снова, – не знаю, как объяснить, но не складывается у меня портрет деда. Это убийство… как будто не слишком характерно для него. Да, он прошел Первую мировую, но в мирное время… Грубо говоря, я думала, что он был как Гиммлер: терпеть не мог кровь и падал в обморок при виде расстрела…

Хёсс вскинул бровь и внимательно посмотрел на меня. Как ни странно, он сразу понял, о чем я пытаюсь спросить. Он закурил и сел на деревянный стул, запрокинув голову, выпустил в воздух длинную струйку белого дыма, такого же, как облака, которые застыли на небе.

Официальная биография Рудольфа Хёсса гласит: когда война закончилась, в 1918 году, он стал членом добровольческой бригады Россбаха. Двадцать второго октября 1922 года вступил в НСДАП (билет № 3240). Двадцать шестого мая 1923 года вместе с Мартином Борманом участвовал в убийстве школьного учителя Вальтера Кадова. Но пусть дальше в суть дела вас посвятит сам комендант Освенцима. Вот еще один фрагмент из его беседы с тюремным психиатром Леоном Голденсоном в Нюрнберге: «”Вы убили человека, сдавшего Шлагетера?“ – ”Да, я был одним из четырех человек; мы забили его до смерти“. – ”Почему?“ – ”Этот человек был членом добровольческой бригады Россбаха, а потом украл какие-то деньги, занимался незаконными сделками и в конце концов исчез… Его звали Вальтер Кадов. Он был безработным учителем немецкого, примерно двадцати пяти лет“»[86].

– Знаешь, ведь и у меня тоже не клеилось, не складывалось как-то, – ответил Райнер и взглянул на меня своими огромными глазами. – Дед был бесчувственной машиной, но сам, руками своими, действительно никого не убивал. И теперь я знаю это наверняка. Дед отсидел в тюрьме за истинного убийцу Вальтера Кадова.

– И кто бы истинным убийцей? – поинтересовалась я,

совершенно не ожидая услышать молниеносный уверенный ответ.

– Мартин Борман.

– Подожди, – напрягая память, я без книг под рукой и Интернета силилась вспомнить подробности той истории, – я слышала, что они убивали этого человека большой компанией, но вроде бы смертельный удар нанес именно твой дед. Так по крайней мере я знаю…

Хёсс просиял улыбкой, как школьник, которого решил подловить учитель и который знает правильный ответ:

– Лео, шофер деда, рассказывал, что не дед убил этого учителя, который, кстати, был коммунистом, а именно Борман. Но у Бормана к этому времени уже была семья, а дед еще был холостой и пошел за того в тюрьму. То есть будущее деда было так или иначе предрешено. Борман щедро отплатил деду за услугу – рекомендовал его Генриху Гиммлеру, рассказал, что они с дедом моим воевали вместе в Палестине, участвовали в штурмовом отряде Россбаха. В общем, отсидел дед всего пять лет вместо десяти – при пересмотре дела суд счел это непредумышленным убийством. А потом Борман с радостью принял деда в их команду. Это убийство – еще одно звено в цепи ужасных случайностей, из-за которых дед стал тем, кем он стал…

Хёсс раздавил сигарету в пепельнице – так, словно желал переломить ей несуществующий позвоночник; я видела, что он обжегся, но не издал ни звука, лишь резко отдернул руку.

Мы сидели на деревянных стульях со спинками, друг от друга нас с Хёссом отделял лишь столик, над которым большим белым грибом возвышался зонт, отбрасывая на нас спасительную тень. Деревянный дощатый пол чуть скрипнул, когда я встала, чтобы выглянуть с балкона: на его парапете стояли кадки, в которых росли цветы – белые, розовые, желтые, много-много цветов, которые щекотали мне нос и старались закрыть своею густотой вид на белые трехэтажные дома, наподобие дома Райнера, словно начерченные по линейке, держащиеся друг от друга на безопасном расстоянии…

Вдруг рядом с моей правой ногой, на уровне икры, раздался глухой стук: я вскрикнула и отпрянула в сторону.

– О, не бойся, – рассмеялся Хёсс, которого позабавил мой испуг, – это наши кролики.

– Кролики?

– Да, посмотри! – Он встал со мной рядом и указал в угол балкона. Там за решеткой сидел черный кролик, который, с одной стороны, со своим косившим красным глазом выглядел зловеще, а с другой – казался напуганным еще больше, чем я. Второй кролик мирно спал, забившись в угол клетки, и я могла видеть

только его спинку.

– И что, они правда зловещие? – дружелюбно полюбопытствовал Хёсс, и от его губ в разные стороны пошла эта самая рябь, которая вкупе с оттопыренными ушами делала Райнера очень милым и трогательным, превращая в подростка, которому вполне соответствовал его внешний вид. – Это кролики моих детей, они их обожают, но в квартире для зверьков просто нет места, так что мы поселили их здесь.

Я присела перед клеткой и потрогала железную решетку – у любой решетки, ограничивающей чью-то свободу, кажется мне, есть своя магия, когда ты смотришь на нее снаружи, разумеется: решетка – она как граница между двумя мирами, двумя совершенно разными пространственно-временными континуумами. Впрочем, вряд ли кролики ощущают это.

Почему-то вспомнились нюрнбергская тюрьма с камерами и памятник кролику, вокруг которого мы бродили с Никласом Франком. Кажется, теперь кролики всю жизнь будут ассоциироваться у меня с нацистскими преступниками и тюрьмой…

Мы с Хёссом снова сидели на балконе. И мне, конечно, очень хотелось расспросить его о том, кто такие «они», – те, кого он опасается и кто заставляет Анну-Марию трепетать и прибегать к конспирации, а еще хотелось сразу же заодно разузнать о том, почему Райнер решил впарить мемориалу Яд Вашем вещи своего деда и почему он вообще их хранит (к примеру, Беттина Геринг избавилась даже от фотографий своего родственника, разорвав их все). Возможно, существует какая-то взаимосвязь между двумя этим вопросами?

– Когда и как ты узнал, кем был твой дед? Кто тебе об этом рассказал, родители?

Райнер, устроившись на балконе, кивнул, дав понять, что понял вопрос, щелкнул зажигалкой, затянулся.

– Я не буду говорить название интерната – юристы мне не советовали, Анна-Мария тоже. Потому что могут проблемы возникнуть. Но это очень известный интернат. Многие высокопоставленные родители сдавали туда своих детей. Я в седьмом классе, одиннадцать-двенадцать лет. Вечером с соседями по комнате мы залезли на кухню – открыли окно и набрали себе еды на выходные. Слишком есть хотелось. Короче, мы попались. Нас повели к директору, и тот в наказание поручил нам две недели в свободное время работать в саду.

– Жестко.

– Нет-нет, – очаровательно и вместе с тем как-то отстраненно

улыбнулся мой собеседник, – это была типичная воспитательная мера, надо сказать, очень мягкое наказание. Мы пришли в сад, а садовник получал от директора список с фамилиями, и мы должны были отмечаться – пришли, мол. Три-четыре часа в день на протяжении двух недель нам надо было подстригать газон, обрезать ветки у деревьев. То есть выполнять весьма легкую для нашего возраста обязанность. В общем, я вдруг заметил, что товарищей моих послали полоть грядки, а меня послали делать самую тяжелую работу – убирать сухие ветки, помогать садовнику переносить бревна. – Руки Хёсса – обе – принимали участие в его рассказе. Правая, с сигаретой между кончиками указательного и среднего пальцев, постоянно находилась в движении, сея вокруг себя пепел. Левую он то ставил на ребро на столе, то сжимал в кулак. – Я поранился несколько раз, но садовник не обращал на это внимания. Я еще подумал, может быть, я больше всех провинился в этой нашей вылазке на кухню. Прошло четырнадцать дней, и моим товарищам сказали, что они больше могут не приходить на эти работы. Меня же не отпустили. Я просил директора, в чем дело. Директор сказал мне, что садовник жалуется, – я, мол, работаю плохо, веду себя нагло, обманываю его, короче, я – плохой мальчишка. Я – плохой, хотя делал ту же работу, что и мои товарищи. И мне пришлось работать в саду где-то шесть–восемь недель, не меньше. И вот это уже было жестко…

– Ну потом-то тебя освободили от повинности? – осторожно поинтересовалась я, не слишком понимая, к чему клонит Райнер, прикуривший от первой сигареты вторую.

Хёсс продолжал:

– В общем, я работал в саду вплоть до того момента, когда садовник меня ударил. Я рассказал об этом своему классному руководителю, тот пошел к директору, сказал, что надо прекращать это, и рассказал мне, что садовник в свое время был в концлагере, в Освенциме, и по моей фамилии он понял, кто я.

– Можно понять садовника, но разве он имел право поднимать руку на ребенка?

– Имел, – Райнер выпустил изо рта сигаретный дым и, наконец, взглянул на меня осмысленно. – Дело было в том, что интернат этот принадлежал церкви, и родители передали все права по моему воспитанию интернату. То есть он выполнял функцию моих родителей, мог среди прочего подвергать меня телесным наказаниям. Учитель мой и был первым человеком, кто мне рассказал, кем был мой дед. Я потом спрашивал отца, пытался поговорить с бабушкой, но в ответ слышал только «нет-нет-нет, всё неправда, всё не так, мы к этому никакого отношения не имеем. Тебя спутали с внуком Рудольфа Гесса, а ты – внук

Рудольфа Хёсса, а это другое и не имеет отношения к Третьему рейху».

Тут я должна пояснить, что у Рудольфа Гесса и Рудольфа Хёсса, фамилию которого порой переводят как Гесс, отличие всего в одной букве. У Гесса фамилия пишется – Hess, у Хёсса – Höess, через ö-умлаут.

Райнер продолжал:

– В доме родителей не было никаких документов, из которых я мог бы что-нибудь узнать. Первую достоверную информацию я получил от Лео, водителя моего деда, когда мы были у него в гостях. С того момента я поддерживал связь только с ним. Поначалу я не мог ему поверить. И только через много лет после его смерти выяснилось, что всё, что он рассказывал, это истинная правда, – появились документы, исследования историков. Для меня всё это было шоком. Вот так я узнал, кто такой был Хёсс.

– Подожди, но ведь твой дед – фигура достаточно известная, печально известная.

– Не поверишь… – Хёсс подтолкнул ко мне пальцем пачку сигарет. – Я сам искал правду очень долго, многие годы… Это сейчас можно найти всё что угодно и кого… кого угодно. А послевоенная Германия звенела своим молчанием – даже, я бы сказал, коллективным умолчанием.

Он щелкнул перед моим носом зажигалкой, я затянулась, а Райнер глубоко вздохнул, словно наслаждаясь запахом сигареты, и заботливо придвинул ко мне пепельницу. Может, подсознательно искал во мне временного союзника?

Подавив кашель – тяжелый дым клубился где-то у меня внутри и щекотал гортань, – я спросила:

– Райнер, а как ты в таком случае искал информацию о деде?

– Первое, что я прочитал на эту тему, была книга Лангбайна «Люди Освенцима», она была у нас дома. Вторая книга называлась «Комендант Освенцима», ее написал Брошат. Интернета тогда еще не было. Дополнительную информацию найти было очень сложно. Были только эти две книги. Затем, намного позднее, вышла на экраны серия передач Би-би-си, и еще один фильм, который назывался «История одной немецкой семьи». Других источников информации о Хёссе попросту не было. Я искал в мюнхенском архиве, но ничего о моем деде не нашел. Даже фотографий. В Интернете сейчас можно найти пару-тройку фотографий, в том числе казни. Есть еще один снимок, где у него разбито лицо – кровь из носа. И только в середине 90-х появился знаменитый дневник Хёкера, где тоже есть несколько снимков деда с Менгеле и другими. Больше о нем никакой информации не было. То есть негде было искать. Я читал статью о

нем в «Шпигеле». И я решил провести свое расследование. Один из моих знакомых, журналист, очень помог мне в сборе дополнительной информации. Сам я куда только ни обращался – никто мне не отвечал.

– Вообще такая инициатива бывает наказуема, – заметила я. – Ты слышал про Беате Ниман?

– Ниман? – удивился Райнер, видимо, перебирая в уме все знакомые фамилии. – Ниман-Ниман-Ниман… Нет, не помню такой фамилии.

– А фамилия Заттлер знакома тебе? – поинтересовалась я.

– Как будто да… Это случайно не связано с гестапо?

– В точку. Шеф гестапо в Белграде. Итогом его деятельности стала гибель полумиллиона человек – раз в пять меньше, чем твой дед, но тем не менее…

– И что с Заттлером? – заинтересовался Райнер.

– Ничего особенного. – Я сделала вид, что не замечаю его повышенного интереса. – Просто Беате Ниман, пожилая фрау, десятки лет своей жизни посвятила тому, чтобы узнать, за что ее отца после войны арестовали и содержали двадцать пять лет, до самой смерти, в тюрьмах ГДР. Она, как ты понимаешь, мечтала увидеть его, устроилась из-за этого волонтером в тюрьму, общалась с заключенными… Когда Заттлер умер, Беате решила заняться его реабилитацией, обвиняя власти в том, что они десятилетия держали в тюрьме невиновного человека.

– И почему она считала, что он невиновен? – Хёсс закурил снова.

– Как и в твоем случае, все документы были засекречены. И семья выступала на стороне отца: мать и старшие сестры Беате говорили ей, что отец – жертва несправедливости властей. Что дом, которым завладела семья Заттлеров, – тому доказательство. Мол, отец спас от преследований гестапо фрау Леон, еврейскую женщину, которая со всей любовью в благодарность завещала ему дом…

– Поступок, – кивнул Райнер.

– Ну да, – согласилась я. – И Беате Ниман решила проследить судьбу счастливо спасенной фрау Леон. Обратилась в ведомство по реституции и узнала, что отец ее не просто шантажировал фрау Леон – он дал этой женщине расписку, что если она продаст дом по копеечной цене, то он ее не депортирует. Через четырнадцать дней после продажи дома женщину депортировали сначала в Терезиенштадт, потом в Освенцим, где она была убита.

Хёсс громко охнул.

Я продолжала:

– А мать и старшие сестры просто врали Беате о том, какой

отец прекрасный человек, – ясно, что они во всём его поддерживали. Ну а потом клубок стал постепенно распутываться, и Беате узнала, что невиновный отец угробил полмиллиона человек. Такая вот история. Кстати, она знакома с Никласом Франком.

– Да? – на упоминание имени Франка Райнер, я заметила, всегда реагировал по-особому, казалось, даже несколько расслаблялся, успокаивался.

Из истории Беате Ниман: «О выходе книги Никласа Франка об отце я узнала из статьи в “Штерне”. Тогда я сказала себе, что меня это не касается. Мой отец невиновен, его нельзя сравнивать с такими преступниками, как Франк. Саму книгу я прочитала всего лишь лет пять-шесть назад. Книгу о его матери я тоже читала, я была на ее презентации, здесь, в Еврейском музее в Берлине. Я очень ждала выхода этой книги. Мы очень хорошо поговорили с Никласом Франком, мне пришлась по душе его аргументация, понравилась его серьезность и откровенность. Но сама книга вызвала во мне некое отторжение, как, впрочем, и его книга об отце, о сведении счетов с отцом. Я не жила с отцом и не уверена, что смогла бы столь открыто высказать свое мнение. Обе книги меня испугали беспощадной прямотой. Но я понимаю, что по-другому написать он не мог. И не мне судить его».

Хёсс молча курил. После долгой паузы спросил:

– И как она сейчас?

– Ничего, – ответила я спокойно, – ходит в школу к внукам и рассказывает о том, почему нацизм это плохо. Как-то так…

– Это она правильно делает, – задумчиво кивнул Хёсс, видимо, решая что-то для себя. Не давая ему провалиться в раздумья, я поинтересовалась:

– Райнер, вот Беате Ниман поначалу была шокирована открытиями – она рассказывала, что даже тяжело заболела, после того как узнала, кем был ее отец. Как происходило твое погружение в жизнь деда? Понятно, что материалов было немного. Но из того, что ты видел, что-то поразило?

Хёсс долго не раздумывал:

– У меня волосы вставали дыбом, когда я прочитал у Брошата в книге, что после ареста в Польше с дедом обращались по-человечески. А ведь это были те люди, которых он уничтожал, те люди, которых он подвергал страшным мучениям. Я не мог этого представить.

Заканчивая автобиографию, за полтора месяца до собственной казни, дед Райнера написал:

«Никогда я не согласился бы на самовыражение, на раскрытие моего тайного ”Я“, если бы здесь меня не встретили с разоружающей человечностью, с пониманием, которого я ни в коем случае не мог ожидать. Благодаря этому человеческому пониманию я приложил все усилия к тому, чтобы, насколько это возможно, вскрыть суть дела. Но я прошу при использовании этих записок не предавать гласности всего, что касается моей жены, моей семьи и моих душевных порывов, моего внутреннего отчаяния.

Общественность может видеть во мне кровожадного зверя, садиста, убийцу миллионов – ведь широкие массы никак не смогут представить коменданта Освенцима другим. Но никогда они не поймут, что он тоже имел сердце, что он не был плохим.

Эти записки содержат в себе сто четырнадцать листов. Всё это я написал добровольно и без принуждения.

Рудольф Хёсс. Краков, февраль 1947 года».

Райнер Хёсс, сидевший напротив меня, шумно вздохнул. – Информация была самая разная. Были, к примеру, и такие, как Форизон, один из крупнейших ученых, отрицающих Холокост. Он утверждал, что всё это неправда, что деда моего пытали, что с ним обходились в тюрьме крайне жестоко, его шантажировали, поэтому его показаниям и автобиографии нельзя верить. Так что информации было очень мало, оставалось ждать, пока появятся дополнительные, более достоверные сведения.

«Мне и в голову не приходило, что кто-то когда-нибудь привлечет меня к ответственности. Понимаете, если где-то что-то не ладится, значит, виноват тот, кому это поручено, – это в Германии само по себе разумеется. Поэтому я никогда и не думал, что когда-нибудь мне придется отвечать.

– А человеческие… – Хёсс не дал мне закончить фразы.

– Это не имеет отношения к делу. – Таков был лаконичный ответ бывшего коменданта Освенцима…

– А когда вас впервые посетила мысль, что вас отдадут под суд и повесят?

– После краха. После смерти фюрера».

Уж не знаю, к счастью ли внука коменданта Освенцима, Райнера Хёсса, за последние двадцать лет появилось огромное количество информации о его деде. Фигура Рудольфа Хёсса стала вызывать огромный интерес.

– Как-то к моей матери обратились журналисты «Шпигеля», они хотели приобрести все документы, что остались от деда, и использовать их в статье, посвященной 40- или 50-летию Холокоста, или 40-летию освобождения Освенцима. И я запретил матери делать это. Я сказал, что у меня дети, что последствия предсказать трудно. Жена моя тоже не очень радовалась такому развитию событий, прежде всего она боялась за детей. «У нас и так уже достаточно проблем из-за этого», – говорила она. Поэтому все материалы так и остались лежать в подвале нашего старого дома…

Я глубоко затянулась сигаретой под одобрительным взглядом Райнера и, набравшись решимости, спросила:

– Выходит, речь всё-таки идет о том, что потомки жертв хотят отомстить тебе и твоей семье…

Хёсс расхохотался. Громко. Но совсем не весело:

– Нет, да ты что! Никто из них не хочет мстить. Много кто из них в свое время, когда открылась вся правда о деде, меня морально очень поддержал…

– Ну допустим. – Я раздавила сигарету в круглой желто-розовой пепельнице и из заднего кармана брюк извлекла теплый, многократно сложенный листок бумаги. – Тогда слушай: «Внук коменданта Освенцима Рудольфа Хёсса предлагает израильскому мемориалу жертв Холокоста Яд Вашем вещи. Купить».

– Ясно, – закивал Райнер, – ясно, ты всё-таки читала эту дрянь…

– И увязала ее с тем, что тебя кто-то преследует…

– Отлично. – Хёсс, мне показалось, пытался сдержать улыбку. – Это ложь от первого и до последнего слова. Дурацкая статья. Но мне интересно, неужели ты им поверила? А? Ведь поверила?

Райнер напряженно улыбался и щелкал зажигалкой, играя с пламенем, так, что это стало меня немного раздражать.

– Я не знаю, чему верить. У каждого своя правда, и ты сам это хорошо понимаешь. Так что просто расскажи мне свою. Почему появилась эта статья? С чего? Говорят, дыма без огня не бывает…

Райнер положил ногу на ногу:

– Началось всё с того, что пару лет назад я имел глупость написать письмо в Яд Вашем. Дословно я написал вот что: «Так уж вышло, что у меня сохранились личные вещи деда, кое-что из подаренного ему Генрихом Гиммлером, некоторые документы, и я не знаю, что с этим делать, потому что безо всякой рекламы на них нашлись покупатели, довольно опасные люди, которые почли бы за честь иметь у себя дома что-то от коменданта Освенцима». В письме в Яд Вашем я спросил, нужны ли им эти вещи? И сказал,

что в Освенцим я их отвезти не могу, потому что я, кажется, единственный на всей планете человек, которому долгие годы было отказано во входе в этот мемориальный комплекс. Моя фамилия вычеркивалась из списков – и было невозможно узнать, кто это делает и почему. И это всё читалось каким-то невысказанным упреком. Да, два с лишним миллиона человек… умертвил мой дед, но я лишь его внук, я никогда никого… Это глупо, странно…

– А что израильтяне из Яд Вашем? – напомнила я Райнеру.

– Не думаю, что люди, которые работают в Яд Вашем, хотели причинить мне вред, – вероятно, кто-то просто не так понял мое предложение. Я что, законченная свинья, чтобы просить у них деньги? Но моя фамилия дает им основания, возможно даже справедливые, чтобы предполагать это.

– Но в статье писали, что ты потерял работу и тебе нужны были деньги.

Идти – так до конца…

Было очевидно, что Райнеру неприятно мое наступление но мне важно было прояснить даже для себя, был этот факт или его не было.

– А еще там писали, что я развлекался с фон Ширахами, с которыми мы вместе решили загнать товар. Ты-то веришь, что это абсурд? Я нормальный человек, который хотел избавиться от вещей, которые вынужден сейчас прятать в банковской ячейке. А небольшую часть я пожертвовал в один немецкий музей… хотя… – Хёсс вдруг улыбнулся. – Надо признать, что я и правда потерял работу.

– Что за работа?

– Разные были. Я бы сказал так: заведующий складскими помещениями, – сказал Райнер после некоторой паузы. – Ну а теперь, в том числе благодаря Анне-Марии, я писатель. Да, я пишу книгу про деда – довольно сложная история.

– Это модно – писать про таких предков. – Я начала загибать пальцы. – Франк написал, фон Ширах написал, внучатая племянница Гиммлера Катрин написала… Мне трудно вспомнить, кто *не* написал книгу о своем крупном нацистском родственнике.

– Видишь ли, я с удовольствием бы уступил право написания книги своему отцу, и мне бы от этого жилось, наверное, легче, потому что мой дед как раз не был тем, кто в красивой форме с нашивками вскидывал руку над толпой и кричал «Хайль Гитлер». Вокруг моего деда нет всей этой привлекательной атрибутики и не пахнет тем, что сейчас называют «эстетикой нацизма». Вокруг него только трупы, печи, прах. Он обогащался за счет заключенных, у них отбирали одежду, которую потом носили

дети тех, что сжигали людей.

«Поверьте, не такое уж это большое удовольствие видеть перед глазами горы трупов и дышать смрадом непрерывно дымившего крематория. Но Гитлер приказал нам и даже разъяснил, почему мы должны это делать. И я действительно не тратил мысли на раздумья о том, прав он или же нет. Просто принимал всё как необходимость»[87].

– Так почему твой отец не написал книгу, не появился на публике, не сделал всё, что делает потомок крупного нациста, чей отец уничтожил два с половиной миллиона человек?

– О-о-о-о, – протянул Райнер, – это еще одна увлекательная история. Ты говоришь – появиться на публике, написать книгу, попросить прощения у потомков… Отец и мне-то ничего про деда не говорил, он ждал, пока мне не расскажет об этом кто-нибудь со стороны. Поведение моего отца, Ханса-Рудольфа, заставляет задуматься. Возникает вопрос, а кто же на самом деле говорит правду? Помнишь, я рассказывал про садовника в интернате, – отец знал об этой ситуации, но лишь отмахнулся от моих расспросов, мол, он тебя перепутал с внуком нацистского преступника Гесса. Вот как так можно, а? Ведь если я что-то рассказываю своим детям, они исходят из того, что я говорю правду, верят мне. Они не допускают, что я могу соврать им. А мой отец обманывал меня. И это было самое худшее из всего, что он со мной делал… Я, конечно, пытался его расспрашивать. Но в итоге отец сказал, что вас, дескать, это не должно интересовать, вас это вообще не касается. И я больше никогда не подходил к нему с этими вопросами. Бабушка с внуками на эту тему тоже не говорила, ни слова не проронила. Детям своим она, может быть, что-нибудь и рассказывала, но внукам – ничего, никогда. Зачем? Но бабушка определенно знала обо всем, чем занимался дед. Она жила с этим. Она жила в этой его системе.

«Да, я всегда был один. Конечно, я любил жену, но истинной близости между нами не было… Моей жене казалось, что я с ней несчастлив, но я убедил ее, что такова моя натура и ничего не поделаешь, остается разве что смириться с этим… Как только жена узнала, чем я там [в Освенциме] занимался, у нас уже почти не возникало влечения друг к другу. Внешне ничего не изменилось, но мне кажется, между нами наступило отчуждение, я это заметил лишь задним числом…»[88]

– Бабушка имела в этой системе совершенно определенное место – супруги коменданта Освенцима. Разумеется, она всё прекрасно знала, – продолжал Райнер. – В последние годы, в том числе благодаря Интернету, благодаря музею Холокоста в Вашингтоне, мне удалось ознакомиться с массой документов,

которые однозначно доказывают, что она наживалась на страданиях других людей. Служащие, которые жили там, тоже подтвердили всё это. Семья в Освенциме – об этом можно прочитать абсолютно везде – жила очень хорошо. У них всё было. И сотни тысяч людей подчинялись коменданту. Он набирал себе обслуги столько, сколько было нужно, в любое время. Да, деду моему в то время жилось прекрасно, он имел всё, о чем только мог мечтать, он брал всё, что ему было нужно, просто брал, ему не надо было спрашивать на это разрешения, начиная со своей виллы, где за государственный счет, а именно за счет поляков, евреев, разбил роскошный парк с экзотическими растениями, которые никогда не росли в Польше. Не думаю, что детям Хёсса хоть в чем-нибудь отказывали. А жили они в ста метрах от труб крематория.

«Мой дом стоял прямо у ворот лагеря. Раньше он принадлежал начальнику польской артиллерии. Когда я прибыл в Аушвиц, дом еще не был закончен. Я его отремонтировал и посадил вокруг сад. Там было десять комнат, не считая ванных и кухонь. Но комнаты были маленькие, ничего слишком большого и экстраординарного»[89].

– То же самое рассказывал и водитель деда Лео, который поначалу был очень скрытен, поскольку Рудольф Хёсс был для него идолом, олицетворением сверхчеловека. Я знал бабушку, я познакомился с дочерью Гейдриха, Гиммлера. Это была целая сеть, и она работала еще долго после войны. Их роскошная жизнь в одночасье разрушилась. То же было с моим отцом. Семья жила очень богато, но в какой-то момент всё это исчезло. Вряд ли он мог забыть это – «я был всем, стал никем». Даже дети крупных нацистов понимали тогда, что и они обладают властью. Невозможно представить, чтобы кто-нибудь из заключенных мог сказать хоть одно плохое слово детям лагерного начальства – сразу бы расстался с жизнью. Что происходит с этими детьми потом, когда идиллия вдруг куда-то девается? Мой отец, например, обратился к правым, так ему было легче жить. А мне пришлось жить с ложью. У меня не было понимающего отца…

– Что с ним сейчас? – спросила я, воспользовавшись паузой, пока Райнер Хёсс доставал из пачки сигарету.

– Я больше не поддерживаю и не хочу поддерживать никаких связей с отцом. И не знаю, жив он или нет. Честно говоря, если бы он сейчас был при смерти и нуждался в медицинской помощи, я бы спасать его не стал, оставил бы его умирать и я бы наверно помог ему быстрее расстаться с жизнью, как бы жестоко это ни звучало. Он ничего хорошего в моей жизни не сделал.

Райнер пододвинул ко мне пачку сигарет.

Я хотела было отказаться – очень тяжелые, но возможно, что для него это действие имеет какой-то сакральный смысл. Вслух я сказала:

– Твоего деда повесили в 1947-м. Ты его не знал. Но, думаю, лучше узнав, кем был твой отец, будет легче понять, каков был комендант Освенцима, ибо Ханс-Рудольф – продукт его воспитания.

Хёсс кивнул:

– Только так. Это верное направление. Я и сам… пытаюсь двигаться таким образом – для того, чтобы написать книгу, я думаю, пытаюсь посмотреть на всё со стороны, абстрагироваться. В этом смысле интервью с тобой – это хороший способ всё даже для самого себя проговорить вслух, если ты понимаешь.

В Кракове, в 1946 году, после того как Хёсс дал свидетельские показания на Нюрнбергском процессе, ему сообщили, что он имеет право отказаться от них, может вообще ничего не говорить больше и не писать мемуаров, сидя в камере, но бывший комендант Аушвица, человек педантичный, решил оказать услугу следствию: с точностью машины он выдавал все необходимые данные для расследования, нисколько не задумываясь о том, что за них ему придется поплатиться. Он говорил: «Самого себя я списал с самого начала, о себе я уже не беспокоюсь, со мной покончено. Но моя жена, мои дети?»[90]

Следователи, охрана, все, кто окружал Хёсса в период судебного разбирательства, – все как один отмечали, что этому человеку было чуждо тщеславие, он никогда не пытался красоваться, как делали многие на скамье подсудимых в Нюрнберге. Рудольф Хёсс, человек упорядоченный, с энтузиазмом взялся за составление записок о своей жизни и работе, где досконально описал все свои обязанности и всё, что происходило вокруг.

«Однажды два маленьких ребенка так заигрались, что мать не могла оторвать их от игры. Взяться за этих детей не захотели даже евреи из зондеркоманды. Никогда не забуду умоляющий взгляд матери, которая знала о том, что произойдет дальше. Уже находившиеся в камере начали волноваться. Я должен был действовать. Все смотрели на меня. Я сделал знак дежурному унтерфюреру, и он взял упиравшихся детей на руки, затолкал их в камеру вместе с душераздирающе рыдавшей матерью. Мне тогда хотелось от жалости провалиться сквозь землю, но я не смел проявлять свои чувства. Я должен был спокойно смотреть на все эти сцены. Днями и ночами я должен был видеть самую суть процесса, наблюдать за сожжением трупов, за вырыванием зубов,

за отрезанием волос, бесконечно смотреть на все ужасы. Мне приходилось часами выносить ужасающую, невыносимую вонь при раскапывании массовых могил и сожжении разложившихся трупов. Я должен был наблюдать в глазок газовой камеры за ужасами смерти, потому что на этом настаивали врачи. Мне приходилось всё это делать, потому что на меня все смотрели, потому что я должен был всем показывать, что я не только отдаю приказы и делаю распоряжения, но готов и сам делать всё, к чему принуждаю своих подчиненных…

Как-то раз одна женщина приблизилась ко мне во время шествия в камеру и прошептала мне, показывая на четверых детей, которые послушно держались за руки, поддерживая самого маленького, чтобы он не споткнулся на неровной земле: ”Как же вы сможете убить этих прекрасных, милых детей? Неужели у вас нет сердца?“ А один старик по пути в камеру прошептал мне: ”Германия жестоко поплатится за это массовое убийство евреев“. При этом его глаза пылали ненавистью. Затем он отважно вошел в газовую камеру, не обращая внимания на других. Мне вспоминается одна молодая женщина, которая усердно помогала раздеваться маленьким детям и старухам, быстро переходя от одного человека к другому. При сортировке у нее было двое маленьких детей, она запомнилась мне тогда своей оживленной возней и внешностью. Она совершенно не была похожа на еврейку. Сейчас детей у нее уже не было. Она до конца оставалась среди еще не раздевшихся женщин с детьми, ласково говорила с ними, успокаивала детей. В камеру она вошла с последними людьми. В дверях она остановилась и сказала: ”Я с самого начала знала, что в Освенцим нас везут, чтобы задушить газом, я отошла при сортировке от пригодных к работе и взяла с собой двух детей. Я хотела всё это увидеть и пережить. Надеюсь, это произойдет быстро. Будьте здоровы!“»[91].

Еще в Нюрнберге, во время главного судебного процесса над нацистскими преступниками, Хёсс вызывал любопытство у многих – начиная с тех, кто находился на скамье подсудимых, до судей, адвокатов и, разумеется, тюремных психологов и психотерапевтов. Всматриваясь в его ничем не примечательное лицо с крупными чертами, невыразительное, непривлекательное, окружающие пытались отметить любую странность, которая позволила бы записать коменданта Аушвица в ненормальные. Никаких видимых проявлений не было. Более того, этот человек казался нормальнее многих других.

«В 1963 году философ Ханна Арендт написала книгу[92], ставшую классикой… Самое поразительное свидетельство Арендт о суде над Эйхманом – то, что он казался совершенно обычным

человеком: ”Полдюжины психиатров признали его *нормальным*“. ”Во всяком случае, куда более нормальным, чем был я после того, как с ним побеседовал! – воскликнул один из них…“

Размышления о судебном процессе над Эйхманом привели Арендт к ее знаменитому выводу: ”Проблема с Эйхманом заключалась именно в том, что таких, как он, было много, и многие не были ни извращенцами, ни садистами – они были и есть ужасно и ужасающе нормальные“»[93].

Рудольф Хёсс был «ужасающе нормальным». В одном лишь источнике я увидела отсылку к тому, что он нормален, но не вполне – тюремный психолог Густав Гилберт отмечал, что Хёсс был апатичен, что «даже перспектива оказаться на виселице, похоже, не слишком его волновала. Общее впечатление об этом человеке таково: он психически вменяем, однако обнаруживает апатию шизоидного типа, бесчувственность и явный недостаток чуткости, почти такой же, какой типичен для больных, страдающих шизофренией»[94].

Густав Гилберт очень скрупулезно записывал реакции скамейки подсудимых – в том числе на то, как они отреагировали на показания коменданта Освенцима: «Во время приема пищи во всех отсеках царила гнетущая тишина, каждый из обвиняемых сидел в своем углу, вопреки сложившейся традиции не воспользовавшись моим присутствием для начала общей беседы»[95].

Вот как, по словам Гилберта, отреагировал на «выступление» Хёсса в Нюрнберге 15 апреля 1946 года Ганс Франк, генерал-губернатор Польши, отец уже знакомого вам Никласа Франка: «Это была низшая точка процесса – слышать, как кто-то хладнокровно заявляет о том, что отправил на тот свет два с половиной миллиона людей. Об этом люди будут говорить и через тысячу лет…»[96]

Даже Герману Герингу, первому нацистскому преступнику на скамье подсудимых, пришлось признать, что происходящее в Освенциме было чудовищным преступлением: «Нет, нет, это ничего общего с верностью [фюреру. – *Т.Ф.*] не имеет! Хёсс вполне мог попроситься на другую должность или… – Геринг раздумывал. – Разумеется, в этом случае исполнение поручили бы кому-нибудь еще»[97].

«Риббентроп, обхватив голову руками, продолжал шепотом повторять:

– В 41-м! В 41-м! В 41-м! Боже мой! Неужели Хёсс действительно назвал 1941 год?» [О том, когда началось массовое истребление. – *Т.Ф.*][98].

– А моего отца это всё не пугало… – Райнер Хёсс выглядел несколько измученным – должно быть, дело в жаре. Да и тема для беседы не из легких. – Он преспокойно, как и другие дети деда, жил в Освенциме, видел всё, что там творилось, и всем был доволен. Заключенные прислуживали ему, выполняли любой каприз, разбивали вокруг дома клумбы и сады… Конечно, после войны отцу было трудно смириться с тем, что он больше не сын человека, занимавшего не последнее место в иерархии Третьего рейха…

– Значит, получается, что после войны нацизм не умер?

– Был жив в таких людях, как мой отец, Ханс-Рудольф Хёсс. – ответил Райнер. – Он занимался продажами продукции одного крупного концерна, дослужился до начальника отдела. Нужно сказать, что у него на работе тоже была группировка из правых. В нее входили, например, бывшие офицеры бундесвера, разжалованные из-за ненадлежащего отношения к подчиненным, то бишь солдатам. Помню, там был один пожилой человек, кстати, много зарабатывал, часто рассказывал отцу, как служил в охране в одном из концлагерей. Короче, это была группа с совершенно определенными взглядами. Причем, стоит заметить, это была шведская фирма. В Швеции, в общем, всегда подходили весьма либерально к таким вопросам. Часто они организовывали встречи в Штутгарте, там присутствовала и вся атрибутика – свастики и тому подобное. Для него было очень важно, что окружающие подумают о нем. Что думают о нас – на это ему было наплевать. А для него символами успеха были белая рубашка, накрахмаленный воротничок, и не дай бог кто посмеет прикоснуться к нему! Отец всегда считал себя лучше других. Физический труд был не для него.

– Любопытно, а как он относился к церкви? Всё-таки его предки, даже Рудольф Хёсс, в детстве, были ревностными католиками. Да и тебя отец сдал в интернат при церкви. Это что-то значит?

Райнер развеселился, впрочем, было видно, что это нервное проявление:

– Думаешь, что мой отец днями и ночами пропадал в церкви? Наоборот. Он ненавидел церковь. Для него церковь, попы, как он говорил, были главным виновником того, что его отца повесили. «Они предали забвению моего отца», – так он жаловался. С чего вдруг? Почему? Я никогда не понимал. Но ответ на твой вопрос о том, был ли мой отец религиозен, лежит на поверхности.

– Ладно. А теперь можешь сказать мне, в чем дело? Чего ты боишься? – Любопытство мое меня победило. Я бы даже сказала, раздавило меня с хрустом, как какого-нибудь жука.

Хёсс взглянул на меня, как взрослый на ребенка, и тяжело вздохнул:

– Да я даже не за себя боюсь…

– Как эта история связана с мемориалом Яд Вашем? Ну что, на тебя МОССАД, что ли, охотится? Кому ты нужен?

– Есть кое-кто, кому я неожиданно стал очень нужен. – Райнер щелкал зажигалкой, чем снова тихо сводил меня с ума. – Не возражаешь, если я расскажу тебе без камеры? Только сейчас, заварю снова всем кофе… Я могу рассказать это и на камеру, точнее, обязательно это сделаю, просто ты послушай сейчас, и подкорректируешь меня… Это началось лет пять—семь назад. Я ездил по делам в Швейцарию и познакомился там с очень богатым человеком. Это был швейцарский банкир S. – Райнер произнес фамилию, которая не говорила мне ничего ровным счетом, но он резко развернулся ко мне: – Ты же не скажешь никому? Он известный человек.

– Нет, – искренне ответила я.

– В общем, этот человек, банкир, – я и сам тогда не понял, что он так ко мне прикипел, я же птица не его полета, ясное дело. Но мы как-то разговорились, понравились друг другу, и он спросил: «Ты же остаешься в Швейцарии еще на день?» Я оставался. У меня была зарезервирована гостиница. И он сказал: «У меня свой особняк, и мне будет приятно, если ты приедешь на ужин. С твоего позволения, я приглашу кое-кого из своих друзей – им будет приятно познакомиться с таким классным парнем, как ты». Ну я сказал, мол, приеду конечно. Он сказал, что пришлет за мной машину с водителем к восьми часам. И в восемь у гостиницы меня правда ждала машина.

– У вас тут всё в порядке? – нежно защебетала Анна-Мария, возникшая вдруг на балконе и недовольно морщившаяся от сигаретного дыма. Агент, о существовании которой я, к ее чести, успела подзабыть.

– Да, – в один голос сказали мы, чем вдруг насторожили пожилую фрау необычайно.

– Райнер, – сказала она, – ты поосторожнее.

– Конечно. – Он отодвинул от себя пепельницу, видно, уже просто не мог курить. – Ты же видишь, что камера сейчас не работает.

– И что дальше? – спросила я, как только настороженная Анна-Мария исчезла в проеме балкона.

Райнер нервно засмеялся.

– Вот, представь, такая картина. Стою я у двери красивого особняка. – Хёсс будто нажал невидимую кнопку звонка. – И думаю, что человек этот действительно очень богат. Мне

открывают дверь. Причем открывает ее сам хозяин дома. Высовывает голову и говорит: «У меня для тебя сюрприз, проходи!» Я больше ничего не помню, кроме того, что рядом с ним стояли еще несколько человек, лиц которых я сейчас не помню, но, думаю, они тоже были «непростыми». Хуже всего, что они вскинули руки в нацистском приветствии. И были в эсэсовской форме. И этот банкир тоже. «Какой-то нелепый маскарад, издевательство, прикол?» – подумал я сначала. Потом я подумал, помню: «Стоп! Я не говорил этому человеку, кто я такой и кто мой дед. Выходит…»

– Он знал это…

Хёсс резким кивком головы дал мне понять, что я права.

– Не исключаю, что и наша бизнес-встреча была запланирована лишь потому, что он знал, кто я такой.

– Что было дальше?

– Не мог же я набить всем лицо, – заметил Райнер, мило улыбаясь, – их было много. И я спросил их, зачем всё это, потому что в такое… сама понимаешь, сразу вот так вот поверить трудно. Они хотели, чтобы я побыл с ними. Чтобы я стал… возглавил одно нацистское движение, мощнейшее, имеющее сильное влияние на юге Германии. Но оно финансируется ими из Швейцарии. Эти люди в форме СС сказали, что они почтут за честь отужинать вместе со мной, что у них множество ко мне деловых предложений, что я должен остаться и что всё очень-очень серьезно. И что им нужен я, потому что только человек с таким именем, истинный потомок своего деда, только такой человек может повести толпу за собой…

– Проще говоря, они тебе сказали…

– «Будь нашим фюрером».

– Fuck, я думала, что так не бывает… – произнесла я вслух.

– Fuck, – повторил Хёсс, – я тоже так думал.

– Но это же как в кино.

– Это жизнь, – заметил Райнер невесело, – моя жизнь.

– Вообще… как ты описываешь этих товарищей… я бы сказала, что это кучка больных клоунов с тягой к переодеваниям…

Собеседник не улыбнулся.

– А потом начался настоящий ад. После того как я сказал этим людям, что не остаюсь на ужин, что я вообще не по этой части, что дед мой чудовище и убийца, они сказали, что найдут меня опять.

– Ну, может, и не найдут… – Я по-свойски похлопала Райнера по плечу.

– Находили уже. И не раз, – ответил Хёсс, – и найдут снова. У

них есть время, деньги, терпение. Власть тоже есть.

– Попахивает забавами старых извращенцев, – заметила я, – только одни яхты покупают и девок пачками, а другие развлекаются факельными шествиями и заочно избирают себе фюрера. Идиоты – и первые и вторые. Ты всё-таки думаешь, что ребят в форме СС стоит опасаться?

– Уверен. – Райнер потер лоб рукой. – Хуже всего, что идиоты эти мои ровесники, а значит, передохнут не скоро. Так что рассчитывать не на что. Государству вообще плевать, что там происходит, не в телевизоре зигуют – и ладно.

Он поднялся со стула, встал ко мне спиной и уставился куда-то вдаль.

– Слушай, я тут подумала, а как крупное нацистское движение может обходиться без лидера? Это же смешно. Они обращаются к тебе… Значит, всё же лидера нет? И что это за доморощенное движение тогда?

– Есть, был лидер. Голубой один…

– Голубой?! Райнер! Это шутка?! Голубой нацист?! Лидер?! – Больше, чем смешно, было разве что дико и странно. – Они б еще чернокожего взяли!

Хёсс оглянулся и в недоумении посмотрел на меня, силясь понять, чем вызвал такое бурное мое оживление:

– Да, был голубой нацист. Лидер. Очень крутой. И… умер. Аккурат когда они мне начали активно предлагать пост «фюрера».

– Не думаешь ли ты, что они его… сместили таким образом?

Хёсс пожал плечами:

– Да просто убили. Я в совпадения такие не верю. Потому что я им тогда задал вопрос – тот самый, что и ты: мол, у вас же есть лидер. Они сказали – «не проблема». Или «не считается». Что-то такое сказали…

– Ну, знаешь!..

Нужно было срочно выпутываться из сетей молчания, повисшего на балконе; даже кролики перестали шуметь.

– Живи уже нормально, – сказала я. – Я так понимаю, теперь всё кончено? Ты же спрятался?

– Становится только хуже. А у меня четверо детей, жена. И я не знаю, как найти выход. И тут не отделаешься переменой фамилии, потому что они знают, кто я.

– И сколько они тебя уже домогаются?

– С того самого момента, как я увидел их в Швейцарии. Я с Никласом Франком разговаривал много раз – но как, скажи мне, мы вдвоем можем им противостоять? Государство прячет голову в песок. Я пытался обращаться в полицию. Но анонимки под

дверью, звонки, – этого не достаточно, чтобы объявить кого-то, кого я могу подозревать, вне закона. Тем более если этот кто-то очень богатый и известный человек из Швейцарии.

Райнер вздохнул – я думала, сейчас снова захочет закурить. Нет. Он сказал:

– Я уже устал читать, в каких позициях меня будут распинать, сжигать и вешать. Я устал перехватывать анонимки под дверью – под любой дверью, где бы я ни жил, – чтобы мои дети не узнали, что хотят сделать с ними тоже. Жена всё знает, она переживает ужасно, но я лишний раз стараюсь не ставить ее в известность.

– Мне казалось, они должны были бы действовать умнее, мягче, посулами и всё такое…

– Было. – Хёсс вздохнул. – И сейчас бывает. Под другими именами, всякими разными способами, через новых людей они возникают и предлагают всякие заманчивые вещи. Конечно, ты видишь, что я не богат. Но связаться с ними, воспользоваться их милостью – это всё равно что продаться. И тогда выхода не будет никакого.

– Можно подумать, он у тебя сейчас есть.

– Бороться, – сказал Хёсс.

Я присела на корточки перед клеткой. Я смотрела на черного кролика с красным глазом и думала о том, что только что сказал Хёсс: в это невозможно поверить. Разве так бывает? С другой стороны – очевидно, что он не врет, не рисуется, не драматизирует, – он просто констатирует факт. К тому же я знаю историю Гудрун Гиммлер – дочери Генриха Гиммлера, которая, несмотря на почтенный возраст, по сей день продолжает дело отца: держит кассу взаимопомощи для бывших эсэсовцев, занимается их реабилитацией, возглавляет подпольную организацию «Негласная помощь».

Я поудобнее уселась на деревянный настил балкона перед кроликом и стала тупо совать пальцы в клетку – укусит или нет? Вроде они не плотоядные. Хотя этот чернявый и красноглазый выглядел истинным убийцей.

– У меня к тебе два вопроса, – обратилась я к кролику, – имеют ли шведские ребята Райнера отношение к Гудрун Гиммлер? И мне не ясно, при чем здесь история с Яд Вашем?

– Ты с кем? С кроликом? – Райнер даже не обернулся. – Мои дети, особенно младшие, обожают его, тоже, вот так, как ты, садятся и болтают с ним. Паскаль его очень любит. Я могу их выпустить даже, но они сожрут все цветы. А еще сын любит сибирских мышей с длинными хвостами… Кстати, мне показалось, или ты сказала «Гиммлер»?

– Мне интересно, связаны ли как-то твои неонацисты и ее

«Негласная помощь»? Ну, может, она и швейцарские банкиры – звенья одной цепи или что-то в этом роде…

– Думаю, они не связаны между собой. – Хёсс говорил уверенно и спокойно. – Я слышал о Гудрун, но «Негласная помощь», судя по всему, не имеет отношения к швейцарскому проекту. Потому что те, старики, в основном, как я знаю, помогают друг другу, ведь у Гиммлер некое сообщество взаимопомощи ветеранам СС: они и вспоминают о прошлом, сидя за столом, на скатерти которого вышита свастика, а эти банкиры – они по полной вкладываются в неонацистское движение, распространяя идеологию среди молодежи. К тому же идеология – это номер два. Номер один – это бизнес, за который они могут убить…

– А что с Яд Вашем? Чем закончилась эта история?

– Ничем. Ничем, кроме проблем.

– Из-за израильтян? Их реакции? – Я села рядом с Райнером, за столик, но курить не стала.

– Нет-нет. Просто много шума из-за вещей деда. Некоторые покупатели, включая желающих из Швейцарии, готовы были заплатить мне дикие деньги за них. Безумные. А я решил отдать вещи израильтянам. И тут в прессе поднялся шум, что я такой вот негодяй и свинья, и тот самый мой, с позволения сказать, почитатель из Швейцарии разозлился, – они решили, что я делаю это им назло, пытаюсь передать вещи деда, чтобы они их не заполучили. Это, разумеется, так, но мне не хотелось афишировать… В общем, как я говорил, теперь вещи в банковской ячейке – дома я их хранить не могу. Это опасно очень. Уже были попытки проникнуть ко мне, уже искали их. Не в этом доме – в предыдущем.

Райнер Хёсс сидел посреди комнаты – в квартире он не курил, и в первые минуты ему очевидно было дискомфортно. Он оседлал стул, поставив его спинкой вперед. Правой рукой он теребил пуговицу рубашки, которую застегнул, оставив распахнутым лишь воротник. Из-под него торчала белая спортивная майка. Только что, с паузами и корректировками, мы записали историю про Швейцарию и неонацистов. Анна-Мария сидела рядом и по-немецки подсказывала Райнеру «смягчающие синонимы».

И теперь мы вернулись к вопросу его противостояния неонацистам.

– Противостою ли я им идеологически? – начал Райнер. – Сама посуди: дед мой – он преступник, и ему еще повезло, что он так легко отделался – его всего лишь повесили. Я уже много раз

говорил, скажу еще раз, хотя знаю, что опять вызову гневные отклики. Если бы я жил тогда, то можно было бы сэкономить на веревке. Без сомнения. Я бы убил его своими руками. Потому что его злодеяния легли невыносимым грузом на семью, которая вынуждена нести это бремя. Может быть, моя задача, мой крест как раз и заключается в том, чтобы скинуть этот груз, чтобы моим детям это не доставило столько страданий, как мне. Я показываю им, что не имею ничего общего с этими людьми, неонацистами, и не хочу иметь, что я презираю то, что они делают. И что государство обязано говорить об этом не только на уроках истории, которые, кстати, постоянно сокращают, оно обязано говорить об этом со всеми. Ведь это наш народ, наша история, какая бы она ни была и по каким бы причинам всё это ни происходило. Но надо, чтобы все на сто процентов понимали, что и как происходило. Ну и, конечно, профилактика. Государство должно более жестко действовать, хотя бы в интересах своих собственных детей. Ведь для этих неонацистских типов нет ничего святого, они выясняют, где ты живешь, с кем общаешься, тем более сейчас это легко. Мы, разумеется, стараемся не облегчать им жизнь. Но, с другой стороны, тот факт, что у нас нет такой защиты, как у них, мешает нам выступать в полную силу. И я прячусь…

– Выглядит так, словно ты зовешь народ на баррикады, – заметила я, когда Хёсс выдохнул после своей эмоциональной речи.

– Один друг мой как-то сказал: «Это сегодня ты как бы представляешь сторону военных преступников в силу происхождения, а лет через десять тебя уже можно будет сравнивать со Штауффенбергом, организовавшим покушение на Гитлера». Ну это шутка, конечно. А если задуматься серьезно: что будет с этими людьми через десять лет? Как население, страна будет справляться с этим, а ведь следующая волна будет еще более радикальной?!

– Секунду, Райнер. – Он замер на стуле. – Правильно ли я понимаю? Во-первых, между «быть фюрером» и «быть Штауффенбергом» ты выбираешь…

– Штауффенберга, – ответил Хёсс.

– Но ты знаешь, как закончил Штауффенберг? – уточнила я осторожно, думая о том, что это довольно амбициозное заявление со стороны Райнера: значит ли это, что он постепенно втягивается в состояние войны с неонацистами и когда-нибудь выступит против них открыто, решив назвать некоторые имена?

– Лучше так, как Штауффенберг, – нервно рассмеялся Хёсс.

– И второе: ты, значит, полагаешь, что через десять лет

радикальные настроения усилятся?

– Однозначно.

– И нацистская партия пройдет в парламент? – предположила я.

– Ну а что? Такое уже бывало в тридцатые, – хмыкнул Хёсс, – к тому же называться можно и не НСДАП.

– Судя по всему, на это им мозгов пока не хватит, раз лидерами они хотят сделать потомков тех, кто имел должности в рейхе.

– Только не считай их идиотами. – Хёсс поднял вверх указательный палец. Он был серьезен. – Это большая ошибка. Они занимаются популизмом для привлечения молодежи, которая интересуется Третьим рейхом. И эта молодежь клюет на известные имена.

– У меня в голове не укладывается, что такое происходит в Германии, – посетовала я.

– А в России, хочешь сказать, всё в порядке с этим?

– Нет, – призналась я, – не в порядке, к сожалению. Просто мне казалось, что это массовое раскаяние и самобичевание немцев, что оно настолько всеобъемлюще, что уже не возродится ничего похожего на немецкий национал-социализм. А ты вот рассказывал, что твой отец, как был, так и остался нацистом, и это тоже никак не укладывается в рамки моего понимания. Значит, после войны он, с такими же, как сам, работал в компании. А ты воспитывался в интернате – при живых родителях?

Хёсс натужно улыбнулся.

– Именно. И ты никогда не поверишь, что послужило катализатором того, что отец вынудил меня отправиться в интернат. Сейчас очень удивишься… Вот одна история, свидетельствующая о мировоззрении моего отца. У меня был друг, живший по соседству. Мне тогда было десять лет. Родители друга были евреями. Его дедушка с бабушкой и другие родственники погибли в Освенциме. И когда мой отец узнал, что мой друг из еврейской семьи, он заявил, что если тот хоть раз еще зайдет к нам во двор, то он повесит на забор табличку с надписью «Евреям вход воспрещен». Отец так и сказал матери и нам, детям, чтобы в его доме евреи не появлялись…

– Ну это противозаконно, – сказала я и сама обалдела от того, что произнесла. Можно подумать, все вокруг только и делают, что соблюдают законы. – А что это были за люди?

– Нормальная, хорошая семья. Глава семьи был директором большого предприятия. В семье было трое детей – две девочки и мальчик. У меня с ними были прекрасные отношения, мы всё

делили, гуляли вместе, дружили по-настоящему. До того момента, когда отец узнал, что они евреи. Причем их родители очень хорошо ко мне относились, они знали, кто я такой, знали, кто мой отец, кто мой дед, знали историю моей семьи, но никогда не показывали этого. Они никогда не относились ко мне негативно только из-за моей фамилии. Рассказывали мне про еврейские праздники, объяснили, что такое Йом-Кипур, я часто бывал у них в семье. Но мой отец запрещал мне дружить с ними. Поэтому я мог общаться с ними, только когда отец был в командировке или на работе, по-другому не получалось.

– Выходит, ты игнорировал запреты отца?

– Скажем так: я просто не понимал причин этого запрета. Мои друзья вели себя очень прилично, с родителями моими были вежливы, не дерзили. Это были воспитанные дети. А он всё равно запрещал с ними водиться. Конечно, начнешь ненавидеть отца. Он запрещает тебе водиться с друзьями непонятно по каким причинам. Почему? Если бы они давали повод для этого, воровали, например. Тогда бы еще можно было понять. Но я не понимал. Эту семью просто не в чем было упрекнуть. Кроме того, что они, как оказалось, евреи. Причем те евреи, как отец как-то сказал бабушке, «которым удалось избежать газовой камеры». Те, которых дед не сжег. Эти слова отца еще раз подтверждают, что все родственники деда знали, чем он занимался.

– Выходит, твоя дружба с этими детьми не закончилась, вопреки отцу?

– Нет. – Хёсс взъерошил себе волосы. – Дружба на этом не закончилась, и это было одной из причин того, что меня отдали в интернат. Я думаю, что был не тем сыном, которого хотел отец. Я не был тем, кто слепо подчиняется воле отца, тем более когда речь шла о друзьях. Временами приходилось очень трудно…

– А как складывались твои отношения с отцом, когда тебя отправили в интернат?

– Давай я расскажу тебе одну историю. Как пример. Чтобы ты просто поняла, что это был за человек и способен ли он был хоть на какие-то чувства. Итак, мой отец не терпел длинных волос. Помню, я как-то я приехал домой из интерната, до этого долго очень не стригся, – в общем, можешь представить, как подолгу мы не виделись. На мне была американская солдатская куртка с надписью Iron Maiden – рок-группа такая была. Взял у соседа по комнате поносить. Он был с родителями в Штатах в отпуске, привез мне ковбойские сапоги. Они мне были велики, пришлось три пары носков надевать. Но я обязательно хотел показаться в этих сапогах. Джинсы. Короче, я отправился на поезде домой, вышел на главном вокзале в Штутгарте, увидел отца, побежал ему

навстречу. Он взглянул на меня и сделал вид, что не заметил, и направился наверх к табачному киоску. Ну а я (мне тогда было лет 15-16) подумал: ладно, мол, я пойду к машине, отцу нужно сигарет купить. Я и не думал, что он чем-то недоволен. Стою у машины, жду, он подходит, садится, и не успел я сесть – он бьет меня кулаком в лицо. Всю дорогу мы не сказали ни слова, приезжаем домой, он заводит меня в ванную, берет ножницы матери и обрезает мне волосы, рвет куртку, выбрасывает сапоги и говорит, что если увидит меня еще хоть раз в таком виде, мне придется туго. Вот такие представления о жизни были у моего отца. Нам не разрешалось носить модные брюки, иметь длинную прическу. Нет. Мы всегда должны были отличаться от ровесников. Плакать в доме запрещалось. Проявлять эмоции – нет. «Мужчины не плачут!» Он на руки нас никогда не брал. Я не знаю, что такое отцовская любовь.

Комендант Освенцима Рудольф Хёсс, будучи человеком сверхпослушным и пунктуальным, пытался превратить детей в марионеток, какой был сам. И сын его, Ханс-Рудольф, отец Райнера, требовал от своего сына того же. Уже известно, что психические травмы предков могут передаваться по наследству детям, внукам, правнукам. Травма передается не словами, она передается неуловимым воздействием. Кстати, сдается мне, часть того, что мы называем «проклятием до седьмого колена», в некоторых случаях есть не что иное, как цепочка из звеньев, по которым передается травма, ослабляя, как правило, свое воздействие с каждым новым поколением. Для того чтобы понять, как травма передалась Райнеру Хёссу, наверное, стоило бы копнуть дальше его прабабки и прадеда, чтобы обнаружить первопричину, но, увы, такой информацией я не располагаю.

Можно попробовать вписать отношения Райнера с его отцом в контекст того, как отец коменданта Хёсса обращался с ним самим: «Я очень редко брался за воспитание, и только старших детей. Возможно, пару раз я слегка бил их, когда они становились невыносимыми. Для наказания детей никогда не было причин, они всегда были хорошими и хорошо себя вели. Моя жена… она любила их, но, обучая и воспитывая, научила их слушаться немедленно»[99].

Отец будущего коменданта Освенцима, Рудольфа Хёсса, прадед Райнера, был «самым настоящим ханжой, очень строгим и фанатичным… И всё мое воспитание было подчинено одной идее – сделать из меня пастора. Меня без конца заставляли молиться и ходить в церковь; за малейшие провинности на меня налагали епитимьи – я должен был молиться в качестве наказания… Отец

был для меня чем-то вроде высшего существа, до которого мне ни за что не дотянуться. Вот я и замкнулся в себе – и никогда не мог никому открыться. Мне кажется, всё дело в этом ханжеском воспитании, оно виновато в том, что я вырос замкнутым… а потом на смену религии пришла нацистская пропаганда»[100].

Свидетельства сына Рудольфа Хёсса, Ханса-Рудольфа, у нас нет. Но по тому, что обрисовал нам Райнер, можно сделать вывод, что его родитель скопировал манеру поведения со своего отца, который, скорее всего, перенял ее от своего отца, а тот позаимствовал ее у своего предка.

– Мне кажется, мой дед в первую очередь стал жертвой своего отца. Что-то такое произошло в его жизни, что развернуло его разум в сторону радикализма, хотя сейчас можно сказать, что радикализм проповедовал и его отец. В Израиле есть один историк, который занимался поисками информации о моем деде. Представьте только, в 16 лет уже четыре ранения – пулевое в бедро, пулевое в плечо, одна пуля осталась в теле. Какой след это всё должно было в нем оставить? Насилие порождает только насилие, а не добро или, скажем, любовь к ближнему. В мемуарах он прямо пишет о том, что его чувства притупились. Он не мог подолгу играть со своими детьми. Это видно по моему отцу, который тоже не умел толком обращаться с нами. Для него мы были попросту продуктом его мимолетного увлечения моей матерью. А в остальном – дети плачут, дети не слушаются, детям надо то, надо это. Мы ему были не нужны. Он не умел с нами обращаться. У него были свои правила, мы должны были их соблюдать.

Вероятно, подумалось мне, и сам Райнер Хёсс – бомба с замедленным часовым механизмом, потому что просто взять и растворить травму в себе невозможно. В чем и как она проявляется? Или еще только проступит стигматами? Я подумала, что ответа на этот вопрос не найти, а Райнер вдруг сказал:

– Отец был убежденным нацистом, как и моя бабушка. Из-за этого давления отца, из-за развода родителей я пытался покончить жизнь самоубийством в интернате.

– Ну-у-у… – Когда не знаешь, что сказать, чувствуешь себя глупо. Еще глупее чувствуешь себя, когда ляпаешь глупость: – Подростковый возраст…

– Дважды, – как-то истерично хохотнул Райнер.

Мне тоже захотелось смеяться – видимо, нервное.

– Это ведь прошлое…

– Три сердечных приступа…

– Ты слишком близко к сердцу это принимаешь…

– Прогрессирующая астма…

– И ты куришь?..

Райнер встал со стула и потянулся:

– Отличная идея. Пошли. У нас перерыв.

Я внимательно посмотрела на него: загорелый, подтянутый, стройный, с огромными яркими глазами, оттопыренными ушами, которые от солнечных лучей, пронизывающих их, казались красными. Хёсс заскочил на кухню и вынес огромное блюдо с фруктами, поставил на барную стойку, перед Сергеем, оператором и Анной-Марией – сам же шустро цапнул ветку зеленого винограда, которую уложил на салфетку и унес на балконный столик, пододвинув ко мне: «Будем заедать».

– Тебе снятся кошмары? Твой дед говорил, что у него никогда не было кошмаров.

– Угу. – Хёсс прикурил. – А мне снятся постоянно – и это раздражает. Потому что, по идее, мне они сниться не должны. Я никого не убивал.

– А астма твоя – это психосоматика?

– Не знаю.

– Ну она же перманентная?

– Скорее да. У тебя так бывает?

– Бывает, – ответила я. Он протянул зажигалку к моей сигарете, я затянулась. – Просыпаешься ночью от того, что ползаешь на коленях и пытаешься начать дышать, но не помнишь как.

– Вот-вот, у меня так периодически: страшно очень, – закивал Райнер, – мне кажется, дело в подсознании. Какая-то вина душит в прямом смысле. Но я уже не знаю, что я делаю не так. Я ведь не виноват, правильно?

– Ты спрашиваешь это у меня? Да кто его знает, Райнер! Тот тип из Швейцарии сказал бы, что ты виноват перед ним. Мы все виноваты перед кем-то, но это не повод… – Я кивнула на сигарету в своей руке. – Слушай, – осенило меня, – а твои астматические приступы, они случайно не могут быть связаны с тем, что ты книгу пишешь?

– Могут, я уже думал об этом: слишком «внутри» – это плохо, а? Повезло с дедом – ничего не поделаешь. Самое жуткое чудовище…

– Сетуешь, что он не ходил в красивой форме, как отец Никласа Франка или как Геринг? Тогда всё кажется проще. На фотографиях они красавцы такие – глаз не оторвать. Мне иной раз кажется, что в Нюрнберге им и хотелось бы, чтобы деда твоего признали психопатом, – в том смысле, что он был эдаким грязным пятном на их мундире от Хуго Босс.

– Но согласись, красивый мундир всё же кое-что меняет, –

сказал Хёсс.

– Что угодно, кроме сути.

– Никлас Франк сказал мне то же самое.

– Мне он сказал, что у вас хорошие отношения. Сказал, что ты даже просил его поучаствовать в написании твоей книги или написать одну на двоих…

Райнер обезоруживающе улыбнулся.

– Это я хватил лишнего. Но это потому, что он стоик, он редкий, пугающий, конечно, но очень сильный…

– Уникальный, – сказала я, вспомнив Франка, бредущего под зонтом вдоль нюрнбергской тюрьмы, – Никлас уникальный.

Хёсс внимательно посмотрел на меня.

– Удивительно, что он тебе так нравится. Ты даже не представляешь, какая страшная была травля и скольким он отвратителен по сей день. Я бы на его месте не выстоял…

Франк и Хёсс. Две эти фамилии рядом. Знали бы об этом их предки, когда смотрели друг на друга в зале суда в Нюрнберге! Один сидел за кафедрой, выступая в качестве свидетеля. Другой – на скамье подсудимых, среди таких же, как он сам, – тех, кто в рейхе носил красивые мундиры. Ганс Франк, бывший генерал-губернатор оккупированной Польши, сказал тюремному психологу доктору Гилберту: «Пару дней назад я прочел заметку в какой-то газете о том, что один мюнхенский адвокат, еврей, доктор Якоби, который был одним из самых близких друзей моего отца, погиб в газовой камере Освенцима. И когда потом Хёсс стал рассказывать о том, как уничтожал два с половиной миллиона евреев, я понял, что именно этот человек хладнокровно отправил на смерть лучшего друга моего отца – симпатичного, открытого, доброго и отзывчивого пожилого человека, а вместе с ним и миллионы других безвинных людей. А я палец о палец не ударил ради их спасения!»[101]

Именно комендант Освенцима, невзрачный человек в светлой рубашке, черном пиджаке и галстуке, был искаженным отражением тех, кто сидел на скамье подсудимых и морщился от чувства гадливости, которое вызывала у них крупная шестеренка механизма по фамилии Хёсс, – механизма который они когда-то все вместе запустили.

«Сжав зубы и шипя, Франк замолотил по шаткому тюремному столику кулаком.

– Придать убийству конвейерный характер! По две тысячи в день приканчивать. Золотые зубы и ценности – в Рейхсбанк! Волосы – для набивки матрацев! Боже всемогущий!.. Неужели Бог позволял такое? …Тут уж поневоле усомнишься в справедливости

небесной! Нет, один американский или английский писатель… выразился очень точно: ”Будьте уверены, на сей раз Бог возмущен не меньше человечества!“ Лучше и не скажешь. Всё это подлинно было делом рук дьявола!»[102]

На самом деле нет.

Очень часто дети и внуки известных нацистов, с которыми я встречалась, вскользь обязательно касались темы Стэнфордского тюремного эксперимента, о котором мало кто читал, – больше смотрели фильм «Эксперимент» (на сегодняшний день существует две экранизации). И всё же я предлагаю обратиться к другому эксперименту, тоже довольно известному. Автором его был социальный психолог Стэнли Милгрэм, которого на протяжении долгого времени мучил вопрос: что есть слепое подчинение авторитету и почему немцы так легко пошли на убийство других народов в период Третьего рейха? Я бы даже сказала словами Беате Ниман, о которой мы говорили с Райнером Хёссом: «Они убивали не евреев – они убивали своих соседей, друзей, коллег по работе». Так почему немцы пошли на это? Любопытно, не правда ли? Ответы, которые нашел Стэнли Милгрэм, проведя один свой эксперимент, вполне способны дать общее представление о том, что же за мощный механизм был положен в основу Третьего рейха.

«Вместе с другим добровольцем вы тянете жребий, чтобы определить, кому какая роль достанется; вам выпадает роль преподавателя, а второму добровольцу – роль ученика. (Всё подстроено, и ваш партнер – ассистент экспериментатора, который всегда играет роль ученика.) Руки ученика привязывают к креслу, к его правому запястью присоединяют электрод. Генератор ударов в соседней комнате будет бить его током, если он будет делать ошибки»[103]. И теперь «ученик» должен давать правильные ответы на вопросы, которые будете задавать ему вы. Если вдруг он ошибается, то вы должны нажимать на выключатель, который будет с каждым разом подавать всё больший разряд тока, пока, наконец, не дойдет до крайнего уровня – смертельного для ученика. Рядом с вами стоит экспериментатор, серьезный человек в халате, который следит за ходом эксперимента. И перед экспериментом он же ударяет вас током в 45 вольт, чтобы вы оценили, как это больно, – а ведь это лишь третий уровень из тридцати!

Когда Стэнли Милгрэм предложил этот эксперимент в теории на обсуждение сорока психиатров, попросив их оценить, сколько, по их мнению, испытуемых – а это были граждане США – дойдут до того, что подадут «ученику» смертельную дозу тока, ответ был такой: «…Эксперты сказали, что до конца дойдет менее одного

процента, что только садисты могут совершить столь ужасное действие, а большинство испытуемых дойдут только до десятого уровня, в 150 вольт. Как же они ошибались!.. На самом деле, в эксперименте Милгрэма до максимального уровня тока в 450 вольт доходили двое из каждых трех добровольцев (65%)… Разве любой разумный человек не отказался бы выполнять требования экспериментатора и не прекратил бы бить током несчастного ученика?»

Когда я кратко рассказала об этом эксперименте Райнеру Хёссу, он оживился и замахал руками:

– Шестьдесят пять процентов – это немыслимо, – сказал он наконец и закурил.

– И всё ради простого эксперимента, в мирное время, имея выбор, без угрозы для жизни… И всего каких-то три десятилетия назад…

– Это не может быть ложью? – Хёсс, стоящий надо мной, ронял на меня свою тень.

– Хорошо бы.

– А вдруг нет?

Я слышала, какой подавленный голос был у Райнера.

– Ты удивлен, узнав, что каждый третий, да пусть хоть и десятый, такой же, как твой дед?

– Я не такой, – сообщил Хёсс как-то неуверенно, – я же сказал, что никогда не убью соседских детей, никогда и пальцем их не трону.

– А тогда почему вообще об этом думаешь? Даже с приставкой «не»? Небось, тест Роршаха проходил тоже?

– У меня всё нормально, – вдруг отчитался Райнер, не сказав, что именно «нормально».

Мне пришлось ему заметить, что человек, у которого за плечами было две попытки суицида, сердечные приступы и астматические проявления, скорее всего, не вполне подпадает под определение «нормально». Не удивлюсь, если Райнер прошел все возможные психологические тесты, чтобы самому себе доказать, что он не такой, как его отец и дед. Да уверена я, на самом деле, что он действительно зависим от этих тестов. Он что-то в себе подозревает, к чему-то прислушивается и, видимо, как Беттина Геринг, стерилизовавшаяся внучатая племянница рейхсмаршала Геринга, верит в силу наследственности…

Наверное, силу эту и вправду не стоит отрицать. Но есть и куча других факторов, начиная с окружения и заканчивая самой природой человека. Кстати о человеческой природе. Мы с Райнером вернулись было к обсуждению эксперимента Стэнли Милгрэма – я хотела выйти в Интернет, чтобы показать Хёссу

интересующие его англоязычные ресурсы, которые я цитировала по памяти достаточно вольно, но собеседник мой сообщил, что у него нет wi-fi, что у него только модем – такой, которым лично я пользовалась почти десятилетие назад.

– Привет. – Миловидная женщина с длинными блестящими черными волосами заглянула на балкон. На вид я бы дала ей лет тридцать, если бы Райнер не сказал:

– О! Привет! Это, кстати, моя жена.

Безымянная жена еще раз приветственно кивнула мне и исчезла, словно бы ее и не было.

– Ее не снимать, – напомнил мне Райнер.

– Угу, – кивнула я, думая о том, что у этой красивой женщины западнославянская внешность: словачка? Наверное так. На арийку не похожа.

Когда мы вернулись в комнату, то женщины я нигде не заметила. Лишь на барной стойке возникли новые блюда с фруктами и сладостями для чая.

Мы продолжили съемки. Хёсс снова оседлал стул. Я спросила:

– Как отец принял твою жену?

– Я женился в 1984 году. А родители развелись в 1983-м. Отец ужасно ругался на мою жену, на ее семью, мол, кто они вообще такие? Они же крестьяне. Низший класс. Он кричал им: «Это вы должны работать на меня, а не я на вас…»

– Он, стало быть, помогал вам – тебе с женой и ее родственникам? – уточнила я.

– Очень, очень помогал, – сыронизировал Райнер. – Его никогда не интересовало, как мы живем, да и вообще живем ли мы еще. Для него мы не были важны. После развода у него было несколько женщин. Мотивом для моего решения разорвать с ним все отношения стала постоянная ложь с его стороны, со стороны его родственников. Мы с мамой так и не стали членами его семьи. Мать моя была тоже, как он выражался, «из крестьян». В общем, мы представляли совсем не тот уровень, которым отцу можно было бы гордиться. Его мать, моя бабушка, изначально желала для него другую партию, что-нибудь из крупных промышленных кругов, богатых потомков нацистов. Она ж растила своих детей исключительно с той целью, чтобы они делали ее жизнь красивой, а не наоборот.

– А почему развод твоих отца и матери проходил так… тяжело?

– Долгая история. Скажу так: как-то отец попытался забрать у матери все материалы, оставшиеся от деда. Но сделать это он мог только в том случае, если бы привлек меня на свою сторону. И он

сделал это. Он успешно рассорил меня с матерью, мы с ней судились, в чем я сегодня раскаиваюсь всей душой. А мой адвокат выяснил, что между отцом и матерью существовал брачный договор, согласно которому всё наследство деда безоговорочно принадлежит моей матери. Причем во время развода отец сам отказался от этого наследства. Я об этом тогда ничего не знал и, накрученный отцом, по собственной дурости подал в суд на мать, чтобы отсудить у нее материалы и вещи, оставшиеся от деда, и потом передать их отцу. Я действовал тогда вслепую.

– Предполагаю, что отец оценил твои старания? – Как могла, я пыталась подавить легкую неприязнь, которую почувствовала по отношению к Хёссу, когда он рассказывал про суд.

Райнер продолжил:

– Прошло некоторое время, у меня родилась дочь, отец приехал в гости с тогдашней своей сожительницей, выписал мне чек на 200 или 300 марок. Я взял, потому что эти деньги, как он сказал, предназначались для дочери. Прошло три недели. Судебный процесс продолжался.

Вдруг появляется отец и требует, чтобы я вернул эти деньги наличными, так как он всего лишь дал их мне взаймы. А к этому времени выяснилась история с брачным контрактом, меня приговорили к денежному штрафу за дачу ложных показаний. И я сказал отцу, чтобы он навсегда исчез из моей жизни, из жизни моей семьи.

– Эта история дурно пахнет, причем со всех сторон…

– Я и не отказываюсь от того, что был дураком. А мой отец врал, он лжец. Для меня он мелкий преступник. Он снял все деньги со сберкнижек, которые мы получили от бабушки и дедушки с материнской стороны, забрал все деньги себе, когда мы еще были несовершеннолетними и не имели права распоряжаться ими. Он подделал мою подпись, я могу это доказать, чтобы снять деньги с моей страховки. Потом всё вскрылось, вскрылось, что он подделал подпись на моем страховом полисе, что он подделал медицинское заключение. Как я могу доверять такому человеку?

– И после этого ты стал судиться с матерью, поверив ему?

– Да… – Хёсс выглядел растерянным, наверное, ему было несколько неловко.

Я расстроилась. Мне казалось, причина разрыва отношений Райнера с отцом лежит только в области идеологических разногласий, но никак не материальных. Выходит, дело было не в том, что Ханс-Рудольф Хёсс был нацистом, плохим отцом и законченной сволочью по отношению к детям. Это было терпимо. Пока он не подставил сына с судом и тремястами марками.

– Райнер, а как складывались твои отношения с родными по линии отца?

– Никак, – ответил Хёсс, положив голову на спинку стула и взглянув на меня обиженным подростком. – После развода, после тех оскорблений, которые нам пришлось выслушать от них, мы разорвали все контакты. И я не жалею об этом.

– Значит ли это, что, после того как ты жестоко оскорбил мать своим судом за вещи отца, ты в итоге встал на ее сторону?

– Да.

– Как отец принял это?

– Никак. Я даже иногда задаю себе вопрос, а действительно ли я сын этого человека? Даже так. Очень трудно понять, что движет другим, подчас это невозможно. Можно только предполагать. Невозможно представить, каково это – жить с таким грузом. Каждый раз, когда появляется новая информация про деда, публикуются новые материалы, каждый раз мои внутренние часы ускоряют ход. Ты понимаешь, что теряешь контроль над собственной личностью. Осознание тех ужасов, что были в Освенциме, для всех дается тяжело – для детей, сыновей, племянников, для кого бы то ни было. Я постоянно думаю, вот как обычный человек становится убийцей? На этот счет нет простого ответа, формулы. Многое зависит от режима, от окружения. Люди не рождаются преступниками, убийцами.

В этом Райнер прав. Вряд ли кто-то рождается убийцей. А вот воздействие режима – штука интересная, особенно если мы попробуем взглянуть на нее через призму экспериментов Стэнли Милгрэма – точнее, того самого эксперимента с ударами током. Любопытнее всего, что в данном контексте Рудольф Хёсс, бывший комендант Освенцима, действительно мало чем отличается от вас или меня. Это неприятная правда, которую вы можете принимать на веру, а можете не принимать: человек сам по себе не такое милое существо, как хотелось бы думать. Разбирая эксперимент Милгрэма на предыдущих страницах, я намеренно упустила из виду важную вещь, которая имеет прямое отношение и к коменданту Хёссу и – главное – к скамье подсудимых в Нюрнберге.

Как вы помните, доброволец под диктовку «экспериментатора» должен был давать всё больший и больший разряд тока подставному «ученику», если тот давал неправильные ответы. Эксперимент с током многократно проводился в разных странах и на разных континентах с 1963-го по 1985 год, и выяснилось, что едва ли не каждый человек может быть как абсолютно послушным режиму, так и оказывать сопротивление давлению извне. Всё зависит от нескольких факторов. К примеру,

«участники эксперимента отказывались бить ”ученика“ током, если он утверждал, что хочет получить этот удар, – это же мазохизм, а они не садисты. Еще они отказывались подавать ток высокой мощности, когда в кресло ученика садился сам экспериментатор. ”Ученика“, находящегося далеко, били током охотнее, чем сидящего близко»[104]. Это, кстати, вещи очевидные. Как и еще одна, которая не была очевидна тем, кто сидел на скамье подсудимых в Нюрнберге, как не очевидна она была и Рудольфу Хёссу, свидетелю на этом судебном процессе. «Хотите добиться максимального послушания? Сделайте вашего испытуемого членом ”команды преподавателей“, в которой нажимать на выключатель тока, наказывая жертву, будет другой человек (ассистент), а тот, кто в действительности является объектом вашего опыта, будет заниматься другими аспектами процедуры»[105].

Комендант Освенцима по природе своей был идеальный исполнитель. А тут ему Мартин Борман, за которого он отсидел в тюрьме, предложил стать членом команды: шестеренка нашла свой механизм, всё совпало. Что происходит дальше? Рудольф Хёсс становится подчиненным Генриха Гиммлера. И Гиммлер, который лишь отдает приказы Хёссу, берет всю ответственность на себя. Это, пожалуй, ключевая вещь в понимании не только фигуры коменданта Освенцима, но и всех крупных нацистских преступников, оказавшихся в зале №600 в 1945 году: абсолютно каждый из двадцати одного обвиняемого пытался свалить вину на своего «шефа». Всё упиралось в отсутствующих Бормана и Гиммлера и – непременно – в Гитлера. Вину валили на тех, кто активно брал некогда всю ответственность на себя, а в итоге ушел от нее.

Ганс Франк, генерал-губернатор Польши: «Нельзя утверждать, что Гитлер изнасиловал немецкий народ – нет, он совратил его!.. Три дня после самоубийства Гитлера стали для меня решающими – это был поворотный пункт в моей жизни. Сначала он увлек нас за собой, взбаламутил весь остальной мир, а потом просто исчез – оставил нас расхлебывать наше горе, отвечать за всё, что происходило. Можно ли вот так взять да исчезнуть без следа?»[106]

Вильгельм Кейтель, генерал-фельдмаршал, был необычайно расстроен, что капитуляцию вместо Гитлера пришлось подписать ему: «Гитлер, если уж так рвался в главнокомандующие, обязан был испить свою горькую чашу до дна. Ведь приказы нам отдавал лично он. И всегда повторял: ”Я беру на себя ответственность“. А потом, когда действительно настало время взять на себя всю полноту ответственности, его не оказалось, и мы должны были расхлебывать всё в одиночку»[107].

«Будучи загнанным в угол неоспоримыми доказательствами своего соучастия в творимых зверствах, Геринг утверждал, что фюрер представлял себе их масштабы, что же касается его самого, то он их и представить себе не мог. По его словам, ему было известно лишь о нескольких казнях и ”некоторых подготовительных мероприятиях“»[108].

Бальдур фон Ширах, глава гитлерюгенда и гауляйтер Вены с 1940-го по 1945 год, сказал о Хёссе и Освенциме: «В геноциде повинен не один Хёсс. Приказ исходил от Адольфа Гитлера, о чем тот и заявил в своем политическом завещании… Преступление, совершенное им в сговоре с Гиммлером, навеки останется несмываемым позором в нашей истории (напряжение на скамье подсудимых стало почти осязаемым)…»[109]

А вот что сказал Хёсс о Гиммлере в Нюрнберге в 1946 году:

«Лишь после всеобщего краха мне стало понемногу ясно, что, по-видимому, это было не совсем верно, стоило только прислушаться к тому, что говорили люди вокруг… Теперь мне очень хотелось бы знать, верил ли сам Гиммлер в это, или же только вложил в мои руки инструмент для оправдания всего, что делал моими руками. Но вообще-то дело в другом. Нас просто натаскивали на бездумное выполнение приказов… Гиммлер был настолько требователен и строг, что вешал членов СС за любой, самый незначительный промах»[110].

– А кто на самом деле виноват? Гитлер! Это не снимает вины ни с моего деда, ни с кого бы то ни было еще, но эта чудовищная система – порождение одного человека. Гитлера. – Райнер Хёсс был необычайно возбужден. Судя по всему, именно сейчас его как начинающего писателя крайне волновал вопрос, кто виноват. – А для деда, особенно после Первой мировой, с которой он вернулся эдаким атаманом, очень важно было всё немецкое, истинное, традиционно немецкое. Вот эти атаманы и стали опорой Адольфа Гитлера. Кто еще так проповедовал веру в Германию, как не они. Вот вам и разгадка, как это неудачнику, а Гитлер был именно неудачником, причем австрийцу, удалось развернуть всю Германию. Ведь он даже не был немцем. Но он заставил поверить Германию в то, что именно он самый что ни на есть немец. И многие заставшие те времена люди говорят, что не всё было так уж и плохо. Но стоит серьезно заговорить с ними, показать им пару документов, как они вскакивают и уходят. Они не хотят говорить об этом.

– Насчет того, был ли Гитлер неудачником, я бы с тобой поспорила: ему здорово повезло с genosse, такими, как твой дед, – ответила я Хёссу. – Я бы вообще сказала, что фартовый был малый, если бы башка к концу тридцатых не съехала.

– Неудачник. – Райнер упрямо не хотел признавать обратного. Разговор не двигался с мертвой точки. Нужно было переводить его на другие рельсы.

– Вернемся к твоим злоключениям. Тебя так и не пустили в Освенцим?

– Пустили, – улыбнулся Хёсс, – с израильской съемочной группой, снимавшей фильм о Холокосте. Более того, они собрали там на встречу со мной огромное количество народу. Это было прекрасно… Что? Что ты так смотришь?

– Ничего. – Я пожала плечами, претворившись чайником: мне не дано понять, отчего это место сегодня вызывает у потомков крупных нацистов такой восторг, – взять хотя бы то, как упоенно фон Ширах рассказывал, как его сын провел пять дней на экскурсии в Освенциме.

Райнер продолжал с удовольствием мазохиста:

– Мне в Освенциме труднее было как раз не дать воли своим чувствам, скрыть их. Мне всё время казалось, что мой жестокий отец стоит за спиной и смеется над тем, что я плачу, смеется над моими чувствами. Ужасно. И я думаю, что такое пришлось испытать многим, чьи отцы и деды занимали высокий пост во время нацизма. Правые были очень возмущены моим высказыванием о том, что то место, где повесили деда, – лучшее место во всем Освенциме. И если бы мне довелось жить тогда, я бы сделал это, я бы лично убил его. Слишком много страданий взвалил он на нас, своих потомков, – я говорю сейчас только за себя. Как с этим жил мой отец, мои братья и сестры, не знаю. Но во мне слишком много накопилось. Что-то подобное, вероятно, происходило и с Никласом Франком. Ему тоже понадобилось время, чтобы излить свою ненависть, свое возмущение.

– Вот мы с тобой плавно подошли к традиционному вопросу о чувстве вины…

– Чувство вины есть всегда, ты получаешь его в наследство. Всё говорит о твоей вине. Публикации в Интернете, книги, сама твоя фамилия, семья, которая ничего тебе не говорит, молча всё принимает. И я не думаю, что в такой ситуации у кого-то может не быть этого чувства вины. Я не верю, что такие люди существуют. Нужно открываться, нужно устанавливать связь с обществом, только так можно хоть частично избавиться от этого чувства. Но очень не многим удается говорить действительно то, что необходимо. Очень многие неспособны копаться в себе столь глубоко. Как говорить об этом сегодня? С одной стороны, твоей аудиторией являются потомки жертв тех лет, а с другой – правые радикалы. И ты каждый раз как будто наталкиваешься на стену. У тех своя правда, у этих своя. Эмоции хлещут через край, они

вызывают чувство вины. Нужно учиться жить с этой виной. И чем раньше ты расскажешь об этом тем, кто тебя окружает, тем легче тебе будет жить, хотя бы в этом близком окружении. Если же ты этого не сделаешь, то у тебя в душе останется только ненависть и пустота.

Моя ненависть связана с тем, что я тоже ношу эту фамилию, что история моей семьи имеет черные страницы, и эта история будет тяжелым бременем для моих детей, для их детей, и через сто лет, и через сто пятьдесят, конечно, внукам и их детям будет намного легче. А отец мой, его поколение сбежало от этой проблемы, укрылось в молчании. Для меня это не выход. Но кроме моего желания нужна еще и возможность высказаться. Мне пришлось двадцать пять лет ждать, чтобы ты пришла ко мне с этими вопросами. Чтобы серьезно выслушала меня, чтобы не отмахивалась от проблем, думая, что я всего лишь внук какого-то чудовища. Конечно, я не виновен в том смысле, что совершил преступления. Но на мне лежит вина за мою семью. Вот, что касается вины…

– Правильно ли я понимаю, что ты в некотором смысле… зажат между жерновами? Ты винишься перед жертвами и их потомками – и бежишь от вновь народившихся палачей, которые хотят всё вернуть на свои места, как было?

– Те палачи, как ты называешь их, на самым деле обычное, уж прости, дерьмо. Необразованное. Для меня сегодняшние правые радикалы, неонацисты – те, кого история так ничему и не научила. Они попросту застряли на более низкой ступени эволюции. Ими движет только жажда власти, где бы они ни были – в России, в Германии, в Турции, даже в Израиле есть такие проявления. И как нам жить с этим? Ответ один – говорить, говорить правду. Но нас меньшинство. Кто нас будет слушать? Может, журналистам удастся что-нибудь изменить, публикуя наши слова. Причем это должны быть не какие-то заумные передачи на специальных каналах в рубрике «История». Я думаю, что это для широкой публики. Конечно, легче всё забыть. Как три обезьяны – ничего не видеть, ничего не слышать, ничего не говорить. Такое мышление распространено во всём мире. А мое поколение в этом смысле может сделать намного больше, чем предыдущее. С другой стороны, коричневая часть моего поколения выступает намного активнее, действует более радикально, чему способствует и технический прогресс – то, что было невозможно в 60-е или 70-е, сейчас стало реальностью. Раньше надо было писать письма от руки. Сегодня в Интернете вы можете публиковать всё что угодно, анонимно, вас за это никто не накажет, с вами ничего не случится.

Настоящие террористические сети, группировки фанатиков, способные на всё, пользуются этим. А государство практически ничего не предпринимает. В принципе государство и не может ничего сделать, это должно делать общество, население. Нельзя допускать такого, чтобы, как в Америке, сорок нацистов прошли маршем на Вашингтон под охраной пяти тысяч полицейских, чтобы тех, не дай бог, не разогнали их противники. Зачем? Пусть люди сами разберутся. Государство должно сказать: «Я отказываюсь защищать вас, неонацисты!» Пусть народ скажет свое слово. Нет же. Конституция велит нам защищать этих людей. Но зачем? Они сознательно выбрали свой путь.

Райнер стоял на улице, у дома, вместе с Анной-Марией и махал нам вслед – я смотрела в заднее стекло машины и видела, как с каждой секундой их фигурки становились всё меньше. Ну а потом – поворот. И одинаковые домики с разными заборчиками. Не белые – оранжевые, облитые заходящим солнцем, словно апельсиновым соком. И звенящий молчанием городок, чье название, как я и обещала Райнеру, никогда не назову. На прощание он сказал:

– Правые меня обвиняли, что у меня не те гены, – в этом они абсолютно правы. Я горжусь тем, что у меня не те гены. Для меня это комплимент.

Комендант Освенцима Рудольф Хёсс

Он же на Нюрнбергском процессе

Райнер Хёсс у себя дома

Татьяна и Райнер

Небо по имени Гиммлер

Признаться, я вообще не собиралась писать главу о потомках Генриха Гиммлера. Более того, несмотря на мою вынужденную метафизическую близость к некоторым высокопоставленным нацистам в рамках проекта «Дети Третьего рейха», фигура рейхсфюрера СС Гиммлера, сама по себе загадочная (он всегда держался в тени Гитлера), не вызывала у меня особого интереса по ряду причин. Прежде всего, потому что «спикеров» от семьи Гиммлер – ни таких, которые бы несли за собой драму и страдание (Беттина Геринг пусть и не близкая родственница рейхсмаршала Геринга, но перевязала себе маточные трубы, чтобы не продолжать род), ни таких, кто мог бы рассказать о семье изнутри, – не было. Дочь Гиммлера, Гудрун, никогда не снималась, и у нее, пожилой фрау за восемьдесят, на то есть свои основания, о которых вы непременно узнаете из этой главы. Поначалу я питала иллюзии, что Гудрун изменит вдруг свою принципиальную позицию и всё-таки решится поучаствовать в фильме, но когда стало очевидно, что для меня она не сделает исключения, я утратила интерес к спецоперации под кодовым названием «потомки Гиммлера». Разумеется, я знала, что в Германии живет и внучатая племянница Генриха Гиммлера, Катрин. Она даже написала книгу «Братья Гиммлер»[111] – о своем дедушке, которого никогда не видела, и его брате «Хайни». Но Катрин, во-первых, – родственница дальняя. Во-вторых, с психикой у нее в целом всё нормально. А когда нормально – тогда пресно и неинтересно.

Более того, Катрин, вроде бы не слишком стремящаяся к публичности, высказывалась в прессе о злодеяниях нацизма – в самых общих чертах – и даже читала лекции в университетах. Лекции о Третьем рейхе, Гиммлере и своем негативном отношении к нацизму, разумеется. У меня даже закрались подозрения, что Катрин словно бы «примазывается» к обличению нацизма на правах своего дальнего родства с Гиммлером. Так часто бывает, когда, кроме как на фамилии, не на чем заработать. И винить родственников нацистов за это трудно, ибо, зарабатывая деньги лекциями и книгами не самого занимательного содержания (многим из них попросту нечего сказать, кроме общих осуждающих пассажей), они всё-таки обличают своих предков и режим Третьего рейха.

Поскольку о своей личной жизни Катрин почти не упоминала, в желтой прессе иногда появлялись заметульки с заголовками в духе «Гиммлер вышла замуж за еврея и приняла

иудаизм!». На самом деле все они являлись перепечаткой одной и той же старой заметки неизвестного журналиста. Впрочем, если Катрин и вправду вышла замуж за еврея, да еще и правоверного иудея, на чем журналисты делали особый упор, то почему бы не предположить, что она вышла замуж в первую очередь по любви, а не по причине, что «тяжело переживает родство с Гиммлером и пытается, как может, искупить и свою вину перед еврейским народом». Уж очень самим журналистам хотелось углядеть в биографии Гиммлер патологию раскаяния.

Когда я начала съемки фильма, то на всякий случай закинула удочки к Катрин Гиммлер, но получила очень мягкий и вежливый отказ и не стала особо настаивать на встрече с ней. Никлас Франк и Рихард фон Ширах говорили мне, что пересекались с Катрин на презентации ее книги, но не испытывали большого желания знакомиться ближе – оно и понятно: седьмая вода на киселе. И это настораживало их – тем более что Катрин пыталась виниться за своего родственника Генриха Гиммлера, не будучи его прямым потомком. В то время как родная дочь рейхсфюрера СС Гудрун со своими детьми активно продолжала многолетнюю работу в области насаждения и укрепления идей неонацизма в Германии. Это не шутка, и мы обязательно вернемся к теме Гудрун Гиммлер. А пока – про Катрин.

Уже после того, как я сдала свои фильмы, которые в ожидании эфира упокоились на полках Первого канала, я стала собираться в Берлин – и эта поездка к проекту отношения не имела. Но вдруг вспомнила, что там живет Катрин. А заодно подумала, что разговор с ней не будет лишним и мне не придется обходить тягостным молчанием фамилию Гиммлер в книге, ибо это будет не очень правильно по отношению к читателю. К тому же у меня было снято интервью с журналисткой Андреа Рёпке: она была единственной героиней проекта «Дети Третьего рейха», не имеющей родства с нацистскими бонзами. Но именно эта журналистка больше всех знала о Гудрун, дочери Гиммлера, и ее неонацистской деятельности в Германии.

Я написала внучатой племяннице Гиммлера еще одно письмо:

> *«Дорогая Катрин, если вы еще меня помните, то днями я собираюсь в Берлин, – буду благодарна, если решите встретиться со мной и уделить мне немного времени, чтобы мы могли поговорить».*

Отправив письмо, я даже не рассчитывала, что Катрин меня вспомнит, – но нет, она вспомнила:

«Уважаемая госпожа Фрейденссон!

Конечно же я помню Вас. Я знаю, что в подобных делах зачастую планы меняются в последний момент. Хотя это довольно спонтанно, полагаю, у меня будет возможность встретиться с Вами.

С уважением, Катрин Гиммлер».

Мы договорились так: когда я завершу свои дела в Берлине, позвоню, и мы условимся о встрече. Гиммлер написала, что подыщет для нашей встречи «нейтральное» место – в смысле никакой не памятник жертвам нацизма, что рядом с Бранденбургскими воротами, и не «Топографию террора».

«Главное место, связанное с Гиммлером, это, конечно, "Топография террора", музей, где в прежние времена было СС и гестапо. Но это несколько сложнее, поскольку я себя очень плохо чувствую, находясь в таких местах, это слишком похоже на "нацистские шоу".

С наилучшими пожеланиями, Катрин Гиммлер».

В перерывах между моими делами в Берлине неожиданно возникло свободное время. Чтобы скрасить унылую апрельскую тоску – а весной 2013 года в Берлине еще лежал снег и ветер задувал под пальто, – я, облачившись во все свитера разом, пошла гулять на Вильгельмштрассе, потому что у меня было не только время, но и место, где я очень давно хотела оказаться: Новая рейхс-канцелярия. Точнее, как раз именно место, где она стояла и где в глубине промерзшей земли располагался бункер, – тот самый, в котором провел последние дни своей жизни Адольф Гитлер.

Рейхсканцелярия во время взятия советскими войсками Берлина в 1945 году сильно пострадала, после войны ее решили и вовсе сровнять с землей, а бункер Гитлера просто засыпали. Так что над ним сейчас жилые дома, рядом с которыми громыхает очередная большая берлинская стройка.

Что же до Гиммлера, то в период агонии Третьего рейха он решал свои задачи. Уже задолго до окончания войны Гиммлер начал искать возможности заключения сепаратного мира с союзниками. Вот как описывает свою встречу с Гиммлером в конце апреля 1945 года Альберт Шпеер, министр вооружений Третьего рейха:

«Он окончательно утратил чувство реальности и жил в мире иллюзий и фантазий. "Без меня у европейских государств нет

будущего, – безапелляционно заявил он. – Им придется примириться с моим пребыванием на посту министра полиции ради соблюдения порядка и спокойствия. Час переговоров с Эйзенхауэром – и он также присоединится к их мнению! Они целиком зависят от меня, – иначе на континенте воцарится полнейший хаос“. Он рассказал о своих встречах с графом Бернадоттом, в ходе которых, оказывается, была достигнута договоренность о передаче концлагерей под эгиду Международного Красного Креста… Если прежде в высших эшелонах власти всерьез намеревались накануне поражения уничтожить всех политических заключенных, то сейчас Гиммлер по собственному почину пытался договориться об их судьбе с державами-победительницами. Гитлер же, судя по нашей последней беседе, потерял всякий интерес к этой проблеме… Никакие разговоры на него не действовали: ”Теперь я обязан заниматься формированием кабинета министров, и потом, я отвечаю за будущее Германии и не могу рисковать жизнью“»[112].

В причинах, заставивших исполнительного Гиммлера забыть о субординации к концу Второй мировой войны, тоже ничего удивительного нет. Даже столь дисциплинированный «Хайни» не смог удержаться от искуса стать главным человеком – пусть и на руинах рейха.

Генрих Гиммлер – фигура непростая для обсуждения: помимо того, что этот человек повинен в геноциде евреев, массовом уничтожении мирного населения и многих других преступления, творимых в рейхе, – до скамьи подсудимых в Нюрнберге он так и не добрался, а стало быть, не смог ответствовать за всё, что натворил. Более того, с каждым днем остальные подсудимые всё больше и больше перекладывали вину на Гиммлера, не присутствовавшего на процессе (покончил с собой в конце мая 1945 года) и не могущего объяснить (оправдать бы не получилось) мотивы своего поведения. Так что в итоге все человеческие черты рейхсфюрера СС стерлись – согласно свидетельствам обвиняемых в Нюрнберге, Гиммлер был вовсе не человеком, а монстром.

Из разговора тюремного психиатра Леона Голденсона в Нюрнберге с Рудольфом Милднером, старшим сотрудником гестапо в Польше, ставшим свидетелем обвинения на Нюрнбергском процессе:

« – Что вы думаете о личности и характере Гиммлера?

– Я не знал его лично. Я знаю, что в Верхней Австрии пятнадцать немецких девушек вступили в сексуальную связь с рабочими с востока. Гиммлер приказал заключить этих девушек в

концентрационный лагерь на восемь с половиной лет.

– Что стало с теми рабочими?

– Думаю, их казнили. В Кракове офицер криминальной полиции, которому было больше пятидесяти лет, пожал руку еврею. Гиммлеру доложили об этом, и он бросил этого сотрудника на два года в Дахау. Это было время битвы за Сталинград и говорит о том, что Гиммлер находил время думать об этих пустяковых случаях»[113].

Для многих высокопоставленных нацистов отсутствие рейхсфюрера СС Генриха Гиммлера на Нюрнбергском процессе было хорошей возможностью перекинуть всю вину на него. Карл Дёниц, гросс-адмирал и командующий флотом с 1943 года: «Я не могу винить кого-либо из этих людей, которые разделяют со мной общую судьбу [на Нюрнбергском процессе. – *Т.Ф.*]. Главная ошибка этого суда в том, что на нем отсутствуют те два человека, которых следует винить за все преступления, а именно Гитлер и Гиммлер».

Рейхсмаршал Герман Геринг, оставшийся верным Гитлеру до конца, и еще не до конца сломавшийся министр иностранных дел Третьего рейха Иоахим фон Риббентроп, не оставляя попыток оправдать фюрера, в 1945 году в Нюрнберге вообще утверждали, что фюрер по масштабу совершенных злодеяний – на втором месте после Гиммлера.

«Геринг тут же встал из-за стола. <…>

– Знаете, – доверительно начал он, – в мои намерения вовсе не входит преувеличивать мою любовь к фюреру, – вам ведь известно, как он отнесся ко мне в финале. Но я не знаю, что мне говорить, мне кажется, что в последние полтора года он просто почти всё передоверил Гиммлеру…»[114]

А вот что говорил Риббентроп:

«Я не могу себе вообразить, что Гитлер отдавал такие приказы. Я не могу поверить, что он об этом знал. Я верю, что он порой мог поступать жестоко, но я всем сердцем верил в него! Он мог быть и очень добрым! Я всё для него делал! Эти приказы отдавал Гиммлер. Но сомневаюсь, что Гиммлер – настоящий немец. У него было такое странное лицо! Мы с ним не ладили».

Выяснилось, что вся скамья подсудимых, утратив единство в отношении к Адольфу Гитлеру, была тем не менее единодушна в том, что главный монстр Третьего рейха, отдававший приказы уничтожать мирное население и наладивший механизмы его уничтожения, – это Генрих Гиммлер.

Родившийся в семье немецкого профессора Гебхарда

Гиммлера в 1900 году будущий рейсфюрер СС получил свое имя в честь принца Генриха из династии Виттельсбахов, бывшего ученика Гебхарда. Принц любезно согласился стать крестным новорожденного. Старшего сына профессора, первенца, родившегося на два года раньше Генриха, назвали Гебхард, в честь отца, а младшего, появившегося в 1905 году, – Эрнст (это и был дед Катрин Гиммлер). В 1917 году молодой Генрих Гиммлер пошел в армию добровольцем – проходил учения, но в военных действиях не участвовал. Генрих был в восторге от военной службы, но славы на этом поприще так и не снискал. С 1919 года он стал студентом в техническом колледже Мюнхенского университета. «Он сохраняет свою привычку регулярно посещать церковь вплоть до 1924 года, хотя признаки сомнения в религиозных убеждениях начинают появляться в его дневниках гораздо раньше. ”Думаю, у меня назрел конфликт с религией, – пишет он в декабре 1919 года, – но что бы ни случилось, я всегда буду любить Бога и молиться ему, я останусь преданным католической церкви и буду защищать ее, даже если буду от нее отлучен…“ Вопрос секса по своей притягательности превосходит даже религию, несомненно, из-за его убеждения в необходимости ограничения половых связей до брака. По-видимому, он оставался девственником до 26 лет…»[115]

Увы, той информации, которая была бы достаточной для понимания того, отчего Гиммлер был с юности «подвинут» на самоконтроле и дисциплине, крайне мало. Впрочем, многие историки пытались понять, повлиял ли в детстве на Генриха Гиммлера его отец – был ли он настолько авторитарен:

«Исследования показывают, что Гебхард Гиммлер не был деспотичным отцом. Хотя он и создал систему правил и запретов, которой трое его сыновей должны были следовать, и велел им вести дневники, которые сам контролировал, но это соответствовало нормальному авторитетному отцовскому воспитанию. Даже когда Генрих Гиммлер был учеником, не было никаких намеков на «аномальный характер и особую жестокость». Ему было сложно эмоционально контактировать с другими людьми. Всегда было заметно его расположение к самоконтролю, которое он отмечал в своих дневниках. «То, что кончается катастрофой, не обязательно ею начинается», – резюмирует Лонгерих»[116].

Я могу лишь полагаться на эти слова Петера Лонгериха. И в этом смысле Гиммлер – загадка. Известно, что в 1923 году он вступил в нацистскую партию и принял участие в Мюнхенском путче – правда, на вторых ролях: держал знамя в отряде Эрнста Рёма. Ну а дальше началось его восхождение. Четкий, как

механизм, послушный, тихий, не претендующий на место в партере перед кинокамерой, Гиммлер был нужен национал-социалистам. В 1929 году Генрих Гиммлер был назначен рейхсфюрером СС.

В день, когда мы собирались встречаться с Катрин Гиммлер (мягкий приглушенный голос по телефону сообщил мне, что на моей почте уже лежит письмо с адресом ресторана, где можно спокойно посидеть и пообщаться), с утра вдруг выглянуло солнце. В отличие от некоторых берлинцев, стремящихся как можно скорее приблизить всё никак не наступающую весну, я на такой трюк не купилась: было очевидно, что несмотря на манящее из-за оконных стекол солнце, день обещал быть очень холодным.

Я стояла на крыльце ресторана. Я было приоткрыла дверь, но тут заметила метрах в пятидесяти от меня женскую фигурку с распущенными волосами. Через ее правое плечо была переброшена серая сумка – спортивная, легкая, матерчатая, – проще говоря, без претензий. Я сразу догадалась, что женщина – Катрин Гиммлер. Она улыбнулась мне и помахала.

– Катрин, – сказала она мягко, когда подошла, и протянула руку, чуть смущаясь того, что шмыгает носом. На вид ей трудно было дать больше сорока, но я знала, что Катрин под пятьдесят.

– Таня, – ответила я и пожала ей руку чуть крепче, чем она мне.

Суммировав свои впечатления от первых секунд встречи с тем, когда я услышала ее голос в телефонной трубке, мне показалось, что Катрин – человек мягкий и несколько зажатый: в ней не было европейской раскрепощенности, которая обычно сквозит во всех движениях, – скорее скованность; она часто употребляла слово «извините» в письмах по поводу и без – извинилась Катрин и при встрече за то, что пришла чуть раньше. Говорила она тихо, но, понимая, что ее могут не расслышать из-за ветра, прилагала усилия, чтобы говорить громче, безо всякого напоминания со стороны собеседника. Она была мила. С первых минут она очаровывала своим ненавязчивым вниманием и скромностью. Вот такой мне показалась Катрин Гиммлер, когда мы с ней вошли в ресторанчик. Я заказала себе кофе, собеседнице – зеленый чай с лимоном. От кофе Катрин почему-то категорически отказалась. От моих предложений заказать горячий суп или второе – тоже. Когда она смущалась, то начинала нервно смеяться, силясь сбросить с себя напряжение.

Сняв с себя спортивную сумку и куртку, первым делом Катрин взяла салфетку, и, извинившись, тихо просморкалась. Поглядев на ее красный нос, я предположила, что у собеседницы

моей простуда.

– Нет-нет, – замотала головой Катрин, не отрывая платка от носа, – просто в Берлине, несмотря на календарную весну, стоит такой холод, что я всё время замерзаю. Я вообще мерзлявая. А тут еще ветер. Как мне жаль, что мы не встретились в истинно весеннем Берлине, – мягко улыбнулась она. – Как вы отыскали это место, – поинтересовалась Катрин, – без проблем? Жаль, что адский холод, я могла бы провести вам небольшую экскурсию, но… – Она сделала руками жест в сторону окна, рядом с которым мы сидели, давая понять, что на улице не та погода, и подавила нервный смешок. – Надеюсь, я не ошиблась в выборе. Вам нравится?

– Уютно, – согласилась я.

– Приезжайте сюда летом – будет сказка, в Берлине столько летних веранд! И все прекрасны, – сказала Катрин, сняла с головы черную повязку, и на ее голове воцарился еще больший хаос. Наэлектризованные волосы встали дыбом.

Пока Катрин приводила себя в порядок, я осматривала ее. Волосы явно были недавно и очень аккуратно покрашены в светло-русый цвет, слегка отливавший рыжиной, – с близкого расстояния даже казалось, что это натуральный цвет Катрин, хотя мне было очевидно, что она темно-русая.

Только в кафе я с удивлением обнаружила, что на Катрин нет ни грамма макияжа. Даже тонального крема нет. Отчего прекрасно заметны были все ее мимические морщинки в немалом количестве, которые, однако, не делали мою собеседницу старше, чем она есть, – наоборот, отсутствие макияжа ее молодило. На Катрин не было не только макияжа, но и украшений. Вообще никаких.

Глаза Катрин – серо-зеленые – мимикрировали под оливковый цвет кофты. Брови средней толщины, аккуратные, но не настолько, чтобы было заметно, будто кто-то за ними ухаживает. Судя по описанию, думаете вы, внешне у нее нет ничего общего с Генрихом Гиммлером, которого даже с натяжкой тяжело было принять за арийца (сам он руководствовался именно внешностью людей, отбирая себе в войска СС непременно высоких голубоглазых красавцев, бывших его полной противоположностью). И тем не менее овал ее лица и еще что-то неуловимое упрямо свидетельствовали о том, у Катрин есть родство с этим человеком – родство не откровенно заметное, но и не надуманное.

– И у тебя даже нет бумажки с вопросами? – спохватилась вдруг Катрин. – А как ты будешь спрашивать меня? Ничего не забудешь?

– Всё в голове, – улыбнулась я.

– Да, точно, извини, – согласилась она неожиданно спокойно, слегка даже смутившись собою, – ты же столько всего уже прошла и знаешь. А такая молодая, боже мой.

– Расскажи о себе, – обратилась я к Катрин, коротко пересказав подробности моей недавней поездки в Перу. – Кто ты? Чем живешь? Уж прости, но о тебе не так много информации, а та, что есть, – ей, наверное, и верить-то нельзя.

Катрин усмехнулась:

– Да уж, много чего пишут и болтают. На самом деле я по образованию политолог. Сейчас зарабатываю на жизнь фрилансом, пытаюсь выжить на гонорары от книг и статей – а это само по себе занятие непростое. Еще я живу на гонорары от лекций, которые читаю, – меня стали приглашать читать их после того, как я написала книгу «Братья Гиммлер» о своей семье. Так как я сама внучка Гиммлера… ой, прости-прости-прости… – Катрин поднесла руки ко рту, словно в испуге. – Глупая оговорка! Мой отец был младшим племянником Гиммлера. А дед – младшим братом Генриха Гиммлера… Гм-м-м…

Она резко умолкла, когда официантка поставила перед нею чай в высоком стеклянном стакане и блюдце с долькой лимона. Передо мной оказалось заветная чашка американо с молоком.

Мы с Катрин молчали и по-заговорщицки переглядывались, пока официантка нас обслуживала.

– Расскажи, пожалуйста, немного о твоем дедушке, – попросила я Катрин, видя, как она сосредоточенно пытается утопить в прозрачной чашке дольку лимона, а та никак не тонет.

Гиммлер начала свой рассказ тихим успокаивающим голосом – таким читают сказку ребенку. Речь ее казалась еще мягче от того, что заговорили мы по-английски (я заметила, что у нее совсем нет немецкого акцента, – классический British English в лучшем виде):

– О том, что я родилась в семье печально известного Генриха Гиммлера, я знала с самого начала, потому что мой отец всегда говорил об этом открыто и не делал из этого семейной тайны за семью печатями. Изначально он старался рассказать нам, трем своим детям, об этом как можно больше: об истории семьи, о наших связях с Гиммлером. Отцу было важно подбирать для нас правильную литературу, с тем чтобы мы знали еще больше. Это что касалось Гиммлера, семьи, Третьего рейха. С другой стороны, из отца нельзя было вытянуть ни слова о нашем дедушке, младшем брате Гиммлера, Эрнсте, который погиб в 1945 году. В то время мой отец был маленьким ребенком, так что он знал очень мало о своем собственном отце. И так же, как отец не

отвечал нам на эти вопросы, ему на его вопросы в свое время не отвечала наша бабушка Паула. Вот уж кто кремень! Из нее и слова было не вытянуть про мужа после войны. В общем, я затеяла свои собственные поиски в архиве, чтобы узнать больше о своем дедушке, младшем брате Генриха Гиммлера.

– И как, ты узнала, отчего хотя бы погиб или умер твой дед в 1945-м?

Катрин закивала, сделала глоток чая и поджала губы в задумчивой улыбке, отчего на щеках ее, чуть разрумянившихся, обозначились ямочки:

– О том, что в 1945 году произошло с моим дедом, Эрнстом Гиммлером, существует минимум две версии. Вероятно, он покончил с собой в самом конце войны. Или погиб во время последних бомбардировок Берлина. Точно никто не знает. Он пропал без вести. Моя бабушка после войны о нем больше ничего не слышала, а уж о том, что с ним случилось, оставалось только догадываться.

– Хорошо, – сказала я, – а что вообще известно о брате Гиммлера, твоем деде? Очевидно же, что он наверняка состоял в партии, входил в СС…

– Для меня это не было столь очевидно. – ответила Катрин. – Особенно поначалу мне было тяжело, когда я обнаружила в архиве документы о вступлении моего деда в нацистскую партию. И ужасно, что вступил он в НСДАП в 1931-м, то есть еще до того, как Гитлер получил власть, а не в 1933-м, что было бы хоть как-то понятно и объяснимо. Так что, когда я искала информацию, с одной стороны, мне как частному лицу, занимающемуся историей своей семьи, было тяжело, с другой стороны, нужно было подавить эмоции, ведь я всё-таки профессиональный политолог, который пытается получить как можно больше информации и доказательств. Так трудно порой найти баланс между двумя сторонами самой себя!

Мою бабушку звали Паула. И после войны она осталась с четырьмя маленькими детьми, в числе которых был мой отец. Детей бабушка растила одна, потому что ее семья отказалась от нее: после войны было не престижно иметь связи с такими, как Гиммлер, и ее семья ей так напрямую и заявила – мол, ты, Паула, выбрала себе неправильного мужа, мы тебе всегда об этом говорили и теперь ничего не хотим знать о твоих нуждах и страданиях. В общем, бабушка выживала как могла: шила шляпы, торговала ими, и к середине шестидесятых бизнес ее пошел в гору – шляпы уже не приходилось шить вручную, это делалось на мануфактуре. Так что отныне бабушка могла уже не выживать, а даже более или менее нормально жить со своими четырьмя

детьми после войны. Умерла она в 1985-м, и я не просто застала ее, а знала достаточно хорошо. И любила. Но ее было очень трудно – да практически невозможно – заставить говорить о прошлом, в частности о ее муже Эрнсте Гиммлере. И я поняла почему: во времена национал-социализма бабушка была очень счастлива с ним, очень его любила, жизнь казалось легкой и прекрасной – еще бы, они же семья самого Гиммлера! Так что самое счастливое время ее жизни совпало с жизнью Третьего рейха: она замужем даже была с 1933-го по 1945-й. И после войны ей было тяжко – с одной стороны, она понимала, какие творились тогда чудовищные преступления, что это самые страшные преступные годы во всей истории Германии, но именно в это время она получала всевозможные бонусы от режима, любила своего мужа, рожала детей.

Помню, как-то раз я сидела у нее в гостиной и рассматривала фотографии молодого мужчины, а это был Эрнст Гиммлер, мой дед. Я была очень юна и, кажется, спросила у нее – кто это? И вдруг заметила, что у нее на глаза навернулись слезы, она начала плакать, и я почувствовала себя такой виноватой! Я больше никогда не спрашивала бабушку о ее муже. Когда ты ребенок, то остро чувствуешь, что это – запретная тема для обсуждения, и усваиваешь это на каком-то подсознательном уровне, а потом уже не решаешься идти в своих расспросах дальше. От своего отца я знаю, что в пятидесятых, когда он был тинейджером, он предпринимал попытки выяснить, чем занимался его отец, был ли он нацистом, ощущал ли он ответственность за то, что творил его брат, – но бабушка не сказала ему ничего. Как и другим своим детям и внукам. Как и мне.

Когда я занималась в архивах поисками информации о моей семье, то подспудно надеялась обнаружить кого-нибудь из семьи Гиммлер того времени, кто не был вовлечен в жуткие деяния нацистов, кто не состоял в партии, СС или не получал привилегий от системы. Но нет – таких в семье не было. И это меня морально надломило. Чем дальше я погружалась в поиски, чем глубже ныряла, тем больше узнавала о том, что вся семья была убежденными нацистами, и это ужасало. И я думаю, что самое трудное для меня было – довольно поздно – обнаружить, что и моя бабушка была убежденной нацисткой. Вот что по-настоящему доконало меня. Ведь я ее знала. С дедушкой таких проблем не было: он умер задолго до моего рождения, и я не испытывала к нему чувств. А с бабушкой я была близка. И теперь знаю, что даже после войны бабушка тесно контактировала с нацистами, которых привлекли к ответственности. Любопытно, что она, тяжело добывая себе хлеб, занималась тем, что собирала посылки для

нацистов, которых приговорили к смерти, и рассылала гостинцы по тюрьмам. И это меня шокировало. Это очень тяжело.

Тогда я впервые осознала, как трудно было именно второму поколению, детям нацистов. И стала лучше понимать своего отца, его странное поведение во время моих поисков в архивах: то он просил меня показать ему обнаруженные документы, то вдруг говорил – ой, нет, не доставай меня, с меня достаточно всего этого, я больше ни видеть, ни знать ничего не хочу. Хотя он человек спокойный и интеллигентный. Всю жизнь был учителем немецкого языка.

– Да уж, ты с книгой доставила ему хлопот.

– Думаю, что да. – Катрин тихо рассмеялась. – Но не только хлопоты. Мне кажется, он испытал облегчение, когда закончились мои поиски. Дело в том, что я наблюдала за отцом перед тем, как начать работу в архиве, и мне показалось, что он сильно боялся, что я найду что-то, чего он не сможет вынести. К примеру, что его отец, мой дед Эрнст Гиммлер, участвовал в уничтожении людей. Но всё, что мне удалось обнаружить, – это то, что Эрнст Гиммлер был убежденным нацистом, но не был активным участником грязных преступлений. То есть я обнаружила – может, просто за недостаточностью документов, – меньшее зло из всех возможных. И в итоге, мне кажется, отцу стало лучше после того, как я провела свои поиски и мы с ним обсудили их результат.

– А твоя мама жива? Как познакомились родители?

– Да, она жива. Мои родители познакомились рано, когда оба были совсем маленькими детьми, фактически они всегда знали друг друга. Конечно, было трудновато, когда они поженились, но это было уже лет через двадцать после войны. А сразу после нее – я помню, что отец говорил, – было очень тяжело жить с фамилией Гиммлер и прошлым, потому что фамилия эта еще была у многих на слуху и реагировали люди на нее по-разному. Он родился в 1939 году. То есть ему было всего шесть, когда закончилась война. И в те времена, сразу после войны, находились такие, кто говорил папе: «Эй, да твой дядя же был великим человеком!» А с другой стороны, бывало, что отца в школьные годы побивали камнями, – и он не понимал за что. Я слышала подобные истории от детей многих нацистских преступников – не самых крупных, но тем не менее.

Но это отступление. И если говорить о моих родителях, то они поженились в шестидесятых, и в это время к ним уже не шибко приставали с расспросами о фамилии и родстве. Удивительно, как всё-таки легко моя семья миновала проблемы из-за такой фамилии! Это действительно поражает меня снова и снова, ведь дети преступников часто страдают из-за своих имен –

да что они! Я слышала, что страдают и случайные люди, просто однофамильцы, которым не повезло родиться с фамилией Борман, например, – их постоянно пытаются увязать с тем самым рехсляйтером Мартином Борманом. Не знаю точно, почему с фамилией Гиммлер всё иначе? Вероятно, столь широко и печально известная за пределами Германии, особенно в некоторых странах Европы и в России, она не слишком известна в нашей стране: спроси немцев, чем именно занимался Генрих Гиммлер, за что он ответственен, – и б\льшая часть из них просто не ответит. Ведь даже в период Третьего рейха Гиммлер постоянно держался в тени, на втором плане.

– А как зовут твоего отца? – спросила я у собеседницы.

– Нет-нет, – замотала она головой, мягко улыбаясь, – я не могу сказать его имя. Увы.

– Потому что он еще… жив? – уточнила я осторожно, внутренне изумившись, почему она не называет имя: что тут такого? Катрин почувствовала мое недоумение и поспешила добавить:

– Мой отец жив. Он единственный сын Паулы и Эрнста Гиммлеров, остальные дети – три девочки, мои тети. Так уж вышло, что мой отец внешне очень похож на своего дядю. Я и сама похожа, как ты могла заметить, но он… очень заметное сходство. – Катрин поджала губы, сделала глоток чая и продолжила: – К сожалению, мне запрещено произносить его имя на публике. Я должна уважать это…

– Но ты же написала книгу, а книга… мне кажется, она требует фактов, дат и, конечно, имен.

Гиммлер замялась.

– В книге я имени отца не называю. Так же, как имена своих теть, потому что они не хотят, чтобы о них узнала широкая публика. Поскольку я занималась исследованием прошлого, то считаю, что в книге должны фигурировать имена тех, кто активно принимал участие в зверствах нацизма. Я позволяю себе говорить открыто даже о бабушке Пауле и дедушке Эрнсте, но их детей и внуков не считаю вправе касаться. Так что да, они в моей книге – анонимы. Мой отец, его сестры и его кузены – каждый должен решать сам, готов ли он пойти на этот шаг.

– Имя Гудрун, дочери Генриха Гиммлера, известно всей Германии. Но лишь несколько лет назад – по воле случая – мир, наконец, узнал, как выглядит эта женщина: журналистам удалось сделать ее фото. Вот уж кто воистину избегал публичности, так это Гудрун!

– Гудр-р-рун. – Катрин произнесла имя дочери Генриха Гиммлера по-немецки жестко. – Я знаю о ней крайне мало.

Как я и предполагала.

О личной жизни Гудрун, разорвавшей связи с остальными членами семьи Гиммлер, никто толком ничего не знал, кроме того, что puppi, «куколка», как ласково называл ее папа, вышла замуж за ультраправого журналиста Вольфа-Дитера Бурвица (взяла его фамилию) и родила в браке детей. Что касается деятельности Гудрун, то она, деятельность, хотела того «куколка» или нет, стала известна широкой общественности.

Нацистская организация *Stille Hilfe*[117], которую возглавляла дочь Гиммлера, долгое время получала поддержку от государства, – никто не предполагал, что *Stille Hilfe* много лет занимается реабилитацией бывших эсэсовцев, и не без помощи этой организации многим нацистским преступникам удалось уйти от наказания. Об этой деятельности Гудрун Гиммлер стало известно благодаря журналистке Андреа Рёпке, которая со своим коллегой Оливером Шрёмом в 2002 году внедрилась в нацистскую организацию Гиммлер и написала ряд обличительных статей для крупных немецких изданий, а также книгу *Stille Hilfe für braune Kameraden*[118]. С того момента Андреа стала костью поперек горла Гудрун. И жизнь журналистки превратилась в кошмар. Во время работы над фильмом мне удалось уговорить Андреа встретиться и дать интервью. О себе она практически не говорит – отказалась сообщать подробности о своих близких и родителях, живущих в Нижней Саксонии, – «это в целях безопасности».

Разговор с Андреа проходил в ее офисе, местоположение которого она тоже просила не разглашать. Впрочем, офис как офис: шкафы с полками, компьютер, стол, ноутбук, куча бумажек и фотографий. Разве что особенно выделяются плакаты со свастиками на стене.

Фрагменты разговора с Андреа, записанные на видео, я показала Катрин Гиммлер на гаджете, чтобы узнать, как она прокомментирует услышанное. Думаю, что вам также будет интересно ознакомиться с рассказом бесстрашной журналистки Андреа Рёпке:

«Некоммерческая организация ”Негласная помощь“ была создана через некоторое время после войны принцессой Изенбургской. Задача этого объединения заключалась в том, чтобы помочь военным преступникам, в том числе участвовавшим в массовых убийствах, покинуть страну, то есть сбежать, а впоследствии также и в сборе денег от старых “товарищей” для оплаты адвокатов и проведения экспертиз для тех нацистов, которых всё-таки привлекли к суду. Большинство подопечных Гудрун Гиммлер так и не получили заслуженного наказания:

после войны “Негласная помощь” помогла укрыться многим высокопоставленным эсэсовцам, идеологам Третьего рейха, помогла им тайно покинуть страну. Среди бежавших – печально известные Антон Малот, Клаус Барбье. Большинство обосновалось в Южной Америке, попытались начать новую жизнь. Гудрун Гиммлер активно помогала и Адольфу Эйхману…

А получилось всё так: в самом начале девяностых, изучая в Бремене политологию, я обнаружила материалы о некой организации под названием “Негласная помощь для военнопленных и интернированных” и выяснила, что она до сих пор существует, беспрепятственно проводит встречи старых нацистов, но, самое главное, сотрудничают с неонацистами. Я была потрясена, не могла поверить в это. Поэтому я начала поиски, которые затянулись на много-много лет. Написала диплом на эту тему. С 1994 года я стала работать свободным журналистом, пишущем о правовом экстремизме.

“Негласная помощь” – это объединение, которое длительное время, пока мы не положили этому конец, не только не обременялось налогами, но и получало от государства деньги. Это объединение существует до сих пор, но теперь ушло в глубокое подполье после того, как мы смогли доказать, что это – союз убежденных эсэсовцев. Нам удалось лишить его признания на государственном уровне. Я вела обычное журналистское расследование, анализировала материалы, смотрела реестр. Но самым трудным было внедрение.

Поскольку старые нацисты – люди крайне недоверчивые, чтобы заслужить их доверие, необходимы рекомендации. Но тогда, в начале 90-х, если ты молодая женщина, консервативно одеваешься, не задаешь острых вопросов… В общем, меня стали приглашать в гости, на встречи: один бывший нацист порекомендовал меня другому, так нам с фотографом под видом супружеской пары удалось принять участие во встрече бывших эсэсовцев, где мы смогли познакомиться с очень многими убежденными нацистами. Мы увидели, что они совершенно не раскаиваются, что ни о каком сострадании по отношению к жертвам речь не идет. В ФРГ в условиях демократии они зарабатывали деньги, делали вид, что поддерживают демократию, их никогда не привлекали к ответственности. Это побудило меня продолжить расследование, чтобы разоблачать их и рассказывать о них общественности.

В ходе моих поисков я выяснила, что старые нацисты имели большое влияние, располагали весьма значительными средствами. Но самое плохое – это то, что они пытались внушить идеалы Третьего рейха и идеи национал-социализма молодым

людям. И весьма успешно. Этому, конечно, способствовало отсутствие преследования со стороны государства.

В ходе моих поисков я всё время натыкалась на имя Гудрун Бурвиц. Каждый из эсэсовцев считал своим долгом похвастаться – я, мол, знаю дочь самого Гиммлера. Они с благоговением говорили о ней: “Представляете, фрау Бурвиц тоже приедет на встречу”. Они ее называли, в основном, конечно, Гудрун Гиммлер. Было понятно, что эта женщина – очень важная фигура для бывших нацистов. Мы несколько месяцев готовились, чтобы попасть на встречу, где будет и она. Знакомились с нужными людьми. И в итоге были приглашены на встречу СС в Австрии. Фотограф в роли моего мужа и я. Мы могли принимать участие во всех мероприятиях этой встречи, но нам пришлось ждать целых пять дней, пока нас не пригласили на аудиенцию с госпожой Гиммлер, с Гудрун Бурвиц, дочерью Генриха Гиммлера.

Во время приема она была окружена кавалерами ордена Рыцарского креста. Они сидели со всеми своими наградами на груди. Внутри круга находилась маленькая женщина с непримечательной внешностью, но с очень гордым видом. Она держалась как королевская особа. С нами был еще один эсэсовец, которого она очень серьезно спросила, где он служил. Он ответил ей, что служил в войсках СС в Дании. После этого на ее лице мелькнула улыбка и она сказала: “Значит, доброволец в эсэсовских войсках”. И было видно, что она довольна. Это был первый и единственный раз, когда я заметила, чтобы она улыбалась. У нее всё время было сосредоточенное и напряженное выражение лица. Затем она коротко побеседовала с нами, но большую часть аудиенции всё-таки проговорила с этим старым эсэсовцем. В ходе встречи было заметно, что она чтит своего отца, что Генрих Гиммлер – ее идол. И она прекрасно знала, что ее почитают в кругу “старых товарищей”.

В своих поисках я занимаюсь личностями только самих преступников. Если для вас Гудрун Гиммлер – это дочь Генриха Гиммлера в рамках вашего проекта “Дети Третьего рейха”, то для меня она преступница и всё. Детей нацистских преступников, которые не следуют идеалам отцов, я не трогаю. Большинство детей нацистов вообще отказываются говорить о своих родителях, тем более на камеру. Они и без того настрадались и хотят лишь, чтобы их оставили в покое. Это касается прежде всего тех, кому больно и стыдно вспоминать прошлое семьи. В свое время я познакомилось с дочерью Карла Вольфа, очень высокопоставленного представителя Третьего рейха и личного друга Гиммлера. Она позднее приняла ислам. И дочь Вольфа подвергалась критике и гонениям с двух сторон: простые люди не

горели желанием иметь с ней дело из-за фамилии и происхождения, а дети нацистов вроде Гудрун Бурвиц, яростные последователи отцов, гнобили ее и отказывались общаться тоже, потому что она вышла замуж за мусульманина-иностранца. И Гудрун Бурвиц, ее подруга детства, близкий по жизни человек, из-за этого прервала всяческую связь с ней. Дочь Карла Вольфа всю жизнь страдала из-за своего прошлого. Она не хотела ничего говорить на камеру, но про свои отношения с Гудрун сказала мне с глазу на глаз. Она была расстроена чрезвычайно.

Мне довелось встретиться с Гудрун Бурвиц еще раз – на другой встрече эсэсовцев в Баварии на озере Шлирзее. Хуже всего, что на этой встрече молодежи было больше, чем на предыдущей. То есть дочь Гиммлера распространяла идеологию своего отца среди очень молодых людей. Сама эта женщина – важная фигура, способствующая идентификации новых нацистов, неонацистов, со старыми. Связующее звено. Особенно бросалось в глаза, насколько гордятся молодые люди тем, что они участвуют во встречах, что им разрешено сидеть рядом с Гудрун и говорить с ней. Она действительно является для них иконой и знает об этом. Кроме того, она пристально следила за тем, чтобы посторонние не услышали, что она говорит товарищам на ухо, была очень осторожной, недоверчивой. Очень бросалось в глаза, что она не доверяет этому обществу, этому государству, этой демократии. По всему ее поведению было видно, что в Третьем рейхе она чувствовала бы себя куда лучше».

Андреа Рёпке показала на камеру фотографию женщины с седыми, забранными назад волосами и с жесткой полуулыбкой. Ничего особенного – никакого поразительного сходства с отцом или печати зла на лице. Стройная немецкая пожилая фрау. Эту фотографию каждый теперь может благодаря Андреа увидеть в Интернете. Рёпке, покопавшись в столе, извлекла еще пару снимков, которых в Интернете нет.

«Это Гудрун, – пояснила Андреа, – а рядом с ней эсэсовец Вагнер Кристензен из Дании. Именно через него мы попали в эту организацию. Он принимал нас за сочувствующих. Он непременно хотел сфотографироваться на память с дочерью Гиммлера и попросил нас сделать снимок. Для него это было так важно, что вы! Фото с дочерью Гиммлера! Его просто распирало от гордости. Он не мог говорить ни о чем другом. Нужно заметить, что они подружились.

После нашей обличительной статьи в журнале “Штерн” над Кристензеном состоялся судебный процесс. В Дании во времена Третьего рейха он убил журналиста. Но так и продолжал жить безнаказанно в Баварии. Многие из эсэсовцев, участвовавших во

встречах с дочерью Гиммлера, никогда не привлекались к ответственности, к суду, они так и не поняли, что совершали жуткие преступления.

С тех пор как мы разоблачили организацию Гудрун Гиммлер, осудили этого эсэсовца и нескольких других нацистов, мне стали часто угрожать, в том числе физической расправой, – всё это продолжается и по сей день: по электронной почте присылают письма соответствующего содержания. Однажды меня избили. Наша журналистская работа довольно опасна. Интернет усугубляет ситуацию. В нем – если знать кое-что обо мне – можно найти мой домашний адрес, в Интернете же открыто публикуются враждебные высказывания про меня. Впрочем, страдаю не только я – неонацисты точно так же травят многих моих коллег, которые, коснувшись темы разоблачения неонацизма, с тех пор живут буквально за зарешеченными окнами, под охраной полиции. Необходимо признать, что неонацисты стали смелее, действуют более дерзко. Журналистам приходится несладко…»

Я нажала на паузу. Катрин Гиммлер молча кивнула несколько раз и вернула мне планшет. Мы заказали еще чай и кофе.

– Так Гудрун и впрямь нацистка? – поинтересовалась я у Катрин.

– Да, – ответила Катрин спокойно, – она нацистка. Это правда. Я слышала об этом и от моей семьи. От неблизких родственников, которые с ней поддерживают отношения до сих пор. Я, к сожалению, знаю о Гудрун Бурвиц не больше, чем написали Андреа Рёпке и Оливер Шрём в их книге, которую прочла с интересом. Но благодаря тебе первые увидела эту журналистку – могу сказать, что она очень сильный человек и делает всё правильно. Мне кажется, что Андреа к Гудрун намного ближе, чем я когда-либо была, – нет, я не шучу. Я знаю крайне мало: слышала от родителей, что у Гудрун есть двое детей моего возраста, то есть им уже за сорок. Однажды мои родители встречались с Гудрун и тогда были в шоке от ее политических убеждений – настолько, что больше не захотели ее видеть. С того момента между нами с Гудрун нет никакого контакта. Когда я работала над своей книгой, я попыталась связаться с ней, чтобы поговорить, получить от нее какие-то документы и свидетельства для своей книги, но она категорически отказалась общаться со мной. Ну конечно! Это же было очевидно! То, чем я занималась, какой образ Гиммлера рисовала, не совпадало с тем, что она хотела бы видеть. От некоторых кузенов своих я узнала, что она купила мою книгу, но она ей совсем не понравилась. Было бы

странно ожидать какой-то иной реакции…

Помню, в 60-е годы вся семья знала о том, что Гудрун носилась с идеей опубликовать свою собственную книгу об отце, чтобы объяснить всем, каким чудесным он был на самом деле. Но это было невозможно по целому ряду причин. Она так и не написала эту книгу. Да и вообще изображать Генриха Гиммлера хорошим человеком – как можно!

Гудрун родилась в 1929 году, через год после свадьбы ее родителей – Генриха Гиммлера и Марги (Маргарет). Генрих и Марга познакомились в Берлине в 1927-м. Она была медсестрой и оказалась на семь лет старше Гиммлера. Как и ее будущий муж, Марга сильно интересовалась травами и нетрадиционной медициной, вероятно, эта тема была в числе прочих, что объединили Гиммлера и его будущую жену. Марга, кстати, убежденная нацистка, после свадьбы продала свою частную лечебницу и приобрела усадьбу, где разводила кур. В 1929 году, в год рождения Гудрун, Генрих Гиммлер был назначен Гитлером рейхсфюрером СС.

– Значит, Генрих Гиммлер был замечательным отцом, прекрасным мужем, ездил с малолетней дочерью на экскурсии в концлагеря, которые сам часто инспектировал… – начала было я, но осеклась, увидев, как Катрин отчаянно мотает головой.

– Нет, неправда. Насчет Гудрун в лагерях – это легенда. Я думаю, что виной всему фотография, которую можно найти в Интернете. С одной стороны на ней Генрих Гиммлер, а рядом с ним девочка, и написано, что он посещает Дахау вместе со своей дочерью Гудрун. Но это не она! Не знаю, кто эта девочка, но точно не Гудрун. И доподлинно известно, что Гиммлер с дочерью никогда не ездил в концлагерь. Это подтверждено и доказано. Марга Гиммлер, жена Генриха, с дальними родственниками ездила в Дахау, но они ехали туда за травами. Марга очень увлекалась гомеопатией. Кстати, с Маргой у Гиммлера был неудачный брак. Но я не уверена, что она очень страдала по причине смерти мужа, оставшись одна после войны, потому что она, считай, и была одна, ибо у Генриха Гиммлера много лет была вторая семья.

Любовницей Гиммлера была Хедвига, его личный секретарь. В 1942-м и 1944-м она родила от него двух детей – сына Хельга и дочь Нанетт-Доротею.

Катрин продолжила:

– Хедвига. Она начала работать у Гиммлера с 1936 года и в начале 1938-го стала его любовницей, оставила работу, и прямой ее ответственностью стало деторождение. Они с Гиммлером

хотели завести как можно больше детей, но в итоге получилось родить двоих до конца войны. Поэтому во время войны он нечасто приезжал навещать Маргу. Считается, что не разводились они из-за Гудрун. Гиммлер не хотел, чтобы его дочь получила стресс. Они много говорили по телефону. Переписывались. Но, конечно, жизнь Гудрун и ее матери круто переменилась после 1945 года, потому что они очень хорошо и комфортно жили в Третьем рейхе, очень богато, с большим штатом обслуги, а потом всё враз рухнуло. Всё забрали. Сначала Марге пришлось устроиться на разные подработки, чтобы прокормить себя и дочь. Ей и Гудрун очень помогала мощная сеть поддержки старых нацистов – им давали деньги, еду. Видимо, из-за этого Гудрун потом сама возглавила «Негласную помощь», ведь для нее нацистское подполье сделало очень много.

Я спросила Катрин, знает ли она, где сейчас находятся двое других детей Генриха Гиммлера, ведь никто о них вообще ничего не слышал. Такое ощущение, что они просто растворились. Моя собеседница сделала глоток остывающего чая и согласно кивнула:

– Они, эти дети, действительно исчезли. Хедвига поддерживала связь с семьей, в том числе и с Маргой и Гудрун после войны (Гудрун, как и ее мать Марга, знала о наличии у отца второй семьи, но упрекнуть отца не могла, ведь из-за нее он не разводился), до пятидесятых годов, но потом вышла замуж и исчезла со своими двумя детьми, переменив имя и фамилию и оборвав все контакты. С тех пор никто из семьи ничего о них больше не слышал. Так что Гудрун, можно сказать, единственная его дочь – и, видимо, ее такой расклад устраивает.

На лбу у Катрин отчетливо проступили длинные горизонтальные морщины, она помолчала в задумчивости, а потом вдруг добавила:

– Я думаю, что поколению «детей» трудно относиться к своим преступникам-отцам вроде Гиммлера так, как им предписывает общество. Я не могу представить, просто вообразить не могу, как я могла бы наслаждаться жизнью, продолжать жить вообще, если бы приходилась Генриху Гиммлеру дочерью. Не могу. Думаю, в таком случае ты лишаешься многих возможностей, выбирая из двух крайностей: или придерживаешься линии отца, как делает Гудрун Бурвиц, или обличаешь его всеми возможными способами, как Никлас Франк, – мне кажется, что он очень-очень сильно ненавидит своих родителей. Но с такой страшной ненавистью невероятно тяжело жить! Так что детям крупных нацистских лидеров, наверное, правильнее было бы находить для себя золотую середину. Но для их поколения это невозможно. Только

обожание или ненависть. И если ты спросишь меня, был ли Генрих Гиммлер хорошим отцом, как считает Гудрун, я отвечу тебе – уверена в этом на сто процентов. Но есть и другая часть правды: Гиммлер был убийцей, чудовищем. И эту часть правды Гудрун Гиммлер вместить в себя не смогла. Дети преступников, как мы говорили – они одиночки, сами по себе. И никто не тяготеет друг к другу, потому что это напоминает о прошлом, а с прошлым так трудно. С другой стороны, пообщаться с себе подобными, наверное, тоже бывает полезно…

Глотнув уже остывший кофе и оглядев практически пустой зал ресторана, я осторожно поинтересовалась у Катрин, правда ли то, что в ее сыне течет не только кровь Гиммлеров, но и еврейская кровь. Она, к моему удивлению, улыбнулась и заговорила:

– Начну я издалека, чтобы тебе было понятно, что и почему. Когда родился мой сын, мне было тридцать четыре года. И для меня это был непростой момент, я думала, а что делать с прошлым? Что я ему скажу, когда он вырастет? То есть я постоянно думала об этом, даже вынашивая ребенка от мужа-еврея, чьи предки пытались выжить в тридцатые и сороковые… И тогда я наконец осознала, что нужно взломать печать молчания, я хочу знать больше. Ради него, ради себя, ради всех. Хотя семья моя – мои родные брат и сестра – с этим не согласны. Они просто в штыки приняли мою затею с книгой. Говорили: «Зачем ворошить прошлое, к которому мы не имеем отношения?» Думаю, так происходит во многих семьях известных нацистов. Но непременно находится и один такой дотошный член семьи… – Тут Катрин громко и несколько нервно рассмеялась и показала пальцем на себя: – Который делает всю грязную работу. Даже когда я написала книгу, брат с сестрой не были довольны, не стали читать, заявив: «Да, наш дед брат Гиммлера, да, нам не очень повезло с такой родней, но мы сами никого не убивали – чего страдать, чего лезть везде, зачем докапываться? Нервы только тратить!»

– Ну, это тоже позиция, – заметила я, – имеют право. А что же твой сын? Он сейчас уже в том возрасте, когда, наверное, активно интересуется прошлым семьи? Или нет?

Гиммлер заулыбалась.

– Долгие годы я боялась и ожидала, когда наступит тот самый страшный момент – мой сын придет ко мне с расспросами. Как я смогу объяснить ему, что одна часть его семьи – Гиммлер – пыталась уничтожить другую часть его семьи (а по линии его отца все евреи), что у него в роду и преступники и жертвы. Я сто раз моделировала эту ситуацию, представляла, как это будет, как я начну свой рассказ. А он всё не спрашивал. И я решилась

закинуть удочку сама… – Катрин снова нервно хохотнула, и я поняла, что она всё-таки немного напряжена, когда говорит о сыне. – Сейчас ему тринадцать лет, он приходит домой со школы, и я начинаю, мол, ты не хочешь у меня спросить про Гиммлера, ты что-то знаешь о нем? А он отвечает: «Ну конечно я знаю, не надо мне рассказывать! Я во всем разобрался сам». И я такая: «А откуда ж ты знаешь?! Я ж тебе не говорила!» – Тут Катрин почти истерично рассмеялась. – Видимо, ему рассказали в школе. И я счастлива, что он такой открытый, счастлива, что он как представитель следующего поколения не зациклен на этой теме – то есть он не лезет в ней копаться и в то же время не замалчивает ее. Это значит, что родство с Гиммлером его не преследует, что он может делать то, что хочет, и то, что ему интересно, а не отбывать повинность в архивах, как это делала я. Но я сделала грязную работу, и теперь все могут быть спокойны.

Последние фразы были произнесены также негромко, но не без гордости. Выдержав торжественную паузу, я поинтересовалась:

– Катрин, то, что ты вышла замуж за еврея, широко обсуждается в кругах, в которых я вращаюсь несколько лет. Я имею в виду детей, внуков, родственников высокопоставленных нацистов. Кто-то говорит, что таким образом ты отмаливаешь грехи предков, и это кажется им извращенным способом. Кто-то не видит в этом ничего особенного. Но, в любом случае, все отчего-то уверены, что мужа ты выбирала себе, подсознательно руководствуясь чувством вины…

– Ой, они правда это обсуждают? Я не знала, что это так интересно. – Казалось, Катрин несколько растерялась. И неуверенно добавила: – Нет, правда, а чего это они так заинтересовались моим бывшим?

Я уточнила:

– Вы уже развелись?

Отчего-то мне подумалось, что это и правда должно быть именно так. Глядя на Катрин, уж не знаю, по каким именно признакам, но можно было бы догадаться, что она растит сына одна.

Гиммлер кивнула.

– Да, мы развелись. И муж уехал в Израиль – нашел там работу. – И замолчала. При этом выражение ее лица никак не изменилось, но в глазах, невнимательно следивших за тем, что происходило за окном, легким, едва ощутимым фантомом мелькнуло какое-то незнакомое мне выражение. Может, ностальгия, может – что-то иное. Было очевидно: растить ребенка в Германии, не имея постоянной работы и перебиваясь от

фриланса к фрилансу, – дело непростое. Катрин не производила впечатления женщины, которая не думает о завтрашнем дне, – напротив, показалось мне, завтрашний день ее как раз заботил больше всего.

Катрин продолжила после паузы:

– Нет, я искренне не понимаю, что их так удивило в моем замужестве. Я знаю достаточно людей, чьи родители во время войны активно поддерживали режим или участвовали в его преступлениях и которые совершенно спокойно выходили замуж или женились на тех, кто их предками был объявлен «недочеловеками». Если тебе интересно, как мы познакомились с мужем… Его семья много путешествовала по Европе, бывала и в Германии, им тут понравилось, поэтому они не препятствовали его желанию уехать в Германию, чтобы получить образование, когда он был совсем молод. И тут в Германии мы с ним познакомились. Его семья приняла меня сразу и без проблем – то есть родители. А мой свекор еще жив. Он, как и мой отец, родился в 1939-м, и ему было шесть лет, когда война закончилась. И он всегда открыто говорил со мной на любые темы, включая нацизм, войну, Третий рейх. То есть из-за меня они этой темы не избегали.

А вот с дальними родственниками мужа пришлось трудно. Муж не сказал своему деду, кто я по происхождению. То есть дед знал меня, общался, но при нем мою фамилию просто не упоминали. До самого конца. Потом я поняла, в чем дело: этот дед со своей семьей жил до войны в Варшаве. Ну а потом – Гитлер, рейх, антисемитизм. Сначала деда с семьей отправили в гетто, и они всячески пытались спастись. От него я узнала удивительный факт. Оказывается, до 1942 года гетто были открыты, люди могли приходить и уходить, – я-то считала, что в то время они были закрыты. В общем, уехать было возможно, и дед моего мужа со своей семьей получил-таки необходимые бумаги на выезд в 1942 году, а потом по этим фальшивым документам они кружили в поисках убежища вокруг Варшавы, постоянно меняли место жительства, ведь осесть нигде не было возможно. Но они спаслись от гестапо. После войны прожили в Германии еще несколько лет, а в 50-х уехали в Израиль. А другая часть родни мужа жила на территории Израиля с начала 30-х годов. Они тоже происходили из Польши, откуда-то из Галиции.

– Как твой муж принял то, что ты из семьи Гиммлер?

– Ну, он нашел это забавным, – снова рассмеялась Катрин. – Он рассказал всем в Израиле, что повстречал меня, большинство его друзей посчитали нас интересной парой и очень хотели познакомиться со мной. Ну а с его семьей, как я уже говорила, всё

было прекрасно: когда я встретилась с ними в первый раз, встреча прошла очень доброжелательно и открыто. И по сей день, хотя мы разделены расстояниями со свекром и свекровью уже много лет, мы по-прежнему в очень тесном контакте: я их навещаю, когда я в Израиле, и они навещают меня, когда они здесь, в Берлине. И никаких проблем. А моя свекровь вообще очень поддерживала меня в моих поисках, что, мол, это отличная идея провести свое семейное расследование. Скажу больше – мои поиски подтолкнули семью мужа более открыто говорить о Третьем рейхе, о том, как они смогли там выжить. Они нашли какие-то свои документы, стали восстанавливать историю семьи.

– Чью фамилию носит твой ребенок? Предполагаю, что отца?

– Да, мой сын носит фамилию своего отца.

– Но ты свою сохранила?

– Да, когда я была совсем молодой, мне хотелось сменить фамилию, я думала: не хочу жить с такой ношей! Но когда прошли годы, я вдруг поняла: да никто ж меня ни о чем не спрашивает, никто не интересуется этим. Возможно, потому, что фамилия Гиммлер, которая не очень распространена на севере, широко распространена на юге Германии – там очень много Гиммлеров. И еще забавно, что имя Гиммлер похоже на слово himmel – небо. И вы даже представить не можете, сколько людей, слыша это имя, думают о небе! Слышат мое имя и говорят – Гиммлер? О, прям как небо. Хорошее имя! – Катрин, видя мое изумление – уж что-что, а Гиммлера с небом, как мне кажется, даже по звучанию не так уж просто сопрячь, – рассмеялась. – Нет, я сама была в шоке. В общем, за последние тридцать лет мне в голову не приходило, что нужно непременно сменить имя. Вы можете жить с этим именем в Германии безо всяких проблем. И это невероятно! Обычно окружающие слышат мою фамилию и думают, наверное: ну она никак не связана с тем Гиммлером. А потом есть огромное количество людей, которые не знают, чем на самом деле занимался Генрих Гиммлер, за что был ответственен.

– Думаю, ты лукавишь, – заметила я осторожно. – Ну неужели вообще никаких проблем из-за родства?

– Трудно поверить, да? – Катрин сделала глоток остывшего чая. – Нет, по мелочи что-то было, наверное. – Силясь вспомнить, она наморщила лоб. – За последние годы много чего изменилось, и я поняла, что от того, что я сменю фамилию, я не перестану быть родственницей Генриха Гиммлера. Чувства не переменятся с переменой фамилии, даже стань я Шмидт или Мюллер. Мне всё равно не избавиться от ощущения гадливости, что такой человек был в моей семье. Ощущение это появилось еще в детстве, когда я узнала от родителей правду. Но по-настоящему я испытала шок

после того, как посмотрела по телевизору документальный фильм про Холокост, – это было, кажется, в 1978-м или 1979-м. Тут, наконец, до меня во всех красках дошло, за что конкретно был ответственен Генрих Гиммлер. И что он делал во времена нацизма. Сначала был полный ужас. А потом пришло понимание, что замалчивать мне перед самой собой это не надо, что нужно об этом читать… Кстати, когда я училась в школе, – вот видишь, я вспомнила! – кто-то из моих одноклассников спросил на уроке истории, когда мы обсуждали Третий рейх, Гитлера и Гиммлера: «Твоя фамилия Гиммлер! Как того человека, о котором пишут в учебнике. Ты имеешь какое-то к нему отношение? Он твой родственник?» Разумеется, я была в шоке, сильно растерялась, но собрала волю в кулак и всё-таки ответила: «Да, я имею к этому ужасному человеку отношение, да, он мой родственник». Помню, учительница тогда резко пресекла наше детское обсуждение, грозившее вылиться непонятно во что. Но это единственная ситуация, которую я могу вспомнить, когда люди вокруг меня были готовы вступать со мной в конфронтацию из-за фамилии. Да и то, можно ли брать эту ситуацию в расчет, учитывая, что мы были маленькими детьми? Единственная настоящая конфронтация из-за родства с Гиммлером происходит у меня внутри, ну или внутри семьи.

– Допустим, а в зрелом возрасте тоже ни разу не спросили тебя о фамилии?

– Ну… Помню, лишь раз, когда я приступила к новой работе, я встретила женщину, которая протянула мне руку для приветствия, а услышав мое имя, отдернула ее обратно. И, отдернув, сказала: «Ой, мне нужно быть с вами осторожнее!» Помню, через минуту ей сразу стало так стыдно: «Ой, простите меня, извините! Я не должна была говорить такие вещи!» Ну а я, конечно, задумалась о том, почему она так отреагировала, – значит, что-то было в ее семье? Может, нацисты их преследовали или убили кого-то? Не знаю. Никогда не пыталась ее спросить: мне казалось, что лезть в душу к кому бы то ни было – неловко. Но это была единственная реакция такого негативного толка – причем реакция на автомате, в первые секунды. Никогда такого, как ни странно, не повторялось, а с этой женщиной позже мы даже подружились.

– Ясно. Скажи, пожалуйста, ты правда приняла иудаизм? К примеру, очень дальний родственник Германа Геринга, Маттиас, живущий в Швейцарии, принял его и теперь правоверный иудей. В искренности его поступка – а мы с ним знакомы лично – я сомневаюсь, считая, что это, скорее, способ глумления над обществом и желание эпатировать людей. Ты – человек серьезный

и основательный. Какие резоны были у тебя принять иудаизм, если это так? Муж? Его семья?

– Ой, нет, это утка, которая ходит по Интернету! Я сама об этом слышала несколько раз: пишут там, что я стала иудейкой, обсуждают это активно. Но я никогда и не думала принимать иудаизм! Хотя бы потому, что мой муж – не религиозный человек, и наша семья – мы тоже не религиозны. Много подобных баек гуляет не только про меня, но это не имеет никакого отношения к реальной ситуации! Так что нет, я неверующая.

– А ведь многие, как ты знаешь, ищут спасения в религии, – сказала я, – и для кого-то она – большое утешение. Чем спасаешь себя ты? В чем находишь способ отгородиться от прошлого, которое тебя так тревожит, от Гиммлера, от нацизма?

Катрин задумалась, заговорив после небольшой паузы:

– Думаю, спасает меня то, что я человек с позитивным мышлением, оптимист, который верит, что стакан всё-таки наполовину полон. Иногда, конечно, накатывает депрессия, особенно когда ты сидишь в архиве, читаешь документы, находишь много страшных для себя вещей. Я плачу порой – но это лишь способ выплеснуть из себя всё накопившееся. В целом я вообще человек очень позитивный. И это мое спасение. У меня много интересов, помимо копания в прошлом, – не думай, что я какая-то архивная крыса. Без всякой религии я сделала так, что страшная часть истории моей семьи всё-таки не пожрала меня, не сломала, не уничтожила. Я всегда слежу за этим – слежу, чтобы у меня было время на сына, на меня, мои интересы.

– Ну а теперь, если не возражаешь, давай немного о «страшной части истории твоей семьи»…

Катрин часто закивала и, как мне показалось, снова немного напряглась:

– Хочешь спросить о Гиммлере?

– Да, именно так.

Катрин продолжила:

– Многие до сих пор знают о нем поверхностно, что он был злом, что он делал что-то плохое, но что именно – не знают, не понимают масштабов его власти. Он ведь был вторым человеком…

– Слишком много вторых, – заметила я, – вторым человеком после Гитлера сначала был Рудольф Гесс, а потом рейхсмаршал Герман Геринг.

– Возможно, – легко согласилась собеседница, а я изумилась, откуда вдруг в ней такое странное желание приблизить Гиммлера к Гитлеру максимально.

– Кстати о Геринге. – Я отхлебнула остатки холодного кофе. –

Когда говоришь о нем, как ни странно, не испытываешь того омерзения, какое появляется, когда говоришь о твоем двоюродном деде. Причем это даже в среде детей высокопоставленных нацистов. Гиммлер – это СС и концлагеря. И, разумеется, многие хотели бы, чтобы твой двоюродный дед оказался на Нюрнбергском процессе и понес заслуженное наказание. А перед этим имел возможность объяснить: как он сам понимал то, что творил?

– Ты имеешь в виду, какая у него была мотивация, чтобы уничтожить столько людей? – переспросила Катрин. – На мой взгляд, это самое трудное для понимания – что происходит в голове у преступника. Думаю, многие люди, большинство, отказываются входить в подробности истории в целом и Гиммлера в частности. Они считают, что попытаться понять – значит попытаться оправдать то, что он делал. Я считаю, что это эти вещи – понимание и оправдание – всё-таки нужно разделять. Мне вот безумно интересно было попытаться понять, что же было за мышление у человека такое, какова была мотивация, но при этом я не готова простить Гиммлера. Никогда. Но если тебе интересно, что о нем думаю я, то у меня лично сложилось впечатление, что Гиммлер был из тех, кто с самого начала и до самого конца считал необходимым исполнять свой долг. У него было очень крепкое солдатское мышление. Военное. Он понимал это для себя так: есть босс, который говорит мне, что следует делать. А я просто следую его приказам и делаю то, что должно быть сделано, пусть даже я выполняю очень грязную работу. Но ведь он не только следовал приказам, он развивал механизмы уничтожения, напитывая их собственными представлениями о том, как систему зла можно сделать более эффективной. Думаю, что этот план с убийством такого огромного количества евреев и других людей, которые не были согласны с нацистами, был для Гиммлера одной из составляющих идеологии. Но больше всего его интересовало продвижение на восток, и чем дальше, чем глубже на восток, до упора, тем лучше, невзирая на гибель миллионов людей. И не важно, что там с Восточной Европой, что там с Россией. И эта идея действительно его волновала. Ему нравилось приводить в движение миллионы людей, которые окружали его, ради утопической идеи Великого Германского рейха. Он был наполнен идеологией СС с ее псевдометодологией, с ее вознесением Германии безо всяких на то оснований. Эта идеология и стала причиной гибели и страданий миллионов, но Гиммлеру на это было наплевать.

Из речи Генриха Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года: «Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или

чеха. Мы возьмем от других наций ту кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если в этом явится необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать их в нашей среде. Живут ли другие народы в довольстве, или они подыхают с голоду, интересует меня лишь постольку, поскольку они нужны нам как рабы для нашей культуры; в ином смысле это меня не интересует»[119].

Катрин продолжила:

– Да, думал он, наверное, это жестоко – убивать так много, – но мы должны сделать это для наших детей, ради нашего будущего, ведь наши дети и внуки заслужили лучшую жизнь. Искаженный способ мышления. Но я думаю, что именно так он объяснял себе необходимость того, что ему приходилось делать.

Из речи Генриха Гиммлера в Познани 4 октября 1943 года: «Когда ко мне придет кто-нибудь из вас и скажет: ”Я не могу рыть противотанковый ров силами детей или женщин. Это бесчеловечно, они от этого умирают“, – я вынужден буду ответить: ”Ты являешься убийцей по отношению к своей собственной расе, так как, если противотанковый ров не будет вырыт, погибнут немецкие солдаты, а они сыновья немецких матерей. Они наша кровь“»[120].

Катрин права, подумала я, права в том, что каждая попытка найти объяснение поступкам Гиммлера многим кажется попыткой оправдать его. Даже пока она говорила, мне на долю секунды подумалось, а не оправдывает ли она двоюродного деда?

Вот фрагмент из диалога психиатра Леона Голденсона с Эрихом фон дем Бах-Зелевски[121], проходившим свидетелем в Нюрнберге на международном трибунале.

« – Я помню, однажды Гиммлер лично присутствовал на казни ста двадцати человек… Их расстреляли в обычном военном порядке, три человека стреляли одновременно. Вся группа из ста двадцати человек была расстреляна целым батальоном. Я привел подробное описание в своем отчете, потому что оно дает интересное представление о характере Гиммлера. В тот раз среди расстреливаемых ста двадцати человек был один еврейский юноша двадцати лет с нордической внешностью, блондин с голубыми глазами. Гиммлер отозвал юношу от ямы, где того должны были расстрелять, и спросил, еврей ли он, все ли его дедушки и бабушки евреи. Юноша ответил, что, насколько он знает, все в его семье евреи. Тогда Гиммлер сказал, что не может помочь юноше, и тот был казнен вместе с остальными. Можете видеть, как Гиммлер пытался спасти жизнь мальчику.

– Вы привели этот случай в качестве примера благородства Гиммлера?

– Нет, я просто хочу показать, что Гиммлер был не таким, каким его представляют сегодня. Он не был бесчувственным к виду крови. Он был бесчувственным именно в силу своей фанатичной идеологии…»

Этот же Бах-Зелевски на Нюрнбергском процессе заявил, ссылаясь на речь Гиммлера начала 1941 года, что «целью русской кампании должно стать сокращение славянского населения на 30 миллионов человек»[122].

– Можешь подобрать три слова, которые бы максимально точно характеризовали Генриха Гиммлера?

Катрин задумалась, поджала губы в ниточку:

– Как бы подобрать три экспрессивных и коротких слова, чтобы охарактеризовать его? Я бы сказала, что он был человеком долга. Долг – прежде всего. Потом – скромный, да. По крайней мере имидж у него был такой, и ему было крайне важно, чтобы люди воспринимали его именно так – как маленького скромного человека. И чтобы его семья вела себя соответствующим образом. По крайней мере семья его брата, моего деда, вела себя так. И третье – человек без злоупотреблений. По-немецки это «приличный». Это что-то непереводимое, вроде честного, порядочного. Он говорил речь в Познани в 1943-м, на встрече СС, и, в частности, сказал, что, мол, я рад, что мы убили такое количество людей, но убили их чисто, порядочно, не запачкав своих рук.

«Для себя мы не взяли ничего. Отдельные оступившиеся лица будут наказаны согласно моему приказу, гласящему: ”Присвоивший себе хотя бы одну марку – умрет“. Несколько членов СС – их было немного – оступились, и их ждет безжалостная кара. У нас есть моральное право и обязанность перед нашим народом уничтожить другой народ, стремившийся к нашему уничтожению. Но у нас нет права обогатить себя ни одной шубой, ни одной парой часов, ни одной маркой, ни одной сигаретой. Мы уничтожаем бациллы, и мы не хотим от них заразиться и умереть. Я никогда не смирюсь с тем, чтобы тут возникла хотя бы маленькая гнильца. Если только она появится, мы выведем ее сообща! В заключение можно сказать, что мы выполнили этот тяжелый долг, и никакой ущерб не был нанесен нашей сути, нашей душе, нашему характеру…»

Генриха Гиммлера задержали 23 мая 1945 года и доставили в гражданский следственный лагерь британских войск № 031, что располагался под Люнебургом, – там Гиммлер был опознан несмотря на фальшивые документы на имя фельдфебеля Генриха Хитцингера, которые имел при себе. Потом Гиммлера доставили в

штаб-квартиру Второй армии, в следственный центр.

«Полковник Мерфи и военврач капитан К.Дж.Л.Уэллс <…> собирались выполнить обычный осмотр пленника. Они всё еще подозревали, что у Гиммлера может быть яд. Когда он разделся, они обыскали всё его тело – уши, подмышки, волосы, ягодицы. Затем врач приказал ему открыть рот и, по словам полковника Мерфи, ”тут же увидел маленькую черную капсулу в промежутке между зубами справа на нижней челюсти“.

”Станьте ближе к свету, – сказал врач. – Откройте рот“.

Он засунул в рот заключенному два пальца. Но тут Гиммлер резко повернул голову и укусил врача за пальцы.

”Он раздавил ее“, – крикнул врач.

Полковник с сержантом прыгнули на Гиммлера и повалили его, перевернув на живот, стараясь не дать ему глотать. Врач схватил его за горло, пытаясь заставить выплюнуть яд. Борьба за его жизнь с помощью промывания желудка длилась четверть часа. Использовали все способы искусственного дыхания. ”Он умер, – рассказывал сержант, – и когда это случилось, мы накрыли его простыней и ушли“. Двумя днями позже Гиммлера похоронили в безымянной могиле под Люнебургом»[123].

Я спросила у Катрин, верит ли она в официальную версию смерти двоюродного деда? К примеру, Гудрун Гиммлер, как рассказала Андреа, считает, что фото трупа Гиммлера, сделанное британцами, – ретушь его прижизненной фотографии. Что Гиммлера они не поймали. Есть и другие версии: что британцы сами прикончили Гиммлера. И какой из этих версий можно верить?

– Кто знает? – Катрин поджала губы. – Никто не знает. Много было спекуляций и публикаций особенно за последние годы, что, мол, его убили британские войска, или что, может быть, он выжил. Меня это не волнует совсем. Надеюсь, он просто мертв, – это единственное, что важно. Жаль, что он не понес ответственности за то, что сделал, что не попал на Нюрнбергский процесс. Но в Нюрнберг были вызваны его жена Марга и дочь Гудрун. Для Гудрун, которая там и узнала о смерти любимого отца (я так слышала), это был жуткий стресс…

– Можно вопрос на воображение? – поинтересовалась я. Катрин рассмеялась, дав понять, что можно, но и снова напряглась, слегка поджав губы. Я спросила. Моя визави сказала:

– Трудный вопрос. Что бы я сказала ему, если бы увидела? Я конечно хотела бы сказать ему: «Я не понимаю, почему ты сотворил такие жуткие преступления, как мог ты забыть обо всём, чему учили тебя родители в детстве! Ты же когда-то верил в Бога, ты должен был помнить о том, что всегда, в любой ситуации,

надо оставаться человеком – как можно убивать людей и объяснять самому себе, что это нормально?!» С другой стороны, услышал бы он меня? У него были забиты мозги идеологией еще с юности, в нее он уверовал с ранних лет, и она, идеология эта, стала неотъемлемой частью его личности. Думаю, что он не слышал никаких других мнений, контраргументов на протяжении долгих лет. Даже книги, которые он читал в 18–20 лет, все эти книги – всё в том же самом направлении. Он выбирал не те книги, которые позволяли взглянуть на проблему шире, давая разные точки зрения, а фокусировался строго на узких взглядах и мнениях. И эти книги лишь укрепляли в нем мировоззрение, подтверждая его. Это то, что Гитлер дал нации, – идеи и книги вот такие.

Мне стало любопытно, а есть ли в семье что-то от Генриха Гиммлера? Очень многие дети, внуки, родственники высокопоставленных нацистов, как правило, имеют какую-то фамильную реликвию, а то и несколько, в память о предке, как бы к нему ни относились.

– Вещи? – Она задумалась. – Ну у меня-то точно нет. А бабушка бежала с детьми в конце войны… У них при себе было лишь то, что они смогли унести. Всё, что оставалось в доме, они бросили – и это растащили соседи или кто другой. У Гудрун, наверное, что-нибудь есть, хотя считается, что изъято было всё. О! Вспомнила! Точно же! Я слышала от моей тети, старшей дочери моего деда, несколько лет назад, что у нее осталась одна фарфоровая фигурка, произведенная на мануфактуре специально для СС. И эта фигурка была «подарком от дяди Хайни», как она его называла, специально для нее, и фигурку эту она прихватила с собой, когда семья бежала. И мама, моя бабушка Паула, ей строго наказала: «Это подарок от дяди Хайни, береги его, не потеряй и не разбей!» А потом, пару лет назад, тетя позвонила мне и сказала, что она была в концлагере в Дахау и увидела там коллекцию фарфоровых фигурок, очень похожих на ее фигурку. И она была шокирована, когда узнала, что фигурки производили заключенные концлагерей. И тогда она стала спрашивать меня, что ей следует сделать с этой фигуркой? В конце концов она поехала в бывший концлагерь и отдала ее в музей. И вздохнула – как она сказала – спокойнее. Потому что место фигурки – в мемориале. И я с тетей в этом полностью согласна.

– Кстати о концлагерях. Ты во всех отношениях примерная девочка. Периодически ездишь туда, публично каешься за двоюродного деда. Скажи, а приходилось ли тебе сталкиваться там с навязчивым вниманием со стороны окружающих?

– Никогда такого не было, чтобы я приехала в концлагерь, а

люди, как в зоопарке, наблюдали за тем, как я реагирую на всё. Нет. Когда я была юной, я ездила по разным концлагерям с родителями и семьей – из-за их просветительских методов. А когда в 2005 году я написала свою книгу, меня стали приглашать в некоторые мемориалы на территории концлагерей выступить с лекциями по истории Третьего рейха и Гиммлера. Я не отказывала. Это моя профессия. Я должна это делать. Но мне всегда было непросто смотреть по сторонам. Я отчаянно пыталась сконцентрироваться на работе, на своей лекции, ради которой я туда и приехала, а не на мыслях о том, что по вине моего двоюродного деда творилось в этих местах. Как же это было трудно – не выразить словами! Для меня это было невыносимо…

Я уточнила у Катрин, что значит «ездила по концлагерям с семьей» в юном возрасте? И что за «просветительские методы»? Неужели она согласна с такими жесткими способами родителей разъяснять собственным детям, что такое нацизм и каковы были его последствия? Невольно вспомнилась история Рихарда фон Ширaха: когда его сын побывал в концлагере Освенцим со школьной экскурсией, то, вернувшись, принял решение сменить фамилию.

– Мои родители, таская меня по мемориальным комплексам, вряд ли думали о том, каково мне. А ведь в таких вещах – я говорю это как мать – нужно быть осторожнее. Трудно вообще предсказать, как отреагирует ребенок, как он потом сможет жить с этим? Мои родители переусердствовали – им было крайне важно рассказывать и показывать нам, детям, как можно больше. Но уж слишком рано начали. Впрочем, если задуматься, то это типичная модель поведения того поколения: иди и смотри. Я знаю от многих своих ровесников, как им точно в такой же нотационной жесткой форме разъясняли, что и как было в Третьем рейхе, тоже возили по концлагерям. Я готова пойти в любой концлагерь с моим тринадцатилетним сыном, но только если он сам выразит желание. Но никогда я не стану торопить его или тащить силком. Это не во благо. После первого шока у некоторых детей включается механизм защиты, и, уже став взрослыми, они говорят: «Нас этим перекормили, мы вообще ничего знать больше не хотим. Не будем больше ни читать об этом, ни смотреть кино, ни думать».

– Точно так, как твои брат и сестра…

– Да. Но я счастлива уже тем, что я могу хотя бы говорить со своим отцом. И с тетей. Той самой, которая отвезла фарфоровую фигурку в концлагерь.

– Можно ли предположить, что твой отец когда-нибудь освободится от этого груза окончательно?

– Нет, никогда. Уверена, что это невозможно. Это его крест. Он страдает. Да, мой папа – сын нациста и племянник крупнейшего нациста, и его это мучает долгие годы – такие, как он, они тоже жертвы режима, но, конечно, нельзя сравнивать их страдания со страданиями жертв. У меня вот много друзей в Израиле. Когда я путешествовала по миру, читая лекции, люди поначалу относились ко мне с подозрением, потому что я из семьи Гиммлер. Возможно, они считали, что я буду пытаться оправдывать своего родственника. Но в итоге я со многими из них подружилась – это стало возможно потому, что я была с ними честна, не пыталась ничего скрыть или приукрасить. Просто раскрыла карты и сказала: «Всё так, как есть, и я пытаюсь жить с этим так, как могу». И благодаря моей откровенности с людьми получалось перекидывать такие мостики, от меня к ним. И все эти лекции и знакомства позволили мне примириться с фамилией Гиммлер. Я осознала, что не должна стыдиться себя, ведь я не могу быть ответственной за то, что изменить не в силах.

Мы с Катрин начали собираться. Она порывалась оплатить счет, но в итоге уступила мне – в конце концов, это же я ее пригласила. Гиммлер предложила прогуляться вдоль Шпрее. Задачка не из простых, когда на улице так промозгло, но отказаться я не решилась.

По Шпрее, к которой мы спустились от ресторана, сновали прогулочные кораблики с открытыми, а оттого и пустыми палубами. Когда какой-нибудь из кораблей равнялся с нами, Катрин умолкала и кивала мне – мол, подожди. Перекрикивать их ей было тяжело.

Говорили мы о разном. Я поинтересовалась ее мнением по поводу тех родственников высокопоставленных нацистов, которые отказались иметь потомство.

– Например? – уточнила Катрин, шмыгая красным носом.

– Например, Норман Франк, старший брат Никласа и сын гауляйтера Польши Ганса Франка. Или Беттина Геринг, перевязавшая маточные трубы. Как тебе кажется, это нормально?

– Эти люди сами себя наказывают за то, в чем не были виновны, и их искренне жаль. Вообще каждый должен решать для себя сам, хочет он иметь детей или нет, хотя… в такой особенной ситуации, когда люди считают, что им нужно прервать свой род, чтобы остановить фамилию… Это, на мой взгляд, такой же радикальный подход, что был у нацистов. То есть эти люди придают крови и ДНК решающее значение – почти как в Третьем рейхе. Они свято верят в генетику и в то, что их потомки непременно будут чудовищами. Я вот не верю, что кровь столь уж

важна. Как и генетика. Как и грех поколений. Важно, кто ты сам, что ты делаешь, какие решения принимаешь, а не кровь.

Мне показалось, что она довольна тем, как сформулировала ответ, вовремя оборвав себя, чтобы не запутаться в собственных рассуждениях.

– Знаешь, – заметила я, – мне очень нравится, как четко во время нашего разговора ты разделяешь поколения: это «дети», второе поколение. Это «внуки» – третье. И так далее. И ты отдаешь отчет, что каждое поколение по-своему относится к проблемам своего родства с нацистскими бонзами. Как переживалось это «внуками»? Протест?

– Да, протест – это типичная история, которая случилась со вторым поколением. В 60-е. Это было время восстаний, конфронтаций. Много было протестов против родителей и конечно же дедов. «Внуки» хотели отделиться от семей, подчеркнуть, что они не нацисты, – при этом «внуки» не пытаясь даже разобраться, были их родители и деды нацистами или нет. Им не было дела до правды – они хотели не понимать, а осуждать. Думаю, что стало легче моему поколению, третьему, потому что возникла внушительная временная дистанция между нами и Третьим рейхом. И мое поколение могло задавать вопросы дедам и бабкам уже с позиции, а как такое вообще могло произойти, что случилось-то? Что заставило их принять в этом участие, может, какие-то карьерные возможности, к примеру? Или они чего-то боялись? Так много разных причин и мотиваций! Мне кажется, что узнать историю наших дедов крайне важно, чтобы избежать радикальных движений в современном обществе. Или появления новых форм нацизма и расизма. И сделать так, чтобы страшные годы в истории нашей страны не повторились снова.

Мимо нас проплыл очередной пароходик, сверкнув окнами, отразившими на долю секунды холодное солнце. А потом я сказала Гиммлер, что не все мечтают о том, чтобы упредить волну нацизма, фашизма, расизма. Я вспомнила про Райнера Хёсса и про интервью, которое мне дала Андреа Рёпке, та самая, что обличила дочь Гиммлера Гудрун и ее организацию «Негласная помощь». Вот еще одна очень любопытная выдержка из интервью Андреа:

«Можно с уверенностью утверждать, что сейчас в Германии и других странах Европы существует неонацистская сеть, которая в течение многих лет без каких-либо помех сотрудничает с организациями старых нацистов. Разумеется, многие умерли. Но те, кто еще жив, пользуются огромной популярностью у неонацистов, их приглашают в качестве почетных гостей на различные мероприятия, где их просят рассказать о своих

подвигах – в кавычках, конечно. Естественно, они отрицают Холокост, утверждают, что Освенцима не было, с гордостью рассказывают, как сражался доблестный вермахт, представляют всё в абсолютно искаженном виде. А молодые смотрят им в рот и верят каждому их слову. Вот что опасно. Есть примеры тому, как во время демонстраций или маршей неонацистов с речами выступают бывшие эсэсовцы, в том числе награжденные Рыцарским крестом, превозносят Адольфа Гитлера, восхищаются организационными способностями Гиммлера, то есть подают абсолютно искаженную картину событий. И это искаженное представление о Третьем рейхе они пытаются внушить молодежи, что опасно.

Вот вам, например, история Эриха Прибке, высокопоставленного офицера СС. Эрих Прибке – один из тех, кому “Негласная помощь” и глава ее Гудрун Гиммлер помогла выехать из страны. Но его всё-таки отыскали, выдали Италии, где в итоге над ним состоялся суд. Попался он по собственной глупости – дал, спустя полвека после совершенных преступлений, интервью журналисту, решив, что всё утихло. Но Прибке опознали, началось массовое негодование… И вот этот осужденный эсэсовец сегодня представляется героем, иконой неонацистов. Многие издания неонацистов поддерживают контакт с Прибке, с большим почтением рассказывают о нем, о Третьем рейхе в своих публикациях. И он, сидя в тюрьме, видит, что у него много сторонников среди молодежи.

Эрих Прибке представляет собой тип старых нацистов, которые так ничему и не научились. Пишет письма последователям, которые публикуют их в Интернете. Его почитают, ”он – герой, он сидит за наше общее дело, за Третий рейх“. Прибке – очень важная фигура в плане идентификации неонацистов со старыми национал-социалистами. Я тоже с ним переписывалась, выдав себя за его сторонницу. В письмах он жаловался, что в тюрьме ему приходится очень плохо, семья далеко, в Аргентине. И всё время представляет себя героем. Ни тени раскаяния, ни тени сострадания по отношению к жертвам, итальянцам, которых он расстреливал. Себя он считает жертвой. Такая позиция очень распространена среди бывших эсэсовцев.

А ведущей силой организации «Негласная помощь для военнопленных и интернированных лиц», той самой, которой и сейчас заправляет Гудрун Гиммлер, были и по сей день являются в первую очередь женщины, старые нацистки. Например, Гертруда Хеер, она жена покойного нацистского преступника. Я с ней встречалась, тоже в роли сторонницы, была у нее дома. Она жила в старой части Гамбурга, где полно музеев. Когда я пришла,

она сидела в величественной позе в кресле, над которым висел портрет Адольфа Гитлера. Она говорила очень властным тоном и всё время рассказывала только о Третьем рейхе. Вся гостиная в квартире была заполнена нацистской атрибутикой: и Гитлер, и свастики. Было ужасно неприятно там находиться. Рядом с креслом ее стояли банки пива. Когда я спросила, зачем они здесь, она ответила, что по вечерам к ней приходят молодые соратники, которым она рассказывает о тех временах, Третьем рейхе. Она была самим воплощением фанатизма, на 150 процентов. Я встречала многих таких женщин, которые, как Гертруда Хеер и Гудрун Бурвиц, попросту жили Третьим рейхом. Гертруда Хеер умерла лишь несколько лет назад. Такие, как она, жены преступников доживают до очень преклонных лет. И часть своего имущества, в том числе большую виллу на острове Рюген, Гертруда Хеер завещала нацистам, что, кстати, является обычной в "коричневых" сообществах практикой, – подобным образом поступают очень многие бывшие нацисты из организации "Негласная помощь". На деньги, полученные от старых нацистов, новые покупают себе дома, ведут "просветительскую" работу. Благодаря именно таким пожертвованиям у них нет нужды в средствах.

Отчего так происходит? Я много думала. Причиной тому явилось отсутствие дискуссии между немцами в послевоенной Германии, а именно отсутствие серьезного, основанного на доказательствах, анализа причин и событий времен Третьего рейха, анализа собственной вины. К примеру, Никлас Франк сломал своей книгой существующее в Германии табу. Сломал однозначно, яростно: мой отец – преступник, моя мать была заодно, моя семья поддерживала Гитлера. До него таких примеров в Германии не было, чтобы кто-то открыто заявил, что его отец нацистский преступник. Это был мужественный поступок. Я была потрясена его книгой. Я восхищалась мужеством Франка, понимая, как важно для Германии говорить на эту тему. Ведь мы представляем собой общество молчунов. Замалчиваем всё, что связано с виной немцев во времена Третьего рейха.

Мне кажется, дети нацистов стали писать книги о своих отцах только после того, как умирали их матери. Так было, наверно, легче. Никласу Франку, тоже написавшему книгу уже после смерти матери, нужно было излить всю ненависть к своим родителям, чтобы было легче жить. Не случайно, думаю, подобного рода книги стали появляться довольно поздно, лишь в 60-е и 70-е годы, видно, пришло время для них.

Разумеется, прошлое доставило много страданий детям известных нацистов. Им приходилось постоянно жить с

ощущением вины, с молчанием. Чтобы нарушить его, понадобилось очень много времени. Тем важнее открытая дискуссия на эту тему. Ведь неонацисты в Германии становятся опасной силой. Сегодня это не просто бритые наголо скинхеды в тяжелых ботинках. Нет. Они носят приличные костюмы, они образованы, они ловко оперируют фактами и пытаются представить НДПГ обычной партией. Следует отметить, что партия неонацистов всё более открыто проповедует национал-социалистические идеи. Ее фракции уже сидят в парламентах двух федеральных земель – Саксонии и Мекленбурге. Они постоянно совершенствуют свою риторику, аргументы в дебатах с полицией, ведомством по охране конституции. Они стремятся получить депутатские мандаты, теперь для них важно не выделиться, а чтобы их признали. Это процесс скрытый и потому очень опасный. Тем более что в этом участвует всё больше женщин, целые семьи. То есть они постоянно "варятся" в своих преступных убеждениях. Бюргер стал намного большим радикалом, чем был раньше. Мы вскрываем всё больше фактов о наличии оружия, проведении занятий по военной подготовке.

Если в Германии вдруг случится серьезный экономический кризис, увеличится число безработных или, что намного хуже, продолжится политика сокращения расходов на молодежную политику, образование, то неонацисты могут значительно расширить свои позиции. Именно там, где гражданское общество оставляет белые пятна, находят место и применение неонацистские идеи. Сейчас, особенно в сельских регионах, неонацисты выступают с лозунгом "Мы придем в города из деревни". Они приходят в спортивные, стрелковые клубы, поначалу становятся их рядовыми членами, водят туда своих жен и детей, постепенно, исподволь начинают проповедовать свои политические взгляды. Таким образом они скрытно распространяют свое влияние. Их цель – новое немецкое государство, новый Третий рейх, а времени у них достаточно.

Буквально в прошлые выходные состоялась тайная встреча, в которой участвовал более 300 неонацистов, они пришли вместе с семьями, детьми. Полиция отказалась контролировать ход встречи. Нам, журналистам, практически не удалось ничего сфотографировать – было опасно. Нас же уже знают в лицо.

Но мы не только "охотимся", но и ведем просветительскую работу. Я и мои коллеги бываем в школах, встречаемся с молодежью. Нас приглашают церкви. Мы показываем массу фотографий, сделанных тайком на встречах неонацистов. И очень много молодых людей интересуются нашей работой, очень многие хотят участвовать в ней с удовольствием и не хотят

нового рейха».

К Катрин Гиммлер неонацисты тоже приставали – в этом она призналась, когда мы обсуждали с ней то, о чем говорила мне Андреа Рёпке. Гиммлер сказала:

– Нацисты со всей Европы выходили со мной на контакт, обычно анонимно, через Интернет, это для них способ атаковать тебя, подобраться как можно ближе. Я даже пообщалась с некоторыми и убедилась: им совсем не стыдно за то, чем они занимаются. Но в целом, должна сказать, я счастлива, что неонацисты не атаковали меня агрессивно. Нет, были какие-то совсем ужасные люди. Я ведь опубликовала книгу в 2005-м, и с того времени ее перевели на много языков. И в этой книге я четко обозначила свое отношение к двоюродному деду Генриху Гиммлеру, к Гитлеру и Третьему рейху. Поэтому – ну да, писали мне, чтобы облить меня грязью, сказать, что я позорю фамилию Гиммлер. Было такое. Но было и другое. После написания книги многие люди связываются со мной через издателей – и для этих людей очень важно обменяться со мной опытом, рассказать об истории своей семьи. Во многих случаях они говорили, что для них было важно прочитать мою книгу, потому что появились мысли у них самих провести семейное расследование. Потому что во многих немецких семьях разговоры о Третьем рейхе до сих пор табу. Хочется надеяться, что за последние годы что-то сдвинулось с мертвой точки для этих семей, ведь молодое поколение говорит об этом всё больше и больше… А неонацистов я не боюсь. Я просто не отвечаю им.

Совершив получасовую прогулку вдоль Шпрее, мы с Катрин нежно простились. И пусть она уверяла, что ей совсем не холодно, я видела, что Катрин продрогла. Я предложила подбросить ее на машине, но она сразу же отвергла эту мысль, сказав, что поблизости есть метро и так будет намного быстрее. Она исчезла за поворотом через какие-то полминуты, после того как мы обнялись на прощание: ветер подгонял ее, раскидывая пряди распущенных волос.

Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер

С дочерью Гудрун

Татьяна Фрейденссон и Катрин, внучатая племянница

Гиммлера

Журналист Андреа Рёпке показывает фото дочери Гиммлера Гудрун

Роммель и Штауффенберг Герои или преступники?

Имя Эрвина Роммеля, генерал-фельдмаршала Третьего рейха, с сыном которого вы познакомитесь в этой главе, не столь широко известно в нашей стране (хотя те, кто интересуется историей Второй мировой войны, прекрасно знают его), потому что Роммель никогда не воевал в России: ни во время Первой, ни во время Второй мировой войны, когда в 1941 году Гитлер отправил его в Северную Африку, желая получить доступ к нефти на Ближнем Востоке, которая могла бы напитать свежей кровью всю немецкую технику и обеспечить долгожданную победу Третьему рейху (о ресурсах Северной Африки тогда никто не знал – к примеру, ливийская нефть будет обнаружена лишь в 1959 году). А с 1943 года Роммель воевал на Западном фронте.

Именно неучастие Эрвина Роммеля в боях на Восточном фронте и в зверствах нацизма зачастую позволяет многим оценивать его положительно, называя «блестящим стратегом» и «человеком чести». Так считают и в самой Германии. Несмотря на то что Роммеля очень уважал Адольф Гитлер, генерал-фельдмаршал не состоял в нацистской партии, – и на этом немцы делают особый акцент. За время Второй мировой войны немецкая нация не может похвастать обилием истинных героев, а те, что были, как правило, находились в оппозиции к Гитлеру. Многие и Роммеля пытались записать в активное тайное сопротивление фюреру – объективности ради надо заметить, что это не совсем так: Роммель сочувствовал заговорщикам, но лучшим выходом к 1944 году считал отстранение Гитлера от власти, а никак не физическое его устранение. Другое дело, что, будучи профессиональным военным, генерал-фельдмаршал понимал, чем закончится война, и в середине сороковых годов уже не скрывал своих пессимистических взглядов даже от Гитлера, чем приводил фюрера в бешенство.

В городе Херлинген, что находится в федеральной земле Баден-Вюртемберг, вы легко найдете улицу Эрвина Роммеля. Да и вообще в этой федеральной земле имя Эрвина Роммеля носит не одна улица и тротуар. И не только они: 1968 году состоялось торжественное открытие Роммельштрассе в Бад Канштатте, а также ряда мемориальных досок – в Вайнгартене и Голсаре (с золотым тиснением «Zum gedenken an Erwin Rommel, Generalfeldmarschall»[124]). Рядом с Ульмом, в городе Дорнштадт, были даже казармы Роммеля с дерзкой надписью на посту перед

шлагбаумом – «Rommel Kaserne» – и его портретом. Имя Роммеля носил и эсминец, который был торжественно спущен на воду в 1969 году в присутствии вдовы гитлеровского генерал-фельдмаршала Люсии-Марии Роммель. Не обошлось, конечно, и без памятника в городе Хайденхайм, где в 1891 году родился будущий военачальник. Выглядит памятник так: в поле под одиноким раскидистым деревом и ведущей к нему дорожкой – прямоугольный кусок стены из известняка с гравировкой: «Genelalfeldmarschall ERWIN ROMMEL».

На всех торжественных открытиях мемориальных досок, памятников, казарм, спуске на воду эсминца, презентациях книг о народном герое и переиздании книги самого Эрвина Роммеля *Infanterie greift an* («Пехота атакует»), написанной им после Первой мировой войны, присутствовал его единственный сын Манфред. И как потомок, и как чиновник: с 1974-го по 1996 год Манфред занимал пост мэра города Штутгарта (переизбирали его два раза).

Разумеется, мне хотелось встретиться с Манфредом Роммелем: он давно вышел на пенсию и проживал в Штутгарте, городе, в котором родился 24 декабря 1928 года. Даже заочно было понятно, что к своему отцу он относится с большим уважением и любовью, – это не так трудно, когда твоего отца считают героем (даже несмотря на то, что работал он на благо Гитлера и Третьего рейха. Однако Манфред, как сообщила его дочь Катрин, был тяжело болен. Впрочем, немного подумав, Катрин предложила выход: она познакомит нас с отцом и матерью Лизелотте, но интервью даст сама, а отец, если будет в состоянии, пройдет по комнате или просто посидит в кресле. «На большее рассчитывать трудно, – добавила Катрин, – отцу всё хуже, и даже полчаса интервью потребуют от него запредельных усилий».

Это был жаркий июньский день 2010 года. Голубое небо с редкими белыми облачками переливалось лазурью, позволяя прямым солнечным лучам выжигать всё вокруг в тихом районе Штутгарта, где за невысокими заборчиками кокетливо прятались частные владения с ровно подстриженной травой, еще не утратившей свой сочный цвет, и благоухающими кустами роз…

Из состояния спокойствия меня выбил звонок Катрин: она сообщала, что по семейным обстоятельствам – у нее приболели дети – она не может оказаться сейчас с нами. Все ее планы, включая рабочий график, пошли насмарку. Я взглянула на часы. Съемка в доме Роммелей должна была состояться через полчаса. Затаив дыхание, я ждала, чем закончится сбивчивый монолог

Катрин, густо сдобренный извинениями.

– Нет-нет, – сказала она вдруг, верно истолковав мое напряженное молчание, – не беспокойтесь. Съемка состоится, но без моего участия. Родители вас ждут, только постарайтесь не слишком… напрягать папу. Вы, когда увидите его, всё сами поймете – у него болезнь Паркинсона: он страдает уже почти пятнадцать лет, сидит на лекарствах, из-за которых получил еще и целый букет новых заболеваний… Извините, что говорю это… Но раз он не отказался сниматься, значит, возможно, чувствует в себе какие-то силы…

– Мы рановато приехали, нужно подождать, – заметил Сергей Браверман, пока оператор вытаскивал технику из багажника машины.

Мы лениво перебрасывались репликами.

– Да, еще полчаса. – Я снова посмотрела на часы: стрелки ползли так же медленно, как облака на безветренном небе. – А еще это солнце, эта жара…

Сергей заметил, что снимать мы будем в доме: судя по всему, Манфред вряд ли в состоянии выйти на улицу.

– А знаешь, как, оказывается, называют Манфреда здесь?

– Как? – Сергей подавил зевоту.

– Мистер Штутгарт. Судя по всему, его любят. И всё же… удивительное дело, он ведь сын того самого Роммеля. Разве не странно в принципе, что соратник Гитлера… герой?

– Он всё-таки военный и беспартийный, – заметил Сергей, – и, говорят, помимо того, что талантливый стратег, порядочный был еще и человек по отношению к своим войскам и к пленным…

«Был бы он таким милягой, окажись на Восточном фронте?» – подумала я и сказала вслух:

– Это повод называть в его честь улицы и открывать памятник?

– Возможно, есть что-то, чего мы не знаем?

– Намекаешь, что он был в активном сопротивлении?

– Вряд ли. – Сергей задумался. – Вряд ли. А что, в Германии все радостно принимают памятники и всё новые и новые книги о подвигах Эрвина Роммеля?

Не все.

За некоторое время до съемок в Штутгарте я прочитала несколько материалов в местной прессе. Всё-таки были те, кто не желал мириться с тем фактом, что Эрвин Роммель – национальный герой, память о котором нужно трепетно беречь и увековечивать. К примеру, «Казармы Роммеля» в 2007 году под давлением общественности были переименованы: оказалось, что в

конце девяностых годов на эту тему развернулся целый диспут, в котором участвовали Berliner Zeitung, Frenkfurter Rundschau и другие уважаемые в Германии печатные издания.

Недовольство некоторых граждан памятником Эрвину Роммелю в Хайденхайме началось еще раньше, чем разгорелся скандал с казармами. В 1985 году активисты Friedensbewegung[125] накрыли памятник черным саваном, на которым белыми буквами было написано «Dem NAZI-Helden ein Denlmal?»[126]. Спустя двадцать три года, в 2008 году, неизвестные вандалы «подправили» баллончиками надпись на памятнике. Так, вместо «Generalfeldmarschall ERWIN ROMMEL» появилась другая – «FASCHIST Genelalfeldmarschall ERWIN ROMMEL NAZI-SAU»[127]. Ущерб памятнику власти тогда оценили в 1000 евро.

Личность генерала, которым после войны так гордились, у третьего и четвертого поколения вызывала недоумение, и согласовать службу Гитлеру и рейху с тем, что Роммель был «хорошим парнем», у молодежи, взросшей на почве, пропитанной терпимостью, никак не получалось. Более того, Роммель скорее напоминал им о грязных страницах истории своей страны, которая не была столь кристально толерантна, как толерантна Германия сейчас. Да, в своей толерантности нынешние немцы, наверное, порой переходят все границы, как их предки в своей нетерпимости.

Дом единственного сына генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, Манфреда, стоит на тихой улочке в престижном районе Штутгарта. Для жилища градоначальника, пусть и вышедшего на пенсию, этот дом показался мне излишне скромным. Вокруг него нет ни высокого забора, ни видеокамер, ни проволоки с током, ни даже таблички, предупреждающей о злой собаке. Вдоль извилистой дорожки ползет металлический поручень: бывшему мэру, видимо, тяжело подниматься.

Стоя на пригорке, я разглядывала черепичную крышу двухэтажного дома в баварском стиле и думала о том, о чем думает среднестатистический россиянин, находясь у дома немецкого градоначальника: это были непечатные мысли о том, отчего здесь, в Германии, всё так замечательно правильно и просто – ни «мерседесов», ни мигалок, ни охраны, лишь простор, ясное небо над крышей, молодые яблони и изящные кипарисы, чередующиеся с кустами роз…

Территорию вокруг дома было трудно назвать огромной – и то же время она не производила ощущения крохотного кусочка земли. Она была обустроена и ухожена – видимо, садовник наведывался сюда регулярно.

Я нажала на кнопку звонка, и маленькие воротца, скорее элемент декора и обозначение границ частной собственности, чем попытка оградить участок от любопытных глаз прохожих, открылись. Мы с Сергеем и оператором сошли вниз по дорожке и оказались у входа в дом. Слева от входной двери стояла огромная деревянная скамейка: мне тут же подумалось, что неплохо было бы упросить чету Роммелей выйти и посидеть на ней, чтобы получился хороший кадр: мы снимем их сверху – с дорожкой, спускающейся к дому, через кипарисы и кусты роз…

Если только Манфред сможет выйти из дома…

Дверь открылась, и на пороге возникла пожилая женщина. Она мягко улыбнулась, по-старчески хихикнув, не без некоторого милого кокетства: «Здравствуйте! Я – Лизелотте Роммель» – и протянула сухую загорелую руку для приветствия.

Передо мной стояла типичная немка. Мне показалось, что фрау Роммель далеко за семьдесят. Судя по всему, Лизелотте и в юности не отличалась броской красотой, но она определенно была мила и трогательна. На ней была белоснежная хлопковая майка, поверх которой хозяйка дома надела темно-синюю хлопковую кофточку с изящным кружевом вокруг отточий пуговиц. На шею Лизелотте повесила кокетливые бусики из темно-синих кругленьких пластмассок.

На безымянном пальце правой руки Лизелотте красовалось простое широкое золотое кольцо: немецкие украшения зачастую вообще грубоваты. В кольцо был вделан зеленый камушек – совершенно точно не изумруд, скорее не самый дорогой нефрит. Похожее кольцо я позже заметила на руке у Манфреда, что утвердило меня в мысли о том, что мы – в доме образцово-показательной семьи, которая привыкла проповедовать традиционные ценности и теперь не мыслит своей жизни без них.

Лизелотте пригласила нас в дом, смущаясь и мило хихикая, наверное, от некоторого нервного напряжения. Она казалась несколько заполошной, но активной и деловой, и мне стало ясно, что Манфред Роммель – в надежных руках.

– Как себя чувствует герр Роммель сегодня? – поинтересовалась я, входя в дом вслед за хозяйкой и ощущая, что внутри нет кондиционера.

– Нормально, он молодец, – бодро ответила фрау Роммель.

Проследовав за Лизелотте, мы оказались в маленькой прихожей, потом – в небольшой проходной комнате. Стены ее были без обоев, зато все увешаны гравюрами в паспарту и простеньких рамочках, не согласующихся между собой. У окна – старинный деревянный шкаф, на котором красовались старые железные баварские пивные кружки.

Слева – деревянная лестница, ведущая на второй этаж. Мощные белые межкомнатные двери и белые косяки – в цвет стен и потолка. За одной из этих белых дверей, в гостиной, нас ждал единственный сын генерал-фельдмаршала Третьего рейха Эрвина Роммеля – Манфред.

Похож ли он на своего отца? Нет. Скорее он походит на огромного породистого пса, шумно дышащего и измотанного жарой. Несмотря на недуг, сгорбивший его некогда прямую спину, Манфред высок. У него огромная голова и тело под стать. И блестящие влагой карие глаза, скрывающиеся за линзами очков в тончайшей оправе. У Роммеля очень высокий лоб, над которым редеют распушенные щеткой пепельные волосы с густой проседью, – должно быть, Лизелотте поколдовала над мужем перед нашим приходом. Я также отметила про себя, что у сына гитлеровского любимца безупречно прямой нос, крупные уши, пожалуй, чуть великоватые ему, и безвольно отвисшие уголки губ – болезнь поселила на его лице гримасу Пьеро. Но стоило ему напрячь мышцы лица в попытке передать какую-либо эмоцию, как он становился по-детски милым и трогательным.

Тяжело дыша, он протянул мне огромную руку с мягкой ладонью. Я пожала ее и тут же обняла его, большого, мягкого и такого беспомощного. Тогда-то я и заметила, что он дрожит от неустойчивости. Вторая рука, которой он опирался на палку, держала вес его тяжелого и непослушного тела. Определенно Манфред не выглядел здоровым человеком, готовым болтать часы напролет, вряд ли он способен был выдержать дольше получаса съемки. Я взглянула на Лизелотте, которая, прочитав сомнение на моем лице, пожала плечами, улыбнулась и предложила нам чай и печенье. Я поблагодарила ее, но отказалась, прагматично посчитав, что лучше начать съемку, ибо чем дальше, тем труднее может быть Манфреду.

– Ну хорошо, – согласилась фрау Роммель, – но чай и печенье я принесу в паузе. Паузы будут необходимы, – добавила она спокойно и дружелюбно.

Раздалось тяжелое долгое кряхтение: приложив титанические усилия, Манфред опустился в огромное кресло, стоящее в самом центре гостиной, и теперь неверной рукой пристраивал свою палку к подлокотнику. Палка с шумом упала, и пока Роммель, рыча от бессилия, начал раскачиваться в кресле, чтобы встать с разгона, я быстро присела, подняла ее и приладила к подлокотнику. Он печально улыбнулся в своей беспомощности – и уголки губ чуть приподнялись. Я взглянула ему в глаза и поняла, что соображает он прекрасно: взгляд был ясный и острый.

Манфред, утопающий в кресле, казался огромной

деформированной горой глины. Сочувствие на пару с совестью разъедало меня изнутри, ибо я понимала, каким мукам придется подвергнуть этого человека, не пожелавшего отменить съемку в силу своего уже постоянно плохого самочувствия, но в глубине души я понимала, что не соглашусь по собственной воле остановить съемку…

Пока Сергей втолковывал оператору, какую точку съемки выбрать и на каких крупностях работать, я осматривала первый этаж дома, большую часть которого и занимала эта комната. На стенах висели карты, нарисованные от руки простым карандашом. Кое-где я заметила линии, прочерченные красным, – предполагаемая Роммелем линия наступления.

– Это… его…

– Что? – не поняла я, оглянувшись на Манфреда: я-то думала, он задремал.

– Его… карты…

– Вторая мировая? – уточнила я.

– Не… нет. Первая… я… расскажу…

«Ой, сдается мне, не расскажет. Он вообще не в состоянии рассказывать», – печальной мыслью пронеслось в голове, пока Роммель пытался шумно отдышаться после своих кратких реплик. Мне самой уже стало мучительно тяжело дышать – трудно, когда находящийся рядом человек не может сделать большой глоток воздуха в свое удовольствие и, словно выброшенная на берег рыба, судорожно открывает рот, бесшумно страдая без воды…

Гостиная дома Роммелей была перенасыщена предметами: картинки в разных рамочках, тарелочки, карты на стенах, полки с хаотичными небоскребами дисков, музыкальный центр, две большие китайские вазы, карандашницы, резные чашки из дерева, фарфоровое блюдо, календарь, брелоки… На полу – стопки толстых потрепанных книг с отогнутыми мягкими обложками, справочники – исторические и юридические.

На другой стене, напротив входной двери, – длиннющее окно. Спиной к окну – большой черный кожаный диван и кресло. Рядом с диваном – изящный резной деревянный столик XIX века, который на фоне остальной современной мебели казался тонконогим недоразумением. В дальнем углу комнаты – огромный дубовый стол, усыпанный ворохом бумаг и газетными подшивками.

Рядом – дверь в другую комнату, маленькую столовую. В проем были видны массивный деревянный стол, стулья и инвалидное кресло Манфреда.

По левую сторону от входной двери – огромный стеклянный шкаф во всю стену: я сразу отметила корешки биографий Эрвина

Роммеля, под которые были отведены отдельные полки. Там же за загустевшим от прикосновений стеклом книжных полок в хаотичной последовательности были расставлены самые разные фотографии, на которых я узнавала Манфреда в период его мэрства с неизменной спутницей жизни Лизелотте – в разных строгих нарядах и шляпках. Были цветные фотографии двух малышей во всех вариантах – как я догадалась, детей Катрин, внуков четы Роммель. Были, разумеется, и фотографии генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля в изрядном количестве. Было видно, что отец Манфреда присутствует в этом доме и занимает значительное место. К удивлению своему, среди этих хаотично расставленных фотографий я заметила ту, что была подписана снизу «Роммель и Монтгомери». Это были, разумеется, не отцы, а дети. То есть Манфред, которому на фотографии было чуть за пятьдесят, и сын британского фельдмаршала Бернарда Лоу Монтгомери, разгромившего Эрвина Роммеля в Африке, в сражении под Эль-Аламейном в 1942 году.

– Это Манфред и сын Монти, – шепнула мне проходящая мимо Лизелотте, с чайником для заварки в руках. – У них прекрасные отношения, несмотря на то что отцы были врагами и бились друг против друга. Два великих военачальника…

Ну не знаю. Сам Эрвин Роммель относился к британскому фельдмаршалу с некоторым презрением, считая, что Монтгомери не столь даровит, и обладай он, Роммель, такими же ресурсами, что и Монти, исход боев в Северной Африке мог быть иным. Но, надо признать, поражение в сражении под Эль-Аламейном, из которого Монтгомери вышел Монти Аламейнским, сильно подорвало здоровье генерал-фельдмаршала Роммеля.

Из беседы тюремного психиатра Леона Голденсона в Нюрнберге с Альбертом Кессельрингом, генерал-фельдмаршалом военно-воздушных сил, а позднее главнокомандующим вооруженными силами Германии и Италии: «“Впадал ли Роммель когда-нибудь в такую депрессию, что его приходилось госпитализировать?” – “Да. У Роммеля случился нервный срыв в Африке, и его госпитализировали. Он был сильно подавлен. В Эль-Аламейне он был уже не тем Роммелем, что раньше. С того момента он уже не мог выносить всё это”»[128].

Одна из множества необычных версий о смерти Эрвина Роммеля состоит в том, что он, дескать, не выдержал поражения от Монтгомери и принял яд. Этот, я бы сказала, шекспировский сюжет не выдерживает критики хотя бы просто потому, что человек с молниеносной реакцией, талантливый стратег и тактик, получивший во время Африканской кампании прозвище Лис пустыни, слишком долго раскачивался, прежде чем испить яд:

в 1942 году Роммель потерпел поражение в битве при Эль-Аламейне, через полтора года командовал группой армий «В» в Северной Франции, где его шефом был фельдмаршал фон Рундштедт. А скончался Роммель в ноябре 1944-го – выходит, долго он тянул с ядом, который собирался принять якобы из-за Монтгомери. Хотя красивая история о вражде двух военачальников могла бы лечь в основу какого-нибудь голливудского фильма или фикшн-произведения о Третьем рейхе.

Когда мы закончили приготовления к съемкам, Лизелотте разбудила Манфреда. Роммель решил начать с начала, то есть с краткой биографии отца. Я попыталась возразить, что интересно было бы узнать о жизни самого Манфреда, на что он ответил: «Моя жизнь не так интересна, как его, но я непременно… расскажу о себе, своем отношении к отцу…»

Нужно сказать, принижая себя, Манфред лукавит. Он стал очень популярным политическим деятелем в Германии, проявив себя прекрасным тактиком и стратегом, хотя и не на поле брани, как его отец. Манфред – один из лучших хозяйственников, «коммунальных политиков» в стране. Более того, он редкий пример человека, которому удалось добиться большого успеха и стать самостоятельной единицей, раздвинув рамки фамилии. И у Манфреда Роммеля наград не меньше, чем у его отца, только все за вклад «в мир, а не войну».

В 1987 году Манфред стал кавалером ордена «За заслуги перед Итальянской республикой», два года спустя, в 1989-м – кавалером ордена «За заслуги перед Федеративной Республикой Германией», в 1990-м – командором ордена Британской империи. Из рук бывшего президента Франции Жака Ширака он получил орден командора Почетного легиона (2002 г.) за развитие культурных связей между Германией и Францией (с 1995-го по 1999 год представлял немецкий МИД в контактах с Францией). К тому же Манфред – автор множества книг, посвященных проблемам сегодняшней Германии.

Устроившись напротив Манфреда, я с ужасом думала о том, как он будет рассказывать. Речь его была сбивчива и непонятна – до такой степени, что даже немец Роланд из бюро ZDF в Москве, к которому я позже обратилась с просьбой помочь в переводе интервью, в итоге сказал, что сделал всё что мог: часть слов Манфреда разобрать было невозможно, потому что, когда силы покидали его во время интервью, он переходил на шепот или бубнил себе под нос. Но, к счастью, б\льшую часть того, что рассказал Роммель, воспроизвести можно.

«Мой отец был родом из мещанской семьи. Его отец,

директор средней школы, постоянно говорил Эрвину: “У тебя есть два варианта, либо ты станешь учителем, либо солдатом”. А мой отец, будучи хорошим математиком, хотел стать инженером. Но мой дедушка был против. Таким образом, отец стал солдатом, профессиональным военным. И необычно при этом было то, что он никогда не воевал в России – ни во время Первой мировой войны, ни во время Второй. После Первой мировой, несмотря на успехи отца, пробиться в Германии было, конечно, мало шансов… Тогда приходилось радоваться тому, что ты вообще смог оставаться в рядах армии. Четырнадцать лет мой отец пробыл в звании капитана. Сегодня такое было бы невозможно в Германии, это вызвало бы скандал, но тогда все твердили: будь счастлив, что у тебя вообще есть работа. В армии ощущалось нежелание вновь воевать. Это касалось не только Германии – всех, и французов, и англичан. И Гитлер, пришедший к власти в 1933 году, сначала постоянно заявлял: “Да, я пережил войну. Я был ефрейтором. Я никогда не начну новую войну”. Но в действительности он запланировал войну с самого начала».

Эрвин Ойген Йоханнес Роммель во время Первой мировой войны служил в Альпийском батальоне на горной границе с Италией (во время Итальянской кампании) и Румынией (во время Румынской). В ходе боев у горы Капоретто Роммель захватил важные стратегические позиции и вынудил сдаться противника, превосходящего немцев количеством. За это он, молодой офицер, получил высшую военную награду Пруссии – орден Pour le MJrite («За заслуги»). В 1914 году он получил Железный крест 2-го класса, а в следующем году – 1-го класса. На кресте Роммеля – цифра 1914. И крест этот находится в историческом музее в Баден-Вюртемберге: Манфред Роммель передал туда все награды генерал-фельдмаршала. Себе оставил семейные фотографии, несколько карт с Первой мировой, пачки писем отца ему и матери и приказы за подписью Роммеля. Даже маршальский жезл Манфред передал в музей.

В октябре 1917 года Эрвин Роммель был произведен в капитаны. После подписания Версальского договора продолжил службу в рейхсвере. Командовал батальоном, служил инструктором в Дрезденской пехотной школе, преподавал в Потсдамской военной академии. Двадцатые годы для Роммеля – семейные: он женился на Люсии-Марии Моллин, и в 1928 году на свет появился их единственный сын Манфред.

В 1936 году Роммель, профессиональный военный, был назначен работать с гитлерюгендом, которым управлял Бальдур фон Ширах, – с его сыном я встречалась в Мюнхене. Но Роммель общего языка с фон Ширахом не нашел: «Полученное им

назначение руководителя военной подготовки членов гитлерюгенда явно было лишь одной из ступеней к высшим командным постам. Позже я узнал, что Роммель отнюдь не был доволен этим назначением и постоянно конфликтовал с руководителем этой организации Бальдуром фон Ширахом. Фон Ширах никогда не служил в армии, и его идея о том, что молодыми людьми должны командовать их же сверстники, привела к тому – как Роммель и предсказывал, – что Schnoesels[129] командовали своими отрядами, сидя в больших сверкающих “мерседесах”, словно они были командирами корпусов. Во всяком случае Роммель вскоре отказался от этого поручения, причиной чего было поведение Шираха»[130].

«Ширах, по его мнению, был чересчур властным и бестактным, и Роммель называл его просто – Dumme Junge – глупый мальчишка»[131].

В 1937 году Эрвин Роммель опубликовал свои военные дневники под названием «Пехота атакует», которые были высоко оценены и военными, и Адольфом Гитлером.

Манфред тяжело застонал и закрыл глаза: на секунду мне показалось, что его тяжелое дыхание вдруг оборвалось и он умер. Но живот его снова начал вздыматься. Через минуту он открыл глаза и вдруг сказал:

– Про Польшу… В 1939 году Гитлер и Сталин поделили Польшу, как известно. И войска обеих сторон вошли туда. Нужно сказать, что моя мать, Люсия-Мария, была родом из Польши, хотя она прекрасно говорила по-немецки. Я даже не знаю, владела ли она как следует своим родным языком, вряд ли… Так вот, у мамы были два кузена, жившие в Польше. Один был католическим священником, другой – офицером в кавалерии. Сразу после начала войны с Польшей мой отец, который тогда был генерал-майором и начальником штаб-квартиры фюрера, приехал и подтвердил, что является родственником этих двух кузенов, что их не надо трогать. Но спустя несколько дней обоих кузенов матери убили немецкие экстремисты. По этому поводу мой отец написал несколько писем большим начальникам, в частности рейхсфюреру СС Гиммлеру. И Гиммлер ответил отцу, что они, наверное, погибли из-за непогоды. Это было необычное утверждение. На самом деле это была типичная акция по ликвидации польской интеллигенции. Русские были нашими союзниками. Многие были рады этому обстоятельству. Но в верхах не было сердечной теплоты и дружеских чувств. Гитлер заговорил о войне с Россией в 1940 году, после Французской кампании.

– Присутствовал ли ваш отец на параде в честь взятия

Польши?

– Вероятно, мой отец присутствовал там… Он же был высшим чиновником, который отвечал за организационные вопросы в штаб-квартире. Правда, в Польше он еще не командовал войсками… Но, будучи начальником штаб-квартиры фюрера, мой отец хорошо ладил с Гитлером, при этом избегая политических вопросов, – он был военным и не интересовался политикой, закрывая глаза на то, что происходит вокруг. Но я не оправдываю его, нет… Отец не сразу понял, что происходит, – если говорить об убийствах евреев, ведь при диктатуре возможны такие дела, о которых народ даже не догадывается. А у вас тоже было так, когда расстреляли польских офицеров, – СССР и Россия позже открещивались от Катыни, причем многие искренне не подозревали, что такое может быть. Так что слухи про массовые убийства евреев мало кто воспринимал серьезно. Хотя это ужасно. И если бы ты в конце тридцатых сказал, что, мол, у нас в Германии уничтожают людей, тебе бы возразили: «Зачем врешь, очерняя отечество? За такое ведь можно и в тюрьму».

В общем, Гитлер очень высоко ценил отца, всегда принимал его чрезвычайно приветливо. Геббельс также считал отца чрезвычайно эффективным человеком. Одно время мой отец был, согласно соцопросам, самым популярным генералом в Англии и в Америке.

Дело было так: в 1941 году Роммель, отдавая себе отчет, что поступает дерзко, попросил фюрера назначить его командиром танковой дивизии, не будучи танкистом, но Гитлер согласился и поручил ему командовать 7-й танковой дивизией. Но всему этому предшествовала вот какая история, записанная Хайнцем Вернером Шмидтом со слов самого Эрвина Роммеля:

«– Господин генерал, как вы познакомились с Гитлером?

Я навострил уши. Роммель откинулся на спинку сиденья и задумался. Потом предался воспоминаниям, что случалось с ним крайне редко.

– Я состоял при штаб-квартире фюрера, когда он впервые заметил меня. К тому времени я уже довольно долго служил здесь, эдакий незаметный подполковник на второстепенной должности, – сказал он. – Да, я был мелкой сошкой – нечто вроде коменданта лагеря, в котором располагалась штаб-квартира здесь, в Африке. Это означало, что я отвечал за транспорт, меры безопасности и другие скучные организационные материи.

И вот в День партии – очень хлопотный день – я получил приказ от Гитлера о том, что он хочет уехать на следующее утро в сопровождении шести машин, не более. Я должен был сделать так, чтобы к этому кортежу ни при каких условиях не

присоединилась ни одна машина. Когда наступило утро и Гитлер собрался уезжать, я увидел, что площадь перед штаб-квартирой запружена автомобилями, в которых сидели министры, генералы, гауляйтеры и другие “птицы высокого полета”. Но я был готов к этому.

Когда автомобиль, в котором сидел Гитлер, уехал, я пропустил пять машин, потом встал на дороге и загородил путь шестой. Она остановилась, и я передал ее пассажиру, уж не помню, кто это был, кажется, какой-то министр, приказ Гитлера. Как же он разорался в ответ! Он вопил, что какой-то паршивый подполковник мешает ему, высокопоставленному лицу из окружения Гитлера, выполнять свои обязанности. Надутый осел!.. Гитлер в тот же вечер вызвал меня и вместо выговора выразил свою благодарность. Он не ожидал, что его приказ будет выполнен и что ему удастся уехать без “помех”. После этой встречи меня стали часто приглашать на вечерние беседы за столом Гитлера, где он разговаривал со мной о моей книге “Пехота атакует”, которую я написал после Первой мировой войны и которую он прочел с большим вниманием. После этого он, по-видимому, решил, что я толковый парень».

С.У.Митчем, автор книги «Величайшая победа Роммеля», уверен в том, «что англичане ценили Роммеля выше, чем высшее командование германской армии… Это засвидетельствовал даже Уинстон Черчилль, выступая в палате общин в январе 1942 года: “Нам противостоит очень отважный и умелый противник. Несмотря на разделяющий нас огонь войны, я могу сказать, что это великий генерал…” Такого же мнения о Роммеле был и Окинлек, который в начале июля 1941 года сменил Уэйвелла на посту британского главнокомандующего силами Среднего Востока. Он оказался достаточно глуп, чтобы отдать следующий приказ:

ВСЕМ КОМАНДИРАМ И НАЧАЛЬНИКАМ ШТАБОВ

ОТ: Главнокомандующего

Существует реальная опасность, что наш друг Роммель станет для наших солдат колдуном или пугалом. О нем и так уже говорят слишком много. Он ни в коем случае не сверхчеловек, хотя он очень энергичен и обладает способностями. Даже если бы он был сверхчеловеком, было бы крайне нежелательно, чтобы

наши солдаты уверовали в его сверхъестественную мощь.

Я хочу, чтобы вы всеми возможными способами развеяли представление, что Роммель является чем-то большим, чем обычный германский генерал. Для этого представляется важным не называть имя Роммеля, когда мы говорим о противнике в Ливии. Мы должны упоминать “немцев”, или “страны Оси”, или “противника”, но ни в коем случае не заострять внимание на Роммеле.

Пожалуйста, примите меры к немедленному исполнению данного приказа и доведите до сведения всех командиров, что с психологической точки зрения это дело высочайшей важности.

К.Дж.Окинлек»[132].

Ну а дальше началась блестящая карьера Эрвина Роммеля, о которой в подробностях можно прочитать в любой из его многочисленных биографий. Мы же непременно коснемся Африканской кампании Роммеля, но без скрупулезности, присущей историкам. Нас эта кампания интересует потому, что именно в Африке под командованием Роммеля служил человек, который тоже прославился на весь мир. Человек, который стал косвенной причиной смерти генерал-фельдмаршала.

Лизелотте принесла печенье и прочие сладости, большинство из которых приготовила сама. Манфред так и остался дремать в кресле, бормоча что-то себе под нос и набираясь сил.

– Он быстро устает, – сказала фрау Роммель, – болезнь изматывает. Но самое главное – то, что он очень хочет вам сказать, непременно расскажет…

– О смерти отца?

– Да, – кивнула Лизелотте, – для него это болезненный вопрос. Он хочет, чтобы все знали, что его отец не покончил с собой и не умер от ранения, а был убит… Истинная правда, драма, которая развернулась на глазах у Манфреда… Это ужасная история, и Манфред мечтал бы, чтобы во всех учебниках истории о смерти его отца написали правду. Вы не представляете, сколько было разных версий, вплоть до того, что в 1944-м году Роммель отказался воевать в гитлеровских войсках и покончил с собой. Такое пренебрежение фактами Манфреда расстраивает. А муж на всю Германию талдычит с 1945 года – отец не убивал себя из-за Монтгомери, Сопротивления, страха, в конце концов. Отец был вынужден убить себя.

Потом Лизелотте показала пальцем на круглое печенье,

которое она принесла на подносе:

– Попробуй-ка вот это, оно удалось, кажется, лучше всего…

– Я тут, – раздался вдруг голос Манфреда, звучал он уверенно. – Я в порядке. Может, и мне дадите?

Лизелотте помогла мужу встать с кресла и подвела его к столу. Манфред тут же потянулся к печенью. Круглому.

– Манфред, я говорю Тане, что твой отец не покончил с собой.

– Нет, нет, – сказал Манфред. – Его убили.

– Гитлер, – констатировала я, зная ответ.

– Да, – согласился Роммель, глядя на меня, – и эту историю я просто обязан вам рассказать полностью… как смогу… Быть может, это в последний раз, когда я смогу ее рассказать…

После чаепития, воспользовавшись временным улучшением состояния хозяина дома, я попросила Манфреда и Лизелотте выйти на улицу и немного посидеть на скамейке. Так хоть будет план, снятый на натуре, и Манфред будет показан не только беспомощным стариком в кресле.

Я спросила присевшую рядом Лизелотте, как и когда они познакомились с Манфредом и давно ли живут здесь. Она тихо рассмеялась, несколько смущаясь камеры:

– Мы владеем этим домом с 1954 года… А познакомились в поезде. Оба учились в городе Тюбингене в университете, Манфред изучал юриспруденцию, а на выходных мы вместе возвращались из Тюбингена в Ульм, болтали, общались…

– А потом поженились, и у нас родилась наша любимая и единственная дочь Катрин, – неожиданно громко сказал Манфред. – А сейчас она уже взрослая женщина, сама мать двоих сорванцов. Девочку зовут Зара, а мальчика Денард.

Лизелотте закивала, как китайский болванчик: ох, наши любимые внуки!..

– Вы ведь взяли фамилию мужа? – поинтересовалась я у фрау Роммель. – Вы знали, что это за фамилия? Легко ли решились ее взять?

– Ой, в наше время было принято брать фамилию мужа. Так что я ничего не имела против, чтобы стать Лизелотте Роммель. И фамилия очень достойная, ею можно гордиться…

Манфред довольно кивнул. Тут и без всяких вопросов было ясно, как сын относится к отцу.

– Кстати, вы знаете, дедушка и бабушка Лизелотте… они греки из Константинополя, – сказал Манфред и тяжело выдохнул.

Я взглянула на Лизелотте. Вот тебе и «типичная немка»…

– Но никто из моих предков не был связан с армией, не был военным, – добавила она и улыбнулась Манфреду. А я вошла в

семью Эрвина Роммеля…

– Если позволите, герр Роммель, я еще спрошу вас про фамилию. Вы же были мэром Штутгарта…

– Трижды, – не без детской гордости добавил Манфред, справившись с неверной рукой и подняв указательный палец. – А теперь у города новый герой, господин Шустер, которого, между прочим, я порекомендовал. Избиратели и в этом мне поверили. Вот…

– Кстати об избирателях. Ваш отец, как я поняла, – фигура неоднозначная. С одной стороны, в честь него называют улицы, с другой – он все-таки гитлеровский генерал-фельдмаршал. Как можно было в послевоенной Германии с такой фамилией строить карьеру политика? Вас избрали сторонники отца? Оставшиеся сторонники нацистов? Те, кто просто уважает Роммеля? Какую роль сыграла фамилия в вашей карьере?

– Вначале фамилия отца мне очень помогла – в глазах многих мой отец был героем. Уважение к его имени у избирателей было несомненно. Я получил большое количество голосов, около двух третей, хотя соперничал с очень мощным противником. Я знаю, что большинство солдат, служивших у моего отца, голосовало за меня. Но ведь фамилия – это просто фамилия. Если тебя избрали, но спустя два года у тебя ничего не получается, то любой скажет: «Господин Роммель, вы все-таки идиот, и на вас природа отдохнула». Но на следующих выборах за меня снова проголосовали – уже как за меня, а не как за потомка Роммеля. И потом – еще раз. Тогда имя отца уже не играло никакой роли… Но фамилия обязывает, конечно. Ко мне всегда подходили с определенной меркой: как чиновник я сталкивался с этим постоянно, даже до того, как стал мэром, еще когда работал в министерстве финансов… Кстати, я вспомнил забавную историю. Моя дорогая Лизелотте в свое время работала преподавательницей при монастыре Святой Екатерины. И дочь председателя нашей компартии училась у нее, хорошая, прилежная девочка.

– Она, кстати, потом продолжила свое обучение в Москве и вернулась обратно. – Настроение у фрау Роммель было прекрасное: она с нежностью смотрела на мужа, ей нравилось, что он оживился. Манфред явно общался с большим удовольствием, делая иногда предупредительный жест рукой, чтобы не дать Лизелотте прервать его…

– Да-да, и Лизелотте постоянно поддерживала ее, эту дочь коммуниста. В общем, когда эта девочка вернулась из Москвы, я как раз стал кандидатом на пост мэра Штутгарта. И она подошла к моей жене и сказала: «Как дочь коммуниста я не могу

голосовать за вашего мужа, я хотела бы, но это неправильно. Я просто прошу вас передать это ему».

– А я ей ответила: «Ну зачем ты мне это говоришь? Я всё понимаю и без слов», – тихо рассмеялась Лизелотте.

– Но это было очень по-мелкобуржуазному трогательно… – добавил Манфред.

Дурацкое, конечно, сравнение, но Лизелотте с мужем казались мне милыми голубками. Она сжала своей рукой его большую руку и следила за каждым его словом, радуясь, когда у него получалось говорить без одышки и четко.

– Мне очень жаль, что вы не можете увидеть нашего кота, – посетовала Лизелотте, забыв про работающую камеру. – Он просто замечательный, но с утра убежал гулять.

– А у моего отца была собака, – сказал Манфред, – точнее, две собаки. Так странно вышло, что обе собаки терпеть не могли людей в униформе, и когда кто-то из подчиненных приходил к отцу, нужно было сразу запирать дверь, иначе собаки лаяли как безумные. Помню… – Манфред часто и прерывисто задышал, это было похоже на счастливый смех человека, вспомнившего забавную историю из своей юности. – …Собаки как-то не усидели в комнате и вышли. И какой-то младший сержант, спасаясь от них, залез на отцовский стол. Отец вошел в комнату и сказал ему: «Вы же мужчина! Как же можно так бояться собак!»

– Может, вы расскажете еще немного о вашей карьере?.. У вас такие ордена… – напомнила я Манфреду.

– Собственно, я всё сказал про политическую карьеру… А ордена… я ими горжусь, но никогда ими не жил. Может, вас интересует моя военная карьера? Я ведь начинал в люфтваффе, служил в ПВО. Воевал во имя Третьего рейха. И даже хотел вступить в СС…

Я посмотрела на Манфреда, мэра с нацистским прошлым и сына человека, который был одним из любимейших генералов Гитлера до 1944 года.

– Да, я мечтал вступить в СС, – продолжил Манфред Роммель, – но отец был категорически против: нет, только не туда, не к Гиммлеру. Там – люди полностью подневольные. Им скажут убивать мирное население и детей – они пойдут убивать. Помню, он сказал: «Пока я жив, я буду решать, где тебе служить. В СС ты не пойдешь ни в коем случае». – Манфред тяжело вздохнул и что-то пробормотал себе под нос, я не переспрашивала. Казалось, он выдохся и замолчал, но секунд через десять продолжил: – Мне тогда было лет 13-14. И я, конечно, мечтал попасть в дивизию из членов гитлерюгенда при СС, которая была сформирована в 1943 году. Это было очень

круто. Но дивизия эта в итоге понесла страшные потери в Нормандии. Ребятам было от 16 до 18 лет, они были хорошо обучены и потому брошены в оборону. В общем, дивизия начала воевать с численностью состава в 22 тысячи человек. Это было 7 июня во Франции. А в конце, в сентябре, осталось, по-моему, лишь 800 человек с тремя танками и с несколькими единицами противотанковых орудий.

– Вам повезло…

– Да, отец был прав, – сказал Манфред и вздохнул, – он во многом был прав…

Устроившись в кресле и окутав себя полумраком гостиной, что создавал приятный контраст с выбеленной картинкой на улице, Манфред продолжил тему своей военной карьеры:

– Уже в возрасте сорока девяти лет я имел звание генерал-лейтенанта. И никто мне в этом не помог. Недавно один полковник заявил мне: «Господин Роммель, в Третьем рейхе ваш отец был слишком быстро повышен в должности». Я ответил: «Мой дорогой друг, я тоже был быстро повышен в должности и, в конце концов, оказался в той же тарификационной группе, что и мой отец». И тогда мой собеседник стушевался и не нашел, что ответить…

Манфред откинулся на спинку кресла и прикрыл глаза. Заговорил он после долгой паузы:

– Сталин и Гитлер, – сказал он четко и снова замолчал.

– Поспорим, – тихо предположила я, – что вы сейчас обрушитесь на Сталина, уравняв его с фюрером?

– А что? – тяжело задышал Манфред. – Была большая разница? Впрочем… Сталин всё же… конечно, не стоит хвалить Сталина… но Сталин выглядел чуть внятнее, как мне кажется, в том смысле, что он добился того, что советскую промышленность эвакуировали на восток – без этого Советский Союз был бы повержен… И, кроме того, Сталин не так яро вмешивался в дела управления войсками, оставляя это на откуп советским маршалам… Гитлер же все решения принимал сам. Склонившись над картой, он отслеживал передвижения армий своим карандашом, ставил галочки и говорил: хочу, чтобы было так.

«О положении на западном театре военных действий – тогда бои шли только на территории Северной Африки… Гитлер и здесь стремился вникать во все подробности. Роммель неоднократно вызывал недовольство Гитлера тем, что очень невнятно докладывал в ставку о передвижении своих войск, то есть попросту скрывал от нее истинное положение дел с целью неожиданно преподнести сенсационную новость о полностью

изменившемся положении на фронте. Гитлер бурно негодовал, но, питая сильную симпатию к Роммелю, закрывал глаза на его поведение»[133].

А вот те же «Воспоминания» Шпеера о встрече Роммеля и Гитлера в 1943 году: «Он был очень вежлив с Гитлером, но держался несколько отстраненно и почти демонстративно не называл его “мой фюрер”. Для Гитлера Роммель был профессионалом высокого класса, способным, как никто другой, отразить атаки войск западных союзников. Лишь поэтому он так спокойно воспринял его критические замечания… Видимо, Роммель подумал, что бессмысленно приводить какие-либо доводы человеку со столь дилетантскими суждениями. Во всяком случае, в ответ он только пренебрежительно и даже несколько сочувственно улыбнулся…»[134]

Роммель как профессиональный военный и индивидуалист по своей натуре не слишком скрывал, что считает Гитлера дилетантом, которому не следует вмешиваться в работу профессионалов. Более того, он исполнял приказы фюрера исходя из их целесообразности, и пока он одерживал блестящие победы, это неповиновение ему сходило с рук. Поставленный командовать Африканским корпусом в начале 1941 года, генерал-лейтенант Эрвин Роммель вскоре стал генерал-полковником, а потом и генерал-фельдмаршалом (22 июня 1942 года), получив награду из рук Гитлера. Новое звание было присвоено ему после победы 20 июня 1942 года в битве за Тобрук, самую укрепленную крепость Африки. Считалось, что взять ее невозможно. Это был главный плацдарм союзников, и хотя его пытались штурмовать множество раз, выбить защитников из крепости не удавалось. У Роммеля – получилось.

К июлю его армия, потеснив превосходящую численностью армию союзников, уже находилась под Эль-Аламейном: это при том, что с каждым днем положение в войсках стран Оси ухудшалось – сказывалась колоссальная нехватка топлива, орудий, людей. Роммель ждал подкрепления, но подкрепление пришло лишь к войскам союзников – и не только в виде техники: 15 августа появился и новый командующий английской армии – тот самый Бернард Лоу Мотгомери, которому суждено будет стать Монти Аламейнским.

В 20-х числах октября Роммель по болезни находился в отпуске на горном курорте, когда 24-го раздался звонок от Гитлера, требующего его прервать лечение и срочно вернуться в Африку. Когда генерал-фельдмаршал оказался на поле боя, сражение за Эль-Аламейн было уже проиграно. Роммель понимал: нужно отступать – обороняться бессмысленно.

Манфред: «Гитлер и Муссолини постоянно приказывали: Остановитесь! Победа или смерть! Отец понимал, что это полный идиотизм, и долго думал, стоит ли подчиниться, но в итоге сделал так, как требовал Гитлер, понимая, что это абсолютный тупик. Он-то хотел сохранить своих людей».

Манфред имеет в виду депешу Гитлера Роммелю от 3 ноября 1942 года, которую я позволю себе процитировать по книге Ширера «Взлет и падение Третьего рейха»:

> “Фельдмаршалу Роммелю.
>
> Я и немецкий народ внимательно следим за героическими оборонительными боями в Египте, с верой уповая на силу вашего руководства и храбрость германо-итальянских войск под вашим командованием. В той ситуации, в какой вы теперь находитесь, не может быть иного выхода, кроме как твердо удерживать занятые рубежи, не отступать ни на шаг, бросать в бой каждое орудие, каждого солдата… Вы не можете показать своим войскам иного пути, кроме того, который ведет либо к победе, либо к смерти.
>
> *Адольф Гитлер”.*

Я в конце концов заставил себя принять такое решение, – писал Роммель в дневнике, – так как сам всегда требовал беспрекословного повиновения от своих солдат…»[135] Но уже вечером 4 ноября, рискуя попасть под военный трибунал, Лис пустыни решил попытаться спасти остатки своих войск и отойти на рубеж Фука. Пятого ноября фюрер, который получил известия о ситуации с Африканским корпусом, сообщил Роммелю, что он согласен на отвод армии. Но позиция эта оказалась занята танками Монтгомери. Практически за две недели танковая армия «Африка» была отброшена на тысячу километров назад, в Тунис.

Восьмого ноября 1942 года американские войска высадились в Алжире и Марокко под командованием генерала Эйзенхауэра, что означало попадание германо-итальянских сил в ловушку. Роммелю всё же удалось провести еще одно наступление на превосходящие силы американцев в районе Кассеринского перевала и нанести им серьезный урон, но это не принесло ощутимого успеха.

Нужно заметить, что в феврале 1943 года – а эта информация еще сыграет важную в истории, которую поведает Манфред Роммель о смерти своего отца, – на службу в Африку под командование генерал-фельдмаршала, в штаб 10-й танковой дивизии в Тунисе, поступил человек по фамилии фон

Штауффенберг, который сразу же принял участие в боях за Кассеринский перевал, и в итоге его дивизия выбила оттуда американцев. Но это была маленькая победа на фоне большого поражения. Эрвин Роммель считал, что единственным способом спасения подконтрольных ему армий является отступление и в дальнейшем их эвакуация в Европу: шансов победить в Северной Африке больше не было, что бы там ни утверждал Гитлер и как бы ни требовал побед любой ценой.

Манфред Роммель: «В общем, отец послал Гитлера на хер, уж простите, с его глупым приказом. В итоге моего отца отстранили от командования в Африке. И он написал моей матери в одном письме, мол, теперь ему нужен, судя по всему, только английский словарь. И цензоры, которые вскрыли это письмо, наверное, посчитали, что Роммель готовится к тому, что попадет к англичанам в плен. А это – нехорошо…»

В мае 1943 года, через два месяца боев, блокированные в Тунисе с суши и моря немецкие и итальянские войска под командованием генерал-полковника фон Арнима, назначенного вместо Роммеля (покинувшего Африку 6 марта 1943-го) командующим войсками стран Оси в Северной Африке, были вынуждены капитулировать. «В конечном счете, каждый солдат, танк и орудие, переброшенные Гитлером в Тунис в ту зиму, а также остатки Африканского корпуса оказались потеряны к концу весны, а еще больше немецких войск, чем под Сталинградом, было отконвоировано в лагеря для военнопленных»[136]. А фон Штауффенберг прослужил в Африке недолго – уже через два месяца, 7 апреля 1943 года, его автомобиль подорвался на минном поле. Фон Штауффенберг потерял левый глаз, правую руку, два пальца на левой. Также получил тяжелые ранения в голову и колено. Врачи были уверены, что даже если этот человек выживет, то навсегда останется калекой и уж точно лишится зрения. Эрвин Роммель об этом и знать не знал, поскольку уже месяц как покинул Африку. А знал бы – вряд ли придал большое значение ранению этого человека, но пройдет чуть больше года и окажется, что его собственная судьба и судьба Клауса фон Штауффенберга будут связаны между собой и в итоге оборвутся, подобно тонким нитям.

До июля 1943 года Эрвин Роммель восстанавливал силы, лечился. За Африканскую кампанию лично от Гитлера Роммель получил Рыцарский крест с дубовыми листьями, мечами и бриллиантами. В конце ноября 1943 года Роммеля отправили во Францию, а 31 декабря года он получил под свое командование группу армий «В», непосредственно подчиняясь фельдмаршалу фон Рундштедту. Он также был назначен генерал-инспектором, и

в его сферу деятельности входила оборона «Атлантического вала».

Как известно, 6 июня 1944 года англо-американские войска начали высадку в Нормандии. «Если немцы не знали точной даты вторжения, то они не представляли также, где оно может произойти. Рундштедт и Роммель были уверены, что районом вторжения станет Па-де-Кале, где Ла-Манш наиболее узок. Здесь они сосредоточили свои самые крупные силы… В конце марта поразительная интуиция подсказала Адольфу Гитлеру, что главным районов вторжения станет Нормандия. Поэтому он приказал в течение последующих нескольких недель перебросить значительные средства в район между Сеной и Луарой. “Следите за Нормандией”, – не уставал предупреждать он генералов. Тем не менее… Рундштедт и его генералы следили скорее за Па-де-Кале, чем за Нормандией… Шпейдель позвонил Роммелю домой около 6 утра [6 июня 1944-го. – *Т.Ф.*], и фельдмаршал срочно выехал на машине обратно, так и не встретившись с Гитлером, однако в штаб группы армий “В” он прибыл лишь в конце дня»[137]. Роммель опоздал – точно так же, как опоздал к началу битвы при Эль-Аламейне. Впрочем, вряд ли исход битвы полностью зависел от него.

«Бледный от бессонницы, – писал позднее Шпейдель [про Гитлера. – *Т.Ф.*], – нервно перебирая свои очки и целый набор цветных карандашей, которые он держал между пальцами, он сидел сгорбившись, в то время как фельдмаршалы стояли. Его гипнотическая сила, казалось, иссякла. Он отрывисто и холодно поздоровался. Затем громко и желчно стал выражать свое недовольство по поводу успешной высадки союзников, ответственность за которую он пытался возложить на командующих… С беспощадной откровенностью Роммель заявил, что борьба против превосходящих сил (союзников) в воздухе, на море и суше является безнадежной»[138].

После поражения немецкой армии под Сталинградом Эрвин Роммель уже не скрывал своих пессимистических взглядов: война проиграна. «“У Роммеля сдали нервы, он впал в уныние, – раздраженно заметил Гитлер. – А в наши дни, если хочешь чего-то достигнуть, нужно быть оптимистом”. После этих слов судьба Роммеля была предрешена»[139].

Из разговора тюремного психиатра Леона Голденсона с генералом СС Зеппом Дитрихом: «Сложно измениться, поменяв род службы. Роммель на самом деле был пехотным генералом. Роммель был поспешен, хотел делать всё сразу, а потом по ходу дела терял интерес. Роммель был моим начальником в Нормандии. Не могу сказать, что Роммель не был хорошим

генералом. При удачах он был хорош, при отступлениях впадал в депрессию»[140].

– Можно мне передышку? Минут пятнадцать? – прохрипел Манфред. По обеспокоенному лицу Лизелотте я поняла, что она волнуется за мужа. Он был очень бледен. Солнце сильно нагрело деревянный домик – не спасали даже закрытые жалюзи.

– Нужно заканчивать, мы уже долго его мучаем… – заметил Браверман. – Он слишком сильно болен.

– Но он обещал рассказать про смерть отца…

Отказавшись от чая с печеньем, мы предпочли выйти на улицу. Я сидела на деревянной скамейке, той самой, на которой до этого сидела чета Роммель. Нужно было заканчивать инквизиторскую пытку; и пусть Манфред изо всех сил пытался взять верх над болезнью Паркинсона, на этой стадии это уже было невозможно. Хотя боевой дух, унаследованный Манфредом от отца, был налицо. Тяжело больной пожилой человек, расплывшийся в черном кожаном кресле, действительно был настоящим бойцом. И пусть полем боя была не африканская пустыня, а его собственное тело, он одержал ряд побед даже на моих глазах: было видно, как тяжело дается ему каждое слово. Во всех его цитатах, что я тут использую, многоточия, наполненные его вздохами или неразборчивой бубнежкой, должны стоять практически между всеми словами. Были еще отдельные фрагменты интервью без пояснений, больше похожие на бессмыслицу… Просто неясно, о чем речь. Реплики. Вздохи. Стоны.

Так что давайте пока оставим Манфреда отдыхать и перенесемся за двадцать с небольшим километров к северо-востоку от его дома в Штутгарте в небольшой городок Оппенвейлер, чье население не превосходит и пяти тысяч жителей. Тут живет человек, чей отец навсегда вошел в историю, став символом новой Германии, попытавшись убить Гитлера. Это было самое громкое покушение на фюрера. Добро пожаловать к Бертольду фон Штауффенбергу, сыну самого известного в мире полковника, пронесшего 20 июля 1944 года бомбу в штаб Адольфа Гитлера.

Если Эрвин Роммель – герой не без сомнений, ибо новые поколения немцев ставят ему в вину, что, пусть честно, но он всё-таки сражался за Третий рейх и был близок к фюреру, то Клаус фон Штауффенберг в Германии, да и во всем мире, – герой безусловный. Полковник вермахта, он к началу 40-х годов окончательно разочаровался в Гитлере и после начала Восточной кампании начал планировать заговор.

Выходец из древнейшего аристократического рода, фон Штауффенберг, получивший блестящее воспитание, приход Адольфа Гитлера к власти воспринял с надеждой. В 1938 году участвовал в захвате Судетов. В 1939 году – в оккупации Польши в качестве обер-лейтенанта в танковой дивизии. В 1940 году в звании офицера Генштаба участвовал во Французской кампании.

«Судя по всему, именно в России Штауффенберг полностью разуверился в Третьем рейхе… Когда началась война в России, он первые полтора года находился преимущественно на советской территории… По воле случая в России он встретил двух ведущих заговорщиков, решивших покончить с этим хозяином [Гитлером], – генерала фон Трескова и Шлабрендорфа»[141]. А в 1943 году фон Штауффенберг оказался в Африке, под командованием Роммеля, где был тяжело ранен. Восстановив силы, он, вместо того чтобы оставить службу, вернулся в Берлин в чине подполковника, где работа над заговором, целью которого было убийство Гитлера, активно продолжилась: всё больше новых людей, генералов, примыкало к заговорщикам. Считается, что Эрвин Роммель тоже относился к ним с симпатией – некоторых из этих людей он знал лично. Однако сказать, что он «примкнул» или «полностью поддерживал» планы заговорщиков, – значит соврать. По самым разным причинам Роммель готов был согласиться с тем, что Гитлера нужно отстранить от власти, может быть, арестовать. Но он выступал категорически против убийства фюрера: тут был целый комплекс причин, от «дела чести» и нежелания делать из Гитлера мученика, до вполне банального вопроса – что будет, если обезглавить Третий рейх? Станет ли от этого лучше?

Сын Клауса фон Штауффенберга, Бертольд, сидел в гостиной своего дорого и красиво обставленного дома в Оппенвейлере, положив ногу на ногу. Он был в хорошем бежевом костюме, белой рубашке в синюю клетку. На шее – бордовый галстук с ромбами. У потомственного графа, надо признать, отменный вкус. Стены увешаны старыми картинами в позолоченных багетах, портретами матери (графини Нины фон Штауффенберг), старинными зеркалами с рыжими паутинками трещинок и слегка деформированным отражением, в котором мутнели и расплывались старинные столики и секретеры, уставленные старыми фоторамками так, что, задень случайно одну, – и другие посыпятся, как домино.

Лицо Бертольда нельзя назвать беспородным, но по изяществу черт оно уступает точеному профилю отца, бюст которого стоит за спиной у фон Штауффенберга. Он и сам сказал

сразу: «Я не думаю, что мы с отцом похожи, может быть, есть какое-то внешнее сходство, но очень незначительное».

У Бертольда фон Штауффенберга, несмотря на уже солидный возраст, военная выправка, умные лукавые глаза, крупное лицо с высоким лбом, на котором морщины обозначились не прямыми штрихами, а волнами синусоиды. Глаза в лучах солнечного света, который завоевал пространство, высвечивая его позолотой и наполняя его теплыми красками, становились то светло-коричневыми, то зеленоватыми, напоминая оливу.

На всем его лице лежала печать легкой, почти игривой надменности – несколько надменным показался мне и его ответ на просьбу принять участие в фильме: «Ох, как меня замучили эти газетчики. Я же сын легенды. Сын героя. Я даже пообещал себе не давать больше интервью, потому что быть сыном национального героя Германии очень хлопотно». Примерно в таком духе ответил фон Штауффенберг поначалу. Но после недолгих уговоров согласился – в конце концов, фильм делается для самого крупного телеканала России, огромное количество людей сможет его увидеть и больше узнать о его отце. К тому же в России не так давно в прокате прошел голливудский фильм «Операция “Валькирия”» с Томом Крузом в главной роли (который и сыграл отца Бартольда), так что и молодое поколение недавно открыло для себя героя Штауффенберга.

Бертольд сразу же заявил, что фильм, конечно, неплохой, но он был против участия в фильме Тома Круза: «Сайентолог не должен играть моего отца, вряд ли папе такое понравилось бы. Мы же католики…»

Возможно, немаловажным фактом, повлиявшим на решение Штауффенберга сняться для «Детей Третьего рейха», оказалось участие в проекте Манфреда Роммеля. Штауффенберг очень лестно отозвался о бывшем мэре Штутгарта: «Мы с Манфредом в чем-то похожи. Я ведь сам военный. И стал достаточно известным человеком не только из-за имени отца, а благодаря собственной карьере, – так и сын Роммеля. В последние годы карьеры я был главнокомандующим в Штутгарте, то есть последним немецким генералом, – и там очень многие меня знают, особенно те, кто служил под моим началом. С Манфредом Роммелем мы познакомились в 1982 году. Я был тогда командиром бригады, служил под Штутгартом и часто бывал там, а Роммель в то время уже много лет был мэром этого города. Мы всегда с ним отлично понимали друг друга. Манфред Роммель – хороший человек, он был здесь, у нас в гостях, он очень образованный и интересный, с прекрасным чувством юмора, но, к сожалению, у него сейчас большие проблемы со здоровьем».

Было видно, что Бертольд хоть и опечален этим обстоятельством, но не принимает его близко к сердцу. Впрочем, возможно, всё дело было в надменном выражении его лица и иронии, которой порой искрили его глаза.

Итак, старший сын фон Штауффенберга, Бертольд, сидел на стуле с высокой спинкой. Мы решили начать беседу с заговора 20 июля 1944 года, когда его отец, 36 лет от роду, полковник вермахта, готовился убить Гитлера. Бертольду в это время было десять лет.

– Если говорить о заговоре 20 июля, то события развивались так. Начну с небольшого захлеста, чтобы вписать в эту историю и генерал-фельдмаршала Роммеля, отца Манфреда, и самого себя в раннем детстве. Всё, что я могу рассказать, я знаю не только от своей матери, но и от друзей отца. К сожалению, никого из них уже нет в живых. Последний умер в прошлом году, ему было девяносто семь лет.

Отец был очень независимым человеком, всегда открыто высказывал свое мнение. Кроме этого, он охотно провоцировал людей на откровенные разговоры. Иногда делал заявления, которые многим не нравились, поэтому его даже принимали за нациста. Только потому, что он возражал им. В этом довольно сложно разобраться. Мне кажется, что он всегда хотел иметь собственную точку зрения. При этом слишком уж примитивными, слишком вульгарными были для него нацисты. Он так и говорил: что ж, посмотрим, с республикой у нас не получилось, так дадим шанс нацистам. Но мне кажется, к ним он относился весьма критично. Ну а когда началась война, он уже служил в армии и был вынужден подчиняться. По-моему, в 1938 году он сказал, что «этот дурак хочет войны», имея в виду Гитлера. Тогда мало кто из опытных офицеров верил, что новая война может быть успешной. И для них стало настоящим сюрпризом столь стремительное падение Франции, ведь они еще помнили уроки Первой мировой. Может быть, именно это заставило многих из них менее критично относиться к Гитлеру.

Когда отец стал замышлять покушение? Со мной он об этом не говорил. Как и для всех остальных, для меня эта новость в 1944 году стала полной неожиданностью. Мать, наверное, что-то знала, но нам не говорила, это было слишком опасно. Я думаю, что здесь сошлись несколько факторов. Во-первых, и моя бабушка, и средний брат моего отца, который был историком, с самого начала были настроены против Гитлера, против нацистов. И отец начал понимать, что тогдашняя политика ведет Германию к гибели, тем более что на его глазах творилось полное бесправие. Дело в том, что у бабушки, его матери, было очень много друзей

из еврейских семей. Большинству из них удалось эмигрировать за границу, это были зажиточные семьи. Кроме этого, он понял, что военное командование ведет армию к поражению: ошибочная стратегия, отсутствие ресурсов для ведения столь масштабной войны – об этом он наверняка говорил с ближайшими друзьями. Еще до перевода в Африку он где-то заметил, что Гитлеру пора уходить, уходить именно с поста главнокомандующего. В Африке он пробыл недолго, был тяжело ранен, попал в госпиталь. У него появилось время на раздумья, и, я думаю, именно в этот период ему в голову стали приходить такие мысли. Ранение было тяжелым, на фронт бы его уже не отправили. Но он всё-таки считал себя ответственным за судьбу страны.

Надо отметить, что он был не один. Во многом на него повлиял Хеннинг фон Тресков. Их союз не был организацией в полном смысле слова. Этих людей связывали неформальные отношения. Может быть, именно поэтому гестапо не смогло раскрыть заговор, что само по себе уже удивительно. Говоря об этом, нельзя не учитывать вот что. Спроси меня сейчас, поступил бы я точно так же, как мой отец? Не знаю. Нельзя упускать из виду атмосферу того времени, военного времени. Сегодня это невозможно представить. Шла война, человеческая жизнь, к сожалению, потеряла свою ценность. Мой отец и Роммель были вместе в Африке очень короткое время. Роммель был известен на всю страну еще до войны благодаря своей книге о Первой мировой – «Пехота атакует». Не думаю, что она могла заинтересовать отца, поскольку он был кавалеристом. Отец пробыл в Африке всего два с половиной месяца до ранения. Роммель был командующим танковой армией, а мой отец начальником штаба одной из многих дивизий. Роммель бывал на передовой, есть даже фотографии Роммеля вместе с командиром этой дивизии и моим отцом. Но я не думаю, что у них тогда была возможность вести долгие беседы. Наверняка отец делал доклад о положении дел. Роммель как-то комментировал, принимал к сведению и уезжал. Так я думаю…

Манфред Роммель:

> «Семнадцатого июля 1944 года самолеты союзников обстреляли машину моего отца под Ливаро во Франции. В Африке мой отец часто сталкивался с подобными ситуациями. Обычно следовало выскакивать из машины и искать укрытие. Но на этот раз он приказал своему водителю доехать до одного дома, который находился в примерно 400 метров. И этот приказ дорого ему обошелся. Отец получил многочисленные переломы

черепа, лицо его было разрезано осколками, он истекал кровью. Водитель сообщил, что шеф смертельно ранен, и врачи, которые приехали за отцом, осмотрели его и даже сперва ошибочно констатировали смерть. Но слабый пульс был. Отца доставили в больницу, где один авторитетный врач заявил: генерал-фельдмаршал не переживет ночь. Но он пережил ночь. Пока он умирал, Клаус фон Штауффенберг с заговорщиками готовили покушение на Гитлера. Это решалось как раз в те секунды, пока мой отец лежал при смерти в госпитале. Но судьба приберегла для него другую смерть».

Бертольд фон Штауффенберг:

«Я очень хорошо помню эти июльские дни 1944 года. Лето, школьные каникулы. Незадолго до этого из-за сильных бомбежек мы переехали из Вуппераля в Бамберг. В дом родителей матери. К тому времени жива была только бабушка, дед умер 6 января 44-го. А раньше мы уже бывали там, тоже на каникулах. И вот через несколько дней, 20 июля, по радио я услышал, что на Гитлера было совершено покушение. Нужно сказать, что уже в том возрасте я не только читал газеты, но и понимал, что там написано. Естественно, мне захотелось узнать, как это произошло. Но толком ничего не понял. Нас просто не пускали к радио. Младшему брату было только восемь лет, ясно, что интересоваться политикой в том возрасте он еще не мог.

Через некоторое время брат бабушки, граф Укскюль, взял меня и брата на прогулку. А он служил офицером в Первую мировую в Австрии, затем стал промышленником и жил в Германии, увлекался охотой, бывал в Африке, где охотился на слонов, бегемотов. И обо всем об этом стал рассказывать нам на прогулке. Его арестовали вместе с матерью как участника заговора, но если ее пощадили, то его судили и в этом же году казнили. И вот сейчас я думаю, что же творилось у него в голове, когда он рассказывал нам о своих приключениях в Африке, о гиппопотамах и слонах, зная, что сегодня, 20 июля, произошло? После прогулки мы пообедали, а потом мать отвела нас в сторону и сказала, что покушение на фюрера совершил папа. Мы испытали настоящий шок, мы не могли ничего понять. Ясно было только одно, что отца уже нет в живых. Но мы не могли

поверить, что это сделал отец. Как? Покушаться на фюрера? На царя? Чуть ли не на бога?

Почему? Зачем? Я был в полном замешательстве, совершенно не знал, что думать. Как и все дети тогда, я получил соответствующее воспитание, рос на пропаганде Геббельса, мечтал попасть в гитлерюгенд, так что, можно сказать, я был маленьким нацистом. Хотя отца я предателем не считал, я всё-таки не мог взять в толк, почему он так поступил. И мать ответила, что он это сделал ради Германии».

Манфред Роммель:

«Мой отец не знал об этом покушении. Он не знал о дате, о том, кто и как это собирается делать. Известно, что в Северной Франции в начале 1944 года отец встречался с некоторыми своими товарищами, которые втянули его в антигитлеровский заговор. Интересно, что в заговор отца вовлекал и его близкий друг – мэр (обер-бургомистр) Штутгарта – один из моих предшественников на этом посту. Звали его Карл Штрёлин. Я выступил с речью, посвященной его памяти, когда отмечали столетие со дня его рождения».

«Я сказал ему [Роммелю. – *Т.Ф.*], – вспоминал позднее бургомистр [Штрёлин], – что ряд старших офицеров армии на Восточном фронте предлагают арестовать Гитлера и вынудить его объявить по радио об отречении. Роммель одобрил эту идею. Я даже сказал ему, что он – наш самый выдающийся и популярный генерал, уважаемый за границей более, чем кто-либо другой. “Вы единственный, – сказал я, – кто способен предотвратить гражданскую войну в Германии. Вы должны связать свое имя с нашим движением…”»[142]

Манфред Роммель:

«Но отец всегда был против покушения на Гитлера, то есть физического его устранения. И не из моральных соображений. Он утверждал: нельзя рисковать. Если покушение провалится, то это обернется страшной катастрофой для всех, кто причастен и не причастен. Самым правильным вариантом, как казалось моему отцу, было бы признать поражение в войне. Он уже в открытую говорил, что война проиграна, надеясь, что Гитлер сделает выводы. Но Гитлер упрямо не замечал очевидного, просто не хотел видеть. И вот ситуация: 20

июля 1944 года мой отец в госпитале борется со смертью. В это время Штауффенберг входит на совещание Гитлера в “Вольф-шанце” с бомбой. Взрыв».

Вот что пишет Альберт Шпеер, министр вооружений Третьего рейха, вспоминая момент, когда сработала бомба (в это время он делал доклад в министерстве пропаганды Йозефа Геббельса): «… грохот разорвал тишину в расположенной неподалеку от Растенбурга ставке Гитлера. Это детонировал гекситовый заряд взрывного устройства, пронесенного туда Штауффенбергом в своем портфеле. Если бы мятежники проявили больше расторопности, то могли бы не только совершить покушение на Гитлера, но и арестовать чуть ли не всех рейхсминистров и многих руководящих сотрудников их ведомств. Для этого вполне достаточно было бы прислать к министерству пропаганды пресловутого лейтенанта с десятью солдатами»[143].

Известно, что заговорщики имели целью устранение не только Гитлера. Так как на совещаниях у фюрера часто бывали Геринг и Гиммлер, решено было убрать всех сразу. Дважды покушение откладывалось.

Заговор 20 июля называют заговором генералов, хотя исполнение взял на себя полковник Клаус фон Штауффенберг, потому что у него был «доступ к телу» фюрера. «…Штауффенберг заслуженно считался одним из самых способных и опытных офицеров вермахта. Даже Гитлер неоднократно призывал меня к тесному сотрудничеству с ним. Штауффенберг не утратил своеобразного юношеского обаяния, даже тяжелые ранения (он потерял на фронте руку и глаз) не исказили его облик и не отразились на характере»[144].

«Теплым солнечным утром 20 июля 1944 года, в начале седьмого, полковник Штауффенберг… отправился на машине мимо разбомбленных зданий Берлина на аэродром в Рангсдорфе. В своем раздувшемся портфеле он вез документы о новых дивизиях ополчения, о чем ему предстояло в 13 часов докладывать в ставке Гитлеру. Между бумагами лежала завернутая в рубашку бомба замедленного действия. Она была того же типа, что и та, которую Тресков и Шлабрендорф заложили в самолет фюрера годом раньше и которая не сработала…»[145]

Но в третий раз судьба приготовила заговорщикам сразу несколько неприятных сюрпризов: во-первых, ни Герман Геринг, ни Генрих Гиммлер не приехали; во-вторых, совещание должно было состояться не в подземном бункере фюрера, где взрывная волна разметала бы Гитлера и всех присутствующих по стенам, не

оставив шанса на спасение, а в казарме для совещаний, на поверхности. Взрывную волну «облегчало» и то, что из-за духоты окна казармы были распахнуты настежь… Ну а дальше – Штауффенберг запустил механизм бомбы в портфеле, оставил его и вышел – якобы срочный звонок, что само по себе было несколько странно: выходить с совещания не рисковали даже генералы…

Мартин Борман:

> «24.07.1944 г.
>
> «Многие офицеры, прибывшие на совещание к фюреру, из соображений безопасности оставили при себе портфели с секретными документами. Штауффенберг, правая рука Фромма, должен был докладывать о резервных дивизиях. Как многие, он поставил свой портфель под стол и вышел к телефону. После его ухода раздался взрыв. Простой и безопасный способ! Преступник дождался взрыва и, решив, что попытка удалась, вылетел в Берлин с сообщением о смерти фюрера»[146].

Попытка убить Гитлера была предпринята с целью запуска операции «Валькирия», план которой был разработан в мае 1942 года. «Он предусматривал быструю мобилизацию сил резервной армии в случае возникновения беспорядков в тылу»[147]. Гитлер план одобрил. А позже Фридрих Ольбрихт, генерал пехоты и разработчик плана, тайно «подправил» его таким образом, что при попытке переворота в Германии резервная армия перешла бы под контроль заговорщиков. То есть сразу после убийства Гитлера армия должна была занять все стратегически важные объекты в Берлине, арестовать руководство Третьего рейха, разоружить СС.

Борман:

> «Циркуляр №1.
>
> Сверхсрочно! Повышенное внимание!
>
> Одновременно с попыткой покушения на жизнь фюрера некоторые армейские генералы пытаются устроить путч, который должен и будет подавлен всеми имеющимися в распоряжении средствами…
>
> Имеют силы только приказы фюрера, Адольфа Гитлера, и его окружения, а приказы генералов, изменников, реакционеров, не имеют никакой силы…»[148]

Письмо Герды Борман от 22.07.1944 г.:

> «Любимый, если бы ты только знал, в каком я шоке! Как мог какой-то человек пронести портфель с бомбой на совещание, как он вообще мог пройти в штаб? Получается, среди вас тоже есть предатели? Я ломаю голову в поисках ответа»[149].

В письме от 25.07:

> «Расскажи мне о Блонди [овчарка Гитлера. – *Т.Ф.*]. Как она там, нет ли у нее щенков? Где она была 20 июля?..»[150]

Ответ Бормана от 26.07.1944 г.:

> «Слава богу, ее не было в штабе. Если бы она там находилась, то ей бы пришел конец: лопнули бы барабанные перепонки. Считается, что фюрер уже никогда не будет слышать правым ухом ».[151]

Ольбрихт, составивший план «Валькирия» и подредактировавший его с тем, чтобы заговорщики могли взять власть, был расстрелян вместе со Штауффенбергом и некоторыми другими мятежниками 20 июля 1944 года. Остальным заговорщикам повезло меньше: в ходе расследования дела всех сомнительных личностей подвергали мучительным пыткам и убивали. «…Нас пригласили на просмотр заснятой на кинопленку казни заговорщиков. Я знал, что не смогу спокойно смотреть на экран, и поспешил под предлогом чрезмерной загруженности делами отказаться от приглашения»[152].

Уже вечером 20 июля 1944 года, сразу после покушения, состоялась встреча Гитлера и Муссолини, на которой фюрер рассказывал дуче обстоятельства случившегося: «Я стоял здесь, у этого стола… Бомба взорвалась прямо у меня под ногами… Очевидно, что со мной ничего не может произойти, и мое предназначение, несомненно, в том, чтобы идти избранным путем и довести свою миссию до завершения… Происшедшее сегодня – это кульминация! Избежав смерти… я более чем когда-либо убежден, что великому делу, которому я служу, не страшны никакие опасности и что всё придет к счастливому концу»[153].

Манфред Роммель:

> «Не представляю я ощущения Штауффенберга,

который думал, что покончил с Гитлером, – и вдруг выясняется, что покушение не удалось. Что Гитлер жив. Штауффенберга, конечно, расстреляли сразу же. И могу сказать, что ему сильно повезло, что Гитлер не заполучил его в свои руки. Но своей кровью Штауффенберг заплатил высокую цену. Было много и другой крови. Начались страшные расследования, аресты, военно-полевые суды, убийства – в связях с заговорщиками подозревали всех. И в том числе подозрение пало и на моего отца…»

Бертольд фон Штауффенберг:

«Если бы я сейчас смог увидеть моего отца, то поблагодарил бы его за то, что он совершил. Я убежден, что без этого покушения на Гитлера не было бы сегодняшней Германии, которой я горжусь. И я не думаю, что заговорщики до конца верили в то, что их покушение удастся. Моя мать знала о готовящемся покушении, но она не знала, что его совершит отец. И очевидно, что заговорщики не были уверены в успешном исходе покушения, иначе отец бы не предупреждал маму, как вести себя на допросах… Поэтому, вероятно, обсуждались альтернативные планы, в том числе отец объяснил матери, чтобы она вела себя так, как будто ничего не знала, не интересовалась политикой, была простой домохозяйкой и занималась исключительно детьми. Она действительно ничего не рассказала на допросах, как он и наказывал…»

Мы еще вернемся к судьбе жены Клауса фон Штауффенберга графини Нины, а также Бертольда и остальных четверых детей полковника. Для многих этот заговор стал концом и карьеры, и жизни. Для Эрвина Роммеля, находившегося между жизнью и смертью, 20 июля ознаменовало начало конца.

Сын Эрвина Роммеля Манфред сидел в кресле – на бледном лбу его выступили капельки пота. В доме, разогретом беспощадным солнцем, становилось всё жарче, но Манфред уверял, что он должен рассказать о последнем дне жизни отца, свидетелем которого был сам, чего бы это ему ни стоило.

«Мой отец ожидал, что его ликвидируют. Но он не был уверен в том, что Гитлер отважится и осмелится публично его отдать под суд. Ведь высказывания моего отца о том, что война проиграна, фюрера раздражали, и он не мог допустить, чтобы на суде отец, большой авторитет среди военных и гражданских, произнес это

вслух. После того как мой отец был тяжело ранен, он сначала долгое время провел в госпитале, а потом, когда почувствовал себя лучше и опасность миновала, отправился домой в Херлинген…

Это было теплое осеннее утро 14 октября 1944 года. Я рад, что судьба распорядилась так, что в этот день мне, служившему в ВВС в Ульме (мне было 15 лет), очень близко от дома, дали увольнительную. Мать что-то делала на кухне, а отец, который полностью ослеп на левый глаз, но уже мог самостоятельно ходить, беседовал со мной и своим адъютантом Германом Альдингером.

Кстати, когда я бывал дома, я всегда ему читал. Мама ему тоже читала газеты, из которых отец уже знал, что многие военные, с которыми он был хорошо знаком, замучены и повешены на струнах рояля, перекинутых через крюки для подвешивания мясных туш… Страшно это было… Волна жутких смертей прокатилась по Германии – и всё из-за заговора против фюрера 20 июля 1944 года. Отцу было очевидно, что его тоже ожидает печальный финал. Он не знал лишь, как и когда. Я помню, что отцу из Берлина звонил Кейтель, – кажется, это было в первых числах октября. Кейтель приглашал отца в Берлин, говорил, что, мол, важно будет обсудить его дальнейшую службу и еще какую-то чушь. Отец ответил: “Я тяжело ранен, вы забыли?” Мне он сказал: “Если я поеду в Берлин – попрощайтесь со мной навсегда…” Отец знал, что за ним постоянно наблюдают, и не выходил на улицу без оружия. Знал он, что арестовали начальника его штаба генерала Шпейделя…

Итак, сидим мы 14 октября с отцом и Альдингером. Вдруг – телефонный звонок. Это были соседи. Они сказали: “Военные перекрывают все дороги вокруг, вы должны об этом знать”. Отец сказал: “Ясно, к нам гости”.

К полудню у нашего дома остановился “мерседес”, из которого вышли генералы [это были генералы вермахта Вильгельм Бургдорф и Эрнст Майзель. – *Т.Ф.*]. Они заявили, что хотят пообщаться с отцом без свидетелей. После этого разговора отец вышел бледный и сказал нам с Альдингером, что ему только что сообщили следующее: “Фюрер оскорблен, что вы знали о заговоре 20 июля и ничего не предприняли против этого. Отпираться бесполезно. Из-за того, что фюрер высоко ценит ваши заслуги и уважает вас, он предоставляет вам выбор: или вы покончите с собой, или мы причиним вред вашей семье и начнем следственную проверку в вашем штабе, публично увязав ваше имя с именами заговорщиков, а вы ведь понимаете, что это означает? Вам всё равно не спастись, вас непременно повесят, а могут

погибнуть люди, которых вы цените и уважаете. Оно вам надо?”

Отец переспросил, не тронут ли семью и его штаб, если он отравится. Ему сказали: “Фюрер обещал”. В общем, отец сказал нам: “Я всё обдумал и согласился”.

Потом он коротко поговорил с моей матерью – разумеется, она была в ужасе, вне себя, но он попросил ее сохранять спокойствие, явно не желая продолжать разговор с ней. Было видно, что он не может видеть, как ей плохо.

Я смотрел на отца – он показался мне спокойным. Единственным признаком его замешательства было то, что он, зная прекрасно, что ключи от входной двери ему больше не понадобятся, сунул их в карман. А потом взял и вторую связку – и тоже сунул в карман. Но тут же спохватился и вернул ее мне. Потом он надел фуражку, взял свой маршальский жезл и вышел на улицу.

Один из генералов спросил меня: “В какой части вы служите, молодой человек?” Ведь я был в военной форме. Я ответил: “В батарее воздушной обороны 36-7”.

Ну а последние минуты с отцом я помню прекрасно. Он сказал мне: “Молчи обо всем, что сейчас видел, и строго накажи матери! Ни слова никому, иначе вы обречены: они не заинтересованы, чтобы правда всплыла наружу! Уже через полчаса я буду мертв. А вы должны жить дальше. И запомни… постарайтесь скрыться к концу войны, она скоро закончится”.

Альдингер бросился к нему и стал яростно шептать: “Мой генерал, мы должны позвать подмогу, я попробую что-нибудь придумать, нельзя сдаваться, нужно спасти вас, мы еще можем поднять гарнизон…” И отец похлопал его по плечу и сказал: “Я уже принял решение. Ты только передай всем нашим от меня привет”. Потом он пожал ему руку. Обнял меня. Проследовал к машине. С кем-то поздоровался. Кто-то вышел, кто-то пересел. В общем, он оказался на заднем сиденье машины. Я смотрел на него, а он на меня. Потом я долго смотрел на удаляющуюся машину…

Уже через четверть часа нам с матерью позвонили из госпиталя и сообщили “неожиданную” весть: отец мертв, виной всему кровоизлияние в мозг, исходной причиной которого считают его ранение! Чушь! Мы с матерью поехали туда – труп уже был чист и лежал в морге. И чуть ли не в этот же вечер в Ульме начали набор солдат-пехотинцев для траурной церемонии прощания. Они должны были начинать тренировку государственных похорон. Трехметровый похоронный венок “от фюрера” уже был на подходе: он был заготовлен заранее.

Восемнадцатое октября 1944 года объявили днем народного

траура. В Ульмской ратуше проходило прощание с отцом. Представителем Гитлера, приехавшим на похороны, выступил фельдмаршал фон Рундштедт, который, по сути, был одного мнения с моим отцом о ситуации в Германии. И он выступил с речью, которую очевидно заготовили для него. Моя мать приехала на похороны в сопровождении друга моего отца. Была зачитана телеграмма от Гитлера. И в качестве подходящей музыки была исполнена Heroica Бетховена. Тысячи людей плакали навзрыд, а я думал о том, что никто ведь ничего и не знает, – для них смерть моего отца произошла “по естественным причинам”, мол, он так и не оправился от ранений.

Позже я вернулся в свою часть. Дальше я служил в одной военной группе трудовых войск… Двадцатого апреля 1945 года, когда мы стояли в строю, когда было ясно, что война давно проиграна, еще звучали такие лозунги: “Вена остается германской, а Берлин вновь станет германским”. А мне было неважно. Я ждал до того момента, как американцы вошли в Ульм. И получив такое известие, я и два моих товарища помахали ручкой фюреру, простившись навсегда, и оставили свои карабины у одного крестьянского дома. Мы также оставили патронные сумки на тот случай, что кто-нибудь вознамерится умереть как герой. И ушли в ночь. Героически умирать за Гитлера мы не собирались.

Ситуация была такова, что 1-я французская армия прорвалась через Шварцвальд и стремилась на юг. Далее были американские войска и на севере – английские войска. Так что французы случайно оказались теми, кто арестовал меня в Ридлингене. Я не воевал с ними, ибо не хотел стать пушечным мясом в Альпийской крепости. И, кроме того, я подумал, что будет и бессмысленно, и глупо, если я пожертвую собою ради фюрера после того, как он убил моего отца».

Первое, что сделал Манфред после падения Третьего рейха, – рассказал правду про убийство отца. Он старался донести ее до окружающих как только мог. В 1946 году в Нюрнберге генерал-фельдмаршал ВВС, а также Верховный командующий вооруженных сил в Германии и Италии Альберт Кессельринг ответил на вопрос тюремного психиатра Леона Голденсона, правдивы ли слухи, что Гитлер приказал убить Роммеля? «Я думаю, это на девяносто девять процентов правда. Я слышал, что Роммелю дали возможность совершить самоубийство. Я слышал, что его сын тоже так говорил…»[154] Действительно, уже 27 апреля 1945 года в Ридлингене сын маршала в присутствии свидетелей сделал заявление об известных ему обстоятельствах смерти отца:

«Я, Манфред Роммель, родившийся 24 декабря 1928 года в Штутгарте, в семье гауптмана Эрвина Роммеля, произведенного в генерал-фельдмаршалы в ходе нынешней войны, и Луизы Роммель, урожденной Моллин, нижеследующим заявляю:

Мой отец, генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель, скончался 14.10.1944 не от ран, как сообщили об этом средства массовой информации, а был убит по приказу рейхсканцлера Адольфа Гитлера.

17.07.1944 г. отец получил тяжелые ранения во время налета американских штурмовиков во Франции под Ливаро (Кальвадос). После взрыва осколочно-фугасной гранаты отец получил многочисленные переломы черепа и осколочные ранения лица. Ему была оказана неотложная помощь в госпитале под Парижем. Когда он стал транспортабельным, на машине Красного Креста его перевезли в Херлинген. Угроза жизни миновала, а переломы срослись. Отец практически выздоровел и самостоятельно предпринимал долгие пешеходные прогулки. Могу засвидетельствовать значительное улучшение его здоровья, потому что часто бывал дома в это время: за успехи в боевой подготовке командир зенитной батареи несколько раз отправлял меня в краткосрочный отпуск на родину. Отец жаловался только на сильные боли в области левого глаза и частичную потерю зрения…

Гитлер не захотел дискредитировать отца перед лицом немецкой общественности и дал ему шанс добровольно уйти из жизни, передав с генералами ампулу с быстродействующим ядом. В противном случае отец был бы арестован и препровожден в Берлин. Отец выбрал добровольную смерть. В присутствии свидетелей я даю клятвенное заверение, что всё сказанное мной является правдой.

Свидетели:

Пауль Реб, бургомистр Гебвайлера, нотариус.

Фриц Герод, директор, Ридлинген, Маркплац, 15.

Подпись (Манфред Роммель)».

После этой истории казалось, что Манфред выдохся окончательно. Но нет. Он сказал, что открылось второе дыхание,

хотя его лицо, казавшееся покойницким, говорило скорее о том, что ему совсем не хорошо. Роммель предложил нам выпить чаю с печеньем, тогда как он сам, попросив время передохнуть, сразу провалился в глубокую беспокойную дрему…

Ампула с ядом для генерала. Выбор, который предоставил Гитлер… Где-то я уже слышала подобное…

Ну конечно! Крестная дочь Гитлера Роземари Клауссен.

Пока Манфред Роммель взял очередную столь необходимую ему паузу, я расскажу вам коротко историю Роземари, основательницы христианской миссии, пожилой женщины, которую в том же 2010 году я нашла в доме престарелых под Нюрнбергом. Сначала я пыталась разыскать ее через миссию, но братья Роземари во Христе категорически отказывались давать ее контакты: мол, у нее был инсульт, она плоха и общается лишь на тему религии, а по другим поводам нечего ее беспокоить… Ну раз нет телефона – я наведалась в дом престарелых, в котором, как предполагалось, пожилая женщина восстанавливала силы после тяжелой болезни.

Солнце. Какие-то выселки. Белая пятиэтажка с балконами. На закрытой входной двери – кнопки с именами квартир. И рядом с одной из этих кнопок подпись от руки – Rosemarie Claussen. Пока я раздумывала, что делать дальше, входная стеклянная дверь открылась, и из здания вышла какая-то женщина. Я придержала дверь, не дав ей захлопнуться. Мысленно поблагодарив неизвестную женщину, я вошла внутрь.

Я стучалась в тонкую дверь из шпона на пустом этаже с длинным коридором – такие бывают в фильмах ужасов. Дверь приоткрылась, и я увидела лицо Роземари. Одна сторона ее рта напряженно улыбалась, другая – нет. Глаза ее, яркие, серо-голубые, смотрели на меня снизу вверх не без испуга и недоумения.

Что сказать человеку, к которому ты только что ворвался в дом престарелых? Сбивчиво и быстро я стала говорить Роземари, что я ее искала, что я готовлю документальный проект «Дети Третьего рейха», что братья во Христе оберегали ее настолько, что я не имела возможности даже позвонить ей, чтобы напроситься на встречу…

Потихоньку улыбка фрау Клауссен (которая через каждую мою фразу вставляла «о'кей») стала шире, а страх, застывший в ее глазах, стал постепенно таять. Рука, державшая ручку двери, ослабла.

– Входите, – сказала Роземари, распахнув дверь.

Произношение ее было чудовищным, и каждое ее слово

требовало больших усилий: от нее самой – физических, от меня – умственных. Я изо всех сил пыталась воспринять на слух слова, с которыми Роземари не могла сладить, и делала понимающее лицо, в то время как мозг едва ли не дымился от страшных усилий, уходящих на расшифровку того набора звуков, которые предполагали какие-то смыслы.

Роземари, несмотря на возраст, болезнь и тяжелую походку (она прихрамывала, жалуясь на свои ноги), тем не менее выглядела крепкой женщиной. Она казалась симпатичной – особенно когда улыбалась. Фрау Клауссен усадила меня на диван в маленькой гостиной. В комнате еще было кресло, стул, два серванта с посудой за стеклом, на одном из которых поблескивала позолотой Звезда Давида, а также круглый деревянный столик, покрытый белой скатертью: на нем стараниями Роземари возникли чашки с блюдцами и дешевый пластиковый чайник, в котором она вскипятила воду.

– Я слышала вашу историю, – осторожно начала я, – про вашего отца и вашего крестного.

Роземари мягко кивнула.

– Вашим крестным ведь был Гитлер?

– Да, – согласилась она, позвякивая чашкой о блюдце. Эта женщина, родившаяся в 1934 году, была дочерью генерала, который сначала пользовался уважением фюрера, а потом утратил его. Роземари указывает свою дату рождения как 16 августа 1934 года – в этот самый день Германская республика была объявлена Третьим рейхом.

– Гитлер прилетел в Гамбург в тот день, когда я родилась. А отцу – такова работа, он был начальником полиции в Гамбурге, – нужно было встретить его на аэродроме. Мой отец был очень счастлив, и Гитлер спросил его: а чего ты такой счастливый? И отец сказал: потому что у меня родилась дочь, Роземари. И Гитлер сам предложил стать моим крестным… Так я не по своей воле получила вот такого знаменитого крестного.

Мы говорили с ней довольно долго. Но большую часть времени – о религии. Роземари упрямо скатывалась туда. Она спрашивала меня про Россию, про родных и близких, про войну и дедушек, которые ее прошли.

– Но они оба уже умерли, – растерянно сообщила я Роземари, которая вдруг встала передо мной на колени.

– Всё равно. Попроси от моего лица прощения у всех своих близких, родных и знакомых, скажи им, что я каюсь, что я прошу у них извинений за то, что сотворили с ними немцы.

Сказать, что я растерялась, – ничего не сказать. Ну как бы вы

отнеслись к тому, что незнакомый пожилой человек встает перед вами на колени и просит прощения за всю германскую нацию и Вторую мировую войну? Это был ступор. Я поспешила поднять Роземари и уверила ее, что всё всем передам, лишь бы она уже села нормально в кресло, вытянув больные ноги, и принялась за чай.

– Тогда, – промямлила я, пытаясь стереть со своего лица печать шока, – мы тоже должны принести вам извинения… Ведь я знаю и продолжение вашей истории…

– Нет-нет, никто из вас ни в чем не виноват, – спокойно сказала Роземари, – я люблю русских, очень их люблю. А еще я люблю евреев, моя любимая нация, просто обожаю этих чудесных людей. – Клауссен кивнула на Звезду Давида.

Она говорила искренне, и не было возможности не поверить ей…

Роземари упорно настаивала на том, что мне надо побывать на ее проповедях и непременно повидаться с ее духовным другом пастором Дерреком, который изменит мою жизнь кардинально, хотя я не намекала, что жажду перемен. С большим трудом мне удалось «раскрутить» пожилую женщину на ее историю – очень простую, которую Роземари, как я поняла, часто рассказывает на своих проповедях. Она говорила почти примитивными фразами. И избегала имен, игнорируя любые мои расспросы относительно подробностей биографии ее отца. Из ее уст история звучала простым, хорошо отточенным штампом, который было невозможно преломить. Тем не менее это был очень искренний рассказ.

«Мой отец был назначен начальником полиции в Берлине в 1935 году и отвечал за безопасность фюрера на Олимпийских играх в 1936 году… Всё было просто замечательно. У нас был огромный дом, много слуг, огромный двор, где я резвилась со своими старшими братьями и играла отцом, когда он не был занят. Мать постоянно занималась нами… Всё резко оборвалось в 1937 году, когда Гитлеру донесли, что отец не просто лояльно относится к соседям-евреям, но и пытается помочь многим из них. По крайней мере так я знала от матери. А потом… это было в мае 1938 года, к отцу пришли из гестапо и предложили выбор: или ты умрешь, или мы отправим всю твою семью в концентрационный лагерь. Он выбрал смерть. Капсулу с ядом…»

Семью Роземари всё-таки тронули. Отобрали государственную виллу и всё, что можно было забрать. Мать Роземари осталась на улице с детьми (сыновья были от первого брака отца) и мыкалась по родным и знакомым, не имея угла. Тогда маленькая Роземари для себя поняла одно: раз крестный

отец убил ее родного отца, нарушил их тихую и спокойную жизнь, значит, крестный, то есть Гитлер, достоин смерти.

Все боялись Красной армии, Роземари тоже боялась, но в ней она видела тех, кто может покончить с Гитлером. А вышло так, что они чуть не покончили с ней самой.

«И в моих воспоминаниях этот страх, когда пришли русские… Я не знала, как пережить страх… эти чувства… эту боль… потому что то, что делали русские солдаты с немцами, было ужасно… Я после войны встретила женщину в Америке. И она сказала: ненавижу русских. Я спросила: почему? Она сказала: мне было тринадцать, когда пришли русские. И меня насиловали два дня подряд. Не могу забыть. И я сказала: я тоже не могу этого забыть… Страх перед русской армией глубоко врезался в мое сердце, а потому меня бросало в дрожь, когда я слышала русскую речь… Когда мы бежали на запад, в 1945 году, русские преследовали меня и мою семью… Так что после войны я ненавидела уже всех – и нацистов, и Красную армию – люто, так, как может ненавидеть подросток, со всей искренностью».

А потом Роземари поведала свою трогательную историю обращения к Богу. И то, как спустя десятилетия после войны, содрогаясь от русской речи и отказавшись ездить навещать родственников в ГДР, услышала голос, который велел ей простить русских, простить нацистов, простить Гитлера. И она простила: «Бог сказал мне: Роземари! Если ты не можешь никого простить, то и я не смогу простить тебя… И я сказала. Хорошо, я прощу. Но никогда не поеду в Россию…»

И всё-таки она съездила в Россию, на Украину, побывала в бывших союзных республиках. И не раз. Со своими проповедями. Ведь Роземари – глава христианской миссии. Более того, она даже немного владеет русским – решила начать учить язык, от которого вздрагивала долгие десятилетия.

Я не знаю, в какой мере ее история правда, а в какой – вымысел, обратившийся в привычный штамп, которым она пользуется, чтобы донести до людей простую истину о том, что надо научиться прощать – всех и всегда.

Заканчивая историю Роземари, я должна сказать еще одну вещь, которая меня удивила. После показа трилогии «Дети Третьего рейха» по Первому каналу мне были крайне любопытны отзывы и профессиональных телекритиков, и обычных зрителей. Историю Роземари с ее шокирующей правдой о том, что Красная армия не была нежна в отношении немцев в Берлине, тяжело восприняли не только «те, кому за», но и молодое поколение зрителей. Те, кому под тридцать, в Интернете писали наивные и примитивные вещи вроде «Как она может такое говорить?

Неужели мой замечательный дед Вася, милейший человек, о котором у меня самые нежные воспоминания, в Берлине кого-то убивал? Нет, такого точно не было». Ну, выходит, твой дед Вася не воевал, а всем шоколадки там дарил? Это была война. Это были измученные и истощенные морально и физически люди, у которых за четыре года Великой Отечественной погибли жены, родители, дети. И которые, наконец, дошли до Берлина… А убивать и насиловать – это личный выбор каждого: кто-то поступал так, кто-то иначе. В любом случае, судить не нам. Единственное, что мы можем сделать, – перестать себе врать и делить всё на черное и белое.

Вот такая история о крестной дочери дьявола. Вот такая история об ампуле с ядом, ненависти и прощении…

Мы оставили Манфреда Роммеля в кресле отдыхать после того, как он поведал нам свою историю последнего дня жизни его отца, гитлеровского генерал-фельдмаршала Эрвина Роммеля, который по приказу Гитлера – как когда-то отец Роземари – покончил с собой. После чая, дождавшись, когда Манфред проснется, мы продолжили съемку: Роммель снова казался бодрым и на вопросы старался отвечать развернуто. В частности, на вопрос о памятнике его отцу – не о том конкретном памятнике в Хайденхайме, а вообще об имени Роммеля в истории. Кем он был? Предатель для одних, герой для других и ненужный и нелепый персонаж для третьих, то есть для современных поколений немцев.

Манфред слушал мой вопрос молча, не двигаясь, – порой казалось, что он дремлет. Но нет – он заговорил сразу, как только прозвучали последние слова.

– Я всегда защищал имя своего отца, потому что я его сын, – я вообще из тех, кто больше любит заступаться, чем обвинять, ведь простые солдаты выполняют приказы. Гражданское население тоже повинуется режиму. Сейчас я живу в новом времени – времени, где очень просто быть демократом и радеть за человечество. А в Третьем рейхе стоило лишь заикнуться о том, что фюрер не прав, – и ты тут же подвергался или наказанию, или смерти. Если говорить о еврейском вопросе, то во времена Третьего рейха творились страшные вещи: людям промывали мозги в каждой газетной строке, и так вышло, что рядовых немцев мало волновало, что происходит с евреями. Мало кто мог выступить в защиту этих людей. Как-то моего отца спросил британский офицер, что, мол, вы думаете о том, что творят в Германии с евреями? Мой отец ответил: не мое дело, такова политика, а я всего лишь военный. И тут он был, думаю, не прав.

Военные тоже должны нести ответственность. Конечно, отцу повезло, что он оказался на Западном фронте. Даже Черчилль восторгался моим отцом – не только его профессионализмом, но и человеческой порядочностью, потому что в Африке все вели себя достойно. Отец не считал нужным слепо повиноваться диким приказам Гитлера об уничтожении всего и вся. Были и другие люди, которые игнорировали такие приказы.

– Наверное, бессмысленно напрямую спрашивать вас об отношении к вашему отцу?

Роммель слабо улыбнулся.

– Отчего же? Я скажу… Я всегда любил его. Но это ничего общего не имеет с политической позицией. Время было такое, и при существующих обстоятельствах он хорошо справился. Я очень уважаю его. Будучи в очень сложной ситуации, он поступал правильно – не совершенно правильно, но в целом да. Я знал, что он никогда не требовал от других того, что не готов был сделать сам. Я им очень горжусь.

Манфред замолчал, пытаясь выровнять сбившееся дыхание.

– У истории нет сослагательного наклонения. Но если бы… он дожил до конца войны и оказался в Нюрнберге в 1945 году? При таком уважении союзников его вряд ли приговорили бы к смертной казни – может, лет десять дали, а может, и того меньше? – предположила я.

Глаза Роммеля блеснули через линзы очков. Такого вопроса он не ожидал, но сразу поспешил дать ответ:

– Я благодарен судьбе за то, что она уберегла его от судов. И от суда Гитлера, который грозил отцу, не прими он яд, и от Нюрнбергского процесса. Из этого ничего не вышло бы. Откажись он принять яд, с ним бы жестоко расправились. Попади на процесс в Нюрнберг, – кто знает? Виновных находили всегда… Так что я не желал бы, чтобы мой отец попал на какой-либо из этих судебных процессов. Нет, всё произошло так, как произошло. Так, как должно было произойти…

После съемки Роммель нашел в себе силы «погулять по дому» перед камерой. Дошел до дальнего угла гостиной, где у него был кабинет, и стал открывать папки и подшивки, в которых оказались современные и старые материалы о Третьем рейхе, а также приказы, подписанные рукой отца, его письма.

– Хочешь? – дрожащей рукой он протянул мне машинописную страничку с приказом за подписью Эрвина Роммеля.

– В смысле? – не поняла я.

– В смысле я дарю тебе… – И Манфред, без всякого сожаления протянул мне трясущейся рукой документ. – У меня их много…

Много. Уже много месяцев я пытаюсь разыскать этот старый замусоленный листок – некогда важную официальную бумагу. Даже предположить не могу, куда я его дела и как вообще могла потерять его. Мне очень жаль, настолько, что я порой снова и снова перерываю ящики стол, но обнаружить его никак не получается. Хотя верю, что он где-то здесь, со мной. Как верю в то, что Манфред и Лизелотте до сих пор сидят на скамейке и машут нам вслед. Солнце уже печет не так жарко, потому что дело к вечеру, и Манфред, кажется, дышит полной грудью.

«Здоровье бывшего мэра Штутгарта Манфреда Роммеля значительно ухудшилось. По информации «Штутгарт Цайтунг», 84-летний Роммель вследствие падения попал в больницу. Роммель страдает болезнью Паркинсона последние 17 лет и почти всё время прикован к инвалидному креслу…»[155]

Мне не хочется видеть больше имя Манфреда Роммеля в газетах, потому что в следующий раз оно неминуемо появится в очень грустном контексте, – так не лучше ли оставить его застывшим дагерротипом в конце июня 2010 года, там, на скамейке, рядом с Лизелотте?

Отражение Бертольда фон Штауффенберга в паутинке трещин старинного зеркала застыло у одного из столиков гостиной с фотографиями. «Вот это я с отцом в Берлине. – Бертольд коснулся серебристой фоторамки, что стояла у самого зеркала. – Мне тут года три-четыре. Это еще до покушения на Гитлера, разумеется».

На фото я увидела мужчину с густыми волосами, уложенными на левый пробор, изящными чертами лица, в костюме, белой рубашке и галстуке. Лицо его еще не рассечено черной полосой повязки, которая будет прикрывать отсутствующий левый глаз. Левой рукой, всеми пальцами (два он потеряет после ранения) он держит раскрытую детскую книжку, а правой, которой скоро и вовсе не будет, обнимает восторженно смотрящего на него Бертольда, больше похожего на девочку, – с русым каре, в колготках, сандалиях и двуцветной кофточке.

«Я родился в 1934 году, – пояснил Бертольд, – а родители мои поженились в 1933-м. Тогда отец только начинал свою службу в Бамберге, в шестидесяти километрах к северу от Нюрнберга. А родители моей матери переехали в Бамберг после Первой мировой войны, купили там дом. В общем, в 1933-м, когда мой отец служил в Бамберге в звании обер-лейтенанта, он и женился на моей матери, Нине фон Лерхенфельд. Сначала родился я, а после меня еще четверо детей. Младшая дочь, Констанция, родилась уже после покушения на Гитлера и смерти

отца, в январе 1945-го, так что его она никогда не видела.

Первые годы своей жизни я, разумеется, не помню. Мы с родителями много переезжали, сначала из Бамберга в Ганновер, затем, через два года, из Ганновера в Берлин, где отец поступил в военную академию и где была сделана эта фотография. Я помню только последнее время в Берлине, незадолго до его перевода в Вуппераль, мне было четыре. А когда мне исполнилось пять, началась война. И отец уехал. И до своей смерти он лишь изредка бывал дома. Дольше всего, целых два месяца, его отпуск длился после ранения в Африке. Детство мое прошло по большей части без отца. В те времена это было типично для многих детей. А в целом о нем у меня остались только самые приятные воспоминания. Отец был очень жизнерадостным человеком, любил своих детей. В то же время обращался с нами довольно строго, но без этого было нельзя. Так он поддерживал мать, которая всё это время была с нами одна. Но мы восхищались им.

Отношения матери и отца можно назвать нетипичными для сегодняшних времен. Она полностью доверяла и во всем следовала ему. Я даже и не могу припомнить, чтобы они ссорились. По крайней мере дети об этом ничего не знали. Между ними было полное согласие. Мать вышла замуж в совсем юном возрасте, ей было двадцать лет. Да и когда война началась, она была еще молодой женщиной. И ей пришлось в одиночку справляться со всем бытом, детьми…»

Бертольд фон Штауффенберг отыскал глазами на стене потрет матери, написанный маслом и заключенный в золотистый овал багета, и несколько секунд смотрел на нее. Потом заговорил снова: «Покушение на Гитлера отец совершил 20 июля 1944 года, и в этот же день его расстреляли. Только после войны я узнал, что произошло на самом деле. До этого мы ничего не знали, кроме того, что это сделал отец. В августе 44-го я читал сообщения в газетах о первом судебном процессе над заговорщиками. У меня до сих пор эта газета стоит перед глазами. Все сообщения были полны ненависти. Но внутренне я не готов был согласиться с тем, что мой отец преступник или предатель, – я просто не знал, что произошло. К лету 44-го уже больше трети моих одноклассников потеряли своих отцов. И поэтому, как бы странно это ни звучало сегодня, самым неожиданным для меня была не смерть отца, а обстоятельства его смерти.

После расстрела отца, в ночь с 21 на 22 июля, мать арестовали. На следующую ночь забрали бабушку и ее сестру, которая до пенсии работала медсестрой в Красном Кресте. Их отправили в тюрьму. А мы остались с няней и экономкой бабушки. А еще через три дня забрали и нас. После чего в

Лаутлингене (нашем старом имении) никого не осталось. Нас, четверых детей, отправили в детский дом.

В это время арестованную мать постоянно допрашивали, сначала в Берлине, потом в концлагере Равенсбрюк, к северу от Берлина. Это был женский лагерь, там же располагалось и подразделение гестапо, где допрашивали узников. Там она пробыла вплоть до 27 января 1945 года, до рождения моей младшей сестры. Мать была беременна, когда ее арестовали. Ее перевели в больницу во Франкфурт-на-Одере, затем, когда советская армия подошла вплотную к границе, больницу эвакуировали в Потсдам, где она заболела вместе с маленькой дочерью. После этого ее отправили к дальним родственникам. Всех мужчин, представителей графского рода фон Штауффенберг, арестовали как членов семьи государственного преступника, в конце войны они были освобождены в Южном Тироле и переданы американцам.

Мы, дети, с 1944 года жили в интернате. Это был обычный дом отдыха для детей из Бремена, созданный на деньги одного коммерсанта. Нацисты конфисковали его и передали организации, которая называлась “Национал-социалистическая народная благотворительность”. А затем из него сделали детдом для нас. Но детей было не так много, и детдом не был заполнен. Иногда их число увеличивалось, но большинство детей не оставались там надолго, не все они получали ярлык члена семьи предателя родины. В конце концов нас осталось только четырнадцать человек в этом доме. Нас четверо, двоюродные братья и сестры – внуки старшей сестры моей бабушки. Их отец тоже был участником Сопротивления в Париже. И еще несколько детей из других семей. Сначала мы с недоверием относились друг к другу. Мы просто не знали, кто есть кто.

На пасху 45-го нас повезли в Бухенвальд. Но по дороге, в Нордхаузене, мы попали под бомбежку, вокзал был разрушен, поезда ходить перестали, и нас отправили обратно в детдом. Ну а потом пришли американцы, и на этом война закончилась. Но матери еще предстояло найти нас. Связи в Германии не было.

Нас разыскала сестра моей бабушки – через Красный Крест. Короче, в начале или середине июля 45-го она неожиданно появилась в этом детдоме, каким-то образом организовала автобус, и мы уехали в Лаутлинген, на родину отца. А бабушку отпустили из тюрьмы в ноябре 1944-го, причем под домашний арест. Через день после нашего возвращения вернулась и мать моей двоюродной сестры, жена старшего брата отца. Она вернулась из Мюнхена. Сидела в Южном Тироле, освободили ее американцы, потом почему-то отправили на Капри. С Капри она

отправилась в Париж, а потом в Мюнхен. В Мюнхене архиепископ дал ей машину, так она добралась до Лаутлингена. Но где была моя мать, никто не знал. Позднее выяснилось, что она была совсем близко, жила у знакомых недалеко от Хофа, вместе с моей сестрой, тогда еще грудным ребенком. И в начала июля 1945-го мы забрали мать и перевезли домой.

После смерти бабушки дом в Бамберге перешел в собственность матери. Правда, он был сильно поврежден, требовал серьезного ремонта. Поэтому до 1953 года мы оставались в Лаутлингене. В 1947-го меня перевели в интернат, потом туда попали и мои братья, сестра училась в гимназии в Бамберге.

Еще в школе я был по обмену учениками в Шотландии. Основателем нашего интерната был Курт Хан, еврей. В 1933 году нацисты его арестовали, а затем выслали из страны. Одним из его учеников, тогда его еще никто не знал, зато сейчас знает весь мир, был принц Филипп, супруг нынешней королевы Великобритании. Он тоже был определен в новую школу в Шотландии. Там-то я впервые и задумался над тем, не пойти ли мне на службу в армию. Я иногда и сам не понимаю, почему я в 17 лет твердо решил делать военную карьеру. Хотя тогда еще и армии в Германии не было. Ведь я стал солдатом, когда мне исполнился 21 год. Но за все 39 лет службы… – Бертольд выдержал драматическую паузу, прежде чем продолжить, бросив лукавый взгляд в объектив камеры. – …Я ни разу не раскаялся в своем выборе. Мне всегда нравилось служить.

После школы я написал письмо в организацию, которая выполняла функции министерства обороны, тогда она называлась очень просто – «Ведомство Бланка». Бланк – это была фамилия ее руководителя. Я написал, что хочу стать офицером в вооруженных силах Германии, хотя армии еще не было. Я даже получил ответ, мол, да, когда будет армия, мы учтем ваше пожелание… А тогда никто не знал, когда она будет. Я отправился в Штутгарт на практику в фирме «Даймлер-Бенц». Решил стать инженером, а для этого надо было обязательно пройти практику. Через полгода, завершив практику, я пошел на коммерческие курсы. До сих пор могу печатать десятью пальцами. Армии всё еще не было. Тогда, чтобы не терять времени, я поступил в университет, изучал право. В декабре 1955 года меня вызвали в Кельн на собеседование, а в 1956-м я стал солдатом.

К концу карьеры я стал генералом – не очень большим, всего лишь двухзвездным, бригадным генералом. Такие есть во всех странах НАТО. У нас это соответствует званию бригадный генерал. Сейчас бригадный генерал – это генерал-майор, затем

идет генерал-лейтенант и генерал, то, что раньше соответствовало генерал-полковнику, а самое высшее звание было фельдмаршал, но сейчас таких нет».

Бертольд стал молча прохаживаться по роскошно и со вкусом обставленной гостиной и, неспешно окинув взглядом комнату, вдруг указал на пустое кресло, обитое потертой зеленоватой тканью, больше похожее на стул, с очень высокой спинкой и деревянными подлокотниками.

– Перед съемкой вы интересовались, что осталось у меня от отца, – вот это его кресло. Оно стояло напоминанием об отце в гостиной матери вплоть до ее смерти в 2006 году (ей было 92 года). Она очень мало говорила об отце. Так, иногда что-то проскальзывало. Не было такой необходимости. Он как будто всегда оставался вместе с нами. Мать так и не вышла замуж, да и трудно это было сделать с пятью детьми. Почти всю оставшуюся жизнь свою она провела в Бамберге, с 1953-го по 1993-й. Затем ей понадобился уход, она была в инвалидной коляске. И ее перевезли в дом к моему брату недалеко от Бамберга. Потом, когда мебель делили, все решили, что это кресло должно достаться мне. Вот оно здесь и стоит. И сидеть в нем могут все, кто хочет. У меня нет никаких ограничений насчет того, что это только мое место. Я не часто сижу в нем, лишь когда собирается много гостей.

Фон Штауффенберг подошел к креслу, сел в него и ухмыльнулся в камеру.

– Неужели, это всё, что, кроме фотографий, осталось от вашего отца?

– От отца остались только окровавленные погоны с его формы, которую он носил в Африке. Но у нас их больше нет. Даже и не знаю, где они. Мать всем заведовала… И никаких документов от отца не осталось. Гестапо забрало всё, что было в доме в Бамберге. Может быть, что-то можно найти в архивах гестапо, которые в свое время попали в руки восточногерманского правительства. И еще существует одна вещь…

Отец был офицером кавалерии и был награжден именным клинком. Так вот, в 1999 году этот клинок всплыл в Мангейме. Причем у бывшего председателя немецкой коммунистической партии. Как он получил этот клинок? Никто не знает, все уже умерли. Мы считаем, что отец каким-то образом оставил клинок в Берлине, где он служил до 1942 года. Поэтому мы вполне допускаем, что еще где-то есть документы об отце, может быть, какие-то его вещи. Тут был один человек, который утверждал, что знает, где находится униформа отца. Но мы думаем, что это всего-навсего мошенник…

Вообще удивительно, что все дети Клауса фон Штауффенберга выжили в разрушающемся Третьем рейхе и начали новую спокойную жизнь в послевоенной Германии. Есть версия, что Генрих Гиммлер после покушения на фюрера 20 июля 1944 года пообещал, что семья фон Штауффенберга будет полностью уничтожена. Тем не менее все дети легендарного полковника живы и по сей день. И у всех – дети, внуки.

– С моей второй половинкой мы поженились в 1958-м, оба были еще совсем молодые. Я тогда был лейтенантом, служил в Вайдене, в Оберпфальце. А потом она переезжала со мной везде, куда только меня не посылали. А таких переездов было около двадцати. Были в Америке, в Англии. Она никогда не работала, так и осталась офицерской женой.

– Как ваши сыновья относятся к тому, что их дед – герой? Вы ведь наверняка рассказывали им об их дедушке? Как и когда?

Бертольд задумался.

– Не помню точно, когда впервые рассказал им. Но главное, что я сказал им: «Вам всем обязательно нужно прочитать о нем». Дед – это не такое близкое родство. Вот что я сам знал о своих дедушках? Одного я вообще не застал, он умер еще задолго до моего рождения. А другой всё время болел. Они были для меня людьми из далекого прошлого. А если ты не застал человека живым, не соприкоснулся с ним, он для тебя всего лишь фигура из прошлого… Хотя для моих детей фамилия – тяжелая ноша, потому что она известна каждому. И все их спрашивают, не родственники ли они «того самого Штауффенберга». Это накладывает некие обязательства. Знаю по себе.

Человек должен быть известен своими делами, а не именем. Ведь с тобой сразу начинают связывать какие-то ожидания. Я всегда говорил сыновьям, что известная фамилия – это как кредит: если вовремя платишь проценты – это плюс, если нет – минус. Так что нужно платить проценты. В общем, мои сыновья послушались меня. Они очень много прочитали о своем деде – практически всё, что было напечатано. Но их восприятие прочтенного отличается от моего. Можно сказать, оно более отстраненное, ведь для них-то речь идет о постороннем человеке. С другой стороны, и моя близость с отцом не слишком велика…

– Если вернуться к фамилии…

– О… – Бертольд тут же перебил, словно сам пожалел, что отдалился от этой темы. – Конечно, должен признать, быть сыном героя Сопротивления сегодня намного лучше, чем сыном нацистского преступника. Но, с другой стороны, возьмем, к примеру, Никласа Франка. Если он скажет, что его фамилия

Франк, то вряд ли кто-то сразу сопряжет его с тем самым Франком из Кракова. В 1958 году у нас был военный пастор Ганс Гиммлер, евангелист, у которого не было родства с Генрихом Гиммлером. Но он носил ту же фамилию. Так бывает. Но Штауффенберга знает каждый. У нас длинная фамилия. Такие фамилии помнят. И, конечно же, это бремя. Ведь было по-всякому. К примеру, теперь мне уже не нужно прятаться, но много лет назад были люди, которые считали меня сыном предателя, а заговор 20 июля – предательством. Просто большинство из них уже умерло. В моем роде войск – в танковых войсках – таких было мало. Но мне порой писали гадкие анонимные письма. Когда я проходил обучение в Америке, там вышла книга об отце и меня приглашали на все рекламные акции, возможно, поэтому она неплохо продавалась. Так получилось, что с годами интерес к антигитлеровской оппозиции рос. И вы пришли ко мне, чтобы снять меня, – это ли не подтверждение? Вроде бы война уходит в далекое прошлое, а интерес всё растет и растет.

– Наверное. Мы делаем документальное кино. А ведь были и художественные фильмы про вашего отца. Вот «Операция “Валькирия”», где главную роль сыграл столь нелюбимый вами Том Круз…

– М-м-м. – Фон Штауффенберг кокетливо поморщился. – «Нелюбимый» – неправильное слово. Участие в фильме Тома Круза довольно сомнительно потому, что он последователь сайентологов, а это тоталитарная секта. Мы же – род аристократический и католический. В одном интервью относительно этого фильма я высказал свое недовольство выбором актера на главную роль – многие меня похвалили, а многие и обругали, мол, ишь какой нашелся. Но фильм был сделан. Это – крепкий, даже, можно сказать, неплохой голливудский продукт. Удивительно, что американцев вообще зацепила история моего отца. Я проследил за судьбой фильма и узнал, что он не принес баснословной прибыли создателям, но по крайней мере окупил себя. Есть и другие фильмы про отца. Как я знаю, первый фильм о нем был снят в 1955 году.

– А с какими чувствами сын смотрит на экран, где актеры играют и его отца, и мать, и его самого?

– Мне всегда непросто видеть себя со стороны, тем более это какой-то придуманный образ. То же самое по поводу моих отца и матери.

– Вы ходили в кинотеатр сами или вас пригласили на премьеру?

– Не то чтобы я очень хотел… Но принял приглашение на премьерный показ, потому что выручка от него должна была быть

перечислена в фонд какой-то благотворительной организации. Ну и еще один из моих племянников снялся там в эпизоде. Но что меня удивило, так это то, что на премьере многие молодые люди плакали. Так их тронула история моего отца. Сам я, конечно, не плакал, потому что я не такой эмоциональный.

– Мне показалось, или вас немного настораживает молодое поколение?

– Настораживает? – Бертольд нахмурился и замотал головой. – Нет, не так. Нынешним молодым людям очень трудно объяснить, что такое жить при тоталитарном режиме. Они не могут себе этого представить. Они ничем не ограничены в своих действиях, не понимают, почему нельзя говорить что думаешь, не понимают, что за лишнее слово можно было угодить в концлагерь. Я всегда говорю, что свобода и голод в чем-то похожи: ты можешь понять, что такое голод, только тогда, когда тебе совсем нечего есть, когда ты не знаешь, удастся ли тебе поесть в следующий раз. То же самое со свободой. Нельзя просто попробовать быть свободным или несвободным. Потому что все будут знать, что это «понарошку», что завтра снова всё вернется на свои места. Поэтому молодежь до конца не понимает, что такое «несвобода». Можно попытаться ей объяснить. Хотя бы для того, чтобы побудить поразмыслить над этим. Но это всё равно не станет частью ее жизни. Поэтому начинаешь спрашивать себя, сумеют ли молодые распознать момент, когда свобода окажется под угрозой, не произойдет ли это лишком поздно?..

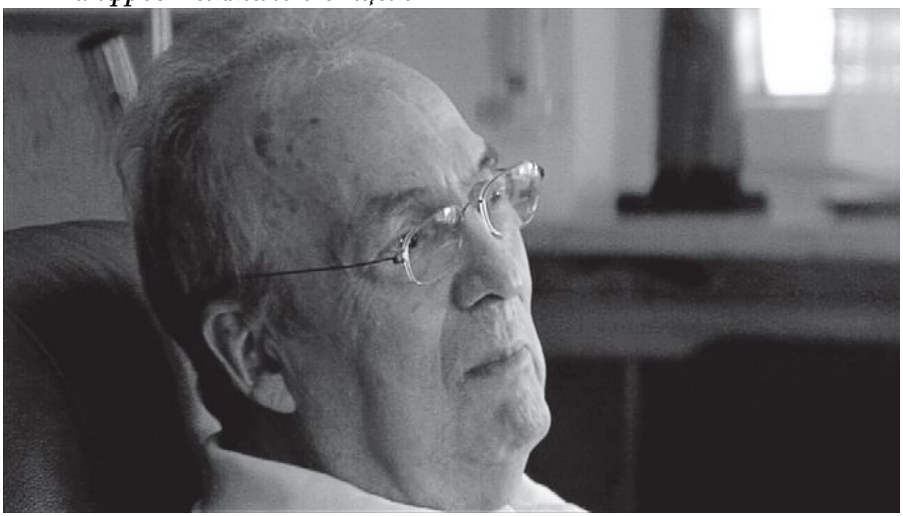
Клаус фон Штауффенберг, отец Бертольда, за долгие годы превратился в штамп. Он одноцветен. Он положительный во всех отношениях герой. Он любит свою семью и спасает Германию. Это не человек – картинка. Таким ли был реальный фон Штауффенберг, который с надеждой принял приход Гитлера к власти, который воевал в Польше и Франции? Считается, что дальнейшие зверства немцев, особенно в СССР, «открыли ему глаза» на Гитлера. Думаю, если честно, не зверства, а скорее – при всём подлинном уважении к этому человеку – глупость всей Восточной кампании. И чем больше растворялась надежда на господство нацистов в мире, тем больше фон Штауффенберг сомневался в Гитлере. По крайней мере эта версия более правдоподобна и человечна, чем глянцевый образ с лицом Тома Круза. Впрочем, немцам, как сказала внучатая племянница Германа Геринга Беттина, после войны совсем было нечем гордиться и не на кого равняться – и им нужны были новые герои-бренды, такие как Роммель, Штауффенберг… Мало ведь кто вспоминает генералов, спланировавших покушение на фюрера 20 июля 1944, – людей, которых зверски пытали, а потом убили. Все

знают, что лицом покушения стал фон Штауффенберг, – его только и чтут.

Да, наверное, неправильно рушить идеалы. Тем более чужие. Тем более которые так нужны немецкой нации даже сегодня. Но Штауффенберг с человеческим лицом, прошедший долгий путь от уважения к Гитлеру до ненависти к нему, куда интересней любых глянцевых картинок.

Гитлер и Роммель, 1942 год

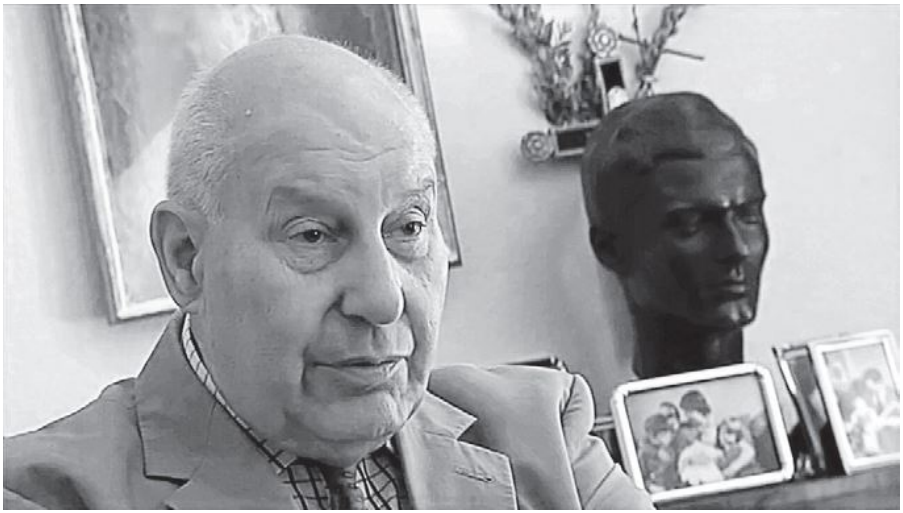
Манфред Роммель с отцом



Манфред

Сергей Браверман, Лизелотте и Манфред Роммель, Татьяна Фрейденссон

Том Круз сыграл фон Штауффенберга



Бертольд фон Штауффенберг на фоне бюста отца

Заур и Шпеер
На осколках Третьего рейха

В 2008 году в Санкт-Петербурге в научном центре Академии наук был избран первый в истории почетный профессор. Звание было только-только учреждено, и его присуждали тем, кто внес большой вклад в науку за рубежом. Любопытно, что свой выбор академики остановили на немецком издателе, профессоре Клаусе Герхарде Зауре «за большой вклад в области научного книгоиздательства и международного книгообмена». И если в издательском деле я мало что понимаю, то фамилия Заур показалась мне смутно знакомой…

И вот три года спустя, летом 2011-го, я смотрела на оригинал диплома Клауса Герхарда Заура, висевшего на стене одной из комнат его просторного дома на юге Германии. Разумеется, в гостях у этого человека я оказалась не из любопытства к книгоиздательству, а по другому поводу. Отец Клауса, Карл-Отто Заур, был де-юре заместителем всемогущего Альберта Шпеера, министра военной промышленности Третьего рейха, де-факто с 1944 года с подачи самого Гитлера управлял ею. Сам Клаус, унаследовав организаторский талант отца, стал крупным бизнесменом.

Меня окружали полки и шкафы с книжными корешками всех возможных фактур и оттенков, выстроенными в определенном порядке, отобранными тематически и кое-где даже расставленными исходя из цветовой гаммы. Это были не книги – солдаты на смотре, стоящие навытяжку перед своим генералом, который с немецкой, даже несколько гипертрофированной педантичностью, подойдя к одной из них, чуть нахмурившись, вдавил ее внутрь подушечкой указательного пальца – на полсантиметра.

Морщинка, возникшая было на его лбу, тут же разгладилась: хаос, которого я так и не успела заметить, уступил место порядку.

– Здесь – вся военная литература, которую я издал. Хозяин дома выдержал паузу и даже несколько посторонился, чтобы я могла окинуть взором огромные белые шкафы, подпиравшие потолок.

Выглядело внушительно, ничего не скажешь.

– Соседний шкаф – полностью про Сопротивление. Можно сказать, мое издательство по-настоящему началось с того, что я начал издавать литературу про антигитлеровскую оппозицию.

Долгое время я специализировался на ней – это принципиально важно для меня.

Интерес Клауса к Сопротивлению не случаен: он признался, что книги на эту тему не приносили большого дохода его бизнесу. Получалось, что это какая-то очень личная его фронда, своеобразный привет Третьему рейху, Гитлеру и покойному отцу. Отцу, который, согласно последней воле Гитлера, оформленной в завещание, занял-таки место своего ненавистного начальника Альберта Шпеера – дожал, выгрыз, заполучил должность, став министром на руинах гитлеровской Германии, сыпящейся в последний день апреля 1945 года обломками арматуры зданий и железными орлами, срывающимися с фасадов рейхсканцелярии и министерств и судорожно сжимающими в лапах венки со свастиками. Министром *такой* Германии, еще называвшей себя Третьим рейхом, не осознававшей пока, что она уже обезглавлена самоубийством Гитлера, отец Клауса пробыл всего три дня. Он даже не знал, что в эти минуты, когда апрель сменился маем, его мечта долгих лет осуществилась. Сквозь грохот отнюдь не торжественных залпов он слышал свою шумную одышку – тяжелое, сбивчивое дыхание толстого человека, знающего наверняка лишь одно: нужно бежать, не оглядываясь…

Старший сын Карла-Отто Заура, Клаус, 1941 года рождения, живет в Пуллахе – очень престижном районе Мюнхена. Дом его, отделанный очень строго, но с большим вкусом, я заметила сразу. Окутанный ровным, блестящим на солнце забором из железных прутьев, он находится чуть в глубине: спереди, вдоль забора, растут аккуратно подрезанные кусты, из ровной зелени которых не выбивается и листочка, и деревья, постриженные в виде объемных геометрических фигур. К массивной входной двери дома, белой, в цвет стен и инкрустированной по бокам цветным стеклом, ведет прямая заасфальтированная дорожка. Прямо над дверью – по центру второго этажа – балкон с белой решеткой, над которым нависают края огромной темно-коричневой черепичной крыши, что в высоту не меньше, чем два расположенных под нею этажа. В тон крыши подобраны все оконные рамы.

Клаус Заур – состоятельный человек и действительно очень крупный издатель. Не понимая ничего в его бизнесе, я подумала о том, что многие издательства переживают не лучшие времена в связи с появлением электронных книг и медленной утратой интереса к чтению вообще. Впрочем, наверное, в Германии ситуация обстоит несколько лучше, чем где-либо: немцы испытывают странную привязанность к бумаге – разного рода открыточкам, рождественским картонкам, которыми обожают

украшать елки, закладочкам, блокнотикам всех видов и наименований. Надеюсь, книги не исключение.

Входная дверь отворилась, и на пороге дома возник Клаус Герхард Заур. Долговязый, почти под два метра ростом, поджарый, с серо-голубыми глазами и тонкими губами, по привычке сжимающимися в вежливую отстраненную улыбку, присущую большим европейским начальникам, Клаус Заур был в бежевом костюме с расстегнутым пиджаком, под которым виднелась рубашка, даже несколько раздражающая своей белизной, и красный галстук. Он казался несколько несуразным и угловатым – и в то же время невероятно собранным и четким, как шестеренка в механизме хороших швейцарских часов, что сверкали на его левой руке.

Вежливо и обстоятельно поздоровавшись со мной и группой и крепко пожав нам руки, Клаус пригласил нас пройти внутрь. Помимо двух, а фактически трех этажей, у Заура есть и подвал – тоже целый подземный этаж, куда ведет лестница с деревянной балюстрадой. Внутри дом Заура похож больше на офис, чем на жилое пространство, всё вокруг подчинено не уюту, а функции: большая площадь первого этажа ничем не загромождена, лишь по периметру ее стоят узкие книжные шкафы и полки. Всё продумано и соотнесено друг с другом – столики, пуфы, удобные кресла…

Заур перемещался в пространстве с безумной скоростью – нет, он не бегал. Он ходил – быстро, несколько истерично размахивая длинными руками. Слова же он, напротив, произносил медленно, артикулированно, четко проговаривая каждую букву, – так, словно взвешивал их количество на весах, отбраковывая по ходу мысли всё, что казалось ему лишним.

Мы стояли с Зауром в одной из комнат у книжных стеллажей – это первое, что хозяин дома поспешил с гордостью продемонстрировать нам.

– То есть вы издаете военную литературу исключительно про сопротивление Гитлеру? – уточнила я.

– Не только издаю, но и собираю тоже, – добавил Заур, – но вообще-то не только. У меня тут есть и дневники Геббельса, и мемуары Шпеера – да очень много чего! Есть даже книга про моего отца…

Он снял с полки книгу в красной обложке, в центре которой красовалась фотография Карла-Отто Заура, с несколько оплывшим жиром лицом и глазами, устремленными в сторону. Взгляд этого человека был жестким, презрительно-ироничным, сфокусированным на чем-то, находящемся вне кадра. Большие

залысины делали лоб Карла-Отто очень высоким, почти на половину лица, а подбородок, рассеченной книзу ямочкой, подчеркивал мужественность человека, которого Гитлер считал гением. Нет, Клаус, тощий и угловатый, определенно не похож на своего отца – настолько, что выглядит его полной противоположностью, если бы не нос, тот самый хищный нос, который почти полностью повторяет отцовский.

Клаус внимательно посмотрел на фотографию на обложке:

– Министерство рейха по пропаганде опубликовало неправильную биографию моего отца. Там было написано, что мой отец очень рано установил контакт с фюрером. Это ложь. Но к нацистам он, правда, питал симпатию уже в середине 20-х годов, а в НСДАП вступил, еще будучи студентом в 1931 году. Дело, вероятно, было даже не в партии, а в ее лидере. С самого начала отец восхищался Гитлером и говорил: «Этот человек – единственный, кто может ликвидировать безработицу и восстановить Германию».

После окончания учебы Карл-Отто Заур начал собственный бизнес, но во время Великой депрессии его фирма обанкротилась, и он начал работать на металлургическом заводе имени Августа Тиссена, где быстро стал самым молодым директором. В 1934 году Заур уже работал у Фрица Тодта.

– В 1934 году отец стал членом большой партийной «Организации Тодта». Их первая встреча состоялась в том же году. А спустя какое-то время Тодт отозвался о моем отце так: «Заур думает, реагирует и работает, как я». Большего комплимента для отца, уважавшего Фрица Тодта, было невозможно представить. И Тодт дал отцу такую характеристику в одном из отчетов Гитлеру, потому что был обязан докладывать о своих подчиненных.

В 1938 году Карл-Отто Заур уже был заместителем Фрица Тодта в «Организации Тодта». Сам Тодт в 1940 году был назначен рейхсминистром вооружения и боеприпасов. Он «занимал три министерских поста. Он отвечал за дорожное строительство, за состояние всех водных путей, рек и систему гидромелиорации и, кроме того, как министр вооружений и боеприпасов являлся уполномоченным Гитлера в этой области… Тодт в течение последних лет постепенно взял на себя контроль за решением важнейших технических задач…»[156]

После гибели Тодта в авиакатастрофе Альберт Шпеер, любимец Гитлера и его личный архитектор, был назначен министром военной промышленности Третьего рейха, а Заур стал его первым замом.

– О-о-о, – громко протянул Клаус Заур, расхаживая по

комнате от шкафа к шкафу, – с гибелью Тодта там очень темная история. Была ли авиакатастрофа подстроена Шпеером или кем-то еще, сказать уже невозможно, но, как бы то ни было, в 1942 году Тодт был мертв, и через сутки Альберт Шпеер уже был назначен его преемником на всех должностях. Отец был в ярости, конечно, потому что сам втайне мечтал об этом назначении. И если Тодта он почитал, то Шпеера считал недостойным такой чести.

Считается, что Заур был жестким управленцем, жертвующим всем ради дела. Согласно туманным намекам, которые делает Альберт Шпеер в своих «Воспоминаниях», его первый зам готов был жертвовать и правдой, лишь бы приносить фюреру только хорошие вести: когда таковых не было, он всё равно имел в запасе какую-нибудь информацию, способную смягчить недовольство фюрера:

«Едва я закончил доклад, как Заур тут же попытался сгладить тягостное впечатление от него. Он рассказал о своей беседе с Мессершмидтом и вынул из портфеля эскизный проект четырехмоторного реактивного бомбардировщика. И хотя на создание сверхдальнего самолета, способного долететь до Нью-Йорка, даже в нормальных условиях потребовалось бы несколько лет, Гитлер и Заур тут же начали с упоением обсуждать последствия бомбового удара по наибольшему по численности городу США. <…> Гитлер и он, словно легкомысленные юноши, не желали считаться с реальной ситуацией. Хотя вся система военной промышленности оказалась на грани развала, они оба не придумали ничего лучшего, как уделить пристальное внимание разного рода проектам, словно в запасе у них был 1945 год»[157].

Впрочем, у рейхсляйтера Мартина Бормана об отношениях Шпеера и Заура сложилось свое собственное представление. Вот как он отзывается о них и докторе Карле Брандте, личном враче Гитлера и комиссаре здравоохранения, в письме к своей жене Герде, написанном в ночь с 8 на 9 сентября 1944 года: «Брандт, Шпеер и Заур – общество взаимного восхищения и восхваления; они помогают друг другу карабкаться вверх по служебной лестнице»[158].

Тем не менее Альберт Шпеер, написав сотни страниц мемуаров, Заура упоминает всего лишь несколько раз и уж точно никак не восхваляет – скорее даже наоборот, что на самом деле неудивительно: Шпеер активно недолюбливал своего первого зама, метившего на его место и уверенно завоевывавшего расположение Адольфа Гитлера.

Клаус Заур изящными пальцами поправил толстую черную

оправу очков:

– Отец мой близко сошелся с Гитлером в конце 1943 года, когда Шпеер долго лежал в больнице, потом лечился дома. То есть Гитлер не только часто встречался с моим отцом, но и говорил с ним по телефону каждую ночь: отец докладывал фюреру данные по производству оружия. В 1944-м Гитлер заявил моему отцу во время прогулки: «Мой дорогой Заур, если бы я знал вас в 42-м так же хорошо, как сегодня, то преемником Тодта стали ли бы вы, а не Шпеер…» Отец вспоминал это с упоением – конкретно эту фразу, которая тогда делала его мечту стать министром военной промышленности практически осязаемой.

Сразу после покушения 20 июля 1944 года (когда фон Штауффенберг пронес бомбу на совещание в «Вольф-шанце») Гитлер еще больше отдалился от Шпеера, которого многочисленные недруги пытались связать с заговорщиками, – в своих мемуарах рейхсминистр всячески дает понять, что утрата расположения Гитлера не была для него трагедией, но также очевидно, что пишет он об этом после отгремевшего Нюрнбергского процесса для того, чтобы отмыть свое имя: «В столице я узнал, что обергруппенфюрер СС Кальтенбруннер настойчиво добивается встречи со мной, он еще ни разу не был у меня… Кальтенбруннер смерил меня внимательным взглядом… Он тотчас объявил цель своего прихода: “В одном из сейфов на Бендлерштрассе мы обнаружили составленный заговорщиками список членов будущего кабинета. Вы числитесь в нем министром вооружений”. Я обнаружил аккуратно вписанную печатными буквами в одну из клеток канвовой бумаги свою фамилию: “Вооружение: Шпеер”. Сверху кто-то из скептически настроенных заговорщиков написал: “Если получится”. Высказанное им сомнение и мой отказ приехать 20 июля на Бендлерштрассе спасли меня от почти неминуемого ареста»[159].

И дальше – об укреплении позиций Заура в глазах фюрера: «По своей укоренившейся в последнее время привычке Гитлер в ходе дискуссии демонстративно не обращал на меня внимания. Он даже не пожелал выслушать мое мнение и обращался исключительно к Зауру. Мне была отведена роль молчаливого свидетеля. После заседания Геббельс доверительным тоном поведал мне, что поражен моим безучастным отношение к поведению Заура, который явно намерен занять мое место»[160].

– Это, к сожалению, правда, – вздохнул Клаус Заур, – отец был одержим работой, креслом министра, и ничего другого ему было не надо. Еще он был одержим Гитлером. Как-то, уже спустя много лет после войны, мы с ним прогуливались во Фрайбурге, и он вдруг с несвойственной ему откровенностью повторил при мне

фразу, сказанную ему Гитлером: «Он сказал, что я, а не Шпеер должен был стать его министром». Отец сказал это с налетом сожаления, а я подумал: если бы он стал министром военной промышленности, его наверняка бы вздернули в Нюрнберге. Он не был столь хитер, как Шпеер, который умудрился получить вместо заслуженной смертной казни двадцать лет тюрьмы.

«На завершающем этапе войны я мог отвлечься и успокоиться, только уйдя с головой в активную деятельность. Я решил, что уж если Зауру так хочется, то пусть он фактически возьмет на себя руководство разваливающейся системой военной экономики и пытается сохранить относительно приемлемый объем производства вооружения»[161].

– Ваш отец в итоге добился своего, – заметила я Клаусу, который, прервав свое нервное хождение по комнате, вдруг сел на стул и ухмыльнулся, сжав губы в нитку.

– В своем завещании Гитлер назначил его преемником Шпеера, министром военной промышленности. То есть с 30 апреля – дня, когда покончил с собой Гитлер, – по 3 мая мой отец был министром Великого Германского рейха, которого уже не было. Страшное издевательство. Я бы лично расценил это как плевок в лицо от мертвого фюрера, чем признание заслуг отца…

– Мне всё-таки казалось, что он был талантливым технократом, а не одержимым нацистом, питающим платоническую любовь к Гитлеру. То есть не таким, каким описываете его вы.

– Технократом? – Клаус взглянул на меня так, словно впервые увидел секунду назад. – Он был нацистом. Упоенным. Толстым. Шумным. Холериком со вскинутой к солнцу рукой. Он сделал тотальную ставку на власть. Он ведь де-факто с марта 1944 года руководил всей военной промышленностью рейха, но этого было мало. Ему хотелось быть рейхсминистром. Хотя у него был Рыцарский крест за военные заслуги, был еще Крест с мечами. Он хотел обойти Шпеера. Почти патологическое желание убрать соперника и встать на его труп. Вот он какой, мой отец…

Заур, подумалось мне сначала, в своем критическом отношении к отцу был немного похож на Никласа Франка с его желанием обличить и задеть, но потом я поняла, что принципиальная разница между этими людьми в том, что Клаус, в отличие от Франка, говорил с каким-то тяжелым внутренним спокойствием, без надрыва. Вообще всё выглядело так, словно он констатирует факты, – что творилось у этого человека внутри, я не знала, и догадаться было трудно. Судя по всему, Заур был из тех людей, кто привык держать эмоции при себе, и эта привычка с

годами лишь укоренилась, зацементировав себя напряженной улыбкой на лице.

– Отцу не повезло, – продолжил Клаус. – В своем завещании Гитлер назвал своим приемником Карла Дёница, а Дёниц, возглавив Третий рейх, 3 мая преобразовал кабинет, снова, вопреки последней воле фюрера, назначив министром вооружений Шпеера… Что? – вдруг спросил меня собеседник.

– Я просто подумала о том, что в начале мая, когда Красная армия была в Берлине, они где-то преобразовывали кабинеты… Звучит невероятно. Такой странный образ, будто сидят они все на руинах под бомбежками и вписывают свои имена в графы: ты – министр такой-то, а я – министр такой-то…

– Агония бывает разной, но заканчивается всегда одинаково, – философски заметил Заур и, выдержав паузу, словно сделав отточие, продолжил мысль. – А они чуть ли не до середины мая играли в свой игрушечный кабинет министров. Правительство, которое возглавлял Карл Дёниц, называлось фленсбургским, поскольку город Фленсбург, где оно находилось, располагался поблизости от границы с Данией, и арестовали их всех 23 мая. Моего отца арестовали раньше, в начале мая. Ну а там – лагеря, Нюрнберг…

– Его арестовали американцы. В начале мая. А дальше?

– Дело было так. Если не ошибаюсь, после ареста отец был доставлен американцами в лагерь в Кранцберге. Он побывал в шести-семи разных лагерях. В декабре 1945 года отца доставили в Нюрнберг, где вовсю шел самый крупный судебный процесс, международный трибунал. И в это время Шпеер, которого судили в числе прочих преступников, передал отцу открытку, нарисованную собственной рукой. На открытке была примерно такая подпись: «Дорогой мой Заур, верю, что наступят лучшие дни, всего хорошего. Ваш Шпеер». Несмотря на то, что отношения между ним и отцом никогда не были хорошими, я бы назвал их плохими, эта открытка была какой-то трогательной, сердечной, симпатичной и нарисована была явно от всей души. Значило ли это, что Шпеер просил прощения? Или это был просто жест человека без званий к другому человеку без званий, тоже вышибленному из привычной системы координат? Я не знаю. Но знаю, что самым трудным годом в их отношениях был 1944-й, в том же году состоялось то самое совещание у Гитлера, на котором фюрер назвал моего отца гением.

«…На одном из оперативных совещаний Гитлер в присутствии всех генералов из своего ближайшего окружения безапелляционно заявил: “Какое счастье, что один из руководителей нашей военной промышленности настоящий

гений. Я имею в виду Заура. Он, несомненно, преодолеет все трудности”. Генерал Томале робко попытался обратить его внимание на следующее обстоятельство: “Мой фюрер, здесь присутствует министр Шпеер”. “Да, я знаю, – буркнул Гитлер, явно раздраженный тем, что его перебили, – но Заур – гений, который сумеет исправить положение”»[162].

– В Нюрнберге им уже не было важно, кто гений, а кто нет, – продолжил Клаус, – каждый выживал как мог. Шпеер уже на процессе начал отчаянно лгать и договорился до того, что он был чуть ли не в оппозиции Гитлеру, что даже планировал покушение на фюрера. А потом он выпустил огромные мемуары. Он изобрел свой собственный метод повествования, постоянно акцентируя внимание на том, что признал свою вину. А дальше в развернутом виде пояснял, что я хоть и виноват, но вообще-то по-настоящему виноват еще тот, другой и третий. Шпеер ничего не пишет о том, как выгонял евреев из Берлина, как лишал их собственности, чтобы на этом месте стоить свои роскошные здания, будучи еще главным архитектором рейха. И как он вел себя, став министром военной промышленности. Участвовал в совещаниях, а потом вычеркивал себя из списков участников, зная, что это может отрицательно на нем сказаться, если война будет проиграна.

Нелюбовь к Шпееру Заура-старшего передалась и его сыну. Клаус, разумеется, во многом был прав: долгое время мемуары Шпеера были главным историко-биографическим документом времен Третьего рейха, и каждый, кто когда-либо занимался темой Гитлера и его близкого окружения, непременно ориентировался именно на эти мемуары, сквозь призму которых многие и по сей день смотрят на историю гитлеровской Германии. Разумеется, Шпеер отредактировал себя – он раньше многих понял, что «быть» в некоторых случаях менее полезно, чем «казаться». Он был неразговорчив с тюремными психологами и психиатрами в Нюрнберге, избегая ответов на вопросы и тяготясь их попытками разговорить его, в то время как практически все остальные обвиняемые, соблюдая, однако, дистанцию, всё же общались с ними, поверяя им свои страхи, чаяния и надежды. Шпеер предпочел промолчать, зато потом, после Нюрнбергского процесса, высказался громче остальных в своих мемуарах…

– А ваш отец?

– Ну а отец, конечно, был не столь хитер. Его мягко осудили – приговорили к небольшому штрафу и отпустили домой в Пуллах в 1948 году. Не просто так. А потому что он стал сотрудничать с американцами и выступил основным свидетелем в деле против Круппа. В пору, когда он был еще младшим директором

металлургического завода Тиссена, Крупп считался их основным конкурентом. В общем, это тоже история взаимной нелюбви моего отца и Круппа. Собственно, Круппа и осудили лишь из-за того, что мой отец в Нюрнберге дал против него показания.

После главного судебного процесса в Нюрнберге, продлившегося с 1945-го по 1946 год, итогом которого стали приговоры высокопоставленным нацистам Третьего рейха, в числе которых был Альберт Шпеер, получивший двадцать лет тюрьмы, в этом городе прошли еще двенадцать судебных процессов, которые теперь называют «малые», или «последующие» Нюрнбергские процессы (их проводил не международный трибунал, а военное командование США). На одном из них, проходившем в том же зале суда № 600, Карл-Отто Заур, выкупая свою свободу, и выступил против Круппа, самого мощного промышленника Германии. Процесс официально назывался «США против Альфрида Круппа», и целью его было призвать к ответственности крупнейших промышленников, обеспечивающих Третьему рейху подготовку к войне, ведение войны, использование рабского труда на производстве. В итоге Альфрид Крупп был приговорен к двенадцати годам лишения свободы с конфискацией имущества, а Карл-Отто Заур отпущен домой в 1948 году. Правда, уже в начале пятидесятых ситуация переменилась. Круппа в 1951 году досрочно выпустили на свободу и возвратили его личное состояние, а Карл-Отто Заур прослыл в среде промышленников предателем и означало это только одно: ему был объявлен бойкот, и на работу его брать никто не хотел.

– Я сам понял многое об отце после одной ситуации, – задумчиво сказал Заур, сидя в кресле, – на дворе был 1955-й или 1956 год. Мне было примерно лет пятнадцать. Отец сидит перед телевизором и смотрит на Тео Бланка, который тогда был министром обороны ФРГ. Смотрит, смотрит, а потом вздыхает и говорит то, от чего у меня волосы становятся дыбом. Он произносит: «Вот он какой, мой преемник». Тогда я из чистой вредности заметил ему, что Бланк – преемник Шпеера, потому что через три дня Дёниц, преемник Гитлера и глава Третьего рейха, снова назначил министром Шпеера. Но теперь вы понимаете, что занимало отца спустя годы после войны? Что он был три дня министром и Гитлер перед смертью его упомянул в завещании.

– Ощущение, что эти три дня преследовали его годы…

– Точно, – согласился Заур.

– И вас тоже преследуют…

Он промолчал.

Воспользовавшись паузой, я попросила Клауса сменить точку и показать нам дом. Он явно не был готов пока обсуждать свои отношения с отцом, хотя, полагаю, обсудить было что. Судя по всему, старшего сына Карла-Отто Заура постигла та же судьба, что и многих детей высокопоставленных нацистов, – их отцы, утратив цель жизни в виде служения фюреру и Третьему рейху, не могли заместить ее такой банальной мелочью, как любовь к семье. Не тот масштаб, размах, ощущение собственной избранности и значимости…

– Посмотрите немного мои книги. – Клаус показал на корешки книг, стоящих строго в ряд. – Вот, видите, серия из восьми томов. В 1980 году я издавал огромное количество литературы про Сопротивление, антисемитизм, Холокост. Всё это объединилось под названием «Германо-израильский диалог». Издателем был Рудольф Фогель. Он был уполномоченным Конрада Аденауэра по вопросам Израиля, сам потерял мать и брата в концлагере. И он рассказал о том, что выходит восьмитомник, Роберту Кемптеру, заместителю главного обвинителя США на Нюрнбергском процессе. И Кемптер спросил его: «О, я вижу, вы издаетесь у Заура? А ведь это сын того самого Карла-Отто Заура». И Фогель спросил: «И как вы к этому относитесь?» Кемптер ответил: «Да прекрасно! Во-первых, хорошее дело. Во-вторых, Карл-Отто Заур всё-таки не был нацистом в прямом смысле слова – он был технократом…»

– Ну так… ему же, наверное, виднее, Кемптеру? – осторожно спросила я.

– Да? – Задумался Заур. – В Нюрнберге многие заступались за отца, говорили, что он вне политики, что он технократ, что будь на месте Гитлера другой лидер, а вместо национал-социализма другой строй, он бы точно также проявлял свои организаторские таланты на благо военной промышленности, то есть ему было вроде как неважно, на кого работать, – главное, на свою страну. Но ведь с 1925 года он ощущал себя национал-социалистом, вписанным в эту идею, в этот строй, и он почитал Гитлера во время Третьего рейха. А после крушения рейха почитал его точно так же, может, и еще больше…

Везде в доме – в каждой комнате – книги, книги, книги. И в кабинете Клауса. Шкафы с книгами в один ряд занимают все стены, и кажется, что дом держится именно на этой опоре. Старые, новые, потрепанные и сверкающие глянцем, в суперобложках и без них – книги живут своими жизнями, вплотную прижавшись к друг другу на светлых узких полках. Посреди комнаты стоит старый добротный деревянный стол, заваленный листами формата А4, открытыми банками клея,

ножницами, карандашами, канцелярскими ножами, калькулятором, скотчем. Под толстым слоем необходимых для издателя принадлежностей погребен факс и два телефона, от которых, не путаясь друг с другом, в разные комнаты тянутся провода.

По бокам стола с канцелярскими принадлежностями – вертикальные ряды ящиков с круглыми ручками. Когда Заур, в свойственной ему порывистой манере, принялся вытягивать один за другим ящики стола, а потом резко задвигать их, не обнаружив искомое, я заметила вслух, что стол довольно старый и, вероятно, принадлежал кому-то из близких Клауса. И услышала прогнозируемый ответ:

– Отцу. После его смерти за этим столом работаю я, теперь он мой.

– Что лежало в этих ящиках? Вы помните, что тут хранил отец?

– Много чего, – шумно выдохнул Клаус, выравнивая стопку листов столе, пытаясь тем самым несколько «причесать» рабочий хаос своего кабинета и привести к общему знаменателю порядка, царившего в остальных комнатах, – награды хранил. Он же был единственным человеком в Третьем рейхе, награжденным тремя Рыцарскими крестами… Как-то в детстве мы с братьями играли в его комнате – это был, разумеется, другой дом, другая страна и другая жизнь. И выдвинули ящик стола. Там были три креста и несколько фотографий, на которых отец был рядом с Гитлером…

– Он зациклился на фюрере?

– Они все на нем зациклены были, – спокойно и несколько брезгливо резюмировал Заур. – Пойдемте, я покажу вам веранду. Снимать в кабинете дальше смысла нет. Всё остальное к отцу не имеет отношения…

Кабинет Заура имеет отдельный выход во внутренний двор с огромной верандой, отделенной колоннами от зеленого сада. Заур устроился на стуле и, пока мы готовились, начал вертеться.

– Вас что-то беспокоит? – уточнила я.

– Меня? – удивился он искренне. – Нет. Я просто забыл сказать, что после съемки я приглашаю вас с ребятами в ресторан, посидеть на свежем воздухе – погода хорошая, а тут недалеко есть очень приличное место, где вкусно готовят.

Сам Клаус в детстве недоедал. Если первые четыре года его детства пришлись на период Третьего рейха и подъема отца по служебной лестнице, то весной 1945-го всё переменилось. Отец был арестован, мать с пятью детьми, жившие с 1944 года в замке Плассенбург, некогда резиденции Гогенцоллернов, в ночь капитуляции Германии, с 8 на 9 мая, были вынуждены покинуть

свое роскошное жилище. Идти им было некуда.

«К счастью, мать познакомилась с пастором деревни Кройсен. Деревня Кройсен расположена под замком Плассенбург. И этот пастор принял нас 9 мая, когда мы остались без крыши над головой. Он проявил невероятную доброту, предоставив нам кров. Он точно знал, что мы не просто не были его прихожанами, а представляли семью крупного нациста. И он принял нас, несмотря на то, что его дом был уже переполнен: мы были вынуждены спать в коридорах, на матрасах. А я со своей сестрой ходил в детский сад. Так что у меня остались только хорошие воспоминания о дяде-пасторе и тете – жене пастора. Мне хотелось сделать им приятное. И вдруг представился шанс. В один из дней я примчался к пастору с рыночной площади и закричал: “Там ваш сын Ойген, он вернулся, загорелый, как негр!” А пастор и его жена думали, что Ойген погиб, потому что воевал на Восточном фронте, в СССР. Так что я был первым, кто принес пастору хорошую новость, что его сын жив».

Затем, в том же 1945 году, Клаус с семьей вернулись в Пуллах, где они и ждали возвращения отца. В 1948 году нищий и бесперспективный гений фюрера Карл-Отто Заур вернулся к своей семье. Он решил затеять собственный бизнес, потому что другой работы для него не было.

– Отец вышел на свободу, но потерял расположение всей крупной промышленности, и тогда он в 1948 году основал свое инженерное бюро. В маленьком домике, которым он владел, но который пришлось переписать на имя горничной (как бывший нацист он не имел права им владеть). Домик находился на задворках огромной территории: планировалось, что после победы Третьего рейха в войне отец построит огромную усадьбу на всей территории. В общем, в этом маленьком домике он занимался вопросами организации производства и административными делами. И в 1949 году он чудом получил заказ составить подборку литературы по гидротехническому строительству. И после этого отец сосредоточился на издательском деле…

– Как складывались ваши отношения с ним?

– Стабильно плохо, – четко ответил Клаус. – Когда отца выпустили из тюрьмы, мне было восемь лет. Я был старшим сыном в семье. А он был озлобленным холериком и очень несправедливым человеком. Больше всего любил он мою старшую сестру и младшего брата, мне же с ним всегда было сложно. Вероятно, из-за плохих отношений с отцом, которые висели надо мной всякий раз готовой разразиться ливнем тучей, я очень плохо

учился, был инертным ребенком. Он всегда причитал: «У меня пятеро детей. Четверо получились нормальными. А Клаус… в семье не без урода». Я и был этим уродом. Он не воспитывал меня, так что опору я находил в евангелической молодежной группе. В общем, учился я ужасно плохо, а в шестнадцать лет поступил в торговый техникум… И тут всё переменилось – я стал отличным учеником, пожалуй, самым успешным. И буквально упросил отца принять меня к себе на работу в затухающее бюро, которое балансировало на грани банкротства. В итоге оно всё-таки разорилось в 1954 году. Не знаю, как, но в 1955 году отец снова продолжил бизнес, а в 1958-м бюро снова было на грани банкротства. И тут помог счастливый случай, который, на самом деле, конечно, неправильно называть счастливым. В общем, скончался брат моего отца, мой дядя. Они, братья, рассорились еще в 1925 году, когда отец увлекся нацизмом, а дядя мой, очень образованный человек, потребовал, чтобы отец отбросил эту чушь. В общем, несмотря на то, что они расплевались окончательно, дядя после смерти завещал отцу $^1/_6$ часть своего наследства. Это было хорошее наследство: у дяди был огромный дом, бесподобные издания энциклопедий, виноградники, но, разумеется, всё это он делил на шестерых, то есть между всеми своими родными. По-хорошему дядя вообще ничего не должен был оставлять отцу, но оставил, а вот отец был взбешен. Он считал, что ему как отцу пятерых детей наследства должно полагаться больше, чем, к примеру, двум его бездетным сестрам. Как бы то ни было, именно деньги покойного дяди спасли издательство отца от разорения в 1958 году.

– Я что-то понять не могу, – осторожно перебила я Клауса, – он – технократ. Гитлер считал его гением. На нем лежала ответственность за вооружение Третьего рейха… И этот же самый человек вдруг оказался абсолютно несостоятельным в собственном бизнесе, от процветания которого зависела судьба его жены и детей?

– Ну, мы же не его великий Гитлер… – уныло заметил Клаус без всякой иронии.

– То есть, для Гитлера он…

– …для Гитлера он хотел стараться. А на нашу жизнь ему уже было плевать. Он остался в трех днях своей славы, на посту министра. Он остался в Третьем рейхе. Он навсегда остался с Гитлером… Это был уже не человек, а тень, осколок, рудимент. – Клаус изящными пальцами поправил оправу очков.

– А вы? Как вам удалось пережить трудности взаимоотношений с отцом?

– Никак. Хотя я всё-таки стал работать с ним в издательстве и

за очень короткое время стал для него незаменимым. Он зависел от меня.

– Но не любил, – сказала я. Прозвучало как-то жестко.

– Точно, – кивнул Заур без видимого намека на страдания, – и это было не изменить. А с 1959-го по 1961 год я уехал обучаться издательскому делу – в тот период мы с отцом встречались два-три раза в год. Уже во время учебы я получил несколько прекрасных предложений о работе. В частности, от концерна Бертельсманна и еще одного крупного издательства в Дюссельдорфе. Я думал, выбирал…

– И?..

– И тут отец заболел. Я должен был вернуться. Хотя это может показаться странным, что я, его нелюбимый сын, вот так отбросил всё и, как верный пес, вернулся в крошечное бюро отца в Пуллахе, где получал треть тех денег, которые мог бы получать у того же Бертельсманна… Но как бы то ни было, я вернулся и сказал отцу, что нужно окончательно превратить его инженерное бюро в издательство. Я сказал ему: «Мы начинаем готовить к печати международный адресный справочник издательств». Он затею оценил. А потом стал уточнять: «Адресный справочник издательств технической литературы?» Я ответил: «Не только, всех издательств». – «Но ты же не собираешься включать туда религиозные издательства или издательства детской литературы?» – «Собираюсь». Он ехидно поинтересовался: «И какой же тираж?» – «750 экземпляров». «Да ты дурак! – орал он. – Это очень много, ты столько никогда не продашь!»

Это была первая книга издательства, которая была полностью раскуплена. Кстати, она была машинописной. С доходов от продажи тиража я смог купить подержанную пишущую машинку, но зато электрическую. И следующую книгу я выпустил тиражом 1500 экземпляров. Третью – 3000 экземпляров…

– И он вас, наконец, оценил. – В эти секунды я поймала себя на том, что Клаус больше не кажется мне сухим и дотошным, эдаким книжным червем и занудой. И что я жадно ожидаю счастливого конца этой маленькой камерной драмы, разыгравшейся внутри семьи Зауров.

– Отец? Вряд ли он кого способен был по-настоящему оценить, тем более меня. Ему тяжело было признать, что я умею реализовать товар, а он на это был просто не способен. Уже на третий день, с момента, когда я, молодой специалист, вернулся в его дохлое издательство, мы с ним сцепились по какому-то пустяку и… с тех пор не прекращали ругаться. Все свои предложения по улучшению работы издательства я вкладывал в уста своего младшего брата, которого отец обучал. Как ни

странно, брата отец всегда слушал с интересом и на любое его предложение говорил да, в то время как я слышал только один ответ: нет. Честно говоря, я часто задавался вопросом, как долго я способен выдерживать такое издевательство, после того как отказался от отличных предложений и остался в Пуллахе «по семейным обстоятельствам»…

Чем больше мой собеседник говорил, тем большим уважением я невольно проникалась к нему. Он смиренно предпринимал попытку за попыткой, чтобы доказать отцу, что он – хороший сын и что его тоже есть за что любить…

Клаус, как теперь мне казалось, был максимально объективен, и от этого картинка, которую он рисовал передо мною, стала объемной и цветной. Не было черного и белого. Его отец Карл-Отто Заур – отрицательный герой повествования – вместо отторжения тоже начал вызывать у меня легкое сочувствие, ибо сам, многого не понимая, был подло обманут тем, на кого молился до конца жизни. Его обдурили как ребенка. Хотя, казалось бы, – и почет, и уважение фюрера, а в конце концов и должность рейхсминистра. Посмотреть со стороны – так всё прекрасно. Но на деле, прав был Клаус, всё это выглядело по-иезуитски. В особенности Гитлер, сделавший его отца министром за несколько часов до самоубийства. А потом и процесс в Нюрнберге над крупными промышленниками, которых Карл-Отто Заур продал за свободу. Свободу, которой так и не смог распорядиться.

– Как ваш отец проводил свободное время?

– Сидел на стуле и смотрел вдаль. У отца – это еще Гитлер отмечал и его окружение – была феноменальная, просто фантастическая память. Он знал всё и помнил день и час каждого совещания, коих были сотни. Каждое слово, каждый отчет, каждый взгляд Гитлера. И никогда, ни разу он не пожелал поделиться этим с нами. Я не знаю, о чем он думал, сидя в кресле и глядя сквозь всех нас, но, вероятно, он снова и снова переживал Третий рейх. С моей матерью он тоже не был близок. В какой-то момент у отца была любовная интрижка с секретаршей, об этом мы, дети, знали, мать – тоже.

Что его еще интересовало? С конца 60-х годов он всегда голосовал за социал-демократа Вилли Брандта и люто ненавидел Аденауэра. Отца шатало между политическими силами. После национал-социализма у него больше не было четкой позиции. Сказать честно, даже во время свой работы в министерстве замом Шпеера он никогда не акцентировал внимание на том, являлись ли соискатели членами партии или нет. Министерство военной промышленности было единственным министерством, в котором

членов нацистской партии было около 60 %: это мало по сравнению с другими министерствами, где 100 % штата были людьми партийными. Моя мама не была членом партии, и он никогда не требовал от нее вступить в нее. Более того, он не был ярым антисемитом – ему просто было не важно, еврей ты или немец. К примеру, в 1942 году он помог своей еврейской подруге Мэри Диамонд перебраться из Бреслау в Базель. Он просто помог, потому что у него была возможность. И потому, что он считал ее порядочным человеком. Была и такая история, что он пришел к Гитлеру и попросил не отправлять в концлагерь двух евреек. Обе были женами крупных промышленников. Первая – жена Вильгельма Хаспеля, гендиректора «Мерседес-Бенц», а вторая – жена Отто Майера, гендиректора концерна «МАН». Отец упросил Гитлера пощадить их. Но, думаю, тут всё было куда прагматичнее. Он сказал: «Мой фюрер, Хаспель и Майер – люди, которые очень мне нужны. Пощадите их жен».

Отец мой не был подвинут на идеологии нацизма, он никогда не был политиком или философом. Но при всём том до конца своих дней, до самой своей смерти он считал Гитлера самым великим лидером из всех когда-либо живущих на земле. А умер он в 1966 году. Прямо в мой день рождения – мне как раз исполнилось двадцать пять лет.

Спустя некоторое время после смерти отца, в 1967 году, моя мать получила письмо от Вернера фон Брауна из Пасадены. Она так и жила в Пуллахе, в доме, в котором раньше жила вся семья. Схватив это письмо, она тут же поехала на своем мопеде по окрестностям – все мы, ее дети, жили неподалеку, – чтобы показать письмо. Она с гордостью прочитала нам письмо. Вернер фон Браун писал, что выражает нам всем, родным Карла-Отто Заура, глубокие соболезнования и помнит, что очень многим обязан моему отцу. Мама пояснила нам: Вернер фон Браун тоже работал на нашего отца. Его неудачи с ФАУ-2, и ложные доносы, и – как повод – еврейские корни в итоге обернулись арестом. Когда фон Брауна хотели отправить в концлагерь, отец за него заступился…

Клаус неожиданно стянул губы в нить улыбки.

– Любопытно еще, что племянница Вернера фон Брауна была участницей Сопротивления. А теперь мы с ней на пару работаем в правлении Института имени Гёте. Вот так вот всё связано в этой жизни…

После разговора Клаус Заур представил нам свою жену Лило, очень милую и общительную женщину, такую же стройную, как он сам, такую же высокую и подтянутую, с приятным лицом,

никак не выдававшим ее возраст, и приятной улыбкой. Клаус и его жена пригласили нас в ресторан, предупредив сразу, что если они приглашают, то и платят они. Я попробовала было протестовать, но Заур был непреклонен: они специально не готовили нам чай и сладости, так что теперь пора всем вместе как следует пообедать.

Мы сидели на просторной открытой летней веранде ресторанчика. За пивом и отбивной с овощами Клаус с упоением рассказывал об издательском бизнесе, а Лило сообщила, что у них с мужем двое взрослых детей – Клаус и Анетта, обоим уже за сорок, и у обоих уже свои собственные семьи. И дедом дети Клауса не интересуются совсем, а внуки – те точно вряд ли будут. Речь зашла о детях и внуках высокопоставленных нацистов. После того как я поделилась с Клаусом своими впечатлениями от всего, что узнала от них, Заур улыбнулся – чуть мягче, чем обычно:

– Должен заметить, что вы слишком наивны, когда говорите о том, что многие дети высокопоставленных нацистов осуждают своих отцов. Нет-нет, я знаю, я очень хорошо знаю, что, к примеру, дочь рейхсмаршала Геринга Эдда – настоящая нацистка, кто бы что ни говорил. Как была, так и осталась. Есть огромное количество детей, которые просто никогда не станут говорить этого вслух, но все, практически все – нацисты. А небольшое количество тех, кто не поддерживает отцов, – просто тщеславные люди, использующие родство в собственных интересах, чтобы получать дивиденды в виде славы или денег. Никому не верьте. Я всю жизнь прожил на юге Германии и понимаю, о чем говорю…

– И всё-таки, – заметила Лило, делая глоток пива, – самый непонятный для нас с Клаусом человек – это сын гауляйтера Польши Никлас Франк.

– Я читал его книгу про отца, – заметил Заур, – должен сказать, что всё это непросто для моего понимания. Все эти странные откровения, весь сор из избы. Взять хотя бы его истории о том, как мать изменяла отцу, отец изменял матери… И всякие прочие интимные подробности в красках, с довольно гадкими комментариями.

– Он вам омерзителен? – уточнила я.

Заур вытер губы салфеткой:

– Нет, но то, что он делает… это как минимум некорректно. Я не считаю, что дети должны квитаться с отцами вот таким образом. К тому же и меня, и того же Франка можно упрекнуть в предвзятости, потому что мы – нелюбимые дети.

Позиция Клауса вызывала уважение. Разумный, несколько суховатый, но всё же глубоко человечный сын сумел поквитаться со своим отцом самым достойным образом. Когда-то Карл-Отто

Заур твердил сыну, который ради него бросил карьеру, что он «урод» и ничего ему в жизни не светит. И Клаус доказал ему обратное.

К сожалению, Карл-Отто Заур об этом уже не узнает.

– Мой отец скончался в день моего двадцатипятилетия. В 1966 году. Ему было 64 года, и у него был диабет. Мы не делали вскрытия, но мне кажется, что умер он всё-таки от рака. Хотя не знаю. Символично ли, что он умер в мой день рождения? Тоже не знаю… Сразу после его смерти я взял управление издательством в собственные руки. Сначала мы работали вместе с моим братом. Позже я продолжил дело один. После смерти отца издательство начало развиваться невероятными темпами, и вскоре его уже считали вполне серьезной организацией, ну а потом и просто ведущим издательством в области информации, документации и издательского бизнеса (я стал выпускать очень много англоязычных изданий, сделав на них ставку). Ну а потом я, наконец, вышел на мировой рынок. В семидесятые. США. Япония. Арабские страны. СССР. Китай и много-много разных стран. В течение сорока лет, что я руководил компанией, ее обороты увеличились с 127 тысяч марок до 40 миллионов…

Дальше Клаус, уже не останавливаясь и забыв про пиво и обед, упоенно сыпал наименованиями изданных им книг, каталогов, хаотично перемешивая их с какими-то ничего не говорящими мне именами из сферы его бизнеса. Издательство свое он продал, однако продолжал возглавлять его до самой пенсии. Сегодня Клаус тоже не скучает. Помимо того, что он почетный профессор Санкт-Петербургской Академии наук, еще он такой же почетный профессор десятка университетов в разных странах мира. Он также член правления Института Гёте и ряда разных ассоциаций, в числе которых – «Против забвения – за демократию». У него было и даже сейчас есть так много должностей в разных организациях, что начинаешь путаться. Звания его лучше и не начинать перечислять, так их много. Он живет столь же быстро, как перемещается в пространстве, – и успевает больше других. А еще он любимый муж, отец и дед. Только любимым сыном ему уже не стать никогда. И эта легкая горечь неотделима от приятной сладости победы над собой и обстоятельствами. Победы Клауса, которая всё равно посвящена лишь одному человеку. Его отцу.

– О чем или о ком отец думал перед смертью?

– Не знаю, – Клаус пожал плечами, – наверное, о том, о ком думал и помнил всегда. И это, как вы поняли, был совсем не я…

* * *

В этой главе много внимания было уделено Альберту Шпееру, личному архитектору Гитлера, который в 1942 году возглавил военную промышленность Третьего рейха, так что, наверное, будет справедливо коротко рассказать и о его семье тоже. Коротко, потому что сам Шпеер рассказал о себе всё что мог. И в мемуарах, и в интервью, которые давал в огромном количестве.

По пути Альберта Шпеера пошли и все его дети: они писали книги, снимались в фильмах, давали интервью – так, словно они дети национального героя, как Бертольд фон Штауффенберг. Кстати, Бертольд-то сильно меня и удивил, заявив следующее: «Шпеер был самым худшим из всех. Самым хитрым. Самым подлым. Как его потомки вообще могут с этим жить?»

Нормально могут. К примеру, сын Шпеера, Альберт Шпеер – младший, – очень известный архитектор, который по сей день застраивает Берлин, участвовал в олимпийской стройке в Пекине, строил и продолжает строить свои здания по всему миру. Он намеренно пошел по стопам отца, но признается, что с годами его всё больше и больше утомляет постоянное сравнение с отцом. Шпеер-младший, отказываясь от интервью, пояснил, что тень отца победила его, но винить некого: ведь он сам принял условия игры и стал архитектором. Он добавил, что про родителя уже достаточно говорил и в последние годы просто больше не хочет этого делать.

Младшая сестра Альберта, Хильде Шрамм, которая не была слишком близка со своим отцом, стала активным политическим деятелем (еще она издатель и социолог). Главное направление ее деятельности – оказание помощи жертвам антисемитизма, которые пострадали от нацистского режима. Другие дети Альберта Шпеера (всего у него было шестеро детей) не столь публичны, однако нельзя сказать, что кто-то из них серьезно пострадал из-за фамилии в послевоенной и современной Германии, – более того, после издания мемуаров Альберта Шпеера многие почитали за честь пожать руку бывшему рейхсминистру, а детей его с удовольствием принимали на работу.

Хильде Шрамм, как и ее старший брат, призналась, что всё, что можно было сказать про родителя, уже сказано – и детьми, и им самим, благо Шпеер, получивший на Нюрнбергском процессе двадцать лет тюрьмы, отсидел их от звонка до звонка в Шпандау, где и начал делать наброски к своим будущим мемуарам. Он прожил до 76 лет и скончался в 1981 году.

– Но я думаю, что вы можете пообщаться с моим сыном Морицем, – предложила госпожа Шрамм, – он, наверное, единственный из всей нашей большой семьи еще не имел дела с

прессой.

– Дед на моей памяти действительно всегда находился в окружении журналистов. – Вспоминает внук Шпеера Мориц Шрамм, с которым мы встретились в Дании, где он постоянно живет. – Когда опубликовали мемуары деда, они сразу стали бестселлером. Об этом стали писать СМИ, и скрывать что-либо было невозможно. Да дед и не собирался ничего замалчивать, наоборот, он хотел публично во всем разобраться, сделать какие-то выводы для себя. Поэтому для нас, детей и внуков, это никогда не было тайной.

В конце семидесятых проводились очень серьезные исследования в отношении роли моего деда в истории Третьего рейха. В семье мы не обсуждали детально тезисы исследователей, а попросту следили за развитием событий, гадали, согласится ли дед на следующее интервью после того, что о нем рассказали или написали. Но дед никогда не отказывал. Случалось даже, что во время нашего пребывания у него в гостях в Западной Германии приходили съемочные группы и брали у деда интервью. Всё ли из того, что он говорил, было правильным, – это уже другой вопрос. Я не хочу сказать, что он всегда был честен, нет, было много неправды. Но всё-таки очень важно, что преступник, очевидец выбирает позицию открытости, а не умолчания. Несмотря на половинчатые ответы, оправдания, его позиция открытости достойна уважения.

Конечно, он не всех подпускал к себе. Он как бы выстроил себе большой дом, стены которого были призваны защищать его, избирательно подходил к обсуждаемым вопросам, пытался представить себя положительной фигурой. В Западной Германии многим это нравилось – были же, мол, и «хорошие» нацисты. Часть немецкого населения, особенно интеллигенция, хотела этого, приглашала его выступить. И ему это нравилось, там он мог действительно представить свою роль в позитивном свете. Конечно, такие аспекты подлежат осуждению.

Когда Альберт Шпеер умер, Морицу было одиннадцать лет. Сейчас Мориц взрослый человек, под сорок, с редеющими волосами и лицом, на котором нет-нет да проскользнет улыбка деда. В Дании он впервые оказался, когда еще учился в институте, – приехал по обмену и познакомился со своей будущей женой-датчанкой. Живет он в двухэтажном домике в тихом районе Копенгагена. У Шрамма подрастает маленький сын. И больше всего Морица беспокоит то, что и в сыне, и в нем самом проявятся гены деда:

– Что касается моего деда, то, конечно, я задавал себе вопрос, какие черты характера у нас совпадают. Это обусловлено еще и

тем, что ребенком я очень ценил его, очень любил. И от этого становится еще печальнее, когда ты осознаешь, что человек, которого ты любил, мог совершать такие поступки. Невольно спрашиваешь и себя, а способен ли ты на такое? Было бы намного проще, если бы он был неким страшным монстром для меня. Тогда можно было бы оставить все эти попытки, разобраться в причинах, оставить все эти почему. Дед стремился сделать карьеру. И когда речь идет о моей карьере, я всегда поступаю осторожно, пытаюсь не допустить, чтобы моя карьера делалась за счет или в ущерб другим, иначе можно очень далеко зайти. Для себя я решил, что там, где мне кажется, может таиться опасность, я предпочитаю делать шаг назад, например, отказаться от повышения в карьере, если мне кажется, что тем самым я поступлю против моих идеалов, предам их. Бывает, что я именно так и поступаю, вполне возможно даже, что слишком часто.

Мориц Шрамм – адъюнкт-профессор в Институте изучения культуры при Университете Южной Дании. Он прекрасно знает историю Германии и Дании, опираясь на нее в своей работе по изучению немецкой и датской литературы XX–XXI веков.

– В одной из датских газет я пишу критические статьи по литературе, рецензии. На датском. Датские СМИ приглашают меня выступить с оценкой ситуации в Германии. В этом случае, конечно, возникает вопрос о собственной позиции, в том числе с учетом семейной истории. Для Дании внук Альберта Шпеера – что-то особенное, то есть не столь обыденная вещь, как для Германии. Это и хорошо. С другой стороны, когда я пишу статьи по литературе, классический гуманизм, обусловленный отчасти моей семейной историей, сказывается и здесь. При этом я не хотел бы, чтобы всё сводилось к тому, что я внук Альберта Шпеера. Это не всегда просто. Но пока проблем практически не было.

Бывали случаи, когда коллеги заводили со мной разговоры об архитектуре Альберта Шпеера – младшего и старшего, не зная, что я их близкий родственник. И когда ты вдруг говоришь, что прекрасно разбираешься в работах Шпеера-старшего, что ты знал его, что это твой дед, возникают интересные моменты. Было бы неправильно умалчивать об этом. Получается, что ты злоупотребляешь доверием своих коллег. Но с другой стороны, во время разговора неожиданно вставить «а кстати, я как раз…» тоже не всегда получается. Да и собеседник не всегда знает, как к этому отнестись. Однажды я рассказал про деда своему коллеге. Он был потрясен. И опять возникает дилемма – с одной стороны, молчать об этом нельзя, с другой – не стоит кричать об этом на каждом углу.

В оценке своего деда, Альберта Шпеера, Мориц пытается быть максимально объективным, отдавая себе однако отчет в том, что не может отделить себя от семьи полностью. Впрочем, Дания, где он живет уже более десяти лет, и датский язык, которым он владеет в совершенстве, способствуют возникновению той самой дистанции, которая позволяет Шрамму не быть предвзятым по отношению к деду и семье:

– Дед, будучи главным архитектором Третьего рейха, а потом и министром вооружений, прекрасно понимал, в чем участвует: это и создание военной промышленности, программа использования военнопленных, в том числе русских военнопленных, для принудительных работ в военной промышленности. Людей просто угоняли из других стран и принуждали работать в нечеловеческих условиях. Он несет ответственность за это. Он осознавал, что на нем лежит огромная вина, я в этом не сомневаюсь. Мне кажется, я видел это еще ребенком: у него всегда было сломленное выражение лица. Он вообще был меланхоликом. Он определенно понимал, что натворил. Конечно, многое он пытался вытеснить из памяти, придумывал разного рода оправдания, пытался переложить ответственность на других. Но где-то глубоко внутри он осознавал масштабы своей ответственности, от которой никуда не деться. Насколько я понимаю, до самого конца он оставался убежденным сторонником национал-социализма. Просто в какой-то момент, уже на завершающей стадии войны, он понял, что ком проблем нарастает, и пытался как-то повлиять на оценку своей роли, пытался выставить себя в лучшем свете, ну а после войны – тем более.

Мориц заметил – без камеры, – что внутри семьи потомки Шпеера разделились на два лагеря:

– Есть и такие, кто за деда и за нацизм, – произнес он тихо, – но с ними я не общаюсь. Да и они сами не горят желанием, учитывая, что я, моя мать, мой дядя Альберт Шпеер – младший и некоторые другие родственники не делаем из деда мученика, жертву и чистой воды технократа…

Карл-Отто Заур и Гитлер

Карл-Отто Заур с семьей, Клаус в центре, 1952 год

Клаус Заур с женой Лило и Татьяной

Геринг, Гитлер и Шпеер на прогулке, 1943 год

На Нюрнбергском процессе, 1946 год

Шпеер с семьей после выхода из тюрьмы

Внук Альберта Шпеера Мориц Шрамм

Эпилог

Потомки детей высокопоставленных нацистов, наверное, до конца своих дней так и останутся разобщенными. Они внимательно, почти ревниво, даже зная друг друга лишь заочно, следят за тем, кто какую книгу выпустил про отца, деда, прадеда. Кто дал интервью или напечатал статью в журнале. Все они очень разные. Многие из них – приятные, глубокие, образованные люди. Но всех их, как мне кажется, объединяет, помимо принадлежности к условному клану потомков крупных нацистов, тщеславие, что заставляет их снова и снова либо восхищаться своими предками, либо ругать их – до последнего вздоха. Равнодушных, по крайней мере среди людей, с которыми встречалась я, нет.

Нельзя сказать, что их отношение к отцам продиктовано исключительно близостью этих отцов к Гитлеру и участию в преступлениях. Дочь рейхсмаршала Германа Геринга восхищается не столько тем, что ее родитель был вторым человеком в государстве, сколько тем, что он, прежде всего, был любящим отцом. Никлас Франк ненавидит своего отца в том числе и потому, что тот не дарил ему заботы и любви, а не только из-за того, что на совести гауляйтера Польши несколько миллионов жизней. Прав Клаус Заур, когда мимоходом замечает, что гитлеровский режим, как правило, яростно обличают те потомки высокопоставленных нацистов, кто не ощутил родительской любви и ласки. И мне понятно, что он имеет в виду. Многие «дети Третьего рейха» не могут отделить образ своего отца от фигуры высокопоставленного гитлеровского чиновника, а следовательно, не могут быть объективны в отношении своих родителей.

Книга эта тоже максимально субъективна – более того, я и не хотела посягать на объективность, а потому часто цитировала именно те источники, которые нельзя считать документами или научными работами историков (отсюда и «Нюрнбергские интервью» психиатра Леона Голденсона, и «Нюрнбергский дневник» психолога Густава Гилберта). Но главное – мне хотелось, помимо всего прочего, увидеть высокопоставленных деятелей Третьего рейха глазами их детей.

Я намеренно старалась уберечь читателя от дидактики и глобальных выводов, а писала лишь о том, что наблюдала своими глазами: о собственных впечатлениях от интересных знакомств, а впечатления эти тоже наверняка не всегда объективны.

Книга эта, наверное, в меньшей степени про общую историю, которая, однако, неизменно составляет фон повествований,

включенных в нее. Но она не только про потомков известных нацистов. Она – про отцов и детей. Про каждого из нас. Про страны и политические режимы. Про героев и антигероев. Здесь так много пластов, что теперь я понимаю: стоит в двух словах подвести итоги, и это будет слишком примитивно. Вся эта многопластовость темы – не моя заслуга как автора. Это заслуга прежде всего материала, который лег в основу книги. Материала бездонного, в котором каждый найдет для себя то, что хочет.

Пожалуй, я была бы рада, если бы книгу эту можно было посчитать «субъективным документом», потому что «дети Третьего рейха», которых вы встретили на ее страницах, тоже скоро уйдут в силу их преклонного возраста, но здесь, в этих строчках, они останутся навсегда – на случай, если кому-то будет важен их опыт.

В книге нет «плохих» героев: каждый, как может, делится с вами своей правдой, и эту правду стоит уважать уже лишь за то, что она была озвучена. Я благодарю всех их, с кем я встречалась, общалась, кого снимала, – за смелость, порой даже дерзость. Они могли отказаться и, тем не менее, согласились. Более всего я ценю то, что люди эти пошли на контакт с русской аудиторией, не побоявшись того, что в России и странах бывшего СССР их не поймут и не примут: они пошли на это, искренне надеясь, что никто не будет укладывать глубину и сложность мира в плоскость, на которой есть место лишь черному и белому.

И вот еще что. Наверное, в книге проскальзывали не слишком приятные моменты для русских читателей, ибо Великая Отечественная – по-прежнему в исторической памяти и генах. Но Германия, поднявшаяся после Второй мировой войны, имеет богатый опыт того, *как* правильно выйти из полного поражения. И, пожалуй, самое правильное – и в этом поражение должно быть схоже с победой – это вывод, что нужно идти дальше, признавая и учитывая ошибки прошлого, невзирая на то, победил ты или проиграл.

Я – из «поколения внуков» победителей и, возможно, не столь близко к сердцу принимаю вопросы, которые занимают многих людей «второго поколения». Но всё, чего я хочу и что я старалась передать в книге удивительными историями ее героев, – это то, что надо, по возможности, двигаться дальше, не забывая о прошлом, но и не зацикливаясь на нем. Прошлое, даже самое замечательное, – это большая коварная обманка, за которой можно не разглядеть настоящего и будущего. Оно становится твоим союзником только тогда, когда ты знаешь его, помнишь, умеешь анализировать, но всё-таки идешь дальше, не оглядываясь.

notes

1

Шпеер А. Шпандау: тайный дневник. М.: Захаров, 2010. С. 17. (Далее – Шпеер. Шпандау.)

2

«Фрау Миле Геринг
Больница Бад Ишль
Шлем сердечные пожелания всего хорошего матери и ребенку.
Герман и Эмми» (*нем.*).

3

Голденсон Л. Нюрнбергские интервью. Екб: У-Фактория, 2008. С. 195. (Далее – Голденсон. Интервью.)

4

Здесь и далее протоколы допросов цитируются по: Interrogation Records prepared for War Crimes proceeding at Nuernberg, 1945— 1947 (*Пер. Т.Ф.*).

5

Вальтер Ратенау – германский промышленник еврейского происхождения, министр иностранных дел Германии, убит в 1922 году ультраправыми экстремистами. – *Т.Ф.*

Зигмунд А.-М. Женщины нацистов. М.: Ладомир, 2001. С. 59.

Голденсон. Интервью. С. 19.

8

Голденсон. Интервью. С. 177, 179.

9

Голденсон. Интервью. С. 210–211.

10

Гилберт Г. Нюрнбергский дневник. М.: Вече. С. 408–409. (Далее – Гилберт. Дневник.)

11

Там же. С. 210.

12

Гилберт. Дневник. С. 14.

13

Один из самых крупных представителей семейства лягушачьих. В длину достигают 25 см, вес взрослой особи в среднем 450 г.

14

Гилберт. Дневник. С. 181.

15

Гилберт. Дневник. С. 12.

16

Гилберт. Дневник. С. 166.

17

Там же. С. 313.

18

Фрейд З. Тотем и табу. М.: Олимп; АСТ-ЛТД., 2008. С. 193.

19

Там же. С. 76, 78.

20

Голденсон. Интервью. С. 199.

21

«Танец на мосту» (*нем.*).

22

Ширер У. Взлет и падение Третьего рейха. М.: Захаров, 2010. Т. 1. С. 391— 392. (Далее – Ширер. Рейх.)

23

Голденсон. Интервью. С. 73.

24

Гилберт. Дневник. С. 108.

B.Dahlke, D.Tate, R.Woods. Boydell & Brewer Inc., 2010.

Голденсон. Интервью. С. 89— 90.

27

Гилберт. Дневник. С. 107.

28

Голденсон. Интервью. С. 76— 77.

Там же. С. 76.

30

Гилберт. Дневник. С. 26.

31

Шпеер. Шпандау. С. 15.

32

Гилберт. Дневник. С. 106.

33

Голденсон. Интервью. С. 62— 63.

34

Гилберг. Дневник. С. 55— 58.

Там же. С. 146.

Там же. С. 146, 183, 184.

37

Гилберт. Дневник. С. 69.

«Поле солдат» (*англ.*).

39

Глава «Гитлерюгенд» из книги «Я верил Гитлеру», опубликованной в 1967 году.

40

Очевидно, речь идет о католическом пасторе Сикстусе О'Конноре, который крестил в тюрьме Ганса Франка и о котором Франк сказал: «Если бы применительно к мужчине можно было сказать "дева", то я бы его именно так и называл» (Гилберт. Дневник. С. 106). – *Т.Ф.*

41

Гилберт. Дневник. С. 178.

«Тень моего отца» (*нем.*).

Кнопп Г. Дети Гитлера. М.: Олма-Пресс,. 2004. С. 53.

Ханфштангль Э. Мой друг Адольф, мой враг Гитлер. Екб: Ультра. Культура, 2007. С. 189.

Шпеер. Шпандау. С. 514.

«Немецкому народу» (*нем.*).

47

Голденсон. Интервью. С. 367.

Шпеер. Шпандау. С. 168.

Шпеер. Шпандау. С. 147.

Гоффман Г. Гитлер был моим другом. М.: Центрполиграф, 2007.

51

Там же.

52

Von Schirach H. Der Preis der Herrlichkeit. Wiesbaden, 1956. S. 85.

53

Гилберт. Дневник. С. 461.

54

Речь о гимне гитлерюгенда – *Unsere Fahne flattern uns voran*. – *Т.Ф*.

Шпеер. Шпандау. С. 182.

Ханфштангль. Мой друг Адольф… 2007. С. 190.

Шпеер А. Воспоминания. М.: «Захаров», 2010. С. 342— 343.

Гоффман. Гитлер был…

Только это был не Черчилль, а Рузвельт. – *Т.Ф.*

60

Гилберт. Дневник. С. 462.

61

Там же. С. 467.

Шпеер. Шпандау. С. 175.

63

Там же. С. 341.

Фишман Д. Семь узников Шпандау. Смоленск: Русич, 2001. С. 378.

Шпеер. Шпандау. С. 358.

Там же. С. 414.

Гейне Г. Ночные мысли // Собрание сочинений в 10 томах. М.: Государственное издательство художественной литературы, 1957. Т. 2. С. 122–124.

Фишман. Семь узников. С. 264— 265.

69

Там же.

Голденсон. Интервью. С. 368.

71

Гилберт. Дневник. С. 31.

Шпеер. Шпандау. С. 362.

73

Фишман. Семь узников. С. 265.

Там же. С. 124.

Там же. С. 489.

Цит. по: European Stars and Stripes, August 9, 1974.

77

Sie (с заглавной буквы) – «вы», sie (со строчной) – «они» (*нем.*).

Голденсон. Интервью. С. 453.

«Труд освобождает» (*нем.*).

Голденсон. Интервью. С. 444.

81

Автобиографические записки Рудольфа Хёсса.

82

Там же.

83

Голденсон. Интервью. С. 451— 452.

Гилберт. Дневник. С. 346.

85

Голденсон. Интервью. С. 452.

Там же. С. 428.

87

Гилберт. Дневник. С. 336.

Там же. С. 335.

89

Голденсон. Интервью. С. 451.

Автобиографические записки Рудольфа Хёсса.

91

Автобиографические записки Рудольфа Хёсса.

Арендт Х. Банальность зла: Эйхман в Иерусалиме. Нью-Йорк.

Зимбардо Ф. Эффект Люцифера. Почему хорошие люди превращаются в злодеев. М.: Альпина нон-фикшн, 2013. С. 438.

Гилберт. Дневник. С. 336.

Там же. С. 343.

Там же.

Там же. С. 326.

Там же. С. 367.

99

Гилберт. Дневник. С. 449.

Там же. С. 348.

101

Там же. С. 365.

Там же. С. 519— 520.

103

Зимбардо. Эффект Люцифера. С. 411.

Зимбардо. Эффект Люцифера. С. 416— 417

105

Там же. С. 416.

106

Гилберт. Дневник. С. 183.

107

Там же. С. 425.

Там же. С. 267.

109

Там же. С. 456.

Там же. С. 336.

111

Die Brhder Himmler. Eine deutsche Familiendes – chichte. Fisher, 2005.

Шпеер. Воспоминания. С. 626— 627.

113

Голденсон. Интервью. С. 539.

114

Гилберт. Дневник. С. 89.

115

Мэнвэлл Р., Франкель Г. Генрих Гиммлер. Ростов-на-Дону: Феникс, 2000. С. 23.

Цит. по: Vom Mann zum Monster («Из человека в монстра») // Sueddeutsche.de. 17.11.2012.

*«Негласная помощь» (*нем.*).

118

Негласная помощь коричневым товарищам. Тайная сеть старо- и младонацистов. Взгляд изнутри. Link Christoph Veklag, 2002.

119

Мэнвэлл, Франкель. С. 189.

Там же. С. 190.

121

Один из старших руководителей СС, генерал войск СС и генерал полиции с 1941 года. В 1943 году был назначен руководителем по антипартизанской борьбе в России. – *Т.Ф.*

122

Гилберт. Дневник. С. 143.

123

Мэнвэлл, Франкель. С. 431— 432.

124

«В память об Эрвине Роммеле, генерал-фельдмаршале» (*нем.*).

«Движение за мир» (*нем.*).

126

«Памятник герою-нацисту?» (*нем.*)

127

«Фашистский генерал-фельдмаршал Эрвин Роммель нацистская свинья» (*нем.*).

Голденсон. Интервью. С. 459— 460.

129

Зд.: сопляки (*нем.*).

130

Меллентин Ф.В. Танковые сражения. Боевое применение танков во Второй мировой войне. 1939—1945.

131

Шмидт Х.В. С Роммелем в пустыне. Африканский танковый корпус в дни побед и поражений 1941— 1942 годов.

Митчем С.У. Величайшая победа Роммеля. М.: АСТ, 2003.

133

Шпеер. Воспоминания. С. 317.

Там же. С. 458.

135

Ширер. Рейх. Т. 2. С. 397— 398.

Там же. Т. 2. С. 404.

137

Там же. С. 449— 451.

Там же. С. 552— 553.

139

Шпеер. Воспоминания. С. 462.

Голденсон. Интервью. С. 407.

141

Ширер. Рейх. Т. 2. С. 536— 537.

142

Ширер. Рейх. Т. 2. С. 540— 541.

143

Шпеер. Воспоминания. С. 492.

Там же. С. 488.

145

Ширер. Рейх. Т. 2. С. 564— 565.

Борман М. Письма. М.: Центрполиграф, 2006. С. 90.

147

Шпеер. Воспоминания. С. 487.

148

Борман. Письма. С. 90

149

Там же. С. 95.

Там же. С. 95— 96.

151

Там же. С. 96.

152

Шпеер. Воспоминания. С. 511.

153

Ширер. Рейх. Т. 2. С. 547.

Голденсон. Интервью. С. 460.

155

Цит. по: Stuttgarter-zeitung.de. 21.08.2013.

156

Шпеер. Воспоминания. С. 254.

157

Там же. С. 550, 551, 574.

158

Борман. Письма. С. 135— 136.

159

Шпеер. Воспоминания. С. 507.

Там же. С. 542.

161

Там же. С. 560.

Там же. С. 535.